

МАЙКЛ  
МАНН

ИСТОЧНИКИ  
СОЦИАЛЬНОЙ  
ВЛАСТИ

4

1945-2011



Michael Mann

# The Sources of Social Power

VOLUME 4

GLOBALIZATIONS, 1945-2011

Майкл Манн

# Источники социальной власти

Том 4

Глобализации, 1945–2011 годы

*2-е издание, исправленное*



| Издательский дом ДЕЛО |

Москва | 2019

УДК 316  
ББК 60.5  
М23

**Манн, Майкл**

**М23** Источники социальной власти: в 4 т. Т. 4. Глобализации, 1945–2011 годы / Майкл Манн; пер. с англ. А. Гуськова, С. Коломийца, О. Левченко; под науч. ред. Д. Ю. Карасева. 2-е изд., испр. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 672 с.

ISBN 978-5-7749-1463-0 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1464-7 (т. 4)

Автор настоящей серии исследований выделяет четыре источника власти — идеологический, экономический, военный и политический — и прослеживает их взаимодействие на протяжении всей истории человечества. Четвертый том аналитической истории социальной власти Майкла Манна охватывает период с 1945 г. до наших дней, фокусируясь на трех основных столпах послевоенного миропорядка: капитализме, национально-государственной системе и единственной из оставшихся мировых империй — США. На протяжении этого периода капитализм, национальные государства и империи взаимодействовали друг с другом и изменялись. Основной аргумент Манна состоит в том, что глобализация включает в себя не один, а несколько процессов, поскольку существует глобализация всех четырех источников социальной власти, каждый из которых имеет собственный ритм развития. Рассматриваемые темы охватывают расцвет и начало упадка американской империи, падение либо трансформацию коммунизма (соответственно в СССР и в Китае), сдвиг от неокейнсианства к неолиберализму и три главных кризиса, возникшие в рамках исследуемого периода, — ядерное оружие, великую рецессию и изменение климата.

Майкл Манн является почетным профессором социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он автор таких книг, как *Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом* (2011; рус. изд.: М., 2014), *Incoherent Empire* (2003) и *Fascists* (2004). В 2006 г. его книга *Темная сторона демократии* (2004; рус. изд.: М., 2016) была удостоена премии им. Баррингтона Мура, вручаемой Американским социологическим обществом, как лучшая книга по компаративной и исторической социологии.

УДК 316

ББК 60.5

ISBN 978-5-7749-1463-0 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1464-7 (т. 4)

Copyright © Michael Mann, 2013

First published 2013

Права на перевод получены через Sandra Dijkstra Literary Agency

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2019

## СОДЕРЖАНИЕ

### Глава 1. Глобализации · 1

### Глава 2. Послевоенный мировой порядок · 18

Конец колониализма · 18; Постколониальный постскрипtum · 30; Американская империя в период холодной войны · 33; Экономический столп: Бреттон-Вудская валютно-финансовая система · 37; Имперский и идеологический столп: холодная война · 43; Гарантированное взаимное уничтожение и уменьшение вероятности горячей войны · 48

### Глава 3. Америка в период после Второй мировой войны и холодной войны: классовые конфликты, 1945–1970 годы · 54

Влияние Второй мировой войны · 54; Трудовые отношения военного времени: корпоративизм и рост профсоюзов · 60; Послевоенное планирование: коммерческое кейнсианство, военно-промышленный комплекс · 65; Рабочее движение: застой и упадок · 73; Антикоммунистическая идеология · 79; Послевоенное государство всеобщего благоденствия · 83; Расовые конфликты в городах · 89; Последнее либ-лаб наступление · 92; Заключение: медленная, но верная смерть · 98

### Глава 4. США: борьба за гражданские права и в защиту идентичности · 101

Теория общественных движений · 101; Сбой в системе расовой сегрегации · 103; Реакция белых и черных на Юге: Советы граждан, движения за гражданские права · 109; В бой вступают новые силы · 113; Движение за гражданские права: заключительное объяснение феномена · 118; Расовые последствия · 121; Политика защиты идентичности · 123

### Глава 5. Американская империя в годы холодной войны, 1945–1980 годы · 130

Гегемония на Западе · 133; Восточная и Юго-Восточная Азия, стадия А: имперские войны · 136; Восточная и Юго-Восточная Азия, стадия В: на пути к гегемонии · 153; Канонерки в Западном полушарии · 158; Заключение по Латинской Америке · 175; Ненадежные ставленники на Ближнем Востоке · 180; Заключение · 189

### Глава 6. Неолиберализм: подъем и спад, 1970–2000 годы · 193

Введение: неолиберализм · 193; Взлеты и падения неокейнсианства · 199; Наступление финансиализации · 210; Кризис неокейнсианства · 218; Альянс неолиберализма с консерватизмом: Тэтчер и Рейган · 221; Сравнительный анализ государств всеобщего благосостояния и уровней неравенства в них · 231; Эффективность и равенство · 245; Страны глобального

Юга: программы структурных реформ и их последствия · 249; Глобальный Юг: липовая свобода торговли · 262

## Глава 7. Крах советской альтернативы · 267

Неуверенная поступь оттепели, 1945–1985 годы · 268; Период реформ 1987–1991 годов · 275; Конец советской империи · 284; Интерпретация распада: был ли он революцией? · 294; Политические переходы: к демократии и диктатуре · 296; Экономические переходы: капитализм или неолиберализм · 299; Русский переход: политический капитализм, перверсивная демократия · 308; Россия выбирается из бездны — 2000-е годы · 317

## Глава 8. Реформирование маоистской альтернативы · 322

Консолидация и кризис: маоизм, 1950–1976 годы · 322; Экономическая реформа: эра Дэн Сяопина, 1979–1992 годы · 332; Капиталистическое однопартийное государство с 1992 года и далее · 340; Неравенство и сопротивление · 350; Сравнение направлений реформ в Китае и России · 357

## Глава 9. Теория революции · 363

Предвестник третьей революционной волны? Иранская революция 1979 года · 375; Крушение Советов: революция сверху? · 389; Заключение · 392

## Глава 10. Американская империя накануне XXI века · 394

Новый экономический империализм: доходы от эмиссии доллара, 1970–1975 годы · 395; Неформальный империализм путем военных интервенций, 1990–2011 годы · 402; Крадущаяся империалистическая экспансия 1990-х годов · 403; Усиление позиций неоконсерваторов при Буше-младшем · 409; Цели вторжения · 416; Как наша нефть оказалась под их пещком · 423; Вторжение и оккупация Ирака · 429; Издержки и выгоды вторжения · 437; Афганское болото · 442; Ответная реакция · 447; Два империализма или один? · 455; Заключение · 460

## Глава 11. Глобальный кризис: Великая неолиберальная рецессия · 472

Причины Великой рецессии · 476; Экономическое неравенство: возникновение американской исключительности · 485; Загадка неравенства в Соединенных Штатах Америки · 492; Рецессия 2008 года · 505; Реформа · 517; Заключение · 523

## Глава 12. Глобальный кризис: изменение климата · 530

Вступление. Три главных виновника: капитализм, государство и население · 530; Тенденции глобального потепления: прошлое, настоящее, будущее · 538; Первые шаги к смягчению климатической нагрузки, 1970–2010 годы · 543; Альтернативные ответы на вызовы: этатистские и рыночные решения · 558; Грядущая политическая борьба · 570; Две страны, без участия которых не обойтись · 576; Заключение · 582

## Глава 13. Заключение · 588

Общие закономерности процессов глобализации и развития · 588; Роль четырех источников социальной власти · 592; Динамика модерна · 619; Вопрос о первопричине · 621

## Библиография · 636

# ГЛАВА 1

## Глобализации

**Ч**ЕТВЕРТЫЙ и заключительный том моего исследования истории власти в человеческих обществах охватывает период с 1945 г. В этом томе я сосредоточиваюсь на трех столпах послевоенного миропорядка: капитализме (а также судьбе советской и китайской альтернатив этому строю), национально-государственной системе и единственной из оставшихся мировых империй — США. Наиболее очевидной характеристикой этих трех явлений в исследуемый период была мировая экспансия — процесс, который принято называть «глобализация». Но уже в третьем томе я использовал этот термин во множественном числе, чтобы указать на то, что стартовало сразу несколько процессов глобализации. Как я доказываю во всех четырех томах моих исследований, человеческие сообщества формируются вокруг четырех источников власти — идеологического, экономического, военного и политического, каждый из которых обладает определенной степенью автономии (это моя IEMР-модель власти, ИЭВП). Глобализации этих источников также независимы друг от друга и остаются таковыми на протяжении всего исследуемого периода. Но они являются идеальными типами и в реальности не существуют в чистом виде. Вместо этого они, переплетаясь, кристаллизуются вокруг главных макроинститутов общества, в данном случае капитализма, национального государства и империй. Основные новые идеологии, возникшие в исследуемый период, как раз возникают из попыток понять сложное переплетение этих трех феноменов.

Начнем с краткого определения четырех источников власти. Более подробное их толкование можно найти в первых главах предыдущих томов. Власть — это способность заставить других людей делать то, что в противном случае они не стали бы делать. Чтобы достичь наших целей, каковы бы они ни были, мы вступаем во властные отношения, включающие как сотрудничество, так и соперничество с другими людьми, и эти отношения порождают человеческие общества. Так, власть может быть коллективной, когда сотрудничество используется для достижения

общих целей (власть *через* сотрудничество с другими), и дистрибутивной, когда одни обладают властью *над* другими. Четыре основных источника обоих типов власти следующие.

- (1) *Идеологическая власть* проистекает из потребности людей в поиске высшего смысла жизни, а также из того, что они разделяют общие нормы и ценности и участвуют в эстетических и ритуальных практиках. Идеологии изменяются по мере того, как изменяются стоящие перед нами проблемы. Сила идеологических движений возникает из нашей неспособности обладать точными знаниями об окружающем мире. Недостаток точных знаний или неуверенность в них мы восполняем верованиями, которые сами по себе не могут быть подвергнуты научной проверке, однако воплощают наши надежды и страхи. Никто не может доказать существование бога либо жизнеспособность социалистического или исламистского будущего. Идеологии особенно востребованы в периоды кризисов, когда кажется, что прежние институализированные идеологии и практики уже не работают, а предлагаемые альтернативы пока себя не проявили. Именно в этот момент мы наиболее подвержены влиянию идеологов, которые предлагают правдоподобные, но непроверяемые теории устройства мира. Усиление влияния идеологии, как правило, является реакцией на эволюцию трех других источников власти, однако впоследствии она приобретает собственную эмерджентную власть. Роль идеологии крайне непостоянна. В моменты непредвиденных кризисов она может внезапно возрастать, тогда как в другие периоды она гораздо менее заметна. В такой период возрождается влияние религиозных систем, а также возрастает роль таких светских идеологий, как патриархат, либерализм, социализм, национализм, расизм и энвайронментализм.
- (2) *Экономическая власть* вытекает из человеческой потребности добывать, обрабатывать, распределять и потреблять продукты природы. Экономические отношения обладают значительной властью, поскольку сочетают в себе интенсивную мобилизацию труда с экстенсивными сетями обмена. Современный капитализм придал циркуляции капитала, торговле и производственным цепочкам глобальный характер. При этом его властные отношения проникают в повседневную жизнь большинства людей, занимая половину времени бодрствования. В отличие от военной власти социальные перемены, вызываемые экономикой, редко носят быстрый либо драматичный характер. Они происходят медленно, накапливаются годами и в конце концов приводят к глубоким



изменениям. Главным типом организации экономической власти в нынешние времена остается промышленный капитализм, глобальное развитие которого выступает предметом исследования, представленного в данном томе. Капитализм рассматривает все средства производства, включая рабочую силу, как товар. Все четыре основных рынка — капитала, рабочей силы, средств производства и потребительский — являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. В последнее время капитализм представляет собой самую динамично развивающуюся организацию власти, и именно на нем лежит ответственность не только за большинство технических инноваций, но и за ухудшение экологической ситуации во всем мире.

- (3) *Военная власть.* Я определяю военную власть как социальную организацию концентрированного и летального насилия. «Концентрированное» означает «мобилизованное и сфокусированное»; «летальное» означает «смертоносное». Словарь Вебстера определяет насилие как яростное, бешеное или неистовое, зачастую деструктивное применение силы, наносящее физические или моральные повреждения. Таким образом, военная власть носит сфокусированный, материальный, насильственный и главное — летальный характер. Она убивает. Неподчинение означает смерть — вот кредо обладателей военной силы. Поскольку любая угроза жизни страшна, военная власть вызывает у нас особые психологические состояния и физиологические симптомы страха, так как мы сталкиваемся с угрозой испытать боль, получить увечье либо погибнуть. Наиболее летальным образом военная власть используется вооруженными силами государств в международных конфликтах, хотя в этом томе будут фигурировать также военизированные формирования, повстанцы и террористы. Здесь мы видим явное совпадение с политической властью, хотя военные всегда были — и в любом обществе остаются — специально организованной и часто обособленной кастой.
- (4) *Политическая власть* — это централизованное и территориальное регулирование социальной жизни. Основная функция правительства — обеспечение порядка на определенной территории. Здесь я не согласен не только с Максом Вебером, который находил политическую власть (либо партии) в любой организации, но и с теми политологами, которые считают, что государственное управление осуществляется множеством акторов, включая корпорации, неправительственные организации (НПО) и социальные движения. Я предпочитаю оставить понятие «политическое» за госу-

дарством, включая местные, региональные и общенациональные уровни власти. В отличие от НПО и корпораций государство имеет централизованно-территориальную форму, что делает его власть авторитетной для людей, проживающих на его территории. Из состава любой НПО или корпорации я вправе выйти, даже нарушая их устав. Законам же государства, на территории которого я проживаю, я обязан подчиняться либо буду наказан. Как правило, управление сетями политической власти и их координация осуществляются централизованным и территориальным образом. Вот почему политическая власть более ограничена в географическом смысле, чем три остальных источника. Кроме того, власть государства распространяется на меньшую, более компактную территорию в отличие от идеологии.

Таким образом, явление, которое обычно называют глобализацией, предполагает распространение отдельных отношений идеологической, экономической, военной и политической власти по всему миру.

В частности, в период после 1945 г. это означало диффузию идеологий (таких как либерализм и социализм), экспансию капиталистического способа производства, расширение диапазона действия армий и распространение национальных государств по всему миру, где вначале присутствовали две империи, а затем осталась лишь одна. Отношения между этими феноменами и составляют предмет данного тома.

Большинство дискуссий на тему глобализации не особенно интересны. Сам по себе процесс глобализации ничем не примечателен, помимо своего масштаба. Глобализация не привносит ничего нового за одним исключением, которое мы сейчас и обсудим. Сама по себе глобализация не оказывает влияния на состояние человеческого общества, поскольку она есть лишь продукт экспансии источников социальной власти. Это отражено в том, что глобализация не привела к появлению новых теорий общества; в большинстве случаев расширилась лишь география применения старых теорий, использовавшихся еще тогда, когда обществоведы ставили знак равенства между обществом и национальным государством. За громкими заявлениями теоретиков о том, что они якобы открыли фундаментальные изменения в обществе, нередко скрывается жажда почестей и славы. Подобные, если можно так выразиться, гиперглобалайзеры заявляют, что глобализация привела к появлению общества, коренным образом отличающегося от прежнего. Иначе как «глобудой» (*globaloney* у Манна игра слов на основе сочетания корней *global* и *baloney*, что означает «чепуха», «ерунда», «вздор». — *Примеч. пер.*)

такие заявления не назовешь. Впрочем, один аспект глобализации действительно носит преобразующий характер: там, где деятельность человека переполняет чашу терпения Земли, она начинает в ответ бить по нему самому. Это эффект бумеранга, когда запущенные людьми действия наталкиваются на границы возможностей природы и затем возвращаются тяжелым ударом, изменяя нас. Уже сейчас обозначаются два варианта, как это может произойти. Во-первых, средства ведения войн настолько смертоносны, что любая ядерная или биологическая война фактически приведет к гибели всей человеческой цивилизации. Мы уже живем в условиях такой угрозы, которая обсуждается в главе 2. Вторая угроза еще не материализовалась, но вполне предсказуема: наша хозяйственная экспансия способствует увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате сжигания ископаемых видов топлива, что также может в конце концов оказаться губительным для человеческой цивилизации. Я обсуждаю эту проблему в главе 12. Марксисты выделяют еще и третий «бумеранг». Они утверждают, что расширение капиталистических рынков может упереться в естественные пределы, что сделает невозможным дальнейшую экономическую экспансию и вызовет глубокий кризис. Однако, чтобы проанализировать такие сценарии, нам необходимо исследовать содержание понятия «глобализация» в терминах экономических или военных отношений власти. Ведь именно они, а не сама глобализация вызывают эффект бумеранга.

Определяя сущность глобализации, чаще всего исходят из того, что ее главной причиной является капитализм. Материалисты рассматривают глобализацию как процесс, который протекает в условиях экономического давления, вызванного стремлением капиталистов к извлечению прибыли, и который в рассматриваемый период привел к революции в коммуникационных технологиях, создающих возможность глобального расширения производственных цепочек и рынков. Никто не станет отрицать, что это способствовало широчайшей экспансии капитализма по всему миру. На сегодня только Китай остается охваченным этой тенденцией лишь наполовину (это я обсуждаю в главе 8). Экономисты измеряют темпы глобализации ростом соотношения между объемом международной торговли и валовым внутренним продуктом (ВВП) либо темпами глобальной конвергенции цен на сырьевые товары, к которым иногда добавляются индексы трудовой миграции. Судя по этим показателям, с XVII в. до начала XIX в. процесс экономической глобализации протекал постепенно, однако в период с 1860-х гг. по 1914 г. его темпы резко ускорились. Далее следует период стагнации, вплоть до 1950 г. перемежающийся депрессией и войнами, по-

сле чего начиная примерно с 1960 г. происходит восстановление и второй резкий скачок (O'Rourke and Williamson 1999). Это вызвало самый бурный рост мировой экономики, который когда-либо имел место. Хотя современные соотношения объемов торговли к ВВП и показателям миграционных потоков лишь незначительно превосходят соответствующие показатели до 1914 г., большую часть реального экономического продукта невозможно было измерить и учесть в расчетах, тогда как объемы международных торговых потоков гораздо лучше поддаются измерению. В результате итоговое соотношение оказалось завышенным. В период второго скачка потоки финансового капитала распространялись по всему миру практически мгновенно, а сейчас этот процесс охватил и глобальные производственные цепочки. Все это подробно обсуждается в главах 6 и 11.

Экономисты фактически сводят глобализацию к мировой интеграции рынков, при этом упуская из виду прочие существенные причины, такие как война, идеология и политические институты. Кроме того, они полагают, что глобализация актуальна лишь в периоды экономического роста. Однако, как показывают мои исследования, рецессии также носят глобальный характер. Принято считать, что в период 1914–1945 гг. темпы глобализации снизились. Доля международной торговли в мировом ВВП действительно сократилась. Я готов признать, что темпы экономической интеграции в это время замедлились, зато глобальным стал масштаб экономической дезинтеграции. На тот период пришелся всплеск глобального распространения социалистической и фашистской идеологий плюс те две войны, которые мы называем мировыми, а также депрессия — столь тяжелая, что она затронула практически все страны. Это был период дезинтеграционных глобализаций. Точно так же застой в экономике в 1970-е гг. привел к появлению неолiberaльной политики, послужившей причиной мировой рецессии 2008 г. Сегодня мы сталкиваемся с экономическим кризисом, характер которого еще более глобален, — климатическими изменениями. Рост экономики становится все более глобальным, но то же самое верно и в отношении экономических кризисов. Это не была просто история взлетов и падений, каждый успех приносил с собой серьезные проблемы, но и каждая катастрофа несла в себе лучик надежды. Экономический рост уничтожает окружающую среду и истощает природные ресурсы; по итогам двух мировых войн произошло расширение гражданских прав.

Экономический рост был географически неравномерным и потому не вполне глобальным. Взлет экономики в конце XIX в. способствовал интеграции Западной и Северной Европы (а также ее переселенческих колоний) в атлантическую эко-

номику, что лишь усилило и без того великую дивергенцию между Европой и остальным миром. Второй всплеск экономики начиная с 1960-х гг. втянул в этот процесс Южную Европу и Восточную Азию, а вскоре и большую часть Азиатского континента, но он все еще не затронул Африку и Центральную Азию. Обобщения о глобализации без учета ее географических и временных характеристик не представляются возможными. Всегда важно знать, где и когда шла ее экспансия.

Экономисты пытаются объяснить глобальную экспансию на основе роста совокупной производительности факторов производства (TFP), включающей производительность капитала, труда и земли, а остальное приписывают влиянию технических инноваций. К сожалению, такой «остаток», как правило, велик. Это означает: для того чтобы объяснить причины экономического роста, необходимо прежде объяснить природу технических изменений, чего мы сделать пока не можем. Экономические историки сводят ключевые технические инновации XIX столетия к инновациям в области транспорта (железные дороги и особенно судоходство), а ключевые инновации начала XX. — к универсальным технологиям, которые находят применение во множестве отраслей промышленности (например, электричество и двигатель внутреннего сгорания). Среди инноваций периода второго скачка они выделяют микроэлектронику и биотехнологии и подчеркивают, что важно не столько изначальное изобретение, сколько его последующее распространение. Однако для того чтобы объяснить причины возникновения и распространения изобретений, экономисты вынуждены абстрагироваться от привычных им переменных и рассматривать сферу социальных институтов в целом. Возьмем, например, экономическую стагнацию после Первой мировой войны. Недостатка в новых технологиях не было; на самом деле продолжали активно развиваться коммуникационные технологии. Напротив, уверяют нас экономисты, наблюдался регресс общественных институтов, недостаток регулирования банковских и валютных процессов, а также чрезмерное увлечение мерами протекционизма. И наоборот, после Второй мировой войны изначальный экономический рост был вызван, по их мнению, не столько новыми технологиями, сколько более совершенной государственной политикой и большей открытостью рынков. Даже когда появились интернет и прочие достижения микроэлектроники и микробиологии, их влияние на экономический рост оказалось гораздо меньшим, чем ожидали гиперглобалайзеры. Экономисты по-прежнему ломают голову над причинами экономического роста и рассчитывают на помощь историков, социологов и политологов.

К сожалению, мы мало чем можем им помочь. Большинство ученых предпочитают описывать, а не объяснять феномен глобализации. Усилие в этом направлении предпринял Шолте (Scholte 2000: 89–110), попытавшийся объяснить глобализацию исходя из двух структурных сил — капиталистического производства и рационального знания, — каждая из которых, в свою очередь, обусловлена некими «творческими инициативами», например техническими инновациями и государственным регулированием. Это, однако, довольно туманно. Я полагаю, что процесс глобализации вызван стремлением тех или иных социальных групп к расширению коллективной и дистрибутивной власти для достижения собственных целей и что в этот процесс вовлечены все четыре типа источников власти. Мое определение также может показаться несколько абстрактным, однако в последующих главах этого тома оно будет наполняться все более конкретным содержанием.

Многие социологи понимают под глобализацией прежде всего экономический процесс. Так, Харви (Harvey 1989) считает, что она происходит рывками, по мере перенакопления капитала. Он даже приводит доказательства важности этого аспекта. Кастельс, один из гиперглобалайзеров, выявляет характерные черты глобального «сетевое общества», моделируемого им на основе революции в информационных технологиях и ее роли в последующей реструктуризации капиталистического производства. Он утверждает, что это изменяет все аспекты нашей жизни — от материального бытия до представлений о гражданском обществе, государстве и личности. С поэтической пылкостью возвещает он о грядущем изменении основ жизни, пространства и времени путем появления «пространства потоков» и «безвременья» (Castells 1997: 1). «Новой глобальной империей является капитализм», — утверждают гиперглобалайзеры Хардт и Негри (Hardt and Negri 2000). В их представлении порядок, который традиционно обеспечивали национальные государства, разрушается под воздействием транснационального капитализма, а на смену первому [порядку] приходит ацефальный, наднациональный капиталистический порядок, слишком сложный, чтобы быть под контролем какого-либо авторитетного центра. Скляр заявляет, что капиталистические силы являются «главным фактором развития глобальной системы» и «появляется основной на транснациональных корпорациях транснациональный же капиталистический класс, более или менее контролирующий процессы глобализации» (Sklair 2000: 5; cf. Robinson and Harris 2000). Теоретики мир-системного анализа определяют глобализацию как мировую систему капитализма, воплощающую разделение труда: капиталоемкое производство — в зоне

«стран ядра», малоквалифицированный труд и добычу сырья — в периферийной зоне, полупериферию — в промежуточном положении. На высших уровнях эта глобальная структура интегрируется капитализмом, хотя на низших сохраняется культурно-политический плюрализм. В мир-системе, утверждают они, «основным связующим звеном между ее элементами служит экономика», работающая «главным образом на бесконечное накопление капитала путем окончательной коммодификации всего» (Wallerstein 1974a: 390; 1974b: 15). В порядке уточнения все это сдобривается дозой геополитики и утверждениями, что мировая система больше всего развивалась в периоды, когда то или иное имперское государство было гегемоном. Гегемонами, задающими нормы существования мировой системы, были сначала голландцы, затем англичане, а в самый последний период — американцы. По мере их ослабления уменьшались и темпы глобализации (Arrighi 1994; Arrighi and Silver 1999). Однако возникновение гегемонии приписывается функциональным особенностям мировой системы капитализма — экономическая мощь трансформируется в геополитическую силу. Моя критика этого аргумента приведена в том 3. Во всех этих моделях глобализация обусловлена капиталистической экономикой, что отчасти верно. Однако экономика не является единственным двигателем человеческих обществ.

Заметьте, что в изложенных абзацах практически отсутствует упоминание рабочего либо среднего класса. В том 3 я утверждал, что в развитых странах на авансцену выступают народные массы, требующие для себя гражданских прав, особенно в местах своей наибольшей концентрации — в городах и на промышленных предприятиях. Это верно также для стран, где существует всеобщая воинская обязанность и сильно влияние народных идеологий и массовых партий. Однако в описываемые времена все это контрастировало с ситуацией в колониях, где массовые волнения только начинались. Как мы увидим в настоящем томе, сегодня эта ситуация частично движется в обратном направлении. В бывших колониях, которые ныне считаются мировым Югом, мы наблюдаем, как массы рвутся на сцену «театра власти». В развитых странах, считающихся мировым Севером, мы вначале видим расширение гражданских, политических и социальных прав народных масс, но затем наступает некий регресс. Разумеется, ситуация на Севере и Юге весьма вариативна. Однако, поскольку большинство авторов работ по глобализации капитализма чаще всего сосредоточиваются на последних десятилетиях и на англоязычных странах, они, как правило, пессимистично оценивают способности рабочего и среднего класса к сопротивлению власти капитала. Кроме того, их тревожит

растущее классовое неравенство. Эти проблемы я также проанализирую в данном томе.

С материалистами не согласны их вечные оппоненты — идеалисты, утверждающие, что феномен глобализации носит, по сути, идеологический характер. Робертсон называет глобализацию сжатием мира через растущее осознание его единства. «Мир становится единым — мы ждем этого со страхом, но затем благословляем его существование» (Robertson 1992: 8). Уотерс пишет: «Материальные обмены локализируются; политические обмены интернационализируются; символические обмены глобализируются... Можно ожидать, что экономика и политика окажутся настолько глобальными, что станут элементами единой культуры, — образец идеологически заряженной теории глобализации» (Waters 1995: 7–9). Майер и соавторы (Meयर 1997, 1999) убеждены, что движущей силой глобализации является мировая культура. Начиная с XIX в. в мире существует рациональный культурный порядок, содержащий универсальные модели устройства государства, общественных институтов и индивидуальных идентичностей. После Второй мировой войны этот порядок распространился по всему свету. Государства всех уровней экономического развития внедрились у себя общие модели и институты, породив то, что сегодня называют глобальным изоморфизмом. Сами по себе государства не являются драйверами глобализации. Их структура и власть проистекают из универсальной системы «мироустройства», состоящей из общих легитимирующих моделей, которые используются бесчисленными НПО вроде научных союзов, феминистских групп, ассоциации по стандартизации и движений в защиту окружающей среды. Майер не объясняет, откуда возникает эта мировая политическая система или культура, но, видимо, хочет сказать, что это происходит главным образом под влиянием идеологических факторов. Как мы еще убедимся, такая модель в какой-то степени верна, но является сильным преувеличением.

Гидденс (Giddens 1990), Бек (Beck 1992), Лэш и Урри (Lash, Уггу 1994) не предлагают столь одномерных теорий, но допускают, что глобализация наших дней содержит особый идеологический элемент рефлексивности, благодаря которому мы осознаем наше воздействие на мир и переключаемся на разработку новых, глобальных правил поведения. Это, как они отмечают, указывает на изменившуюся рекурсивную роль идей в современном человеческом поведении. Мы ощущаем воздействие перемен на нашу жизнь и определяем нашу собственную позицию в отношении процесса глобализации. По мнению этих авторов, даже в собственном доме никто из нас уже не чувствует себя в полной безопасности. Лично я не уверен, что это действительно



но так. Разве рефлексивность возникла у людей только сейчас? Разве чувство беспокойства и страха было нам ранее неизвестно? Тем не менее рефлексия действительно необходима для понимания того, что потенциальная ядерная война и уничтожение природной среды вернутся к нам бумерангом. Все эти аргументы разделяют традиционную слабость идеализма — идеология и человеческое сознание рассматриваются как потоки, протекающие поверх общества. Я же воспринимаю идеологию как поиск конечных смыслов взаимодействия военных, политических и экономических отношений власти.

Многие материалисты и идеалисты рассматривают глобализацию как некий единичный процесс. По мере того как экономические и культурные потоки до краев наполняют планету, они порождают единый мировой порядок, единое мировое общество, единую мировую форму правления, единую мировую культуру или единую мировую систему. Помимо уже упомянутых имен, Элброу (Albrow 1996) также определяет глобализацию как «процессы, посредством которых народы мира интегрируются в единое мировое общество, глобальное общество», тогда как Томлисон (Tomlison 1999: 10) отмечает, что мир становится единым «локусом», подверженным воздействию одних и тех же сил и объединенным в некий универсум (*a unicity*). Хотя Холтон признает, что в мире происходит сразу несколько процессов глобализации, он рассматривает их как содержащие в себе «всю полноту человеческого общества, где все элементы связаны в единое целое» (Holton 1998: 2). Идея единой зарождающейся мировой системы впервые возникла еще в XIX в. во времена Сен-Симона, Конта, Спенсера и «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса — наиболее смелого провозглашения экономической глобализации. Против этого возражает Гидденс, утверждающий, что глобализация представляет собой «процесс неравномерного развития, содержащий в себе как координацию, так и фрагментацию» (Giddens 1990: 175). С этим определением я готов согласиться.

Некоторые применяют предложенную еще Максом Вебером трехмерную модель культурных, экономических и политических факторов (Osterhammel and Petersson 2005; Waters 1995), и такой подход мне наиболее близок, однако я провожу различие между военной и политической властью. Постмодернисты идут еще дальше и отвергают все «великие нарративы», утверждая, что общество бесконечно сложно и необъяснимо. Склоняясь к теории хаоса или впадая в релятивизм, они подчеркивают бессвязный, гибридный и фрагментарный характер мира. Аппадурай (Appadurai 1990) выделяет несколько «пространственных типов», или «воображаемых ландшафтов»: этнический, медий-

ный, технологический, финансовый и идеологический, которые составляют «подвижные, неоднородные ландшафты» и/или «разрывы» (*disjunctures*) глобализации. Питерс (Pietersee 1995) рассматривает глобализацию как некий гибрид, предполагающий «внутреннюю изменчивость, неопределенность и незавершенность». Еще один гиперглобалайзер — Бауманн (Baumann 2000) предпочитает термин «текущая современность», которая состоит, по его мнению, из зыбких этических норм, сомнений в правильности экспертных суждений, изменчивых организационных форм, информационных войн и детерриториализованной политики и экономики. Бауманн провозглашает, что текущая современность изменяет все аспекты жизни человека. Соглашаясь с тем, что глобализация носит гибридный характер, я не готов видеть в ней лишь текучесть, фрагментацию и неопределимость и предпочитаю рассматривать ее как процесс, направляемый сетями, которые более могущественны, чем остальные, в том, что касается структурирования, а также имеют относительно устойчивый и долгосрочный характер. У них новые формы, но старая генеалогия. Общие нарративы (*general narratives*) возможны, хотя они и носят более множественный и менее «великий» характер.

Перечисленные выше теории глобализации не затрагивают отношения военной власти. Их авторы упоминали отношения политической власти лишь затем, чтобы объявить, что глобализация подрывает национальные государства. Ирония состоит в том, что до 1990-х гг. большинство социологов просто игнорировали существование национального государства. В основу их теорий положены индустриальное общество либо капитализм, которые рассматриваются как транснациональные. На деле почти все социологи ограничивались исследованием собственных национальных государств, однако никакой теории национального государства они не выработали, поскольку рассматривали его лишь как частный случай более общего индустриального либо капиталистического общества. Потом они вдруг признали национальное государство, но сделали это в тот самый момент, когда оно якобы должно уже прийти в упадок. Убеждение в том, что глобализация подрывает институт национального государства, распространено весьма широко (например, Harvey 1989; Robinson and Harris 2000; Albrow 1996: 91; Baumann 1998: 55–76; Giddens 1990; Lash and Urry 1994: 280–281; Waters, 1995). Бек (Beck 2001: 21) называет глобализацию денационализацией и критикует то, что он называет «методологическим национализмом», который опирается на «контейнерную теорию общества», — уж извините, но я все же предпочитаю метафору «клетки» (*cage*). При этом Бек отмечает, что «контейнеры» дали течь,

что текучесть и подвижность мира принимают угрожающие масштабы, а «единство национального государства и общества распадается». Чтобы обозначить подрыв института национального государства сверху и снизу, географы придумали новый термин «глокализация», означающий, что *глобальные* экономические силы помимо прочего укрепляют *локальные* сети (мировые города и Силиконовые долины), встроенные скорее в мировую, нежели в национальную экономику (см. Swyngedouw 1997).

Как мы увидим, все это является большим преувеличением. Это весьма «западноцентричная» точка зрения, сторонники которой склонны рассматривать рыночный капитализм в качестве универсалии. Между тем, как мы увидим, значительная часть мира живет в условиях политизированных вариантов капитализма, где доступ к экономическим ресурсам открывается через связи с государством. Более того, даже на Западе государство не столько приходит в упадок, сколько меняется. Мировая экономика по-прежнему нуждается в государственном регулировании, и национальные государства приобрели целый ряд новых функций — от социального обеспечения до регламентации семейной и сексуальной жизни (Hirst and Thompson 1999; Mann, 1997). Остерхаммель и Петерссон (Osterhammel and Petersson 2005) отвергают то, что они называют либеральным детерминизмом большей части исследований в области глобализации. Они не видят ни одной реально работающей глобальной социальной структуры и считают, что национальное государство остается сильным и по-прежнему участвует в тарифных войнах, торговых спорах и жестком контроле миграционных потоков. Холтон (Holton 1998: 108–134) подчеркивает как сохраняющуюся мощь государства, которая опирается на растущее чувство этнической общности, так и тот факт, что комбинация этих факторов способна оказать мощное сопротивление силам глобального капитализма. Ему возражает Шолте (Scholte 2000), на фоне распространения космополитической и гибридной самоидентификации отмечающий расхождение понятий «нация» и «государство». Он утверждает, что глобализация включает процесс детерриториализации, хотя это и не означает конец государства. Скорее государственное управление становится все более многослойным, по мере того как происходит разделение между органами власти разных уровней — местного, национального и наднационального. Вайсс (Weiss 1999) отмечает, что, когда государства отказываются от своих функций, они делают это определенным образом, например проводя неолиберальную политику. С тем же успехом они способны принять меры по возвращению своих полномочий. Теоретики в области международных отношений (МО) расходятся во мнениях по во-

просу национального государства. Одни согласны с тем, что государства постъядерной эпохи ведут себя не так, как если бы они просто существовали в условиях Вестфальского мира (разумеется, простыми эти условия не были никогда). Другие — с тем, что государства «подрываются» транснациональными силами, которые порождают более «вариативные» структуры управления. В 1980-е гг. теоретики МО разделились на реалистов, считающих государство полномочным институтом, и сторонников взаимозависимости, акцентирующих внимание на появлении экономических и нормативных связей, носителями которых выступают транснациональный капитализм, мировое гражданское общество и глобальное правительство.

На какой же период предположительно приходится периоды расцвета и упадка национального государства? Питерс утверждает, что в период с 1840-х по 1960-е гг. «единственным господствующим вариантом организации человеческого общества было национальное государство». Подобный взгляд не только является преувеличением, но и носит европоцентричный характер. В тот период Западная Европа действительно отчасти двигалась в сторону создания национальных государств; Восточная Европа колебалась то в сторону создания национальных государств, то в сторону империй. Однако в остальной части мира преобладали империи. Даже в Европе вплоть до Первой мировой войны роль национальных государств была довольно скромной, поскольку тогда из инструментов экономической политики они располагали, пожалуй, лишь тарифным и валютным регулированием, а инструментов социальной политики не было вовсе. Интенсивная власть государства на собственной территории, как правило, была довольно ограниченной: жизнь большинства людей зависела от местных структур власти, тогда как элита являлась отчасти транснациональной. Как мы видели в томе 3, чувство принадлежности к нации действительно распространилось, но оно редко овладевало умами людей. Затем Великая депрессия обнажила тщетность притязаний на планирование [экономики], к которому государствам пришлось прибегнуть в Первую мировую войну. В результате они быстро вернулись к тому, что у них получалось лучше всего, — к ведению войн.

Впрочем, после Второй мировой войны большая часть их мечей была перекована на орала, а экономическая и социальная политика национальных государств углубила свое воздействие. Таким образом, государства развили куда более впечатляющую инфраструктурную власть над своими гражданами именно в непродолжительный период после 1945 г. Именно тогда могло показаться, что национальные государства становятся обще-

мировой формой политической организации. В тот непродолжительный период на планете распались все империи, кроме двух, а число самоопределившихся национальных государств продолжало расти. В настоящее время ООН насчитывает более 190 государств-членов, хотя многие из них обладают весьма ограниченной властью над предполагаемо своими территориями. Более того, современная глобализация помимо транснациональной содержит в себе интернациональную (международную) компоненту, представленную отношениями между государствами в рамках ООН, МВФ и G-20. Геополитика приобрела более глобальный и пацифистский характер. Хотя эту новую сферу внешней активности национальных государств принято называть мягкой геополитикой, она по-прежнему включает в себя отношения и между отдельными государствами.

Национальное государство и глобализация не являются оппонентами в «игре с нулевой суммой», когда победа одного означает проигрыш другого. На протяжении первой фазы, обсуждаемой в томах 2 и 3, когда метрополии империй стали национальными государствами, оба «игрока» развивались параллельно. Как отмечают Остерхаммель и Петерссон (Osterhammel and Petersson 2005), возникновение империализма и атлантической экономики привело к формированию сетей транспортных, коммуникационных, миграционных и торговых потоков, однако на фоне развития глобальных сетей укреплялись и национальные государства с националистическими движениями. В течение второй фазы (обсуждаемой в этом томе) из колониального пепла возникли национальные государства, самые развитые из которых приобрели наибольшую власть над жизнями своих граждан и наибольшую ответственность за них. Как я отмечал во втором томе, в последние два-три столетия происходило сращивание национальных государств и капитализма. Европейский союз — сложная политическая структура, включающая как общеевропейские политические институты, так и национальные государства, сохраняющие известную степень автономии. Однако Европейский союзом в конечном счете управляют интересы наиболее сильных государств-членов. Фундаментальными исключениями являлись советская и американская империи, при этом последняя остается единственной глобальной империей, какую когда-либо видел мир. Итак, движущими силами нынешнего процесса глобализации являются капитализм, национальные государства и американская империя — главные институты власти, обсуждаемые в данном томе.

Переплетение этих трех основных организаций власти порождает идеологии, распространяющиеся по всему миру. В томе 3 рассматривалось влияние коммунизма и фашизма. В данном

томе мы рассмотрим роль социальной и христианской демократии, либерализма и неолиберализма, а также религиозного фундаментализма. И хотя после Второй мировой войны межгосударственных конфликтов стало гораздо меньше, на смену им пришла холодная война, гражданские войны и американский милитаризм. Таким образом, нынешний период глобализаций требует объяснения с точки зрения всех четырех источников социальной власти. Глобализация носит универсальный, но полиморфный характер. Сообщества людей нуждаются в создании системы смыслов, в извлечении ресурсов для своего существования, в защите (и, возможно, в нападении) до тех пор, пока окружающий мир представляет для них опасность, а также в поддержании правопорядка внутри определенных границ контролируемых территорий. Общества — сети взаимодействия, на границах которых существует определенная степень рассеяния сети, — включают идеологические, экономические, военные и политические организации власти. Они содержат в себе разные логики, действующие в различных пространствах, но всегда по принципу равной каузальной значимости. Как мы увидим в последующих главах, порой они усиливают друг друга, иногда противоречат друг другу, в большинстве случаев они взаимно ортогональны, несхожи, не связаны между собой, создают друг другу непредвиденные проблемы, препятствуют сплоченности и общей интеграции в процесс дальнейшего расширения.

Глава 2 начинается с обсуждения послевоенного миропорядка, хотя в некоторых частях света и царил беспорядок. Тремя его столпами являлись неокейнсианская экономическая политика, как внутренняя, так и международная; холодная война, усилившая идеологическую борьбу за власть, но также стабилизовавшая геополитические взаимоотношения и укрепившая порядок среди наиболее развитых стран мира; американская империя. Учитывая роль США, я посвятил две главы анализу развития американского общества вплоть до 1960-х гг. Глава 5 содержит анализ американского империализма, распространившегося по всему миру, с акцентом на многообразии его проявлений — в одних регионах он имел достаточно милитаристский характер, в других — лишь гегемонистский; в одних регионах он был успешен в достижении своих целей, в других — исходил из ошибочных представлений, а потому потерпел провал, оставив в наследство новому веку незавершенные дела (обсуждаемые в главе 10). Главу 6 открывает исследование попыток гуманизации капитализма, предпринятых после войны правительствами либералов, социал-демократов и христианских демократов, путем расширения гражданских прав и проведения неокейнсианской экономической политики массового потребления. Однако

заканчивается она обзором причин банкротства этого короткого золотого века и установления более жестких неолиберальных режимов. В главе 7 обсуждается провал советской коммунистической альтернативы, а также относительный провал попыток постсоветских стран осуществить желаемый переход к демократическому капитализму. В главе 8 мы обсуждаем второй крупнейший коммунистический режим в Китае и его роль в осуществлении гораздо более эффективной с экономической точки зрения трансформации в гибрид партийного государства и рыночного капитализма, однако без претензий на движение к демократии. В главе 9 разрабатывается теория современной революции на основе материала, представленного в томе 3, а также в настоящем томе.

Глава 10 противопоставляет устойчивый успех экономического империализма США явному провалу их попыток возрождения военного империализма. В главе 11 обсуждается парадокс неолиберализма: с одной стороны, его пагубная экономическая политика привела не к укреплению коллективной власти, а к Великой рецессии 2008 г.; с другой стороны, это, по-видимому, лишь усилило «дистрибутивную» власть развитых стран. Эти две главы завершаются обзором причин относительного упадка Запада и подъема остального мира. В главе 12 обсуждается надвигающаяся катастрофа, связанная с изменением климата, и подчеркивается, насколько нелегки задачи по ее предотвращению. Парадокс в том, что причинами изменения климата оказываются три великих достижения XX в.: капиталистическое стремление к прибыли; приверженность национальных государств задачам экономического роста; обретение гражданами прав на массовое потребление. Усомниться в этих достижениях — значит бросить вызов трем самым мощным социальным институтам последних лет. Наконец, в главе 13 я пытаюсь сформулировать два рода заключений, предложить обобщения глобальной траектории современного общества, а также некоторые обобщения относительно споров в рамках социологической теории по вопросу первичности: какие силы в конечном счете движут общество вперед?

## ГЛАВА 2

# Послевоенный мировой порядок

**В**ТОРАЯ мировая война коренным образом изменила отношения геополитической власти в мире. Она нанесла смертельный удар по европейским империям и Японии, которые распались сразу же после нее или спустя одно-два десятилетия. Кроме того, война обусловила две коммунистические победы: стабилизацию и расширение господства Советского Союза над Восточной Европой и захват коммунистами власти в Китае (которые обсуждались в томе 3). Эти два режима оказывали на мир сильное идеологическое влияние; они регулярно направляли военную помощь дружественным режимам и движениям за рубежом; экономики обеих стран отличались высокой степенью автаркии и были отчасти изолированы от большей части внешнего мира. Все вызванные войной изменения возвысили США над большинством остальных государств. Доминирование Соединенных Штатов опиралось на два главных столпа: новый и гораздо более эффективный международный экономический порядок, правила которого они сами и установили, и геополитическую стабильность, обеспечиваемую американской военной мощью, а также тем, что назвали холодной войной (хотя в Азии война была фактически горячей). Я начну с упадка и разрушения империй.

### КОНЕЦ КОЛОНИАЛИЗМА

Хотя в главах 5 и 10 я утверждаю, что США со времен Второй мировой войны представляли собой империю, однако у нее не было колоний. Ей противостояла другая империя, и хотя можно спорить о том, были или нет страны Восточного блока колониями Советского Союза, они отличались от других колоний. Прежде всего СССР не эксплуатировал их экономически, совсем наоборот — он их субсидировал. Более или менее колониальным можно считать господство Советского Союза лишь над тремя маленькими балтийскими республиками, поскольку там



была хозяйственная эксплуатация, а также русские поселенцы. В то же время другие колониальные империи прекратили существование. Германской, итальянской и японской империям война нанесла быстрый *coup de grace* (смертельный удар). Разгром Германии и Японии был настолько велик, что они в течение целого десятилетия боролись за восстановление экономики и возвращение политической независимости. Более долгосрочным оказался фактор демилитаризации, которую ждали народы этих стран. Хотя Германия и Япония стали великими экономическими державами, они не располагали адекватной военной мощью. Им пришлось сменить жесткую геополитику на мягкую.

Война подорвала силы и других европейских империй. Элиты колониальных народов не хотели быть обманутыми во второй раз, как это случилось в Первую мировую войну, когда они, соблазненные смутными и пустыми обещаниями послевоенного расширения политических прав, сражались за имперские метрополии. Смелости многим из них придавала проявившаяся в ходе войны слабость колониальных режимов (в Азии об этом позаботились японцы). В 1940 г. Франция, Бельгия и Нидерланды были завоеваны Германией. Наряду с французскими и голландскими колониями Япония стремительно захватила и оккупировала большую часть азиатских владений Великобритании. Быстрый захват Малайи японскими войсками увенчался падением считавшегося неприступным Сингапура и капитуляцией британских сил, вдвое превышавших японцев. Это поражение стало для англичан достаточным унижением, но шокирующим оказалась мера участия в нем малайских националистов. «Нас постигла величайшая катастрофа в истории», — сообщал Черчилль Рузвельту (Clarke 2008: 19). Тем самым был развеян миф о неуязвимости белого человека и Британской империи; мало того, англичане тут же лишились громадных прибылей от реализации малайского олова и натурального каучука. Хотя Великобритания и одержала победу в войне, ее имперскому владычеству в Азии не суждено было вернуть себе былое величие и престиж.

До появления европейских колонизаторов азиатские народы либо обладали собственной государственностью (как во Вьетнаме), либо входили в состав мультигосударственных политических структур (как в Индонезии). Элиты и, возможно, часть народа ощущали принадлежность к единому политическому целому и, вероятно, даже испытывали чувство национальной общности. Колониальные власти проводили модернизацию, в ходе которой улучшались коммуникационная инфраструктура и образовательные учреждения, создавались плантации и фабрики, однако эти же процессы, как правило, укрепляли

национальное самосознание (подобно тому как это происходило в Европе XIX в.). Чем больше колониальные власти делали для развития местной экономики, тем сильнее вспыхивал национализм. Еще до Второй мировой войны лидеры националистов в колониях подавали петиции, проводили демонстрации и устраивали беспорядки, добываясь политической автономии, а иные даже требовали полной независимости. Однако протонационалистические движения были, как правило, разделены по классовому и этническому принципу, а колонизаторы сохраняли подавляющее превосходство в силе. Война заставила в этом усомниться.

Главная азиатская колония Великобритании — Индия — уже располагала довольно мощным национальным движением и не была завоевана. Однако Британская корона с типично имперским высокомерием объявила войну Японии, не посоветовавшись с индийскими национальными лидерами, и те пришли в ярость. Ганди был против участия в войне; другие лидеры готовы были его поддержать, но лишь под гарантии того, что после войны индийцы получат политические права. В ходе войны большинство индийских солдат, а их было 2 млн, сохранили верность присяге и мужественно сражались в Африке и Бирме. В то же время другая индийская армия численностью 45 тыс. человек выступила на стороне японцев против англичан; кроме того, 3,5 тыс. выходцев из Индии воевали на стороне Германии. Парадоксально, но факт: европейский нацизм и японский милитаризм, направленный против белых, были в Азии восприняты борцами за национальную независимость как положительный фактор. Не способствовал успеху британцев и расизм Черчилля. В мемуарах министра по делам Индии Лео Амери есть ссылка на эпизод военного времени. «В разговоре со мной, — вспоминает он, — Уинстон просто взорвался: „Я ненавижу индусов. Это звериный народ со звериной религией“». Черчилль отказался помогать «худшему из всех народов, если не считать немцев... Пусть из-за своей глупости и подлости они сдохнут от голода» (Bayly and Nagreg 2004: 286). Чтобы ослабить индийскую оппозицию, Черчилль распорядился отправить Ганди и Неру в тюрьму, но это не помогло. Тогда в Индию был направлен британский министр труда Стаффорд Криппс, чтобы в обмен на уступки добиться от индийцев сотрудничества в вопросах ведения войны. По пути он остановился в Судане, где выпускники местного университета неожиданно вручили ему петицию с требованием самоуправления. И так, туземцы пробуждались на всех континентах.

В Индии Криппс обещал националистам участие в работе созданного на период войны Исполнительного совета при бри-

танском вице-короле (по всем вопросам, кроме военных). Индийские националисты в ответ потребовали участия в разработке военной стратегии, тогда как Мусульманская лига во главе с Джинной склонялась к созданию после войны собственного независимого государства. На оба требования Черчилль ответил отказом и задумал свалить чрезвычайно популярного Криппса — потенциального соперника за пост премьер-министра. Впоследствии так и произошло, и соглашение с индийскими националистами не было заключено. Однако те восприняли миссию Криппса как знак того, что после войны их страна получит независимость, поэтому многие высказались в поддержку военных действий. Индийская армия под британским командованием при содействии бирманских горных племен сражалась в Бирме: в 1942–1943 гг. — без особого успеха, но в начале 1944 г. наступил перелом — японцы, линии снабжения которых чрезмерно растянулись, были остановлены, а затем наголову разбиты. Это первое крупное поражение японских сухопутных сил означало спасение Индии и стало единственной доброй вестью из азиатских колоний Великобритании (Bayly and Harper 2004: chap. 7; Clarke 2008: 19–23). Однако еще до этого японцам удалось захватить в Азии все французские и голландские владения.

В британской политической элите, особенно в Лейбористской партии, нарастали разногласия. Левые лейбористы осознавали, что по окончании войны британскому владычеству в Индии придет конец. Консерваторы все как один этому сопротивлялись. Если бы Черчилль в 1945 г. выиграл выборы, он постарался бы если не предотвратить, то хотя бы отсрочить независимость Индии, однако рост популярности Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги сильно усложнил бы ему эту задачу. Впрочем, убедительную победу на выборах одержали лейбористы. Клемент Эттли, новый премьер-министр Великобритании, и Стаффорд Криппс, отвечавший теперь за экономику, все еще верили в миссию белого человека и стремились удержать Индию. Тем не менее неподатливая индийская оппозиция, хотя и расколовшаяся на индуистов и мусульман, добила от английского правительства независимости (в форме создания в 1947 г. двух новых государств — Индии и Пакистана). Всем стало очевидно, что у Великобритании нет военных ресурсов, чтобы обеспечить порядок на всем субконтиненте. Здесь нарастало не только яростное сопротивление британскому правлению, но и соперничество различных националистических группировок. Индийская армия, также раздираемая междоусобицей, перестала быть надежным инструментом для проведения репрессий. Война сделала независимость субконтинента неизбежной.

В других странах Юго-Восточной Азии дела обстояли иначе. Так, японцы, покончившие с правлением англичан, французов и голландцев, так и не выполнили своих обещаний предоставить свободу колониальным народам. Японское правление оказалось страшнее, чем правление европейцев. Сопротивление местных жителей японцам привело к появлению партизанских движений, а японцы, в свою очередь, создавали на территориях оккупированных стран местные ополчения в поддержку своих военных действий. Эти военизированные формирования имели различные политические и этнические оттенки. Национализм, как выразились Бейли и Харпер (Bayly and Harper 2007: 16), приобрел новое лицо, и это было «лицо молодого боевика». По возвращении колониальным властям пришлось бороться с отрядами вооруженных повстанцев, которые требовали независимости, иногда сражаясь друг с другом. Это опять же поглощало ресурсы метрополий. По сути, в 1945 г. Британия была в этом регионе единственной колониальной державой, располагавшей значительной и боеспособной армией. Примерно до 1946 г. ее основу составляли индийские части, усиленные британскими полками и отрядами из Западной Африки и Австралии. Силами этой армии Великобритания легко вернула себе Бирму, Малайзию и Сингапур, где имелись ресурсы, весьма ценные для выживания империи. Огромное кольцо империй вокруг Азии, по мнению англичан, по-прежнему замыкалось на Юго-Восточной Азии. Самостоятельно закрепиться там вновь французы и голландцы не могли, и, чтобы помочь им восстановить колониальное правление в Индокитае и Индонезии, Великобритания направила туда свою армию. Неожиданно Британская империя оказалась доминирующей силой во всем регионе. Однако в действительности ее военные ресурсы были сильно рассредоточены, поэтому для подавления национального повстанческого движения в Индонезии и во Вьетнаме англичанам пришлось вооружить ранее капитулировавшие там японские войска — наглядный пример солидарности колонизаторов. Во Вьетнаме все это подтолкнуло националистически настроенных повстанцев Вьетминь к коммунизму, позволив Франции удержать за собой юг страны, что и предопределило 30 лет междоусобной войны. Самыми слабыми оказались голландцы, которых — не без одобрения американцев — после двухлетней гражданской войны изгнали из Индонезии. В США поняли, что если поддержать голландцев, то индонезийские националисты скорее всего станут коммунистами — редкий случай проявления здравого смысла в Вашингтоне. По отношению к французским и британским владениям американская политика была иной, поскольку в США полагали, что эти две империи противостоят коммунизму.

Однако по мере того как независимость Индии становилась все реальнее, использовать ее вооруженные силы для развертывания за рубежом стало делом затруднительным, а затем и вовсе невозможным (за исключением полков гуркхов — надежных, но набранных в частном порядке). Британская военная власть в регионе ослабла. Однако японские репрессии помешали националистам создать в странах региона стабильные политические партии типа Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги. Этническая и политическая раздробленность не только ослабила движения за независимость, но и усилила беспорядок. Британия еще могла некоторое время поддерживать в регионе минимальный уровень управляемости, но это достигалось лишь с помощью оружия и массовых репрессий. В Бирме англичане решили поддержать местные вооруженные силы, в результате чего установился деспотизм военных, страшное наследие которого сохраняется и сегодня. В Малайе британские власти, следуя принципу «разделяй и властвуй», перешли к косвенному управлению через федерацию малайской аристократии, наделив ее привилегиями, а также английских плантаторов и богатых китайских купцов. Однако это лишило привилегий большую часть достаточно многочисленного китайского меньшинства, которое теперь поддерживало партизанские отряды коммунистов, ранее возглавивших антияпонское сопротивление. В итоге кровавая гражданская война, длившаяся целое десятилетие (так называемое чрезвычайное положение в Малайе), завершилась победой англичан, которые применяли тактику выжженной земли, в том числе насильственное переселение крестьян в районы, контролируемые британскими войсками. Это стало единственной в регионе военной победой Запада над коммунизмом в годы так называемой холодной войны. Таким образом, в Азии война против Японской империи практически без задержки перешла в войну против европейских империй, а затем и против Соединенных Штатов. Хотя усилия и страдания, связанные с сохранением империй, продолжались, в 1945 г. их печальная судьба была уже предрешена (Bayly and Nagreg 2004, 2007; Douglas 2002: 37–57).

В Африке националистические движения до войны были куда слабее. В отличие от Азии африканский национализм, как правило, не мог развиваться из чувства политической общности, поскольку колониальные границы не соответствовали границам политических субъектов предшествующего периода. Тем не менее война способствовала сплочению местных националистов, хотя и повела их по менее насильственному пути. Здесь не было независимых народных ополчений (*militias*). Африканцы сражались на стороне метрополий против своих соседей. Однако

борьба плечом к плечу с европейцами против общего врага зачастую пробуждала в солдатах чувство равенства и даже боевого товарищества. В годы войны африканцы с полным правом убивали белых людей, что подрывало любые имперские претензии на расовое превосходство. В британские вооруженные силы было призвано свыше миллиона африканцев. Для проведения столь масштабной мобилизации в колониях пришлось создать коммуникационную инфраструктуру, ввести макроэкономическое планирование и зачатки системы социального обеспечения. Два официальных отчета о состоянии дел в африканских колониях, представленные лордом Хейли, констатировали провал косвенного правления в Африке и насущную необходимость ее экономического развития. Тем не менее британские власти не спешили вводить в колониях систему представительного правления. Министр по делам колоний лорд Крэнборн заявлял: «Если мы хотим, чтобы Британская империя сохранилась... [то] вместо обучения колониальных народов самоуправлению нам следует поступать ровно наоборот — привлекать их к работе в рядах нашей администрации» (Nugent 2004: 26).

В послевоенные годы в колониях продолжалась политика догоняющего развития, сфокусированная на строительстве школ, железных дорог и автомобильных шоссе. Были созданы четыре университета в Африке и один в Вест-Индии. В колонии устремились британские медики, агрономы, ветеринары и учителя (White 1999: 49; Kirk-Greene 2000: 51–52; Lewis 2000: 6; Hyam 2006: 84–92). Представители африканских элит вошли в большинство местных органов власти, а Золотой Берег (будущая Гана) стал первой колонией, где они заседали в колониальном правительстве. У Великобритании было два основных мотива в новой стратегии догоняющего развития: ослабить движения за независимость и извлечь экономическую выгоду. Особо полезным для облегчения хронической нехватки долларов в послевоенной Великобритании был признан экспорт африканского сырья в Соединенные Штаты. Таким образом, рост экспорта был выгоден как США, так и Великобритании. К 1952 г. африканские колонии обеспечивали свыше 20% долларовых резервов в странах стерлинговой зоны. Британские политики надеялись на то, что хозяйственное развитие Африки продлит век империи путем расширения участия неевропейских инвесторов в предприятиях колониальной экономики (Nugent 2004: 26–27; White 1999: 9–10, 35, 49).

Этого не произошло. В 1940-е гг. экономическое развитие Африки привело к росту числа городских рабочих, учителей, юристов и государственных служащих. Домой вернулись сотни тысяч солдат с укрепившимися требованиями к властям.

Война и стратегия догоняющего развития значительно расширили социальную опору африканского национализма (Coker 1996: part II). В Гане, где колониальные власти не желали иметь дело с профсоюзами и с 1920-х гг. подавляли любые забастовки, в 1941 г. война привела к признанию легитимности и профсоюзов, и забастовок. В военное время правительству нужны были не классовые конфликты, а классовое сотрудничество. В 1940-е гг. взлет количества рабочих волнений был более устойчивым, чем после Первой мировой войны, их ядром были горнодобывающие и транспортные предприятия. В результате рабочие-африканцы получили право на создание профсоюзов и заключение коллективных договоров. Рабочие профсоюзы, крестьянские организации и городские демонстранты превратили антиколониальное инакомыслие элиты в массовое движение. Как отметил Кваме Нкрума, первый президент Ганы, «без участия простого народа, послужившего тараном, элита среднего класса не смогла бы разрушить силы колониализма» (Silver 2003: 145–148). Тем не менее африканскому руководству удалось обуздать рабочие профсоюзы, поскольку ему были нужны не классовые конфликты, а национальная солидарность.

Впрочем, это был своеобразный национализм без чувства причастности к конкретной нации. Национализм был побочным продуктом ситуации, в которой политическую борьбу против колониализма африканцам приходилось вести на уровне отдельных колоний. На самом деле ганская или нигерийская нация была лишь планом на будущее, созревающим в сознании узких элит. Реальность заключалась в том, что африканский национализм, как это явствует из его названия, был расовой категорией, заявкой на единство африканцев в борьбе против их эксплуатации белыми (а на севере континента — на единство арабов и мусульман против их эксплуатации европейцами и христианами). Эти идеи — и их азиатский эквивалент (*Occidentalism*) — стали ответом на расизм европейцев и ориентализм Запада, что имело столь же слабую связь с реальностью. Если в Азии национализм возник из взаимодействия расового и национального компонентов, то в Африке вся эта работа пришлась на одну лишь расовую составляющую. Именно поэтому в деле достижения независимости Азия опередила Африку. Антиколониальное движение на расовой основе породило много вопросов, сделавших «расу» спорной концепцией, а когда движению удалось изгнать белых, идеология расового превосходства утратила реальное обоснование. Таким образом, расовая проблема, как ни парадоксально, привела к идеологическому ослаблению расизма, подобно тому как это сегодня происхо-

дит во внутренней политике США. Расизм, который был, пожалуй, наиболее влиятельной идеологией последних двух столетий, теперь пребывал в серьезном упадке.

По иронии судьбы наибольшие шансы стать националистами-агитаторами были у тех местных жителей колоний, которые играли роль передаточного механизма в косвенном имперском управлении и которым он был больше всего на руку. В Судане они были «извечными врагами колониализма, делавшими его господство реальностью и одновременно мечтавшими о его упразднении» (см. Sharkey 2003: 1, 119). Сначала они требовали автономии в рамках империи, но вскоре, в 1950-е гг., усиление политических партий, одни из которых контролировали муниципальные органы власти, сделало независимость неизбежной. Хотя англичане намеревались постепенно предоставить африканским колониям статус доминионов, а позднее к аналогичной точке зрения склонились и французы, ни та ни другая держава не желала уступать требованиям равного социального гражданства для африканцев. Ни белые поселенцы в колониях, ни налогоплательщики в метрополиях не поддерживали идею включения местного населения колоний в состав гражданского общества метрополий с теми же социальными правами, что и у европейцев, поэтому предоставление африканцам независимости оказалось неизбежным. Как я подчеркивал в томе 3, расизм как идеология всегда был значимым фактором при создании европейских империй. Теперь же он сыграл свою важную роль в процессе деколонизации, причем с обеих сторон.

Первыми неизбежность обретения колониями независимости осознали либералы и социалисты, они стали содействовать процессу деколонизации путем сотрудничества с местными националистами (Wilson 1994: 21, 39, 77–78, 149–150, 201). Свою лепту в процесс деколонизации внесли и Соединенные Штаты, подстрекаемые к этому антиколониальной риторикой СССР, при этом они давали задний ход всякий раз, когда в условиях холодной войны им требовалась поддержка Великобритании или Франции. Недавно созданная Организация Объединенных Наций (ООН) со своей стороны делала выпады против империализма, но это было не столько причиной, сколько следствием деколонизации, поскольку каждая страна, обретавшая независимость, вступала в ООН, постепенно увеличивая антиколониальное большинство. В 1950-е гг. нарастало ощущение того, что программы догоняющего развития для Африки не работают, в то время как восстановление экономики Великобритании уменьшало ее потребность в долларах. Когда в 1957 г. премьер-министр Макмиллан провел анализ затрат и выгод Британской империи, оказалось, что, хотя колонии и приноси-



ли определенную прибыль, деколонизация не грозила Великобритании существенными потерями. То же самое было почти за 200 лет до этого, когда независимость от Англии обрели американские колонии, о том же свидетельствовал недавний опыт голландцев после ухода из Индонезии. Американская империя вообще отказалась от колониализма; США нашли другие способы управления коренными народами. Британским же властям пришлось пройти весь путь до конца под воздействием напористых африканских националистов, которые вместо партизанских войн устраивали забастовки и демонстрации. Кроме того, на Африканском континенте, в отличие от Азии, угроза коммунизма была невелика (McIntyre 1998; ср. Douglas 2002: 160; Cooper 1996: part IV).

Историки дают разные объяснения упадку Британской империи. Хаим (Нуам 2006: XIII) перечисляет четыре возможных объяснения: национально-освободительное движение, имперское перенапряжение сил, ослабление британской воли и международное давление. В своем исследовании официальной позиции Великобритании ученый приходит к выводу, что самым важным из четырех факторов было международное давление. Я назвал бы этот фактор наименее важным, за исключением давления со стороны японского милитаризма. Это давление зависело от крупных националистических движений в колониях, продолжавших упорно добиваться прав, которые формально провозглашали США и ООН. Очевидно, что перенапряжение сил было важно в военном смысле, но только в том случае, если сопротивление африканцев приходилось подавлять силой. Это, в свою очередь, предполагало некоторое перенапряжение фискальной системы. Тем не менее империя оставалась умеренно прибыльной, хотя в докладе Макмиллана этот довод оспаривался (в том смысле, что прибыль можно было получать и без формальной империи). Перенапряжение военных сил и ослабление британской воли были факторами взаимосвязанными, однако несколькими годами раньше англичане решили, что могли бы сохранить империю не репрессиями, а путем хозяйственного развития. Они ошибались, поскольку экономическое развитие колоний вело к еще большему росту национализма. Однако англичане уже не могли вернуться к политике репрессий, коль скоро предпочли стратегию развития, особенно учитывая трагические неудачи французской армии во Вьетнаме и Алжире. Великобритания ушла из Африки и Азии раньше французов, но и этот уход, по мнению исследователей, нельзя признать изящным. Англичан оттуда выдавили, но прежде они проявили в Африке изрядную долю реализма еще до того, как возникла необходимость в серьезных репрессиях. В томе 3 отме-

чалось, что Британская империя была не только самой обширной, но и самой рентабельной империей, успех которой стал результатом большой дальновидности — политической и геополитической. Возможно, этим уходом англичане подтвердили свою репутацию наиболее прозорливых империалистов. Они почувствовали, что война и политика догоняющего развития довели сопротивление африканцев до точки, в которой в действие вступали остальные три фактора, упомянутые Хаимом. В конечном счете решающим фактором оказалось продолжение сопротивления местных жителей.

Впрочем, здесь присутствовал еще один вид международного давления. Подобно революциям в XX в. и распаду империй в Европе после Первой мировой войны деколонизация проходила волнами. Индия запустила волну борьбы за независимость в крупных азиатских колониях, практически завершившуюся к 1957 г., хотя Малайзия и Сингапур стали независимыми лишь в 1963 г. В 1956 г. волна борьбы за независимость распространилась на Африку — Тунис, Марокко и Судан (хотя последний случай необычный: там произошел раскол в совместном англо-египетском правлении). Основной всплеск деколонизации в Африке пришелся на следующий год, когда Золотой Берег стал независимой Ганой. Там была наиболее развитая экономика (если не брать колонии с большой долей европейских поселенцев), а также самое организованное и многочисленное националистическое движение в городах. Теперь колониальные администрации в Африке (в том числе власти во Французской Западной Африке) сетовали на то, что для их местных жителей пример Ганы оказался заразительным. Так оно в действительности и было. В 1960 г. британский премьер-министр Макмиллан, обращаясь сначала к восторженной ганской аудитории, а в другом (более известном) случае — к недовольной белой аудитории в Южной Африке, заявил: «Над этим континентом веет ветер перемен, и нравится нам это или нет, но рост национального самосознания сегодня является политическим фактом. Мы все должны принять это как политический факт, и наша национальная политика не может с этим не считаться». Макмиллан указал на важный фактор идеологической власти, усиливший одну за другой группы сторонников национально-освободительного движения в колониях по всей империи. Этот ветер не стихал. В 1960-е гг. парад суверенитетов продолжался: за более крупными колониями, такими как Нигерия и Кения, последовали более мелкие. Белые поселенцы колоний относительно успешно (пропорционально своей численности) отсрочили передачу власти туземцам. Наиболее радикальным оказался случай с Южной Африкой, где крупнейшее по численности белое меньшинство,

потрясенное речью Макмиллана, освободилось от Великобритании, при этом усилив расовую эксплуатацию посредством политики апартеида. Это крупный «осколок» Британской империи смог просуществовать до 1990-х гг.

Уход Британской империи из Африки был не лишен торжественности, поскольку британская политическая элита решила не считать его поражением. В этом позиция англичан отличалась от позиции французов, которые восприняли свой уход из колоний как фиаско, а потому сопротивлялись дольше — до тех пор, пока их армии не потерпели реальное поражение во Вьетнаме и Алжире. Ничего подобного не случилось с Британской империей, поскольку англичане оставили свои колонии заранее, не дожидаясь военного поражения. Располагая опытом предоставления своим белым доминионам самоуправления, британское правительство интерпретировало передачу власти африканцам не как вынужденную меру, вызванную протестами туземцев, а как щедрый дар британской короны. Некоторые английские политики были убеждены, что уход из колоний позволит метрополии сохранить там влияние в постколониальный период. В отличие от двух сверхдержав они предлагали третий путь — Британское Содружество наций как некий союз первого и третьего миров. Таковой была позиция британских политиков в 1950–60-е гг. (White 1999: 35, 98–100; Heinlein 2002). И в какой-то степени так действительно и было.

В долгосрочном плане Британская империя становилась более конструктивной. Начав как грабительское предприятие с присущими ему убийствами и порабощением местных жителей (о чем я писал в томе 3), она превратилась в косвенную империю с более свободными трудовыми отношениями и открытой транснациональной экономикой. В результате колонии оказались вовлеченными в процесс экономической глобализации, хотя до Второй мировой войны их хозяйственное развитие оставалось минимальным. В рамках косвенного правления местная элита была наделена некоторой политической властью, а в публичной сфере британская администрация старалась заглушить проявления расизма. И хотя местные власти зачастую преклонялось перед имперскими хозяевами, в частной сфере их держали на достаточном расстоянии по расовым соображениям. Экономическое развитие колоний (когда оно наконец началось в середине XX в.) способствовало крушению империй, поскольку привело к расширению националистических движений. Мировые войны подорвали военную, но не экономическую власть европейцев, которые именно в период военной и послевоенной строгой экономии вложили в хозяйство своих империй большую часть ресурсов. Однако ничем хорошим для им-

перий это не кончилось, поскольку развитие колоний привело к усилению антиимпериалистических настроений. В XX в. две первые волны крушения империй были вызваны двумя общими триггерами: военным соперничеством великих держав и национально-освободительными движениями. Это был конец эпохи расколотой глобализации. Теперь в мире оставались лишь две империи.

## ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПОСТСКРИПТУМ

С обретением независимости претензию на власть в бывших колониях предъявили не местные феодалы или вожди, а образованные элиты среднего класса. Однако их социальная база была узкой, поскольку некого было мобилизовать — в бывших колониях отсутствовали нации. Демократии обычно существовали там недолго, за исключением Индии. Тем не менее их экономический рост вполне соответствовал темпам мирового экономического развития главным образом за счет спроса на сырье. Так продолжалось до тех пор, пока общий экономический кризис в начале 1970-х гг. не привел к уменьшению спроса на продукцию из стран Африки, что лишь усугубилось долгосрочным трендом снижения цен на сырье по отношению к ценам промышленных товаров. После того как спрос ослаб, а цены упали, зависимость от экспорта единственного вида сельскохозяйственного или минерального сырья сделала экономику этих стран весьма уязвимой. В любом случае деколонизация вопреки широко распространенному мнению большого экономического эффекта не имела. Наиболее приемлемой периодизацией деколонизации выступает та, где основанием служат фазы мировой экономики, а не природа политических режимов (Соорег 2002: 85–87). Однако узкая отраслевая база экономики также усугубляла ограниченность социальной базы и усиливала тенденцию к авторитаризму политических элит. Коррупция стала причиной того, что огромные средства, вместо того чтобы стать инвестициями в национальную экономику, вывозились за границу. По оценкам, рассчитанным в 1999 г., за рубежом было размещено до 40% частного капитала жителей Африки по сравнению с 10% капитала в Латинской Америке и 6% в Восточной Азии (Maddison, 2007: 234). Африканские проблемы серьезно осложнялись и политическими неудачами.

Что если они были устойчивым наследием колониализма? Повседневная жизнь людей изменилась — структура питания, языковая культура, музыкальные предпочтения и расовые отношения. В международном общении все больше доминировал

английский язык, чему в последнее время содействовали Соединенные Штаты. Распространялись британские виды спорта. Усилиями британской неформальной империи повсеместное распространение получил футбол, тогда как регби и крикет остались локальными видами спорта, в основном ограниченными сферой прямого имперского управления. Американские бейсбол и баскетбол по-прежнему широко распространены на просторах их неформальной империи, в то время как в мировом кинематографе преобладает Голливуд. Однако в современном мире больше не возникает непреходящих культурных артефактов, сопоставимых с храмами майя, римскими аренами или Великой Китайской стеной. Европейские империи увезли все излишки и заменили их дешевыми товарами и непритязательной архитектурой. Печально, но факт: каковы империи, таково и имперское наследие.

Исследователи попытались дать количественные оценки экономическому и политическому наследию эпохи колониализма. Их выводы об экономике оказались в основном отрицательными. Чем менее независимой была страна в колониальный период, тем глубже была ее интеграция в мировую экономику в 1960–80-е гг., измеряемая отношением объема ее торговли к ВВП. Но чем меньше была доля обрабатывающей промышленности в ВВП страны, тем ниже был уровень грамотности взрослого населения, тем меньше была продолжительность школьного обучения и тем медленнее были темпы экономического роста начиная с 1870 г. Если бы колонии были суверенными странами, то темпы роста их экономики были бы в среднем на 1,6% выше (Alam 2000: гл. 6). С этим соглашается Kriegerhaus (2006): «В течение последних сорока лет наиболее эффективным способом добиться экономического прогресса было избегание европейского колониализма».

Наибольший рост экономики показали бывшие колонии белых поселенцев, такие как США, Канада и Австралия. Эти европейские поселенцы, «разгадавшие тайну устойчивого роста ВВП на душу населения», создали капиталистическую систему с гарантиями прав собственности, либеральным государством и инвестициями в человеческий потенциал. «Неоевропейские» страны, частично населенные европейцами (Южная Африка, Бразилия или Алжир), развивались быстрее сырьевых колоний с добывающей экономикой, доходы от которой в несоизмеримой пропорции присваивались европейскими элитами. Самые низкие темпы роста были в Африке и Азии, где интересы европейцев состояли в том, чтобы «завоевывать, грабить и обращать в свою веру». Как утверждает Асемоглу с соавторами (Acemoglu et al. 2001), в тропических колониях, где смерт-

ность среди европейцев была высокой, они устроили систему эксплуатации на основе узкой добывающей специализации, которая сохранилась и после объявления независимости. Там, где европейцы могли закрепиться навсегда, они создали институты, в большей мере ориентированные на развитие. Введенное ими в обиход выражение «институты правят бал» является эвфемизмом. В реальности бал правила политика истребления аборигенов и замены их европейцами со своими социальными институтами. Геноцид способствовал развитию, но только не для туземцев. По-видимому, если бы не империи, то экономическое положение большинства стран было бы гораздо лучше. Особый случай представляла Японская империя, в колониях которой наблюдался значительный экономический прогресс, сопровождавшийся, впрочем, жестокостью по отношению к населению подвластных территорий (как мы видели в томе 3).

Исследователи разошлись в оценках влияния колониализма на институты представительного правления. Некоторые из них полагают, что колониальный деспотизм и подавление ростков гражданского общества оставили постколониальным странам плохое наследство (Young 1994: chap. 7; Chirot 1986: 112–118). Как показывают количественные исследования, из всех политических режимов наименьшие шансы породить стабильную демократию были у колоний, где не было белых поселенцев, хотя в этой ситуации трудно вычленить влияние фактора экономической отсталости (Bernhard et al. 2004). Долгое время считалось, что британское наследие дает хорошие шансы на появление представительного правления после исчезновения империи (Rueschmeyer et al. 1992). И хотя в последнее время провалы демократии во многих бывших британских колониях уменьшили данный эффект, эти страны наряду с бывшими колониями США остаются наиболее вероятными кандидатами на построение демократии (Bernhard et al. 2004: 241). Тем не менее последствия колониализма не представляются столь уж первостепенным фактором — не следует приписывать все существованию империй. Страны и регионы имеют собственные эндогенные культуры и институты, зачастую оказывающие большее влияние на их развитие. Европа и США, а также британские белые доминионы продолжали испытывать бум экономического роста. Страны Латинской Америки наполовину развивались, наполовину стагнировали в зависимости от состава населения (отчасти коренного, отчасти европейского, в том числе потомков африканских рабов). Лишь сегодня коренные жители этих стран получают полноценное гражданство. Африка южнее Сахары обнаруживает признаки регресса и являет-

ся большим экономическим провалом. В отличие от нее страны Восточной и Южной Азии находятся сегодня на подъеме.

Таким образом, если до прихода колонизаторов страна обладала высоким уровнем цивилизации, а после их ухода смогла его сохранить, то у нее были хорошие шансы найти собственные формы правления и пути развития экономики. Это характерно для Индии, Китая (при коммунистах), Южной Кореи и большинства стран Юго-Восточной Азии, продемонстрировавших максимальные темпы экономического роста. В более отсталых странах Африки европейцы прервали наметившиеся в XIX в. тенденции к централизации в империях Зулу, Сокото, Махди и Ашанти, лишив тем самым коренные народы Африки возможности стать субъектами мировой экономики (Austin 2004; Vandervort 1998: 1–25). Уничтожив менее развитые африканские цивилизации, европейские империи ушли, оставив после себя инфраструктуру, больше подходящую для вывоза сырья за рубеж, чем для экономической интеграции независимых государств. Африка была слишком обескровлена, чтобы быстро восстановиться после краха европейских империй. В целом современные империи не имели положительного влияния на страны остального мира. Однако в XXI в. во многих из них, как мы увидим, произошел в конце концов экономический рост.

## АМЕРИКАНСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В 1945 г. наступил конец двухсотлетнего периода, на протяжении которого в мире посредством расколотой и конфликтной глобализации господствовала Европа. Теперь, когда Советский Союз и Китай автаркично замкнулись на самих себе, едва ли не глобальной доминирующей силой стали Соединенные Штаты. Через 50 лет американскому господству поспособствовал распад Советского Союза. Своеобразный *modus vivendi* установился с Китаем, который стал участником глобальной экономики, возглавляемой Соединенными Штатами. В наши дни американское господство начинает ослабевать. К моменту своего завершения период гегемонии США продлится, вероятно, около 80 лет. Американская империя послужила наряду с транснациональным капитализмом и системой национальных государств одним из трех столпов современной глобализации.

Не имея собственных колоний или поселенцев, США не обладали и сферами прямого или косвенного имперского господства, однако прошли все стадии развития империализма — от завоевания колоний (не более чем временных) с последующим

уходом из них через неформальную империю до всего лишь гегемонии. Гегемония (как мы помним из тома 3) — это не империя, поскольку она «не убивает». США периодически вели крупные завоевательные войны не для того, чтобы иметь колонии, а чтобы защитить или установить проамериканские режимы, после чего уходили из страны, как правило сохранив там свои военные базы. Соединенные Штаты обладают огромной военной мощью и способны, применяя тактику выжженной земли, наносить противнику значительные потери. Эта тактика, эффективная в смысле предотвращения негативного поведения других стран по отношению к Америке, увы, не столь эффективна в плане поощрения их позитивного поведения. Но поскольку США возглавляли мировую капиталистическую экономику, они могли извлекать экономическую выгоду как для себя, так и для завоеванных стран, интегрируя их в глобальную экономику. Неформальная империя, равно как и гегемония, в отличие от обладания колониями, требует меньшего политического и идеологического вмешательства в дела периферии, к тому же в случае с США переселенческие колонии были невозможны, поскольку не было переселенцев. Поэтому, хотя Америка располагала гораздо большей *экстенсивной* властью, чем любая другая империя, превосходя всех своей потенциальной военной и реальной экономической властью, ее господство было в известном смысле менее *интенсивным*, чем господство предыдущих империй. Обычно США держались на расстоянии и правили опосредованно — через ставленников.

Суждения об американской империи чрезвычайно разнообразны. Большинство американцев отрицают, что у США когда-либо была собственная империя. В этой главе, как и в третьей главе тома 3, я докажу, что они заблуждаются. Американский милитаризм и капитализм служат, по мнению одних, причиной мировых страданий и эксплуатации, по мнению других — гарантией мира, стабильности, свободы и процветания и поэтому являются легитимными. Подобное различие взглядов отчасти объясняется тенденцией — как среди левых, так и правых идеологов — преувеличивать американскую мощь, а отчасти — огромным разнообразием форм господства, которые используют Соединенные Штаты. На Западе они ограничивались ролью гегемона. В Восточной Азии они вначале стремились путем военного вмешательства выстроить систему косвенного имперского господства, но затем ограничились гегемонией. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке они пытались применять жесткие методы неформальной империи с канонерками и ставленниками с весьма разными результатами. Эти регионы мы обсудим позднее. К сожалению, другие регионы я вынужден



опустить, поскольку возможностей охватить весь мир у меня никак не больше, чем у Соединенных Штатов Америки.

Вторая мировая война тем не менее сделала Соединенные Штаты доминирующей мировой державой. В 1945 г. численность вооруженных сил США составляла 8 млн человек. После массовой демобилизации она все еще составляла 3,5 млн человек, рассредоточенных по глобальной сети военных баз и поглощавших половину военного бюджета всего мира. На долю США приходилась почти половина мирового ВВП и объема промышленного производства. Доллар США являлся мировой резервной валютой. Если страны советского блока и Китай были закрытой зоной, то другие ведущие государства были почти разорены войной. Впервые в истории земной шар опоясала сеть, которую образовали службы Госдепартамента, командные центры Пентагона и офисы американских корпораций. Это была глобальная империя, если не считать коммунистического блока и его союзников. В принципе США могли вновь замкнуться на своих внутренних проблемах, войска можно было вернуть домой, но вероятность этого было невелика, поскольку многие политики и корпорации связывали процветание Америки с судьбами мировой экономики, нуждавшейся в военной защите от коммунизма. Так, у американских лидеров возникло отчетливое ощущение ответственности за судьбы мира, еще и сегодня доминирующее в сознании высокопоставленных политиков Вашингтона. Это всегда предполагало готовность вмешательства по всему миру (военными и экономическими средствами) в защиту свободы — понятие, подразумевающее как политическую свободу, которой дорожит практически весь мир, так и экономическую в смысле свободного предпринимательства (то есть капитализма — гораздо более спорный тезис). Обе эти трактовки свободы, взятые вместе, составляют суть американских представлений о собственной исторической миссии, которые, как мы видели в томе 3, были свойственны каждой империи. Однако защита капитализма оставалась гораздо более последовательной политикой США, чем поддержка демократии.

Хотя экономическая власть Америки неуклонно росла в течение всего XX в., ее глобальное господство возникло неожиданно — в ходе мировой войны, которой страна не желала, — и сопровождалось увеличением ее вооруженных сил, к которому она не стремилась. В сущности, ни одна из двух [будущих] сверхдержав не намеревалась создавать империи. До тех пор пока они не стали объектом нападения во время Второй мировой войны, обе державы были поглощены внутренними проблемами, но, как это случалось со многими империями, их внезап-

но увеличившиеся вооруженные силы не могли не заполнить вакуума власти, возникшего в послевоенный период.

Тем не менее американское господство не было всецело случайным. И Вудро Вильсон, и Франклин Рузвельт полагали, что мировые войны дают Америке шанс победить врагов и подчинить своему влиянию союзников. Либеральный интернационализм Вильсона не был одним лишь идеализмом. Это был еще инструмент подрыва мощи имперских соперников. Рузвельт также не был просто наивным идеалистом. Начиная с 1939 г., еще до вступления США в войну, Американский совет по международным отношениям пришел к выводу, что в условиях, когда нацистская Германия подчинила Европу, США должны интегрировать экономики Западного полушария, Британской империи и большинства стран Азии в единую зону (в рамках так называемой большой стратегии). За помощь Великобритании во время войны Соединенные Штаты предполагали получить карт-бланш в колониях Британской империи. Масштабные британские закупки американских продуктов питания и военных материалов в период между 1939 и 1941 гг. оплачивались в долларах или золотом. К 1941 г. резервы того и другого у англичан иссякли, и им пришлось продавать свои американские активы. После того как США были втянуты в войну, программа ленд-лиза дала англичанам возможность получать американские поставки в кредит, но условия погашения включали послевоенную политику открытых дверей (Domhoff 1990: 113–132, 162–164). Как показал Перл-Харбор, проблема безопасности теперь была глобальной. Хотя США выступали за мировую экономику, основанную на равных торговых возможностях, американские лидеры полагали, что свобода торговли нуждается в защите силами коллективных институтов безопасности под предводительством США. Экономическая и военная власть Америки, ее рыночное и территориальное влияние были факторами, усилившими друг друга (Hearden 2002: chap. 2, цитата по р. 39).

В результате Второй мировой войны США надеялись «выиграть» значительную часть освобожденной от нацистов Европы плюс Азию, где терпела поражение Япония и ожидалась победа китайских националистов. Кроме того, США стремились обеспечить себе безопасный доступ к ближневосточной нефти. Никто не называл это империей, поскольку у нее не было колоний, а временные колонии, такие как Германия и Япония, были реорганизованы. Предполагалось, что это будет свободный мир капитализма и независимых государств, если удастся его защитить глобальной сетью военных баз. Исаия Боумен, доверенное лицо Франклина Рузвельта, однажды сказал: «Гитлеру мерещилось жизненное пространство (*lebensraum*), но он не ожидал,

что это пространство окажется экономическим и американским. Во всем мире не найдется линии, очерчивающей интересы Соединенных Штатов, поскольку никакая линия не способна оградить от превращения отдаленной угрозы в близкую опасность». Эту концепцию Боумен назвал национальным глобализмом и «открытым доступом в мир без колоний в сочетании с «цепью военных баз по всему свету, необходимых для защиты глобальных экономических интересов и сдерживания любителей повоевать» (Smith 2003: 27–28, 184). Например, Филиппины получили независимость, но для порядка там были оставлены американские военные базы (Hearден, 2002: 202–212, 313–314). Это была глобальная неформальная империя, использовавшая в своих целях технологически более развитую версию империи канонерок. Соединенные Штаты исходили из тезиса, что их военная мощь, подкрепленная «Концертом союзных держав», обеспечит глобальные рамки безопасности, которые Москва вынуждена будет принять (Hearден 2002: chap. 6). Политическая идея экспорта демократии на первый план еще не выдвигалась. Хотя американские лидеры рассуждали в категориях военной и экономической власти, сфера их геополитического влияния получила идеологически окрашенное название «свободный мир».

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТОЛП: БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Дискуссию вокруг нового экономического порядка возглавили два экономиста: от Соединенных Штатов выступал Гарри Декстер Уайт, который, как ни парадоксально, делился американскими секретами с агентами советской разведки, а от Великобритании — Джон Мейнард Кейнс, всемирно известный экономист. Кейнс утверждал: если США хотят открытой торговой системы, то должны содействовать восстановлению разоренных войной стран, предоставив им финансовую помощь. Администрации Рузвельта, а впоследствии и Трумэна с этим согласились, рассудив, что предложение Кейнса отвечает и американским интересам. Чтобы предотвратить рецессию, необходимо было заменить военное производство в качестве мотора американского экономического роста экспортом товаров. Однако для покупки американских товаров европейцы были в тот момент слишком бедны, и чтобы выделить им на это американские деньги, Кейнс предложил создать Международный клиринговый союз. Правительства обеих стран стремились исключить экономическую неустойчивость, проявлявшуюся в межвоен-

ный период, и выступали за относительно стабильные валютные курсы и низкие тарифы, поощряющие торговые потоки. Кейнс был склонен к некоторому сдерживанию потоков капитала, чтобы предотвратить их «метание» между странами в поисках спекулятивной прибыли. Кроме того, это облегчило бы европейским правительствам возможность, не опасаясь оттока капитала, ввести прогрессивное налогообложение для финансирования пособий по безработице, социальных программ и общественных услуг. Для ряда европейских правительств основным приоритетом было недопущение тяжелых классовых конфликтов, которые так омрачали межвоенный период. Англичанам требовались гибкие институты, способные заставить страну-кредитора, то есть Соединенные Штаты, оказывать помощь странам-дебиторам, например Великобритании. Американцам же требовались институты, способные оказать давление на должников, то есть на иностранцев. Что касается других стран, то на итоговом заседании в Бреттон-Вудсе, состоявшемся в июле 1944 г., их делегатам было предоставлено лишь краткое слово (Block 1977: 32–52).

В дальнейшем Бреттон-Вудские соглашения привели к созданию Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и первой официальной системы глобального финансового регулирования (прежняя система золотого стандарта была неформальной). Валюты были привязаны к доллару, что не исключало периодических регулируемых корректировок, а доллар был зафиксирован по отношению к золоту. Международные финансовые потоки должны были содействовать развитию торговли и прямых инвестиций. Это было кейнсианством, но отражало американскую власть. «В данном случае имело место столкновение ума и силы, — пишет Роберт Скидельский. — Черчилль сражался против нацистской Германии за сохранение Британской империи; Кейнс противостоял Соединенным Штатам, чтобы сохранить Великобританию в качестве великой державы. И хотя Германию удалось победить, в ходе борьбы с нею Британия утратила не только свою империю, но и статус великой державы» (Skidelsky 2000: 449, XV; Cesarano 2006). Однако, когда Соединенные Штаты заставили Великобританию отказаться от права девальвировать свою валюту или защищать стерлинговую зону, последовавший в 1947 г. кризис английского фунта потряс мировую экономику и вынудил США замедлить политику, направленную на открытие рынков. Отныне Вашингтон существовал в условиях монетарного компромисса, признавая необходимость европейских барьеров против конвертируемости валют, хотя это и противоречило краткосрочным интересам американского бизнеса (Eichengreen 1996: 96–104).

Соединенные Штаты принимали на себя новые (и не менее прагматичные) обязательства — глобальные.

Бреттон-Вудские соглашения благодаря многостороннему сотрудничеству национальных государств под американским руководством обеспечили мировой экономике стабильность. В сущности, это был компромисс между национальными государствами, американской империей и транснациональным капитализмом. Рагги называет этот компромисс заимствованным у Поланьи термином «встроенный либерализм» (Ruggie 1982). С окончанием Великой депрессии, утверждает Рагги, в мире возобладала (характерная для межвоенного периода) тенденция приводить международную денежно-кредитную политику в соответствие с внутренней (социальной и экономической) политикой, а не наоборот. Тем не менее после войны большинство стран мира под американским руководством оказались экономически взаимозависимыми; для многостороннего обмена товарами и услугами им более чем когда-либо понадобился международный валютный механизм. В межвоенный период эти страны не смогли выработать систему международных валютных отношений, совместимых с их внутренней стабильностью. В Бреттон-Вудских соглашениях это удалось: правительства договорились о коллективных мерах по обеспечению равновесия платежных балансов и относительной свободы торговли. Обе задачи были призваны гарантировать полную занятость, а также все то, что в области социального обеспечения и трудовых отношений могли дать отдельные нации-государства. Именно на этом фундаменте в развитых странах выросла более гуманная форма капитализма, где почти каждому были гарантированы социальные права, способствовавшие развитию экономики высокого потребительского спроса. Это стало предпосылкой грядущего наступления золотого века капитализма.

Тем не менее между все более транснациональным финансовым сектором и потребностями национальных государств сохранялось известное напряжение. Кроме того, компромисс ослабляли скептически настроенные банкиры Нью-Йорка и консервативно настроенные республиканцы, ограничившие капитализацию МВФ, тогда как проект создания Международной торговой организации, представленный в протекционистский по духу Конгресс, был там благополучно похоронен (Aaronsen 1996). Зато в 1947 г. в действие вступило промежуточное *Генеральное соглашение по тарифам и торговле* (ГАТТ), в последующие десятилетия путем постепенных переговоров приведшее к снижению таможенных барьеров. Однако ввиду того что США не отменили тарифы на товары, которые европейцы могли бы производить дешевле, возник торговый дисбаланс: аме-

риканский экспорт стал превышать импорт из Старого Света. Европейцы были вынуждены оплачивать возникший дефицит звонкой монетой, и к 1949 г. практически все их золото утекло в Соединенные Штаты. В ответ Европа прибегла к девальвации валют и повышению тарифов — мерам, которые еще до войны оказались контрпродуктивными. В итоге наступила рецессия, после чего Соединенные Штаты признали, что предоставить Европе кредиты необходимо исходя из всеобщих интересов.

План Маршалла отвечал интересам обеих сторон: США предоставляли европейцам доллары, чтобы те могли покупать американские товары и включаться в сферу американского влияния (Skidelsky 2000; Domhoff 1990: 164–181; Domhoff — книга готовится к печати; Schild 1995: 131). В целях поощрения мировой торговли правительства стран-реципиентов подписали ряд соглашений, обязавших их сбалансировать свои бюджеты, восстановить финансовую стабильность, поддержать рыночную экономику и стабилизировать обменные курсы. При этом они были вправе — в целях снижения безработицы — использовать свою монетарную политику, национализировать те или иные отрасли, сдерживать движение финансового капитала, а также развивать программы социального страхования и прогрессивные меры социального обеспечения. Большинство европейцев выступали за достижение полной занятости путем регулирования платежеспособного спроса, а также за большее равенство в распределении доходов, социальных пособий и т. д. Это было явным кейнсианством (либо его шведским вариантом), однако идеи Кейнса были слиты с национальными и макрорегиональными [политическими] практиками — от социал-демократии, христианской демократии или либ-лаба (союза либералов с лейбористами) до американского коммерческого кейнсианства. Это были капиталистические экономики, регулируемые государством, взаимодействии которых, несмотря на ряд общих практик, ограничивалось национальными «клетками». Эта была интернациональная, а не транснациональная экономика.

Экономика большинства развивающихся стран также была капиталистической, но более этатистской, чем в развитых странах. Испытав на себе капитализм в его колониальных формах, развивающиеся страны не прониклись к нему особой любовью. Большинство крупных капиталистических предприятий, функционировавших на их территориях, оставались собственностью иностранцев, тогда как национальный капиталистический класс, как правило, был малочисленным и не очень влиятельным. Поскольку в то время коммунизм, как казалось, демонстрировал успехи в экономическом развитии, эти страны могли заимствовать у коммунистов набор хозяйственных методов, та-

ких как планирование на пятилетку или национализация предприятий. Тогда направляемое государством догоняющее развитие считалось наиболее эффективным способом преодоления хозяйственной отсталости. А поскольку эти страны были суверенными, у них имелась некая степень автономии, благодаря которой государство могло развивать внутренний капиталистический рынок в желаемом направлении. Порой они вынуждены были торговаться с экономически более мощными державами. Например, развивающиеся страны могли проводить политику импортозамещения, но лишь при условии, что право открывать филиалы на их территории получают и транснациональные фирмы (почти все — американские). Возможно, Соединенным Штатам такая политика не нравилась, но с ней приходилось мириться. Экономическая глобализация имела двойственный характер: американские глобальные правила игры, но использовались они национальными государствами, обладавшими некоторой автономией. Эта регулируемая национальным государством экономика с ее высоким уровнем производства и потребления со временем породит то, что называется золотым веком капитализма. Его блеск будет понемногу тускнеть, но этот процесс начнется не раньше 1970 г. (Chang 2003: 19–24).

Таким образом, золотой век капитализма был не просто феноменом глобального Севера. Высочайшие темпы роста за всю историю демонстрировали и некоторые развивающиеся страны. В период экономического бума в конце XIX в. максимальные темпы роста показывала Норвегия — около 2% в год. В непростой межвоенный период высоких темпов роста достигли Советский Союз и Япония с ее колониями — около 4% в год. Однако в рамках золотого века и после него максимальные темпы роста в таких странах, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай и Индия, варьировались в диапазоне от 6 до 10%. В этих азиатских странах темпы роста значительно превосходили темпы роста развитых стран. Почему они были такими высокими? Первой предпосылкой было то, что все страны-рекордсмены послевоенного периода обладали реальным суверенитетом на своей территории. Поскольку ни одна из них не была колонией, ни даже страной, экономически зависимой от более сильных государств, они могли разрабатывать собственную политику, ориентированную на хозяйственный рост. Во-вторых, благодаря холодной войне они были либо союзниками Соединенных Штатов, потому они не вмешивались в их внутренние экономические дела, либо, как в случае с Китаем и Индией, слишком могущественными странами, чтобы такое вмешательство позволить. На самом деле США даже помогали своим союзникам экспортировать товары на американский рынок.

В-третьих, все эти страны принадлежали к азиатским цивилизациям с древней историей, что проявилось в форме социальной и этнической (в случае с Индией — религиозной) сплоченности и высокого уровня грамотности населения. В-четвертых, как показал Родрик (Rodrik 2011: 72), политика экономического роста этих стран основывалась не на их предполагаемых сравнительных преимуществах в виде сырьевых ресурсов (на чем стремились подняться развивающиеся страны предыдущего периода), а на увеличении производственного потенциала в ходе прямой конкуренции с наиболее развитыми странами. В частности, они использовали следующие инструменты:

- 1) четкую промышленную политику поддержки новых видов экономической деятельности: торговый протекционизм, субсидии, налоговое и кредитное стимулирование, а также особый контроль со стороны правительства;
- 2) занижение курса национальной валюты в целях стимуляции экспорта;
- 3) некоторое сдерживание финансовых потоков, обеспечивающее субсидированные кредиты, деятельность банков развития (международных учреждений, призванных содействовать развитию экономики отсталых стран), а также занижение валютного курса.

В основе этого были две новации: проявление реального суверенитета слаборазвитых стран, то есть рассвет эпохи национальных государств, и прагматичное принятие этого Соединенными Штатами под давлением потребностей, связанных с холодной войной. Господство США не было полным, но они с этим смирились. Им пришлось согласиться с тем, что их господство в Азии в конечном счете будет носить не имперский, а гегемонистский характер.

То же происходило с европейскими союзниками США. Опираясь на умеренные корпоративные круги, администрация Трумэна пыталась «продать» бизнесу план Маршалла для Европы как способ преодолеть недостаточность внутреннего американского спроса. Конгресс, не привыкший давать деньги иностранцам, колебался. Тем не менее, когда Советский Союз отказался присоединиться к плану Маршалла и занял Чехословакию, Конгресс утвердил этот проект как часть борьбы Европы против коммунизма (Bonds 2002; Block 1977: 86–92). Для Европы, где экономический рост уже начался, план Маршалла не стал поворотным моментом, но он стимулировал хозяйственный рост. Бреттон-Вудские соглашения и план Маршалла были полезны Западу, однако финансовые рынки требовали от своих



правительств и центральных банков постоянной «тонкой настройки» (Aldcroft 2001: 11–117; Kunz 1997: 29–56; Rosenberg 2003; Block 1977; Eichengreen 1996: 123, 134). Хотя Соединенные Штаты и стали господствовать в новой экономической системе, она носила многосторонний и взаимовыгодный, в большей мере гегемонистский, чем имперский, характер. Другие развитые государства хотя и выражали недовольство этой системой, были вынуждены признать ее преимущества.

## ИМПЕРСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СТОЛП: ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

По окончании войны Рузвельт ожидал смягчения геополитической ситуации, и обе новоявленные сверхдержавы действительно существенно сократили свои вооруженные силы. В интересах сохранения мира была создана Организация Объединенных Наций. Вначале в ее структуре предполагался Совет Безопасности в составе четырех держав — Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза и националистического Китая, но против такого варианта выступил Сталин, опасавшийся возникновения в СБ враждебного большинства в формате «три к одному». Вместо этого со временем была сформирована более сложная структура, включающая право вето для постоянных членов Совета Безопасности. Пока не начался процесс деколонизации, молодая Организация Объединенных Наций состояла главным образом из государств Западной Европы и Латинской Америки, образовывавших надежное проамериканское большинство (Hoopes and Brinkley 1997; Schild 1995: 153–161). В 1949 г. Китай неожиданно стал коммунистическим, но до 1971 г. его место в ООН занимал Тайвань, где находилось китайское националистическое правительство в изгнании. Таким образом, чтобы заблокировать нежелательные для себя решения в области безопасности, СССР вынужден был неоднократно использовать в Совете Безопасности право вето. В итоге это означало, что учреждения ООН, весьма полезные в деле обеспечения экономического развития, здоровья и образования, а также в помощи беженцам во всем мире, оказались менее эффективными в решении вопросов международной безопасности, которые обсуждались в рамках ООН крайне редко. В этой главе приводятся многочисленные случаи военного вмешательства США за рубежом, но лишь один из них (конфликт 1950 г. в Корее) был санкционирован Организацией Объединенных Наций, да и то лишь потому, что в тот короткий период Советский Союз не был представлен в ООН. Вместо того чтобы решаться на уровне ООН,

вопросы международной безопасности становились предметом двусторонних переговоров между США и СССР, возглавлявших соперничающие военные блоки.

В основе холодной войны лежал геополитический конфликт, усугубленный идеологическими столкновениями в мировом масштабе. Каждая из сторон полагала, что планетой должна управлять именно ее идеологическая модель — капиталистическая или коммунистическая. И эти диаметрально противоположные модели «играли» на худших кошмарах друг друга. В восприятии Сталина американский либеральный интернационализм со своим глобальным военным потенциалом и контролем над ООН выглядел как капитализм, пытающийся перекрыть коммунистическому блоку кислород, — типичное восприятие американской империи теми, кто не хотел оказаться в ее орбите (вспомните хотя бы японские страхи 1930-х гг.). Сталин был встревожен планом Маршалла и американским восстановлением Западной Германии, что казалось потенциальной угрозой соседним государствам (Mastny 1996). Нам известно, что советские спецслужбы, рассчитывая угодить своим начальникам «правильной» информацией, преувеличивали вероятность того, что американцы используют свое ядерное превосходство для нанесения первого удара (Andrew and Mitrokhin 1999). Эти опасения усиливались марксистско-ленинским допущением, что все может в конце концов завершиться военным столкновением между капитализмом и социализмом. Так было до тех пор, пока Хрущев не осознал, что ядерная война приведет обе стороны к гарантированному взаимному уничтожению.

Сталинские опасения стали бы для него еще более обоснованными, прочти он *NSC-68* — американский секретный документ, подписанный Трумэном в 1950 г. Нередко пишут, что предпочтение там отдавалось не столько отбрасыванию, сколько сдерживанию Советов, но реально в документе говорилось, что «основная цель США состоит в обеспечении целостности и жизнеспособности нашего свободного общества, основанного на достоинстве и ценности человеческой личности... Советский Союз, в отличие от предыдущих претендентов на мировую гегемонию, вдохновляется новой фанатичной верой, противоречащей нашей [вере], и стремится навязать свою абсолютную власть над остальным миром». Советский Союз отличает «неискоренимая воинственность, поскольку он является одновременно источником и продуктом глобального революционного брожения». Поэтому Соединенные Штаты, чтобы одержать победу над ним, должны использовать всю свою мощь, включая подавляющее военное превосходство, готовность к наступательным операциям, а также «активное принятие четких и свое-

временные мер и проведение тайных операций в рамках экономической, политической и психологической войны с целью поощрения и поддержки волнений и восстаний в отдельных странах — стратегических сателлитах [противника]. ...Следует предпринять решительные усилия, чтобы уменьшить власть и влияние Кремля как внутри Советского Союза, так и в других регионах, находящихся под его контролем» (National Security Council, 1950: 3–5, 13–14). Это больше похоже на доктрину отбрасывания, хотя и без прямой войны. Если Сталин и был параноиком, то это не значит, что ему не угрожала враждебная сверхдержава. Советские руководители полагали, что не будут в безопасности, пока не получат собственной атомной, а затем и водородной бомбы, и они не без помощи своих шпионов направляли на ее создание огромные материальные и человеческие ресурсы (Holloway 1994). Отказ Советского Союза от переговоров по вопросам ядерных вооружений, в свою очередь, подпитывал американские страхи.

Американцы также преувеличивали агрессивные намерения Сталина. Если где-то возникал стратегический вакуум, то Сталин (равно как и Трумэн) был готов его заполнить. Однако в мире, где доминировали в основном США, советские и китайские коммунистические режимы не могли проявлять особого экспансионизма. Они не походили на французских революционеров 1790-х гг., пытавшихся путем войны экспортировать революцию (вопреки тому, что пишет Goldstone 2009). Американцы не осознали масштаба разрушений, нанесенных Советскому Союзу войной. СССР был не в состоянии начать еще одну войну и отнюдь не пытался спонсировать мировую революцию. Опасавшийся возрождения Германии, Сталин заявлял: *«Я ненавижу немцев. Их невозможно разбить раз и навсегда, они всегда восстанавливают силы... Вот почему нам, славянам, следует приготовиться на случай, если немцы встанут на ноги и вновь на нас нападут»* (Leffler 2007: 30–31). Заполучив Восточную Европу, он хотел создать там оборонительный кордон, укрепленный лагерь из буферных государств (сначала просоветских, позднее — откровенно коммунистических режимов), с ограниченной автономией от Москвы (Mastny 1996; Pearson 1998: 40; Service 1997: 269). Однако эта эскалация имперских притязаний — от косвенных до почти открытых — привела Запад в оцепенение, чему содействовали и эксперименты Сталина по заполнению вакуума в Иране, Турции и Северо-Восточной Азии. Запад отвечал аналогичными попытками — слабее в Восточной Европе, сильнее — в Азии. Чувство страха заставляло обе стороны развивать систему аргументов, оправдывающих агрессию ссылками на необходимость обороны, что, как мы видели, было обычным делом

для имперской экспансии. Однако это приводит к парадоксальному выводу: чем обширнее империя, тем менее она ощущает себя в безопасности. Со стороны могло показаться, что сверхдержавы способны договориться о том, чтобы победитель поделился в результате мирного соревнования. Однако эти персонажи исторической драмы со всеми их опасениями договориться не могли. По обе стороны железного занавеса «рыцари холодной войны» были начеку (Leffler 2007; Zubok and Pleshakov 1996).

Однако в такие регионы, как Европа, где в тот момент (в отличие от Восточной Азии) не было серьезных классовых конфликтов, холодная война принесла некоторую стабильность. Политика сдерживания, которую США практиковали в Европе, была не столь радикальной, как того хотелось бы Джорджу Кеннану. Если не считать позиции Хрущёва в период кубинского ракетного кризиса, СССР также не проявлял излишней склонности к риску. Основным приоритетом для Советов было обеспечение надежности Варшавского блока, как доказали вторжения в Венгрию (1956) и Чехословакию (1968), а также давление на Польшу (1981). За 40 лет единственным объектом прямой советской интервенции за пределами блока стал соседний Афганистан (1979). Таким образом, холодная война помогла стабилизации отношений между национальными государствами, а на Западе — стабилизации капитализма. Именно холодная война была столпом послевоенной глобализации. Идеологически холодная война оказалась более важным фактором в осуществлении внутренней политики сверхдержав, чем в определении их внешних взаимоотношений, где ее интенсивность ограничивалась их прагматизмом.

СССР был репрессивной диктатурой, империя которой в Восточной Европе удерживалась силой в отличие от господства американцев в Западной Европе. Эта империя была «щадящей» в одном отношении — экономическом, поскольку советский центр субсидировал свою имперскую периферию. Тем не менее и американская, и советская элиты того периода считали своих соперников основным источником эксплуатации народов мира. В какой мере этими страхами были проникнуты широкие массы населения, сказать трудно. Я сомневаюсь, что в часы досуга советские люди всерьез размышляли о судьбах марксизма-ленинизма, однако они соглашались с официальным мнением, будто их стране угрожают внешние силы. Большинство американцев также опасались внешней угрозы, однако важнее для них было понятие «свободы». Свобода как национальная ценность стала элементом политической риторики и материального процветания, а также поводом для гордости американцев за свою страну

и конституционные права. Антикоммунизм стал для них основной идеологией, восполняя недостаток знаний о внешнем мире. Менее агрессивные идеологические направления успеха не имели. Наибольшей поддержкой среди американцев пользовалась оборонительная агрессия.

Таким образом, конфликт, лежавший в основе холодной войны, был реальным, хотя и преувеличенным из-за эмоций и идеологических догм. Это был не просто когнитивный конфликт, основанный на взаимном непонимании, как поначалу предполагал Гаддис (Gaddis 1972). Он также едва ли соответствовал и новой трактовке того же автора, изменившего свои взгляды на идеологию и на Сталина (Gaddis 1997). Если Сталин и был параноиком, то же самое можно сказать и о Трумэне. Леффлер называет его «узником собственной риторики» — весьма меткая характеристика обоих лидеров. Если президенты США рассматривали собственные действия как оборонительные, то Москве они казались наступательными; то же самое, только наоборот, чувствовали американцы, когда лидеры СССР стремились укрепить свои позиции в Берлине или в Афганистане. Возможность выхода из той или иной зарубежной авантюры, а после 1950 г. вариант сокращения расходов на оборону воспринимались обеими сторонами как отступление, чего сверхдержавы позволить себе не могли. Важным считалось поддерживать статус, до тех пор пока Горбачев и Рейган не сломали этот шаблон (Leffler 1999, 2007: 71; Mastny 1996).

В отличие от предыдущих периодов имперского соперничества угроза на этот раз была глобальной. Оборонительная агрессия, всегда сопровождавшая имперское соперничество, приобрела глобальный масштаб. Если две сверхдержавы не смогли договориться о многостороннем процессе разоружения, то одностороннее разоружение любой из них стало бы безумием, так как другая сторона тут же расширила бы свою сферу влияния, полагая, что делает это исключительно в целях самозащиты. СССР хотел бы установить свой протекторат над Грецией, Турцией, Ираном и Афганистаном, а также, возможно, над Финляндией и Австрией, превратив их в государства-сателлиты. Подобная попытка в Западной Европе была бы слишком большой глупостью, но искушение было бы велико. Соединенные Штаты намеревались распространить свое влияние на Восточную Европу. Подобная экспансия действительно произошла в странах Азии. Учитывая, что ни одна из сверхдержав не отступала, холодная война между ними становилась неизбежной. А это, в свою очередь, означало, что США защищали свою сферу интересов от коммунистического или советского господства, а СССР защищал свою сферу интересов от капитализма. В та-

ких условиях они действовали как конкурирующие мировые жандармы, взявшие на себя ответственность в финальной инстанции за закон и порядок в собственной зоне господства.

## ГАРАНТИРОВАННОЕ ВЗАИМНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ВОЙНЫ

Необычным в соперничестве двух империй было то, что друг с другом они не воевали. Вначале они были слишком измотаны Второй мировой войной, а затем ненароком наткнулись на то, что назовут гарантированным взаимным уничтожением (MAD) — ядерным равновесием страха. С обеих сторон такое положение дел порождало опасения и периодические приступы паники. Однако обе империи проявляли осторожность и не выходили за рамки опосредованных войн, направляя войска лишь в страны, включенные в их собственные сферы влияния, вмешиваясь в дела других тайно (или через ставленников) — так, чтобы их вооруженные силы не вступали в прямой конфликт. Это было торжеством здравого смысла над идеологией, однако лидеры обеих сверхдержав все еще полагали, что их идеи служат высоким целям, оправдывающим сомнительные средства. Тайные операции предполагали возможность их беззастенчивого отрицания. В главе 5 будут приведены многочисленные примеры американских тайных операций, тогда как Советы использовали собственных военных только в качестве советников, а кубинских солдат как ставленников. В африканских военных конфликтах погибли 4 тыс. кубинцев (Halliday 1999: 116–124). В 1980 г. руководители СССР утверждали, что на путь социалистической ориентации (в той или иной степени) вступили свыше 30 государств. На этот счет советские лидеры заблуждались, ибо то были отсталые государства с репрессивными военными режимами, далекие от социалистических идеалов. Однако подобные заявления Советов пугали американцев (Halliday 2010). Поэтому США расширили Центральное разведывательное управление (ЦРУ), занялись обучением и подготовкой иностранных вооруженных сил, а также провели различие между просто авторитарными режимами — своими союзниками и тоталитарными режимами — союзниками своего стратегического противника. В действительности никакой разницы между ними не было. Авторитарная военная диктатура в Гватемале, убившая свыше 200 тыс. собственных граждан, была гораздо хуже кубинского — якобы тоталитарного — режима Кастро. Уестэд (Westad 2006) рассматривает холодную войну как американско-советскую замену колониальной эксплуатации. Хотя страны треть-

го мира иной раз могли сыграть на противоречиях между двумя империями, результаты нередко бывали трагическими. На самом деле холодная война зачастую была горячей, порождавшей вооруженные конфликты и оставившей по всему миру около 20 млн погибших.

Однако затем горячая война начала остывать. С годами термин «послевоенный период» получил еще одно значение, поскольку войны между государствами практически исчезли. В рамках одного исследовательского проекта — *Correlates of War* (COW) — была сформирована база данных обо всех войнах, произошедших в мире с 1816 г., подразделяющая войны на три категории: гражданские, межгосударственные и колониальные. Если с 1816 г. до 1940-х гг. на межгосударственные войны приходилось около 60% всех конфликтов, то в 1950-е гг. эта доля сократилась до 45%, в 1970-е гг. — до 26%, а к 1990-м гг. — до 5%. Основной проблемой с тех пор стали гражданские войны, поэтому вооруженные силы готовились сражаться не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, то есть подавлять собственных граждан. Из 57 крупных вооруженных конфликтов, произошедших за период с 1990 по 2001 г., было лишь три межгосударственные войны: война Ирака с Кувейтом, война Индии с Пакистаном и война Эфиопии с Эритреей. На период 2001–2012 гг. пришлось около 50 гражданских войн и лишь две полномасштабные войны между государствами — американские вторжения в Афганистан и Ирак. За исключением двух американских интервенций, эти войны были конфликтами малой интенсивности с относительно небольшими потерями. Войны 1950-х гг. по индексу людских потерь превосходили войны 2000-х гг. в девять раз.

Гражданские войны стали в меньшей мере классовыми — войнами социализма против капитализма. Большинство из них, напротив, велись вокруг господствующего политического идеала современности — нации-государства, то есть государства, управляющего определенной, обозначенной границами территорией от имени народа. Проблема заключалась в том, из кого будет состоять этот народ, когда территорию одного государства населяют сразу несколько крупных этнических групп. Большинство гражданских войн имели этническую, религиозную или региональную основу, когда одна из этнических групп провозглашала себя подлинной нацией. Оставались ли в таком случае другие этнические группы полноправными гражданами, или они должны были стать гражданами второго сорта или того хуже? Большинство из них вынужденно приняли ту или иную форму дискриминации, поскольку понимали, что им не хватает сил воспрепятствовать этому. Однако те этнические меньшинства,

у кого эти силы были (особенно те из них, кому из-за рубежа помогали «братья по крови»), оказывали сопротивление — так началась гражданская война (см. Mann 2005). Некоторое время преобладала характеристика гражданских войн, которую дал Коллиер. Войны, утверждал он, ведутся не из нужды или религиозных убеждений, а из жадности и не из-за объективных разногласий или идеологии, а из-за добычи. Позже он пересмотрел свои взгляды в сторону меньшего радикализма (Collier 2000, 2003), а дальнейшие исследования показали, что жадность и борьба за ресурсы не являлись основными причинами для восстаний, хотя для продолжения борьбы повстанцы с необходимостью нуждались в материальных ресурсах. Основными причинами гражданских войн являются политическое недовольство и различные идентичности (Arnson and Zartman, 2005). Развитые национальные государства прошли тернистый путь, прежде чем научились избегать войн. Хочется надеяться, что в развивающихся странах национальное государство, к которому они так стремятся, непременно будет мультикультурным.

В прошлом европейцы вели гораздо больше войн. Гледич (Gleditsch 2004) утверждает, что до 1950-х гг. на долю европейцев приходилось 68% всех войн в мире. Однако серьезная недооценка количества колониальных войн авторами проекта COW означает, что реальная цифра, вероятно, превышает 80%. Итак, по числу войн впереди шла Европа, за ней — Азия, далее — Ближний Восток, а в конце, с большим отставанием — Латинская Америка и Африка. По подсчетам Лемке, количество войн в Африке и отношение этой цифры к числу вовлеченных в войну государств и длительности войн в годах было в три-пять раз ниже среднемировых значений. Судя по его таблицам, для Латинской Америки этот коэффициент должен быть примерно таким же (Lemke 2002: 167–171, 181; ср. Centeno 2002: 38–43). Однако период после Второй мировой войны развернул эту тенденцию вспять. С тех пор европейцы, подобно африканцам и латиноамериканцам, почти не воевали, а сомнительное лидерство в ведении войн перешло к странам Азии, Ближнего Востока и США. Уиммер и Мин (Wimmer and Min 2006) различают две волны современных войн, первую — в XIX в., в эпоху колониальных войн, вторую — в середине XX в., в эпоху антиколониальных освободительных войн. Таким образом, современные войны в значительной степени объясняются взлетами и падениями империй. После того как европейцы распрощались со своими империями и перестали воевать, значительно спокойнее стало во всем мире.

Эти данные демонстрируют, что война объясняется не неизменной человеческой природой, а определенными типами об-



щества. Надежду внушает мысль о возможном отказе человечества от общественного устройства подобных типов. Вторым обнадеживающим знаком человеческой разумности является то, что ядерное оружие до сих пор сдерживало владеющие им державы: Соединенные Штаты с 1945 г., Советский Союз, Великобританию и Францию, Китай, Индию и Пакистан. Ядерное оружие не гарантирует мира, однако служит достаточным основанием для правящих элит избегать его реального применения. Среди американских и советских лидеров появилось больше здравомыслящих людей. Когда их противостояние достигало предела, они ужасались и умеряли свой пыл: впервые так поступили Кеннеди и Хрущев в момент Кубинского ракетного кризиса, позднее — Рейган и Горбачев после панической реакции СССР на проведенные в 1983 г. маневры НАТО под кодовым названием *Able Archer* («Опытный лучник»). Тот факт, что «гарантированное взаимное уничтожение» — этот глобальный кризис — нас еще не поглотило, является относительным успехом человеческой рациональности, чего нельзя сказать о двух мировых войнах, Великой депрессии и Великой рецессии. Этот кризис было легче разрешить, поскольку в прямом противостоянии участвовали только две ядерные сверхдержавы, в результате последствия их действий были более предсказуемыми. Не было противоречивой и запутанной цепочки действий и реакций многочисленных великих держав, которая привела к началу двух мировых войн. Свою внешнюю политику умерили и другие страны, располагавшие ядерным оружием, включая Индию и Пакистан, — еще один случай конфронтации двух стран.

Гарантированное взаимное уничтожение имело и прямые последствия. Осознание того, что сверхдержavam следует любой ценой избегать прямого военного столкновения, требовало наличия между ними имплицитных договоренностей. Они могли использовать какую угодно провокативную риторику, но в действительности избегали военного вмешательства (за исключением отдельных случаев) в сферу интересов друг друга. Они допускали возможность лишь непрямых столкновений, силами менее мощных «заместителей», ущерб от действий которых для мира был гораздо меньшим. Каждая сверхдержава охраняла мир в собственной сфере интересов, по крайней мере в таких областях, которые считала стратегически наиболее важными. Если Советский Союз не допускал военных столкновений в Восточной Европе, то американская сфера интересов охватывала большую часть планеты; в этих условиях Соединенные Штаты начали примерять на себя роль мирового шерифа. Политический истеблишмент в Вашингтоне все сильнее верил в глобаль-

ную ответственность США за соблюдение «закона и порядка» в международном масштабе — идея, глубоко укоренившаяся в сознании американцев. Как республиканцы, так и демократы полагают, что мир на Земле сохранила Америка, но сегодня они опасаются, что упадок США может привести всю планету в состояние хаоса (Kagan 2012; Brzezinski 2012). Они говорят, что без американской гегемонии мир станет хаотичным и погрязнет в конфликтах.

Мое отношение к этой идее в настоящем томе будет скорее скептическим. Не так уж легко привести примеры, когда США или СССР помешали другим государствам воевать друг с другом. Правда, Соединенным Штатам удалось остановить англо-французское вторжение в Египет во время Суэцкого кризиса 1956 г., а в 1983 г. побрызгали оружием, чтобы предотвратить нападение ливийцев на Судан и Египет. Кроме того, США защитили Тайвань от возможного вторжения со стороны Китая. В 1990–1991 гг. США пытались остановить иракское наступление на Саудовскую Аравию и Кувейт, но эта попытка не удалась и привела к войне. В 1993 г. вмешательство США остановило вторжение сербов в Боснию. Вот, кажется, и все — не очень впечатляющий список. Гораздо больше оказалось случаев вмешательства США во внутренние дела других государств с целью поддержать одну политическую фракцию против другой, и многие из этих случаев наделали беспорядка никак не меньше, чем порядка (как мы увидим в главе 5). Мало того, начиная с 2000 г. все войны инициировались Соединенными Штатами — единственной оставшейся империей. Мне трудно вообразить Америку в качестве глобального жандарма/шерифа. Учитывая все случаи вооруженного вмешательства в дела других стран (о чем речь пойдет в главе 5), Соединенные Штаты скорее напоминают глобального полевого командира (global warlord).

К сожалению, несмотря на американскую гегемонию, распространение ядерного оружия постепенно продолжалось. Когда та или иная страна чувствовала угрозу со стороны державы, вооруженной ядерным оружием, она тоже стремилась им обзавестись. Современные тому примеры — Северная Корея и, возможно, Иран. Пока что это не отменило политику ядерного сдерживания, но зато увеличило число соперников, следящих друг за другом. Однако теперь опасность вновь возрождается в тех случаях, в которых идеология может взять верх над здравым смыслом, как это может произойти в случае с ядерным оружием Пакистана, Ирана и Израиля (это я объясню в главе 10). Тем не менее после Второй мировой войны в полномасштабных вооруженных конфликтах участвовали (за редкими исключениями) лишь государства третьего мира, а этими исключе-

ниями были войны сильных держав против слабых (van Creveld 2008: глава 5). Извечная военно-налоговая пара больше не является основой развитых государств, за исключением США. Максима Чарльза Тилли «войны порождают государства, государства порождают войны» осталась в прошлом. В последнее время отношения военной власти между развитыми странами играют все меньшую роль. Самой хорошей новостью второй половины XX в. стало расширение зоны мира на Севере и в ряде южных регионов мира. Войны продолжались, но это были главным образом гражданские войны или военные операции, проводившиеся американцами. Однако эти изменения произошли не сразу и распространялись по планете отнюдь не равномерно. В одних регионах было намного «жарче», чем в других, поэтому в главе 4 мы разберем ситуацию в ряде регионов мира по отдельности. Однако для начала рассмотрим, как во время холодной войны была организована жизнь американцев на родине.

## ГЛАВА 3

# Америка в период после Второй мировой войны и холодной войны: классовые конфликты, 1945–1970 годы

**П**ОСКОЛЬКУ Соединенные Штаты были ведущей сверхдержавой, их внутренняя политика и экономика приобрели огромное значение для всего мира. Так как общий метод моих исследований предполагает фокусировку на «передовом фронте» власти отдельных периодов, я сосредоточусь на Соединенных Штатах. По сравнению с другими западными странами США в послевоенный период с точки зрения классовой политики были гораздо более консервативными внутри страны и более либеральными в отношении защиты индивидуальных идентичностей. Ни тот ни другой процесс не был постепенным или непрерывным. Противоборство разных направлений классовой политики обострилось как непосредственно в послевоенный период, так и в 1960-е гг., когда в Америке постепенно возобладал консерватизм. Однако позднее произошла резкая либерализация политики в отношении идентичности. В данной главе я прослеживаю обе тенденции вплоть до 1970 г.

### ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Чтобы объяснить послевоенное развитие США, начнем с событий военного времени. Соединенные Штаты вступили в войну лишь в конце 1941 г., а до этого целых два года обогащались за счет военных поставок Великобритании. Кроме того, мобилизация ресурсов на случай возможной войны имела своей целью восстановление экономики. Локомотивом экономического роста стала военная промышленность. В эксплуатацию были введены ранее не использовавшиеся производственные мощности, внедрялись не востребовавшиеся технические усовершенствования. Это стало возможным благодаря увеличению численности рабочей силы (особенно за счет женщин), сокращению малопродуктивных секторов и незначительному увеличению

рабочего дня. Пока США сражались на Тихом океане и в Европе, объем промышленного производства продолжал расти. Доля военных расходов в валовом национальном продукте (ВВП) возросла с 1,4% в 1939 г. до 45% в 1944 г., нарушая все прежние представления о бюджетной дисциплине. Сбалансированный бюджет и стимулирование частных инвестиций стали пустым звуком. Поскольку в качестве платы за поставки союзникам в Соединенные Штаты стекалось золото со всего мира, они могли увеличивать дефицит без каких-либо пагубных монетарных последствий. За счет всеобщей мобилизации ресурсов в период 1939–1944 гг. рост реального ВВП составил феноменальные 55% (Rockoff 1998: 82). С экономической точки зрения война была весьма выгодна для американцев и невыгодна для всех остальных. Эта разница привела к тому, что после войны Соединенные Штаты стали доминировать в мировой экономике.

Лишь немногие американцы пострадали во время войны. На территории государства не было бомбежек, скудной еды или нехватки жилья — всего лишь некоторые ограничения в потребительских товарах. От действий противника на континентальной территории США погибли в общей сложности шесть человек. Это были прихожане одной из церквей в штате Орегон, которые во время пикника на побережье океана случайно наткнулись на тюк, привязанный к большому разноцветному воздушному шару, который был запущен японцами в расчете на то, что ветрами его отнесет на Американский континент. Вероятно, это был единственный подобный шар, которому удалось достичь территории США. Когда отдыхающие вскрыли тюк, находившаяся внутри бомба взорвалась. Остальным американцам война пошла только на пользу. Уровень безработицы снизился с 17% в 1939 г. до менее 2% к 1943 г. и оставался на этом уровне до окончания войны. Поскольку зарплаты росли быстрее, чем цены, потребление и реальные доходы увеличились. Особенно заметно улучшилось положение промышленных рабочих как белых, так и черных, как мужчин, так и женщин. Бремя налогов и выплат по военным облигациям было возложено на богатых. Большинство американцев получили масло, но и солдаты получили пушки. Плохо пришлось лишь американцам японского происхождения. В перспективе обещало улучшиться положение афроамериканцев, которые в массовом порядке нанимались на промышленные предприятия и получали хорошую зарплату. Те из них, кто пошел в армию, сталкивались (в вооруженных силах, где процветал расизм) примерно с таким же отношением, которое к цветным солдатам из колоний проявляли сослуживцы в армиях других стран.

В отличие от других воюющих стран, ставших объектом вторжения противника, в США сохранялась возможность ведения обычной электоральной политики. К тому времени (как показано в главе 8 тома 3) энергия сторонников «нового курса» с их либ-лаб устремлениями иссякла. В то же время проводимая ими политика оставалась сбалансированной, что не исключало неожиданных поворотов влево либо вправо. Власть администрации президента от Демократической партии уравновешивалась Конгрессом, где республиканцы/демократы из южных штатов составляли большинство. После того как уровень безработицы снизился, программы помощи «нового курса» были свернуты. Законопроекты Вагнера — Мюррея — Динжелла 1943 и 1945 гг. предусматривали расширение социального страхования и введение системы государственного медицинского страхования; разрозненные федеральные программы и/или программы штатов по оказанию помощи нуждающимся предлагалось заменить единой федеральной программой. Впрочем, эти законопроекты не встретили поддержки в Конгрессе, где доминировали демократы из южных штатов. Рузвельт не стал тратить силы на проталкивание этих инициатив, понимая, что они заранее обречены на провал. В это время все его внимание сосредоточивалось на войне. Американское государство всеобщего благосостояния сохраняло двойственную, цензовую структуру распределения льгот, которая описана в главе 8. В США не было непреднамеренного движения к универсальному государству всеобщего благосостояния, которое наблюдалось в других англоговорящих странах. Всплеск левых настроений 1930-х гг. был остановлен. Однако низкий уровень безработицы в военное время, стабильные зарплаты и прогрессивное налогообложение позволяют говорить о том, что в 1940-е гг. неравенство существенно сократилось. Продолжительность рабочего дня различных профессий стала одинаковой, и были увеличены оплачиваемые отпуска (Goldin and Margo 1992; Brinkley 1996: 225). В XX в. период 1940-х гг. был единственным десятилетием в истории Америки, когда неравенство в доходах и богатстве существенно сократилось (Piketty and Saez 2003). Теперь распределение доходов в англоговорящих странах было самым равномерным во всем мире. В этом смысле война была для американского рабочего класса благополучным периодом, особенно для афроамериканцев, оплата труда которых выросла с 40 до 60% зарплаты белых. В этом отношении военная власть закрепила достижения «нового курса».

Военная машина государств также продолжала расти в размерах и объемах регуляции. Покрытие военных расходов осуществлялось в основном за счет федерального подоходного

налога и облигаций, с тем чтобы как можно больше активов физических лиц и финансовых организаций инвестировать в программы федерального правительства. Эта «национализация» финансов продолжалась до 1970-х гг., когда она стала более транснациональной (Sparrow 1996: 275). Объем государственных инвестиций в промышленность вырос с менее чем 5% от всех капиталовложений в 1940 г. до 67% в 1943 г. (Hooks 1991: 127). И все же требования военного времени не были такими суровыми, как в Великобритании, Германии или Советском Союзе, где были созданы высшие военные советы, наделенные правом вмешиваться во все аспекты общественной жизни. В Америке аналога им не было. США не стали приносить в жертву потребности гражданского населения. Вместо этого на период военного времени были созданы специальные агентства корпоративного планирования, которые планомерно задействовали гигантские экономические ресурсы Америки. Они ни в чем не оспаривали авторитет президентской власти Рузвельта, оставляли экономику главным образом в частных руках и после окончания войны легко демонтировались.

Во главе агентств стояли политики, государственные служащие и военные, ряд профсоюзных деятелей, но прежде всего менеджеры, временно делегированные на эту работу крупными корпорациями, назначенцы, получающие символическую зарплату от федерального правительства, а основную — от своих корпораций. Под их руководством количество федеральных служащих увеличилось с 830 тыс. человек в 1938 г. (что само по себе было историческим максимумом) до 2,9 млн человек к концу войны. Столь масштабное расширение государственного аппарата привело к возобновлению (чуть приглушенного) спора между сторонниками и противниками большей автономии государства, в том числе на почве классовых теорий (что мы обсуждали в главе 8 тома 3). Однако на этот раз ситуация была иной. В условиях войны основную группу влиятельных чиновников составляли военные, и поскольку главной задачей государства было ведение войны, классовый конфликт утратил былую значимость, свойственную ему в период «нового курса». Этот конфликт не имел большого значения ни для руководства военных ведомств (армии и флота), ни для высших производственных советов, где представительство профсоюзов было незначительным, а основные противоречия возникали между разного рода начальниками — военными, корпоративными и правительственными, оставшимися еще со времен «нового курса».

Относительно результатов этой борьбы существует определенный консенсус, хотя различные исследователи, специализирующиеся на данной проблеме, подчеркивают различные ее

аспекты (Hooks 1991; Sparrow 1996; Domhoff 1996: глава 6; Waddell 2001; Koistinen 2004). Все они так или иначе согласны с тем, что Спэрроу называет теорией ресурсной зависимости, подразумевая, что государственные агентства сохраняли зависимость от тех, кто поставлял им ресурсы, особенно от крупных компаний и военных ведомств (в последнем случае консенсус отсутствовал). Хукс предлагает компромисс между двумя трактовками с точки зрения государственной автономии и классовой теории. Возросшая мощь американского государства, отмечает он, была переориентирована с социальных задач политики «нового курса» на более консервативные цели союза военных и промышленников. Этот альянс включал, с одной стороны, полуавтономную военную бюрократию, с другой — монополистические корпорации, созданные во время войны при участии государства (впрочем, военные располагали и собственными производственными ресурсами). Война породила консервативную идею «большого правительства», но возглавляемого не левыми, а бизнес-корпорациями и военными.

С самого начала 1947 г. холодная война позволила военным упрочить свои властные позиции, однако корпорации смогли по мере возврата к рыночной экономике восстановить автономию. Под общим контролем Пентагона и корпораций — то, что президент Эйзенхауэр позже назовет военно-промышленным комплексом, — оставался сектор, включающий авиастроение, военную электронику и судостроение; именно этот сектор оказался в фокусе промышленного планирования США. В течение последующих 50 лет президенты и Конгресс попеременно пытались подрезать крылья ВПК путем создания независимых от Пентагона гражданских агентств, таких как Комиссия по атомной энергии, Национальная администрация по аэронавтике и исследованию космического пространства, Агентство по контролю за вооружениями и разоружению и Министерство энергетики. Однако большая часть их ресурсов в конечном счете была направлена на военные цели и попала под контроль ВПК. Домхофф подчеркивает могущество корпораций; Хукс — влияние военных в таких передовых отраслях, как самолетостроение. Он согласен с тем, что в более традиционных отраслях главные корпоративные подрядчики «получили экономические ресурсы и политическую власть для координации работы целых секторов экономики» (Hooks 1991: 150, 161). Таков был контекст, в котором Чарльз Райт Миллс (Mills 1956) разрабатывал свою знаменитую теорию властвующей элиты, подразумевая под этим слияние экономической, военной и политической элит в совместном управлении Америкой. В контексте войны (а затем и холодной войны) это имело смысл, хотя, конечно же, слия-



ние не было столь тесным, как в фашистских режимах и режимах государственного социализма, и в какой-то степени уравновешивалось политическими институтами демократии.

При поддержке Конгресса чиновники и бизнесмены одержали верх над сторонниками политики «нового курса», выступавшими за больший либерализм, чем того хотели бизнес и Конгресс, и за больший контроль со стороны гражданского общества, чем того хотели военные (Hooks 1991; Brinkley 1996: глава 8; Waddell 2001). Рузвельт и Трумэн нуждались в поддержке бизнеса и Конгресса, тогда как сторонники «нового курса» востребованы не были. Бизнес и военные достигли некоего *modus vivendi*. Вот как об этом пишет Койстинен (Koistinen 2004: 503): «Несомненно, военные хорошо понимали, что реализация их долгосрочных интересов зависит от корпоративных структур... Промышленники отвечали им взаимностью, поскольку от армейских чинов зависело распределение контрактов. Поэтому по вопросам мобилизационной политики военные ведомства и корпоративная Америка в большинстве случаев выступали единым фронтом, несмотря на то что иногда их непосредственные интересы не совпадали». Сторонники «нового курса» лишились работы, поскольку правительственные агентства, стремясь защититься от комитетов Конгресса, обращались за содействием к более консервативным боссам. В своих речах Рузвельт иногда возвращался к политике «нового курса», но каких-либо конкретных шагов почти не предпринимал.

Надежды либералов на то, что после войны государство начнет реконверсию экономики в поддержку малого бизнеса и профсоюзов, а также станет проводить полномасштабную кейнсианскую политику, повисли в воздухе. Как отмечает Уэддел (Waddell 2001), мобилизация военного времени создала военную (*warfare*), а не социальную (*welfare*) модель расширения власти государства, что вполне устраивало как крупные корпорации, так и консерваторов в Конгрессе. В годы холодной войны эта тенденция сохранялась, однако теперь ей требовалась больше поддержки со стороны гражданского общества, особенно в Конгрессе. Сенаторы и члены палаты представителей в целом такую поддержку оказывали, особенно когда дело касалось размещения в их избирательных округах предприятий ВПК или военных баз. К концу холодной войны таковые имелись в каждом избирательном округе Конгресса. Всем известна прощальная речь президента Эйзенхауэра, предупредившего американцев о нарастающем влиянии «военно-промышленного комплекса». Впрочем, Юджину Жареки, режиссеру документального фильма «За что мы сражаемся» (*Why We Fight*), дети президента якобы рассказали о том, что в предпоследнем чер-

новике выступления их отца упоминался «военно-промышленно-конгрессменский» комплекс (*military-industrial-congressional complex*). После того как советники предупредили его о возможных политических осложнениях, Эйзенхауэр вычеркнул из названия слово congressional (ВВС, Storyville, March 3, 2005). Вариант с тройным определением был точнее и послужил основой для разработки Миллсом теории «властной элиты» — альянса экономической, военной и политической элит. Однако утвердить свою власть над всем государством военно-промышленный комплекс, который иногда называют государством национальной безопасности, не смог. После 1945 г. промышленность перестала работать исключительно на войну, а лоббисты нередко требовали масла вместо пушек. Конгрессу приходилось заботиться о том и о другом. Взаимоотношения Конгресса и ВПК зависели от степени серьезности внешней угрозы и менялись на протяжении всего периода холодной войны. Однако вооруженные конфликты способствовали тому, что «Большое правительство», большой бизнес и Конгресс придерживались в целом консервативного курса.

#### ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: КОРПОРАТИВИЗМ И РОСТ ПРОФСОЮЗОВ

Однако не все федеральные агентства военного времени контролировались бизнесом и военными. Управление по регулированию цен, с января 1942 г. устанавливавшее во всей экономике цены на потребительские товары и расценки на аренду жилья, было бастионом потребительской демократии, во главе которого стояли сторонники «нового курса». Целая армия женщин проверяла цены по всей стране и следила за тем, чтобы они соответствовали установленному уровню. Апофеозом этой деятельности стало замораживание розничных цен на 90% продуктов питания. Эта политика была популярной, несмотря на то что против нее безуспешно выступала Национальная ассоциация промышленников (НАП), обличавшая практику «мелко-бюрократической диктатуры» (*petty bureaucratic dictatorship*). Хотя это была победа либ-лаб лагеря, она была ограничена временными рамками, поскольку в послевоенной Америке столь радикальное вмешательство в рыночные механизмы едва ли могло долго продлиться. Управление по регулированию цен было упразднено в 1947 г., его возрождали в годы Корейской войны, а затем упразднили навсегда.

Война требовала компаративистских трудовых отношений, как было в годы Первой мировой войны. Чтобы исключить

возможность срыва важных оборонных заказов из-за забастовок, приходилось сотрудничать с профсоюзами. В 1941 г. Рузвельт неоднократно посылал войска для прекращения забастовок и принуждения к заключению трудовых договоров, однако прибегать к таким мерам он не любил (Spragow 1996: 72–83). Бизнес был против вхождения профсоюзов в состав плановых комитетов, однако ни НАП, ни торговая палата США не смогли выработать альтернативного плана; к тому же у них не было полномочий заключать соглашения от имени всего бизнеса. Интересы рабочего класса представляли Американская федерация труда (АФТ) и отраслевые федерации Конгресса производственных профсоюзов (КПП), однако между ними постоянно возникали трения. Руководство АФТ все еще с подозрением относилось к связям с государством; в то же время обеим федерациям не удавалось дисциплинировать цеховых активистов, среди которых было немало коммунистов. Кроме того, глава КПП Джон Л. Льюис отвергал идеологию корпоративизма. Рузвельт продолжал настаивать и был готов как на уступки профсоюзам, так и на решительные меры по преодолению оппозиции бизнеса. Однако против роста влияния профсоюзов выступали консерваторы из республиканцев и демократы-южане (Katznelson et al. 1993). Последние, занимавшие в то время половину мест в сенатских комитетах, отстаивали собственный вариант капитализма — расового и без профсоюзов (Korstad 2003). После волны забастовок 1941 г. палата представителей приняла по настоянию бизнеса билль об ограничении прав профсоюзов, который означал бы отмену закона Вагнера. Сенат готовился утвердить билль, и Рузвельт не был уверен в том, что его вето не будет преодолено. Он понимал, что принятие такого закона приведет лишь к новым забастовкам.

Однако теперь, когда японцы атаковали Перл-Харбор, Рузвельт мог разыграть патриотическую карту. С изоляционизмом было покончено, и оппозиция в Конгрессе стала ослабевать. Рузвельт привлек небольшую группу своих союзников в лице занимавших умеренную позицию руководителей корпораций плюс сторонников «нового курса» и представителей КПП к разработке плана, который затем был предъявлен крупнейшим бизнес-ассоциациям, у которых своего плана не было. Все еще опасаясь Конгресса, Рузвельт президентским указом создал Национальный совет по разрешению трудовых конфликтов в военное время, наделенный более широкими регулятивными полномочиями, чем прежний Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB), который мы обсуждали в главе 8 тома 3. В качестве единственного представителя рабочих в руководство новой организации вошли профсоюзы, наделенные в рамках

трехсторонней корпоративной структуры формально равными полномочиями с представителями бизнеса и правительства. Из полученных профсоюзами институциональных привилегий особенно важным было правило сохранения членства, которое позволяло профсоюзам, официально признанным работодателем, принимать в свои ряды всех новых работников предприятия. Работодатели, намеревавшиеся пренебречь этим правилом, вскоре поняли, что это может стоить им федеральных контрактов, и это вынудило других работодателей признать за профсоюзами право на организационную деятельность. Членство в профсоюзах увеличилось на 40% (если в 1939 г. доля состоящих в профсоюзе рабочих от общего количества несельскохозяйственных рабочих составляла 25%, то в 1945 г. она составила свыше 35%). Новый совет по разрешению трудовых конфликтов в военное время (NWLБ) определял национальную политику в области зарплаты, бывшую во многом уравнивающей, поскольку в ее основе лежал принцип равного вклада в победу. Однако повышение заработной платы одинаковым не было: у неквалифицированных рабочих она росла быстрее, чем у квалифицированных, у женщин — быстрее, чем у мужчин, в низкооплачиваемых отраслях — быстрее, чем в отраслях с высоким уровнем оплаты. Теперь профсоюзные лидеры входили в состав руководства одного из крупнейших административных учреждений военного времени. При этом увеличение численности профсоюзов обеспечивало больше денежных фондов и урегулированных трудовых конфликтов, социальных пособий и оплачиваемых отпусков. Все эти поощрительные меры применялись советом в целях стабилизации трудовых отношений. В конце 1940-х гг. Соединенные Штаты сократили отставание от других стран по численности профсоюзов и по этому показателю занимали среди промышленно развитых демократий уже более приемлемое место в середине списка.

На Юге Национальный совет по разрешению трудовых конфликтов наделил правами чернокожих рабочих. «С точки зрения [потребностей] Юга, особенно чернокожих рабочих южных штатов, введенная федеральным правительством система... известная как производственная юриспруденция, была совершенно незаменима... [Ее] никак не назовешь правовым барьером против воинствующих активистов... перед которыми она открывала единственно возможный путь к обретению прав» (Korstad 2003: 223–225). Для большинства чернокожих рабочих на предприятиях R. J. Reynolds (вторая по величине американская табачная компания. — *Примеч. пер.*) участие в выборах производственных органов было первым голосованием в жизни. Они голосовали за своих представителей профсоюзов. В 1943 г.

белые рабочие сталелитейных заводов Harriet and Henderson создали свой профсоюз, вошедший в состав КПП. Утвержденные советом процедуры разрешения трудовых споров помогли им отстоять уровень зарплат и добиться введения правил, регулирующих вопросы охраны труда, порядок перевода на другую должность, нормы сверхурочной работы и характер санкций за опоздания и прогулы. Эти правила не позволяли руководству предприятий произвольно повышать рабочую нагрузку, что ранее являлось главным источником конфликтов. Благодаря этим правилам женщины-работницы получили возможность совмещать работу с домашними обязанностями, что упорядочивало их жизнь. В отличие от работодателей рабочие жаждали регулирования (Clark 1997: 4, 100, 104, 147). Два приведенных исследования дают ясно понять, что рабочие южных штатов приветствовали как создание профсоюзов, так и их регулирование.

Однако регулирование — это палка о двух концах. Совету требовались ответственные профсоюзы, и именно в обмен на обещание не бастовать профсоюзы получили признание работодателей, а также институциональные льготы. Особенно лояльными были коммунистические профсоюзы, которым Москва велела не жалеть сил для победы над общим врагом (Zieger 1995: 172–177). Трудовой контракт с установленным сроком стал нормой. Одним из его условий было то, что любые трудовые конфликты могли быть урегулированы только по истечении контракта путем арбитражного разбирательства в соответствии с процедурой, разработанной Советом. Переговоры между работодателями и профсоюзами о заключении коллективного договора превратились в особый ритуал. Спэрроу (Sraggow 1996: 274–275) делает вывод о том, что «профсоюзы, которые в 1930-е и в начале 1940-х годов с готовностью шли на конфликт, к концу 1940-х стали избегать любого риска, который мог нарушить сложившийся статус-кво».

Лидеры профсоюзов надеялись на то, что корпоративизм сделает их равноправными партнерами в отраслевых советах. На цеховом уровне они хотели участвовать в принятии производственных решений, решений о найме и увольнении персонала, а также добивались права на проверку финансовой документации компаний. Ни одного из этих прав они не получили. Рузвельт не был заинтересован в этом, и даже у самих профсоюзов не было единства по этому вопросу, так что бизнес просто отказался делиться прерогативами руководства. Теперь, когда от лидеров профсоюзов ждали мер против цеховых активистов, КПП выдвинул новые требования к местным функционерам. От них требовалась «способность решать проблемы, касающиеся трудовых контрактов, относительно мирным способом». Тот,

кто не удовлетворял этим требованиям, подлежал чистке. Лихтенштейн указывает: «Вместо того чтобы в каждом конфликте бороться до тех пор, пока требования рядовых работников не будут удовлетворены, члены профкомов должны были теперь рассматривать только те трудовые конфликты, которые были прописаны в контрактах» (Lichtenstein 2003: 23; ср. Cohen, 1990: 357–360).

Недовольство, как предполагалось, должно было проходить через арбитражные процедуры NLRB. Однако к началу 1943 г. совет получал от 10 до 15 тыс. дел в месяц, и количество нерассмотренных дел продолжало расти. В 1943–1944 гг. недовольные рабочие ответили не санкционированными профсоюзом забастовками, но их было меньше, чем в Великобритании в годы войны. Некоторые профсоюзы АФТ, с недоверием относящиеся к политическому регулированию, оказали забастовщикам более весомую поддержку и увеличили свою численность за счет КПП. Борьба внутри профсоюзов и между профсоюзами продолжалась (Brinkley 1996: глава 9; Lichtenstein 2003: вступление; Zieger 1995; Stepan-Norris and Zeitlin 2003; Sparrow 1996: глава 3). Проблема была не только в продажности профсоюзных лидеров. Давление было обоюдным. Цеховые активисты получали поддержку рядовых членов, когда трудовой конфликт переполнял чашу терпения рабочих, а профсоюзные лидеры играли на чувстве военного патриотизма, усиленном пропагандой и настроением электората. В широких массах не санкционированные профсоюзом забастовки были непопулярны. Поскольку многие активисты были коммунистами, большинство рабочих считали активистов-смутьянов «плохими» патриотами, что ухудшало электоральные перспективы профсоюзов и коммунистов. Основной проблемой был сам характер участия Соединенных Штатов в войне. Граждане не приносили больших жертв, за которые впоследствии могли рассчитывать на вознаграждение. Никаких особых симпатий к бастующим рабочим не было. Несмотря на рост численности американских профсоюзов, эта война, как и Первая мировая, в целом стала для них откатом назад, поскольку они еще больше зарекомендовали себя как группа, объединенная не национальными, а секционными интересами. В Америке рабочий класс отказался отождествлять свои интересы с интересами всей нации, как это было в ряде других стран.

В отличие от США в Великобритании производственные районы подвергались бомбардировкам, рабочий день у англичан был длиннее, и трудиться им приходилось в более опасных условиях. Карточная система распределения продуктов привела к формированию черного рынка, который, как полага-

ют, способствовал процветанию богатых и обнищанию рабочих. Британские профсоюзы были вынуждены пойти на такие же сделки, на которые пошли американские профсоюзы. Пост министра труда занимал известный профсоюзный лидер Эрнест Бевин. Однако, когда не санкционированные профсоюзом забастовки произошли в Великобритании, они вызвали гораздо больше сочувствия со стороны широких масс. По мере того как в сознании людей крепло убеждение в том, что народные жертвы после войны должны быть вознаграждены реформами, маятник британского общественного мнения отклонялся все дальше влево. Все это привело к полной победе лейбористов на выборах 1945 г., которая оказалась неприятным сюрпризом для Черчилля. Как показали выборы в Соединенных Штатах, там общественное мнение сместилось немного вправо. Тем не менее к концу войны у американских профсоюзов еще оставалась надежда на то, что им удастся консолидировать завоевания военных лет.

#### ПОСЛЕВОЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КОММЕРЧЕСКОЕ КЕЙНСИАНСТВО, ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

После войны монетарная и фискальная политика «нового курса» сохранилась. На основе военного опыта возник макроэкономический консенсус в пользу государственной поддержки и регулирования рыночных сил. Теперь американский бизнес в большой мере зависел от государственного планирования, что признавали крупные корпорации, поддерживающие так называемое коммерческое кейнсианство. Фискальная и монетарная политика правительства смягчала цикличность капиталистической экономики, повышая занятость, стабилизируя цены и обеспечивая устойчивость экономического роста. Между партиями существовала известная разница в политических акцентах: при демократах упор делался на обеспечение экономического роста, при республиканцах — на стабильность цен. При тех и других субсидии сельскому хозяйству и государственные затраты, особенно на военные нужды, способствовали сохранению совокупного спроса и стимулировали экономический рост. Теперь национальную экономику можно было «измерить» путем регулярного сбора статистических данных, и США первыми сумели воспользоваться экономическим инструментарием, разработанным в 1930-х гг. и особенно в военный период, для составления национальных макроэкономических отчетов, которые стали публиковаться с 1947 г. Между тем на Соединенных

Штатах лежала мировая ответственность не только за противодействие коммунизму, но и за содействие глобальному процветанию. Рост американской экономики зависел от экономического восстановления Европы и Японии, и государственная политика строилась так, чтобы этому способствовать. Новый этап комплексного развития национальной и мировой экономики должен был доказать неправоту Маркса. Капитализм способен порождать коллективные формы защиты от наиболее пагубного влияния свободной конкуренции, как внутренней, так и международной, отчасти посредством милитаризма, который Маркс связывал с феодализмом, а не с капитализмом. Однако с развитием капитализма военная власть отнюдь не отмирала.

Как показывает Домхофф, Комитет экономического развития, КЭР (Committee for Economic Development, CED) — мозговой центр корпоративно-либерального крыла бизнеса — выполнял роль модератора между сторонниками либ-лаб, с одной стороны, и консерваторами — сторонниками свободного рынка в НАМ и Торговой палате США — с другой. Хотя Комитет экономического развития, как и весь бизнес, был решительно против того, за что ратовали первые (помощь профсоюзам, перераспределение доходов, государство благосостояния, регулирование бизнеса), он поддерживал финансовую и монетарную политику правительства, направленную на стимулирование экономического роста и занятости, а значит, и на сохранение стабильности. Это делалось не только в силу преимуществ такой политики, но и потому, что она препятствовала реализации более радикальных планов либ-лаб крыла. Начиная с 1946 г. президенты США получали рекомендации от новообразованной группы экономических советников президента, которая состояла из экономистов, находившихся под влиянием идей Кейнса. Большинство из них являлось также сотрудниками Комитета экономического развития. Последний был готов поддерживать экономическую помощь Европе и допускал (до известных пределов) дефицитное финансирование роста экономики. В борьбе за голоса консервативного большинства в Конгрессе, сформированного республиканцами и южными демократами, Комитету экономического развития часто приходилось конкурировать с бизнес-организациями, выступавшими за сбалансированный бюджет.

Последняя попытка либ-лаб блока законодательно закрепить обязательство государства по обеспечению полной занятости относится к 1944 г., когда они предложили свой *Full Employment Bill* — законопроект о полной занятости, который был призван обеспечить «максимальную занятость, производительность и покупательную способность». Однако в процессе его



принятия содержание билля было настолько выхолощено консерваторами, настаивавшими на сохранении стимулов для низкооплачиваемых рабочих, что ни сторонники «нового курса», ни кейнсианцы в окончательном варианте закона о занятости (полной занятости уже не ожидалось) своего детища не узнали. Хотя в нем предусматривалось регулирование налогообложения в целях стимулирования экономического роста, положение о выделении прямых инвестиций для создания рабочих мест, как того хотели авторы, было изъято (Rosenberg 2003: 43–63; Barber 1985: 165–168; Brinkley 1996: 260–264; Domhoff, см. далее).

Тем не менее в течение 25 лет после войны в США сохранялась низкая безработица на уровне 4%, а уровень жизни подавляющего большинства населения неуклонно возрастал. По общему мнению, период 1950–1973 гг. стал для мировой экономики золотым веком, когда происходило небывало быстрый экономический рост. Этот феномен был таким же аномальным (хотя и с противоположным знаком), каким была Великая депрессия, а его локомотивом выступали Соединенные Штаты (Maddison 1982). Как и в случае с Великой депрессией, экономисты не находят объяснения этому явлению. К нему оказались неприменимы ни неоклассические модели стационарного роста, ни модель естественных темпов роста. Кроме того, эти модели были поставлены под сомнение появлением большого разнообразия технических инноваций, инвестиционных инструментов и форм предложения труда, резко выросших за счет таких беспрецедентных явлений, как массовая миграция сельского населения в города и послевоенный всплеск рождаемости (бэби-бум) (Vombach 1985). Консерваторы сохраняли приверженность идеям свободного рынка, считая происходящий экономический бум доказательством того, что капитализм работает. В 1953 г. на долю американской экономики приходилось 45% объема мирового промышленного производства. Американские технологии внедрялись по всему миру, способствуя экономическому росту и догоняющему развитию в других странах (Abramowitz 1979).

Война привела к увеличению производственных мощностей, однако политика сдерживания цен и ограничения выпуска потребительских товаров длительного пользования вынуждала американцев экономить. В итоге на послевоенный период пришелся взрывной рост потребительских расходов, вызванный возобновлением серийного производства подобных товаров. К 1950 г. 80% американцев имели холодильники и 60% — автомобили. Большинство населения США проживало в собственных домах, что стало возможным благодаря реформам ипотечного кредитования в период «нового курса» и принятию ряда

законов о предоставлении льгот ветеранам войны. Полным ходом шла застройка пригородов. Американский образ жизни материализовался в виде потребительского бума, общества потребления (Cohen 2003). Затем этот бум охватил вначале Европу, затем Японию, Восточную Азию и крупные районы Китая и Индии. Экономический рост продолжался и после того, как был достигнут достаточно высокий уровень жизни. Одна за другой создавались новые технологии, изобретались сложные технические устройства и возникали новые потребности. На рынке появлялись новые модели автомобилей, телевизоров, ноутбуков, видеомagneтофонов, DVD-плееров, проигрывателей с высокой четкостью (Blu-ray), мобильных телефонов, планшетов iPad, модельный ряд которых ежегодно обновлялся, плюс соблазнительная, постоянно изменявшаяся реклама. Массы граждан уже не мыслили повседневной жизни без капиталистических потребительских новинок, гаджетов. Реклама все больше наводняла страницы газет и журналов, украшала улицы и одежду. Люди воспроизводили капитализм не только в сфере производства, но и куда конкретнее — через свое потребление. Капиталистической экономике удалось разрешить противоречие межвоенного времени — наличие высокой производительности промышленных товаров при низком потребительском спросе, которое прежде было причиной кризисов. Теперь США сохраняли баланс между высокой производительностью и высоким потребительским спросом, результатом чего стал мировой экономический бум. Золотой век капитализма, который во Франции называют *les trente glorieuses* (тридцать славных лет), продолжался с 1945 по 1975 г. и принес экономические выгоды большинству населения планеты (Hobsbawm 1994; Maddison, 1982). Однако эти достижения не стали исключительной заслугой американского капитализма. К нему его подтолкнул вначале «новый курс» Рузвельта, а затем военное кейнсианство. В данном случае ситуация «созидательного разрушения», по Шумпетеру, возникла не из логики самого капитализма, а из взаимодействия экономических, политических и военных отношений. Это рождает отвлекающую идею о том, что капитализм, вероятно, не обладает средствами собственного спасения и что рыночные силы не являются самокорректирующимися.

Комбинация рыночных сил, государственного планирования и прогрессивного налогообложения породила новое общество потребления. Хотя бизнес и многие республиканцы выступали за введение более регрессивной шкалы налогов, лидеры республиканцев понимали, сколь непопулярной была бы такая мера. Электоральные соображения сдерживали как правых, так и левых. К 1950 г. поступления от подоходного налога, который

почти невидимо удерживался из зарплат, составляли две трети совокупного дохода. Хотя остальные налоги отчасти носили регрессивный характер, они не были настолько велики, чтобы перевесить поступления от подоходного налога. На самом деле потребление было не всеобщим правом, а привилегией, зависевшей от неравномерности распределения покупательной способности внутри рынков. Полная занятость и прогрессивное налогообложение отчасти нивелировали эту ситуацию, однако бедные слои населения все равно оставались не у дел.

И все же для подавляющего большинства американцев ситуация ничем не напоминала 1930-е гг. Казалось, что к борьбе с безработицей и неравенством подключились объективные силы рынка, которые слегка подталкивали в нужном направлении государственных служащих и спрос со стороны военно-промышленного комплекса (Spragow 1996: глава 4). Хотя программа развития федеральной сети скоростных автомагистралей и современных научно-исследовательских институтов подхлестнула рост экономики, она осуществлялась главным образом по военным соображениям. Соединенные Штаты имели огромный государственный аппарат, который открыто критиковали консерваторы. Если в 1940 г. государственные расходы составляли 20% ВВП, то к 1962 г. они равнялись 31%, а к 1990 г. достигли 40% (Campbell 1995: 34). Максимальные ставки подоходного налога составляли в 1940-е гг. 90%, в 1950–60-е гг. — около 70%, а в период президентства Рейгана были снижены примерно до 50%. Однако, в отличие от «нового курса», ни государственное планирование, ни его огромные размеры не пользовались массовой поддержкой населения и не имели никакого отношения к левым. Стараясь не затрагивать интересы военно-промышленного комплекса и субсидии сельскому хозяйству, консерваторы превозносили достоинства свободных рынков и отвергали концепцию «большого правительства» как порождение фашизма либо коммунизма. Корпорации, в которых ранее усматривали источник зла, теперь стали источником блага. Ведь они гарантировали занятость, имели собственные программы социального страхования и управлялись собственным менеджментом (банкиры с Уолл-Стрит ушли на задний план, поскольку большинство корпораций имело свои источники финансирования). В 1950-х гг. акциями компаний владела лишь одна из десяти американских семей; слово «капитализм» употреблялось редко. В этот период экономику ассоциировали со свободным предпринимательством, как если бы корпорации, военно-промышленно-конгрессменский комплекс и субсидирование сельского хозяйства способствовали индивидуальной свободе. Это было именно «большое правительство» с крупными корпора-

циями, но консерваторы представляли все так, будто в реальности дела обстоят иначе.

Это притворство имело важные последствия. Коммерческое кейнсианство, реализуемое элитой из Вашингтона, выглядело абстракцией, далекой от жизни большинства людей; их занятость и потребление, казалось, зависели только от рынков. Тот факт, что политики проповедовали свободный рынок, а кейнсианцы помалкивали, предполагал, что идея свободного рынка более присуща американской идеологии и созвучна ей. Это было кейнсианство, которое не смело открыто заявить о себе. Поэтому позже появился миф о том, что в период золотого века в Америке преобладали свободные рыночные силы и низкие налоги, но стоило лишь создать большое правительство и повысить налоги, как экономический рост замедлился. Это была ложная, но весьма влиятельная идеология.

Большое правительство укрепилось после того, как Советы создали атомную бомбу, а также в годы Корейской войны, что будет обсуждаться в следующей главе. Опыт Корейской войны, чуть было не обернувшийся поражением США, заставил военных понять, что численность американской армии никогда не достигнет численности армий коммунистических стран. Поэтому США взяли курс на создание высокотехнологичных и капиталоемких средств ведения войны. В 1950-е гг. расходы на военные исследования и разработки выросли в пять с половиной раз в реальном выражении, и такие корпорации, как General Electric и General Motors, оставались, как и в годы мировой войны, крупнейшими оборонными подрядчиками. В период 1950–1980 гг. расходы на военные исследования и разработки составляли в США от 40 до 65% общих расходов на НИОКР (Hooks 1991: 27–28). Это оказалось полезным для экономики, так как обеспечивало стабильность промышленного сектора, рост постоянной занятости и ограничивало негативную рыночную конъюнктуру. Побочным результатом военных исследований и разработок стало появление гражданских компьютеров и полупроводников (Alic 2007). Все это было порождением не столько коммерческой инициативы, сколько военного кейнсианства, не столько экономической политики, сколько непредвиденных последствий глобальной военной мощи. На месте военно-промышленного комплекса 1950-х гг. возник, по выражению Линды Вайсс (Weiss 2008), «комплекс по разработкам и закупкам», которому на военные закупки из федерального бюджета было выделено 450 млрд долл. (а с учетом всех уровней государственного управления — триллион долларов) плюс спонсорство многочисленных совместных государственно-частных предприятий. Развитие технологий двойного (военного и гражданского) на-

значения, таких как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (компьютеры, полупроводники, программное обеспечение), биотехнология и нанотехнология, стерли грань между государством и бизнесом и между гражданскими и военными нуждами. Это было сделано вполне сознательно, поскольку американское правительство признает, что его военные нужды и нужды безопасности требуют сохранения лидирующих позиций в сфере высоких технологий. В этом секторе «большое правительство» присутствовало во всем своем величии. Тесное переплетение военных и экономических интересов, хотя и не в таком масштабе, характерно и для других военных держав, таких как Россия, Китай, Великобритания и Франция.

В отличие от других стран, где ситуация была иной (о чем говорилось в главе 9 тома 3), в Америке успехи экономики, по-видимому, исключали необходимость в помощи нуждающимся и в перераспределении доходов. Основу потребительского бума практически для всего населения США обеспечили высокие и стабильные доходы трудящихся, занятых в финансируемых государством оборонных отраслях, а также в автомобильном секторе. Тому же способствовали низкие цены на бензин, а также крупные средства, выделяемые федеральным правительством на строительство сети скоростных автодорог, плюс бум экспорта в европейские страны, экономика которых ускоренно возрождалась благодаря Плану Маршалла. Организации, в период «нового курса» помогавшие нуждающимся, были расформированы, поскольку кандидатов на получение государственных пособий не осталось. И даже ветеранские программы были переданы из федерального ведения в ведение штатов (Brinkley 1996: 224–226, 268–269; Maier 1987a). Потребление, корпоративные и государственные социальные программы, нацеленные на поддержку бедных слоев населения, породили не всеобщие права, а особые привилегии, доступные не всем. Тем не менее большинство американского населения, по-видимому, не испытывало потребности в том социальном гражданстве, к которому стремилась Европа, осуществлявшая всеобщие социальные программы и активную политику на рынке труда. В США перспективы либеральной политики всегда были слабыми независимо от того, кто был президентом страны — демократ либо республиканец — и кому принадлежало большинство в Конгрессе. Процент избирателей, участвовавших в выборах 1948 г., снизился до 53% и в дальнейшем наивысший показатель был зарегистрирован в 1953 г. и составил всего 63%. Теперь мало кто из бедных голосовал. США начали долгий, хотя и не всегда устойчивый дрейф вправо, продолжавшийся до конца века и ставший итогом взаимодействия внутренних и геополитических сил.

После смерти Рузвельта в 1946 г. республиканцы взяли под свой контроль палату представителей и Сенат, чему способствовали реакция на волну общенациональных забастовок и позиция южных демократов. В годы холодной войны сдвиг вправо продолжался на фоне антитоталитарной риторики консерваторов, направленной против сторонников «большого государства» из числа участников «нового курса», а также против социалистических и коммунистических профсоюзов. Коммунисты в Соединенных Штатах уже давно были демонизированы. Как показали итоги опроса, проведенного в 1938 г. агентством Гэллапа, в свободу слова верили 97% американцев, но свободу слова для коммунистов признавали лишь 38%. В 1941 г. об одобрении тюремных сроков либо других репрессивных мер против коммунистов заявили 69% опрошенных (White 1997: 30). До начала холодной войны это мало что значило. Если респондентам задавали вопросы о коммунизме с вариантом ответа «да — нет», то они отвечали отрицательно, но в действительности коммунисты их совершенно не заботили. Теперь же коммунистов объявили «главными врагами, пытающимися нас поработить». Это было началом необычного периода в истории США, внутренняя и внешняя политика которого, подпитывая одна другую, превращали страну в «государство национальной безопасности». Как всегда происходит в так называемых демократиях, внешнюю политику вершила крошечная элита, однако на сей раз этот курс был по-настоящему популярен, поскольку был укоренен в широко разделяемом массах антикоммунизме.

Демократы пытались не отставать от республиканцев. Фраза «Задай им жару, Гарри!» стала девизом Трумэна, спровоцированного республиканской пропагандой 1946 г. о том, что [стране остался] один выбор: либо коммунизм, либо республиканизм. По приказу Трумэна были инициированы программы проверки госслужащих на лояльность, чем впоследствии воспользовался сенатор Маккарти. И хотя в администрации США действительно существовали советские шпионские сети, они были быстро обезврежены. Много лет спустя Кларк Клиффорд, советник президента Трумэна, сказал: «Это была политическая проблема... всерьез проблему лояльности мы не обсуждали никогда... Президент не придавал существенного значения так называемой коммунистической угрозе. Он полагал, что все это вздор. Однако политическое давление было столь велико, что ему пришлось признать угрозу реальной. Это проблема была создана искусственно» (White 1997: 60). Теперь аналогичным образом «продавались» уже и программы помощи иностранным государствам, хотя они и так более чем на 90% определялись соображениями военного характера.

Особенно заинтересованы в раздувании антикоммунизма и холодной войны были южные демократы и военно-промышленный комплекс. Другие республиканцы вначале колебались из-за налогов, которых требовала холодная война, но вскоре склонились к антикоммунизму, сообразив, что эта сквозная тема как во внутренней, так и во внешней политике позволит им сплотить ряды. Либералы подверглись осуждению за приверженность социалистическим программам и слишком мягкое отношение к коммунизму как внутри страны, так и за рубежом. Как признался в частной беседе Аллен Даллес, госсекретарь при президенте Эйзенхауэре, антикоммунизм внутри страны они насаждали ради того, чтобы легитимировать дорогостоящую внешнюю политику балансирования на грани войны (Gaddis 1982: 136, 145). Геополитический психоз был нужен для того, чтобы увести Америку вправо. Работодатели обличали профсоюзы социалистическими и коммунистическими, некоторые из них таковыми и были. В 1946 г. президент компании *General Motors* заявил: «Если говорить о проблемах Соединенных Штатов совсем коротко, то их две: во внешней политике — Россия, во внутренней — профсоюзы» (White 1997: 31).

## РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ: ЗАСТОЙ И УПАДОК

В таком враждебном климате профсоюзы должны были либо ответить на вызов, либо прийти в упадок. В 1946 г. КПП пытался изменить ход событий путем активизации своей деятельности на Юге. В рамках операции Dixie он направил в южные штаты 150 профсоюзных организаторов. Однако уже через шесть месяцев операция Dixie провалилась. Ее организационная модель была рассчитана на крупные северные корпорации, а не на мелкие предприятия Юга, поэтому она потонула в разрозненности рабочих. Многим организаторам-коммунистам было отказано в участии, что ослабило напор кампании. Кроме того, КПП не смог утвердить себя в качестве легитимной силы в южной [политической] культуре (Griffith 1988; Honey 1993). Антикоммунизм применялся против любого, кто выступал за равную интеграцию, а среди таких было много профсоюзных активистов. Из-за неуступчивости южных работодателей, опиравшихся на поддержку полиции, армии и политиков, операция Dixie провалилась. Она оказалась контрпродуктивной, так как подрывала существующие южные профсоюзы. На табачной фабрике R. J. Reynolds в городе Уинстон-Сейлем активисты КПП не смогли объединить в профсоюз работников других фирм, а в 1949–1950 гг. сами проиграли выборы в NLRB. После того

как владельцы R. J. Reynolds уволили активистов, профсоюз распался. В период 1940–1960 гг. доля членов профсоюзов в общей численности несельскохозяйственных рабочих на Юге сократилась с более чем 20% до менее 10% (Korstad 2003: chap. 15; Zieger 1995: 227–241; Lichtenstein 2002: 112).

В 1946 г. США захлестнула волна общенациональных забастовок; общее количество бастующих составило 4,6 млн человек, что является самым высоким ежегодным показателем в Америке XX в. Солидарность и воля бастующих были впечатляющими, и работодателям пришлось пойти на некоторое повышение зарплаты (Zieger 1995: 212–227). Однако волна забастовок впервые не привлекла в профсоюзы новых членов, что позволяет на фоне сдвига политики вправо говорить как об исчерпании запасов лояльности, так и о росте фатализма среди рабочих. Эта волна забастовок придала твердости взглядам консерваторов и оттолкнула от себя большую часть среднего класса. Убежденный последними событиями в том, что профсоюзы действительно получили слишком большую власть, Конгресс при подстрекательстве бизнеса перешел в наступление. Если предприниматели не жалели денег на пропаганду, направленную против коммунистических профсоюзов, то самим профсоюзам, чтобы эффективно ей противостоять, не хватало ни финансовых ресурсов, ни единства. Позиция бизнеса была единой и непримиримой: бизнес стремился уничтожить профсоюзы и чувствовал, что шанс вот-вот представится (Rosenberg 2003: 71; Domhoff, книга в печати).

В итоге в 1947 г. был принят закон Тафта — Хартли (Taft — Hartley Act) (Plotke 1996: глава 8), который запрещал незаконные трудовые практики. В частности, запрещались санкционированные забастовки с целью повлиять на выбор одного из нескольких соперничающих профсоюзов как субъекта переговоров при заключении коллективных договоров, вторичные бойкоты (когда профсоюзы бастуют, устраивают пикеты либо отказываются обрабатывать товары других компаний, с которыми у них нет прямого трудового конфликта), а также закрытые предприятия (соглашения, требующие от работодателя нанимать на работу только членов данного профсоюза). Профсоюзные цехи (union shops) (когда по условиям коллективного трудового договора все новые работники должны вступать в профсоюз) разрешались только в том случае, если за них проголосуют большинство работников. При этом отдельным штатам позволяли принимать антипрофсоюзные законы, запрещающие предпринимателям нанимать на работу только членов профсоюзов (right-to-work laws). Право на труд стало означать не столько право на работу, сколько право не быть членом



профсоюза. Кроме того, закон Тафта — Хартли запрещал вступать в профсоюз мастерам и бригадирам, поскольку считалось, что это вызывает конфликт интересов и наносит ущерб правам собственности; между тем численность мастеров и бригадиров на производстве постоянно росла. Федеральное правительство было вправе запретить забастовку, если она «угрожала здоровью или безопасности общества» — определение, которое трактовалось судами весьма широко. Чтобы воспользоваться услугами NLRB, профсоюз должен был под присягой заявить о том, что его функционеры не являются коммунистами. Участвовать в политических кампаниях профсоюзам запрещалось. Два последних положения были впоследствии отменены как неконституционные — уже после того, как левые профсоюзные активисты практически исчезли. Этот закон по-прежнему является основой трудовых отношений в США и сильно осложняет деятельность профсоюзов.

Исключение коммунистов лишило профсоюзы многих активистов. Надо признать, что отношения между членами компартии и прочими профсоюзными деятелями никогда не были теплыми; свою долю вины за это несли и коммунисты, оттолкнувшие от себя лидеров КПП тем, что на выборах 1948 г. оказали поддержку новой Прогрессивной партии. В КПП существовали разные мнения: одни функционеры были готовы воспользоваться законом, чтобы избавиться от коммунистов; другие были настроены иначе. Выступая на съезде КПП в 1949 г., Гарри Бриджес, лидер профсоюза докеров (сторонник левых взглядов, хотя и не коммунист), высказался против исключения профсоюза электриков (UE). Он отметил: «Я не нахожу ни одного обвинения, которое говорило бы о том, что UE плохо защищал интересы своих членов. Не было выдвинуто ни единого обвинения экономического характера. Итак, теперь у нас профсоюз исключают из КПП за несогласие с его мнением по политическим вопросам». Далее он спросил: «Мой профсоюз не поддерживал ни план Маршалла... [ни] ...Атлантической пакт, так что же, теперь вы и нас исключите?» «Да», — в один голос выкрикнули делегаты. Затем участники съезда проголосовали за исключение девяти отраслевых профсоюзов, которые составляли 25% численности КПП. Коммунистические профсоюзы были фактически самыми демократичными (Stepan-Norris and Zeitlin, 2003: цитата по с. 271; ср. Goldfield 1997). Вероятно, потому, что в большинстве организаций они были оппозицией. Тем не менее исключение коммунистических профсоюзов явилось братоубийственной глупостью, подорвавшей организационные возможности КПП. Однако к тому времени братьями коммунистов в профсоюзном движении уже не считали.

Для местных отделений южных профсоюзов внутренние распри стали дурной вестью. На табачной фабрике в городе Уинстон-Сейлем рабочие чувствовали враждебное отношение со стороны работодателей и были запуганы перспективой внедрения механизации, но местный профсоюз чернокожих рабочих отказался защищать их права, опасаясь обвинений в пособничестве «красной угрозе» (Korstad 2003). В Мемфисе межрасовое профсоюзное движение было «фактически раздавлено» гонениями на левых, которые являлись его главными активистами. Для работодателей и квалифицированных белых рабочих, которым сегрегация была выгодна, твердые принципы ведения бизнеса, антикоммунизм и сегрегация были практически взаимозаменяемыми понятиями (Honey 1993: 8).

Теперь в производственные отношения было привнесено некое противоречие (Gross 1995): с одной стороны, закон Тафта — Хартли требовал строгого соблюдения «практики и процедуры коллективного трудового договора», с другой стороны, он защищал не столько коллективные, сколько индивидуальные права, особенно права владельцев собственности. Это давало возможность работодателям препятствовать юнионизации путем вмешательства в электоральный процесс, регламентируемый этим законом. Во время вполне легальной забастовки работодатели вправе уволить бастующих и нанять новых работников, что сильно сокращало возможности трудящихся по использованию такого оружия борьбы, как отказ от работы. Кроме того, члены Национального совета по трудовым отношениям (NLRB) также назначались партией, одержавшей политическую победу. В то время как назначенцы от Демократической партии стремились если не расширить, то хотя бы сохранить права профсоюзов, республиканцы их урезали, начиная с президентства Эйзенхауэра и далее при Никсоне, Рейгане и Буше-младшем (вплоть до Обамы, при котором республиканское большинство в палате представителей не дает профсоюзам сделать ни шагу вперед). Национальный совет по трудовым отношениям все реже вступался за коллективные права рабочих. С началом эры репрессивных юридических мер все достижения политики «нового курса» были обращены вспять. Американские профсоюзы в организационном отношении вновь уступили американскому бизнесу, объединенному в более мощные корпорации и торговые ассоциации.

Мечты о том, что труд может стать равноправным партнером в системе корпоративизма, развеялись. Работники, не вступавшие в профсоюз, имели такие же преимущества, какими пользовались члены профсоюза, что серьезно подрывало стимулы для уплаты членских взносов. Антипрофсоюзные

законы, в соответствии с которыми работодатели могли нанимать не только членов профсоюзов, были приняты в 22 штатах, и штрейкбрехерство превратилось в весьма доходный бизнес. Закон Тафта — Хартли обрек профсоюзы на существование в рамках «практически неизменного географического и демографического пространства, где их присутствие в отдельных профессиональных сегментах носило островной, изолированный характер» (Lichtenstein 2002: 114–122). Их территория в значительной степени ограничивалась Северо-востоком и Средним Западом, а само движение носило не общенациональный, а региональный характер (Goldfield 1987: 235). Выторговывание привилегий профсоюзами все больше концентрировалось в отдельных фирмах и носило сегментированный характер, правовой основой юнионизма вновь стали индивидуальные, а не коллективные права, что отрицало какую-либо классовую основу. Профсоюзы так до конца и не оправились от серии взаимосвязанных ударов, полученных в 1946–1947 гг. В 1945 г. доля членов профсоюзов все еще была рекордно высокой, однако волна забастовок схлынула из-за ограничений, наложенных законом Тафта — Хартли (Wallace et al. 1988). До начала 1960-х гг. в ряды профсоюзов входило до 30% несельскохозяйственных рабочих, однако затем роль профсоюзов в большинстве секторов частной промышленности стала медленно, но непрерывно ослабевать (в отличие от других стран), и эта тенденция лишь частично компенсировалась за счет роста доли членов профсоюзов среди рабочих государственного сектора (по аналогии с другими странами). Поскольку в других странах численность профсоюзов возрастала, к 1960-м гг. по этому показателю США начали отставать от развитых демократий, хотя окончательный разрыв произошел позднее. Голдфилд (Goldfield 1987) ясно указал причины спада: они не были связаны ни с изменениями в профессиональной или отраслевой структуре занятости, ни со сдвигами в расовой, гендерной или возрастной принадлежности работников. По его мнению, этот спад имел политический характер и был вызван тремя причинами: во-первых, послевоенным альянсом республиканцев с южными демократами, преобладавшими в Конгрессе, что позволило принять антипрофсоюзные законы и увести NLRB вправо; во-вторых, растущим упорством бизнеса в изобретении новых способов борьбы с профсоюзами; в-третьих, вялой и неизобретательной тактикой самого профсоюзного движения.

Находясь под сильным давлением, лишенные политической власти либо представительства, которое в других странах обеспечивалось социалистическими и лейбористскими партиями, лидеры КПП стали уклоняться вправо и были готовы пой-

ти на любые возможные сделки. После изгнания левых идеологический раскол между АФТ и КПП был преодолен, и в 1955 г. произошло их слияние и принятие единой доктрины, основанной на экономизме АФТ. Эта доктрина фокусировалась на выторговывании у работодателей максимум зарплат и пособий и не посягала на прерогативы управления производством (Lichtenstein 2002: главы 3, 4). Поскольку этот деловой унионизм был ориентирован на извлечение выгоды, он порождал и незаконную деловую практику — коррупцию и связи с мафией, особенно в профсоюзах докеров, горняков и водителей-дальнобойщиков. В 1959 г. это стало предлогом, позволившим консервативным авторам закона Лэндрама — Гриффина еще больше ограничить права профсоюзов, мотивируя свою инициативу борьбой с преступностью (Fitch 2006). Политика экономизма приносила свои плоды: во избежание появления у себя профсоюзов некоторые фирмы предоставляли своим работникам соответствующие льготы. Профсоюзы окопались в старейших секторах корпоративной Америки, обеспечив себе долю в капиталистическом процветании. В политике они замкнулись на себе — подальше от широких социальных целей, поближе к материальным интересам своих членов. Но поскольку в их отраслях к тому времени наметился спад, начало сокращаться и членство в профсоюзах. Это был закат либерального «нового курса» в Америке. Вконец обесточенное, профсоюзное движение уже не могло обеспечить свои 50% поддержки этого курса.

В большинстве других процветающих стран начало 1950-х гг. стало этапом дальнейшего расширения сферы социального обеспечения (с целью распространения ее на всех граждан), а также институционализации сложившихся способов сотрудничества (в духе корпоративизма) между бизнесом, профсоюзами и государством. Эти подвижки положительно коррелировали с уровнем развития профсоюзного движения (Hicks 1999: chap. 5). Поскольку в этом аспекте Америка отставала, она стала отставать и в других, таких как распространение мер социальной поддержки на всех граждан и более справедливое распределение власти в рамках системы корпоративизма. Профсоюзов не было на передовой борьбы за гражданские, гендерные и сексуальные права, они не поддерживали и движения в защиту окружающей среды (Lichtenstein 2002: глава 3, 4; Zieger 1995: 327). Согласившись забыть о наиболее значимых проблемах общественного устройства, профсоюзы ограничились защитой интересов своих членов, большинство из которых составляли белые мужчины, имевшие работу и пользовавшиеся корпоративными привилегиями. Такой же привилегией, а не правом был для них и социальный статус американского гражданина.

Профсоюзы растеряли не все свое влияние; 20% американцев были членами профсоюзов, и АФТ — КПП оставались крупнейшими добровольными ассоциациями страны. В период проведения «нового курса» и в военные годы между профсоюзами и Демократической партией установились тесные отношения, особенно характерные для либерально настроенных штатов и городов. В демократической коалиции профсоюзы оставались ключевым партнером. Не добившись перераспределения богатства и власти, они все же обеспечили своим членам долю от экономического роста, что, в свою очередь, стимулировало рост совокупного спроса. Хотя профсоюзам не удалось изменить направление политики в сфере трудовых отношений, они пользовались известным влиянием в решении других социально-экономических проблем в рамках более широкой коалиции в поддержку довольно иерархичной системы либерализма, не имея той силы, которую дает массовая мобилизация. Кроме того, их региональное влияние было неоднородным, поэтому в ходе избирательных кампаний многим демократам не приходилось обращаться к профсоюзам. Вместо этого они целиком полагались на поддержку других участников демократической коалиции. Профсоюзы способствовали достижению послевоенного консенсуса, однако были интегрированы в него на второстепенных ролях без перспективы своего дальнейшего развития. Это был ключевой элемент политики по смещению Америки вправо. Как показывают данные исследований, приведенные в главе 9 тома 3, сила профсоюзного движения является единственным надежным индикатором зрелости гражданского общества. Поскольку этой силы в Соединенных Штатах не было, результаты оказались предсказуемы.

## АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Оборонная мощь Советов зиждилась на огромной по численности армии, которая была также необходима для подавления буферных государств. Вот почему советское общество сохраняло высокую степень милитаризации (Odom 1998). И наоборот, высокотехнологичные вооруженные силы США и тот факт, что железный занавес находился далеко от территории Америки, означали, что ее милитаризм был в какой-то мере абстрагирован от жизни большинства американцев. Шерри (Sherry 1995: xi) называет Америку милитаризованной, подразумевая под этим «процесс, в ходе которого проблемы войны и национальной безопасности приобрели характер всепоглощающего беспокойства и превратились в источник мифов, моделей и метафор, форми-

рующих широкие аспекты социальной жизни». Все это довольно расплывчато. Успехи военного кейнсианства означали, что у американцев имелись и пушки, и масло и что категории «оборона» и «процветание» были в их сознании встроены в понятие «свобода». Оборона была частью целостного образа жизни, что ощущалось на уровне повседневного бытия (Kunz 1997).

В годы холодной войны преследованиям наравне с коммунистами нередко подвергались радикалы и либералы. Их также мучили клятвами верности, допросами в ФБР, слушаниями комиссии по антиамериканской деятельности сенатора Маккарти и притянутыми за уши обвинениями в подстрекательстве. Нападки были направлены против «попутчиков» коммунизма, коммунистических марионеток, а также тех, кто проявлял симпатии в отношении коммунизма или находился под его влиянием. В конце многих списков таких врагов стояло сокращение «и т.д.» на тот случай, если кого-то из леваков забыли включить. Стреляя по такой крупной мишени, промахнуться было трудно. Конечно же, наказания были далеко не так суровы, как те, которым подвергались диссиденты в Советском Союзе. Тысячи людей, обвиненных в распространении коммунистического влияния, особенно в федеральном правительстве, в колледжах и университетах, в Голливуде и на телевидении, отделались лишением допуска к секретной работе, увольнением и лишь иногда тюремным сроком. Многие попали в черный список за то, что когда-то общались с людьми либерального либо левого толка. Чтобы получить или сохранить работу, миллионы американцев были вынуждены клясться в верности. Тот, кто был уличен в связях с левыми, подлежал увольнению и подвергался уголовному преследованию. Вот и все. Это не было террором, но калечило судьбы людей и лишало их политических прав.

По оценкам Шрекер, по этой причине потеряли работу от 10 до 12 тыс. американцев, включая ее учителя в шестом классе. Она считает, что «маккартизм уничтожил левых» (Schrecker 1998: 369). Это — преувеличение, однако маккартизм действительно их ослабил. Всякий, на ком стояло клеймо «коммунист», с трудом находил силы к сопротивлению. На руку их гонителям сыграли два судебных процесса над шпионами, в ходе которых Эдджер Хисс и чета Розенбергов были (справедливо) обвинены в шпионаже в пользу Советов. Это нанесло сильный удар по репутации либералов, поскольку многие из них публично заявляли о невиновности подсудимых. Как демонстрирует Стоун, всерьез подавлять критику в адрес государственных чиновников либо государственной политики американское правительство пыталось лишь в военное время — в годы Гражданской вой-

ны, двух мировых войн, холодной войны, войны во Вьетнаме, а также недавних войн на Ближнем Востоке. «Однако, — добавляет он, — первые годы холодной войны были одним из самых репрессивных периодов в американской истории» (Stone 2004: 312). В тумане войны можно достичь и побочных целей, в данном случае целью было нейтрализовать профсоюзы и либералов.

Увы, «охоте на ведьм» помогало и научное сообщество. В 1949 г. президент Американской исторической ассоциации призвал коллег «занять активную позицию», поскольку в период «тотальной войны, будь она холодная или горячая» нейтралитет невозможен. Центральной темой в национальной культуре и интеллектуальной жизни стал антикоммунизм (Whitfield 1996: глава 3, цитата по с. 58). Лояльность и патриотизм означали уважение к властям — от военных и ФБР до идеализируемой ядерной семьи. В популярных романах, фильмах и телесериалах военные и сотрудники ФБР изображались как защитники демократии, красной нитью в них проходило уважение к властям. Кинематографисты не решались без санкции Пентагона снимать военные и шпионские фильмы, а такие телесериалы, как *The FBI* («ФБР») и *I Led Three Lives* («Я живу тремя жизнями»), были показаны зрителю только после личного одобрения Гувера. Собственный трактат Гувера об антикоммунизме *The Masters of Deceit* («Мастера обмана: о коммунизме в Америке и о том, как с ним бороться») был бестселлером.

Многое из написанного в годы холодной войны сегодня кажется ужасным. В романе Микки Спиллейн *One Lonely Night* («Ночь одиночества») (1951) Майк Хаммер хвастается: «Сегодня я прикончил больше людей, чем пальцев у меня на руке. Я стрелял в них хладнокровно и наслаждался этим от начала до конца... Это были комми, красные ублюдки, которых следовало убить уже давно». При этом книги Спиллейна в 1950-х гг. были самыми продаваемыми в Америке. Студии Голливуда и боссы артистических профсоюзов, среди которых был и молодой Рейган, распространили Справочник кинематографиста, снимающего кино для американцев (*A Screen Guide for Americans*), в котором перечислялись запретные темы и идеологические табу. Вот некоторые из них: «обличение» системы свободного предпринимательства, фетишизация образа «простого человека», воспевание бедности в качестве добродетели; попытка в любом поражении отыскать признаки величия (White 1997: 32).

Почти все американские религии решительно выступили против безбожного коммунизма и идентифицировались с американизмом, так же как во времена «красного психоза» 1920-х гг. Известные религиозные деятели того времени — Билли Грэм,

Фултон Дж. Шин, Норман Винсент Пил, кардинал Спеллман — подчеркивали связь своей духовной миссии с защитой нации от коммунизма, тогда как вторившие им политики наполняли свою антикоммунистическую риторику религиозными аллюзиями.

Большинство американцев им верили. В 1949 г. 70% американцев порицали Трумэна за то, что он обещал не наносить ядерного удара первым. В 1950 г. 59% заявляли о том, что Советскому Союзу следует предъявить ультиматум: если какая-либо из коммунистических армий нападет на любую другую страну, то мы немедленно начнем против вас полномасштабную войну. В 1951 г. за применение ядерного оружия в Корейской войне выступал 51% американцев. В 1951 и 1952 гг., отвечая на вопрос, что они предпочтут: распространение коммунизма или еще одну войну, две трети респондентов выбрали войну. В 1954 г. о том, что война с Россией неизбежна, заявляли 72% американцев. В 1952 г. 81% американцев считали, что в государственном департаменте засело немало коммунистов либо предателей. На самом же деле объектом их гнева были либералы. В 1954 г. 87% опрошенных заявили, что невозможно быть одновременно коммунистом и американским патриотом. Даже в 1989 г. 47% американцев предпочли коммунистическому господству тотальную ядерную войну (White 1997, 4, 10, 28, 67–66; Whitfield 1996: 5; Wittkopf and McCormick 1990: 631, 634; более скептичен в этом отношении Filene 2001: 159). Лозунг «Лучше быть мертвым, чем красным» — убедительное свидетельство демонизации коммунизма: хуже смерти была ночь живых мертвецов. В те годы любили повторять: с коммунистами лучше воевать за границей, чем у себя дома. Именно это и произошло в начале нового тысячелетия, только воевать пришлось с другим врагом. Антикоммунизм периода холодной войны был мощной идеологией, которая была имманентной в том смысле, что усиливала сплоченность и чувство национальной солидарности, и то же самое происходило по другую сторону железного занавеса.

В Государственном департаменте и ЦРУ всегда были те, кто не верил в монолитность советской угрозы и считал, что более примирительная политика может вызвать раскол внутри советской элиты и советского блока. Однако в условиях истеричной атмосферы они не решались говорить об этом публично. Кроме того, политики не смели открыто выступать против сенатора Маккарти, хотя многие его и презирали. Либералы быстро дистанцировались от любых связей с левой идеологией. Они стремились переориентировать «левоцентристский политический спор на две темы: индивидуальной свободы (или «гражданских прав») внутри страны и антикоммунизма за грани-



цей» (Bell 2004: 145, 150). Противопоставление индивидуальных прав американцев и советского коллективизма было конструктивным элементом [политической] культуры холодной войны. Однако парадокс заключался в том, что этим занимались либералы, сами подвергавшиеся репрессиям. К тому времени многие консерваторы уже забыли, что собой представляют права личности. К 1950 г. диапазон разрешенной тематики в дискуссии правых и левых резко сузился. В стране существовали цензура и ограничение прав диссидентов, которых насчитывались единицы, однако важнее было то, что самоцензура царила в Голливуде, среди издателей и авторов учебников истории. Предчувствуя начало репрессий, продюсеры и редакторы заранее очертили своим режиссерам и писателям круг допустимых тем. В свою очередь, режиссеры и писатели, не желая подвергаться репрессиям, подчинились этим требованиям (Fousek 2000: 161; Whitfield 1996). Хотя в Америке велись открытые дебаты о том, каким должен быть военный бюджет, и не приведет ли холодная война к созданию слишком могущественного государства, Конгресс в итоге всегда утверждал ассигнования на оборону и безопасность, которые поддерживали военный консенсус (Hogan 1999).

## ПОСЛЕВОЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ

Однако лобовой атаки на систему социального обеспечения не было. Ни в годы войны, ни сразу после ее окончания ничего существенного в этой сфере не произошло. Как отмечает Спэрроу (Spragow 1996), эта ситуация разрушила ожидания американцев, не получивших компенсации за жертвы военного времени. Точно так же Аmenta и Скочпол (Amenta and Skocpol 1988; ср. Amenta 1998), оспаривая идею о том, что война обязательно приводит к расширению государства всеобщего благоденствия, отмечают, что подобное расширение действительно имело место в Великобритании, но не в Соединенных Штатах. Затем они пытаются объяснить это исходя из различий в политических институтах двух стран. Делая акцент на отношениях политической власти, они критикуют то, что, по их мнению, является одержимостью современной социальной науки классовыми и экономическими вопросами. Они утверждают, что на данном этапе политическая система США была менее демократична, чем политическая система Великобритании, что американская политика была более фрагментарной, что британское государство было более дееспособным и что там сотрудничество пар-

тий и классов в военное время было более интенсивным. Последнее из этих различий действительно способствовало тому, что послевоенное государство благосостояния с большей вероятностью могло появиться в Великобритании, однако это отражает разный военный опыт двух стран. Война «с необходимостью» не приводит к какому-то конкретному результату. То, что такие ведущие социологи, как Скочпол и Амента, возражают против этого аргумента, показывает их наивность в анализе отношений военной власти. Проще говоря, разные типы войны влияют на общество по-разному.

В годы Второй мировой войны жертвы и тяготы несли англичане, а не американцы. Амента и Скочпол (Amenta and Skocpol 1988: 101; ср. Amenta 1998: 232) пытаются это отрицать, заявляя, что потери Великобритании в войне были сравнительно невелики. Они признают гибель 600 тыс. гражданских лиц (вспомним о шести погибших американцах!), однако игнорируют тот факт, что большие разрушения в результате воздушных налетов плюс весьма реальный страх германского вторжения во много раз усиливали меру страдания и чувство общей тревоги. Поскольку под угрозой оказалось само существование Великобритании, лидеры Лейбористской партии и профсоюзов были тотчас же приглашены в состав военного правительства. Ничего подобного в Соединенных Штатах не было. Ни Германия, ни Япония угрожать континентальной территории Соединенных Штатов не могли. В Великобритании альтернативой тесному классовому сотрудничеству, вероятно, стало бы правление нацистов. Кроме того, нельзя не учитывать и воинственность Черчилля, который сражался не только за страну, но и за Империю (всегда с большой буквы). Вот почему ему хотелось, чтобы ведение войны оставалось в надежных руках проимперски настроенных тори. Однако ради этого он был вынужден передать большинство гражданских министерств в ведение Лейбористской и Либеральной партий.

Лейбористы и профсоюзы требовали гарантий того, что их опять не предадут, как в годы Первой мировой войны, когда большая часть обещанных британскому народу послевоенных реформ так и не осуществилась. В итоге кабинет министров разработал ряд мер, ведущих к созданию послевоенного государства всеобщего благосостояния, в чем ему помогли такие либеральные интеллектуалы, как Кейнс и Беверидж. Как мы видели в главе 2, аналогичное требование компенсаций за военные жертвы выдвинули националистические лидеры в британских колониях. В результате многие из них (в частности, Индия) вскоре после войны получили независимость. Сама же Великобритания получила государство всеобщего благоденствия, госу-

дарственную службу здравоохранения, 800 тыс. единиц жилья и национализацию ряда отраслей промышленности. Военный опыт американцев был иным: там не было ни великих жертв, ни тесного сотрудничества классов, ни усиления могущества левых партий. А потому в США не было и существенного роста социального гражданства.

Эта гипотеза подтверждается тем, что одна группа американцев (те, кто входил в состав вооруженных сил и действительно жертвовал собой на войне) получила собственное государство всеобщего благосостояния. По принятому в 1944 г. закону о предоставлении льгот ветеранам войны (*GI Bill of Rights*) последние получали право на надбавку к зарплате, государственное пособие по безработице, бесплатное медицинское обслуживание, ипотечный кредит под низкий процент без первоначального взноса, кредит на открытие собственного дела, а также полностью бесплатное профессиональное образование и обучение в колледже. На эти программы было выделено почти 100 млрд долл. Впервые пособия по безработице распространялись также на сельскохозяйственных рабочих и лиц, работающих на дому, причем все программы были теоретически открыты для каждого независимо от классовой, расовой, возрастной и гендерной принадлежности. В то же время Конгресс, всегда бдительно следивший за деятельностью профсоюзов, отказал в пособиях по безработице тем ветеранам войны, которые участвовали в забастовках. Закон о льготах ветеранам войны создал самое привилегированное поколение в американской истории. Пособие по безработице в размере 20 долл. в неделю получали 9 млн человек; пособие на образование получили 8 млн американцев, из которых 2,3 млн поступили в университеты; полноценным ипотечным кредитом воспользовались 3,7 млн человек (Keene 2001). Это было подлинное государство всеобщего благосостояния, но лишь для тех американцев, которые жертвовали собой перед лицом опасности. Выделение одной привилегированной группы населения, о которой особо заботилась Администрация по делам ветеранов, свело на нет шансы достичь действительно всеобщего благосостояния (Amenta 1998: 213).

Если многие офицеры могли и без льгот поступить в колледж либо получить ипотечный кредит, то для рядовых солдат, моряков и летчиков это была уникальная возможность. Полностью оплаченная государством программа обучения ветеранов явилась большим подспорьем для университетов, в которых число студентов приблизилось к их нынешнему уровню. Первым этапом в установлении мирового лидерства США в области образования был рост государственного начального образования в XIX в., вторым — увеличение числа государственных сред-

них школ в начале XX в., и вот теперь, на протяжении 30 лет, продолжался третий этап — рост университетов. Впрочем, наибольшее влияние на общий облик Америки оказала программа выдачи ипотечных кредитов ветеранам, ускорившая процесс массовой застройки пригородов крупных городов по всей стране. Если в период «нового курса» позволить себе жилищную ипотеку на тогдашних условиях могли лишь немногие представители рабочего класса, то теперь ветераны войны из числа рабочих становились собственниками пригородного жилья и приобщались к обществу потребления. Как и в случае с университетами, этот подъем дополнительно усиливался послевоенными социальными тенденциями. Растущее процветание дало возможность приобрести собственные дома и другим американским трудящимся. При этом первоначальный взнос благодаря федеральным программам, как правило, не превышал 10% (в период, предшествовавший «новому курсу», он обычно составлял 50%).

Хотя все льготы и пособия были в принципе доступны афроамериканцам, закон был составлен так, что на деле они получали их редко. Принимать чернокожих студентов соглашались лишь немногие университеты для белых, а специальных колледжей для черных было мало. Афроамериканцам было трудно получить ипотеку или найти риелтора, готового продать им дом за пределами тесных городских гетто, где чиновники Федерального управления жилищного строительства нередко отказывались страховать их ипотечный кредит. Чернокожим не было доступа в пригородное сообщество. Расовая сегрегация по месту проживания усилилась как географически, так и в плане условий владения жильем. К 1984 г. владельцами собственного жилья были 70% белых, тогда как среди чернокожих этот показатель достигал лишь 25%. Причем средняя стоимость их жилья составляла три пятых от стоимости жилья белых (Katznelson 2005). Закон о льготах для ветеранов войны стал еще одной неравноправной социальной программой, усилившей тенденцию к выстраиванию двухуровневой модели американского социального гражданства.

Так или иначе социальное законодательство, принятое в период «нового курса», сохранилось. Оно было слишком популярным, и Конгресс отважился лишь приостановить расширение программ. Закон о социальном обеспечении стал институтом, который большинство американцев воспринимали как неотъемлемую часть жизни. Каждому, особенно под старость, этот закон придавал уверенности в грядущем дне. По мере реализации его программ социальные льготы распространялись на новые категории населения. Если реальная стоимость этих

льгот на протяжении 1940-х гг. постепенно размывалась, то для финансовой системы их распространение становилось все менее обременительным. Большинству республиканских лидеров было легче смириться с тихим размыванием, чем удовлетворить требование бизнеса об отмене всей системы. Им еще нужно было победить на следующих выборах. После того как Трумэн неожиданно выиграл выборы 1948 г., его *Fair Deal* («справедливый курс») — программа восстановления социальной справедливости — предусматривал создание государственной системы медицинского страхования. Тем не менее Конгресс его не утвердил, оставив в силе прежнюю систему страхования, которая оплачивалась за счет прироста трастового фонда, созданного в период экономического бума, а также отчислений в социальный фонд в размере 1% от суммы налога на фонд заработной платы. Теперь страхованием по старости и по случаю потери кормильца было охвачено 75% американцев. Акцент на защите интересов престарелых стал устойчивой чертой американской системы социального страхования. После того как в 1952 г. умеренные республиканцы Эйзенхауэра одержали верх во внутрипартийной борьбе с кланом консерваторов Тафта — Маккарти, постепенно менять свою позицию по отношению к социальному обеспечению стал даже американский бизнес. Хотя это и явилось достижением, однако оно было половинчатым (Brown 1999: 112–34), что положило начало отставанию США от других государств всеобщего благосостояния:

Работодатели, в условиях низкого уровня безработицы желавшие удержать на своих предприятиях рабочую силу, начали вводить частные схемы социального страхования. Капитализм всеобщего благоденствия, который в годы «нового курса» практически исчез, теперь начал возрождаться. Профсоюзы разрабатывали собственные планы социальной поддержки. Частное медицинское страхование, которым раньше были охвачены 12 млн американцев, теперь охватывало 76 млн. В течение 1950-х гг. продолжали расти государственные и частные пенсии, поскольку относительно стабильная полная занятость позволяла расширить масштабы социального страхования, и все больше фирм приходило к выводу о целесообразности внедрения собственных программ. В рамках господдержки этих программ работодатели и работники получали существенные налоговые льготы. Эти льготы плюс налоговая скидка на приобретение жилья по ипотеке явились основой того, что Говард (Howard 1997) называет скрытым американским государством всеобщего благосостояния, которое обходится, по его оценке, в половину стоимости своего видимого аналога. Однако это невидимое государство было занято перераспределением благ не в пользу

бедных, а в пользу среднего класса, в том числе благополучно устроенных белых рабочих, тем самым усиливая двойственный характер социальной политики, проводившейся в рамках «нового курса». Женщинам, чернокожим и низкооплачиваемым белым приходилось в основном полагаться на все более скромную помощь государства. Из всеобщего права, доступного каждому американцу, получение льгот и пособий превратилось в привилегию для сравнительно обеспеченных слоев населения. Те, кто пользовался этими благами, рассматривали их как некую систему самострахования («Я заслужил эти льготы и пособия своим трудом»), поэтому для бедных, ничем себя не проявивших, слово «обеспечение» начало терять былую идеологическую привлекательность.

В течение 1950–60-х гг. размеры корпоративных программ пенсионного и медицинского страхования увеличивались, а их условия все чаще диктовались работодателями и страховыми компаниями. Работники были вынуждены соглашаться на программы о возмещении ущерба с меньшим количеством медицинских услуг, на сокращение перечня ранее существовавших страховых случаев, а те, кто больше всего нуждался в медицинской помощи, платили самые высокие страховые взносы, вынуждавшие реже за ней обращаться. Счета за услуги докторов и больниц частично оплачивали страховщики, но, поскольку невозможно было определить, соответствует ли заявленная стоимость услуг их реальной стоимости, было решено перейти на схемы отдельной платы за каждую услугу. Эти схемы покрывали меньшее количество медицинских услуг, чем планы с предоплатой услуг, более предпочтительные для профсоюзов. Вплоть до конца 1970-х гг. такие страховые планы вполне устраивали большинство работников, но только не бедняков. Тем не менее на фоне всех передовых наций американская система здравоохранения была самой дорогостоящей, хотя впоследствии из-за финансовых проблем ее количественные и качественные показатели значительно снизились (Klein 2003; Sparrow 1996: глава 2; Gordon 2003; Lichtenstein 2002). Вместе с тем в других сферах социального обеспечения реализация программ государственной помощи способствовала постепенному расширению перечня решаемых проблем в интересах все более широких слоев населения (как это происходило в других странах). В перспективе существенный прогресс в сфере гражданских прав намечался повсюду, но в Америке этот процесс осложнялся из-за характерной для нее расовой проблемы. Это мы обсудим в главе 4, но прежде нам предстоит выяснить, как расовая проблема сказалась на положении американских левых.

## РАСОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В ГОРОДАХ

Расизм уже нельзя было считать проблемой, присущей только южным штатам. Она стала носить общенациональный и преимущественно городской характер. Мы рассмотрим три больших города в разных американских регионах — на Севере, Западе и Юге. Первый город — Детройт. Опросы, проведенные в 1951 г., показали, что и белые, и черные видели улучшения в расовых отношениях, но что большинство белых желали частичного сохранения сегрегации. Этого особенно хотели рабочие. Среди них в пользу сегрегации высказывались 79% тех, кто не окончил средней школы, 6% тех, у кого был только диплом о среднем образовании, 65% членов КПП и 58% членов других профсоюзов. Перебравшись сюда из южных штатов в 1950–60-е гг., чернокожие смогли получить работу, но профсоюзы бдительно следили за тем, чтобы рабочие места, требовавшие высокой квалификации, оставались за белыми. Таким образом, на производстве сохранялась неофициальная сегрегация.

Однако главной проблемой, по мнению белых, было то, что «черные поселились в белых районах» (Kornhauser 1952: 82–105). Эта проблема возникла в Детройте, прежде чем зашла речь о гражданских правах, и сохранялась впоследствии, подырая любые попытки взывать к сознательности рабочего класса. Белые рабочие с упорством защищали районы своего проживания от вторжения чернокожих, стремившихся вырваться за пределы гетто. При этом белые считали, что защищают семейные инвестиции, поскольку стоило слишком большому количеству черных поселиться в каком-то районе, как цены на дома там сразу падали. Кроме того, в представителях чуждой расы белые видели угрозу «чистоте среды обитания». Эта общинная солидарность, призванная сохранить стоимость жилья, вызвала неприятные последствия: в документах о передаче прав собственности на жилье оговаривался запрет на его продажу либо сдачу внаем представителям расовых меньшинств. Невозможность работать с чернокожими клиентами создала дополнительные трудности риелторам, ипотечным заемщикам, сотрудникам управления жилищного строительства (ФНА) и ведомства по делам ветеранов (ВА). Ассоциации жителей районов оказывали давление на политиков, требуя запрета на строительство мультирасового жилья в районах проживания белых. В ответ чернокожие апеллировали к гражданским правам и организовали движение «Власть черным!». Им все же удалось проникнуть в белые районы, когда риелторы разо-

мкнули свои ряды, дабы не упустить шанс купить жилье по заниженным ценам, запугивая домовладельцев меньшинствами (*blockbusting*). За этим последовали вспышки насилия, особенно в районах проживания «синих воротничков». Теперь белых рабочих меньше разделяло этническое происхождение — гораздо важнее была расовая принадлежность. В период 1945–1960 гг. в Детройте в отношении чернокожих, переехавших в районы проживания белых, было совершено свыше двухсот актов насилия. Чернокожие активисты отвечали ударом на удар. Движение *Black Power* было немногочисленным, но достаточно агрессивным, чтобы напугать белых (Sugrue 1996: 233, 265–266). Белые рабочие, большинство из которых были членами профсоюзов, утратили веру в либералов, призывавших к расовой интеграции. В ходе избирательной кампании они голосовали в основном за южного демократа Уоллеса, а затем — за республиканца Никсона.

У белых рабочих и работодателей была возможность перебраться на новые места. Работодатели перемещали производство на Юг, где не было профсоюзов, а зарплаты были низкими. Рабочие ехали на Запад, куда их манили экономические перспективы. Во втором из рассматриваемых мною городов, Лос-Анджелесе, рабочие пригороды возникли на базе частного домостроения, ставшего возможным благодаря доступным ипотечным кредитам в годы «нового курса», а также льготам для ветеранов войны. Взрывной рост местной промышленности был вызван военными контрактами. Рабочие были преисполнены гордостью за свою страну, они любили парадные шествия с национальными флагами. Зачатки их классового самосознания выродились в «общественную культуру, заикленную на патриотизме и американизме, формируемую ветеранами войны и чуждую каким бы то ни было связям с профсоюзами». Праздником для них был не День труда, а День памяти погибших в войнах, который они отмечали с большим размахом: пикниками, речами ораторов и развлечениями в парках. Затем с Юга стали прибывать чернокожие. На первых порах они селились в своих районах, но вскоре некоторые из них устремились в районы проживания белых. Реакция, с которой столкнулись приезжие, была такой же яростной, как в Детройте, — та же дискриминация, та же жилищная политика и то же насилие. Теперь белых рабочих объединяла не классовая, а расовая идентичность. В 1964 г. почти половина из них проголосовала за Голдуотера, и позднее больше половины — за Никсона и Рейгана (Nicolaidis 2002: глава 7, 251). Поскольку места в Лос-Анджелесе было предостаточно, проблему удалось разрешить: белые переехали в новые пригороды, а черно-



кожим осталась почти вся южная часть центрального района. Таким образом, хотя официально сегрегации не существовало, на территории Лос-Анджелеса белые и черные обитали в разных районах. Проблему усугубило то, что многие предприятия аэрокосмической отрасли были переведены в новые пригороды с белым населением (Sides 2004).

В Атланте, третьем из рассматриваемых мною городов, расизм был более тонким. В 1960-х гг. многие белые, столкнувшись лицом к лицу с законом о гражданских правах, направленным против дискриминации в сфере жилищной политики, потянулись в ку-клукс-клан и комитеты бдительности. Однако под нажимом федерального правительства мэр города, озабоченный привлечением инвестиций, возглавил коалицию прогрессивных бизнесменов, умеренных политиков и лидеров чернокожего сообщества, выступавшую за десегрегацию парков, школ и других мест общественного пользования. Мэр гордился тем, что жители Атланты «слишком заняты, чтобы тратить время на ненависть», и боролся с проявлениями насилия. Город процветал, в нем было создано много рабочих мест как для белых, так и для черных. Однако миграция белых в пригороды все равно произошла. Несмотря на соблюдение закона о гражданских правах, город подвергся неофициальной сегрегации. По мере того как все классы общества проникались идеями «права, свободы и индивидуализма», которые нередко подразумевали расизм, политика белых все более смещалась вправо (Kruse 2005: 6, 234).

Неформальные практики сегрегации существовали во всех трех городах. Они носили общенациональный характер даже тогда, когда черные добились равных гражданских прав. В период 1930–1970 гг. в типичных районах проживания афроамериканцев доля чернокожего населения увеличилась с 32 до 7%. За пределами южных штатов сегрегация этнических групп по месту проживания достигла исторического максимума (Massey and Denton, 1993: 45–51, 63–67; Katz et al. 2005). Большинство чернокожих детей посещали школы, которые фактически были сегрегированными, поскольку в «белых» районах качество образования было гораздо выше (Patterson 2001: 185–190). Чернокожие и белые имели равные права, но жили на большом культурном и пространственном удалении друг от друга, как протестанты и католики в Северной Ирландии. Результатом расовой/религиозной борьбы в обеих странах стали неформальный апартеид и сегрегация, пусть и с относительно равными правами. И в обеих странах сознание рабочего класса было практически парализовано.

## ПОСЛЕДНЕЕ ЛИБ-ЛАБ НАСТУПЛЕНИЕ

В 1960-х гг. возрождение Демократической партии началось с президентства Кеннеди и было продолжено Джонсоном с его программой «Великое общество». Под давлением борьбы за гражданские права — единственным в это время фактором политической мобилизации, либералы возобновили кампанию за расширение социального государства. В 1940–50-х гг. многие полагали, что проблемы безработицы и бедности решаются за счет развития экономики и что обо всех материальных нуждах американцев позаботится «общество изобилия». Однако к 1962 г. книга Майкла Харрингтона *The Other America* («Другая Америка») открыла обществу глаза на то, о чем социологи уже знали: на фоне сохраняющегося изобилия многие американцы живут в страшной нищете. В 1964 г. группа экономических советников президента сообщила, что за чертой бедности находится каждая пятая американская семья. И хотя большинство населения США составляли белые, доля цветных семей в этой печальной статистике была поразительно высока — 80%. Нищета воспроизводилась из поколения в поколение. Дети бедняков получали некачественное образование и нередко оставались подолгу без работы. Некоторые демократы и республиканцы почувствовали, что послевоенный компромисс больше не работает. Их представления о бедности не были системными, они рассматривали ее как локальное явление, проистекающее из так называемых очагов нищеты (*pockets of poverty*).

Здесь мы снова наблюдаем побочный эффект холодной войны. Америка предлагала образ будущего, который должен быть лучше коммунизма, однако он был омрачен нищетой и расовыми проблемами. Кеннеди и Джонсон ощущали это весьма остро, как ощущали это и многие южные демократы, которые теперь видели в нищете корень всех расовых проблем. Если бы удалось вытащить белых и чернокожих из нищеты, то расовых конфликтов на Юге стало бы меньше. Группа экономических советников прислушалась к мнению социологов, указавших на то, что одного лишь сокращения налогов (как способа снизить уровень безработицы) для ликвидации «очагов нищеты» по всей Америке недостаточно, и рекомендовала адресные программы помощи бедным. Было признано, что перераспределение доходов в пользу малообеспеченных (особенно чернокожих) сопряжено с политическими трудностями, и считалось, что предоставление бедным дополнительных услуг будет встречено [обществом] не столь враждебно (Brauer 1982). В этом известную роль сыграли эксперты-социологи, выступившие

в качестве обличителей неприглядной стороны американской действительности.

Некоторые новые законы лишь заполнили брешь в существующих социальных программах. Принятая в 1964 г. Программа продовольственных талонов (*Food Stamp Program*) была призвана «помочь малообеспеченным американцам наладить правильное питание». В 1972 г. была принята Федеральная программа предоставления дополнительных социальных пособий (*Federal Supplementary Security Income*), в рамках которой малообеспеченным, отвечавшим критериям нуждаемости, выдавались небольшие суммы денег. В 1965 г. были приняты программы медицинского страхования *Medicare* и *Medicaid*, рассчитанные на пожилых и на малообеспеченных соответственно. Это меры были уже более существенными. *Medicare* представляла собой универсальное пособие, выплачиваемое по принципу самострахования, но содержащее элемент перераспределения. Социальную пенсию стали получать почти все категории наемных работников, причем формула ее расчета была такова, что выплаты в пользу малообеспеченных в относительном выражении оказались более щедрыми, чем пенсии состоятельным. Это было достаточно прогрессивное «государство всеобщего благосостояния». Закон о гражданских правах 1964 г. запрещал гендерную и расовую дискриминацию. Ранее феминисткам удалось ловко использовать движение за гражданские права в своих интересах, и теперь благодаря их совместным усилиям зона действия социальных программ значительно расширилась. За период 1960–1980 гг. доля социальных расходов в американском ВВП выросла более чем в два раза: с 4,9 до 11,5% (Campbell 1995: 113).

И все же *Medicare* и *Medicaid* были слабым компромиссным решением, так как в условиях холодной войны любая страховая или медицинская компания — равно как и любой врач — могла при поддержке республиканцев и южных демократов навесить на любую общенациональную систему здравоохранения ярлык «социалистическая». Программа *Medicare* была популярна, но из-за роста стоимости медицинских услуг и лекарств обходилась все дороже, так что затраты государства на нее резко возросли. Однако *Medicare* действительно сократила риск нищеты для пожилых людей. Дальнейшее расширение программы позволило включить в нее новые категории граждан — престарелых, госслужащих, военных и семьи ветеранов — и тем самым довести ее общий охват до 40% населения. В настоящее время частным медицинским страхованием в той или иной мере охвачены около 70% американцев, здоровье около четверти населения страны вообще никак не застраховано. Некоторые полага-

ют, что эти многочисленные дополнения стали препятствием на пути к проведению более всеобъемлющей реформы (например, Gordon 2003), однако без них состояние здравоохранения могло оказаться еще хуже.

Теперь лишь немногие реформаторы считали бедность продуктом структурных диспропорций капитализма. Большинство видело в ней проблему конкретных групп нуждающихся — родителей-одиночек, проживающих в гетто чернокожих, детей из малоимущих семей и т. д. Реализация медицинских и социокультурных проектов помощи бедным предполагала индивидуальные программы коррекции. Проблемные семьи, особенно чернокожие (Mittelstadt 2005: 52–76), нуждались в социальной реабилитации. Споры велись не об ответственности государства, а об ответственности личности и семьи. Воспрянувшая консервативная идеология сочетала в себе традиционный антикоммунизм, критику «большого правительства», скрытую форму расизма и отвращение к тому, что казалось нравственной распущенностью либералов. Противники государственного регулирования экономики из числа либертарианцев выступали единым фронтом с социальными консерваторами и членами евангелистских религиозных сект и деноминаций, численность которых была достаточно велика (McGinn 2002). Как мы увидим позднее, политический выбор делался по кассовому принципу, подрывался принципами моральной и культурной солидарности.

Конечным результатом на фоне прогресса, достигнутого на тот момент в других странах, стала и остается наихудшая среди развитых демократий система здравоохранения США. Самые большие медицинские расходы в сочетании со смертностью, показатель которой выше, чем в других развитых странах, делают американскую систему здравоохранения объектом всеобщего недовольства. Исключением, разумеется, являются частные компании, под интересы которых эта система подогнана. Однако в целом система социального обеспечения все же получила дальнейшее развитие, хотя и сохранила свой двухуровневый характер. Она представляла собой конструкцию из прогрессивного налогообложения и социального страхования, дополняемого частными страховыми программами, в интересах большинства в сочетании с помощью бедным, которая предоставлялась неохотно, выборочно и с учетом расовых предпочтений. Более или менее щедрой она была лишь к пожилым американцам.

Для Линдона Джонсона центральной частью его программы «Великое общество» — последнего наступления либералов в США — была программа «Война с бедностью», нацеленная

на реализацию программ в сферах образования, профессионального обучения и муниципального развития. Полагали, что наилучшим способом преодоления «культуры бедности» является активизация местных общин, прямая демократия и участие самих бедняков в разработке и реализации социальных программ. Это была завуалированная форма перераспределения льгот в пользу чернокожих американцев, что было гораздо дешевле, чем общенациональная программа всеобщего благосостояния (Brown 1999: 266). Вину за недостатки этих программ один из ее ключевых участников Дэниэль Патрик Мойнихэн (Moynihan 1969) возложил на спекулятивные теории социологов и криминалистов, практикующих то, что он назвал «окультурным... весьма сомнительным искусством». Это выглядело странно, так как агентствами, которым поручалась реализация подобных программ, обычно руководили экономисты и юристы.

Подлинная война с бедностью требовала иных масштабов. Вьетнамская война обошлась Америке в 128 млрд долл. По сравнению с ней «Война с бедностью» стоила 15 млрд долл., то есть лишь 15% от суммы, которую относительно меньшая группа людей получила по закону о предоставлении льгот ветеранам войны. Дилемму, которую правительство поимело в связи с этой программой, обозначила Национальная ассоциация промышленников: «Видимо, придется выбирать между программой маленькой до неэффективности и большой настолько, что пагубной» (Andrew 1998: 67). Джонсон выбрал первое, поэтому программы имели ограничения, продиктованные фискальным консерватизмом. Стремясь сохранить доверие бизнеса, он намеревался снизить налоги и стимулировать компании к созданию рабочих мест в районах с невысоким уровнем доходов. Позже дефицитное финансирование приведет к увеличению расходных статей федеральных программ. В данном случае действовали те же структурные ограничения, с которыми столкнулись либералы при Рузвельте и Трумэне. Именно фискальный консерватизм, а не давление со стороны защитников гражданских прав породил ту самую адресную направленность программ, которая впоследствии оказалась столь пагубной. Браун (Brown 1999) отмечает, что лидеры движения в защиту гражданских прав выступали не за специализированные, а за всеобщие программы. Однако у Джонсона была собственная политическая стратегия. Он понимал, что окно возможностей, открывшееся после его убедительной победы над Голдуотером на выборах 1964 г., скоро захлопнется. Поэтому Джонсон настаивал на срочном принятии законов, которые придали бы этим программам начальный импульс, в надежде на то, что Конгресс утвердит их финансирование, коль скоро они уже реализуются.

Однако Конгресс сократил финансирование большинства программ. Они так и остались без финансирования, особенно после начала Вьетнамской войны, которая высасывала федеральные средства так же, как холодная война высосала средства на реализацию «справедливого курса» (*Fair Deal*) Трумэна.

Выделенные средства распределялись через программы повышения квалификации малообеспеченных граждан. Однако Конгресс перераспределил средства, выделенные на 69 целевых регионов с особо низкими доходами, размазав их по всем 780 избирательным округам. Таким образом, едва ли не каждый проект страдал от недостатка финансирования, а некоторые были плохо организованы. Мойнихэн (Moynihan 1969) озаглавил свою книгу *Maximum Feasible Misunderstanding* («Максимально возможное непонимание»). Обвинять во всем неповоротливую бюрократию было несложно, как и поступили консерваторы. Между тем некоторые программы работали весьма эффективно, например программа развития сети дошкольных учреждений, а также программа «Трудовой корпус», обеспечивавшая работой молодежь. Несмотря на скромное финансирование, «Война с бедностью» все же помогла людям подняться из нищеты. В период 1965–1969 гг. количество живущих за чертой бедности сократилось с 19 до 12%, что стало возможным в основном благодаря реализации указанной программы (Andrew 1998: 187). Это был успех.

Однако основное внимание средств массовой информации приковывали к себе менее удачные программы. В частности, Федеральная программа активизации местных общин (*Community Action Program*) финансировала мероприятия локального масштаба, что порой вызывало недовольство местных партийных элит, особенно мэров крупных городов. Частью программ руководили сами нуждающиеся либо чернокожие активисты. Расколовшееся движение за гражданские права переживало глубокий кризис; в городах его сменили расовые волнения, которых только за первые девять месяцев 1967 г. произошло 164. Это позволило увидеть в проблеме бедности расовую составляющую (Andrew 1998: 73, 83–85; Katz 2001). Большинство бедняков в США были белыми (и по сей день ситуация не изменилась), именно им была адресована большая часть выделяемых средств. Однако после того, как серьезную федеральную помощь впервые получили чернокожие, активность которых к тому же поощрялась, эти две тенденции вызвали у белых негативную реакцию. В СМИ публиковались факты, компрометирующие чернокожих, получавших пособия, особенно тех черных активистов, которые руководили некоторыми социальными программами. Кроме того, был поднят вопрос о несораз-

мерности пособий, выплачиваемых афроамериканцам в рамках программы помощи многодетным семьям. В итоге общественное мнение белых выступило против этой программы (Brown 1999: 134–164, 184–185; Mittelstadt 2005: 82–91). Проведя исследование четырех программ, которые осуществлялись при Джонсоне и Никсоне в рамках «Великого общества» (активизация местных общин, реформа социального обеспечения, жилищная реформа, улучшение детского здравоохранения), Куаданьо (Quadagno 1994) пришла к выводу, что их реализация пострадала из-за расовых конфликтов. Достичь каких-то существенных результатов оказалось невозможным из-за негативной реакции белых на любое предложение, казавшееся им угрозой сложившейся расовой иерархии. Куаданьо предполагает, что в основе тезиса об американской исключительности лежала философия расового неравенства. И действительно, на фоне других развитых стран доморощенный американский расизм выглядел явлением исключительным.

В восприятии белых главными качествами чернокожих были лень и нерадивость. Однако если в 1950-х гг. во всех историях о бедняках, публиковавшихся в американских журналах, чернокожие фигурировали в 20% случаев, то в период 1967–1992 гг. на их долю приходилось уже 57%. В реальности же чернокожие составляли только 25% малообеспеченного населения США, так что «основную роль в формировании негативного отношения к идее государства всеобщего благосостояния в Америке играют расовые стереотипы» (Gilens 1999: 3, 68, 114). На выборах в конце 1960-х гг. «Война с бедностью» вызвала ответную реакцию общества. Никсон продолжил реализацию некоторых программ, однако делал это незаметно. В любом случае увеличившийся средний класс, к которому теперь причисляли и сравнительно небогатых промышленных рабочих, пользовался соответственно большими льготами, чем малообеспеченные слои населения. Тем не менее поддержка реформы со стороны «синих воротничков» ослабевала (Gordon 1993: 294–303; Mettler 1999: 223–227). Белые рабочие поднялись до уровня среднего класса благодаря социальной политике «нового курса», политике полной занятости в военные годы и принятию закона о льготах для ветеранов. Позднее они выступили против того, чтобы те же пособия и льготы, которыми они пользовались, предоставили и чернокожим. Расовый конфликт вокруг жилищной политики и социального обеспечения был для либералов неприятной вестью, поскольку разрушал их опору в лице традиционного электората. Страхи и опасения белых в отношении чернокожей общины были сильно преувеличены и не отражали истинного положения вещей, однако именно они сыграли

роковую роль в срыве последнего либ-лаб рывка к социальному гражданству. Наследие рабства по-прежнему напоминало о себе. И хотя политики и масс-медиа больше не обсуждали расовую проблему открыто, она успела приобрести более скрытый и общенациональный характер.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МЕДЛЕННАЯ, НО ВЕРНАЯ СМЕРТЬ

Вторая мировая война, перешедшая в холодную войну, сломила «новый курс». За движением в сторону большего равенства доходов и богатства последовала массовая мобилизация военного времени и послевоенная фаза капитализма высокой занятости и массового потребления. В том, что касается социального равенства, США вместе с другими англоязычными странами ни в чем не уступали на тот момент большинству европейских стран. Единственным исключением было сохранявшееся глубокое расовое неравенство (у европейцев оно существовало в их колониальных империях). Политика социального обеспечения «нового курса» постепенно расширялась, однако в США, в отличие от большинства других стран этого периода, источники изначального неравенства устранены не были. Американское государство всеобщего благосостояния с его двухуровневым устройством все еще было пронизано расизмом и сексизмом. Хотя макроэкономическое планирование и регулятивные возможности государства использовались все шире, в отсутствие запроса со стороны общества они служили интересам военно-промышленно-конгрессменского комплекса. В отличие от континентальной Европы массовые движения середины века не смогли заполучить власть внутри американского государства. Профсоюзное движение, жизненно важное для организации рабочего класса, медленно, но верно умирало. В целом сошли на нет и либ-лаб настроения. Провал операции *Dixie*, война, лишь усилившая влияние ветеранов, закон Тафта — Хартли, раскол профсоюзов по вопросу отношения к коммунизму, политика маккартизма, «застенчивое» кейнсианство, репрессии юридического характера, растущая неуступчивость работодателей, повышение частного, а не общественного благосостояния, непрекращающийся разделяющий нацию расизм по отдельности не имели решающего значения, однако в совокупности этот поток затянул Америку вправо. Политики не чувствовали давления со стороны прогрессивной общественности до тех пор, пока не возникло движение за гражданские права (речь о котором — в следующей главе). Несмотря на успех, оно также вызва-



ло ответную реакцию белых, окончательно нейтрализовавшую слабое либ-лаб наступление 1960-х гг.

Если не считать сокращения неравенства, то это был произвольный сдвиг в сторону консерватизма (с небольшим всплеском либерализма в 1960-е гг.). Антисоциалистический консенсус присутствовал как во внутренней, так и во внешней политике. В итоге США заняли место на крайне правом фланге политического спектра развитых стран, которые в 1970–80-х гг. двигались в обратном направлении — к левоцентризму. Хотя антисоциализм оставался частью их внешней политики, внутренняя политика представляла собой синтез социальной демократии и/или христианской демократии и корпоративизма, благодаря чему в ходе великого классового компромисса государство всеобщего благоденствия было встроено в демократический капитализм. В отличие от них Соединенные Штаты отошли от универсализма «нового курса»; при этом социальные права граждан переходили в разряд привилегий, когда тот, кто мог себе это позволить, пользовался благами корпоративных и частных социальных программ, а тот, кто не мог, довольствовался целевыми подачками, раздаваемыми по остаточному принципу. Тем не менее в США прогрессивная шкала налогообложения сохранялась (до прихода администрации Рейгана и Буша-младшего) и в тот период была единственным утешением для малообеспеченных слоев населения.

Что же было первопричиной непреднамеренного сдвига к консерватизму? Еще до начала войны политика «нового курса» стала понемногу выдыхаться. Расизм, отголоски которого вначале были слышны в основном на Юге, стал причиной того, что либералам не удалось обеспечить большинство в Конгрессе. Мировая война придала лишь короткий импульс развитию профсоюзов и более длительной борьбе за равноправие. Однако в результате мировой войны (и последовавшей за ней холодной войны) Америка (и только Америка) получила большое военно-промышленное государство. Это подорвало позиции левых, которые подверглись юридическим репрессиям, усилившим их и без того глубокий внутренний раскол. Обороняясь, ядро американских профсоюзов откатилось к секционной и сегментарной, а не классовой организации, требуя не универсальных гражданских прав, а социальных привилегий для своих членов. Консерватизм еще не был поднят на пьедестал, однако возрождение либерализма в 1960-х гг. сорвалось из-за поражения на выборах (в результате ответной реакции со стороны латентного расизма, а также по причине дорогостоящей и непопулярной войны). После этого консерваторы и капиталисты смогли обратить вспять некоторые достижения предыдущее-

го периода. Это, в свою очередь, отразилось на международных отношениях, придав политике американского империализма характерный правый уклон (как мы увидим в следующей главе). Когда возник очередной экономический кризис — отмена Бреттон-Вудских соглашений, закат кейнсианства и расцвет неолиберализма, — средств сопротивляться правому дрейфу почти не осталось. Это доказал глобальный кризис, во время которого все развитые страны (как мы увидим позже) почувствовали холодное веяние неолиберализма, однако в Америке уже во всю дули ледяные ветры.

## ГЛАВА 4

# США: борьба за гражданские права и в защиту идентичности

**Д**ВИЖЕНИЕ в защиту гражданских прав в США оказало глобальное влияние на борьбу этнических и религиозных меньшинств, женщин, людей с ограниченными возможностями, а позднее людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Все это может рассматриваться как политика [в защиту] идентичности, защиты прав, возникающих в связи с тем, кем от рождения является человек, безотносительно к правам, которые возникают в связи с занятием им определенного положения в классовой структуре. Роль этого движения была важна еще и потому, что оно вызвало сдвиг в политике левых с классовой борьбы на политику [защиты] идентичности. Этот сдвиг был особенно заметным в Соединенных Штатах, которые были единственной великой державой, где расовое угнетение существовало не в заморских колониях, а на ее собственной территории.

### ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ

Большинство социологов склонны исследовать движение за гражданские права в той же парадигме, что и другие современные общественные движения. Они пытаются выработать общие концепции, применимые ко всем движениям, включая движения в защиту окружающей среды, за права геев, свободу сексуальных предпочтений и права инвалидов. Основными понятиями теории общественных движений являются «ресурсная мобилизация» (McCarthy and Zald 1977), «структуры политических возможностей» (Meyer 2004), «рамочная теория» (Benford and Snow 2000) и, наконец, теория политического процесса (универсальная модель, вобравшая в себя все остальные). Теория политического процесса включает три основных элемента формирования общественных движений: рост бунтарского сознания, создание мощной организации и наличие структурных поли-

тических возможностей. Эти концепции, очевидно, являются абстрактными и универсальными и применимы ко всем движениям в любой стране — по крайней мере таковыми они кажутся тем, кто их практикует. Однако этой социологической школе присуща известная узость взглядов. Она уделяет основное внимание тем, кто протестует против современных порядков от имени прогресса, игнорируя тех, кто выступает за сохранение существующего положения, и реакционеров, стремящихся к реставрации прошлого. Кроме того, эта школа склонна рассматривать структурные возможности исключительно как политические, упуская из виду экономические, военные и идеологические возможности, обсуждаемые в настоящем томе. Теоретики «ресурсной мобилизации» считают главными ресурсами деньги, политическое влияние, доступ к СМИ и наличие преданных активистов, тем самым обнаруживая преимущественный интерес к движениям в развитых демократических странах. Что же касается крестьян, ведущих натуральное хозяйство, то они вряд ли имеют доступ к денежным и медийным ресурсам, а вот их доступ к оружию вполне вероятен, но оружие в качестве ресурса теоретиками вообще не упоминается. Эти социологи предпочитают заниматься исследованием законопослушных групп активистов, выдвигающих мирные требования, а не фашистов, сторонников этнических чисток или крестьянских бунтарей. Поэтому ряд исследований, посвященных движению за гражданские права, подчеркивают его ненасильственный характер, игнорируя при этом насилие со стороны оппонентов (например, сторонников сегрегации). Впрочем, это не является чем-то из ряда вон выходящим для современной социологии, которая систематически игнорирует роль организованного насилия в обществе.

Кроме того, большинство таких теорий являются рационалистическими. Они изображают активистов людьми, расчетливо взвешивающими свои шансы и ресурсы, разрабатывающими так называемые репертуары стратегий и тактик борьбы. В самом деле, некоторые социологи критикуют эти подходы как «излишне стратегические и чересчур рационалистические» (McAdam et al. 2001: 14–20). И вообще, может ли быть рациональным бунтарство? Не лучше ли «въехать в рай на чужом горбу»? Лучше отсиживаться в стороне и наблюдать, как другие рискуют своими жизнями, в надежде, что они победят, а затем просто примкнуть к ним. Однако, если каждый примет столь рациональное решение, никто не станет брать на себя риск и новые общественные движения никогда не возникнут. Тем не менее они возникают. Почему? Ответ на этот вопрос, по мнению некоторых, станет до-

полнением к рамочной теории общественных движений. Успешные общественные движения способны встроить недовольство в рамки более общего мобилизующего призыва, используя традиционное чувство протеста против несправедливости, а также идеи и символы, выражающие неприятие эксплуатации и утверждающие культурную легитимность борьбы за справедливость (Ryan and Gamson 2006: 14). И все же концепция рамочной стратегии представляется излишне рациональной, она не учитывает грубую эмоциональную силу идеологической одержимости, которую мы в XX столетии наблюдали на примере сотен тысяч большевиков, фашистов и китайских революционеров, описанных в томе 3. То же самое является верным и в отношении активистов движения за гражданские права.

### СБОЙ В СИСТЕМЕ РАСОВОЙ СЕГРЕГАЦИИ

Участники движения за гражданские права должны быть необычайно преданными своему делу, чтобы сломать систему расовой сегрегации, выстроенную на основе законов Джима Кроу и не знавшую как система репрессий аналогов в XX в. Против чернокожих, проживавших в южных штатах, уже давно были мобилизованы подавляющие факторы идеологической, экономической, политической и военной власти; они же ограничивали возможности прогрессивного развития цветного населения на всей территории США. Как утверждают Оми и Уинант (Omi and Winant 1994), белый расизм являлся отличительной чертой американского образа жизни, хотя он имел место и в европейских колониальных владениях). Его экономической основой в южных штатах было арендаторство, однако затем Юг подвергся индустриализации, в ходе которой промышленники из северных штатов, привлеченные дешевизной труда и отсутствием профсоюзов, перевели сюда свои предприятия. В результате на Юге возник источник гигантских прибылей для местной белой элиты, состоявшей из плантаторов, торговцев и бизнесменов. Расовый капитализм подкреплялся механизмами политической власти, которые лишали чернокожих и малоимущих белых американцев гражданских и избирательных прав, позволяя белым элитам контролировать выборы, что на местном уровне обеспечивалось конституционными правами штатов, а на федеральном — несоразмерным влиянием южан в Конгрессе. В томе 3, где обсуждалась политика «нового курса», я отмечал, что манера проводить выборы без реальной конкуренции, а также особенность распределения сил на Капитолийском холме давала сенаторам и конгрессменам Юга гораздо больше власти, чем было положено по закону, учитывая

число занимаемых ими мест и/или удельный вес южных штатов в экономической власти США. Окопавшийся на Юге расизм стал политическими оковами страны.

Еще одной опорой расизма была идеологическая власть. Белые искренне верили в расовую неполноценность чернокожих, само присутствие которых причиняло физический и моральный вред белому человеку. В атмосфере расовой ненависти лояльность законам Джима Кроу сохраняли и непривилегированные белые. Эта идеология была укоренена на уровне повседневной практики — отдельные уборные и умывальники, отдельные столики во время ланча, отдельные места в автобусе и т. д. Появление чернокожего в личном пространстве белых вызывало у них шок и приступы ярости, причина которых нередко коренилась в сексуальных фобиях, особенно в страхе насилия черного мужчины над белой женщиной. Расизм был поистине мощнейшей идеологией, так как воздействовал на уровень подсознания и усиливал внутреннюю солидарность каждой расовой общины. Разумеется, чернокожие не верили в свою неполноценность. Эта мысль противоречила как Библии, так и Конституции США — двум крайне весомым ценностям в негритянской культуре. Подобно китайским крестьянам, о которых говорилось в томе 3, они понимали, что их эксплуатируют, однако, как правило, видели в этом мрачную реальность, изменить которую были не в силах. Поэтому чернокожие изменили свое психологическое отношение к этой реальности, чтобы хоть как-то ее принять. Они проявляли почтение к «людям первого сорта», говорили «да, сэр, нет, сэр», всем видом показывали, что знают свое место, вежливо просили, а не громогласно требовали и всячески дистанцировались от «черномазых, не умеющих прилично говорить и должным образом себя вести» (Bloom 1987: 122–128). Это было идеологическое самоподавление, до тех пор пока жизнь казалась беспроектной. Пессимизм и неверие в возможность лучшей жизни, присутствующие китайским крестьянам (о чем говорилось в томе 3), удалось в конце концов преодолеть коммунистам, и это открыло шлюзы для революционного потока.

Наконец, главной опорой системы расовой сегрегации была военная власть. Протесты и акты неповиновения проходили хотя и нерегулярно, но повсеместно, и повсюду чернокожие сталкивались с жестокостью полиции, национальной гвардии и вооруженных формирований белых (типа ку-клукс-клана), а также с ежедневным проявлением спонтанного насилия, когда чернокожего сбивали с ног на улице либо избивали за то, что тот загляделся на белую женщину. Сопротивляться было бесполезно, многочисленные попытки кончались поражением. Власть расистов была не политической, а военной, хотя ее ча-

стично вершили чиновники местных администраций, они действовали вопреки закону. Однако закон был бессилён. Из полутысячи линчеваний, совершенных в период 1882–1940 гг., судебные дела были возбуждены лишь в сорока случаях, причем наказания не были суровыми. Однако после Первой мировой войны количество линчеваний сократилось сначала из-за отмены наиболее вопиющих законов дискриминации афроамериканцев, а начиная с 1940-х г. — в силу изменения взглядов общества на суды Линча. Все больше американцев считало такие меры устаревшими и неэффективными, что само по себе было прогрессивным знаком (Belknap 1995: глава 1).

Столь внушительная структура власти приводила к поляризации общин: чернокожие понимали, что все они находятся в одной лодке, тогда как белые наслаждались их страданиями. Господствующим на Юге было не классовое, а именно расовое сознание, и некоторые его черты распространились по всей стране. Сияющие морские воды были окаймлены сегрегированными пляжами, хотя в Калифорнии доступных чернокожим мест отдыха было ничтожно мало (в Лос-Анджелесе таких пляжей было всего два, один из которых в 1920-х гг. был закрыт). Большинство белых американцев открыто высказывали расистские взгляды практически до конца 1950-х гг.

Однако ждать крупных социальных трансформаций оставалось недолго. Две мировые войны и законы, ограничившие иммиграцию, вызвали в Америке повышенный спрос на рабочую силу. Это наряду с насильственным вытеснением арендаторов с их земли и сокращением хлопковых плантаций стало причиной массовой миграции чернокожего населения с аграрного Юга в крупные города по всей территории страны. В городах им было легче найти работу и получить образование, поскольку расовая сегрегация там не пустила глубоких корней. Хотя городское чернокожее население проживало в сегрегированных районах, это давало им больше автономии и возможность уйти из-под неусыпного контроля белых. Колледжи и церкви для чернокожих, а также предприятия, где они работали, могли стать местом проведения коллективных акций. Появились преподаватели, профсоюзные организаторы, адвокаты и священники, готовые возглавить сообщество чернокожих. Впоследствии к ним примкнули студенты. Видное место среди общественных организаций Америки занимала добивавшаяся равенства гражданских прав Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (НАСПЦН). Негритянских лидеров радушно принимали в Вашингтоне сочувствовавшие им политики, сторонники «нового курса». В конце 1940-х гг. чернокожие избиратели заставили Север почувствовать свое присутствие. Все

эти факторы постепенно усиливали мощь коллективных выступлений афроамериканцев (McAdam 1982: chap. 5)<sup>1</sup>.

Экономические перемены повлияли и на профсоюзы, хотя на всех по-разному. Левые профсоюзы в составе КПП боролись с расизмом активнее, чем все остальные профсоюзы. Социализм, верный универсальным человеческим ценностям, в принципе не приемлет расизма, а на практике считает его помехой единству рабочего класса (Stepan-Norris and Zeitlin 2003; Cohe 1991: 337). Однако самые антирасистски настроенные профсоюзные лидеры и активисты ощущали необходимость учитывать расовые предрассудки рабочих, сохранявшиеся среди рядовых членов профсоюзов. Как показал опрос, проведенный в начале 1950-х гг. в Детройте, расовую сегрегацию одобряли 85% белых рабочих, причем такими же расистскими были взгляды членов КПП (Kornha 1952: 82–105; Nelso 2003). Поскольку большинство местных организаций АФТ были сегрегированы и настроены консервативно, чернокожим рабочим, как ни парадоксально, удалось создать собственные цеховые организации, причем даже на Юге (Hone 1993). В экономике открывались новые структурные возможности, и вера чернокожих профсоюзных активистов в свои силы постепенно росла.

Вторая мировая война открыла перед чернокожими американцами новые карьерные перспективы, так же как она открыла их для коренного населения европейских колоний (см. главу 2). Блум (Bloom 1987: 128) пишет, что «война стала важнейшим катализатором. Она дала чернокожим работу, ускорила их переселение в города, вложила в их руки оружие и научила им пользоваться, создала условия для получения образования, открыла им зарубежные страны и сделала их более космополитичными. В итоге к концу войны чернокожие стали более самоуверенными». Сегрегация в вооруженных силах сохранялась, но это лишь укрепляло среди чернокожих солдат чувство боевого товарищества. Так, например, активное участие в послевоенной агитации за гражданские права принимали чернокожие ветераны. В послевоенные годы любая попытка организованного сопротивления на Юге грозила линчеванием. Однако в 1946 г. в городе Колумбия (штат Теннесси) произошел инцидент, принявший неожиданный оборот. Когда белый мужчина оскорбил мать чернокожего ветерана, тот ударом сбил его с ног и белый влетел в витрину магазина. Как всегда, собралась толпа линчевателей, устремившаяся в негритянский квартал на поиски черно-

---

1. Книга Макадама, несомненно, является лучшим описанием движения за гражданские права. Мое единственное сомнение вызывают немногие теории общественных движений, которые он отстаивает.



кожего «обидчика». Однако путь им преградил отряд из сотни решительно настроенных ветеранов и пришедших им на помощь чернокожих активистов КПП местного химического завода. Началась беспорядочная стрельба, в результате чего было ранено четверо полицейских. Однако белые получили отпор. Один из чернокожих участников заявил: «Нет, больше с ними проблем не будет. Это главное, меня научил 1946 год. Теперь они знают, что и у негров кишка не тонка... Пролилась кровь, но оно того стоило. Раньше у черного парня шансов было бы меньше, чем у собаки, загрызшей овцу. Однако 1946 год все изменил» (Bloom 1987: 129).

Суды Линча повлияли и на президента Трумэна. Столкнувшись с перспективой потерять голоса чернокожих и либералов на выборах, которые рассматривали возможность выставить собственного кандидата на выборах в 1948 г., Трумэн в конце 1946 г. распорядился создать Комитет по гражданским правам при президенте США. Год спустя в адрес Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения он направил послание, в котором сочувственно высказался по проблеме гражданских прав. Обещание ее разрешить президент включил в свою предвыборную платформу 1948 г., а также издал ряд распоряжений о десегрегации в вооруженных силах. В ответ чернокожие лидеры оказали Трумэну необходимую поддержку на выборах. Однако от дальнейших решительных действий в защиту гражданских прав он отказался. Голоса белых оказались важнее, чем голоса чернокожих избирателей. Больше прямой помощи от Белого дома не было многие годы<sup>2</sup>.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения фокусировалась на организации борьбы за избирательные права, а также добивалась исполнения судебных решений об отмене сегрегации в школах и на транспорте. Эти кампании проводились в соответствии с законом и сопровождалась редкими демонстрациями. В северных штатах в их поддержку выступили белые либералы, так как требования чернокожих касались реализации их конституционных прав. В отношении Юга у северных элит появилось чувство пренебрежения, поскольку для них он символизировал отсталый социальный порядок. В томе 3 я подчеркивал региональную неоднородность Соединенных Штатов. Это было началом нового регионального расхождения с изоляцией Юга как противостоящего свободам, которые Америка призвана была являть окружающему миру. По мере того как холодная война распространялась

---

2. Я благодарен Джошуа Блюму за этот абзац.

на континенты с цветным населением, этот тренд усугублялся. Советский союз не преминул осудить американский расизм и всячески обыгрывал факты линчевания в своих обращениях к африканцам. Администрация Трумэна не могла отрицать обвинения в расизме, но интерпретировала их в широком контексте «общенациональной борьбы за развитие демократии», которая в конце концов покончит с данной проблемой. Это требовало от президентов США реформировать сферу гражданских прав, но оказалось легче пообещать, чем сделать (Dudziak 2000: 49, 77). Если холодная война в чем-то и помогла чернокожим, то эта помощь была не столь уж значительной.

Политическая дверь оставалась закрытой. На выборах 1948 г. южные демократы выдвинули своими кандидатами защитников сегрегации — «диксикратов» (*Dixiecrats*), которые получили больше голосов, чем либералы. Опасаясь реакции южан, президент и конгрессмены не спешили с поддержкой закона о гражданских правах. Чтобы обойти «диксикратов», Эдлай Стивенсон, либеральный кандидат в президенты на выборах 1952 г., пригласил в качестве кандидата в вице-президенты Джона Спаркмана, сенатора от Алабамы и главного защитника сегрегации. Тем не менее демократы проиграли выборы и лишились поддержки в пяти южных штатах. Во время президентских кампаний 1952 и 1956 гг. ни Стивенсон, ни Эйзенхауэр о сегрегации не упоминали. Они хотели победы на выборах и пеклись скорее о том, как бы не оттолкнуть белых, а не черных избирателей.

Суды, напротив, со скрипом приоткрыли правовую структурную возможность для борьбы за гражданские права. Еще в 1896 г. в рамках дела *Плесси против Фергюсона* Верховный суд США признал сегрегацию конституционной, поскольку раздельное обучение могло быть равным. На протяжении 1930–40-х гг. в адвокаты Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения не без успеха добивались, чтобы администрации школ следовали этому предписанию (Patterson 2001: 14–20). Непредвиденным последствием этого стало укрепление колледжей для чернокожих, поскольку южные штаты были вынуждены увеличить финансирование системы образования для афроамериканцев и повысить его качество (McAdam 1982: 102–103). Происходили изменения и в составе Верховного суда, который в прошлом был всецело консервативным органом. В 1944 г. Верховный суд объявил неконституционным проведение *primaries*, на которых чернокожие лишались права выбора партийного кандидата. Из всех судебных дел, переданных на рассмотрение Верховного суда в период 1945–1950 гг., победой НАСПЦН завершилось свыше 90%. Затем в 1954 г. в решении по делу *Браун против Совета по образованию* (г. Топека,

штат Канзас) Верховный суд единогласно признал сегрегацию школ неконституционной (как практику, неравную и несправедливую по своей природе).

Вторая мировая война изменила идеологический климат в США. Война привнесла в него «демократическую идеологию, осознание гражданских прав афроамериканцами, беспрецедентные политические и экономические возможности, появившиеся у чернокожих, и императив расовых перемен эпохи холодной войны, которые за всем этим последовали». Менялись идеологические допущения просвещенных общественных кругов, в которые входили и суды. Как показали опросы, решение Верховного суда (о незаконности сегрегации) одобрили лишь 45% людей с неоконченным средним образованием, зато его одобрили 73% выпускников колледжей. Менялись установки даже самых консервативно настроенных судей. Например, судья Рид (Reed) считал сегрегацию конституционно допустимой и одобрял ее в школах при условии, что школы для черных будут доведены до требуемого уровня. Он же выступал против десегрегации ресторанов, поскольку не желал, чтобы «рядом с миссис Рид за столиком напротив сидел и ел черномазый». Тем не менее он признавал, что «сегрегация постепенно исчезает» и что «неполноценных рас, конечно же, не существует». Как замечает Клерман, «в устах представителя высших классов из штата Кентукки это „конечно же“ говорило о многом. У большинства белых южан — менее образованных, менее состоятельных и не принадлежавших к культурной элите страны, такое заявление вызвало бы протест». Судьи, пишет он, теперь демонстрировали «культурную ангажированность» (Klarman 2004: 173, 308–310, 444; Patterson 2001: глава 3). Южные штаты были изолированы от элитной политической культуры. Для того периода вердикт по делу *Браун против Совета по образованию* был знаковым, хотя последующие решения Верховного суда затормозили процесс десегрегации. Хотя он вселил надежду в чернокожих и привел к отмене сегрегации в школах ряда пограничных штатов, это был прогресс, не коснувшийся собственно американского Юга.

## РЕАКЦИЯ БЕЛЫХ И ЧЕРНЫХ НА ЮГЕ: СОВЕТЫ ГРАЖДАН, ДВИЖЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

На Юге решение Верховного суда вызвало негодование белых, увидевших в нем «прокоммунистическую попытку расового смешения». Пытаясь объяснить их эмоции председателю Верховного суда Эрлу Уоррену, Эйзенхауэр сказал: южане «не злые

люди. Просто они боятся, что невинных белых девочек посадят за одну парту со здоровенными черными мужланами». И подобные чувства испытывали не только южане. В опросе 1958 г. межрасовые браки одобряли лишь 1% белых южан и 5% белого населения других штатов. В 1959 г. межрасовые браки были признаны противозаконными в 29 штатах; однако к 1967 г. таких штатов осталось лишь 16 (Romano 2003: 45, 148; 168, 186). Расистские чувства одолевали всех белых американцев.

На всем Юге возникли Советы белых граждан, готовых дать решительный отпор десегрегации и нейтрализовать недобитых агитаторов за гражданские права. Для этого они воспользовались экономической зависимостью чернокожих арендаторов, клиентов и наемных работников. С помощью этих хозяйственных рычагов Советы белых граждан заставили замолчать всех, кроме самых смелых и экономически независимых чернокожих (Bloom 1987: 93–101; Моуе 2004: 64–73; Рауне 1995: 34–46; Thornton 2002: 392–413). Белые осуждали движение за гражданские права как часть коммунистического заговора, угрожающего «южному образу жизни». Большинство их достаточно искренне в это верило. Акты насилия в основном совершал возрожденный ку-клукс-клан, примерно до 1964 г. пользовавшийся поддержкой полицейских и судей, но не южных политиков (по крайней мере не в явной манере). В период 1960–1965 гг. расистами на Юге было убито не менее 26 борцов за гражданские права как белых, так и черных, а сотни жестоко избиты (Belknap 1995: 121). Кроме того, Советы белых граждан заставили замолчать и тех южных политиков, которые занимались не расовыми, а классовыми проблемами, а также белых либералов и священников, надеявшихся на постепенные реформы. На вопрос, поддерживаете ли вы белую расу против черной и против засланных коммунистических агитаторов, лишь немногие отвечали отрицательно или заявляли о некорректности самого вопроса (Klagman 2004: 318–320, 389–421; Bloom 1987: 91–93). Таким образом, между белыми и чернокожими назревало расовое противостояние.

Черные активисты объединялись в движение за гражданские права, которое Моррис (Morris 1986) определяет как нежестко связанную федерацию локальных центров движения. Сначала их возглавляли священники из среднего класса, церковные старосты, учителя, профсоюзные лидеры, бизнесмены и представители других профессий. Жизнеспособность этих центров, приток активистов и средств зависели от сообществ черных. Свою лепту вносили и профсоюзы: помимо финансовой помощи они вели агитацию среди рабочих и фермеров. Однако церкви могли мобилизовать более широкую базу поддержки

и были в меньшей степени склонны к насилию над личностью (Morris 1986: 54). Это гарантировало, что требования движения останутся интеракционистскими требованиями персонального и политического гражданства. Экономические требования социального государства были отложены, а политика черного национализма — отвергнута.

Фанатичная христианская религиозность отличала это движение от большинства других общественных движений нашего времени, включая революционные. Его христианский пафос находил отклик в религиозных переживаниях белых. В южные штаты на помощь черным выезжали белые священники, поддержку оказывали местные католические госпитали, слова о прощении и искуплении помогли изменить установки белых. Религиозность подразумевала мобилизацию эмоциональной приверженности от всех классов и возрастных групп. Большую часть невидимой организационной работы брали на себя женщины в основном средних лет, имевшие опыт работы в местных церковных и общественных организациях (Morris 1986; Payne 1995: глава 9). Как пишет Робнетт (Robnett 1997: 17–23), эти женщины «наводили мосты» и «агитировали от двери к двери». Активистами, рискующими жизнью и здоровьем в уличных сражениях, были в основном студенты. Идеология, черпавшая аргументы в речах Авраама Линкольна в защиту Союза и сочетавшая христианскую риторику с приверженностью главным американским ценностям, вдохновляла в равной степени как радикалов, так и людей умеренных взглядов. Согласно опросу общественного мнения 1963 г., пойти в тюрьму во имя своих идеалов были готовы 47% чернокожих и 58% их лидеров. Мак-Адам (McAdam 1982: 163) задается вопросом: «Можно ли вообразить, чтобы 47 процентов американцев открыто заявляли о своей готовности отправиться за решетку во имя *какой бы то ни было* современной идеи?»

В церквях рождалось то харизматическое взаимодействие между проповедником и паствой, которое весь мир ощутил в выступлениях Мартина Лютера Кинга и которое было типичным для всех отделений Конфедерации христианских лидеров Юга (Southern Christian Leadership Conference, SCLC). Эта харизма возникала не спонтанно и не в силу личных качеств данного лидера; этот прием церковные проповедники оттачивали задолго до того, как ему нашлось политическое применение. Однако к тому времени он превратился в естественную форму проповеди, которая приводила белых в немалое замешательство (Morris 1986: 7–11). В этих проповедях чувство моральной правоты не было лишь инструментом, рассчитанным на достижение максимального эффекта; именно такой была форма рутин-

ного обращения религиозных лидеров черной общины к своей пастве.

Руководство SCLC придерживалось умеренных взглядов, однако подверглось сильному давлению со стороны радикально настроенных активистов (как белых, так и черных) в северных штатах. Они начали активно вступать в эту организацию на волне студенческих протестов против войны во Вьетнаме, прокатившейся по стране в 1960-х гг. Еще более воинственный характер SCLC приобрела после того, как Конгресс расового равенства (Congress of Racial Equality, CORE, KPP) и Студенческий координационный комитет ненасильственных действий (Student Non-Violent Coordinating Committee, SNCC, СККНД) начали проводить рейды свободы. Их участники колесили на автобусах по южным штатам, устраивая акции протеста на транспорте и в ресторанах для белых, тем самым провоцируя их на ответную реакцию. Эти группы в социальном плане состояли на две трети из студентов колледжей, в гендерном — на треть из мужчин, в расовом — более чем наполовину из черных (впоследствии их доля сократилась). Главная помощь белых черному движению заключалась в том, что они влили в него молодую кровь и расширили его идейные горизонты. Эти активисты, подобно студентам, участвовавшим в русской и китайской революциях, были движимы не столько материальными интересами, сколько идеями. Они были менее осторожными, более нетерпеливыми, на Юге вторгались в общественные заведения для белых и устраивали там сидячие забастовки. Хотя им не хватало массовости, их «чувство независимости и открытое презрение к местным нормам и правилам» заставляло чернокожих поверить в то, что «и они могут стать хозяевами собственной судьбы» (Dittmer 1994: 95, 244–245, 424–425). Лидеры хорошо понимали, что с точки зрения общественного резонанса смерть белого студента от рук расистов стоит смерти десяти чернокожих. Именно поэтому их жизнь нередко подвергалась излишнему риску.

Теперь в состав движения входило более организованное радикальное крыло, уделявшее больше внимания борьбе с экономической несправедливостью. Движение пользовалось некоторой поддержкой чернокожих низов и охватывало не только крупные города, но и сельские районы. В дельте Миссисипи помощь сельской бедноте, мелким фермерам и неграмотным арендаторам в создании собственных организаций оказывали СККНД и KPP. Они направляли свои усилия на борьбу за избирательные права, но за этим стояли требования экономической справедливости и равных гражданских прав для черных (Moynihan 2004: 90–104). На Севере те же задачи ставили перед собой организация Malcolm X и зарождавшийся черный национа-

лизм. Лидеры Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Конфедерации христианских лидеров Юга, руководившие движением в большинстве городов южных штатов, придерживались умеренных взглядов. Какое-то время различные течения этого движения действовали слаженно, что позволяло им противостоять властным структурам белых, которые ни в чем не хотели уступить.

## В БОЙ ВСТУПАЮТ НОВЫЕ СИЛЫ

Участники движения за гражданские права исповедовали ненасильственную борьбу. Купив себе пистолет, Кинг начал осознавать, что шансов победить белых в силовом столкновении чернокожие не имеют, поскольку их значительно меньше. Революция была невозможна. Тактика ненасильственных, но часто незаконных протестов была усовершенствована в виде провокации насилия со стороны белых в надежде на то, что в конфликт вмешаются федеральные власти. Эта тактика стала основной, к тому же она была весьма расчетливой, провокационной и имела целью расколоть единство господствующей расы, но ее нельзя назвать революционной. Это была попытка сыграть на конституционном разделении властей между штатами и федеральным центром, поскольку существовало убеждение (либо надежда), что если уличное насилие продолжится, то федеральное правительство будет вынуждено вмешаться и провести реформу. При этом предполагалось, что отказ от насилия придаст движению моральную легитимность, позволяющую привлечь в него новых участников и завоевать симпатии белых. Отказ от насилия особенно уместен в условиях, когда движению противостоит (как было, например, в Британской Индии) превосходящая сила, намеренная тем не менее действовать в рамках конституции. Здесь было так лишь в определенном смысле. Многим белым на Юге было решительно наплевать на любые ограничения, однако так думали не все, и надежда была на то, что так не думает федеральное правительство. Если одни активисты поддерживали отказ от насилия из тактических соображений, то другие делали это в силу религиозных убеждений, проводя аналогии с Христом, без оружия изгнавшим ростовщиков из храма.

Первым крупным успехом движения стал бойкот автобусов в городе Монтгомери (штат Алабама), длившийся на протяжении всего 1955 г. Акция началась с того, что Розу Паркс в очередной раз выставили из автобуса (ветеран движения борьбы за гражданские права, она до этого дважды пыталась занять место, предназначенное для белых). В глазах лидеров движения

она была идеальной жертвой благодаря своей безупречной репутации (первая претендентка на эту роль пятнадцатилетняя незамужняя девушка оказалась беременной!). Бойкот предусматривал массовую акцию, которую невозможно было подавить силой, поскольку чернокожие всего лишь отказывались ездить в автобусах. А поскольку они составляли две трети от общего числа пассажиров, автобусные компании понесли большие убытки. Верховный суд вскоре признал сегрегацию в общественном транспорте неконституционной. Однако федеральное правительство, вынужденное считаться с политическим влиянием белых на Юге, отсрочило исполнение этого судебного решения.

Затем последовали новые бойкоты, рейды свободы, сидячие забастовки, марши протеста и кампании за избирательные права. Все акции были ненасильственными, однако их цель заключалась в провокации насилия со стороны белых или массовых арестов со стороны властей (McAdam 1982). Успех акций зависел от жесткой дисциплины и выдержки протестующих перед лицом насилия, а также от слаженности действий, когда все разом садились на землю, начинали петь, скандировать лозунги, падать в обморок и т. д. Успех либо провал был обусловлен взаимодействием тактики протестующих с тактикой властей, реакция которых могла быть разной — от суровых репрессий до бездействия — в зависимости от того, хотели они подавить протест или переждать в надежде, что он выдохнется сам. Первый вариант был более приемлем, с точки зрения белых активистов, второй вариант — эффективнее, с точки зрения властей, поскольку движение не могло рассчитывать на то, что местное население будет идти на массовые жертвы в течение долгого времени. В 1962 г. ошутимое поражение демонстрантам нанес начальник полиции города Олбани (штат Джорджия) Лори Притчет. Во время массовых задержаний этот человек в нарушение порядков, установленных белыми расистами, проявил уважение к правам демонстрантов. Если они преклоняли колени для молитвы, он опускался на колени и молился вместе с ними. Рассредоточив их по тюрьмам соседних городов, он дал понять, что в Олбани хватит места для новых арестантов. Его выдержка заставила противостоящие силы умерить свой пыл. Дошло до того, что в Миссисипи ку-клукс-клан распространил листовки, призывавшие белых избегать насилия, поскольку именно этого подстрекатели и добивались (Bloom 1987: 181).

Однако не все лидеры белых с этим соглашались. Хорошо понимая, что для удержания Юга под властью белых расистов требуется в конечном счете насилие вооруженных формирований, они были убеждены, что отказ от этого может быть опасным. Согласие защищать сегрегацию одними лишь юри-



дическими средствами было безусловно шагом назад, возможно ведущим к скорому разрушению всей системы. С точки зрения расистов, эти рассуждения были логичными, однако в них не учитывался возросший прессинг, под которым находились северные политики. В 1963 г., заигрывая с реакционным белым электоратом, Булл Коннор, шериф города Бирмингема, перед телекамерами национальных каналов направил водометы и натравил собак на колонну демонстрантов — учащихся средних школ, несмотря на все предупреждения о том, что Мартин Лютер Кинг только и ждет, чтобы полиция проявила жестокость. Этот случай «показал миру то, о чем чернокожие жители Бирмингема знали давно: для таких людей, как Коннор, превосходство белых означает насилие» (Thornton 2002: 311; ср. Lewis 2006: 146–150). Местом действия аналогичных событий в 1965 г. стал город Сельма (штат Алабама), где перед объективами телекамер массовый марш протеста был жестоко подавлен полицией. Руководил этой операцией шериф Кларк. Акты белого насилия были саморазрушением. Они разжигали гнев черных общин и добавляли поддержки движению. Телевизионный показ этих сцен, а они были сняты мастерски, вызвал у американцев чувство ужаса и сопереживания. В тех случаях, когда местные власти не стремились положить конец зверствам белых либо не могли остановить акции чернокожих, нарушавшие обычное течение жизни, федеральное правительство вынуждено было в конце концов вмешаться. Последовала серия небольших конституционных кризисов, вызванных тем, что правительства штатов и местные администрации были не в силах выполнить свою главную обязанность — сохранить порядок. Тактика движения за гражданские права и упрямство белых расистов привели к тому, что к их противостоянию теперь подключилось федеральное правительство, то есть борьба стала трехсторонней.

Федеральное правительство все еще вмешивалось в подобные конфликты неохотно. Администрация Кеннеди по-прежнему избегала конфронтации с белым населением Юга, тем более что найти союзников в сенате было крайне трудно. Министр юстиции Роберт Кеннеди обратился к лидерам Студенческого координационного комитета ненасильственных действий и Конгресса расового единства с таким предложением: «Почему бы вам, парни, не бросить всякую ерунду вроде рейдов свободы и сидячих забастовок и не сосредоточиться на обучении избирателей? Если вы это сделаете, я добьюсь для вас освобождения от налогов» (Morris 1986: 234–235). Активисты проигнорировали сомнительную рекомендацию министра юстиции и продолжили рейды свободы, а ему пришлось обеспечивать им полицейскую охрану, иначе многих из них просто убили бы.

Телевизионные репортажи создавали впечатление, что угроза правопорядку исходит не от демонстрантов, а от властей южных штатов. На этом фоне росла харизма Мартина Лютера Кинга, который в своих речах отождествлял движение борьбы за гражданские права с вечными моральными ценностями американцев. В этих условиях риторика Кинга обеспечила успех его призывам гарантировать чернокожим равные гражданские права, но не требованиям экономического равенства (Thornton 2002: 567, 570).

Однако не везде кульминацией борьбы становилось насилие. Большинство белого населения южных штатов было потрясено нарастанием беспорядков и отошло от защитников сегрегации. Волна насилия со стороны ку-клукс-клана, муниципальной полиции и полиции штатов пошла на убыль. Все больше родителей проявляли недовольство противостоянием в школах, так как в ответ на требование десегрегации советы школ для белых закрывали учебные заведения и дети не могли учиться. К 1960 г. в обществе уже появились первые намеки на интеграцию. Бизнес-сообщество понимало, что никто не будет вкладывать деньги в развитие городов до тех пор, пока там не прекратится насилие. Разделяя многие взгляды Клансмена, Коннерса и им подобных, большинство белых предлагали условия перемирия, удовлетворявшие требованиям черных лишь частично, однако выступали за соглашение, которое позволило бы нормализовать деловую жизнь, прекратить межрасовую вражду, исключить федеральное вмешательство и избежать экономических потерь. В Новом Орлеане бизнес-верхушка не хотела интеграции, но в целях решения расовых проблем создала Комитет за лучшую Луизиану (Committee for a Better Louisiana). Как отмечают социологи, эти люди «были не настолько тупы, чтобы не понимать, что дальнейшие беспорядки, вызванные борьбой за интеграцию, наносят громадный ущерб экономике города» (Fairclough 1995: 254; ср. Kirk 2002: 139; Belknap, 1995; Jacoway 1982; Dittmer 1994: 248). По всей стране представители корпоративного бизнеса, Комитета экономического развития и умеренные республиканцы хотели положить конец беспорядкам и высказались за предоставление чернокожим ограниченных гражданских прав. Сама капиталистическая погоня за прибылью заставляла их отказываться от «расового капитализма». Однако лишь немногие белые жители южных штатов выступали за полное равенство гражданских и политических прав.

Как показало подробное исследование логики событий в эпоху борьбы за гражданские права (McAdam 1982), политические перемены на общенациональном уровне, как правило, были обусловлены подъемом движения за гражданские права

в южных штатах. Хотя развитие правового сознания чернокожих не обошлось без диффузного воздействия макросоциальных сил в масштабах всей страны, непосредственное влияние белых либералов, белых денег и белых политических элит было слабым, за исключением их реакции на усиление власти черных. Если решение по делу *Браун против Совета по образованию* было частью расширения правовых структурных возможностей чернокожих, то расширение их политических структурных возможностей было незначительным, за исключением того, что завоевало само движение. Политиков заботит прежде всего собственное переизбрание, и тогда им казалось, что голоса белых избирателей будут для них полезнее, нежели голоса чернокожих.

В конце концов беспорядки вынудили Белый дом и Конгресс принять соответствующее законодательство. Закон о гражданских правах 1964 г. запрещал дискриминацию при трудоустройстве и в местах общественного пользования. Закон об избирательных правах 1965 г. временно отменял взимание избирательного налога, проверку грамотности и прочие электоральные ограничения. Кроме того, закон разрешал генеральному прокурору в случае необходимости менять состав местных избирательных комиссий, вводя туда федеральных чиновников. Эти новации вызвали всплеск белого насилия, что привело к еще большему отчуждению северных политических элит. Закон о гражданских правах 1968 г. запрещал расовую дискриминацию в жилищной политике. Все три закона предусматривали эффективные механизмы правоприменения. Они были приняты благодаря тому, что северные республиканцы перестали поддерживать южных обструкционистов. Президент Джонсон отмечал, что, подписав закон 1965 г., он обрек Демократическую партию на поражение в южных штатах. И это было правдой. Хотя черные активно голосовали за демократов, из-за массовой миграции они теперь в каждом штате составляли меньшинство, тогда как белые южане в знак протеста все как один голосовали за республиканцев. Уступив больше прав, чем им хотелось, белые за счет этого сохранили ряд экономических привилегий и политический контроль над Югом.

Успехи движения усилили раскол в его рядах. Ни традиционный класс чернокожих лидеров, ни принадлежащие к среднему классу члены Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, ни большая часть Конфедерации руководства христиан Юга не хотели сотрудничать с арендаторами, поденщиками и домашней прислугой из радикальных фракций, требовавших экономического равенства. На Севере же параллельный раскол привел к расцвету черного нацио-

нализма и усилению движения «Власть черным!». Антивоенная позиция Кинга и большинства лидеров движения за гражданские права, а также волна беспорядков, прокатившаяся по многим крупным городам США, вызвали ответную реакцию белых по всей стране. Как мы увидим позднее, администрация Джонсона связывала беспорядки с деятельностью радикалов и стала потихоньку давать задний ход. Помощь федерального правительства была сокращена. В городах, где деятельность радикалов была особенно заметной (например, в Бирмингеме), их сменили буржуазные оппортунисты, променявшие политические завоевания на экономические выгоды (Eskew 1997; ср. Thornton 2002: 571–573). Радикалы переключились на протесты против войны во Вьетнаме. Экономические потребности малообеспеченных афроамериканцев были принесены в жертву в обмен на всеобщие гражданские и политические права и экономические выгоды чернокожего среднего класса (Paune 1995: глава 13; Dittmer 1994: 429; Eskew 1997: 331–334). Вероятно, это был максимум того, чего можно было реально добиться в Соединенных Штатах, которые во всех прочих отношениях становились весьма консервативными. С годами к такому выводу пришли даже те радикальные лидеры Студенческого координационного комитета ненасильственных действий, которые впоследствии стали мэрами городов и конгрессменами. И конечно, их деятельность также стала элементом отказа от классовой политики ради политики [защиты] идентичности.

### ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ФЕНОМЕНА

На этом движение, в сущности, завершилось. Оно достигло своих интеграционных целей в основном благодаря росту коллективной уверенности афроамериканцев в своих силах, которая зародилась внутри сегрегированных общин и затем была мобилизована лидерами, включенными в моральную солидарность общин. Все началось с острого ощущения несправедливости, но переворот в сознании чернокожих произошел после того, как они поверили в возможность перемен. Это был феномен идеологической и политической. Усилению движения способствовали диффузные социальные силы — межрегиональные сдвиги в экономической власти и война (горячая и холодная). Все это привело к нарастанию разногласий между Севером и Югом, которое завершилось тем, что южане окончательно лишились поддержки северян. Однако прежде чем это произошло, черные должны были вывести из строя политическую систему

самостоятельно, поскольку большой помощи непосредственно от белых они не получили. Конкретная поддержка исходила от Верховного суда, а также от администраций Трумэна, Кеннеди и Джонсона. Некоторую финансовую помощь движению оказывали профсоюзы и либералы Севера. Дополнительный общественный резонанс протестной риторике придал рост либеральных настроений в элитах, в том числе академических. Однако в итоге решающую роль на стороне белых сыграли консервативные политики Севера и капиталисты Юга (плюс многие простые южане), которые поняли, что наилучший способ восстановить общественный порядок — это дать черным гражданские и политические права. Как я подчеркивал в том 3, если протестные движения (особенно в демократических странах) грозят не столько революцией, сколько некоторым хаосом, дестабилизирующим трудовые либо социальные отношения, то наиболее дальновидные силы порядка идут на уступки. Дополнительным преимуществом такого шага, как правило, является раскол, приносимый ими в движение за гражданские права и устранение наиболее радикальных требований социальной справедливости. В этом отношении ситуация напоминала времена «нового курса».

В некоторых отношениях мое исследование также напоминает версию политического процесса теории общественных движений, подчеркивающую такие факторы, как подъем бунтарских настроений, рост организационной силы и рост возможностей для действий. Тем не менее я не ограничился анализом одних лишь *политических* возможностей и попытался уделить равное внимание его противникам. Если оно оказалось недостаточным, то лишь потому, что роль защитников сегрегации пока еще мало исследована. В итоге политика белых привела к усилению влияния идеологии общественной интеграции афроамериканцев, принадлежащих к среднему классу, и сделала так, что с годами экономические требования чернокожих и радикальные «Черные пантеры» лишились своей поддержки. Своей политикой позитивной дискриминации президент Никсон окончательно выбил почву из-под ног у «Черных пантер». Сегодня эта организация расколота, а ее остатки нейтрализованы силами военизированной полиции, подобно тому как в прошлом это произошло с ультралевыми классовыми движениями.

Роль идеологии выходила далеко за рамки выработки стратегии. Душой этого движения была религиозность и американский национализм, укорененные в церквях, порождающих в чернокожих чувство уверенности в собственной правоте. Это движение также включало дозу радикальной левацкой идеологии, которая охватила американские университеты в 1960-х гг.

и усилила свое влияние с началом войны во Вьетнаме. Таким образом, обе категории активистов борьбы за гражданские права — местные активисты и агитаторы из других штатов — преисполнились беззаветной отвагой, дававшей им силу рисковать и жизнью, и свободой. В терминах Вебера ими двигала ценностная рациональность — приверженность высшим ценностям — в гораздо большей степени, нежели инструментальная рациональность. Хотя последняя и присутствовала в их тактике, способность активистов противостоять превосходящей вооруженной силе была ценностно рациональной. С другой стороны, массовое сопротивление сегрегационистов также было весьма эмоционально идеологически укоренено в региональном национализме, яростном антикоммунизме и отчаянном страхе расового смешения. Напротив, если акцент на той разновидности теории общественных движений, которая работает с культурой и культурными фреймами, кажется несколько блеклым (бескровным), то именно от того, что таковы в большинстве своем движения, которые они изучают. Эти движения не проливают кровь, а лишь набивают ссадины, что еще раз доказывает необходимость критически относиться к абстрактным универсальным моделям, якобы способным объяснить механизмы возникновения различного рода социальных конфликтов. Именно поэтому в нашем объяснении необходимо свести воедино все отношения экономической, идеологической, военной и политической власти, используя при этом четыре фактора для объяснения причин как подъема и частичного успеха массового движения борьбы за гражданские права, так и спада и частичного провала массового сопротивления белых.

Поэтому вместо того, чтобы сравнивать движение за гражданские права с движением за права сексуальных меньшинств или с «зелеными», логичнее отнести его к категории революционных/реформаторских классовых движений, обсуждаемых в настоящем томе. Социальная группа, составлявшая лишь 10% всего населения, не могла совершить революцию, но это было движение, нацеленное на крупные реформы. Оно включало массовые демонстрации, провоцировавшие массовое насилие, к тому же ему удалось создать расовый вариант ленинской революционной ситуации. То есть оно произошло в тот момент, когда подчиненная раса не хотела жить как прежде, а господствующая раса не могла жить как прежде. Однако мне этот анализ больше напоминает мою же характеристику не революционной, а реформаторской классовой борьбы, поскольку старый режим, столкнувшись с движением борьбы за гражданские права, дал трещину, а правительство стало вмешиваться, проводить реформы и искать компромиссы. Глубокие социальные сдвиги

усилили движение афроамериканцев/рабочего класса и накопили обстановку настолько, что правящая раса/класс особенно в государственном аппарате поняла, что сохранение социального порядка требует проведения реформ. Это, в свою очередь, подорвало влияние радикального/революционного крыла движения. Главное его отличие от классовых движений состояло в том, что афроамериканцы хотя и занимали разные классовые позиции, были коллективно обречены на то, чтобы оставаться чернокожими и страдать от расового угнетения. Кроме того, на протяжении основного периода борьбы черное сообщество демонстрировало больше единства, энтузиазма и отваги, чем большинство движений рабочего класса (естественно, в США). Раса «пересилила» класс, однако в дальнейшем этот успех афроамериканцев увеличил расслоение и в их сообществе.

## РАСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Движение за гражданские права обеспечило чернокожим устойчивые завоевания. Исчезало расовое насилие, были обретены гражданские и политические права, большинство афроамериканцев даже ощутили на себе некоторое улучшение экономических условий. В результате десегрегации школ выросло качество образования. Благодаря отмене сегрегации в сфере занятости в государственных органах и частных компаниях, вступающих в роли федеральных подрядчиков, улучшилась перспектива найти работу. Минчин (Minchin 1999, 2001) указывает, что на текстильных и бумажных фабриках Юга доля чернокожих рабочих существенно возросла. Произошло это в первую очередь из-за того, что окрыленные недавними успехами чернокожие наводнили Комиссию по соблюдению равноправия при трудоустройстве коллективными жалобами на работодателей за дискриминацию при приеме на работу. Одни фирмы вынуждены были нанимать чернокожих по постановлению судов; другие нанимали их во избежание судебных исков. Менеджеры отдавали предпочтение высококвалифицированным афроамериканцам с более светлым цветом кожи, а затем поручали им самую грязную работу; белые менеджеры и рабочие продолжали придерживать расистских взглядов. Тем не менее чернокожие рабочие добились более высокой зарплаты, получили право на льготы и пособия, а также доступ в заводские столовые и душевые. На бумажных фабриках они получили их в преимущественное пользование, так как при появлении чернокожих белые рабочие немедленно уходили.

По всей стране происходило сокращение разрыва между белыми и чернокожими в качестве образования и уровне зарплат. Помимо увеличения занятости и оплаты труда чернокожие в ряде отраслей промышленности, особенно на Юге, добились того, что по уровню зарплат приблизились к белым рабочим. Еще больших уступок, чем чернокожие рабочие, добился чернокожий средний класс. По уровню занятости, зарплат, образованности и профессиональной квалификации чернокожие женщины, за исключением матерей-одиночек, преуспели больше, чем чернокожие мужчины. К 2000 г. разница в социальном статусе белых и черных женщин почти исчезла, за исключением чернокожих матерей-одиночек, доля которых в структуре населения была непропорционально велика. К 1980 г. зарплата черных мужчин достигла 70–80% от зарплаты белых на сопоставимых должностях (тогда как в 1950 г. эта доля составляла 40–50%). Однако больше зарплаты черных не росли. Жизнь афроамериканских низов даже ухудшилась. Если в 1940 г. безработными были лишь 9% чернокожих, то к 2000 г. эта цифра возросла до 34%. Начиная с 1980-х гг. к этому добавился еще один тревожный факт — рост численности заключенных, отбывавших наказание главным образом за преступления, связанные с наркотиками. В 2000 г. половину от общего количества заключенных в стране составляли чернокожие, притом что их доля в населении США не превышала 13% (Katz et al. 2005; Massey 2007; Weste 2006) (продолжение этой темы — в главе 6). Таким образом, расовые проблемы сохраняли немалую значимость, но лишь тогда, когда усугублялись классовыми проблемами. Впрочем, тесная взаимосвязь классовой политики с расовой оставалась актуальной лишь для низших классов чернокожего населения.

В целом расизм не исчез, но стал более умеренным. Самое главное — чернокожие выиграли сражение и больше уже не считали необходимым гнуть спину на белых. Совсем наоборот. Какую бы форму ни принимало самоутверждение черных — будь то успехи в образовании или профессиональной карьере, особый негритянский стиль или рэп, специфический слэнг или даже насилие, — белые знали, что отныне к запугиванию могут прибегать не только они. В жизни афроамериканцев сохранялись негативные стороны: жители городских гетто были малообеспеченными, перебивались редкими заработками, не пользовались избирательными правами, проявляли склонность к насилию, имели все основания опасаться вооруженных полицейских, были отрезаны от чернокожего среднего класса и не состояли в профсоюзах. Расизм оставался национальным позором, но обнаруживал себя главным образом в отдельных классовых нишах. Если вспомнить, что 1950–70-е гг. были от-



мечены еще и крушением европейских империй, то становится очевидно, что к 1980 г. расизм перестал быть господствующей идеологией. Если в исторический период, описанный в томе 3, расизм господствовал, то для событий тома 4 это уже не так. И это была определенно большая удача для всего мира.

Со временем либеральная риторика движения борьбы за гражданские права стала общенациональной. Расизм не мог проявляться открыто, а потому принял скрытые формы. Дискриминация существовала неофициально, но в целом ее стало меньше, чем прежде (исключения составляли пенитенциарные заведения). Большинство белых все еще питали к чернокожим негативные чувства, но опасались открыто их выражать. Как показали опросы, половина белых считали, что чернокожие склонны к насилию и глупее белых, а одна треть — что они предпочитают не работать, а жить на пособие. Большинство белых согласны с присутствием нескольких черных соседей (но не большинства). Расовые и классовые характеристики бедняков, безработных и преступников взаимно усиливались, поскольку их приписывали всему чернокожему сообществу (Massey 2007: 65–112). Такие настроения среди белых, особенно акцент на расовом характере преступности, эксплуатируются членами Республиканской партии (Western 2006). Весьма откровенно об этом в 1981 г. высказался Ли Этвоте, политический стратег республиканцев:

В 1954 г. повсюду только и слышалось: ниггер, ниггер, ниггер. К 1968 г. произносить «ниггер» было не принято — это могло вызвать нежелательные последствия. Поэтому все вели речь о насильственной десегрегации на транспорте, о правах штатов, о подобного рода вещах. Сегодня говорят о совсем уже абстрактных вещах, например о снижении налогов, в терминах исключительно экономической риторики. Побочным же продуктом является то, что черные страдают больше, чем белые (Bob Herbert, *New York Times*, October 6, 2005).

## ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Движение борьбы за гражданские права имело глобальное влияние. Его «песни протеста» подхватывал весь мир. Его сидячие забастовки, призыв к ценностям, одновременно имевшим общечеловеческий характер и являвшимся основой чувства национальной идентичности, подходили к условиям протестных движений во многих странах мира. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. это наглядно проявилось, например, в Северной Ирландии, где

на первом этапе тридцатилетней борьбы против односторонне навязанного (протестантского) государства возобладали риторика и тактика, сознательно заимствованные у американского движения за гражданские права. Впоследствии от этого отказались, поскольку юнионистская община сумела, играя на настроениях британского правительства, добиться его вмешательства на своей стороне — обратное тому, что произошло в США. В Южной Африке Нельсон Мандела понял, как важно занять высокую нравственную позицию и обратить спровоцированное насилие себе на пользу, обеспечив тем самым вмешательство извне. В данном случае речь шла об иностранных экономических санкциях, которые по аналогии с событиями на американском Юге должны были в итоге повлиять на деловые интересы белого сообщества, с тем чтобы оно принудило правящий режим апартеида к переговорам с оппозицией.

Движение за гражданские права было влиятельным и в качестве составляющей идеологии неолиберализма, фокусирующейся на политике идентичности в большей степени, чем на классовой политике. То, что принято называть новыми социальными движениями — феминизм и другие движения в защиту идентичности плюс экологические движения, — содержали в себе дискурс индивидуальных прав. Они возникли из различных форм преимущественно классовой борьбы за полноту гражданских прав, однако затем большинство новых движений отказалось от классовой политики. Правовая революция вначале обеспечила права афроамериканцев, а затем — других расовых меньшинств.

Вторая волна феминизма возникла одновременно с движением борьбы за гражданские права и под его влиянием. Однако женщины уже обладали избирательным правом, поэтому их движение фокусировалось на гражданских и особенно на социальных правах. Важную роль в подъеме этого движения сыграли послевоенные социальные изменения, особенно те, которые затрагивали рынки труда. По окончании Второй мировой войны уровень занятости женщин резко снизился, но затем начиная с 1950 г. вновь стал расти на фоне нехватки рабочей силы в условиях золотого века. К 1956 г. было официально трудоустроено 35% всего взрослого женского населения, из них четверть — замужние женщины. Особо востребованы были женщины в сфере конторского труда, поскольку к тому времени уровень их образования был достаточно высок. Работающие женщины пользовались большей независимостью, но при этом подвергались постоянной дискриминации. Затем начиная с 1970-х гг. повышение стоимости труда в период золотого века привело к сокращению капиталистических прибылей (см. главу 6). На это рабо-

тодатели отреагировали, в частности, тем, что стали нанимать больше женщин, иногда на полный, но чаще на неполный рабочий день либо на разовые работы, при этом уровень их зарплат всегда был ниже, чем у работающих там же мужчин. Это давало работодателю возможность сэкономить на зарплатах, а также обеспечивало большую гибкость. Теперь рост количества работающих женщин был обусловлен не бумом, а наступившей рецессией. В последующие десятилетия зарплаты мужчин оставались неизменными, так что доходы домохозяйств зависели от зарплат женщин. Такой расклад позволил им претендовать на большее равенство в семейных отношениях, хотя несколько десятилетий этому мешало лежавшее на плечах замужних женщин двойное бремя — официальная работа и ведение домашнего хозяйства. Тем не менее патриархат постепенно сдавал свои идеологические позиции.

Тогда же был брошен вызов традиционным гендерным и сексуальным нормам, поскольку более эффективные меры контрацепции позволяли женщинам контролировать беременность (если они вообще хотели иметь детей). Более частым явлением стали разводы и раздельная жизнь супругов, что позволяло женщинам (и мужчинам) решать, хотят ли они остаться в браке. Однако для женщин эта свобода имела и негативный аспект, поскольку существенно увеличила количество матерей-одиночек и брошенных женщин с детьми, что способствовало их обнищанию и вызывало ощущение социальной эксклюзии.

Подобно феминисткам первой волны, женщинам пришлось бороться за свои права, однако они обошлись без крайностей, присущих борьбе пролетариев-мужчин либо этнических меньшинств. Им почти не требовалось организованного насилия. Более того, в США ряд ключевых для феминизма инициатив исходил сверху. Так, в 1963 г. президент Кеннеди инициировал создание влиятельной Комиссии по изучению положения женщин, что привело к появлению многочисленных женских групп давления, принятию закона о равной оплате труда 1963 г. и внесению поправок в закон о гражданских правах 1964 г., приравнявших нарушение прав женщин к нарушению статьи 7 этого закона. В США феминизм ловко воспользовался борьбой афроамериканцев. Важную роль, несомненно, сыграли и победы в судебных делах, поскольку равенство гражданских и политических прав для мужчин и женщин было подтверждено конституцией. Кроме того, в США не было дискриминационных структур, которые бы блокировали права женщин. В Америке, как и в большинстве стран, феминистские движения возникли в рамках существующих левых групп давления, причем зачастую в качестве реакции на практикуемую в этих группах дискриминацию по гендерному

признаку (как это было в случае новых левых 1960-х гг.). Причина, по которой женщины сравнительно легко добились равных прав с мужчинами, возможно, заключалась в отсутствии между ними сегрегации, более того, их отношения носили близкий, интимный характер. Недовольные женщины могли оказать влияние на своих партнеров, членов семьи, коллег по работе и товарищей по политической деятельности изнутри. Приобретая массовый характер, феминизм уже не ставил перед собой задачу организовать всех (либо большую часть) женщин на борьбу против всех (либо большей части) мужчин.

Давление феминизма одновременно ощущалось во всех развитых странах, указывая на то, что важнейшими причинами возникновения его второй волны были широкие глобальные тенденции, а не тенденции, характерные только для Америки. Однако большое влияние на требования феминисток оказали институциональные традиции каждого макрорегиона и национального государства, впоследствии создавшие самые разные вариации на тему женских прав.

Макрорегиональные тенденции достаточно хорошо вписывались в трехчастную модель Эспинг-Андерсена (см. главу 6), как он и сам это отмечает (Esping-Andersen, 1999). Либеральные англоговорящие страны с готовностью предоставляли женщинам формальное равенство гражданских прав, однако в отношении социальных прав были менее щедры. Там возникла модель гендерного равноправия, предоставлявшая равные права мужчинам и женщинам, особенно на рынке труда. Поощряя женскую занятость, англоговорящие страны сохраняли роль мужчины как кормильца семьи. В соответствии с этим социальное обеспечение было направлено скорее на поддержание жизненных стандартов мужчины как хозяина дома, нежели на поддержание жизненных стандартов женщины, рожавшей детей и ухаживающей за ними. В этих странах поощрялись частные программы социального обеспечения, тогда как право на участие в государственных программах давалось как мужчинам, так и женщинам при наличии у них большого трудового стажа. Разумеется, англоговорящие страны допускали вариации в ту или другую сторону: если Канада с некоторыми отличиями, а еще больше Великобритания опережали Соединенные Штаты в предоставлении женщинам социальных прав, то Австралия рассматривала гражданские права женщин с признанием их роли по уходу за детьми. Если Британия и Австралия успешнее сокращали разницу в уровнях оплаты труда мужчин и женщин, нежели Канада и Соединенные Штаты, то последние успешнее преодолевали гендерную сегрегацию по профессиональному признаку (O'Connor, Orloff and Shaver 1999).

Ситуация в более консервативных странах Старого Света, которые я называю евроконтинентальными (Euros), во многом была противоположной. Они не любили вмешиваться в рыночный капитализм, но приходили на помощь всем, кто выпал из рынка. В этих странах гендерные различия в гражданских правах не только сохранились, но даже усилились; там не поощрялось участие женщин в трудовой деятельности. Эти страны стремились оградить семью от посягательств капиталистических рынков; они предоставляли женщинам немалые социальные льготы как матерям и домохозяйкам. И наоборот, развитие воспитательных детских учреждений государством почти не поощрялось. Здесь единицей общественного благосостояния была семья, а не отдельный человек. Поскольку этот правовой баланс находился под сильным влиянием социального католицизма, для Нидерландов и Франции он был менее характерен. Нидерландская модель была ближе к модели англоговорящих стран, тогда как французская не только поощряла занятость женщин, но и предоставляла им щедрые пособия по уходу за детьми, что означало, в сущности, перекладывание на общество расходов на эти пособия (van Keesbergen 1995; Pedersen 1993). Сама евроконтинентальная модель была следствием относительной слабости профсоюзов при мощной тенденции к поощрению рождаемости, вызванной соображениями национальной безопасности (см. главу 9 тома 3).

Социал-демократические, обобщенно — скандинавские страны предоставляли женщинам комплекс гражданских и социальных прав. Здесь движение в поддержку рождаемости поощряло трудовую деятельность женщин (с тем чтобы компенсировать нехватку рабочей силы), чему способствовало предоставление щедрых государственных пособий по уходу за детьми. Это был во многом отказ от модели «мужчина-добытчик, женщина-мать и домохозяйка» в пользу модели «двух работающих супругов» (Sainsbury 1996). Однако в этих странах, особенно в Швеции, женщине не приходилось выбирать — работать или нет. Высокие налоги и система страхования с долевым участием работодателя и работника означали, что женщины, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни, фактически вынуждены трудиться. И хотя для женщин вакансий было вполне достаточно, почти все они трудились в государственном секторе, тогда как в частном были заняты преимущественно мужчины.

Женщины еще не достигли полного равенства в правах, и феминистское движение оставалось расколотым на тех, кто выступал за гендерное равноправие, и тех, кто подчеркивал гендерные различия и требовал для женщин вознаграждения за их особую роль в обществе. Тем не менее за последние полвека фе-

минизм успешно достиг своих целей (неодинаковых в разных странах); при этом он институализировался как на национальном, так и транснациональном уровне (в недавнее время через ООН и международные феминистские НПО). Как я только что отметил, Соединенные Штаты в предоставлении социальных прав в целом отставали от скандинавских стран, однако в сфере гражданских прав они были в числе лидеров. Вслед за феминистками свои требования выдвинули движения за права инвалидов и сексуальных меньшинств. США сыграли также особую роль, придав политике идентичности консервативный оттенок, когда выступили в защиту прав еще не родившегося эмбриона. Сегодня в США, в отличие от любой другой развитой страны и даже от католических стран, борьба за сексуальные права против традиционных семейных ценностей вызывает больше политических эмоций, нежели классовая борьба. То же касается противоречия между правом женщины (на аборт) и правом еще не родившегося ребенка (на жизнь). На некоторых направлениях борьба за гражданские права, в сущности, увенчалась успехом. Это верно в отношении прав инвалидов и женщин; быстро завоевывают свои права и гомосексуалисты. В 2012 г. легализацию однополых браков поддержало большинство американских граждан — поразительная перемена всего лишь за несколько лет. В Америке новый либерализм, первым совершивший огромный шаг вперед в деле защиты гражданских прав, значительно ослабил влияние патриархальной идеологии.

Однако с завоеванием гражданских прав резко усилились классовые различия. Победа движения борьбы за гражданские права ослабила солидарность афроамериканского сообщества, усилив внутри него классовое неравенство. То же справедливо для успехов феминисток, в ряде отношений (подробнее см. главу 9 тома 3) усиливших неравенство среди женщин. Тех же последствий можно ожидать по мере завоевания прав сексуальными меньшинствами. В США эти движения получили от профсоюзов довольно слабую поддержку, после чего между старыми левыми и новыми либералами возник раскол. В 1972 г. во время президентской кампании Джорджа Макговерна, окончившейся неудачей, лидеры профсоюзов выражали недовольство идеологической пестротой его опорного электората. Их раздражал контркультурный тон высказываний всех борющихся расовых, гендерных и сексуальных прав и свобод. Именно на этом этапе демократы начали массово терять поддержку белых рабочих. Стратегия Никсона в отношении южных штатов содержала в себе расовый подтекст, нацеленный на завоевание голосов белых рабочих, тогда как на федеральном уровне он подавал себя как защитник налогоплательщиков, страдаю-

щих по вине асоциальной (чернокожей) бедноты, а также привилегированных сторонников контркультуры (Lichtenstein 2002: глава 5; Cowie 2010). Американский либерализм разделился на два направления — классовую борьбу и борьбу за идентичность; первая переживала спад, вторая — подъем. У обоих направлений имелись как положительные, так и отрицательные стороны, но вскоре их общая слабость в вопросах экономики обнажилась полностью. Для профсоюзов это будет означать потерю союзников в то время, когда баланс экономических сил качнулся в сторону капитала, а не труда. Деловое сообщество — будь то традиционные корпорации или малый бизнес — проявляли растущее беспокойство по поводу инфляции и падения нормы прибыли — тенденций, ставших очевидными к концу 1960-х гг. Как мы увидим в главе 10, частичным ответом на эти вызовы станет снижение затрат на оплату труда.

## ГЛАВА 5

# Американская империя в годы холодной войны, 1945–1980 годы

**Н**АШ МИР многообразен. Хотя в послевоенный период происходит процесс глобализации, все три основных ее столпа — капиталистическая экспансия, оформление национальных государств и американская империя — тесно переплетены с крайне разнообразными социальными структурами и возможностями развития. Из-за страха распространения коммунизма и в условиях холодной войны на планете доминировала американская политика, но разные регионы мира играли различные роли в холодной войне. В этой связи я отдельно рассматриваю четыре макрорегиона: Запад, Восточную и Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток. Хотя я буду рассматривать их в контексте повествования об американской империи, это вовсе не означает, будто я полагаю, что политика США сыграла решающую роль в определении путей их развития.

Сначала целесообразно воспроизвести основные типы империй, которые я выделяю в томе 3.

1. *Прямая [правлящая напрямую] империя (Direct Empire)* возникает в тех случаях, когда завоеванные территории включаются в сферу ядра, как было в Римской и Китайской империях в период их расцвета. Правитель ядра становится также правителем имперской периферии. Ни к чему подобному Соединенные Штаты никогда не стремились.
2. *Косвенная империя (Indirect Empire)*: в данном случае источником политического суверенитета выступает имперское ядро, но периферийные правители сохраняют некоторую автономию и на практике обсуждают правила игры с имперскими властями. Постоянно присутствует военное запугивание, однако повторного завоевания, как правило, не происходит. Режим имперского государства необременителен и обладает меньшей деспотической и инфраструктурной властью. В 1898 г. американцы пытались установить подобный ре-



жим на Филиппинах, однако массовое сопротивление вынудило их частично отказаться от своих планов. Впоследствии США больше не предпринимали попыток создать непрямую империю, за исключением случаев, которые были продиктованы временными обстоятельствами.

Эти первые два типа империй, в отличие от следующих, предполагают оккупацию определенных территорий, то есть создание *колоний*.

3. *Неформальная империя (Informal Empire)* возникает в тех случаях, когда периферийные правители формально сохраняют полный суверенитет, но их автономия существенно ограничена имперским центром, угрожающим применением военной и экономической власти в различных сочетаниях и масштабах. Эта форма стала преобладающей в современных империях, поскольку капитализм обладает большим арсеналом средств экономического принуждения. Однако ввиду того что в термине «неформальная империя» не содержится четких указаний на характер принуждения, я выделяю в этой империи три подтипа в зависимости от используемых форм принуждения.
- 3а. *Неформальная империя канонерок (Informal Gunboat Empire)*. Военная власть используется в форме точечных и краткосрочных военных интервенций. С помощью канонерок и их современных аналогов невозможно завоевать страну, но можно нанести ей болезненные удары путем артиллерийского обстрела (в последнее время — путем бомбардировки) портовых городов и высадки десанта для совершения молниеносных операций. В начале XX в. примером открытого военного запугивания, хотя и без колониальной оккупации, была американская дипломатия доллара.
- 3б. *Неформальная империя ставленников*. Эта форма принуждения предполагает использование местных марионеточных правителей для совершения насилия. В 1930-е гг. США переложили функции принуждения на плечи местных деспотов, поддерживавших американскую внешнюю политику в обмен на экономическую и военную помощь. В послевоенный период США дополнили эту помощь тайными военными операциями в основном силами недавно созданного Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Это — опосредованное военное запугивание, когда силы принуждения не получают прямых приказов из имперского ядра.
- 3с. *Экономический империализм*. Вместо военного используется экономическое принуждение. США внедрились в перифе-

рийные экономики через международные банковские организации, которые они возглавляют. От навязываемых ими программ структурных реформ периферийная страна вправе отказаться, но на нее воздействуют мощные факторы запугивания — ограничение иностранных инвестиций и торговли. Поскольку военная мощь и даже просто силы принуждения вообще не используются либо используются мало, это не является в строгом смысле империализмом, как я его определяю в томе 3. Однако термин «экономический империализм» является общепринятым, и я также буду его использовать.

4. *Гегемония*. Я вкладываю в это понятие тот же смысл, который вкладывал в него Грамши, — это ставшее привычным лидерство одной преобладающей державы (или силы) над другими, которые считают его законным или как минимум нормальным. Гегемония пронизывает ежедневные социальные практики имперской периферии и потому почти не нуждается в открытом принуждении. Если в условиях не прямых и неформальных империй периферийные режимы вынуждены служить имперскому хозяину, то в условиях гегемонии они добровольно подчиняются правилам игры, которые считают нормальными и естественными. Господство доллара США означает экономическое подчинение других стран, вынужденных приобретать его по курсу, более выгодному американцам, нежели им самим. Однако в этом иностранные государства, если они имеют положительное сальдо торгового баланса, видят лишь способ сохранения своих доходов. Иначе говоря, эта власть носит не авторитетный, а диффузный характер. Никто не получает прямых приказов. Более слабые государства могут платить державе-гегемону за размещение военных баз на их территории для защиты от внешней угрозы, как это делают европейцы, пригласившие к себе войска США.

Эти типы предполагают ослабление фактора военной власти и усиление факторов политической, экономической и идеологической власти по мере перехода от прямой империи к опосредованной и далее через три подтипа неформальной империи к гегемонии. В сущности, гегемония в чистом виде вообще не является империей, поскольку она не воспринимается как принуждение. Поскольку все это лишь идеальные типы, ни одна из существующих империй в полной мере не соответствовала ни одному из них. В действительности империи, как правило, сочетают в себе несколько форм господства. Это абсолютно верно и в отношении американского господства. В одних странах США осуществляют свое господство в форме не прямой импе-

рии, в других – неформальной империи, при этом во многих регионах мира все формы превращаются в гегемонию (без применения военной мощи). Итак, я начинаю с Запада.

## ГЕГЕМОНИЯ НА ЗАПАДЕ

Понятие «Запад» включает в себя США, Западную Европу и бывшие белые доминионы Великобритании. На Западе сосредоточена большая часть мирового промышленного капитализма и его самые эффективные национальные государства. В результате войны все они сейчас идут по пути капитализма и политической демократии. Очевидно, что американское господство здесь носит ограниченный характер. Однако Западная Европа была ключевым стратегическим регионом, к которому непосредственно примыкал железный занавес и где в странах с развитой экономикой, важных для процветания американского капитализма, функционировали сильные коммунистические партии. Здесь Соединенные Штаты защищали союзные капиталистические страны от советского коммунизма. Поскольку европейские страны сами желали такой защиты, они нередко обращались к американцам с просьбой о еще большей оборонной поддержке. Это была американская гегемония, легитимное доминирование США. После непродолжительных дебатов внутри своей администрации Трумэн отверг рекомендации наказать (Западную) Германию, лишив промышленных ресурсов, и вместо этого принял решение восстановить ее в качестве прочного бастиона против Советов (Hogan 1987; Beschloss 2002). Американские и европейские власти понимали свою экономическую и военную взаимозависимость, а США поощряли планы объединения Старого Света, видя в этом возможность усилить сдерживание Советского Союза и одновременно привязать Германию к Европе мирными средствами. Процесс интеграции в Европейский союз к тому времени уже начался, хотя в рассматриваемый период это было больше похоже на свободную ассоциацию автономных национальных государств, нежели на какую-то наднациональную организацию.

От Европы США требовали лишь одного, чтобы она не претендовала на роль «третьей силы» и чтобы любой план европейского перевооружения вписывался в общие атлантические рамки, где ведущее место занимали Соединенные Штаты (с Великобританией в роли их верного англоговорящего компаньона). С другой стороны, европейцы понимали, что платят за свою оборону субсидированием доллара. Бреттон-Вудская система была для них весьма выгодной. Европейцы могли проводить стратегию развития, в основе которой лежало зани-

жение курса их валют, контроль над потоками капитала и торговли, а также накопление резервов. Они использовали США в качестве финансового посредника, укреплявшего доверие к их финансовым системам, в то время как сама Америка снабжала их долгосрочным капиталом, как правило, в виде прямых иностранных инвестиций (Dooley et al. 2003). Американская гегемония была необходимой платой за безопасность и экономический рост Европы. То же справедливо в отношении Австралии и Новой Зеландии, защиту которых от японцев во время войны взяли на себя Соединенные Штаты, а не Великобритания.

Лундестад (Lundestad 1998) остроумно называет это «империей по приглашению». Кроме того, данный порядок стал менее обременительным. Когда период восстановления европейской экономики закончился, необходимость в фиксированном курсе валют отпала, тем более что за свои финансовые услуги Соединенные Штаты получали неплохое вознаграждение. В 1965 г. де Голль отверг «эту знаковую привилегию, это знаковое преимущество» доллара. Год спустя он вывел Францию из командной структуры НАТО, однако сломить финансовое господство Америки ему не удалось. Европа нехотя смирилась с американской гегемонией, так же как США смирились с тем, что европейцы являются их экономическими конкурентами.

Великобритания и США использовали свою военную мощь для подавления коммунизма в Греции и как союзники сообща поддерживали диктаторские режимы в Испании и Португалии. В последнем случае у них не было никакой демократической миссии и все подчинялось одной цели — не допустить распространения коммунизма. Разумеется, у США не было никакой демократической миссии и в остальной части Европы, поскольку та в ней не нуждалась. В большинстве европейских стран либо уже установилась демократия, либо они были на пути к ней. Особых рычагов влияния на европейскую внутреннюю политику у американцев не было. США располагали базами, но они не были предназначены для вмешательства в дела европейцев. Базы были нацелены вовне, на Восток. В Старом Свете не было американских поселенцев, так как европейские страны были их союзниками. США немного помогали правоцентристам против фашистов и левоцентристам против коммунистов, что было важно для Франции и Италии. Западная Германия была лишь «временной колонией», где к 1949 г. уже было собственное автономное правительство. По просьбе британцев и французов США умерили свою антиколониальную политику, поскольку нуждались в их поддержке, так же как нуждались в поддержке европейских социалистических партий и профсоюзов. Всех их американцы призывали сосредоточиться не на распределе-

нии, а на росте производства, но последовавший период бурного экономического подъема сделал возможным и то и другое. Большинство профсоюзных лидеров согласились на ограничение роста зарплат и повышение производительности в обмен на экономический рост и создание государства всеобщего благоденствия (Maier 1987a and b; Hogan 1987).

По этой причине США были вынуждены согласиться с политикой, которая в их собственной стране подверглась бы анафеме, например с национализацией, кейнсианским планированием полной занятости или германской практикой привлечения профсоюзов к участию в управлении корпорациями. План Маршалла благоприятствовал выработке национальных решений, которые основывались на договоренностях между местными политическими силами. Это способствовало созданию «капитализма с человеческим лицом» и пересмотру итогов исторического соревнования между капитализмом и социализмом (Stopin 2001). Континентальная Европа сделала большой шаг вперед в достижении компромисса между христианскими демократами/социал-демократами, чего ей не удалось добиться в первой половине XX столетия. Средствами, полученными от США по плану Маршалла, европейские правительства распорядились по своему усмотрению. Французы даже использовали их для финансирования колониальных войн. Власти США нуждались в Европе почти так же, как Европа нуждалась в них. Укреплению связей между ними способствовало и то, что европейцы считались соплеменниками (расовыми сородичами), а значит, цивилизованными людьми (Katzenstein 2005: 57–58). От расизма пока еще полностью не ушли.

Все это обеспечило расширение политических и социальных прав граждан (о чем говорилось в главе 9 тома 3) на фоне общеевропейского экономического роста, который стал возможен благодаря классовому компромиссу, динамизму научно-технического прогресса, быстрому распространению технологий поверх государственных границ, миграции рабочей силы из сельского хозяйства и высокому устойчивому уровню спроса. Торговля росла быстрее, нежели производство, поскольку она являлась единственным источником долларов для взаимных расчетов, а также благодаря либерализации торговли и Бреттон-Вудской финансовой системе, при которой государства могли свободно направлять инвестиции на развитие местной промышленности. Хотя экономический рост породил инфляцию, центральные банки относились к этому спокойно, поскольку давления на обменные курсы не было. Сохранялся высокий уровень инвестиций, так как кейнсианские методы управления спросом оказались успешными. Беспрецедентный экономиче-

ский рост и полная занятость сохранялись на протяжении более чем 20 лет — настоящее экономическое чудо (Aldcroft 2001: 128–162; Eichengreen 1996; Eichengreen, ed. 1995). Экономический рост в сочетании с политической стабильностью, расширением социальных прав и отсутствием внутреннего милитаризма привел к наступлению золотого века капитализма и образованию демократических национальных государств (Hobsbawm 1994). Гегемония США работала как на американцев, так и на европейцев. Это была успешная, рациональная и крайне необременительная форма господства, которая ограничивалась внешней политикой, включая международные финансы.

Европейские национальные государства оставались союзниками. Президенты США время от времени давали рекомендации их лидерам, но для большинства простых европейцев американская империя была невидимой. Как отмечает Икенберри (Ikenberry 2001: глава 6), ради сохранения американского превосходства, оживления мировой экономики и сдерживания коммунистического блока Западная Европа, Япония и Соединенные Штаты, крепко связанные между собой, образовали открытый многосторонний экономический порядок. Потенциальные конфликты среди союзников были «схвачены, обузданы и помещены в железную клетку из многосторонних правил, стандартов, мер безопасности и процедур урегулирования разногласий». Икенберри рассматривает США как государство-гегемон, вынужденное поддерживать торговые отношения ради сотрудничества, имевшего ясные цели, причем их союзники сами стремились включиться в американскую систему экономической и военной безопасности. Предложенная ученым модель институциональной привязки хорошо работает применительно к Западу, но не работает в других регионах. Главное отличие Западной Европы от Восточной заключалось в том, что Запад согласился на некоторую субординацию, а Восток — нет. Это была обоснованная часть утверждения Запада о становлении свободного мира. На Западе никакой американской империи не существовало. Между тем в других регионах мира Соединенные Штаты использовали куда более принудительные меры.

## ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, СТАДИЯ А: ИМПЕРСКИЕ ВОЙНЫ

По стратегической значимости Восточная Азия с точки зрения Соединенных Штатов уступала только Европе, поскольку примыкала к двум крупнейшим коммунистическим государствам и была регионом, где активно действовали коммунистические

и левые националистические движения. Восточная Азия обладала многочисленным населением и громадным экономическим потенциалом. Основным фактором перемен здесь была деколонизация. Большинство стран Восточной Азии уже были оформлены в национальные государства, то есть у них уже достаточно давно были суверенные государства с умеренно развитой инфраструктурой власти, сплоченной культурной элитой, к тому же колониальные империи охраняли и укрепляли границы между ними. Возникшие в них формы национализма были не искусственного, а в реальности расового, как в Африке, происхождения, хотя теперь они были наиболее популистскими идеологиями из тех, что когда-либо возникали в этом регионе. Вскоре они окончательно порвали с европейскими империями, основали суверенные государства, правящие от имени всего народа, и сделали задачу установления непрямой империи еще более трудной. Национальное государство повсеместно стало главным политическим идеалом и по своей сути было антиимперским. Однако с претензией на право представлять молодое государство выступали как правые, так и левые силы. Возникавшие между ними ожесточенные конфликты, носившие, как казалось, классовый характер, не только создавали американскому империализму проблемы, но и открывали перед ним новые возможности.

Если в Европе сверхдержавы быстро договорились о разделе континента, то борьба за Восточную Азию еще продолжалась. Однако уже с 1949 г. Китай и Япония окончательно закрепились в составе коммунистического и капиталистического блоков. Если у Советского Союза уже было свое тихоокеанское побережье, то исход борьбы в других странах пока еще был не ясен. В случае победы их региональных союзников у обеих сверхдержав был шанс отбросить противника. Обе стороны начали противостояние с антиколониальных позиций. Притом обе хотели более неформального империализма, предполагавшего независимость своих государств, но при этом связь с метрополией клиентскими отношениями. Соединенные Штаты хотели установить режим свободной торговли, переключить торговые потоки на свою экономику и оттеснить Советы и Китай, пытавшиеся распространить свое влияние через местных революционеров (McMahon 1999: 218–221).

Самым важным национальным государством для Соединенных Штатов была Япония, которая уже стала передовой индустриальной державой, обладавшей инфраструктурной властью и идеологической сплоченностью. Генерал Макартур, главнокомандующий союзными войсками на Востоке, решил сохранить статус императора как легитимный символ нового режима

(несмотря на причастность императора Хирохито к японской агрессии). Отношение Макартура к Японии было откровенно расистским, что стало очевидным из его выступления на заседании Конгресса:

Если уровень развития англосаксов в науке, искусстве, религии, культуре примерно соответствовал уровню развития человека в возрасте 45 лет, причем уровень развития немцев был таким же, то японцы, несмотря на древность их нации, оставались на уровне школьников. По меркам современной цивилизации они были на уровне ребенка 12 лет по сравнению с 45 годами нашего развития.

И это говорил человек, который за все время своего пребывания в Токио почти ни разу не общался с японцами (Dower 1999: 550)! Однако у себя на родине Макартур хотел произвести впечатление деятельного человека (он надеялся стать президентом) и заявил о том, что создаст новую Японию, зачистит режим и ликвидирует такие корпоративные конгломераты, как дзайбацу. Но обещать было легче, чем сделать, поскольку это были глубоко укоренившиеся институты. Затем, когда почва стала уходить из-под ног американских союзников в Китае и Корее, а стагнация японской экономики вызывала растущее недовольство населения Японии, высокопоставленные политики в США заговорили о том, что во избежание захвата власти коммунистами реформу необходимо подчинить целям экономического роста. Запуганные японские элиты окопались внутри государства, капитализм умело сыграл на их страхах, и в итоге эта точка зрения возобладала над остальными.

По этой причине импульс реформы угас. Своим высокомерием Макартур настроил против себя почти всех, и противники заклеили его реформы как социалистические, что в Вашингтоне воспринималось как «дыхание смерти». Джордж Кеннан, интеллектуальный лидер Госдепартамента, призывал к примирению с японскими элитами и восстановлению единства перед угрозой коммунизма. Начиная с 1947 г. чистки были прекращены, работы по расформированию дзайбацу приостановлены, а репарации отменены. Экономическая помощь позволила запустить мотор японской экономики и переориентировать его на Америку. Подстегиваемая Макартуром земельная реформа шла полным ходом и пользовалась популярностью у японцев. Однако нависшая в 1947 г. угроза всеобщей забастовки усилила опасения американцев, после чего генерал приступил к зачистке левых. Соединенные Штаты вполне устраивал вариант квазидемократии с руководящей ролью консервативных элит. Новая конституция Японии гарантировала права личности, урезала полномочия военных и ограничивала роль императора. Одна-



ко при этом сохранялся иерархический корпоративизм, при котором конфликты между конкурирующими субъектами келейно разрешались в рамках авторитетных организаций и не выносились в публичное пространство. На выборах неизменно побеждала либерально-демократическая партия, а профсоюзы входили в состав дзайбацу. Все это свидетельствовало о смешении традиционных японских институтов с тенденциями к демократизации, в какой-то мере поощрявшимися Соединенными Штатами. Ведь не могла же американская империя переиначить для собственных нужд институты всех стран мира. Однако США получили главное — страну с упорядоченным демократическим обществом и растущей, ориентированной на Америку экономикой, которая хотя и носила черты патриархального корпоративизма, была надежно интегрирована в так называемый свободный мир (Rotter 1987: 35–43; Schaller 1985, 1997: глава 1; Dower 1999; Shoichi 1998; Forsberg 2000; Katzenstein 2005).

Японские институты обычно рассматривают как традиционные, символизирующие преемственность культуры и связь времен. Между тем, как мы видели в томе 3, внутри довоенного японского общества существовали различные тенденции и конфликты. После того как война покончила с крайне правыми, а генерал Макартур подавил левый центр, однородность японского общества возросла. Однако здесь, как и в Германии, военное правление США со временем превратилось в гегемонию. С 1952 г. Япония пользовалась правами независимого национального государства, за исключением того, что ее, как и Германию, заставили отказаться от права на ведение войны. Ее вооруженные силы были полностью подчинены целям обороны. До 1986 г. оборонные расходы Японии не превышали 1% ВВП. Из этой экономической сделки с США японцы извлекли максимальную выгоду. Они получали американские технологии, защищая при этом собственную экономику лучше, чем Соединенные Штаты защищали свою. Подобно Европе, Япония превратилась в экономического конкурента Соединенных Штатов, что стало итогом как недооценки потенциала японского экономического роста, так и наивных ожиданий, что этот рост создаст открытую рыночную экономику (Forsberg 2000: 6–9, 187–197). Большинство американцев не могли понять, что социально ориентированный национальный капитализм с высокой степенью государственного контроля может быть таким же эффективным, как и их собственный либеральный (а также их оставшийся в прошлом нелиберальный) вариант капитализма. И все же, как и в случае с Западной Европой, Соединенные Штаты допустили экономическую конкуренцию как плату за то, что Япония была интегрирована в их сферу влияния.

Здесь у них тоже были базы, но они не могли ими воспользоваться для принуждения японцев, поскольку у ворот стоял враг в лице коммунизма. Вдобавок там не было американских поселенцев. Таким образом, Япония была колонией, по сути, лишь в короткий период после 1945 г., однако затем Америка правила лишь как гегемон.

В других странах этого региона ситуация была иной. Имели место две главные политические проблемы: как изгнать колонизаторов и как разрешить конфликт между землевладельцами и крестьянами, а порой между этническими группами, чтобы нации обрели свою государственность. Распад европейских и японской империй лишил легитимности капиталистов и землевладельцев, которые сотрудничали с колонизаторами. В Китае коммунисты пришли к власти после того, как обещанием земельной реформы привлекли на свою сторону крестьянство, а по отношению к Японии заняли позицию истинных националистов. Казалось, что китайская модель революции так же хорошо сработает и в других странах. В гражданских войнах в Корее и Вьетнаме Соединенные Штаты встали на сторону консервативных землевладельцев и капиталистов против левых националистов, которым удалось мобилизовать низшие слои общества. Соединенные Штаты считали врагом каждого, кто имел связи с СССР или с Китаем либо подготавливал внутри страны революцию. Зеркальным отражением американской политики была позиция Советов и Китая. В этом регионе ни одна из сторон не представляла собой свободного общества.

Сначала разразился корейский кризис. В конце войны Корея была поделена на две части. Наступавшие на Японию советские войска вошли в Корею с севера, что заставило Соединенные Штаты спешно начать наступление с юга. Имперская игра началась. Армии обеих стран выдвинулись к 38-й параллели и в соответствии с достигнутым соглашением там остановились. На севере Советам оказывала помощь корейская армия Ким Ир Сена, которая уже сражалась на стороне китайских коммунистических сил в войне с Японией. Южными партизанами командовал независимый коммунист Пак Хун Юн. Советы вскоре ушли, передав бразды правления на Севере в руки Ким Ир Сену, по приказу которого были проведены земельная реформа и национализация промышленных предприятий, получившие одобрение народа. Он был героем национального освобождения, и его политика привлекала многих на Юге, где срочно требовалась земельная реформа. Оккупационные власти США ввели военное положение. Возникшие в стране рабочие и крестьянские объединения и народные комитеты требовали земельной реформы и самоуправления. Левые имели заслуги

в борьбе против японцев, тогда как большинство правых были запятнаны коллаборационизмом.

Теперь среди американцев разгорелся спор между теми, кто выступал за передачу всей территории Кореи под опеку ООН с участием Советского Союза, и теми, кто враждебно относился к СССР и народному движению на Юге. Способность корейцев к самоуправлению ставилась под сомнение все по тем же расовым соображениям (Hunt 1987: 162–164; Katzenstein 2005: 55–58). Вновь возникли опасения хаоса, который приведет к революции. Победителями в споре стали сторонники жесткой линии, и хотя аналогичные споры внутри СССР не были столь жаркими, каждая из сверхдержав все больше предпочитала надежный контроль над своей частью корейской территории риску того, что опеку над единой Кореей получит противная сторона. Исходя из своих разведанных, американцы опасались, что свободные выборы в Корею могут привести к победе левых (Matray 1998). Поэтому США подавляли левые движения и поддерживали корейскую элиту, несмотря на сотрудничество большей ее части с японцами. (Из состава высших гражданских и полицейских чиновников нового правительства с японцами сотрудничали 70%.) Коллаборационистами были также 20 тыс. полицейских, которые теперь оказывали помощь войскам США в подавлении повстанцев, профсоюзов, крестьянских объединений и народных комитетов. В ходе этих событий было убито около тысячи человек и 30 тыс. брошено в тюрьмы. Вопреки американским заявлениям среди повстанцев было мало коммунистов и почти никто не сотрудничал с Советами. Народные восстания 1946 и 1948 гг. были жестоко подавлены. К 1948 г. правительство Ли Сын Мана смогло расширить базу социальной поддержки, однако его режим остался авторитарным.

Корея оказалась поделена между двумя репрессивными режимами — коммунистическим и капиталистическим, каждый из которых подтасовывал результаты выборов в свою пользу. В отношениях между ними сохранялся высокий уровень напряженности. Большинству американцев Ли Сын Ман не нравился (они бы предпочли менее авторитарного правителя), а в январе 1950 г. госсекретарь Дин Ачесон имел неосторожность заявить, что Корея и Тайвань находятся вне «оборонительного рубежа» Соединенных Штатов. На местах это было интерпретировано как отказ Соединенных Штатов защищать Юг от коммунистов. Командир повстанцев Пак Хун Юн заверил Ким Ир Сена, а тот, в свою очередь, Мао и Сталина, что население на юге будет приветствовать приход армии севера. Ранее Сталин противился просьбам Кима о проведении воен-

ной операции силами северокорейских войск, но теперь согласился, предупредив, что в случае неудачи выручать его не станет.

Наступление войск севера, действительно, было поддержано значительной частью южных крестьянских семей, что позволило им оттеснить американцев к югу. Теперь вся Корея могла стать коммунистической. США почувствовали необходимость продемонстрировать Японии и другим союзникам, что готовы их защищать при любых обстоятельствах. Их политика заключалась в том, чтобы занять территории и установить временные режимы прямого империалистического правления. В дальнейшем предполагалось отвести войска, а для сохранения неформальной империи оставить военные базы. Поскольку к тому времени Сталин отозвал свою делегацию из ООН (в знак протеста против ее отказа предоставить членство коммунистическому Китаю), Трумэн смог получить санкцию ООН на проведение контрнаступления в Корею. На тот момент ООН, где временно отсутствовал СССР, была слепым орудием в руках Запада. Трумэн восстановил контроль над территорией Юга и отдал приказ своим войскам под командованием генерала Макартура продолжать наступление севернее 38-й параллели. Макартур, всегда отличавшийся неумным рвением, тут же нарушил приказ, направив своих солдат далеко на север к границе с Китаем. Не исключено, что объединенная Корея все же могла стать государством-клиентом Америки.

Однако Мао Цзэдун не мог допустить, чтобы американский империализм вплотную приблизился к границам Китая. Мао уже готовил вариант вмешательства и надеялся, что революционный национализм восстановит статус страны как Срединной империи во главе континента, что китайская революция станет для Азии моделью и что война подвигнет китайцев на углубление собственной революции (Jian 1994; Zhang 1995: 253–254). Мао колебался до тех пор, пока зрелище американских солдат, дошедших до китайской границы и демонстративно мочившихся в воды Ялу, по-видимому, не оставило ему иного выбора. Последовало китайское вторжение. Американцы вновь были отброшены и стремительно отступали. Макартур был отстранен от командования; сменившему его Риджуэю удалось при массовой поддержке с воздуха осуществить высадку войск в тыл коммунистов, в порту Инчхон. Теперь отступить были вынуждены уже китайцы. Оба президента — сначала Трумэн, затем Эйзенхауэр — отвергли просьбу военных развернуть на корейской территории ядерное оружие. Армии США удалось стабилизировать фронт на исходных рубежах вдоль 38-й параллели, которая до сих пор разделяет две Кореи.

Некоторые называют этот конфликт ограниченной войной, которая была необходима для сдерживания коммунизма. Она унесла жизни 4 млн корейцев, миллиона китайцев и 52 тыс. американцев. Американские бомбардировки стали инструментом «стратегии выжженной земли», которая не только нанесла колоссальный ущерб Северу и не позволила ему выиграть войну, но и продемонстрировала другим странам, что коммунизм порождает только страдания. Кроме того, Мао проявил полное пренебрежение к судьбам миллиона китайских солдат, которые были плохо экипированы<sup>1</sup>, а Сталин блокировал мирные переговоры, поскольку война связывала силы США и КНР и способствовала сохранению зависимости Китая от поставок советского вооружения (Mastny 1996; Weathersby, 1998). После того как США и СССР не договорились по вопросу опеки, а американцы не смогли создать в Южной Корее режим, приемлемый для народа, война была неизбежна. На Юге вспыхнуло восстание, которое, в свою очередь, вызвало интервенцию войск Севера. Война стала необходимостью. Однако Юг можно было завоевать и без войны путем реформ и перехода к демократии. В этой ошибке сыграло свою роль отсутствие должного внимания со стороны американцев, не располагавших точной информацией о политической ситуации на полуострове. Для них Корея была второстепенной сценой, поэтому консервативно настроенному военному губернатору был предоставлен карт-бланш. В то же время Корея выявила в американских лидерах предпочтение авторитаризму, опасение того, что реформа пойдет слишком далеко влево, и расистское пренебрежение к иным народам, которые могут создавать лишь хаос и не способны к прогрессу. Эта история нам хорошо знакома по тому 3, где рассматривалась ранняя стадия американского империализма.

Китай считает эту войну успешной. Она укрепила власть Мао и ускорила развитие северокорейского варианта военного социализма. На Юге война накрепко «подморозила» авторитарный режим и экономику чеболей, то есть крупнейших конгломератов, однако именно они в своей совокупности обеспечили становление эффективного государства и капитализма. Главным же следствием войны явилось то, что Соединенные Штаты и Ли Сын Ман убедились в необходимости начать земельную реформу, которая способствовала большему равенству, росту производительности труда и популярности режима. Эту модель американский империализм мог бы взять за образец в других странах, но, увы, этого не произошло. В Корее оставал-

---

1. Источники: Armstrong 2003; Cumings 1981 and 1990, 2004; Lowe 2000; Putzel 2000; Stueck 1995; essays in Stueck 2004; Weintraub 1999; Zhang 1995.

ся крупный контингент американских войск, но, как и в Японии, он не вмешивался в вопросы внутренней политики. Экономическому росту и хозяйственной интеграции Южной Кореи в глобальную экономику с ведущей ролью США также способствовала крупномасштабная американская помощь. В период 1953–1960 гг. она составила 10% совокупного южнокорейского ВВП и 74% суммарных инвестиций. Южная Корея превратилась в жизнеспособное и во многом независимое национальное государство. Постфактум мы понимаем, что при мягком капиталистическом деспотизме южнокорейское население имело гораздо более высокий уровень жизни, нежели тот, который бы оно имело при репрессивном режиме жестокой коммунистической деспотии.

Война наглядно продемонстрировала готовность Соединенных Штатов воевать в защиту своих государств-клиентов. В 1950 г. документ 68 (NSC-68) Совета национальной безопасности лег в основу политики, согласно которой Соединенные Штаты были твердо намерены продолжать охрану оборонительного рубежа во всем мире, поскольку «поражение свободных институтов в одной стране влечет за собой их поражение в других странах» (Gaddis 1982: 90–92). Это стимулировало создание военных баз по всему миру. Корейская война стала причиной четырехкратного увеличения оборонного бюджета США, принятия доктрины нанесения в случае необходимости первого ядерного удара, а также возникновения «государства национальной безопасности» и параноидального антикоммунизма. Для Японии эта война стала, по словам председателя Банка Японии, источником (оказанной руками американцев) «божественной помощи», по значению «эквивалентной плану Маршалла для Европы» (Forsberg 2000: 84–85). Япония была базой снабжения армии США, и Корейская война способствовала оживлению ее экономики. Теперь, когда Япония была надежно интегрирована в западную экономику, а не в экономику Китая, Соединенные Штаты приняли решение о выводе своих войск в 1952 г. В отношениях между США и Японией произошел сдвиг от временного колониализма к гегемонии. Главным достоинством американской экономики по-прежнему оставалась ее открытость при условии, что уровень экономического развития ее торговых партнеров был достаточно высок, для того чтобы их товары могли конкурировать с американскими. Таким образом, Корейская война вызвала большие последствия.

Соединенным Штатам, стремившимся обеспечить снабжение Японии сырьем из источников, расположенных в данном регионе, требовались новые государства-клиенты. Тайвань

не имел предшествующей самостоятельной национальной истории, поскольку раньше находился под минимальным контролем Китая, затем под более жестким контролем Японии и с 1949 г. под оккупацией националистской администрации Чан Кайши и армий, которые бежали с материка и оккупировали остров на правах нового правящего класса. В период оккупации, продолжавшейся до 1980-х гг., там было создано государство с единственной легальной партией Гоминьдан, отличавшейся большой сплоченностью своих рядов. Гоминьдановцы подавили восстания коренного населения, но извлекли уроки из собственных ошибок в Китае и ошибок, допущенных в ходе Корейской войны, что позволило им провести земельную реформу и тем самым укрепить свою легитимность (Putzel 2000). Развитию острова во многом способствовала крупномасштабная помощь, поступавшая от США в 1950–60-е гг. Индустриальное развитие Тайваня происходило под руководством авторитарного государства, оказывавшего дисциплинирующее воздействие на капитализм путем контроля финансовой сферы. Государство могло выделять капитал, а также субсидии отраслям промышленности, производящим экспортные товары и защищенным тарифными барьерами (Wade 1990). Тайвань стал неотъемлемой частью свободного мира и проявлял первые признаки процветания, однако в своей внутренней политике он еще не был свободным.

В политике США антиколониализм уже сменился нейтральным отношением к освободительным движениям, однако после Корейской войны этот нейтралитет был подчинен целям борьбы с коммунизмом. Британские и французские колонии в этом регионе прекрасно подходили на роль союзников, чего нельзя сказать о голландцах, дни которых в Индонезии были сочтены (McMahon 1999: 27, 36–45). Авторитарные азиатские режимы были вполне приемлемы в качестве бастионов защиты от коммунизма, но никакой миссии по распространению демократии США не выполняли, что бы ни говорили американские политики у себя на родине.

Во Вьетнаме Соединенные Штаты вопреки своему желанию вынуждены были оказывать помощь Франции в ее колониальной войне против Вьетминя. Большинство лидеров Вьетминя были членами коммунистической партии, хотя своей главной целью они ставили достижение национальной независимости. Эту цель разделяли широкие массы вьетнамского народа, поскольку исторически Вьетнам был автономным королевством. Согласно изречению Хо Ши Мина, прежде чем строить коммунизм, необходимо иметь страну, где можно это делать. Он пригласил все политические фракции присоединиться к борь-

бе против иностранного господства и восхищался американской революцией, которая для него являлась образцом борьбы за независимость. Вьетминь изо всех сил старался подружиться с американцами (Schulzinger 1997: 18–19; Hunt 1996). Однако американцы уже встали на сторону Франции и к тому же не доверяли вьетнамцам в силу расовой предвзятости. В документах американского военного планирования времен Второй мировой войны говорилось, что у вьетнамцев «отсутствуют инициатива и организационные способности», что они «совершенно не способны к созданию организации любого рода, не говоря уже о подполье», что они «готовы на все ради денег». Считалось, что на усвоение западных ценностей им потребуется 25 лет и что лишь после этого они смогут обрести независимость (Bradley 2000: 44, 73–106). Линдон Джонсон позже назовет древние цивилизации этого региона «юными и наивными», нуждающимися в опеке более зрелой Америки (Sherry 1995: 251). Кроме того, Соединенные Штаты не доверяли национализму, который ставил перед собой любые социальные цели. В телеграмме, направленной в посольство США в Ханое, Ачесон писал: «Вопрос, является ли Хо [Ши Мин] не только националистом, но и коммунистом, — риторический, все сталинисты в колониальных странах суть националисты. По достижении национальных целей (т. е. независимости) они неизбежно ставят своей следующей задачей подчинение государства целям коммунизма» (Gaddis 1997: 156–157). Если на деятельность правых националистов в Индонезии и на Филиппинах Соединенные Штаты реагировали положительно, то левые националисты для них были «коммуни», неспособными к порядку, склонными вступить в союз с Советами и Китаем. Эту ошибку американский империализм совершал постоянно. Неправильное восприятие реальности стало причиной того, что американская политика лишь множила ряды коммунистов. Точно так же в более поздний период имперская стратегия борьбы с терроризмом привела к тому, что террористов стало еще больше (см. главу 10).

Вьетнамцы нанесли поражение Франции в 1954 г., но вмешательство Соединенных Штатов позволило установить в стране клиентский режим. Однако даже военные подкрепления не помогли армии США одержать победу во Вьетнамской войне. В ситуацию вынужденно вмешались СССР и Китай, оказывавшие помощь беспокойному революционному союзнику лишь потому, что тот подвергся агрессии со стороны США. После разрыва отношений с Китаем Советы стремились путем переговоров положить конец этому конфликту, но столкнулись с непримиримостью позиций Северного Вьетнама и американцев (Gaiduk 1996: 2003). Обе великие коммунистические державы



ошибочно полагали, что Америка находится в глубоком кризисе. Но если Хрущев в целом считал, что это увеличивает шансы сторон на мирное сосуществование, то для Мао «приливная волна социализма» была благоприятным моментом для нанесения лобового удара по американскому империализму. Кроме того, он был не согласен с ролью младшего брата, которую ему уготовили Советы (Westad 1998; Zhang 1998; Chen and Yang 1998). Китайское вмешательство плюс страх перед угрозой советского ядерного оружия и гарантированного взаимного уничтожения помешали Соединенным Штатам использовать всю огневую мощь для разрушения Северного Вьетнама, как это было сделано в Северной Корее. Хотя американские консерваторы требовали проведения такой политики, администрация США все же проявила благоразумие.

Политика США во Вьетнаме строилась на трех иллюзиях: это война с международным коммунизмом, а не с антиколониальным национализмом; ее нужно вести главным образом военными, а не политическими средствами; Соединенные Штаты должны настаивать на решении «невозможной задачи создания отдельного государства и общества в южной части единой страны» (Schulzinger 1997: 327, 96; Mann 2001: 3). Борьба велась между двумя типами вьетнамского национализма. Один был коммунистическим и популистским, второй — более элитарным, но его репутация была подмочена тем, что он пользовался поддержкой Америки, которая воспринималась как новая колониальная держава. Антивоенное движение, возникшее в США с восстановлением призыва в армию, вначале не могло поколебать веру в такие «ценности», как антикоммунизм холодной войны, допустимость применения подавляющей военной мощи для достижения целей США, теория домино, согласно которой при падении одной страны вслед за ней падут и остальные, необходимость защиты национального престижа в глазах человечества<sup>2</sup>. Американцы надеялись, что при помощи политического реформирования своего южновьетнамского государства-клиента им удастся помешать распространению коммунизма, но их союзник не оправдывал этих ожиданий. Преимущество Севера состояло в притягательности его версии национализма, который был более независим, имел в активе победу над французами и предлагал более привлекательную социальную программу.

---

2. Понимая, что Вьетнам может стоить ему поста, Джонсон все же не мыслил себя в роли первого американского президента, проигравшего войну. На вопрос журналистов, почему Соединенные Штаты находятся во Вьетнаме, он расстегнул штаны, достал свой внушительных размеров орган и заявил: «Вот почему!» (Dallek 1998: 491; ср. Hunt 1996: 106; Logeval, 1999: 389–393). Война все еще оставалась игрой мальчишек-забияк на детской площадке, как я отметил в томе 3.

На Севере коммунисты перераспределили власть в пользу крестьян, установили более справедливое налогообложение и учредили более открытое правительство. Южный Вьетнам беспокоился о военной безопасности, сохраняя властные отношения практически без изменений, хотя местное правительство было более авторитарным и коррумпированным (Rase 1972).

Эллиот (Elliott 2003) опросил четыре сотни захваченных в плен коммунистов и перебежчиков с Севера. По их словам, коммунистическая земельная реформа была выгодна беднейшему крестьянству, но после того, как оно поднималось до положения среднего крестьянства, желание передать свою собственность в коллективное хозяйство у него пропадало. Они считали коммунистическую партию авторитарной и были в ужасе от пыток и убийств тех, кого подозревали в симпатиях к южновьетнамскому режиму. В то же время они добавляли, что из-за американских бомбардировок погибло гораздо больше невинных людей, чем от рук коммунистов. Хотя их вера в коммунизм не была искренней, националистические убеждения усиливали их ненависть к американцам и южному правительству. В их понимании США и их клиенты были всего лишь новыми колониальными эксплуататорами. Таким образом, солдаты Севера и Вьетконга пользовались большей поддержкой местного населения и обладали более высоким боевым духом, тогда как боеспособность южных войск была подорвана коррупцией.

Эскалация военных действий, предпринятая Никсоном и Киссинджером, заставила-таки руководство Северного Вьетнама сесть за стол переговоров. Тогда это расценивалось как возможность вывести американские войска из Вьетнама, не потеряв лица. Однако мирные договоренности не исключали присутствия войск Севера на части территории Юга. Север выжидал год, до марта 1975 г., после чего начал наступление. Ожидалось, что военная кампания продлится два года, но уже через месяц солдаты Севера маршировали по улицам Сайгона. Они отбросили четвертую по численности в мире армию, щедро вооруженную американскими танками, орудиями и самолетами. Победу в войне одержали высокий боевой дух и сила идеологии (Long 1998; Nagl 2002; Willbanks 2004)<sup>3</sup>.

Стоила ли эта война своих жертв? Большинство американцев полагают, что нет, поскольку она была проиграна и привела к серьезному расколу внутри американского общества. Это был

---

3. В этом поражении Никсон и Киссинджер впоследствии обвинили Конгресс и антивоенное движение, которые мешали эскалации и ослабили позицию США на переговорах тем, что правительству не была оказана должная поддержка.

единственный случай за годы холодной войны, когда оппозиция внутри страны была достаточно велика, чтобы ограничить возможные варианты политики США и создать предпосылки для вывода войск. Вероятно, причиной тому стал армейский призыв, из-за которого молодые американцы вынуждены были рисковать жизнью, воюя во имя довольно абстрактных целей в далекой стране, и не помышлявшей о нападении на США. От такой перспективы не были в восторге даже самые ярые антикоммунисты. Тем не менее кое-кто из освобожденных от призыва считали Вьетнамскую войну необходимой с точки зрения более масштабных целей холодной войны, поскольку она показала компартиям других стран, что победа будет стоить им очень дорого (Lynd 1999). Асселин (Asselin 2002: 165) рассматривает предпринятую Никсоном эскалацию как решительно необходимую, которая привела в конечном счете к мирным переговорам. Однако эти переговоры не дали ничего такого, чего нельзя было бы достичь ранее путем добровольного вывода войск США. Стоила ли эта война жизнью двух миллионов вьетнамцев плюс около полумиллиона жертв среди жителей соседних Лаоса и Камбоджи и 58 тыс. погибших американцев? Стоила ли никсоновская эскалация гибели еще 300 тыс. вьетнамцев и 20 тыс. американцев? Это была все та же стратегия выжженной земли. Воздушные бомбардировки в годы Второй мировой войны, Корейской войны, а также войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане остаются несмываемым пятном на репутации Соединенных Штатов.

Америка проиграла войну, но эффекта домино не произошло. Этому, несомненно, способствовала тактика выжженной земли в Корее и Вьетнаме, однако главным фактором стало то, что в других странах изменилась ситуация. В Корее и Вьетнаме антиколониальная и классовая борьба слились в единый революционный процесс, породивший левый национализм, характерный для второго этапа революций XX в. (см. главу 9). Иначе обстояли дела на Филиппинах. В период испанского и американского колониального господства национальное самосознание филиппинцев базировалось на стабильной власти *illustrados*, сплоченного класса образованной знати. Как мы видели в главе 3 тома 3, Соединенные Штаты укрепили режим правления этой элиты землевладельцев путем создания формально демократических, но во многом клиентелистских политических ин-

---

Большинство ученых полагают, что политическая и в конечном счете военная немощь южновьетнамского правительства была безнадежной. Противоположные точки зрения см.: Kissinger 2003: 100–101, 561; Asselin 2002: 187–190; Berman 2001; Schulzinger 1997; Willbanks 2004.

ституты. Вторая мировая война привела не только к полной независимости страны, но и к преобладанию элитарного правления. При этом правящий режим, которому не угрожал популистский национализм, был достаточно силен, чтобы выжить без проведения земельной реформы. Хотя необходимость такой реформы давно назрела, она была проведена в минимальном объеме (Putzel 2000). Стабильность и власть филиппинской элиты были настолько сильны, что для удержания этой страны в рамках свободного мира Соединенным Штатам не потребовалось осуществлять ни реформу, ни военную интервенцию.

Хотя исторически Индонезия не была единым централизованным государством, ее главный остров — Ява — был средоточием наиболее могущественных королевств. Позднее, в период колониального господства Нидерландов, свою роль в усилении социальной сплоченности населения сыграл ислам. После поражения Японии группировка националистически настроенных военных с острова Ява и центральных островов нанесла поражение голландцам и их местным союзникам, в основном выходцам с периферийных островов. Правительство, образованное после провозглашения независимости, по сути, представляло собой «империализм Явы», но этот режим был ориентирован на догоняющее развитие и имел левоцентристскую, популистскую окраску. Соединенным Штатам он не нравился. В течение восьми лет ЦРУ безуспешно пыталось дестабилизировать режим генерала Сукарно. Тем не менее в 1965 г. неудачная попытка государственного переворота, предпринятая левыми настроенными офицерами, привела к тому, что Сукарно был свергнут правым генералом Сухарто. Новый режим провел опустошительные чистки региона Явы, где располагалась штаб-квартира коммунистического движения. В ходе развернутой в стране кампании террора погибло по меньшей мере 500 тыс. гражданского населения. Хотя в устранении президента Сукарно было заинтересовано ЦРУ, замешанное и в подготовке списков лиц, подлежащих ликвидации, главными зачинщиками резни все же были индонезийские власти. Так или иначе Соединенные Штаты приветствовали этот антикоммунистический режим и даже одобрили осуществленный им в 1985 г. захват Восточного Тимора. Ставка во внешней политике США по отношению к Индонезии была сделана на ликвидацию влияния левых сил, тогда как о демократии никто и не заикался.

Так же как в жертву интересам холодной войны американцы принесли Вьетнам, они распорядились и судьбами ряда других стран. Таиланд никогда не был колонией. До 1932 г. это было королевство с довольно скромным международным влиянием, впоследствии оказавшееся под управлением военных. Консер-

ватизм режима делал страну удобной для размещения американских военных баз, и все администрации США были озабочены не столько ее демократизацией или земельной реформой, сколько сохранением государственного порядка, а потому поддерживали милитаристские и авторитарные течения в тайской политике. «Цели американской политики были несовместимы с тайской демократией», — пишет Файнмен (Fineman 1997: 261). В период новейшей истории Лаос отличался раздробленностью и оставался расколотым и раздираемым классово-этнической гражданской войной, победу в которой одержали левые силы Патет Лао, являвшиеся клиентами вьетнамских коммунистов. Затем их правление было дестабилизировано усилиями ЦРУ, которое оказывало поддержку этнической группе монов в ее партизанских действиях против сил Вьетконга и Патет Лао (Wagner 1996). Однако, осознав опасность быть втянутым в трясину новой войны, президент Кеннеди обеспечил своевременный вывод американских войск. В этих войнах Соединенные Штаты для борьбы с противником нередко использовали этнические меньшинства даже тогда, когда их численность была недостаточной для достижения победы. После вывода американских войск жизнь этих меньшинств оказывалась в большой опасности. Впрочем, сегодня потомки этнических монов, некогда покинувших родину, живут безмятежной жизнью во Фресно и Лос-Анджелесе.

Камбоджа была в регионе сначала доминирующим, затем подчиненным государством, а непосредственно перед появлением французов находилось под господством Вьетнама. После ухода французов из Индокитая Камбоджу ждала страшная судьба. Хотя формально страна была нейтральной, в ходе Вьетнамской войны она подвергалась американским бомбардировкам, призванным блокировать пути снабжения северовьетнамских войск на территории Южного Вьетнама. Многие тысячи камбоджийцев погибли, что ослабило влияние правительства Камбоджи и усилило влияние красных кхмеров — сельских партизан, основные базы которых находились в районах, подвергшихся бомбардировкам. Не будучи главным фактором усиления красных кхмеров, эти бомбардировки сработали в поддержку их антиколониального национализма. В 1975 г. коммунистические отряды захватили всю страну и развернули кампанию «физического уничтожения враждебных классов», в ходе которой погибло 1,8 млн человек, объявленных буржуазными контрреволюционерами. В 1979 г. режим красных кхмеров был свергнут вьетнамскими войсками, ввод которых был спровоцирован массовыми убийствами вьетнамского меньшинства, проживавшего в Камбодже, а также безрассудными набегами на приграничные

районы Вьетнама. Режим красных кхмеров был не только кровавым, но и самоубийственным (Март 2005: 339–350). Свержение этого режима остается наиболее успешным в истории примером гуманитарной интервенции, осуществленной, как это ни парадоксально, армией коммунистического государства.

Послужной список вооруженных сил США в Азии выглядит не очень впечатляюще. Поддержанные Соединенными Штатами стороны проиграли гражданские войны в Китае и Вьетнаме и сыграли вничью в Корее. Америке не удалось тайные операции и попытки переворотов в Лаосе и Северной Бирме. Серьезный урон был нанесен Камбодже и Таиланду. Эти результаты были прямо пропорциональны степени сплоченности государств и обществ этого региона. Однако США оценивали достигнутые «успехи» по-своему, поскольку жестокость проводимых ими бомбардировок и вправду сдерживала коммунистов. Стратегия выжженной земли либо препятствовала развитию коммунистических режимов, либо отбивала охоту у других стран региона следовать их примеру. На нарушения прав человека своими союзниками в Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде власти США смотрели сквозь пальцы. Если бы они настояли на проведении земельной реформы, как в Корее, то успех США был бы гораздо большим. Впрочем, влияние США на внутреннюю политику стран Юго-Восточной Азии было довольно ограниченным. Эти государства и народы имели разную степень сплоченности, однако все они были в равной мере восприимчивы к антиколониальному национализму. Этот регион находился далеко от Америки, в нем жило мало американцев, и лишь небольшая часть его торгового оборота приходилась на США. Американская военная мощь воспрепятствовала распространению коммунизма в регионе, хотя этот успех во многом объясняется репрессиями местных элит, стремившихся не допустить проведения земельной реформы, создания независимых профсоюзов и установления демократии. Действуя за пределами своих территорий, обе стороны холодной войны не могли не извратить своих изначальных идеалов. Главное различие между ними заключалось в том, что Советский Союз и Китай поступили так и в своей внутренней политике, однако, с точки зрения вьетнамцев или камбоджийцев, это различие было не так уж важно.

США по большому счету не были колониальной державой и могли бы вести себя иначе. Гораздо выгоднее для них была бы стратегия, ориентированная в большей мере на реформы и в меньшей мере — на милитаризм. Однако вашингтонским политикам было трудно противостоять разгулу антикоммунизма внутри страны. Проявить мягкотелость к тем, кого подозрева-

ли в коммунизме, означало для политика поставить под угрозу собственное переизбрание. Внутренняя политика США оказывалась весомее политических реалий в далеком зарубежье. Там гонениям подвергались не только группировки коммунистической направленности, но и любые левоцентристские группы, выступавшие за проведение земельной реформы либо отстаивавшие права рабочих. Американцы были, по-видимому, втянуты в военные авантюры также по причине своих тесных связей с местными консерваторами, представлявшими высшие классы общества. Это был «эффект колеи» (*path dependency*): изначальный выбор друзей предопределял состав союзников и противников в последующих войнах. Трудно оценить, что было важнее для Соединенных Штатов — глобальное соперничество с коммунистическими державами или локальная поддержка традиционных имущих классов в интересах американского капитала. Вероятно, власти США предпочли бы, чтобы местные режимы были демократичнее, но в отсутствие такого варианта их вполне устраивал и авторитаризм, тем более что он поддерживал порядок (или по крайней мере так им казалось). И все же относительное равнодушие американцев к типу политического режима в этих странах говорит о том, что главными действующими лицами там были не они, а местные элиты, не готовые поступиться и толикой своей власти. Хотя американская администрация и оказывала военную поддержку авторитарным режимам Азии, главными их творцами были местные элиты.

## ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ, СТАДИЯ В: НА ПУТИ К ГЕГЕМОНИИ

Между тем конфликты с участием Америки действительно стабилизировали границы между коммунистическим и капиталистическим миром в Азии. После Вьетнамской войны это позволило Соединенным Штатам проявить свою реальную экономическую мощь, воплощенную в торговле и инвестициях, а не иллюзорное военное превосходство, призванное отбросить коммунизм (McMahon 1999: 210). Начиная с 1976 г. Соединенные Штаты постепенно переходили к гегемонии. Капиталистическая экономика во главе с тандемом США — Япония при активном содействии китайской диаспоры все отчетливее выделялась на фоне стагнирующей автаркической экономики коммунистических стран. За экономическим чудом Японии последовало чудо более мелких восточноазиатских «тигров», а затем общее развитие всего макрорегиона. Большинство национальных государств региона выбрало ту же стратегию развития, что

Япония и послевоенная Европа. Они занижали обменные курсы валют, проводили валютные интервенции, контролировали движение капиталов, накапливали резервы и стимулировали экономический рост за счет экспорта в страны ядра, особенно в Соединенные Штаты (Dooley et al. 2003). Это была модель государственного догоняющего развития, которую США допускали с некоторой неохотой, поскольку она была немыслима для них самих. В тандеме с независимыми национальными государствами Америка с ее стратегией опоры на экономическую мощь достигла гораздо больших результатов, нежели путем применения военной силы. Одним из важных результатов стал постепенный отказ американцев от расизма в отношении азиатских народов как в самих странах Азии, так и на территории США.

Сегодня всем очевидно, что американская политика вовсе не преследовала демократическую миссию. Согласно Хантингтону, вторая волна демократизации (1944–1957 гг.) едва коснулась этого региона<sup>4</sup>. Сравнительные исследования процесса демократизации, происходившего в XIX и XX вв., показывают, что самым антидемократичным классом был класс землевладельцев, за которым следовал класс капиталистов; внутри других классов существовала разнообразная градация. На Западе, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна средние классы относились к демократии отнюдь не однозначно вопреки представлениям объявлять их сторонниками демократии согласно теоретической традиции, идущей от Аристотеля до Липсета (Lipset 1960) и Хантингтона (Huntington 1991: 66–68). В действительности же наиболее продемократической силой с конца XIX в. был организованный рабочий класс, за которым следовало мелкое крестьянство. Настойчивее других за демократию выступали партии и организации рабочих и крестьян (Rueschmeyer et al. 1992), чему были очевидные причины: демократия определяется наличием всеобщего избирательного права, а именно эти классы являются самыми многочисленными. Применительно к большей части современного периода постулаты теории Аристотеля — Липсета в целом оказались неверны.

Однако в послевоенной Азии картина была иной. Южная Корея, возможно, была последней страной, которая пережила масштабное промышленное развитие, породившее многочисленный и организованный рабочий класс. На Тайване, еще одной стране этого региона, получившей относительно раннее развитие, фирмы были мелкими и семейными, поэтому

---

4. В данном случае я следую Доренсплиту (Dorenspleet 2000), теория которого представляет собой модификацию «волновой теории» Хантингтона (Huntington 1991).



тред-юнионизм здесь был менее развит — индустриализация без организованного рабочего класса. В других странах региона (и в других регионах мира) индустриализация происходила в мелких анклавах, где рабочие были слишком малочисленны, чтобы выделяться из совокупной структуры общества. Их профсоюзы, как правило, отличались отраслевой, а не классовой ориентацией. На ткацких фабриках и сборочных предприятиях по выпуску микроэлектроники работали в основном молодые женщины, которые представляли собой не лучший контингент для создания профсоюзов. Цепочки субподряда и международная конкуренция за привлечение новых рабочих мест ослабляли роль профсоюзов и заинтересованность государства в защите прав трудящихся. Это позволяло работодателям контролировать жизнь рабочих, которые зачастую являлись мигрантами из отдаленных регионов. Они находились в кабале у кадровых агентств, подлежали депортации в случае выражения малейшего недовольства и тратили большую часть заработка на выплату долга перевозчику за услуги, многократно завышенные в цене. Рабочие-мигранты трудились на мелких фабриках с низким уровнем рентабельности, конкурирующих между собой за заказы крупных западных или японских корпораций. Нести какую-либо ответственность за условия их труда корпорации отказывались. Все эти факторы препятствовали коллективной организации рабочих, в том числе их борьбе за демократию. Можно ожидать, что по мере индустриализации отдельных стран ситуация постепенно выправится. На постепенное исчерпание возможностей капитализма мигрировать в зоны дешевого труда с высокой степенью эксплуатации указывает Валлерстайн (Wallerstein 2003). По его оценке, временной лаг между вхождением капитала в аграрную страну и возникновением там первых рабочих ассоциаций составляет примерно 30 лет, затем процесс распространяется далее по мере перемещения капитала в зоны более дешевого труда. На его взгляд, последним континентом, где развернется процесс индустриализации и возникнут рабочие ассоциации, станет Африка. Однако сегодня организация рабочего класса движется с запозданием, его борьба за демократию стала менее интенсивной, чем была раньше.

Если Валлерстайн подчеркивает власть капиталистических рынков, то Коли полагает (так же как и я), что процесс индустриализации в странах с запаздывающим развитием обеспечивает им некоторое преимущество. Более успешные из них он называет «государствами, сплоченными капитализмом» (*capitalist-cohesive states*). Нацеленные на производство, они представляют собой альянс государственной машины с предпринима-

тельским классом, «целеустремленным и твердо приверженным идее экономического роста». Иногда эти режимы пытаются создать условия для объективного ценообразования, как рекомендуют экономисты неоклассической школы; чаще же они сознательно искажают цены, занижают обменные курсы, субсидируют экспорт и тормозят рост зарплат (по сравнению с ростом производительности труда). Как правило, это сопровождается репрессиями в отношении рабочих и крестьян, что затрудняет становление их коллективных организаций (Kohli 2004: 10–14; ср. Rodrik 2011). Типичным примером такого развития Коли считает Южную Корею. В 1961 г. при поддержке военных Пак Чон Хи обеспечил экспортно ориентированных чеболей государственными субсидиями. Требования профсоюзов были отвергнуты, а на предприятиях была установлена военная дисциплина. Зарплаты были низкими, но рабочие получили гарантию занятости, а с некоторыми из них были даже заключены пожизненные контракты. Высокие прибыли при низком уровне зарплат и потребления позволили осуществить передачу технологии за счет отечественного капитала, то есть провести модернизацию промышленности независимо от иностранных капиталовложений. Бизнес был вознагражден снижением налогов в зависимости от экспортных показателей, что создавало стимулы для максимального увеличения производительности (Amsden 2001; Wade 1990). «Это было, — заключает Коли, — милитаризованное, иерархически организованное (top-down), репрессивное государство, ориентированное на экономический рост» (Kohli 2004: 88, 98–101). Несмотря на некоторую коррупцию, в большинстве стран не было политизированного капитализма, при котором близость к государству дает право распоряжаться его ресурсами, как если бы они были частной собственностью компаний. С точки зрения коллективной экономической власти эти структуры работали. Минусы касались политической и военной власти, поскольку полуавторитарное слияние экономической и политической власти над рабочими приводило к военным репрессиям, а не к расширению политических прав граждан.

За исключением этих ограничений, влияние капиталистического развития на состояние гражданских прав было в основном положительным (Marshall 1963; Zakaria 2003). Побочным результатом принятия законодательства, охраняющего частную капиталистическую собственность, стало равенство граждан перед законом и право на свободу слова, религии и ассоциаций. Это способствовало либерализации — приоритету индивидуальных прав перед коллективными — принципу, лежащему в основе американской демократии. Готовность США делиться тех-

нологиями и открыть свой рынок для импорта из азиатских стран была выгодной для них экономически и способствовала последовательной либерализации режимов в Японии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде (McCauley 1998: 103). Кроме того, в этих странах были компетентные правительства, что гарантировало порядок и (в известной степени) верховенство закона. Положительные результаты начали появляться в конце холодной войны, то есть в период третьей волны демократизации, начавшейся, согласно Хантингтону, в 1987 г. Тем не менее демократизация не была продуктом одной лишь индустриализации, и процесс ее развертывания оказался весьма длительным. В период с 1960-х до середины 1990-х гг. в Восточной и Юго-Восточной Азии значимой корреляции между экономическим развитием и демократизацией не наблюдалось. Ее отсутствие объяснялось влиянием внешних факторов, таких как роль государства в экономическом развитии, расово-этнические противоречия, антикоммунистические настроения и политика репрессий со стороны местных элит и США (Laothamatas 1997). Страх Америки перед коммунизмом обусловил поддержку ею репрессий против рабоче-крестьянских движений, что замедлило процесс демократизации, который ускорился лишь с распадом СССР.

Таким образом, в Южной Корее подлинно демократические выборы состоялись лишь в 1990-х гг. До этого правительство и чеболи подвергали профсоюзы репрессиям, обвиняя их активистов в приверженности коммунизму. Тем не менее южнокорейская модель развития основывалась на использовании образованной и высококвалифицированной рабочей силы. Она предусматривала умеренное расширение социальных прав граждан при сжатой структуре заработной платы, а также спонсируемые государством образовательные и жилищные программы. Начиная с 1960-х г., пользуясь своими правами на собрания с требованиями демократии, стали выступать добровольные студенческие, профессиональные и религиозные объединения (Oh 1999: 70). Во всех странах Восточной и Юго-Восточной Азии на фоне весьма слабого давления со стороны рабочего класса все более заметными носителями демократического инкомыслия становились представители среднего класса (Laothamatas 1997). По-видимому, это является некоторым аргументом в пользу теории демократичного среднего класса (по Аристотелю — Липсету). Однако без массовой и эффективной поддержки со стороны организаций рабочих и крестьян демократические завоевания среднего класса были ограниченными. Когда же произошли более мощные протесты, эта ситуация и вовсе изменилась. Хотя восстание в Кванджу инициировали диссиден-

ты, большинство из которых имели высшее образование и опыт предыдущей борьбы, основное участие в уличных боях приняли преимущественно рабочие промышленных предприятий (Ahn 2003: 16–20). Это был переломный момент, обусловленный не в последнюю очередь тем, что диктатор Чон, направивший на подавление восстания армейские подразделения, опирался на помощь администрации Рейгана, что вызвало всплеск антиамериканизма. Это напугало американцев, заставив их перейти к поощрению демократизации. С укреплением демократических и политических прав (после 1987 г.) альянс студенчества и рабочего класса возродился. С падением коммунизма Соединенные Штаты позволили себе, наконец, расслабиться и стали умеренно продемократической силой в этом регионе. До этого их миссией была борьба с коммунизмом, которая, однако, не включала демократизацию.

В конечном итоге американский империализм исчез из этого региона, уступив место менее жесткой гегемонии, позволившей национальным государствам самим определять собственную политику. Большинство из них выбрало демократию, хотя иногда это была лишь ее бледная копия. В итоге уровень жизни местного населения вырос, хотя ему пришлось пережить некоторые лишения, когда США не нашли общего языка с левоцентристским национализмом. Как мы увидим, это было характерно и для американской политики в других регионах. К счастью, неудача была компенсирована еще большей неудачей националистических движений, скатывавшихся влево, в сторону коммунистической идеи, но так и не сумевших создать в регионе приемлемую форму правления. Таким образом, азиаты обрели собственные варианты капитализма и гражданских прав. К концу холодной войны американская империя больше не господствовала в Восточной и Юго-Восточной Азии, но и коммунизм там отнюдь не преуспел.

## КАНОНЕРКИ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ

Это полушарие было задворками США и не являлось зоной их приоритетного внимания, поскольку в находившихся там странах было мало коммунистов, все они уже вошли в состав неофициальной американской империи, а их благонадежность не вызывала опасений. Под неусыпным контролем была лишь венесуэльская нефть и Панамский канал. Слабое внимание к этому региону выражалось в малых суммах, которые на него выделялись. Большинство апологетов и критиков американской империи склонны преувеличивать роль США в этом по-

лушарии, пытаясь возложить на них ответственность за события, отношения к которым они не имели. В этом регионе давно сформировались суверенные национальные государства, внутренние социальные конфликты которых были слишком острыми, чтобы их могли разрешить США (и тем более СССР). Соединенные Штаты по-прежнему были вынуждены полагаться на тайные операции, а также на свою клиентелу, состоящую из «сукиных сыновей», содержание которых не было затратным (см. том 3). Одного такого латиноамериканского диктатора 1930-х гг. прекрасно охарактеризовал Корделл Халл: «Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын». Возможности США повлиять на социальные процессы в этих странах были ограниченными, и местные режимы в большинстве случаев были хозяевами собственной судьбы. Левые понимали: стоит им лишь намекнуть на коммунизм, как тут же последует возмездие со стороны США, но в Латинской Америке этих проблем вообще не возникало, поскольку коммунистов там было мало. Лишь две небольшие страны этого региона в рассматриваемый период — Куба и Никарагуа — пережили революции, из которых выжила только одна — кубинская.

Классового и регионального неравенства, которое зачастую подкреплялось этническим расколом, в этом регионе было больше, чем в других регионах мира, и именно здесь возникли многие движения, требовавшие радикальных перемен. Некоторые из них были социалистическими, но лишь немногие поддерживали насильственные методы борьбы. Тем не менее все они потерпели неудачу. Латинская Америка практически не участвовала в мировых войнах и не была ареной крупных межгосударственных конфликтов. Поэтому всякому, кто претендовал на роль революционера, предстояла борьба с режимами, готовыми противостоят любому социальному давлению, причем их власть и бдительность не были ослаблены войной. Главные проблемы в Латинской Америке, как и везде, были внутренними. Они лишь усугублялись поддержкой реакционных режимов Соединенными Штатами, которая способствовала усилению репрессий и росту ненависти к ним, а также толкала одни протестные движения влево, а другие — к насильственным действиям. Все это еще больше подогревало и без того горячие конфликты. Как указывает Брэндс (Brands 2010: 1–2), «преобладающее влияние на внешнюю политику Латинской Америки оказывало соперничество сверхдержав, иностранное вмешательство и межамериканская дипломатическая борьба; главными особенностями внутренней политики являлись идеологическая поляризация, быстрые переходы от диктатуры к демократии, а также проявление крайнего насилия при решении

внутренних проблем». Таким образом, это был «период бурных и часто кровавых переворотов». В этом регионе война была отнюдь не холодной. Влияние США было гораздо сильнее в Центральной, нежели в Южной Америке, страны которой располагались дальше и в целом были крупнее.

В нейтральных странах, которые не страдали от блокады, Вторая мировая война вызвала экономический бум. В тот период страны Латинской Америки зависели от экспорта продовольствия и сырья, в связи с чем они проводили политику экономического развития, известную как импортозамещающая индустриализация (ISI). С привлечением государственной помощи и за счет тарифных барьеров они намеревались стимулировать развитие местной обрабатывающей промышленности, чтобы снизить свою зависимость от импорта. Хотя ISI противоречила целям фритредерской политики США, они приняли ее с условием, что американские корпорации не подвергнутся дискриминации и смогут открывать в регионе свои филиалы. Там на фоне глобального бума 1950–60-х гг. импортозамещающая индустриализация вызвала экономический рост, который превзошел рост всех десятилетий XX в. (фактически до начала 2000-х гг.). Результатом стало увеличение численности и повышение уровня жизни среднего и промышленного рабочего класса. В то же время масштабная урбанизация вызвала большие социальные потрясения. Согласно простой теореме Кузнецца, на раннем этапе индустриализации неравенство доходов возрастает, а затем снижается. Однако в большинстве стран Латинской Америки этого не произошло, поскольку низшие классы там были разделены по расово-этническим и региональным признакам. Напротив, сплоченные общей культурой, высшие классы плюс их клиенты, извлекавшие ренту из земельной и государственной собственности, при любой угрозе проведения радикальных реформ прибегали к репрессиям или совершали военные перевороты. Иногда в ряды этой рентной олигархии допускались на подчиненных ролях чиновники, занимавшие стратегически важные государственные посты. Однако с окончанием глобального экономического бума импортозамещающая индустриализация стала причиной роста дефицита платежного баланса и задолженности, а защищенные отрасли оставались малоэффективными. Начиная с 1970-х гг. экономические трудности усугублялись (Bulmer-Thomas 1994; Bethell 1991; Cardenas et al. 2000).

В этот период Латинская Америка пережила цикл колебаний между военными диктатурами и (дефективными) демократиями, причем ни один из этих режимов не принес особого процветания тем странам, где он утверждался. Латинской Америки

коснулась (начавшаяся в 1944 г.) вторая волна демократизации по Хантингтону, которая проходила под влиянием политики «нового курса», мировой войны, выигранной демократиями, и экономического бума военного времени. Партии, мобилизованные вокруг профсоюзов и ассоциаций среднего класса, требовали демократизации. Социальных реформ требовали также левоцентристские партии в Коста-Рике, Венесуэле и Перу. За весь период до начала 2000 г. это было, пожалуй, самое бурное время в истории [латиноамериканской] демократии. Однако в США политическая элита разделилась на либералов холодной войны, стремившихся во избежание прихода коммунизма избавиться от своих «сукиных сыновей» и демократизировать местные режимы, и консерваторов холодной войны, поощрявших диктаторов как гарантов порядка. Поддержку консерваторам в основном оказывали ЦРУ и американские добывающие компании, нуждавшиеся в максимально дешевой рабочей силе. Обе фракции объединяло то, что они яростно защищали капиталистические свободы. Либерал Спрул Брейди добивался проведения выборов во всех государствах Западного полушария, но при этом заявлял: «Институт частной собственности находится в одном ряду с институтами религии и семьи, лежащими в основе цивилизации. Нарушить принцип частного предпринимательства означает ускорить уничтожение жизни и свобод в том виде, в котором мы их понимаем и ценим». Назвав прокоммунистическими взгляды членов Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки (ЕСЛА), США отвергли их рекомендацию внедрить в национальные экономики элементы централизованного планирования. Кроме того, США отказали в экономической помощи ряду стран на том основании, что это помешает развитию естественных рыночных сил. Однако более весомой причиной стало то, что США не хотели тратить деньги на регион, который не был для них приоритетным.

Эту битву либералы проиграли. К началу 1948 г. США перестали требовать демократизации региона и тамошние олигархии начали брать реванш. Если в 1946 г. у более чем двух третей всех латиноамериканских стран были конституционные правительства, то к 1954 г. у более чем двух третей — диктаторы. Главная вина за это лежит отнюдь не на Соединенных Штатах, поскольку местные олигархи меньше всего нуждались в подсказках извне, притом что США демонстрировали равнодушие и нежелание вмешиваться в их внутренние дела. Однако после ряда латиноамериканских госпереворотов Соединенные Штаты стали рассматривать диктатуры как бастион в борьбе против коммунизма. В 1954 г. Эйзенхауэр наградил реакционного венесуэльского диктатора Переса Хименеса боевым орденом за осо-

бые заслуги в исполнении высокого служебного долга и твердую антикоммунистическую позицию. Излишки вооружений, оставшиеся со времен Второй мировой войны, были поставлены диктаторам, что свидетельствует о желании США поддержать внутренние репрессии, но без больших финансовых затрат (Bethell and Roxborough 1988; Bethell 1991: 53–54, 67; Coatsworth 1994: глава 3, espec. 53; Ewell 1996: 160; Leonard 1991: глава 7; Roorda 1998: глава 8; Rouquie 1987: 24; Gambone 1997; Schwartzberg 2003).

В Центральной Америке осуществлять военные вторжения было проще. В 1954 г. США резко отреагировали на аграрную реформу, которую конституционное правительство Арбенса в Гватемале провело на фоне восстания, поднятого рабоче-крестьянскими профсоюзами и левоцентристскими партиями. Необрабатываемая земля была конфискована у господствующих кланов и американской United Fruit Company (UFCO) и роздана безземельным крестьянам. Компенсация бывшим владельцам была выплачена по текущим рыночным ценам на целинную землю. В правительство Арбенса входили представители компартии, занимавшие 4 из 51 места в местной ассамблее. Все это стало причиной недовольства олигархических кланов, католической церкви, UFCO и Соединенных Штатов. Хотя главными идеологами вмешательства военных были местные реакционеры, решение о нем принималось под влиянием посла США. В 1954 г. оппозиционные силы, которые финансировало и вооружило ЦРУ, вторглись на территорию Гватемалы. Когда их продвижение было остановлено, самолеты ЦРУ нанесли удары по позициям гватемальской армии, а США призвали ее высших офицеров обратить оружие против Арбенса. Они пошли на это, опасаясь, что в противном случае Эйзенхауэр пришлет морских пехотинцев (Cullather 1999: vii–xv, 97–110).

Арбенс был свергнут. На выборах 1955 г. ставленник США Кастильо Армас получил 99% голосов — выборы в советском стиле! Он вернул UFCO экспроприированные земли, снизил торговые и инвестиционные барьеры для США, а также запретил профсоюзы и все партии левые центра. Эти шаги вызвали радикализацию оппозиции, которая встала на путь насильственного сопротивления. В экономике наблюдался небольшой рост, выгодный в основном олигархическим кланам, тогда как доходы трех четвертей населения Гватемалы упали. Растущая оппозиция подавлялась с применением оружия, поставлявшегося Соединенными Штатами, которые, как выразился Госдепартамент, высоко оценивали «сильное государство, способное противостоять волнениям и беспорядкам». Крестьяне и коренные народы, разбуженные реформами Арбенса, оказывали упорное сопротивление режиму Армаса, включая повстан-



ческие движения. В 1965 г. в Гватемалу прибыл Джон Лонган, эксперт по вопросам безопасности при Госдепартаменте США, чтобы подготовить операцию «Зачистка» с участием первых гватемальских эскадронов смерти. Они уничтожили лидеров профсоюзов и крестьянских объединений. Для обучения гватемальской армии и тайной полиции методам борьбы с повстанцами в страну были направлены подразделения «зеленых беретов» и агенты ЦРУ. Некоторые из них принимали участие в карательных операциях эскадронов смерти. В последующие 20 лет не менее 200 тыс. оппозиционеров и коренных жителей были убиты, а еще 40 тыс. пропали без вести. Этого не случилось бы без постоянного присутствия США, американских инструкторов и поставок оружия. При президенте Картере объем помощи уменьшился, но при Рейгане вновь увеличился. Доклады ЦРУ и дипломатов, содержавшие критическую оценку участия США в этих злодеяниях, были оставлены без внимания. Поставками оружия отрядам гватемальской армии для выполнения их кровавой миссии президент Рейган нарушил правила Госдепартаamenta в отношении соблюдения прав человека (Streeter 2000: 108–136, 239–248; Grandin 2004: 12). В 1999 г. президент Клинтон был вынужден принести официальные извинения гватемальскому народу, ставшему жертвой нескольких самых кровавых в Западном полушарии тайных операций США.

Власти США оправдывали вмешательство в Гватемале необходимостью противостоять коммунизму. Однако, как показали документы, рассекреченные ЦРУ, никаких заговоров ни с Советским Союзом, ни с правительством Арбенса, ни с малочисленной компартией Гватемалы не было. Все эти «заговоры» сфабриковало ЦРУ (Cullather 1999). Точно так же ни советского, ни коммунистического участия не обнаружилось в последующих восстаниях, проходивших в основном в аграрных районах страны. Влияние марксизма сказалось лишь на программе земельной реформы Арбенса, отвечавшей, впрочем, предложенной экспертами ЕCLA кейнсианской модели экономического развития Гватемалы. Эта модель была призвана сделать безземельных крестьян собственниками — потребителями изделий национальной промышленности. Эксперты полагали, что плантаторы, ранее по причине дешевизны земли и рабочей силы проявлявшие инертность, будут инвестировать в новые технологии и повышать эффективность хозяйства (Gleijeses 1991: 3–7, 361–387; Grandin, 2004). Как отмечает Махони (Mahoney 2001: 212–216), эта земельная реформа, как ни удивительно, предвосхищала политику администрации Кеннеди в рамках программы «Союз ради прогресса». Последняя уж точно не привела бы к революции.

Хотя для США аграрная реформа в Латинской Америке стала камнем преткновения, она была непременным условием демократизации большинства стран Западного полушария, поскольку правление земельной олигархии угнетающе сказывалось на малоимущих слоях населения и тормозило экономический рост. Один чиновников ЦРУ раскритиковал аграрную реформу, которая, мол, «предоставляет землю гватемальцам по коммунистическому принципу». Госдепартамент заявил, что реформа приведет к «усилению политического влияния коммунистов на сельское население Гватемалы» (U.S. Department of State 2003: 20, 70–71). В результате реформы землю получили 100 тыс. крестьянских семей, многие из которых принадлежали к угнетенной народности майя. Это наделило их некоторыми правами и позволило создать институты гражданского общества, которые потребовали дальнейшего расширения гражданских прав. Пришедшие в ужас олигархи оказали вооруженное сопротивление с благословения церкви, при содействии офицерского корпуса, а также лоббистов компании UFCO в Вашингтоне. Кстати, в прошлом сотрудниками, а затем акционерами UFCO являлись братья Даллес, в ту пору занимавшие посты госсекретаря и директора ЦРУ (Grandin 2004). Маловероятно, чтобы политику США определяла именно эта компания, но ее неформальное влияние представляется важным. На работу в посольство США из местных приглашались отнюдь не левоцентристские интеллектуалы и индейцы майя, говорившие на языке кечуа, но образованные, говорящие по-английски гватемальцы, а также американские бизнесмены. Дипломаты находились под влиянием своих местных друзей.

Коммунизм считался глобальным вирусом. Если бы аграрная реформа в Гватемале удалась, то коммунизм мог бы распространиться на другие страны. Хотя в частных беседах кое-кто из американского руководства признавал, что реформа давно назрела, США по-прежнему выступали против, усматривая в ней «источник разжигания опасных настроений в крестьянстве других латиноамериканских республик». Один из чиновников Госдепартамента заявил: «Это мощное орудие пропаганды; ее широкая социальная программа помощи трудящимся при условии победы над высшими классами и крупными иностранными предприятиями обладает большой притягательной силой для населения соседних стран Центральной Америки, где царят аналогичные порядки» (Streete 2000: 17–23; Gleijeses, 1991: 365). Государственный переворот с последующей поддержкой карательных операций являлся привычным средством имперской политики наряду с дозированными показательными репрессиями в назидание тем, кто рискнет проделать то же самое.

Это срабатывало, вселяя страх в население и придавая кураж диктаторам.

В Западном полушарии администрация Эйзенхауэра организовала поставку оружия и создала военные учебные центры. К 1957 г. такие центры действовали уже в 42 странах, в основном в Латинской Америке. В документе Национального совета безопасности (NSC) 5509 от 1955 г. говорилось, что эти меры гарантируют «безопасность стран Латинской Америки и доступность местных источников сырья при минимальном военном присутствии США» (Gambone 1997: 85). Основную функцию вполне могли выполнять обученные местные воинские контингенты. В учебном центре «Школа Америк» методам подавления восстаний и повстанческих движений обучились 66 тыс. солдат и полицейских. Среди них были те, кто впоследствии допустил наиболее вопиющие нарушения прав человека в странах Западного полушария (Gill 2004). Поскольку для расправы над оппозиционерами они не просили дорогостоящей военной помощи, «сукины сыновья» вновь оказались в фаворе [у США] (Lieuwen 1961: 226–234; Holden 2004: part II; Rabe 1988: 77–83). С другой стороны, как лаконично подмечено (Brands 2010: 48), «никого из латиноамериканских офицеров не нужно было упрашивать быть антикоммунистом», даже если они с благодарностью принимали военную помощь от США.

В конце 1950-х гг. низы стали все решительнее требовать демократизации. С 1956 по 1960 г. военные диктаторы стран Западного полушария были свергнуты движениями, обещавшими политические и социальные реформы. Большинству из них Соединенные Штаты оказывали поддержку до последнего момента. В то же время демократическое большинство в Конгрессе США требовало проведения более либеральной политики. Тем не менее накануне инаугурации президента Кеннеди американское правительство помешало реформистам в Гондурасе совершить государственный переворот и способствовало приходу в власти консерваторов. Заметим, что все упомянутые до сих пор случаи интервенции и репрессий были направлены против реформистов левого толка. Их эффективное подавление дискредитировало мирный протест и привело к тому, что левые все чаще склонялись к насилию и партизанской борьбе. Это было адекватным ответом на действия правых, которые первыми прибегли к насилию. Интервенции и репрессии произошли *еще до того*, как Ф. Кастро, захвативший власть на Кубе, взял левый политический курс. Впоследствии режим Кастро и СССР, действительно, предлагали прямую помощь многочисленным партизанским движениям, однако к тому времени кровавые репрессии против левых уже были нормой, а не следствием дей-

ствий Кубы и Советского Союза. Это верно, что призрак кубинской революции обострил паранойю правых (как подчеркивает Brands 2010), но что мешало им помириться с центристскими и левоцентристскими политиками, выступавшими за мирные реформы, и тем самым выбить почву из-под ног у левых сторонников насилия? А дело в том, что на протяжении почти всего послевоенного периода большинство правящих олигархических режимов упорно отказывалось поступиться хотя бы частью своих привилегий.

Уязвленные тем, что в 1959 г. Ф. Кастро, свергнув «сукиного сына» Батисто, утвердил на Кубе свою власть, США напряженно искали выход из этой ситуации. Вначале Кастро надеялся во внешней политике осуществлять принципы неприсоединения, а внутри страны вести линию на экономический национализм и перераспределение доходов. Когда же стало ясно, что неприсоединение означает подыгрывание Советскому Союзу против США (например, переход на импорт нефти преимущественно из СССР), Соединенные Штаты разгневались не на шутку. С ними были солидарны американские и британские нефтяные компании, отказавшиеся перерабатывать советское сырье. Вскоре Конгресс США отменил квоту на ввоз кубинского сахара, а ЦРУ приступило к подготовке кубинских эмигрантов. В ответ Кастро национализировал нефтяные (и некоторые другие) американские компании и принял военную помощь от СССР, где теперь предполагали, что революции, возможно, назревают (и потребуют поддержки) в других странах Западного полушария (Brands 2010: 31–33). США отреагировали введением торгового эмбарго, а Эйзенхауэр дал ЦРУ санкцию на разработку плана вторжения. Несколько ранее, в ходе президентской кампании, Джон Кеннеди не преминул обвинить Эйзенхауэра в излишней мягкотелости в отношении коммунизма. Теперь президент посчитал, что настало время проявить твердость.

Первый (и единственный) раз в истории Западного полушария левый режим стал союзником СССР, а внутри страны подъем национализма сделал из Кастро кубинского Давида в поединке с американским Голиафом (Welsch 1985). С обеих сторон эскалация была неразумной. Политика США усиливала интерес Советов к Кубе и порождала во всех странах Западного полушария рост антиамериканизма. Кастро совершил еще большую глупость. Как мог он, находясь в 90 милях от Флориды и зная историю США, не уразуметь, что братание с Советами не сулит Кубе ничего, кроме политической изоляции и экономической стагнации? Правители СССР были ошеломлены, не верили своей удаче, ведь их влияние на другие страны За-

падного полушария было нулевым. Кроме того, их, на тот момент уже циничных, впечатлил наивный энтузиазм обращенного в революционную веру Кастро (Miller 1989). Под влиянием кубинской революции и при советской поддержке левые экстремисты в других латиноамериканских странах встали на путь насилия. Однако это, в свою очередь, заставило прибегнуть к насилию и крайне правых, которые в военном отношении были гораздо сильнее. Куба оказалась во всех отношениях контрпродуктивной.

Поскольку все проамериканские диктаторы были уязвимы, США решили сделать из Кастро наглядный пример. Кто-то в Вашингтоне рассудил, что позиция США окажется более убедительной, если они сподвигнут других диктаторов на реформы. Действительно, в 1959 г. Эйзенхауэр пытался заставить доминиканского диктатора Трухильо уйти со своего поста, но у того оказалось слишком много друзей на Капитолийском холме. Кеннеди же обозначил свою позицию так: «У нас имеется три варианта в следующем порядке приоритетности: пристойный демократический режим, продолжение режима в стиле Трухильо либо режим в стиле Кастро. Мы должны стремиться к первому, но не можем исключить второго до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что нам не грозит третий» (Smith 2000: 143). Это заявление применимо к большей части американской политики, проводимой в отношении всех менее развитых стран мира. Действительно, в 1961 г. Кеннеди одобрил ликвидацию Трухильо, но тогда у него еще не было политики, способной привести к первому, наиболее предпочтительному, на его взгляд, варианту.

В предвыборных речах Кеннеди заявлял, что будет сотрудничать с национальными движениями третьего мира во имя глобальной революции растущих ожиданий. Он предложил новую политику в формате «Союз ради прогресса», начатую в 1961 г. В ней учитывалось, что необходимой инфраструктурной базой, на которой строится демократия, являются экономическое развитие и аграрные реформы. Эта программа предполагала экономическую помощь развивающимся странам (в размере 20 млрд долл.), призванную хозяйственными методами предотвратить распространение коммунизма. Теоретическим базисом программы послужила теория модернизации социолога Толкотта Парсонса и экономиста Уолта Ростоу, которые полагали, что все страны проходят единые стадии экономического роста и развития. Выходило, что Соединенные Штаты как наиболее передовое общество способны помочь отсталым обществам, если убедят их заимствовать американскую модель развития (Latham 2000; Smith 2000: 146–148).

К сожалению, программа работала не слишком хорошо. Деньги перечислялись исправно, но большая их часть расхищалась коррумпированными элитами. Зачастую представители США не спешили сотрудничать с местными реформаторами, поскольку земельная реформа усиливала классовые конфликты, которые могли угрожать стабильности — главной цели США в регионе. Кроме того, правительственные чиновники расходовали выделяемые фонды не по назначению, поскольку считали, что деньги лучше потратить на меры по борьбе с повстанцами, которые Роберт Кеннеди назвал социальной реформой под давлением. Наиболее успешным проектом оказался «Корпус мира», укомплектованный добровольцами-идеалистами. Большинство из них вернулись в США с лучшим пониманием латиноамериканских реалий, но и с разочарованием в политике собственного правительства (Fischer 1998). В той программе было больше «союза», чем «прогресса», поскольку она стала инструментом подкупа латиноамериканских правительств ради нейтрализации левых сил и сохранения проамериканских режимов. Президент США, никак не решавшийся на выбор между антикоммунизмом и прогрессивными задачами, разочаровался в своем проекте. Мнения специалистов по поводу «Союза ради прогресса» разделились. Одни полагают, что с самого начала эта программа была обречена, другие считают, что при достаточной решимости ее можно было реализовать, хотя и со скромными результатами (Dallek 2003: 222–223, 436–437, 519; Levinson and de Onis 1970; Kunz 1997: 120–148; Smith 1991: 71–89; Leonard 1991: 146–152). Провал этой программы дискредитировал земельную реформу, столь необходимую региону. Как указывает Брэндс (Brands 2010: 63), она фактически привела к обострению классового конфликта, так как способствовала развитию крупномасштабного коммерческого земледелия за счет бедных фермеров-арендаторов.

Давление, которое Кеннеди оказывал на Кубу, заставило Советы поверить в то, что США готовят вторжение, и это стало одним из факторов ракетного кризиса. Однако в период самого кризиса Кеннеди проявил твердость и сдержанность, что позволило Хрущеву, к его неподдельному удовольствию, выйти из игры без потери лица, поскольку он уже сожалел о своем авантюризме. Разрядка ядерного кризиса стала их совместным достижением (Gaddis 1997: глава 9; Stern 2003: 14, 82, 127, 424–426; White 1997). Проявить аналогичную сдержанность в других странах Кеннеди не смог. В Венесуэле, Перу, Чили и Коста-Рике он поддержал центристских политиков, но в остальных странах инициировал тайные операции по свержению центристов. Кеннеди подорвал конституционные режимы в Аргентине

и Гватемале. Когда Жуан Гуларт, президент Бразилии, показался ему опасным леваком, Кеннеди заверил бразильских генералов, что поддержит государственный переворот, если те всерьез считают своего главнокомандующего «готовым отдать страну этим чертовым коммунистам». В период обретения Гайаной независимости от Британии Кеннеди помог отстранить от власти Чедди Джагана, которого считал коммунистом, и хотя покидавшие страну британцы пытались убедить его в обратном, он им не поверил. Кеннеди одобрил больше тайных операций в Западном полушарии, чем любой другой президент времен холодной войны. Впрочем, все эти операции не были крупными (Rabe 1999: 63–70; 197–199; Dallek 2003: 401, 520–522).

Полностью покончить с Гулартом и Джаганом удалось Линдону Джонсону. В Доминиканской Республике на смену Трухильо пришел реформатор Хуан Бош, потерявший поддержку военных из-за того, что урезал их бюджет, и названный властями США потенциальным коммунистом. После того как доминиканским военным не удалось его свергнуть, в 1965 г. с задачей справился десант американской морской пехоты. В небольшой стране эта операция вызвала большие беспорядки, в ходе которых погибли 6 тыс. доминиканцев (Lowenthal 1995; Atkins and Wilson 1998: 119–149). Оба президента — Кеннеди и Джонсон — считали диктатуру стабильной формой правления, тогда как демократия, хотя и была идеалом, на практике не спасала от подрывной коммунистической деятельности (Wiarda 1995: 69). «Пугавший Америку призрак коммунизма мешал ей проводить рациональную и продемократическую внешнюю политику», — отмечает Домингес (Domínguez 1999: 33–34, 49). Соединенные Штаты, похоже, разделяли точку зрения Че Гевары, считавшего, что Латинская Америка созрела для революции. Однако это было абсурдом. Гевара верил в то, что крестьянство — гомогенный революционный класс, который можно с помощью насилия поднять на революционное сопротивление. Это был тупиковый путь, приведший партизанские движения, оторванные от народных масс, к скорому поражению, а самого Гевару — к бесславной гибели. Подводя итоги, Брэндс (Brands 2010: 52–55) указывает, что стратегия Че «больше способствовала радикализации правых, нежели радикализации народных масс».

Политика Никсона в Латинской Америке была зеркальным отражением политики крайне левых. После того как в 1970 г. на выборах в Чили победил Сальвадор Альенде, экономические ошибки его правительства вызвали большое недовольство высших и средних классов, а также раскол внутри его собственной коалиции. Была начата подготовка к перевороту, в результате которого власть в Чили захватили военные во главе с генералом

Пиночетом. Однако еще раньше Альенде столкнулся со стойкой враждебностью Соединенных Штатов. В свое время Никсон поручил ЦРУ «сделать все возможное... чтобы заблокировать утверждение Альенде в должности». Киссинджер лично контролировал программу ЦРУ по экономическому саботажу, на которую было выделено 8 млн долл. В обоснование программы, целью которой был подрыв чилийской экономики, Киссинджер заявил: «Мы не допустим, чтобы из-за безответственности народа та или иная страна доставалась марксистам». Никсон же рассуждал так: «Если мы позволим потенциальным лидерам Южной Америки следовать по пути Чили и не нести за это никакой ответственности, то нас ждут большие неприятности... Не должно создаваться впечатление, что это сойдет им с рук, что этот путь для них безопасен» (Brands 2010: 116–120; Miller, 1989: 128–130; Gaddis, 1982: 320; White House, National Security Meeting on Chile, Memorandum, Nov. 7, 1970). В назидание латиноамериканцам был разработан план дестабилизации, осуществлявшийся в рамках крупнейшей программы тайных операций, когда-либо имевшей место в регионе. В краткосрочной перспективе этот план был успешным. В 1960-е гг. в десяти странах Западного полушария были установлены военные режимы (главным образом местными силами с предварительного согласия Соединенных Штатов). К 1979 г. диктатурами не были лишь четыре латиноамериканские страны.

Руководство США, как правило, весьма осторожно подходило к вопросу о военном вторжении для защиты местных союзников, способных сформировать там жизнестойкий режим. В этом был ключ к успеху, именно это позволило Соединенным Штатам играть лишь вспомогательную (и зачастую секретную) роль в большинстве государственных переворотов. В Чили, например, местная оппозиция Сальвадору Альенде расширяла свою опору по мере того, как правительство утрачивало единство из-за собственных ошибок. Советы не предложили помощь Альенде, поскольку не верили в его успех. Единственным случаем, когда США решились на военную операцию, не заручившись местной поддержкой, была высадка в заливе Свиней на Кубе. Кое-кто в ЦРУ и Госдепе предрекал фиаско и оказался прав (Karabell 1999: 173–205). После этого Соединенные Штаты ограничились тем, что в период 1960–1965 гг. финансировали восемь покушений на Кастро (Dallek 2003: 439). Все они провалились, Кастро остался жив, но то была жизнь под давлением санкций и постоянной зависимости от союза с Советами, выгода от которого для Кубы была невелика. США научились жить рядом с Кастро, используя его как «мальчика для порки» в назидание тем странам, которые захотят пригласить Советы. Это



были показательные репрессии, по крайней мере в экономическом смысле равносильные стратегии выжженной земли. Другие страны, другие повстанцы извлекли из этого урок.

Однако и в этот раз репрессии вызвали волну сопротивления. В 1980-е гг. маятник вновь качнулся в сторону демократизации, которая осуществлялась в основном местной общественностью при поддержке католической церкви, сделавшей упор на социально ответственные доктрины и призывавшей к земельной реформе. Президент Картер, по-видимому, отнесся к этому с одобрением. В поисках решения «новых глобальных вопросов справедливости, равенства и прав человека» он искал «пути умеренных перемен», заявляя: «У нас нет больше чрезмерного страха перед коммунизмом». Картер сказал даже, что готов вести торговые переговоры с недружественными режимами, если те желают торговать с Соединенными Штатами (Skidmore 1996: 26–51; Smith 1986; Muravchik 1986). Пришедшая ему на смену администрация Рейгана посылала смешанные сигналы, в одних случаях поддерживая военные режимы, в других — демократию, но не на деле, а лишь на словах. Карротерс (Carrothers 1991) назвал такую политику «аплодисменты для демократии» (ср. Wiarada, 1995: 73–75; Muravchik 1986). Однако реальная политика США на местах была более разнообразной. В Никарагуа и Гренаде Соединенные Штаты осуществили военную интервенцию для свержения левых гражданских правительств (причем в Никарагуа такое правительство было избрано демократическим путем). В Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе Соединенные Штаты предпочли гражданские правительства, которым они щедро предоставляли экономическую и военную помощь. Это делалось вопреки участвующим в Сальвадоре и Гватемале случаям нарушения прав человека со стороны военных, которым США также оказывали щедрую помощь, в том числе обучая методам борьбы с повстанцами. Такая политика в отношении республик Центральной Америки диктовалась стремлением покончить с «вирусом» сандинизма, зародившимся в Никарагуа. В то же время в Чили, Парагвае, Панаме и Гаити вторая администрация Рейгана оказала давление в пользу демократических выборов. Анализируя тенденции развития стран Западного полушария, руководители США убедились, что стабильными могут быть и демократии (Carrothers 1991; Leonard 1991: 167–191). Эти сдвиги в политике не только США, но и католической церкви стали частью более широкой «третьей волны демократизации», выделяемой Хантингтоном.

Тем не менее период холодной войны завершился масштабной интервенцией в Никарагуа, в результате которой погибло

свыше 30 тыс. никарагуанцев. Экономика страны и ее режим были подорваны, а ситуация в соседних республиках — дестабилизирована. В свое время Картер попытался тихо сместить диктатора Сомосу и привести к власти консервативные партии, в которых доминировали бизнесмены. Однако эта попытка была сорвана выступлениями рабочих и крестьян, которых поддерживали либерально настроенные представители среднего класса и даже ряд плантаторских семейств. В результате к власти в Никарагуа пришли сандинисты. Таким же силам в соседнем Сальвадоре не удалось захватить власть, после чего там вспыхнула гражданская война (Paige 1997). Вопреки давлению «рыцарей холодной войны» в США Картер проявил благоразумие, не желая подталкивать сандинистов к кубинскому пути. Однако затем администрация Рейгана, прибегнув к политике опосредованных показательных репрессий, хладнокровно разрушила жизнь маленькой страны. Целью такой политики было преподать другим странам наглядный урок того, что будет в ответ на попытки революций. Для этого требовалось разрушить экономику и гражданское общество Никарагуа так, чтобы подорвать легитимность власти сандинистов. Поскольку естественным торговым партнером этой страны были США, экономические санкции с их стороны привели к резкому падению уровня жизни никарагуанцев. Попытку соседних с Никарагуа стран добиться разрешения конфликта путем переговоров Соединенные Штаты не поддержали. Мирный план Ариаса, который действительно привел к окончанию войны, был подписан всеми сторонами, кроме Соединенных Штатов.

Социальные опросы показали, что большинство американцев выступали против использования армии США в Никарагуа. Администрация США осознала, что военное вторжение способно в очередной раз завести Америку в болото безнадежного конфликта. Вместо этого в качестве марионеток Рейган воспользовался военизированными формированиями контрасперсональных охранников Сомосы и примкнувших к ним разочарованных крестьян и безработной молодежи. Задачу по обучению их грязным методам антипартизанской войны, включая пытки и убийства, взяло на себя военное правительство Аргентины. Оно же создало во всех странах Западного полушария секретную сеть, состоявшую из армейских офицеров, — «своего рода тайный иностранный легион, задачей которого было уничтожение коммунистов, где бы они ни находились» (Агмоню 1997: глава 1, 2). К 1982 г. аргентинские военные командовали отрядами никарагуанских контрасперсональных общей численностью в 2,5 тыс. человек. Затем руководство взяли на себя Соединенные Штаты, еще больше увеличив численность этих отрядов.

Контрас были всего лишь марионетками, и без масштабной военной помощи США им было несдобровать. Лишенные какой-либо поддержки внутри страны, выиграть войну они не могли. Утверждение Рейгана о том, что контрас — это борцы за свободу, было одним из самых лицемерных заявлений того времени. Тактика контрас состояла в том, чтобы сеять террор и разрушения. Финансовая поддержка контрас, которая привела к скандалу «Иран-контрас», хотя и содействовала подавлению левых в Сальвадоре и Гватемале, дискредитировала Соединенные Штаты в глазах большинства жителей как Западного полушария, так и всего мира (Coatsworth 1994: глава 5, 6; Carrothers 1991; Brands 2010: глава 6, 7).

Некоторые американцы осуждали такие эксцессы, но все еще считали эту войну необходимым средством сдерживания коммунизма. Выступая в сенате, госсекретарь Хейг заявил, что Никарагуа является частью «советской политики глобального вмешательства, бросающей беспрецедентный вызов всему свободному миру». Это была ложь. Сандинисты желали жить в мире со всеми — с Соединенными Штатами, Советами, Европой. Обжегшийся на кубинском ракетном кризисе, а теперь погружавшийся во внутренний кризис, Советский Союз не горел желанием оказывать помощь сандинистам. Тем не менее ему пришлось пойти на это, после того как США два года поощряли нападения контрас на нефтяные прииски и морские порты Никарагуа. Понимая, что у контрас нет шансов победить в войне, Советы хотели как можно глубже втянуть силы США в никарагуанские дела. Однако пришедший к власти Горбачев дал понять, что выходит из игры. Для Советов Никарагуа так и не стало «второй Кубой» (Miller 1989: 188–216).

В итоге риторика администрации Рейгана переключилась с советской угрозы на угрозу со стороны местных коммунистов, объявив сандинистов авторами нежелательной модели революции для стран Западного полушария. Сандинисты стремились к развитию национальной экономики, проведению реформ и сплочению общественных сил — таковы были цели левых политиков в большинстве стран Латинской Америки. Идея национального развития имела широкую популярность у представителей средних классов и даже у части плантаторских семейств. Степень поддержки реформ зависела от того, как далеко были готовы зайти сандинисты; в то же время их программа по мобилизации общества оттолкнула средний класс. В этих условиях, отдавая себе отчет в могуществе плантаторов, сандинисты пошли на компромисс. Они неплохо начали, вдвое повысив уровень грамотности населения и создав систему здравоохранения, которая позволила резко сократить детскую смертность.

Ими была начата земельная реформа, проводившаяся путем экспроприации неиспользуемых земель (типичная латиноамериканская модель). Политика национализации коснулась собственности, преимущественно принадлежавшей семье Сомосы. В период 1979–1983 гг. ВВП на душу населения в Никарагуа вырос на 7%, тогда как в других странах Центральной Америки он в целом снизился на 15%. Сандинисты поощряли участие населения в общественных организациях. В 1984 г. они провели первые свободные выборы в стране и получили 63% голосов избирателей (Walker 1997).

Что было бы, если бы США не опустошили эту страну? Как предполагает Коутсворт (Coatsworth 1994), сандинисты могли бы воспроизвести режим, установленный Институционально-революционной партией в Мексике, с умеренной однопартийной системой. Хотя поддержку со стороны плантаторов сандинисты потеряли бы в любом случае, тактика выжженной земли лишила их гораздо большей поддержки и вынудила направить ресурсы не на развитие страны, а на войну, централизацию и милитаризацию. Они все сильнее зависели от самых радикальных элементов своей социальной базы, которые в основном и пополняли ряды их бойцов. Класс плантаторов перешел на сторону контраст; средний класс предпочел мир (Paige 1997: 37–41, 305–312). Избирательный марафон 1990 г. проходил в условиях острой конкуренции. Победу в нем с минимальным перевесом одержала правоцентристская коалиция. Пересечь финишную ленточку первой ей помогли Соединенные Штаты, обещавшие в случае ее прихода к власти оказать стране щедрую экономическую помощь. Политика Рейгана увенчалась успехом, поскольку сандинистов удалось отстранить от власти (сегодня они вновь сформировали правительство, хотя и весьма умеренное). Однако политическим наследием власти сандинистов стало то, что массовые организации рабочих, крестьян и женщин продолжили играть в стране существенную роль (Walker 1997).

В перерывах между периодическими интервенциями жизнь в странах Западного полушария шла своим чередом. В других отношениях роль США оценивалась положительно. Американская поп-культура проникала в регион через продукцию Голливуда, рок-музыку и бейсбол; многие латиноамериканцы эмигрировали в Соединенные Штаты. В те годы бытовала поговорка «Янки, убирайтесь домой и меня возьмите с собой». Торговые и инвестиционные сделки заключались путем переговоров и без давления со стороны США. Объем программ помощи увеличился в 1950-е гг., а затем еще раз в 1980-е, хотя в абсолютном выражении он был невелик и напрямую зависел от политических целей (Griffin 1991). Американский бизнес не вы-

ступал единым фронтом. Фирмы, заинтересованные в дешевой рабочей силе (например, агробизнес), в отличие от капиталоемкого бизнеса, поддерживали более консервативные латиноамериканские режимы. Хотя Латинская Америка оставалась, в сущности, источником сырья и продовольствия, ряд ориентированных на мировой рынок корпораций США поддерживали политику ISI (импортозамещающей индустриализации). Эта политика была для них выгодной в смысле экспорта товаров производственного назначения для региональной промышленности либо запуска фабрик в странах Западного полушария поверх тарифных барьеров ISI. Кроме того, американские корпорации лоббировали правительство США, добиваясь снижения импортных тарифов, что позволило бы им реэкспортировать произведенную продукцию в Соединенные Штаты, но получили отказ (Сох 1994). Как правило, в Латинской Америке капиталистические интересы объединялись против реформ, нацеленных на перераспределение. Возникший в 1980-е гг. долговой кризис стал очередным неприятным проявлением американской экономической политики, проводившейся в Западном полушарии. Впрочем, этот кризис в конечном счете имел для некоторых стран региона позитивный смысл с точки зрения их демократизации (см. главу 6). Хотя уровень стратегических интересов США в Центральной и особенно Южной Америке был невысок, влияние лobbyистов от бизнеса здесь было сильнее, чем во многих других регионах мира, причем приоритетными целями были краткосрочные прибыли. Вот почему предлагаемый марксистами анализ внешней политики США в Западном полушарии представляется вполне достоверным.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

На протяжении рассматриваемого периода США осуществляли свое господство в форме неофициальной империи, насаждаемой с помощью тайных операций, марионеточных правителей и политики канонерок, особенно в странах Центральной Америки. Установить и сохранять там клиентские режимы Соединенным Штатам удавалось путем смещения баланса местных политических сил в пользу господствующих классов, офицерского корпуса и церковной иерархии (одним словом олигархов) против центристов и левых. Как указывает Найт (Knight 2008: 36), поддержка элит делала американскую империю «своего рода империей по приглашению», но говорить так можно лишь с большой натяжкой, поскольку простой народ о таком приглашении никто не спрашивал. Политика США в Западном полушарии оказа-

лась выигрышной не потому, что они предлагали более привлекательные идеалы, как предполагает Гаддис (Gaddis 1997), а потому, что они наделили своих клиентов большей экономической и военной властью. Это сработало лучше, чем в Юго-Восточной Азии, поскольку власть элит в Центральной и Латинской Америке не была ослаблена войной и антиколониальной борьбой. Политика США была обусловлена тем, что в их представлении цели холодной войны и задачи капитализма дополняли друг друга. По мнению американских лидеров, эта политика помогла исключить советское присутствие в Западном полушарии. Однако, поскольку латиноамериканцы вообще не желали советского присутствия ни в каком виде, того же можно было достичь более гуманными методами. Чтобы вампиры обходили тебя стороной, можно поесть чеснока, но это помогает лишь потому, что вампиров не существует. Капиталисты, особенно в добывающих отраслях, полагали, что политика США была успешной, поскольку сохраняла их высокие прибыли. Однако будь эта политика более прогрессивной, она почти наверняка ускорила бы экономическое развитие стран Западного полушария, а значит, увеличила бы и прибыли американских компаний.

Громогласные заявления США внутри страны об их демократической миссии в Западном полушарии были в основном показными. В реальности предпочтение отдавалось авторитарной стабильности. Самым весомым доводом против демократии было то, что в ней заложен риск нестабильности. США опасались демократии, поскольку понимали, что движения, стремящиеся к демократизации, преследуют при этом и цели гражданских прав, и потому боялись, что такая комбинация породит коммунистические иллюзии. Американский бизнес, связанный с интенсивной эксплуатацией рабочей силы в странах Западного полушария (прежде всего на плантациях), был заинтересован в подавлении левых, чтобы удерживать низкими зарплаты. Поскольку именно эта группа капиталистов активнее других лоббировала свои интересы в Вашингтоне, политическую паранойю трудно отделить от их корыстных интересов. Разумеется, сами американцы паранойей это не считали. Оценивая риски, связанные с проведением реформ, они рассуждали так: зачем рисковать, если наша военная мощь может обеспечить стабильность? Вот почему один лишь капиталистический интерес не является достаточным объяснением. В этом регионе американское военное превосходство диктовало как мотивы, так и методы вмешательства. Политики США считали, что с помощью сравнительно небольших затрат смогут гарантированно помешать левым прийти к власти либо сохранить ее. И они были правы, хотя с практической и нравственной точки зрения

это была не лучшая политика. Таким образом, эта часть неформальной американской империи имела две необходимые причины, в совокупности составлявшие достаточную: стремление к краткосрочной прибыли и стремление избежать нестабильности/коммунизма, параноидальный элемент последнего был замаскирован уверенностью в военном превосходстве. Отметим преимущество этой политики с политикой американского империализма в Западном полушарии в начале XX в. (см. главу 3 тома 3). Основное различие состоит в том, что тогдашние страхи нестабильности имели под собой расистские, а не антикоммунистические основания.

По вопросам внешней политики в руководстве США всегда существовали разногласия. Порой взгляды на эту политику не совпадали у Госдепартамента и ЦРУ. Если в 1950-е гг. Конгресс США был бастионом фанатичного антикоммунизма, то позднее он стал проявлять интерес к распространению демократии. Более прогрессивными были демократические администрации Трумэна (в ранний период его президентства), Кеннеди (с оговорками) и Картера. Кроме того, в США существовали и региональные разногласия. Самым консервативным регионом был Юг, а большинство оборонных предприятий было расположено именно на юго-западе. И там и там одобряли агрессивную международную политику США (Trubowitz 1998: глава 4). Однако в общенациональном масштабе споры на эту тему тонули в общем равнодушии, так как антикоммунистический патриотизм сочетался с отсутствием публичного интереса (невысокие расходы на оборону, отсутствие призыва в армию, низкая информированность). Расходы на военное вмешательство оплачивались не из избирательных фондов политиков, а из кармана налогоплательщиков, о чем последние не знали (Domínguez 1999: 48). Когда становились явными кровавые тайные операции вроде тех, что проводились в Гватемале и Никарагуа, они находили слабый отклик в средствах массовой информации. Никто не был уволен, и политики почти всегда избегали серьезной ответственности. Таким людям, как Оливер Норт, сходили с рук даже убийство.

Эффект этой политики ощущался на всех ступенях бюрократической лестницы. Посольства США в регионе были обязаны детально отслеживать деятельность горстки местных коммунистов и прочих левых, а содержание отчетов должно было соответствовать ожиданиям вышестоящего начальства. Если посольства докладывали, что местные коммунисты малочисленны и дезорганизованы, то это могло стоить дипломатам утраты доверия и карьерных перспектив (Lowenthal 1995: 154–155). Эксперты из США не понимали регионального политического

климата, который отличался от американского. Примитивный антиамериканизм и призывы к всевозможным реформам, которые их авторы нередко объявляли революционными, оказывались пустой риторикой партийных группировок, являвшихся не более чем клиентелой местных олигархов или каудильо и не обладавших существенным идеологическим багажом.

Тем не менее США не были всемогущи; кроме того, латиноамериканские друзья часто их обманывали. Военная поддержка и программы обучения, предоставлявшиеся американцами, вовсе не означали негативного отношения США к власти военных в латиноамериканских странах, как предполагают Хаггинс (Huggins 1998) и Гилл (Gill 2004). Местные военные быстро поняли, что в разговоре с американским военным атташе, с поставщиком оружия или с товарищем по учебе в «Школе Америк» будет полезно назвать своих политических противников коммунистами (Atkins and Wilson, 1998: 128–136). Американские дипломаты поддерживали связи с богатыми образованными элитами и проникались их анализом политической ситуации. Затем на потребу вашингтонским политикам была предложена консервативная — в духе простой дихотомии холодной войны — тенденция называть всех левых латиноамериканцев коммунистами (Gambone 2001; Miller 1989: 49). Представители латиноамериканской элиты получали образование в американских университетах, посол Боливии в США играл в гольф с семьей Эйзенхауэра, Трухильо заводил друзей на Капитолийском холме. Позиции неформальной империи США в Западном полушарии укрепляла солидарность правящих классов. Ее прогрессивным аспектом было то, что она подрывала расовые предрассудки. Расизм, характерный для более ранних документов Госдепартамента (см. главу 3 тома 3), исчез из более поздних документов, чему во многом способствовал успех движения за гражданские права в США.

Отныне в странах Латинской Америки политикой США двигал не расизм, а антикоммунизм. Начиная с 1959 г. в администрации США опасались «второй Кубы» больше, чем собственной чрезмерной реакции на нее (как в случае, когда президент Джонсон направил в Доминиканскую Республику десант морской пехоты). Миф об отставании США от СССР в сфере ракетных вооружений был использован Джоном Кеннеди во время президентской кампании и принес ему победу на выборах 1960 г. Опасения Джонсона стать первым президентом, проигравшим крупную войну (во Вьетнаме), заставили его забыть о своем ощущении ее бесполезности. Картера обвиняли в том, что он «потерял» страны, где влияние США фактически отсутствовало, такие как Афганистан, Мозамбик или Южный



Йемен. Однако вопреки опасениям американцев, выявленным при опросах общественного мнения, крупных глобальных преимуществ Советы не получили. Для них вспыхнувший и быстро погасший кубинский факел стал тяжким бременем. Рост национализма в странах третьего мира был одинаково болезненным явлением как для СССР, так и для США. Ни та ни другая сторона не могли контролировать его в глобальном масштабе. Несмотря на это, попытки обвинить Картера в переменах, произошедших в Афганистане, Южном Йемене или Иране, многим американцам казались вполне оправданными, особенно в свете его неудавшейся попытки спасти американских заложников в Тегеране (Wiarda 1995: 70–73).

Обладатели имперской ударной мощи не желали лишней раз рисковать. Превыше всего ценились безопасность империи США и те гарантии, которые (якобы) гарантировало их превосходство в военной мощи. Однако эти гарантии были иллюзорными. Контроль США над миром вовсе не был таким прочным, как утверждали их апологеты или критики. Американские ставленники не были такими уж марионетками; они манипулировали коммунистическими фобиями США. Американский арсенал мер включал военное вторжение и экономическую блокаду и был призван разрушать, а не созидать. Соединенные Штаты могли воспрепятствовать вхождению левых в правительство. Если левые все же входили во власть, США могли ее дестабилизировать. Если же и это не помогало, США могли начать необъявленную войну либо экономическую блокаду и разорить страну, как они сделали на Кубе и в Никарагуа. Однако показательные репрессии не способствовали достижению позитивных целей. Если американская политика на Западе в целом соответствовала заявленной цели — способствовать миру, развитию и демократии, а политика США в Юго-Восточной Азии в конечном счете пришла к тем же задачам, то в Центральной и Южной Америке все было иначе. В Западном полушарии империя США в общем и целом препятствовала процессам установления мира, экономического развития и демократизации. Эта иррациональная политика США толкала центристов влево, нарушала стабильность и ослабляла экономику. И чем больше эти страны дистанцировались от США, тем лучше шли у них дела. В Западном полушарии империя США была выгодна лишь местным олигархиям и компаниям, эксплуатировавшим дешевый труд местного населения. К концу XX в., как указывает Брэндс (Brands 2010: 268), влияние демократии в Западном полушарии «было лишь немногим выше, чем в конце 1950-х гг., а качество этой демократии, вероятно, было ниже, чем после Второй мировой войны». Прогресс в Латинской Америке всерьез начался лишь

в первой декаде XXI в. К тому времени в большинстве стран региона установились умеренно левые и умеренно правые демократические режимы, а внимание США было приковано к другим частям света. Хотя основная ответственность за страдания, выпавшие на долю Латинской Америки, ложится на местные режимы, США упорно усугубляли меру этих страданий. Роль американской империи в Центральной и Южной Америке была негативной, то же касалось и роли советской империи.

## НЕНАДЕЖНЫЕ СТАВЛЕННИКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Этот регион имел громадное стратегическое значение, поскольку рядом с ним располагался Советский Союз, а в недрах региона залегала большая часть мировых запасов нефти — единственного вида сырья, без которого не может обойтись развитая экономика, особенно современная армия. Вторая мировая война показала Соединенным Штатам потенциальную важность ближневосточной нефти. Хотя 80% нефти, поставленной союзникам, была добыта на территории США, их внутренние запасы истощались, тогда как разведанные запасы Саудовской Аравии были огромными. В 1945 г. Госдепартамент доложил президенту Трумэну, что саудовская нефть является «колоссальным источником стратегической мощи и одним из величайших материальных благ в истории человечества» (Klage 2004: 30–32). Хотя США могли отдать нефть на откуп чисто рыночным силам (поскольку тот, кто обладал нефтью, был заинтересован в ее продаже), они этого не сделали, предпочитая безопасность и надежность, которую гарантировали военные и политические методы контроля. Прежде нефть уже привлекала в этот регион Великобританию и Францию, империализм которых практически не оставил там полезного наследия для местного населения. В 1916–1920 гг. эти две державы поделили между собой провинции Османской империи. Иран также находился под Британским протекторатом и поставлял англичанам нефть, но без особой выгоды для местного населения. В обеих мировых войнах арабы воевали на стороне Великобритании за обещанную им независимость и оба раза были обмануты. Это отличало их от евреев, которые, по мнению арабов, не сражались за Британию, однако получили собственное государство, нарезанное из массива арабских земель. После 1945 г. Великобританию в роли главной имперской державы сменили Соединенные Штаты, которые, впрочем, оставались за океаном и предпочитали закупать нефть через союзников. Аналогичные интересы

СССР в этом регионе были сдерживающим фактором, исключавшим (для обеих сверхдержав) возможность прямого захвата его территории. Максимум, на что они могли рассчитывать, это неформальная империя через заграничное регулирование и ставленников. Постепенно США выработали доктрину, допускавшую возможность прямой интервенции лишь в случае реальной угрозы нарушения нефтяных поставок.

В годы холодной войны основными союзниками США в регионе были племенные монархии, а союзниками СССР — арабские националисты, представители городских слоев, преследовавшие более прогрессивные цели. Однако в отсутствие массовой поддержки эти режимы скатывались к деспотизму. Лишь в Турции и Иране крестьяне, мелкие торговцы и рабочие обеспечивали существенную мобилизацию общественных сил. Во главе «социалистических» режимов Насера в Египте и баасистов в Ираке и Сирии в реальности стояли военные, мечтавшие направить свои страны по пути догоняющего развития, но превращавшиеся в деспотов. Монархии, обладавшие наибольшими запасами нефти, становились богатыми государствами-рантье, получали нефтяные доходы и распоряжались ими, не облагая своих подданных налогами. Если на Западе движущей силой демократии было недовольство существующими налогами, то здесь этот фактор полностью отсутствовал. Используя промежуточные переменные для контроля, мы обнаруживаем, что авторитарные режимы коррелируют не с исламом, а с нефтью и крупным землевладением (Bromley 1997). Для большинства арабов нефть была проклятием, «испращением шайтана», порождаящим деспотов и фантастическое неравенство.

Ни Соединенным Штатам, ни Советскому Союзу не удалось с легкостью находить союзников, полезных в масштабе всего региона. США в качестве союзника выбрали Турцию, в 1946 г. защитив ее от попытки Сталина насадить в пограничных турецких провинциях зависимое от СССР курдское государство. В благодарность Турция вступила в НАТО, разместив у себя военные базы США, нацеленные на СССР. Однако Турция не была нефтяной страной и не желала играть роль противовеса другим мусульманским странам. Саудовская Аравия стала союзницей США в 1945 г., заключив соглашение с Рувельтом, обещавшим ей военную защиту в обмен на доступ к нефти, которой у саудитов было больше, чем у кого-либо еще. К тому же ваххабизм — ветвь ислама, исповедуемая в Саудовской Аравии, был нетерпим к коммунизму. По условиям соглашения США гарантировали себе шестую часть импорта нефти, доходы от торговли которой поступали группе саудовских и американских компаний. Саудовская Аравия обязалась инвестировать нефтяные

доходы в экономику США. Таким образом, саудовские инвестиции оказались одним из важных факторов благосостояния американской экономики. Это плюс американская военная помощь в размере свыше 50 млрд долл. превратили Саудовскую Аравию в лояльного союзника, готового регулировать добычу нефти в зависимости от рыночной конъюнктуры для поддержания стабильных цен на нефть (Klage 2004). Саудовская Аравия была (и остается) самым полезным союзником США на Ближнем Востоке. Правда, в их отношениях есть проблема: их необходимо скрывать от народов обеих стран. В случае разглашения они окажутся в неловком положении. Поэтому США не могут прямо влиять на внутреннюю политику саудитов и открыто использовать королевство в своих региональных авантюрах. Впрочем, саудиты были во многом замешаны в тайную операцию «Иран-контрас» и в поддержку исламских повстанцев в Афганистане. Однако это не империя, а взаимозависимость. Каждая сторона получила то, чего хотела: одна — стабильные цены на нефть, другая — военную и политическую защиту (O'Reilly 2008: 70).

США пытались усилить свое влияние, поддерживая государственные перевороты. В 1949 г. в Сирии, а в 1952 г. в Египте их ставленники захватили власть, но вскоре были свергнуты офицерами-националистами. Гораздо больший успех ожидал США в Иране в 1953 г. Избранный премьер-министром Мосаддык возглавил неустойчивую националистическую коалицию, состоявшую из различных политических групп. Их объединяло стремление национализировать Англо-иранскую нефтяную компанию, что и было сделано в 1951 г., но ничего большего им добиться не удалось. Затем Мосаддык попытался заключить нефтяной контракт с англичанами на более выгодных условиях, оказавшихся для них неприемлемыми. Британцы упирались и не шли на компромисс. Они организовали бойкот иранской нефти и рассчитывали компенсировать ее потерю увеличением объема добычи на подконтрольных им месторождениях в Кувейте и Ираке. Добыча нефти в Иране резко упала, а с ней и популярность Мосаддыка, причем даже среди тех, кто был его главной опорой — средние городские слои (торговцы, лавочники и ремесленники), рабочие и новый зависимый от государства средний класс. Главными противниками премьера были шах, помещики и консервативные политики, однако своим либерализмом и антиклерикализмом Мосаддык оттолкнул от себя также армию и духовенство. По мере того как ситуация в стране накалялась, он впадал во все большую зависимость от левых (особенно от компартии) и, казалось, готов был провозгласить республику. Это усилило враждебность к Мосаддыку со стороны монархистов, помещиков и большинства среднего класса.

Мало того, он оттолкнул от себя и администрацию президента Эйзенхауэра. Американцы рассудили так: если позволить ему остаться у власти, то это вызовет экономические трудности и хаос, который откроет двери для коммунистического переворота — традиционного кошмара для руководства США. После того как в Америке Эйзенхауэр сменил Трумэна, а в Англии на смену Черчиллю пришел Эттли, страхи усилились. Консерваторы боялись, что националистические реформы в Иране приведут к коммунизму и ссылались на Китай и Корею. На этих опасениях и играл Черчилль, снабжавший Вашингтон ложной информацией о силе иранских коммунистов и предполагаемых коммунистических симпатиях Мосаддыка (Kandil 2012; Parsa 1989: 41–45; Marsh 2005; Bill 1988: 85).

По мере поляризации страны Мосаддык все острее чувствовал нависшую угрозу государственного переворота. Его ответом стал роспуск парламента, однако по конституции сделать это мог только шах. Распустив парламент, Мосаддык утратил легитимность в глазах всех иранцев, исключая левое крыло. Консерваторы, помещики, аятоллы собирали толпы погромщиков. В этом им содействовало ЦРУ, вопреки нерешительности вашингтонских политиков подкупавшее участников массовых беспорядков (Kinzer 2004; Gasiorowski and Byrne 2004). Полиция и армия были парализованы: кого поддержать — конституционно избранного премьер-министра или не менее законного монарха и легитимный парламент? Бездействие армии и полиции продолжалось и после изгнания Мосаддыка, а затем они признали это как свершившийся факт. События в стране не были военным переворотом либо американским заговором. Это был внутренний политический конфликт с участием народа, направленный против государственного деятеля, утратившего поддержку сил, приведших его к власти. Как отмечает Кандиль (Kandil 2012), миссия Соединенных Штатов (и Великобритании) заключалась лишь в том, чтобы «распахнуть незапертую дверь».

После разгона Туде, компартии Ирана, начались чистки в армии, полиции и гражданской администрации. К власти вернулся шах Мохаммед Реза Пехлеви, позиции которого только укрепились. Этот переворот уничтожил шанс на появление в Иране демократии и национальных автономий. Он оттолкнул от монархии не только пролетариат, но и растущий средний класс; политическая оппозиция заведомо считала шаха американской марионеткой (Kian-Thiebaut 1999: 99–119). Увязнув в болоте Вьетнамской войны, США рассчитывали на то, что защиту их интересов на Ближнем Востоке возьмут на себя Иран и Саудовская Аравия (O'Reilly 2008). Какое-то время единственным

лояльным союзником США в регионе был шах, поддерживавший проамериканские силы во всех странах Ближнего Востока. Тем не менее со временем этот альянс ослабел. Иран не являлся ни арабской, ни суннитской страной и не мог влиять на другие нефтедобывающие страны в проамериканских интересах. Кроме того, шах был не вечен. Революцию 1979 г., свергнувшую шаха, мы обсудим в главе 9.

Администрации США сфокусировались на обеспечении свободного перемещения мировой нефти вопреки советскому влиянию (в соответствии с политическими документами NSC5401 и NSC5820/1), а также на превентивных мерах защиты западных нефтяных компаний от нарастающей волны экономического национализма. К тому времени последний уже добился принятия резолюции ООН, осуждавшей передачу природных ресурсов суверенных стран в концессию иностранным компаниям. Кроме того, проекты национализации становились все более привлекательными в глазах всех нефтяных режимов как правого, так и левого толка. Эйзенхауэр и Даллес надеялись обрести союзников США в лице умеренного арабского национализма, но отказались от этой идеи, заподозрив, что объявленный ими «позитивный нейтралитет» может стать «орудием коммунизма». Предпочтя им консервативные режимы, не гарантированные от восстания, США потребовали от них проведения реформ, однако без особого успеха. Столь же мало преуспели Эйзенхауэр, Кеннеди и Джонсон в урегулировании арабо-израильского конфликта. Это объясняется не столько неудачами американцев, сколько неуступчивостью Израиля и амбициями Насера. Израиль не желал поступиться своей безопасностью и не отказался от программы создания ядерного оружия, а Египет отверг заигрывания американцев и не отказался от советских вооружений. Здесь американцам не помог даже выход из проекта строительства Асуанской плотины. Соединенным Штатам не удалось изолировать Египет и пришлось ограничиться защитой своих союзников — Иордании, Сирии и Ливана — с помощью непопулярных интервенций. В 1958 г. Сирия заключила союз с Египтом. Дела у США пошли бы совсем скверно, если бы в 1962 г. Насер не втянулся в собственную «вьетнамскую войну». Египетские войска численностью до 40 тыс. человек вмешались в гражданскую войну в Йемене против консерваторов, поддержанных саудитами, но потерпели поражение и были вынуждены ретироваться (O'Reilly 2008: 71–74).

На этом фоне укреплялись связи США с Израилем. Предпочтение перед арабами было отдано евреям не только по религиозным, но и по этническим соображениям. В голливудской киноленте «Ориентализм по-американски» евреи были изобра-

жены храбрыми поселенцами (аналог пионеров американского фронта), создавшими демократическое государство в окружении примитивных аборигенов (Little 2002; Mart 2006). Однако симпатии США к Израилю имели и электоральные обоснования. Весьма скоро американские политики поняли, что победить в двух крупных штатах — Нью-Йорке и Флориде — невозможно, не заручившись поддержкой сплоченного и состоятельного еврейского произраильского лобби. Администрация США столкнулась с нелегким выбором из ряда конкурирующих стратегических целей. В противостоянии с Советами им требовалась поддержка со стороны мусульман, но нефтяная зависимость США от Саудовской Аравии вынуждала их самих поддерживать этот реакционный режим, подрывавший арабские режимы левой ориентации. При этом непопулярные концессии нефтяных компаний и американская поддержка Израиля отталкивали от США всех арабов без исключения. В то же время лоббисты нефтяных компаний выступали в поддержку нефтедобывающих стран и за сдерживание Израиля. Хотя администрация США действительно пыталась сдерживать Израиль, сделать это ей не удалось, поскольку там понимали: американцы, что бы там ни было, их никогда не бросят. Так, вопреки своим сомнениям Кеннеди продал Израилю высокотехнологичные ракеты *Hawk*, поскольку СССР поставлял Египту танки и самолеты. Позже Джонсон перестал давить на Израиль, с тем чтобы заставить его отказаться от ядерной программы или открыть ее для внешней инспекции. Теперь, когда исчезли надежды на урегулирование палестино-израильского конфликта, американское влияние на арабов стало еще менее ощутимым. Затем государственный переворот баасистов 1963 г. в Багдаде сделал национализацию иракской нефти неизбежной. Несмотря на зловещие предзнаменования, США, пытаясь посредничать в конфликте, проигнорировали требование нефтяных компаний начать силовую операцию. Однако иракцы и ливийцы, ободренные советскими обещаниями помощи и приватными соглашениями с Францией и другими странами, отвергли компромиссы и провели национализацию. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в связи с образованием картеля ОПЕК влияние Запада в регионе уменьшилось. Этот эпизод раскрывает как расхождение интересов правительства США и нефтяных компаний, так и ограниченный характер господства тех и других. Идеи национализма в странах третьего мира продолжали ослаблять экономическую и политическую роль западного империализма.

Угасание режима Насера и вырождение арабского социализма в военные диктатуры ослабляли и влияние Советского Союза. Шанс обрести союзника в лице нефтедобывающей стра-

ны был у Советов лишь в Ираке (Bass 2003; Ben-Zvi 1998; Yaqub 2003; Hahn 2004). Затем СССР переключился на Афганистан и страны Африканского Рога, которые на карте выглядят стратегически важными, но в реальности большой ценности не представляют. Из стратегических целей США две (обеспечение поставок нефти и сдерживание Советов) были все же достигнуты, несмотря на ситуацию вокруг Израиля. О своей демократической миссии на Ближнем Востоке американцы даже не заикались, поскольку с учетом характера союзных им режимов она все равно была невыполнима.

В 1980 г. в ответ на советское давление на Афганистан была провозглашена доктрина Картера. В ней говорилось: «Пусть наша позиция будет абсолютно ясной: попытки каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединенных Штатов Америки, и такое нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой». Нефть была слишком ценным сырьем, чтобы оставить ее на откуп рыночным силам. До возникновения на Ближнем Востоке реальной угрозы Соединенные Штаты намеревались воздерживаться от прямого вмешательства, сохраняя там присутствие своих боевых кораблей, поддерживая мир путем регулирования баланса сил между странами региона — так называемым офшорным регулированием. В 1981 г. президент Рейган ясно дал понять, что США будут защищать Саудовскую монархию, заявив: «Мы не допустим, чтобы там возник новый Иран». Кроме того, Рейган повысил статус американского военного присутствия в регионе, учредив Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (Centcom). Военная политика США становилась все более жесткой (Klage 2004). Однако вмешательство Рейгана в гражданскую войну в Ливане обернулось катастрофой, унесшей жизни 241 морского пехотинца США в результате бомбовой атаки смертника, что стало первым подобным случаем в регионе за послевоенный период. Войска США ушли из Ливана, за ними последовали и французские морские пехотинцы, также понесшие потери от взрывов бомб смертниками. Это дало толчок к формированию организации «Хезболла» и распространению тактики террористических нападений смертников. Впрочем, акты возмездия в виде воздушных ударов по Ливии в 1968 г. сделали полковника Каддафи более сговорчивым. Эти военные вмешательства были обусловлены не холодной войной, а конфликтом американской империи с тремя формами антиимпериализма — национализмом отдельных стран, панарабским национализмом и нарождающимся исламизмом.



США установили еще более тесные отношения с Израилем. Если Эйзенхауэр угрожал Израилю, а Картер был беспристрастен к Израилю и Палестине, пытаясь усадить их за стол переговоров, то все последующие президенты лишь призывали Израиль не отвергать дипломатию. При этом израильтяне прекрасно понимали, что могут делать практически все, что заблагорассудится, и это все равно не заставит Америку их бросить или хотя бы сократить объем помощи по электоральным соображениям. Власть Израиля над Соединенными Штатами измерялась не в баррелях нефти, а в голосах избирателей. Это не устраивало нефтяные компании, которым мешала враждебность нефтедобывающих стран. Во время войны 1973 г. они призвали администрацию Никсона воздержаться от срочных (авиатранспортных) поставок вооружений Израилю, на что президент ответил: главные обязательства США — перед еврейским государством. Поставки вооружений продолжались. Это еще раз показывает, что американский империализм руководствовался не только капиталистическими мотивами (см. Kelly, готовится к публикации). Свой негативный вклад внес и Киссинджер, поощрявший израильский милитаризм и политику расширения поселений и отвергавший советские призывы к широкомасштабным мирным переговорам. Предвзятость в пользу Израиля стала характерной чертой политики США, обусловившей срыв мирного процесса и дальнейшее охлаждение отношений с арабскими странами. Это продолжается по сей день (Tyler 2009; Khalidi 2009). Разумеется, Израиль был полезным союзником в тайных операциях, проводившихся в годы холодной войны, но таковыми были и Иран, и Саудовская Аравия. Решающую роль сыграло давление, оказанное еврейским израильским лобби в Соединенных Штатах и растущим военно-промышленным комплексом обеих стран. Ведущим партнером в этом альянсе был Израиль, умевший навязать Америке свою игру, — тот случай, когда «хвост виляет собакой». Американская политика на Ближнем Востоке содержит в себе гигантское противоречие. Притом что главным жизненным интересом США в регионе была защита нефти, их ближайшим союзником был Израиль — единственная страна, максимально раздражавшая все нефтедобывающие государства. Итак, стратегию США на Ближнем Востоке диктует не политический реализм (*realpolitik*), а изрядная путаница в головах самих американских стратегов.

В начале 1970-х гг. нефтяной картель ОПЕК решил взвинтить цены на сырье. Это был единственный случай, когда производители нефти предприняли согласованные действия по реструктуризации рыночных сил. Поскольку ведущую роль в картеле играли союзники США — Саудовская Аравия и Иран (все еще

при шахе), американцы не планировали интервенцию, признав тем самым бессмысленность применения силы ради обеспечения поставок. Не воевать же с друзьями, даже если те закручивают экономические гайки. Разумная нефтяная политика должна быть иной: надо предоставить свободу рыночным силам и смириться с манипуляциями, которыми занимаются друзья.

Таким образом, США переложили бремя нефтяных цен на плечи своих граждан, которые теперь дороже платили за бензин. Кроме того, рост цен на нефть уменьшил объем ВВП и повысил уровень безработицы. Несмотря на это, нефтяные компании были довольны введением эмбарго, поскольку с ростом цен росли и их прибыли — интересы бизнеса вновь не совпали с интересами государства. Наконец, администрация США пошла на компромисс с нефтедобывающими странами. Те получали право на дополнительную прибыль, но ее следовало инвестировать в экономику Запада, обеспечивая оборот нефтедолларов. Кроме того, производители нефти могли использовать прибыль для закупки вооружений за границей. Поскольку половина закупок приходилась на США, такие условия были с восторгом встречены еще одной важной американской отраслью. Разумеется, те же последствия ощутили на себе европейцы: гражданам — головная боль, нефтяным компаниям и военным отраслям — дополнительная прибыль.

Затем в регионе завели двух «сукиных сыновей». Первым был исламизм, внедренный в Афганистан для борьбы с Советами; второй — режим Саддама Хуссейна, внедренный для борьбы с исламистским Ираном. Оба получали военную помощь и были полезны, пока не восстали против Америки. Несмотря на военный нажим на страны региона, Соединенные Штаты по-прежнему не могли найти надежных полезных союзников. Некоторые в Вашингтоне забеспокоились о своих деловых интересах на Ближнем Востоке, поскольку казалось, что США надолго увязли в регионе, опираясь на сомнительных партнеров — нефтяных шейхов и непопулярный Израиль. Обстановку во многом разрядил крах СССР, однако неформальная американская империя по-прежнему полагалась на своих малонадежных ставленников. Какова бы ни была риторика, высокой миссии США в регионе не имели. Хотя нефть поступала без перебоев, многие американцы считали, что работа не закончена. Казалось, что развал СССР позволяет поставить в этом вопросе точку. Однако это было иллюзией. Во все времена главным противником американской империи на Ближнем Востоке был не Советский Союз, а региональный антиимпериализм. Пагубные последствия этих событий проявятся в начале следующего века. Их я рассматриваю в главе 10.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я подчеркнул различия между четырьмя макрорегионами, находящимися в сфере влияния США. В зависимости от географических и исторических предпочтений американскую политику можно описывать с разных точек зрения, и такие попытки регулярно предпринимаются. Апологеты США, равно как и те, кто отрицает американскую империю, фокусируются на Западе или на современной Азии; марксистские критики империализма, подчиненного капитализму, фокусируются на Центральной и Латинской Америке; прочие критики империализма фокусируются на раннем этапе американского империализма в Азии или на всем периоде американского империализма на Ближнем Востоке. На Западе власть Америки носила не имперский, а гегемонистский характер и была признана странами, объединенными плотной сетью институтов, в которых главную роль играли США. Такие страны процветали в основном благодаря собственным усилиям, хотя этому способствовала экономическая взаимозависимость и система коллективной безопасности во главе с США. В Азии успешное развитие и в конечном счете некоторая демократизация были достигнуты благодаря щедрой экономической помощи США тем государствам, стратегия которых была откровенно девелопменталистской. После в основном неудачной серии военных интервенций США в азиатском регионе американская гегемония здесь приняла нежесткий, необременительный характер.

В Западном полушарии социальные и политические конфликты носили затяжной характер. Их размаха было недостаточно, чтобы вызвать большое число межгосударственных либо гражданских войн, но достаточно, чтобы существенно затормозить экономическое или демократическое развитие. Здесь на протяжении всего периода холодной войны присутствие американского милитаризма так или иначе сохранялось в виде неформальной империи, которая насаждалась с помощью канонерок, секретных операций и политических марионеток. Канонерки применялись против малых стран Центральной Америки, которые были слабыми, находились вблизи США и были удобны для военного вторжения. В Южной Америке основными инструментами политики США были секретные операции и марионеточные группировки, что означало несколько меньший американский контроль над регионом. Здесь военные вторжения США не могли быть эффективными; гораздо полезнее была бы американская поддержка реформ, предлагавшихся левоцентристами. Тем не менее руководство США было не-

безосновательно удовлетворено результатами своей политики в Западном полушарии: разве осмелился коммунизм сунуться в этот регион, рассуждали они.

В конце концов дело насаждения американского империализма на Ближнем Востоке осталось незавершенным. Экономическое и демократическое развитие региона пострадало из-за нефтяного проклятия; в то же время межгосударственные конфликты и эскалация палестино-израильского конфликта являлись факторами, компрометирующими политику США. Здесь Вашингтону хуже удавалось сочетать неформальную заморскую империю, военные угрозы и не слишком полезных ненадежных союзников (хотя и у СССР дела обстояли не лучше). Нефть действительно поступала бесперебойно, но так было бы и при любых других обстоятельствах.

Там, где США полагали, что могут повлиять на внутреннюю политику тех или иных стран, что после 1950 г. уже было невозможно по отношению к Европе и Японии, они обычно поддерживали консервативные элиты в противовес более прогрессивным силам. Тому было пять причин. Во-первых, насаждаемая в США антикоммунистическая паранойя (выгодная в электоральном плане) раздувала масштаб коммунистической угрозы за рубежом, ложно приравнивая к коммунистам центристов и левых реформистов. Очевидно, фактор идеологии возоблада над инструментальным разумом. Иначе дела обстояли в Европе, где США различали коммунистов и социал-демократов (вероятно, из-за нужды в союзниках там, где непосредственно ощущалась советская угроза). Однако последняя мало где себя проявила. Нигде в мире (за исключением СССР) у власти не находилась компартия, входившая в Коминтерн. Уже будучи в ссылке, Лев Троцкий обвинил Советский Союз в искусственном сдерживании (вместо распространения) мировой революции и во многом был прав (Halliday 1999: 110–116). Во-вторых, по мере того как паранойя холодной войны ослабевала, страх перед СССР уступал место (описанному в предыдущей главе) непреднамеренному движению по направлению к консерватизму — именно он начинал снижать интерес США к реформам за границей. В-третьих, в военных интервенциях США марксистские исследователи усматривают корыстный мотив: американским компаниям требовались условия для извлечения максимальной прибыли. Однако такая политика была недальновидной: удержание зарплат на низком уровне сдерживает потребление, развитие экономики и в конечном счете рост прибылей. Более выгодной для экономики США была бы поддержка реформ в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии наподобие тех, что были инициированы в Европе и Восточной

Азии. В-четвертых, политика США часто определялась не погоней за прибылью, а соображениями собственной безопасности. Военная помощь иностранным режимам в подавлении левых (независимо от характера этих режимов) представлялась менее рискованной, чем содействие их переходу к политическому и социальному гражданству. Военная власть США позволяла избежать экономических и политических рисков (или так полагали американские политики). В-пятых, там, где действительно существовали связи между местными движениями и советскими (или китайскими) коммунистами, применявшаяся Соединенными Штатами тактика выжженной земли и вправду удерживала других от заигрывания с коммунизмом. По своему варварству эта стратегия была не лучше стратегий, применявшихся древними империями, — та же рациональность жестокого насильника.

Эти мотивы заглушают большую часть слов о благородной миссии, звучавших в речах американских политиков внутри США. На практике администрация США больше ценила стабильность, нежели политическую свободу, и отождествляла авторитаризм со стабильностью, а демократию — с рисками. США поддерживали выборы, если там побеждали их союзники, но стоило дяде Сэму услышать о планах земельной реформы или о перераспределении доходов, как его рука тянулась к револьверу (впрочем, обычно то была рука местного ставленника). Ряд американцев выступали за более прогрессивную политику, и эта линия на какое-то время одерживала верх, например в 1945 г., затем при Кеннеди («Союз ради прогресса»), еще позднее при Картере (декларации о защите прав человека). Как можно заметить, демократические администрации были несколько гуманнее республиканских. По мере демократизации мирового пространства и активизации прогрессивной общечеловеческой риторики США, но не политическая практика. После распада СССР американские политики, наконец, перешли к конкретным действиям, впрочем не проявляя особого рвения вплоть до событий «арабской весны» 2011 г. В случаях, связанных со стратегическими соображениями, США оказывали некоторым странам и экономическую помощь. Так, в Юго-Восточной Азии, где Соединенные Штаты реально опасались установления коммунистического режима, их помощь Японии, Южной Корее и Тайваню обеспечила процветание этих стран в рамках глобальной экономики под эгидой США.

Опыт Европы и Юго-Восточной Азии по расширению персонального, политического и социального гражданства плюс экономический рост при государственной и американской помощи пошел на пользу как мировой экономике, так и эконо-

мике США. Такой капитализм был эффективен в Европе, однако в своем полушарии США его не поощряли и допускали лишь там, где существовала угроза распространения коммунизма, для отражения которой требовалось сотрудничество местных властей. Таким образом, американская империя была выгодной и рациональной лишь для тех стран, которым реально грозил захват власти коммунистами. Из всего этого можно заключить, что империя/гегемония США преуспела бы гораздо больше, если бы способствовала, а не препятствовала реформам. В этом смысле ее сходство с британской и японской империями было большим, нежели американцы готовы были признать.

Однако по мере того как американцы убеждались в ослаблении коммунистической угрозы, становился легче и гнет их империи. Власть американской империи за рубежом стала слабее, чем доказывают ее апологеты и критики (то же ранее произошло с Британской империей). Власть Соединенных Штатов за границей была гораздо больше нацелена на разрушение и блокирование позитивных перемен, нежели на их поощрение. Вероятно, власть США была слабее, чем власть прежних империй, поскольку не направляла колонистов и поскольку глобальный рост национализма и государств-наций вызывал большое сопротивление империализму. Американское господство сегодня — это скорее гегемония, чем империя, хотя и глобальная, но довольно поверхностная. В новом тысячелетии Соединенные Штаты попытаются эту тенденцию переломить (как мы увидим в главе 10).

Наконец, их советский противник приказал долго жить. По мере удорожания орудий войны Советам приходилось поддерживать военную мощь в ущерб экономическому росту. И поскольку ядерное оружие сделало войну бессмысленной, а главным фактором холодной войны стало экономическое соперничество, Запад получил огромное преимущество. После 1951 г. Китай даже не пытался соперничать с Западом по уровню вооружений, хотя в позднейший период достиг сопоставимых успехов в экономике, скрестив социализм с капитализмом. США склонны рассматривать крах коммунизма как победу Америки, чем он отчасти и был. Однако, как мы увидим, провал коммунистических режимов объясняется, в сущности, их собственными противоречиями, главным образом политическими и экономическими, за которыми последовал и распад коммунистической идеологии.

## ГЛАВА 6

# Неолиберализм:

### подъем и спад, 1970–2000 годы

#### ВВЕДЕНИЕ: НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

**В** НАСТОЯЩЕЙ главе, прежде чем перейти к неолиберальным неурядицам конца XX в., я прослежу процесс сдвига доминирующей политэкономической парадигмы от неокейнсианства к неолиберализму. Продолжение этой темы читатель найдет в главе 11, где дан анализ явления, которое я называю Великой неолиберальной рецессией 2008 г. Поскольку в главах 2 и 5 я уже говорил о неокейнсианстве, здесь достаточно будет лишь краткого повторения. Послевоенная политическая экономия была, в сущности, не чисто кейнсианской, а представляла собой ее синтез с классической рыночной теорией, именуемый по-разному: «неокейнсианство» (я буду использовать этот термин), «коммерческое кейнсианство» и «встроенный либерализм» (*embedded liberalism*). Упомянутый синтез получился в результате введения кейнсианских механизмов в неоклассические модели общего равновесия. Целью синтеза было достижение полной занятости посредством мягкого инфляционного стимулирования, но только в рамках более или менее сбалансированных бюджетов.

Неокейнсианство является не просто экономической политикой. Это — продукт общей идеологии реформизма, который воплощает прагматический компромисс, достигнутый в ходе классовой борьбы, волной прокатившейся по всему Западу в результате Второй мировой войны. Эта война, как и ее предшественница — Великая война, вызвала повсеместную радикализацию. Послевоенная вспышка трудовых конфликтов напоявила рабочие волнения, происходившие после Первой мировой войны, однако на сей раз их было меньше в развитых странах и гораздо больше — в колониальных (Silver 2003: 125–130). И если беспорядки в колониальном мире привели к политическим революциям, то в развитых странах результат был однозначно реформистским. Это произошло главным образом потому, что победители — даже США — были сами уже пропитаны рефор-

мизмом, а еще потому, что побежденные державы были оккупированы и подверглись реконструкции. Почти во всех странах Запада, а также в Японии это усилило тягу к социальному гражданству — стремление к полной занятости, перераспределению доходов через налоговую систему, полному признанию прав профсоюзов и свободы ведения коллективных переговоров, а также построению государства всеобщего благосостояния. Это был золотой век капитализма.

В конце 1970-х гг. начался неолиберальный поворот как реакция не только против неокейнсианства, но и против импортозамещающей индустриализации в экономически менее развитых странах, а также против Бреттон-Вудской системы ограничения потоков капитала. Все эти категории подчеркивали роль государства в организации капиталистического развития. Реализация различных вариантов неолиберальной политики, в большей мере ориентированных на рынок, всерьез началась после 1980 г. В этой главе я прослежу историю их возникновения, успехов и неудач. Я постараюсь отделить неолиберализм от других современных течений, оказывающих давление на государство, и от консерватизма, в союзе с которым он выступает. Я провожу различие между коллективной и дистрибутивной властью неолиберализма. Как мы увидим, его коллективная власть — его эффективность — была незначительной. Неолиберализм больше преуспел благодаря своей дистрибутивной власти, осуществляемой в интересах более сильных классов и наций за счет менее сильных. Кроме того, проникновение неолиберализма по всему миру было неравномерным. Я не согласен с теми, кто наделяет неолиберализм огромной глобальной властью (Harvey 2005; Wacquant 2002). Подавляющим его влияние было лишь в англосаксонских странах, да и то лишь во взаимодействии с возрождающимся консерватизмом.

Составной частью неолиберализма является рыночный фундаментализм. Его гипотеза эффективных рынков предполагает, что рынки всегда максимизируют богатство, а стремление акционеров к увеличению стоимости в краткосрочной перспективе обеспечивает максимальную эффективность конкретных предприятий (Davis 2009). Не мешайте развитию экономических отношений, уберите контроль со стороны государства или общественных организаций, и они дадут оптимальный результат — такие настроения были характерны для неоклассической экономической теории, возобладавшей в англосаксонских странах начиная с 1970-х гг., и для ведущих экономических журналов, таких как *Wall Street Journal* и *Economist*. Сторонники неолиберализма призывают не только освободить товарные рынки и международные потоки капитала, дерегулировать рынки тру-



да и сбалансировать государственные бюджеты, но и вообще сократить государственное вмешательство в экономику. В развивающихся странах глобального Юга эта политика осуществлялась посредством программ структурных реформ, навязанных странам — должникам МВФ, Всемирным банком и прочими международными банками. В развитых странах глобального Севера неолибералы стремились к дерегулированию сферы финансов и приватизации. Повсюду они выступали против профсоюзов и государства всеобщего благосостояния. Идеалом для неолибералов являлся капитализм, свободный от государственного контроля, где экономика доминирует над политикой, а транснациональная власть — над национальной.

Экономическая теория неолиберализма встроена в идеологию, считающую рынок естественным феноменом, гарантирующим свободу личности, как это следует из названия знаменитой книги Милтона Фридмана «Капитализм и свобода» (Friedman 1962). Эта идеология, будучи универсальной, является аналогом социализма или христианства и подобно им ощущает присутствие в обществе сил добра и зла; она не просто отвергает кейнсианскую политику как неэффективную, но считает ее ведущей к рабству. Неолиберализм дистанцируется от либерализма XIX в. в двух отношениях: он не видит проблем в появлении крупных корпораций, зато осознает ужасы этатизма, в начале XX в. воплотившегося в социализм и фашизм. Отсюда название еще одной знаменитой работы Фридриха Хайека «Дорога к рабству» (Hayek 1944). Политэмигрант, нашедший убежище в Великобритании, он полагал, что после войны эта страна выберет социалистическую политику, которая, как он утверждал, приведет к тому же рабству. Хайек не был против любого государственного регулирования, но выступал за то, чтобы оно сводилось к немногим функциям, к таким, например, как обеспечение верховенства закона, равного доступа к рынку для всех и минимального уровня социального страхования для нуждающихся.

Неолиберализму присущи четыре теоретические слабости. Во-первых, рынок в действительности не является естественным феноменом. Поланы, говоря о политике *laissez-faire* XIX в., выразил это следующим образом: «В политике *laissez-faire* не было ничего естественного; свободные рынки никогда не появились бы на свет, если бы люди полагались на естественный ход вещей. Подобно тому как прядильные мануфактуры были созданы с помощью заградительных тарифов, льгот для экспортеров и косвенного субсидирования заработной платы, политика *laissez-faire* была навязана [обществу] государством» (Polanyi 1957: 139). Для функционирования рынков требуется, чтобы в обществе были распространены нормы и правила, к соблюдению ко-

торых принуждает правительство. Последние гарантируют права собственности, правила обмена и законные формы контроля, с помощью которых рынки становятся эффективными и предсказуемыми. Государства не противостоят рынкам — они им необходимы. Мало того, Поланьи отмечает, что уже в условиях «саморегулирующегося рынка» XIX в. возникли движения, противостоявшие идеям *laissez-faire* и обеспечившие вмешательство государства в такие разнообразные сферы, как трудовое и земельное законодательство, заградительные тарифы, регулирование банковской деятельности и международная координация денежной политики. С помощью этих механизмов различные классы общества — наемные работники, землевладельцы и предприниматели — стараются защитить себя от угрозы дезинтеграции рынков. Поланьи не мог предвидеть, что произойдет еще один разворот тренда — к политике неолиберализма.

Во-вторых, неолиберализм является, подобно социализму, утопической идеологией. Процесс управления реальным обществом не мог бы происходить посредством саморегулирования рынков. Как социализму, в реальном мире неолиберализму приходится заключать компромиссы с другими акторами власти и с самой действительностью. Это означает, что он принимает разные обличья, в одних случаях — умеренные, в других — радикальные (реформистские либо революционные). Есть неолибералы, желающие ограничить роль государства мягко и выборочно, однако есть и те, кто стремится к тотальным переменам. В реальном мире неолиберализм нередко становится инструментом в руках заинтересованных групп, вскоре нарушающих его принципы, что мы видели на примере коррупционной приватизации. По меткому замечанию Харви, неолиберализм как теория и как практика разрывается надвое. Беря за основу практику, Харви полагает, что неолиберализм — это не столько «утопический проект, призванный реализовать концепцию реорганизации глобального капитализма», сколько «политический проект... [призванный] восстановить власть экономических элит». Как станет ясно далее, я отчасти с этим согласен. Кроме того, на практике неолибералы сотрудничают с консерваторами, стремящимися продвигать свои «национальные интересы» в пику другим странам, навязывать обществу гигантские военные расходы, мораль правящих классов и жестокость полицейских и тюремных властей. Как ни парадоксально, все это — характеристики «сильного» государства. Харви считает все это необходимым, для того чтобы на рынках доминировали силы порядка, ибо сами по себе рынки способны вызвать хаос (Harvey 2005: 19, 82). Однако такой подход слишком функционален и не оставляет консерваторам свободы действий. Кроме того,

по природе неолиберализм транснационален и несовместим с национализмом. Если неолибералы и одобряют этатизм или национализм, то либо потому, что в их сознании консерватизм преобладает над неолиберализмом, либо потому, что в альянсе с консерваторами они видят оптимальное средство реализации желаемых реформ. Для достижения своих целей неолибералы, как и социалисты, вынуждены идти на компромиссы с реалиями власти. В рамках того, что часто называют неолиберальным движением, я выделяю четыре тенденции: принципиальный неолиберализм, акцентирующий рынки и индивидуализм; интересы капиталистов; интересы политических элит; консерватизм, использующий государство, чтобы навязывать обществу закон и порядок, моральные нормы, национализм и милитаризм. Хотя эти четыре компонента частично пересекаются, аналитически будет полезно их разделить.

В-третьих, рынки не упраздняют власть, как утверждают неолибералы, а по-другому ее распределяют. Если дать рынкам больше власти, то возрастет власть тех, кто уже располагает большей частью рыночных ресурсов (например, недвижимостью или дефицитными навыками), и сокращается власть тех, у кого рыночных ресурсов меньше. Тенденция ряда неолибералов выступать против антимонопольного законодательства (они считают, что крупные корпорации могут повышать эффективность за счет эффекта масштаба) поощряет еще большую концентрацию власти в рыночных структурах, что, в свою очередь, еще больше усиливает крупные корпорации (Crouch 2011). Ограничивая политическую власть, эта тенденция лишает народ государственной власти для осуществления радикальных изменений. Таким образом, эта тенденция ведет к выхолащиванию политической демократии. Как подчеркивает Штрик (Streich 2011), между капитализмом и демократией существует непреодолимое противоречие, которое в рамках неолиберализма выходит на передний план.

Таким образом, вопрос экономистов об эффективности — коллективной власти — следует дополнить другим вопросом о дистрибутивной власти: кому это выгодно? Как все экономические программы, неолиберализм выгоден одним больше, чем другим, а в тех, кому он наносит ущерб, неолиберализм вызывает сопротивление. Здесь я сосредоточиваюсь на том, какие классы и государства от этого выиграли, а какие — проиграли и кто из проигравших нашел силы сопротивляться. Неолиберальная политика отдает приоритет инвесторам перед рабочими, богатым перед бедными. Неолибералы не отрицают таких последствий своей политики в краткосрочной перспективе, доказывая ее необходимость для обеспечения инвестиционных стимулов,

но добавляют, что в среднесрочной перспективе плоды экономического роста станут доступными для всех слоев населения. Поскольку рынки являются естественным феноменом, считают неолибералы, им лучше не мешать. Если государство попытается их регулировать, то это приведет к искажению рыночных цен и ухудшит экономические условия для всех участников. В этой связи я хочу понять, действительно ли плоды политики неолиберализма достаются всем гражданам. Что касается стран, то для них последствия неолиберальной политики сильно варьируются. Как мы видим, неолиберализм благоприятствует государствам, развивающим на своей территории его ключевые секторы, особенно финансовый капитал, а страдают от него те страны — неважно, богатые или бедные, экономический суверенитет которых относительно невелик.

В-четвертых, постулируемая неолибералами связь между рынком и свободой является лишь временной. При прочих равных условиях децентрализованные рынки действительно защищают от авторитаризма, а рыночный капитализм доказал свое общее экономическое превосходство над командно-административной экономикой. Тем не менее в современном мире сведение роли государства к минимуму при одновременном доминировании рынков может поставить демократические свободы под угрозу. В моих исследованиях я утверждаю, что свобода требует соблюдения баланса между различными источниками социальной власти. В СССР свобода исчезла, так как все четыре источника власти были сосредоточены в руках единой партийно-государственной элиты. Имеющий мало общего с подобным режимом неолиберализм тем не менее ограничивает человеческую свободу тем, что подчиняет политическую власть экономической в условиях, когда последняя достигла высочайшей степени концентрации. Мы не живем в том идеализированном английском обществе XVIII в., где экономическая власть была широко распределена между фермерами, ремесленниками, торговцами и фабрикантами. Сегодняшние гигантские корпорации и банки являются не демократическими, а авторитарными учреждениями, которые управляются советами директоров, несущими юридическую ответственность только перед своими акционерами (среди них также доминируют авторитарные финансовые учреждения). Здесь имеются мощные тенденции к формированию олигополии и монополии, а также к упразднению политической демократии. Милтон Фридман утверждает, что капитализм «способствует политической свободе, поскольку отделяет экономическую власть от политической» (Friedman 1962: 9). Возможно, так было раньше, но не теперь. Большинство развитых государств сегодня намного демократичнее ны-

нешних гигантских корпораций, и важно, чтобы они оставались свободными от корпоративной коррупции. Без многообразия политических сдержек, ограничивающих произвол экономического авторитаризма, не может быть подлинной демократии.

## ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Как мы увидим, неолиберальный поворот был вызван переменами в соотношении экономических, политических и идеологических сил. Хотя предпосылкой послевоенного развития капитализма явился глобальный порядок, обеспеченный американской военной мощью (см. главы 2 и 5), к 1970-м гг. это обстоятельство уже не столь бросалось в глаза. Из-за этого военной власти в данной главе отведено мало внимания. Объясняя неолиберальный поворот, я остановлюсь в основном на вопросах кейнсианства, импортозамещающей индустриализации (ИИ) и Бреттон-Вудских соглашениях.

Возвращаясь к вопросу о развитых странах, я выделяю три их основных типа: англоговорящие (или коротко «англосы»), скандинавские и континентальные страны. Вторая мировая война оказала радикальное влияние на большинство англосаксонских стран весьма существенно, поскольку за принесенные жертвы эти народы были вознаграждены в большей мере, чем после Первой мировой войны. Впервые понятие «государство всеобщего благосостояния» было использовано в положительном ключе в 1941 г. архиепископом Темплом, нарисовавшим тот общественный идеал, во имя которого Великобритания сражалась против «государств тотальной войны» в облике держав оси. За период войны уровень оплаты труда в Великобритании повысился; подоходный налог стал более прогрессивным. В 1939 г. типовая налоговая ставка составляла 29%, а ставка дополнительного налога на доходы свыше 50 тыс. фунтов стерлингов равнялась 41%. Налогоплательщиков в стране было тогда 10 млн. К 1944–1945 гг. стандартная налоговая ставка составляла уже 50%, а ставка дополнительного налога на доходы свыше 20 тыс. фунтов выросла до 48%. Число налогоплательщиков в Великобритании достигло 14 млн. В период до 1946 г. увеличился и налог на сверхприбыль. Еще большие сдвиги происходили в Соединенных Штатах. Освобождение от налогов было минимальным: по нижней (23%-й) ставке облагались лишь доходы в пределах 500 долл.; лица, имевшие доход свыше 1 млн долл., платили налоги по максимальной ставке 94%. Количество налогоплательщиков в США выросло с 4 млн в 1939 г. до 43 млн в 1945 г.

После войны прогрессивное налогообложение было трудно отменить, так как теперь его поддерживал массовый избиратель. Хотя в США мировая война, сразу же сменившаяся холодной войной, воспрепятствовала в конечном счете реформе общества благосостояния, консерваторы не могли ни отказаться от достижений в сфере социального обеспечения, ни изменить систему прогрессивного налогообложения. Зато конгрессмены от обеих партий вносили в законодательство всякого рода поправки о специальных льготах и стимулах. Налоговый кодекс сильно усложнился, что уменьшило, но не устранило его общую прогрессивную направленность (Steinmo 1993: 136–144; McKibbin 1998: 118–119). Вторая мировая война также способствовала построению государства всеобщего благосостояния и прогрессивному налогообложению в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Болдуин подчеркивает роль требований, выдвигаемых в этот период средним классом (Baldwin 1990: 116–133); в военные годы укрепилась солидарность народа — союз трудящихся и средних классов, разочарованных в элитах старого режима, втянувших их в мировую войну.

После Второй мировой войны Великобритания была самым развитым государством всеобщего благосостояния. Англичане бесплатно пользовались услугами здравоохранения, оплачиваемыми за счет прогрессивных налогов на доходы и имущество, крупнейшей государственной программой жилищного строительства, а также (несколько менее развитой) пенсионной системой, рассчитанной на стариков и вдов. В 1950 г. из девяти европейских стран, по которым есть данные, самая высокая доля государственных расходов в ВВП была у Великобритании (Kohl 1981: 315). Начиная с 1950-х гг. расходы англосаксонских стран на социальную политику несколько уменьшились (Iversen and Soskice 2009: 472–473), но если учесть изменения в налогообложении, то картина будет выглядеть иначе. С 1950-х по 1980-е гг. налоги, повышенные в скандинавских и континентальных странах, взимались по более регрессивной шкале, чем у англосаксов (Cusack and Fuchs 2002). Из комбинации социальных расходов и налоговой системы получается, что с 1950-х по 1970-е гг. Великобритания и скандинавские страны представляли собой группу наиболее прогрессивных государств (Castles and Obinger 2008). В 1965 г. Британия, Австралия и Новая Зеландия занимались перераспределением активнее, чем Франция, Германия, Италия и Япония, тогда как США находились где-то посередине. Что касается поступлений от прогрессивного налогообложения доходов и бизнеса, то у англосаксов они были все еще значительно выше, чем у скандинавов и в странах континентальной Европы. Те скорее полагались на регрессивные налоги с продаж

и налоги на заработную плату (Tanzi 1969; Prasad 2006: 25–29; Kato 2003; OECD 2008). Кроме того, до 1970-х гг. Канада и США лидировали по показателям народного образования (Lindert 2004). В этот период англосаксонские страны перестали соответствовать своей расхожей репутации неэгалитарных обществ, движимых эгоистическими интересами.

В скандинавские страны Вторая мировая война принесла нацистскую оккупацию или с трудом соблюдаемый нейтралитет, но одновременно и укрепление национальной солидарности. В Финляндии итоги войны привели к дискредитации правого правительства, выступавшего в союзе с Гитлером, и подъему левых настроений. Хотя у каждой скандинавской страны были свои особенности, все они двигались к социал-демократической модели корпоративного типа, опираясь на поддержку учреждений, находящихся в ведении совета министров северных стран. Координацией региональной деятельности в рамках северного сотрудничества занимались около тридцати международных учреждений. Сфера их интересов была обширной — от фольклора до энергетических нужд и сбора статистической информации; так создавался единый банк данных о передовых практиках. В Швеции во время войны национальное коалиционное правительство возглавляли социал-демократы. Их принцип заключался в том, что все классы и группы интересов приносят жертвы во имя общего блага, чтобы позже получить соответствующее вознаграждение. В отличие от англосаксонских стран здесь во время войны не было резкого повышения прогрессивных налогов, а после войны скандинавские страны продолжили заниматься программами социальных трансфертов, которые были популярнее, чем налоговые эксперименты.

В Швеции в 1946 г. произошло заметное увеличение социальных пенсий с единой плоской шкалой. В 1953 г. последовало законодательство в области здравоохранения — универсальная программа, напоминавшая британскую, первоначально финансирующаяся за счет комбинации налога на заработную плату, подоходного налога и налога на наследование, а позднее — за счет налогов на потребление. В 1950-х гг. Швеция, Дания и Норвегия приступили к активной политике на рынке труда, позволившей к 1960-м гг. создать комплексную программу, предполагавшую вмешательство [государства] в рыночные отношения, перераспределение [доходов] от одних классов к другим, от мужчин к женщинам, причем все это в рамках корпоративизма. В Норвегии эти процессы начались раньше, в Финляндии — позже (Steinmo 1993: 91–93; Huber and Stephens 2001; Klausen 1999: глава 5; Flora 1983). Во всех четырех странах

элементы корпоративизма появились довольно рано, а депрессии и войны XX в. лишь усилили их.

С разгромом фашизма континентальные страны стали ориентироваться на модель социального компромисса, до войны опробованную в Бельгии и Нидерландах. В Европе благодаря реконструкции, которую осуществляли американские и британские военные власти, был достигнут большой компромисс между реформистским крылом социалистов и социальным католицизмом новых христианско-демократических партий. В межвоенный период такой компромисс был невозможен: социалисты занимали антиклерикальную позицию, католики отождествляли социализм с самим дьяволом. После войны крайне правые партии оказались дискредитированы, а коммунисты ослаблены, за исключением Франции и Италии, где во время войны они возглавляли движение Сопротивления. В этих условиях христианские демократы сместились к политическому центру, где и держались силами своих же христианских профсоюзов. В соответствии с большим компромиссом эти партии разработали свои программы социальных трансфертов, учитывавшие как имущественный, так и семейный статус реципиентов. Вниманием к материальному и семейному положению человека эти программы были обязаны христианским демократам, а стремлением к перераспределению — политикам левого толка. Похожий компромисс реализовался во Франции, хотя и без присутствия формально христианских партий (Bradley et al. 2003: 225–226). В большинстве этих стран компромисс был встроен в структуру государства — в порядок раздела полномочий в рамках корпоративизма. В отличие от англосаксонских стран в континентальной Европе представители капитала, труда и государства вырабатывали свои компромиссы в правительственных стенах. Партии считали, что межвоенный капитализм в стиле *laissez-faire* способствовал углублению конфликтов, что позднее привело к фашизму. Поскольку компромисс в рамках корпоративной идеологии служил гарантией социального мира, он был популярен. Система пропорционального представительства обеспечила компромисс в парламентах, где ни одна группа интересов не могла доминировать над остальными. Тем не менее в межвоенный период эта система не предотвратила появления фашизма. Если пропорциональное представительство сработало на этот раз, то лишь потому, что основные группы интересов стремились к компромиссу. И он был достигнут усилием политической воли, а не одной лишь технологией парламентского представительства.

Страны континентальной Европы говорили на многих языках и отличались культурным разнообразием. Тем не менее их политика определялась в основном квазисоциалистическими



и квазиконфессиональными партиями с сильными международными связями. Обе главные религии достигли компромисса. Италия, Франция, Испания, Люксембург и Австрия являлись преимущественно католическими странами; Германия, Нидерланды и Бельгия были разделены между католиками и протестантами. Умеренные социалисты и христианские социалисты (католики и протестанты) поддерживали классовое примирение, однако политика перераспределения тормозилась заботой религиозных партий о традиционных социальных ценностях. Политика благосостояния и экономическая политика католических партий находились под влиянием традиционной семейной модели, где мужчина оставался главным добытчиком, а женщина — хранительницей домашнего очага. Частичным исключением являлась Франция. Там консервативные партии были мало связаны с католицизмом и не проповедовали традиционную семейную модель, хотя экономически поддерживали матерей с детьми. Христианские социалисты считали легитимной умеренную степень неравенства между людьми, но не могли со спокойной душой оставить их на милость капиталистического рынка.

В этот период рабочее движение начало превращаться в движение народных классов вообще, обнаруживая тенденцию к социальному гражданству. Тем не менее воздействие депрессии и двух мировых войн на социальные права граждан было различным. В частности, оно снижало убедительность моделей, обещающих построить общество всеобщего благоденствия на основе вневременных факторов, таких как индустриализация, укрепление профсоюзов, левоцентристское правительство и т. п. В итоге это привело к переориентации континентальных стран и снижению «эффекта колес» (*path dependency*) в англосаксонских странах. Хотя до определенной степени либ-лаб политика продолжалась, в годы Великой депрессии и мировых войн она демонстрировала как скачки, так и некоторые откаты. Исторически важным оказался не только военный фактор власти, но и фактор человеческой глупости, о чем свидетельствуют все три мировых катастрофы [мировые войны и Великая депрессия]. Они побуждают нас к контрфактическим рассуждениям: что было бы, если бы не случилось мировых войн или если бы побежденные стали победителями?

После войны рост экономики происходил на фоне конвергенции устойчивого роста государства всеобщего благосостояния и неокейнсианской макроэкономической политики. Рост благосостояния означал, что у социальных программ были лучшие перспективы, чем ожидали теоретики индустриализма. При этом углублялась и демократия. Принесшие жертвы на алтарь военной победы и сплоченные массовой мобилизацией,

граждане не сомневались в своих базовых экономических правах, а правительства надеялись поддерживать рост экономики за счет политики полной занятости и массового потребления. Центристские правительства спонсировали рост государства всеобщего благосостояния, а правые правительства не осмеливались им возразить. Все социальные государства занимались перераспределением доходов между классами (хотя и с разными результатами), что в каждой стране определялось главным образом длительностью пребывания у власти левоцентристских правительств, а также вхождением в их состав членов профсоюзных движений (Bradley et al. 2003: 226). Это был золотой век капитализма, его регулируемый вариант, в котором социальными, гражданскими и политическими правами пользовалось все население. Внутригосударственный капитализм, регулируемый и поддерживаемый государством, был дополнен международными Бреттон-Вудскими нормами сдерживания глобального перетока капиталов, что позволяло странам автономно развивать собственные социальные и экономические стратегии. Хотя капитализм стал более глобальным, он не стал единообразным, так как упомянутая автономия допускала различные варианты капитализма, социального государства и налоговой системы. Это позволяло на национальном уровне воплощать в жизнь различные версии кейнсианства и социальной политики в интересах большинства граждан.

В 1930 г. расходы на программы социального страхования в среднем не превышали 3% ВВП. К 1950 г. они составляли уже 5%, а к 1990 г. — 20%. Аналогично доля государства в объеме ВВП выросла с примерно 25% в 1950 г. до 45% к середине 1970-х гг. (Flora 1983: введение). Социальная жизнь все еще была заперта в «клетку» национальных государств — в годы войны так сложилось в англосаксонских и скандинавских странах, а в дальнейшем — повсюду в странах ОЭСР. Большинство программ социального страхования расширялось, будучи встроенными в них. Как правило, каждая программа начиналась с выделения небольших льгот узкому кругу реципиентов. В дальнейшем по мере расширения этого круга увеличивалось не только число претендентов на получение льгот, но и размеры таковых с соответствующим ростом требований к государству. Это нарастание претензий вело к неизбежному увеличению госрасходов, что со временем усугубило фискальный кризис (как мы убедимся в главе 11).

Для Кейнса это стало посмертным, но неоднозначным триумфом. В экономической теории возобладал синтез кейнсианских идей с идеями классической политэкономии, обычно именуемый неоклассическим синтезом или неокейнсианством, хотя я помню, как Джоан Робинсон метала гром и молнии против

того, что она именовала «ублюдочным кейнсианством» (bastard Keynesianism). Теории Кейнса были адаптированы к теории статического равновесия такими экономистами, как Хикс, Модильяни и Самуэльсон. Модель Хикса (IS/LM) — инвестиции-сбережения к предпочтению ликвидности — величине денежной массы — соотносила совокупный спрос и занятость с тремя экзогенными факторами: количеством денег в обращении, размером государственного бюджета и ожиданиями бизнеса. Как показала кривая Филлипса, рост занятости предполагает повышение номинальной заработной платы, а значит, и рост инфляции; таким образом, безработица и инфляция находятся в обратно пропорциональной зависимости. На основе модели IS/LM любой экономист мог теперь предсказать, что увеличение денежной массы приведет к росту производства и занятости. Затем, используя кривую Филлипса, он мог прогнозировать повышение темпов инфляции. Хорошая новость состояла в том, что равновесие в условиях высокого уровня занятости может поддерживаться с помощью мягкой инфляционной политики. Правительства пришли к тому же выводу более практичным путем. Сталкиваясь с довольно сильными и, очевидно, популярными профсоюзами, которых они не хотели оттолкнуть, власти согласились повысить зарплаты трудящимся, добившимся этого путем коллективных переговоров. Ценой такого согласия стала мягкая инфляционная накачка экономики. По всему Западу, а затем и в странах Азии воцарились процветание и полная занятость, в результате чего там стало больше равенства, чем в предвоенный период. В этом смысле в мире произошла своего рода конвергенция.

Вместе с тем стали очевидны национальные и макрорегиональные различия. В 1940-е гг. в англосаксонских странах произошло резкое повышение уровня благосостояния и расширилось прогрессивное налогообложение с последующей в 1950–60-е гг. консолидацией результатов, хотя и без дополнительных крупных программ. Имущественный критерий гарантировал, что расходы на социальные программы выросли меньше, чем в других странах, так как пособиями пользовалось меньшее количество граждан. В 1950-е гг. эти страны управлялись преимущественно консервативными или правоцентристскими кабинетами и расширение программ социальной помощи затормозилось. Исключением была Канада, где в конце 1960-х гг. расширялись как универсальные, так и адресные программы поддержки нуждающихся. В Ирландии расширение социальных программ происходило несколько позднее из-за ее экономического развития. Лидерство в построении социального государства делили между собой англосаксонские и скандинав-

ские страны. Как позже признал Эспинг-Андерсен (Esping-Andersen 1999: 87–90), если бы он начал анализ данных не с 1980-х, а с 1960-х гг., то в группу передовых стран пришлось бы включить Великобританию, Австралию и Новую Зеландию. И если Великобритания, по его словам, представляла собой «социал-демократию в заторможенном состоянии», то Австралия и Новая Зеландия изначально были вполне социал-демократическими государствами всеобщего благоденствия.

В свое время Дилан Райли и я (Riley and Mann 2007) исследовали коэффициенты Джини, позволяющие определить примерную степень материального неравенства в стране. Среди западных стран мы выявили три режима (по Эспинг-Андерсену). Кроме того, мы собрали точные данные по 18 странам Латинской Америки и ряду стран Восточной и Южной Азии. Мы обнаружили, что во всех регионах внутрирегиональные различия в масштабах неравенства были гораздо меньше, чем межрегиональные. Таким образом, на макрорегиональном уровне возникала общая идеология, которая затем институционально усиливалась на национальном уровне с помощью выборных технологий, политических партий и государственных органов. Другой отдельной группой являются бывшие советские республики (Castles and Obinger 2008: 336–337). Мы обнаружили, что типология Эспинг-Андерсена довольно хорошо работает за период после 1980 г., однако до 1960-х гг. больше равенства наблюдается в англосаксонских странах. Максимальное неравенство в этой группе демонстрировали США, но относительно скандинавских стран они находились на сопоставимом уровне. Затем в 1970-е гг. скандинавы достигли большего равенства, чем либеральные англосаксы, а в 1980–90-е гг. того же добилась и континентальная Европа. Это движение вверх и вниз происходило не просто на национальном, а на макрорегиональном уровне, поскольку в него было вовлечено большинство стран каждого из трех регионов.

Аткинсон и его коллеги (Atkinson et al. 2007: глава 13) проанализировали, какая доля валового дохода приходилась на самых богатых налогоплательщиков (верхние 10, 1 и 0,1%) на протяжении XX в. в шести англосаксонских странах, а также во Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии. До 1970-х гг. все эти страны были похожи: в начале века каждая показывала высокий уровень неравенства, который постепенно снижался, и так продолжалось вплоть до Второй мировой войны. До нее немного больше равенства демонстрировали англосаксонские страны, за исключением США. В период Второй мировой войны неравенство продолжало уменьшаться в значительной мере

благодаря прогрессивным налогам на богатство и на наследование. Класс рантье пострадал от Великой депрессии, а в годы войны — от прогрессивного налогообложения; после войны он так и не восстановился. В период 1955–1975 гг. в Канаде, США и Германии изменений было мало, зато в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Франции, Нидерландах и Швейцарии неравенство продолжало сокращаться. Хотя в англосаксонских странах неравенство было несколько меньше, чем в континентальных, глобальный рост экономики привел к сокращению неравенства во всем мире. Вместе с прогрессивным налогообложением это способствовало даже в США и Канаде наибольшему росту доходов у беднейших 20% населения. Во всем мире уровень бедности сократился.

Скандинавские страны, среди которых чуть отставала Финляндия, постепенно разработали дорогостоящий арсенал универсальных социальных программ. Швеция по соотношению налогов к ВВП обогнала США примерно в 1950 г., а Великобританию — примерно в 1955 г., и это соотношение продолжало расти (Steinmo 1993: 28). По мере развития социальных программ и расширения круга людей, имевших право на пользование льготами, возрос перераспределительный эффект этих программ. Уровень национального благосостояния рос и в странах континентальной Европы, хотя и с меньшим перераспределением. На всех этапах явно прослеживался «эффект колеи» (*path dependency*), поскольку институционализация прошлых решений создавала относительно устойчивые разновидности государства всеобщего благоденствия. В пенсионной сфере закрепилось различие между странами, избравшими бисмаркинианскую пенсионную систему и систему Бевериджа, лишь Нидерланды сменили первую схему на вторую. Бисмаркинианская система постепенно легко распространялась на новые социальные группы, так что со временем получателем государственной пенсии мог стать практически каждый человек. Пенсионная система Бевериджа, напротив, стала развиваться по двум разным направлениям. В скандинавских странах утвердился компромиссный вариант: там пенсии были государственные, двухуровневые, где первый уровень был базовым, а второй зависел от размера доходов. Бледное подобие этой системы возникло в Великобритании, где средние классы отреагировали на маленький размер бевериджиджанских пенсий развитием частных пенсионных планов (Ebbinghaus and Gronwald 2009). Это стало характерной чертой англосаксонских стран и ускорило их последующее непреднамеренное движение в сторону увеличения неравенства.

В англосаксонских странах программы социального обеспечения первоначально финансировались из налогов, введение ко-

торых стало возможным лишь в условиях войны. Этого не могли себе позволить нейтральные страны и страны, потерпевшие поражение; в мирное время повысить подоходные налоги было политически нереально. Скандинавские и континентальные страны прибегли к налогам на добавленную стоимость, то есть на потребление, и к налогам в фонд социального обеспечения — более регрессивным, но менее непопулярным. Однако по мере роста налогового бремени во всех странах проявилось нежелание вводить новые налоги. В этот момент замаячила угроза финансового кризиса, поскольку скандинавские и континентальные страны подняли планку государства всеобщего благосостояния до уровня, с которым равняться англосаксонские страны не могли, поскольку их народы на повышение налогов не соглашались. Все это способствовало закреплению различий между тремя вариантами государства всеобщего благосостояния.

Я проанализировал эволюцию социального государства в странах глобального Севера за период с 1945-х до 1970-х гг. В общем и целом там происходила конвергенция, ограниченная национальными и макрорегиональными различиями. Все страны ОЭСР стали капиталистическими, индустриальными, а затем и постиндустриальными и разрешали классовые конфликты при помощи компромисса. Частично это делалось путем макроэкономического планирования, направленного на полную занятость, частично путем наделения правами социального гражданства для самозащиты (в том смысле, какой в это понятие вкладывал Поланьи) от произвола капиталистических рынков и абсолютной власти капиталистов. Наделяя все более широкие слои населения экономическими правами и возлагая реализацию таковых на демократическое государство, эти страны ограничивали концентрацию экономической власти, делая ее чуть более плюралистичной. Маршалл был прав, прогнозируя, что XX в. станет веком торжества социальных прав граждан по крайней мере в развитой части планеты. Наиболее очевидным критерием этого процесса служит доля государственных расходов в национальном доходе страны. В странах ОЭСР этот показатель в начале века был ниже 10%, перед Второй мировой войной достиг 20%, а к 1970 г. превысил 40%. Этот реформированный, полунациональный, полуглобальный капитализм стал венцом развития глобального Севера, открывающим беспрецедентный период социальной гармонии, стабильности и процветания — его золотой век. Это развитие было в общем и целом вызвано сближением капиталистических производительных сил и производственных отношений (в марксистском их понимании), но последствием этого стала не революция, а реформа, причем не без воздействия результатов двух мировых войн.

Тем не менее какого-то одного варианта социального государства не существовало. Наилучшие практики были дополнены сочетаниями источников социальной власти в особых для каждого национального государства конфигурациях, где важную роль играли отношения идеологической, военной и особенно политической власти. В процессе этой самозащиты граждане все больше запирались в «клетке» своих национальных государств, поскольку экономики, регулируемые на национальном уровне, возводили барьеры против опасностей, рождаемых капитализмом. Однако отдельные национальные государства также находились под влиянием культур тех макрорегионов, которые они охватывали. После Второй мировой войны национальные и макрорегиональные социальные различия капитализма приобретают все большую аналитическую ценность. С годами все актуальнее становилась модель из трех типов государств всеобщего благоденствия Эспинг-Андерсена, которые в моей редакции называются англосаксонским, скандинавским и континентальным типами. Национальные и макрорегиональные траектории [развития] также расходились или сходились под влиянием трех великих кризисов XX века: двух мировых войн и Великой депрессии. В конце периода движение все еще продолжалось. До этого момента англосаксонские страны демонстрировали высокий уровень социального гражданства, но теперь начали притормаживать, уступая скандинавским и даже некоторым из континентальных стран Европы. Все эти достижения потребовали длительных усилий, результаты которых не были предопределены «эффектом колеи» (*path dependency*). Нельзя сказать, что национальные традиции не были важны, но эти страны столкнулись с кризисами, которые заставили их коллективных акторов разрабатывать новые пути развития.

Стремясь объяснить не только общее расширение социальных прав граждан, но и различия, существующие в этом смысле между странами, я предложил концепцию источников [социальной] власти, подчеркивающую роль классов, кросс-классовых политических союзов, левоцентристских правительств и профсоюзов, хотя порой к ним приходилось добавлять церковь и прочие силы, раскалывающие общество. Союзы между такими группами также усиливали чувство солидарности простых людей. Идеологической предпосылкой возникновения значительной доли социального гражданства в рассмотренных мною странах было чувство принадлежности к единой нации. Таким образом, в этот процесс были вовлечены в основном политические и идеологические источники власти, причем важнее была политика, проводимая силами гражданского общества, а не государства.

Тем не менее, объясняя упомянутые расхождения, я подчеркивал макрорегиональные различия касательно институтов двух типов: корпоративных и добровольных — различия, очевидные уже в начале века, но затем все более важные и решающие при столкновении с неолиберальным вызовом. Примечательно, что в англосаксонских странах (в отличие от других стран) поддержкой пользовалась институциональная модель мажоритарного представительства в противовес электоральным системам на основе пропорционального представительства. Этот факт я объясняю несовпадающими периодами, в которые происходила институционализация этих избирательных систем, а также процессами социального раскола, приведшими к появлению многочисленных политических партий, что особо подчеркивают Липсет и Роккан (Lipset and Rokkan 1967). Так или иначе институционально закрепленные различия приобрели большое значение. При этом значимость автономных бюрократических или экспертных элит оказывалась эпизодической. В первой половине XX в. огромное влияние на судьбы континентальных стран оказали отношения военной власти, что проявилось в мировых войнах. Итоги Второй мировой войны сделали возможным великий компромисс между социализмом и христианством, закрепивший характерное направление развития социального гражданства в большинстве континентальных стран. Две мировые войны также консолидировали социальное гражданство в англосаксонских странах; в конце концов аналогичная тенденция возобладала повсюду. Все это объясняется множеством причин — одной наиболее общей: двигателем общих аспектов социального гражданства были отношения экономической власти, в то время как международные и макрорегиональные различия были результатом взаимодействия всех четырех источников социальной власти.

## НАСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСИАЛИЗАЦИИ<sup>1</sup>

В 1970-е гг. по мере замедления экономики и ускорения инфляции неокейнсианская экономическая модель начала испытывать кризис. Чуть раньше, в конце 1960-х гг., трудности в экономике переживали Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, что привело к политике постоянного чередования стимулирования и сдерживания спроса

---

1. Финансиализация — процесс трансформации финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал в результате его отделения от реальной производственной сферы.



(stop-go), неспособной ни снизить достигнутый уровень благосостояния, ни существенно его повысить (Steinmo 1993: 145–155). Это открыло дверь неолиберальному курсу. Хотя большинство экспертов (например, Aggighi 1994) считают неолиберализм ответом на кризисные явления, изначально он усилился в эпоху неокейнсианского процветания посредством политики полной занятости, прогрессивного налогообложения и щедрости государства всеобщего благоденствия. Экономическое процветание позволило среднему классу (и даже рабочим, впервые включенным в налоговую группу людей со средним достатком) стать собственником ценных бумаг, недвижимости, пенсионных и страховых полисов. Это означало более конкурентоспособный в глобальном масштабе капитализм, большее число транснациональных корпораций, расширение международной торговли, а также развитие экономики, поощряемое мягкой долговой политикой. В дальнейшем это вело к расширению сектора финансовых услуг, которому суждено было стать передовым фронтом неолиберализма. Перефразируя Маркса, предрекшего кончину буржуазии, можно сказать, что своими успехами неокейнсианство порождало собственных могильщиков.

Криппнер (Krippner 2005: 174) определяет финансовализацию как «способ накопления капитала, при котором прибыль образуется не в торговле или производстве, а преимущественно в финансовом секторе». Долгое время акции и другие финансовые инструменты позволяли аккумулировать частные сбережения и прибыли для целей инвестирования в торговлю или производство. Однако на послевоенных биржах начали доминировать инвесторы, владевшие «бумажным» финансовым богатством — более ликвидным, свободно перемещаемым и транснациональным, чем реальные активы производственных компаний. Экономическая глобализация и улучшение коммуникаций сделали возможным мгновенный и беспрепятственный перенос прав собственности по всему миру, так как при этом передавались не услуги или материальные товары, а электронные символы. В то же время транснациональные финансовые потоки, подобно восходящей магне, пробивались сквозь Бреттон-Вудские ограничения на перемещение международного капитала.

Двумя основными очагами финансовализации были два англосаксонских государства, которые исторически обеспечивали мировую экономику резервными валютами и, значит, уже обладали крупнейшими финансовыми секторами. Резервной валютой был американский доллар, которым больше всего торговали на международном рынке, в то время как государственный долг и потребительская задолженность в США быстро возраста-

ли. Однако ввиду того что американские финансовые потоки, начиная с эпохи «нового курса», жестко регулировались, первым институтом, освободившим финансовый сектор от опеки государства, стал лондонский Сити — главный центр торговли валютой. Долгое время смычка Сити плюс Банк Англии плюс казначейство подчиняла интересы британской промышленности финансовому сектору посредством дефляционной политики, направленной на сохранение завышенного курса фунта стерлингов (Ingham 1984). В какой-то момент по причине кейнсианской озабоченности проблемами безработицы этот приоритет был поставлен под сомнение. Колебание между двумя приоритетами обусловило политику постоянного чередования стимулирования и сдерживания, когда кейнсианское стимулирование экономики при первых признаках перегрева сменялось дефляционными мерами. В 1970-х гг. подобное неустойчивое сочетание двух экономических тактик породило высокую инфляцию, бюджетные дефициты и спекулятивные атаки на фунт стерлингов. Это открыло путь неолиберальному контрнаступлению во главе с лондонским Сити, поддержанному консервативными мозговыми центрами и финансовой прессой (Fourcade-Gourinchas and Babb 2002: 549–556).

В описываемый период сильно выросли американские финансовые рынки (Krippner 2005: 178–179). В 1950-х гг. мир наводнили евродоллары, то есть доллары США, купленные нерезидентами и торгуемые за рубежом. Они росли благодаря роли доллара как резервной валюты, а также по причине жесткого финансового регулирования в самих США. Люди, которые держали на руках доллары, хотели заработать на этом где-нибудь еще. Шансом привлечь евродоллары воспользовался лондонский Сити, и в 1960-х гг. они вытеснили фунт в качестве основной торговой валюты. Один из активных могильщиков кейнсианства, Сити вновь — на этот раз в ипостаси офшорного анклава — обретал финансовое могущество (Shafer 1995: 124).

Более крепкие могильщики кейнсианства нашлись в Америке. В 1960-е гг. расходы на джонсоновское «Великое общество» и войну во Вьетнаме привели к перегреву экономики США и росту их долгов и дефицитов. Страны, имевшие положительное сальдо торгового баланса с Америкой, получали доллары, на которые они могли купить золото, что грозило опустошить подвалы Форт Нокса. Поэтому в 1971 г. президент Никсон, отменив привязку доллара к желтому металлу, отпустил свою валюту в свободное плавание, что к 1973 г. заставило другие крупные экономики последовать примеру США. Бреттон-Вудские соглашения рухнули — и не столько из-за внутренних слабостей, сколько под давлением США и финансового капитала. Это была

тенденция к тому, чтобы «высвободить» (to disembed, как выразился Поланьи) рынок из-под государственного контроля, однако специфика такого рынка окажется выгодной для отдельно взятой страны — США. Возросшая мобильность капитала и усиление экономического империализма Америки, которые обсуждаются в главе 10, затрудняли для правительств [других стран] дальнейшее проведение неокейнсианской политики. Она была случайно усилена в 1973 г., в период роста цен на нефть, вызванного политикой ОПЕК, из-за чего экспортерам сырья благодаря положительному сальдо торгового баланса достались громадные суммы нефтедолларов. (Следует помнить, что военным покровителем большинства экспортеров нефти были США.) Это стало источником глобальных дисбалансов, неравномерного распределения мировых дефицитов и профицитов, что послужило импульсом к усилению финансового капитала.

В начале 1970-х гг. американские банки, спасаясь от жесткого американского регулирования, устремились в Англию, в Сити, который переоткрыл для себя свою историческую роль, когда миром правил фунт стерлингов (Bign 2006). В качестве дальнейших неолиберальных шагов Банк Англии в 1973 и 1976 гг. сделал выбор в пользу монетаристских целей. Чтобы американские банки не потеряли конкурентоспособности, в 1974 и 1975 гг. США отменили контроль над движением международного капитала, сохранив при этом регулирование движения капитала внутри страны. Однако после того как Пол Уолкер (глава ФРС) обуздал инфляцию, резко подняв процентные ставки, в страну хлынул международный капитал. Это усугубило глобальные дисбалансы. Прямой эффект от финансиализации ощутили Германия и Швейцария, валюты которых играли важную международную роль. Банкиры этих стран, столкнувшись с англо-американской офшорной конкуренцией, захотели присоединиться к сектору, уже генерировавшему более высокую прибыль, чем приносило им внутреннее банковское кредитование. В 1970-е гг. большинство стран ужесточило контроль за движением капитала, пытаясь побороть волатильность, вызванную плавающими курсами валют. Однако их действия в основном продемонстрировали тщетность усилий в борьбе со спекулянтами.

Начавшийся с того момента неолиберальный период не может похвастаться экономическими успехами. Ему не удалось вернуть экономику Запада на путь реального роста. Кроме того, неолиберализм породил и собственные проблемы. Его финансовый эпицентр отличался нестабильностью и был подвержен кризисам. Все 18 финансовых кризисов, выпавших на период с 1945 г., произошли после 1973 г. (утверждают Reinhart and Rogoff 2009). Характерные для неолиберального периода вы-

сокие показатели безработицы, спекулятивные краткосрочные инвестиции и вялый общий спрос обернулись меньшими, чем в неокейнсианский период, темпами роста реальной экономики, которые становились все ниже (Brenner 2002). Тем не менее финансиализация не нуждалась в демонстрации успеха. Ее питала энергия, порождаемая собственной экспансией. Рост волатильности процентных ставок сделал более прибыльной торговлю облигациями, а наплыв нефтедолларов только усилил банковский сектор. В конце 1970-х гг. доля промышленности в ВВП США уменьшились, а доля финансовых услуг — возросла. В 1980-е гг. прибыль американского финансового сектора превысила прибыль индустриального сектора, поскольку рабочие места в промышленности, как и сами предприятия, во все большем масштабе переносились за границу, в страны глобального Юга. Это может показаться очередной фазой «созидательного разрушения» (по Шумпетеру), в рамках которой производство разрушается, а финансы созидательно растут (именно так считали сторонники финансиализации), но капитализму в целом этот сдвиг пользы не принес.

В 1986 г. миссис Тэтчер санкционировала «большой взрыв» (*Big Bang*) — радикальное дерегулирование на британском фондовом рынке, легализовавшее слияние коммерческих и инвестиционных банков и распахнувшее двери притоку иностранного капитала. Великобритания стала пионером полной дерегуляции своих финансов. Однако на этом пионерская роль Великобритании и окончилась. Теперь в лондонском Сити заправляли американские банки, в то время как американские производители, столкнувшись со снижением прибыли и ростом международной конкуренции, выводили капитал из бизнеса и вкладывали его в финансовые инструменты. Кроме того, производители в США сократили свои расходы на исследования и разработки (НИОКР). К 1980-м гг. почти все американские исследования и разработки проводились в государственных и университетских лабораториях, что стало полным разворотом тренда 1950-х гг. (Block and Keller 2011). Таким образом, финансиализация стала проникать и в реальную экономику (Krippner 2005; Arrighi 1994). Сегодня компания *General Electric* — традиционный символ корпоративной Америки — получает больше прибыли от финансовой деятельности, чем от производственной.

Финансовый сектор приносит выгоды инвесторам и управляющим инвестиционными фондами, то есть людям, баснословно богатым. Борьбу с инфляцией он предпочитает борьбе с безработицей, а заработную плату сохраняет на низком уровне. В этом — его классовый интерес. Классовые конфликты в финансовом секторе проявляются слабо, его сотрудники, в основ-

ном «белые воротнички», в профсоюзы практически не объединяются. Его акционеры в большинстве своем не организованы, а сам финансовый сектор, в котором в каждой стране преобладают немногочисленные крупные банки, сильно картелирован. Теоретически серьезным противовесом этому могли бы служить многочисленные страховые компании и пенсионные фонды, представляющие сбережения миллионов простых (хотя и не бедных) граждан. Половина американских семей в настоящее время владеет акциями в основном через паевые инвестиционные фонды. Однако частично совпадающее членство в советах директоров банков и инвестиционных фондов приводит к тому, что финансовые элиты имеют теперь совпадающие, а не противоположные интересы. Банки устанавливают размеры вознаграждения менеджерам исходя из рекомендаций страховых компаний, пенсионных фондов и специалистов в сфере управления. В свою очередь, банкиры присутствуют в «компенсационных комиссиях» этих организаций. Взаимно расплачиваясь услугой за услугу, они взвинчивают суммы зарплат и опционов. Работа финансового сектора сделалась абстрактной, вышла за пределы понимания простыми людьми. Хотя левые правительства видели, что финансиализация угрожает их политическим целям, они не чувствовали массовой поддержки, чтобы решиться на сопротивление. У социал-демократических партий не было реального ответа на экономический кризис. Стало понятно, что неокейнсианство оказалось несостоятельным, а классовый конфликт является игрой с нулевой суммой. Усилия профсоюзов, пытавшихся в ходе нескольких стачек и выборных кампаний отстоять заработную плату в ущерб интересам капитала, оказались напрасными.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. почти все страны ОЭСР отказались от контроля за движением международного капитала. Однако ряд наблюдателей (например, Mudge 2008) видят в этом лишь диффузию идей неолиберализма, хотя здесь не обошлось без принуждения. Вначале шли споры о том, как направить нефtedоллары, скопившиеся в результате пяти повышений нефтяных цен картелем ОПЕК, обратно в продуктивные инвестиции на пространстве остального мира. Европейцы и японцы предпочитали, чтобы это делалось через центральные банки и МВФ, тогда как американцы и англичане настаивали, чтобы этим занимались частные банки. Борьбу за власть [над нефtedолларами] выиграла Соединенные Штаты, имевшие большее влияние на нефтяных шейхов. Затем, когда дерегулированием занялась каждая страна, другим стало труднее противостоять жалобам своих банкиров на недобросовестную конкуренцию иностранных банков. Так, страны, столкнувшиеся с большими

потоками международного капитала, имели меньше возможностей контролировать собственные обменные курсы и процентные ставки. Если та или иная страна желала удерживать процентные ставки ниже мирового уровня (чтобы стимулировать свою экономику), спекулянты могли бы легко спровоцировать девальвацию ее валюты, причем с такими инфляционными последствиями, что страна отказывалась от своей попытки. Это определенно была потеря части суверенитета, хотя такими возможностями финансовые спекулянты располагали уже в 1920-е гг. (см. главу 7 тома 3). Теперь они вновь набирали силу, но их природа была двусмысленной: будучи транснациональными, они в большинстве своем были американцами. Финансовые менеджеры, обогащавшиеся посредством этого бизнеса, сидели в основном на Уолл-стрит и в лондонском Сити, то есть были преимущественно англоговорящими.

Финансовым мотором Европейского экономического сообщества (ЕЭС) был германский Бундесбанк. Этот банк, не будучи неолиберальным, также предпочел борьбе с безработицей борьбу с инфляцией в силу ошибочных представлений немцев о причине падения Веймарской республики и прихода к власти Гитлера, что было вызвано не столько инфляцией, сколько безработицей. Затем неожиданный шаг предприняли французские социалисты-технократы, занимавшие ведущие позиции в ЕЭС. В 1980-е гг. за свободное движение капитала выступили такие люди, как Жак Делор и Паскаль Лами, поскольку они были свидетелями неудачной попытки президента Миттерана в 1981 г. навязать Франции драконовские меры контроля над капиталом. Кроме того, интересам Франции противостояла администрация Рейгана, сохранявшая на высоком уровне ставку процента и курс доллара. Все это плюс громадный торговый дефицит заставили французское правительство трижды провести девальвацию франка, что сделало Париж нарушителем правил (тогдашнего) Европейского экономического сообщества. В 1983 г. Миттеран, испытывая давление со стороны других европейских лидеров и проигрывая борьбу со спекулянтами, отказался от контроля за движением капитала. Как показала практика, богатые легко уклонялись от действовавших запретов, а их бремя падало в основном на средний класс, то есть на людей с ограниченными сбережениями. Меры контроля, столкнувшись с властью транснационального капитала, оказались регрессивными и неэффективными — таков был вывод французских социалистов. Они чувствовали необходимость приспособиться к новому соотношению сил, и это стало первым, но не последним поражением социалистов. В 1988 г. лидеры Европы добились свободного перетока капиталов в гра-

ницах ЕЭС, что было подкреплено дефляционной монетарной политикой Маастрихтского договора 1992 г. Подобно прочим мерам, направленным на углубление европейской интеграции, эти перемены отвечали интересам элит, а не чаяниям народных или демократических сил. В 1990 г. от контроля за движением капитала в основном отказалась Япония, а в 1992 г. ее примеру последовали в ОЭСР (Abdelal 2007).

Не считая финансового сектора, в остальных сферах ЕЭС/ЕС и Япония не были такими уж неолиберальными. Из общего бюджета ЕЭС на субсидирование сельского хозяйства тратилось 60% средств, а сегодня — после нескольких реформ — доля этих расходов в бюджете ЕС все еще составляет 40%. Исключая этот пункт, мы видим внутри Европейского союза свободный рынок, но от внешней конкуренции он защищен тарифами и прочими мерами регулирования. Похожая ситуация в Японии. Таким образом, называть неолиберальной всю экономику той или иной страны было бы неверно. Даже в США действует множество протекционистских тарифов.

По мере роста финансовых потоков расширялись и фондовые рынки. Начиная с 1980 г. собственные фондовые биржи появились примерно в пятидесяти странах; благодаря глобальной организации финансов на развивающиеся рынки, равно как и на рынки стран ОЭСР, устремился возросший поток портфельных инвестиций — позитивный аспект финансиализации, хотя и подрываемый иногда всплесками волатильности (Davis 2009: 37). Кроме того, больше независимости получили центральные банки как итог нежелания политиков нести ответственность за состояние экономики в условиях хозяйственного спада. В период экономической стагнации возросло значение политических факторов власти. Если раньше политики подчеркивали свою роль в успехах экономики, то теперь они прятались от ответственности за углубление кризиса (Weaver 1986; Krippner 2007, 2011). Утверждалось, что в навязывании программ жесткой экономии обвинять некого — необходимые изменения могли быть продиктованы безличными силами рынка.

Тем не менее политика правительства сохраняла свою значимость. В целях восстановления рентабельности экономики дальнейшее развитие получила борьба с инфляцией (а не борьба с безработицей). Если в 1970-е гг. инфляция составляла в среднем 10% в год, то к 1990-м гг. она в среднем опустилась ниже 3%, причем сократилась и разница в темпах инфляции между странами (Syklos 2002: 64). В целях борьбы с инфляцией банки подняли процентные ставки, после чего рост экономики замедлился и выросла безработица. Не желая брать на себя риск инфляции (в случае компромисса с профсоюзами по вопросу

повышения заработной платы), центральные банки и правительства предпочли спасти экономику путем регулирования объемов денежной массы и ставки процента. В итоге возросло классовое неравенство.

В то же время многие развивающиеся страны не пошли на дерегуляцию потоков капитала. Привлекая куда меньшие объемы иностранного капитала, они не чувствовали необходимости открывать свою экономику; совсем иной была их позиция по торговым вопросам, как мы увидим позже (Shafer 1995). До XXI в. наиболее успешные развивающиеся страны — Индия и Китай — получали сравнительно немного иностранного капитала. В 1995–1997 гг. МВФ был близок к признанию свободы движения капиталов, однако азиатский финансовый кризис 1997 г. выявил негативный аспект беспрепятственного перетока краткосрочного капитала, и от этой идеи отказались. Но полной победы не было, поскольку государства глобального Юга, сохранив значительный суверенитет, оказали сопротивление. Это был тот редкий случай, когда страны глобального Юга действовали эффективнее, чем страны глобального Севера. В то же время на Севере бурно развивалась финансиализация. Для неолиберализма это был величайший триумф, в дальнейшем обернувшийся для него величайшим крахом (как мы увидим в главе 11).

## КРИЗИС НЕОКЕЙНСИАНСТВА

Если в свое время успех неокейнсианства привел к усилению финансового капитала, то впоследствии его провал дал неолибералам шанс навязать планете собственную политику. В начале 1970-х гг. в экономике глобального Севера произошел серьезный спад, связанный с ростом глобальной конкуренции и избытком производственных мощностей. Европа полностью оправилась от войны, Япония и Восточная Азия повышали темпы экономического роста (Brenner 2002). Этот кризис не был глобальным, как часто утверждают, поскольку экономика Восточной Азии, а также нефтедобывающих стран находилась на подъеме. Однако в то же время страны глобального Севера испытывали острый упадок традиционных отраслей тяжелой промышленности, таких как судостроение, черная металлургия и добыча полезных ископаемых. В производственном секторе, особенно в международном, резко снизились нормы прибыли, что привело к замедлению экономики и избыточному накоплению капитала, который теперь вкладывался не столько в производство, сколько в финансовые инструменты. Главным политическим



ответом на кризис было кейнсианское управление спросом путем антициклической практики дефицитного финансирования, но такое стимулирование привело лишь к усилению финансовизации, росту задолженности и избытку производственных мощностей. В результате в странах глобального Севера началась стагфляция (одновременный рост инфляции и безработицы), что озадачило некейнсианцев, полагавшихся на кривую Филлипса, согласно которой эти явления были альтернативны. Инфляция негативно влияла на размер прибылей, и бизнес решил, что их проще всего поднять за счет сокращения расходов на рабочую силу.

Стагфляция обострила классовый конфликт в странах глобального Севера. На фоне стагнации страдали как труд, так и капитал, поэтому оба стремились удержать свои экономические позиции. До сих пор перераспределение благ и расширение социальных прав граждан финансировалось за счет экономического роста и умеренной инфляции. Поэтому, когда темпы роста упали, инфляция выросла. Это была первая фаза кризиса. Затем правительства начали борьбу с инфляцией — сначала путем дефицитного финансирования и повышения процентных ставок. Будучи уже второй попыткой разрешения кризиса, дефицитное финансирование по сравнению с инфляцией оказалось явлением менее устойчивым. Теперь кризис обернулся классовым конфликтом, игрой с нулевой суммой: чтобы выиграл один класс, другой должен был проиграть (Streeck 2011; Krippner 2011). В предыдущую эпоху полной занятости и конвейерного производства произошло сближение квалифицированных и неквалифицированных рабочих и укрепление профсоюзов везде, кроме США. Это позволило рабочим добиться сравнительно высокой заработной платы. В 1960-е гг. в большинстве стран политика левого толка, казалось, набирала силы, черпая их в недовольстве пролетариата, усиленном протестами новых социальных движений, основой которых были студенты и защитники идентичности. Однако власть рабочего класса была обманчивой, поскольку его основная база — промышленное производство — перемещалась в страны глобального Юга и классовое единство размывалось. Капитал нанес ответный удар, классовый компромисс эпохи золотого века в англосаксонских странах был разрушен, а с ним и его воплощение — послевоенная экономическая модель (с высокой производительностью и высоким спросом). В Соединенных Штатах корпорации, стоявшие за *Комитетом экономического развития* (см. главу 3) и прежде проявлявшие умеренность, обвинили профсоюзы в росте инфляции и исполнились решимости ограничить их влияние (Domhoff, в печати). В конце концов это им удалось.

Неолибералы утверждали, что программы жесткой экономики снизят инфляцию и скорректируют высокорасходное и низкодоходное промышленное производство, что улучшит его конкурентоспособность на мировом рынке. Простейшей дефляционной мерой было сокращение денежной массы — монетаристское решение, предложенное Милтоном Фридманом. Бюджеты следует сбалансировать, дефицитов допускать нельзя. Дерегулирование финансовой сферы и отмена ограничений на движение капитала обеспечат финансовый рост. Профсоюзное и государственное влияние необходимо уменьшить. Рынки должны вернуться в естественное транснациональное состояние, а безработица должна вырасти до своего естественного уровня. Корпорации стремились, где только возможно, к экономии за счет резкого сокращения расходов, зарплат и корпоративных программ социального обеспечения. Еще большую экономию сулили контракты субподряда с мелкими фирмами, использовавшими труд временных, не вступивших в профсоюз низкооплачиваемых работников. В 1980-е гг. в ходе большой волны слияний, вызванной политикой дерегуляции, которую проводил президент Рейган, менее эффективные компании становились жертвой враждебных поглощений. Чтобы не допустить этого, корпорации пытались максимизировать акционерную стоимость (Fligstein and Shin 2007).

До этих пор антимонопольное законодательство, призванное ограничить корпоративные слияния, оставалось характерной чертой американской политэкономии. Капитализм имеет тенденцию поощрять корпоративные слияния и создание монополий на развитых рынках, что считалось причиной ослабления конкуренции. Однако неолибералы, в отличие от классических либералов, утверждали, что чем крупнее корпорация, тем выше ее эффективность и качественнее услуги потребителю. Они признавали, что настоящей монополии следует избегать, поскольку она уменьшает конкуренцию, но полагали, что последняя сохранится, даже если в каждом секторе экономики останется хотя бы по три гигантские корпорации (Crouch 2011). В то же время снятие ограничений на занятие банковским делом за пределами собственного штата привело в Америке к возникновению гигантских банков. Особенно уязвимыми для корпоративного поглощения были конгломераты, состоявшие из многих специализированных подразделений, так как их можно было продать по отдельности, что приносило скорую прибыль продавцу и снижало конкурентное давление на покупателя. От этого теряли лишь рабочие и потребители, поскольку итогом были увольнения и рост цен (Fligstein and Shin 2007). Так как безработица выросла, угрозы увольнения ста-

ли эффективным оружием борьбы с забастовками; рынок труда стал более гибким; заработная плата упала. Все это обещало восстановить рентабельность, после чего ожидался общий рост экономики, который, мол, пойдет на благо всем и каждому. Однако в краткосрочной перспективе произошло слияние неолиберализма и интересов бизнеса и классовое наступление на права рабочих (Harvey 2005: 15; Davis 2009: 84–94).

Ничего подобного не происходило в Восточной Азии, где теперь расширялись отрасли тяжелой промышленности и потребительских товаров длительного пользования (в ущерб западным конкурентам). Япония, а затем азиатские «тигры» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг) стали пионерами нового «девелопменталистского» этатизма, базисом которого были не «оптимальное ценообразование» на свободных рынках и не защита отечественной промышленности на основе политики ISI, а стимулирование экспорта путем кредитования и субсидирования при поддержке правительства, проводившего тщательный мониторинг его эффективности (Amsden 2001). На первых порах неолибералы на это особого внимания не обратили. Наиболее комфортно они чувствовали себя в англосаксонских странах, тогда как в большинстве континентальных стран промышленные корпорации поддерживали тесные отношения с традиционными банками и полагались на социальную поддержку работников со стороны государства всеобщего благоденствия. За пределами финансового сектора подъем неолиберализма не был глобальным, и в стремлении овладеть политической властью он сосредоточился на Великобритании и Соединенных Штатах. Таким образом, нам придется вернуться к этим двум странам.

## АЛЬЯНС НЕОЛИБЕРАЛИЗМА С КОНСЕРВАТИЗМОМ: ТЭТЧЕР И РЕЙГАН

Когда Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган пришли к власти (в 1979 г. и в 1980 г. соответственно), они реализовали значительную часть неолиберальной программы. В Великобритании главной причиной напора консервативно-неолиберальных сил был классовый конфликт, усугубленный экономическим кризисом. Две общенациональные забастовки шахтеров в 1972 и 1974 гг., причиной которых стали разногласия по вопросу заработной платы, привели к снижению поставок энергоносителей и перебоям с электроэнергией. Это заставило правительство консерваторов во главе с Эдвардом Хитом ввести трехдневную рабочую неделю. Во время второй забастовки Хит объявил все-

общие выборы, которые и проиграл с небольшим разрывом, поскольку большинство избирателей винили во всем не шахтеров, а его. Сменившее их правительство лейбористов урегулировало трудовой спор и пыталось побороть стагфляцию, договариваясь в духе корпоративизма о мерах сдерживания заработной платы. Эти попытки провалились по причине британского волюнтаризма, так как ни профсоюзы, ни работодатели не могли соблюсти заключенных соглашений. (Как мы видели в томе 3, волюнтаризм был традиционной чертой либеральных англосаксонских стран.) В то же время левые лейбористы, позиции которых в результате кризиса и событий 1960-х гг. укрепились, предложили радикальную экономическую политику, бросив вызов своему партийному руководству. Это напугало бизнес, и отток капитала привел к стремительной девальвации фунта на 12%. Лейбористское правительство почувствовало, что пора идти на поклон к МВФ за кредитом — унижение, чреватое серьезными электоральными последствиями.

Тут на сцене и появилась Маргарет Тэтчер. Бедственная макроэкономическая ситуация и неспособность решать классовые конфликты в корпоративном духе привели к смене власти и победе Консервативной партии (King and Wood 1999). Кризис заставил консерваторов и деловые круги благосклонно отнестись к тому, чтобы задать трепку профсоюзам, что после недавних классовых столкновений было вообще весьма популярной идеей. Тэтчер подняла на щит ценности неолиберализма. На заседании теневого кабинета, бросив на стол книгу Хайека «Конституция свободы» (*The Constitution of Liberty*), она убежденно заявила: «Вот во что мы верим!» Тем не менее на всеобщих выборах 1979 г. победу ей принесли не соблазны неолиберализма, а мрачные экономические результаты правления лейбористов.

Причины победы Рейгана в 1980 г. были не столь однозначными. Верно, что в 1970-е гг. США пострадали от высокой инфляции и слабого экономического роста, а Никсон (как и Джеймс Каллагэн в Великобритании) тщетно пытался в условиях традиционного волюнтаризма добиться действенного контроля над ценами и заработной платой. Однако к тому времени американский либ-лаб альянс уже выдохся, и силу опять набирал консерватизм (как мы знаем из главы 3). Профсоюзное движение продолжало слабеть, а с ним стихали и требования рабочих. В отличие от Великобритании экономический кризис в Америке привел к асимметричному классовому конфликту, в котором высокоорганизованным оказался не труд, а капитал. В самом деле, в городах демократы столкнулись со скрытым расизмом [белых] рабочих, недовольных принудительной десегрегацией на транспорте, мерами позитивной дискриминации

цветных и этнической преступностью. Кроме того, демократов с их традиционной политикой перераспределения благ за счет экономического роста стагфляция поставила в тупик, расколов на либеральное крыло, все еще стремившееся к перераспределению, и основной центр, боявшийся оттолкнуть от себя средний класс. В стране усилилось сопротивление налоговой политике. В 1978 г. очередной законодательной инициативой прославился штат Калифорния (*California's Proposition 13*), потребовавший снижения налогов при сохранении прежнего объема государственных услуг — абсурдное сочетание, характерное для калифорнийской политики и сегодня. Постоянно растущий государственный долг увеличивался вместе с долгом домохозяйств и частных лиц, получивших легкий доступ к ипотекам и кредитным картам, — страна, растущая в долг.

Экономическое и идеологическое недовольство также усиливало консервативные настроения. С одной стороны, корпорации и Комитет экономического развития (CED) поощряли наступление Рейгана на профсоюзы и его планы дерегулировать экономику. Воспользовавшись либерализацией законов о финансировании выборов, корпорации вложили в его президентскую кампанию огромные деньги. С другой стороны, наступила идеологическая реакция на «эксцессы 1960-х гг.» с требованием возврата к истинно американским моральным ценностям. Значительно левее были афроамериканцы, феминистки и образованные либералы с их требованием защиты прав и свобод, но все это было далеко от озабоченности белых рабочих. На этом фоне появились консервативные мозговые центры, такие как Американский институт предпринимательства (*American Enterprise Institute*), Фонд наследия (*Heritage Foundation*). Они привносили туда неолиберальные концепции, а христианские правые — моральные ценности. Возникла консервативно-неолиберальная идеологическая альтернатива, предлагавшая собственные решения непростых американских проблем.

В президентской кампании 1980 г. Рейган ратовал за мир с позиции силы с Советским Союзом. Он поднял на смех неудачную попытку Джимми Картера освободить заложников из посольства США в Иране. В традиционном республиканском стиле Рейган выступил против «большого правительства», афористично заявив: «Правительство не решение, а проблема». Он поддерживал права штатов, что было скрытой апелляцией к белому расизму. Наконец, он обещал хорошие времена: 30%-е снижение налогов и сбалансированный бюджет в течение трех лет. Идея была в том, что снижение налогов на бизнес должно будет решить обе задачи. Жизнерадостный образ Рейгана соответствовал его позитивной программе. Республиканцы так-

же воспользовались недавними изменениями законодательства о финансировании предвыборной кампании, что позволило им принимать деньги от корпораций и состоятельных американцев. Поддержка бизнеса в ходе кампании обеспечила Рейгану значительные финансовые и медийные преимущества (Berman 1998: 70–72; Edsall, 1984: глава 3). Это наступление было классовым и консервативным; ослабленное рабочее движение противостоять ему не смогло.

На выборах 1980 г. малообеспеченные, разочарованные в Картере американцы проголосовали вяло, тогда как состоятельные единогласно проголосовали за Рейгана. Покусившись на традиционный демократический электорат, он получил большинство голосов белых рабочих, католиков и протестантов из числа евангельских христиан, умело отстаивая консервативную позицию по моральным и расовым проблемам. С другой стороны, большинство женщин впервые проголосовали за демократов. Придерживаясь на юге никсоновской стратегии, Рейган получил там больше голосов, чем ожидалось. Республиканцы победили в обеих палатах Конгресса и заняли большую часть губернаторских постов. Добившись успеха, консерваторы в союзе с неолибералами обеспечили в обеих партиях дальнейшие сдвиги в правом направлении (Busch 2005; Wilentz 2009; Berman 1998; Edsall 1984).

Новая администрация проводила в жизнь линию, которую позднее назовут рейганомикой, — неолиберальную повестку, включавшую сокращение госрасходов и налогов на бизнес, дерегулирование экономики и сокращение денежной массы. Дерегулирование осуществлялось не столько принятием новых законов, сколько уменьшением числа правил, установленных госучреждениями, особенно Национальным советом по трудовым отношениям, что противоречило интересам профсоюзов, и Агентством по охране окружающей среды, что противоречило интересам экологов (см. главу 12). При Рейгане политика дерегулирования, призванная защищать потребителей, стала инструментом защиты бизнеса с катастрофическими последствиями для кредитных и сберегательных учреждений, в конце 1980-х гг. потерпевших крах. Это была репетиция Великой неолиберальной рецессии 2008 года.

Фискальная политика Рейгана была регрессивной. За послевоенный период это была первая администрация, не поднявшая минимальный размер зарплаты в стране. Зато были сокращены налог на прирост капитала, налог на наследство и максимальная ставка налога на прибыль; социальные программы были урезаны на 50 млрд долл. За семь лет максимальная ставка налога на прибыль снизилась с 70 до 28%. Богатые стали богаче,

бедные — беднее. Хотя начинало сказываться и неравенство в оплате труда, растущее неравенство 1980-х гг. объяснялось в основном налоговой политикой Рейгана (Edsall 1984: 204–213; Massey 2007). Профсоюзы в лице профсоюза авиадиспетчеров были повержены. Неолиберализм возобладали и как идеологический и как классовый принцип.

Несмотря на обещание Рейгана уменьшить траты правительства, федеральные расходы как доля от ВВП из-за роста военных расходов фактически увеличились. Столкнувшись с японской и европейской конкуренцией, правительство США вкладывало средства в высокотехнологичные проекты. Соединенные Штаты, считавшиеся либеральной (неолиберальной) страной, с политэкономической точки зрения реально занимают неоднозначную позицию. В некоторых сферах она является скорее этатистской. Уже довольно долго государство усиленно субсидировало сельское хозяйство, аэрокосмическую и оборонную отрасли, а также высокотехнологичный сектор в целом. Последний рассматривался как часть национальной безопасности государства, как сектор, жизненно важный для международной конкуренции передовых технологий. Поэтому высокотехнологичные компании получили субсидии, подключились к сети государственных и университетских лабораторий, но не афишировались не только по соображениям национальной безопасности, но и в интересах политиков (особенно республиканцев), объявивших себя рыночными фундаменталистами, а не этатистами. Таким образом, неолиберализм политиков всегда выглядит несколько лицемерно (Block 2008). Статистика ОЭСР, используемая многими исследователями, обычно искажает картину экономики США, поскольку исключает оборонный сектор. В самом деле, практически все исследователи пренебрегают отношениями военных факторов социальной власти. Для государства, как я утверждал ранее [в томе 2], характерен не унитаризм, а полиморфизм: его многочисленные институты кристаллизуются различным образом в зависимости от разных видов деятельности и генезиса современных государств (Март 1986, 1993: глава 3). В аграрной кристаллизации декоммодификация американского государства куда более ярко выражена, чем в его кристаллизации в качестве государства всеобщего благоденствия. В смысле субсидий аграрному сектору Америка стоит ближе к Японии, Франции и Германии, чем к родственным англоговорящим странам. Военная кристаллизация Соединенных Штатов уникальна и, разумеется, отчетливо не либеральна. Ее ключевым компонентом (и здесь я позволю себе некоторый цинизм) является то, что США поощряют перераспределение, но не в пользу бедных, а в пользу богатых.

При Рейгане бюджетный дефицит вырос как следствие электорального компромисса между несовместимыми идеалами малого и большого правительства. В международной политике администрации США, не склонная уступать давлению валютных рынков, предприняла две крупные интервенции, принудившие иностранные правительства к сотрудничеству. К выгоде для американской стороны было заключено два соглашения: в 1985 г. — Соглашение в отеле «Плаза» о совместных валютных интервенциях пяти ведущих стран Запада ради ослабления доллара), а два года спустя — Соглашение в Лувре о продолжении интервенций «группой пяти плюс одна [страна]» для достижения валютной стабильности. Таким образом, национализм возобладал над неолиберализмом. Тем не менее неолибералы провозгласили Рейгана своим предводителем, поскольку их союз с консерваторами из лагеря холодной войны был с электоральной точки зрения слишком выгоден, чтобы от него отказываться. Рейган решал и другие консервативные задачи: блокировал политику по защите гражданских прав и помощь больным СПИДом, а также укомплектовал консерваторами судебные учреждения (Wilentz 2009: 180–194).

Неолибералы предполагали, что вынудят людей слезть с социальных пособий (*welfare*) и идти искать работу, лишь это гарантировало им временное пособие по безработице (*workfare*). Предполагалось, что это вернет безработным экономические стимулы к труду. Вакант (Wasquan, 2002, 2009) усматривает логику в сдвиге неолиберализма от *welfare* к *workfare* и далее к тому, что он называет *prisonfare* — расширению карательных функций полиции и увеличению численности заключенных в тюрьмах. Аналогичным образом Пек и Тикелл (Peck and Tickell 2002) различают два типа неолиберализма — *rollback* (дерегуляция) и *rollout*, когда проблемы, вызванные неолиберализмом первого типа, решаются новыми правительственными инициативами. Ярким примером этого, по их мнению, стал переход неолиберализма от *workfare* к *prisonfare*.

Вакант убедительно описывает систему, гарантирующую пособие только работающим или ищущим работу (*workfare*) и практику лишения свободы (*incarceration*). Однако, связывая эти явления и утверждая, что увеличение числа заключенных объясняется неолиберальной политикой, он использует излишне функциональный подход. Не сумев обеспечить стабильный экономический рост и сделав акцент на борьбе с инфляцией, неолиберализм способствовал росту безработицы, и неолиберальным ответом на эту проблему и была политика *workfare*, утверждает Вакант. Однако корреляции между ростом безработицы и преступности не существует, так как предполагаемая



в этот период возросшая преступность — это миф, созданный паническими настроениями, а не реальность. В реальности же преступность сокращалась в основном по демографической причине: в этот период снизилось абсолютное число молодых мужчин. Поэтому Вакант фокусируется на росте числа заключенных — индикаторе, который с середины 1980-х до начала 1990-х гг. устремился вверх. Тем не менее в этот период количество лиц, находившихся на социальном обеспечении, оставалось неизменным. Основное бремя ужесточения требований к получателям льгот пришлось на период по завершении реформы социального обеспечения при Клинтоне, после чего количество заключенных выросло незначительно. В 1980-е гг. большинство заключенных были афроамериканцами, хотя их доля во всем населении страны составляла менее 13% (в 1990-е гг. их доля от общего числа заключенных немного сократилась — до 45%). В 1980-е гг. это объяснялось увеличением числа арестов за преступления, связанные с наркотиками. Однако исследования показывают, что большинство тех, кто принимал или распространял наркотики, не были афроамериканцами. Дело в том, что жизнь чернокожих парней из рабочих семей на городских улицах была самой открытой, поэтому их было легче всего брать с полочным, а еще потому, что сами копы были расистами. Однако война с наркотиками плюс расовые предрассудки были следствием не столько неолиберализма, сколько окрашенной расизмом паники по поводу наркопреступлений. Эта проблема носила не неолиберальный, но отчетливо американский характер, расизм, как мы убедились, давно стал элементом американского консерватизма. Большинство из тех, кто потерял работу вследствие неолиберальной политики, были белыми, но лишь немногие из них попадали в тюрьму.

Дополнительные критические замечания в адрес Ваканта высказывает Лейси (Lacy 2010). Она отмечает огромные различия в цифрах тюремной статистики между разными штатами. В середине 2000-х гг. показатели, отражающие долю заключенных в общей численности населения, в штате Луизиана были в пять раз выше, чем в штате Мэн. Тогда же во всех южных штатах этот индикатор был почти в два раза выше, чем на северо-востоке США. Опять же эти различия, похоже, вызваны не столько неолиберализмом, сколько влиянием расового консерватизма. Лейси указывает (как делаю и я), что неолиберализм нашел точку опоры только в либеральных (англоговорящих) странах. Она отмечает исключительный рост упомянутого индикатора в США, где он оказался почти вчетверо выше, чем у следующей страны в той же выборке (Польша). В большинстве других стран эти показатели гораздо ниже и либо оста-

ются неизменными, либо незначительно растут. Значительный рост наблюдается лишь в Великобритании, опередившей по этому показателю остальную Западную Европу. В Соединенном Королевстве наркопреступники составляют до трети от общего числа заключенных, причем чернокожих, по статистике, лишают свободы втрое чаще белых. Это позволяет объяснить рост числа заключенных не неолиберализмом, а расовыми предрассудками, иммиграцией и страхом перед наркопреступностью (Bewley-Taylor et al. 2009). Вакант пишет, что неолиберализм проник и в пенитенциарную политику Франции (Wasquant 2009: глава 9), однако приводимые им факты отражают не столько политические изменения, сколько распространение неолиберальных идей некими группами давления. Лейси показывает, что французские показатели численности заключенных остаются низкими и статичными. Вакант утверждает, что общим для англоязычных стран — членов Британского сообщества наций является как неолиберализм, так и высокие показатели тюремной статистики (Wasquant 2009: 305). Однако в действительности процент заключенных в общей численности населения в таких странах, как Австралия, Канада и Новая Зеландия, оставался довольно низким. Представляется, что в сфере пенитенциарной политики примеру США при Рональде Рейгане последовала лишь Великобритания при Маргарет Тэтчер. Тем не менее общим для обеих стран является не только неолиберализм, но и расовый консерватизм; последний и оказал, по-видимому, большее влияние на их пенитенциарную политику.

Тэтчер и Рейган оставались у власти до 1990 и 1988 гг. соответственно. Они снизили налоги на богатых. Рейган дерегулировал экономику, а его судебные назначенцы, в частности неолибералы Роберт Борк и Ричард Познер, свели на нет антимонопольные законы (Crouch 2011). Тэтчер провела приватизацию, либерализовала движение капитала, добилась принятия законов, которые «подрезали крылья профсоюзам», внесла в процедуру распределения государственных средств больше конкуренции и рыночных критериев (соотношение цены и качества, итоговая прибыль или убыток и т. д.). В рамках того, что было названо аудитом, она пыталась внедрить в работу государственных и некоммерческих организаций аналоги рыночных механизмов, что дало парадоксальный эффект: организации стали более централизованными, иерархичными и подвластными аудиторам (Peck and Tickell 2002: 387). Еще одним средством подчинения политической власти экономической было перенесение бухгалтерских приемов из бизнеса в сферу социальных услуг. Политика Тэтчер и Рейгана вызвала временный

экономический бум, который вскоре прекратился, она также способствовала росту неравенства, что стало победой капитала над трудом. Тэтчер сделала Британское государство более компактным. В момент ее прихода к власти государственные расходы составляли 43% ВВП. В 1990 г., когда Тэтчер покинула пост премьер-министра, эти расходы сократились до 39% в основном благодаря масштабной приватизации государственных предприятий и жилищного сектора. Тем не менее к 1995 г. госрасходы вернулись на уровень 1979 г. В США при Рейгане доля госрасходов в ВВП фактически выросла, причиной чему стало увеличение военных затрат. На пользу двум «рыцарям холодной войны» пошли и боевые победы. Американцы верили, что Рейган одолел «империю зла», тогда как «железная леди» привела Великобританию к победе в войне 1982 г. за Фолклендские/Мальвинские острова. Оба события послужили косвенным фактором укрепления мощи неолиберализма. В терминах политической власти оппозиционные партии не смогли составить ему единую альтернативу. В Великобритании в 1981 г. произошел раскол Лейбористской партии, от которой отделилась Социал-демократическая партия, что с учетом военной победы «железной леди» на десяток лет исключило для лейбористов возможность возвращения к власти.

В большинстве других стран неолиберализм имел меньший успех. Впрочем, одна из его идей распространилась по всему миру — идея приватизации государственных компаний. Отчасти это объяснялось отношениями политической власти. В странах Европы доля национализированных предприятий составляла 12–15% ВВП. Некоторые из них были неэффективными, демонстрируя типичные для больших бюрократических систем недостатки. К тому же их продажа в период дефицитного финансирования могла повысить доходы государства и уменьшить бюджетные трудности. Бывший премьер-министр Гарольд Макмиллан, представитель аристократии, назвал приватизацию «распродажей фамильного серебра». Тэтчер надеялась, что приватизация поможет ослабить влияние профсоюзов и сделать трудящихся акционерами, поддерживающими капитализм и партию консерваторов. В США так же рассуждали стратеги Республиканской партии. В других странах правые правительства разделяли те же соображения и следовали тому же примеру. Со временем на смену им пришли левые правительства, которые в период бюджетного дефицита также приветствовали приток дополнительных доходов. Особенно преуспели по части приватизации Франция и скандинавские страны. К началу нового тысячелетия в европейских странах доля государственных предприятий в ВВП сократилась до 7–8%.

В странах глобального Юга первые приватизации прошли в 1973–1974 гг. в Чили при генерале Пиночете, хотя сначала они коснулись в основном компаний, национализированных при предыдущем социалистическом правительстве Сальвадора Альенде. С помощью его так называемых чикагских мальчиков Пиночет в 1981 г. приватизировал систему социального обеспечения, а в середине 1980-х гг. — большее количество государственных компаний. В 1990-е гг. большая волна приватизаций охватила Латинскую Америку и страны бывшего советского блока, а чуть меньшие волны частично распространились на Азию и Африку. Экономисты уверяют, что приватизация обычно приводит к росту эффективности, но на Юге, особенно в мусульманских странах и в странах бывшего СССР, она зачастую вообще не была неолиберальной. На деле приватизация была не столько расширением рыночной экономики, сколько передачей бывших государственных ресурсов в собственность клиентских сетей правящих режимов. Это был не капитализм свободного рынка, а политизированный капитализм, где доступ к государственному аппарату обеспечивал возможность завладеть частными предприятиями. Многие из активов были приобретены иностранными компаниями. Из-за этого в странах глобального Юга приватизация была не особенно популярной, а распространение идей демократии постепенно свело ее на нет. После 2000 г. на долю государственных компаний все еще приходилось около 20% мировых инвестиций (Lopez de Silanes and Chong 2004; Sheshinski and Lopez-Calva 2003). Тем не менее приватизационная кампания была объявлена успехом неолиберализма. Она повсюду способствовала отмене государственного вмешательства в экономику, хотя это, разумеется, не всегда добавляло эффективности конкурентным рынкам. Впрочем, едва ли можно пенять неолибералам за то, что их теории, будучи применены на практике, подверглись искажениям.

Финансиализация, приватизация, независимость центральных банков были частью неолиберального наступления, которое не затронуло лишь немногие страны. Государства потеряли контроль над своими процентными ставками, а также не могли периодически прибегать к девальвации (для большинства европейских стран это было связано с введением единой валюты — евро). Тем не менее в других сферах неолиберальные достижения были еще менее полными. В 1994 г. ОЭСР, стремясь увеличить гибкость рынка труда, взялась уменьшить права наемных рабочих, но затем отказалась от этих намерений. Европейский союз пошел на компромисс, уравновесив меры по усилению конкуренции в экономике принятием документа, гарантирующего социальные права трудящихся.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И УРОВНЕЙ НЕРАВЕНСТВА В НИХ

Низкие темпы роста экономики и низкая производительность плюс растущая безработица вызвали спад, тогда как «экспорт рабочих мест» (перевод производства) в более бедные страны уменьшил занятость, в связи с чем затраты на соцобеспечение стали неподъемными. Росту государственных расходов способствовали и демографические тенденции: удлинение сроков получения высшего образования и процесс старения населения привели к увеличению пенсионных и медицинских расходов. Эти факторы содействовали «демографическим ножницам», когда с каждым поколением все меньшее число работающих вынуждено поддерживать все большее число неработающей молодежи и стариков. Если в 1980 г. в Германии одного пенсионера содержали семеро работающих, то к 2010 г. их осталось лишь трое. По мере развития государства всеобщего благосостояния право на получение льгот предоставлялось все большему числу людей. Причиной роста социальной нагрузки не были ни глобализация, ни неолиберализм, и лишь в ряде случаев она имела экономическое происхождение. Тем не менее эта нагрузка сказалась на состоянии неокейнсианского государства, в результате чего в 1980-е гг. по всем странам глобального Севера прокатился финансовый кризис (Pierson 1998, 2001; Angresano 2011). Чтобы избежать губительного бремени долгов, правительства были вынуждены либо снижать государственные расходы, либо увеличивать налоговые поступления. Повышение налогов, как правило, считалось политически невозможным. Таким образом, приходилось сокращать расходы, а крупнейшей статьёй госбюджетов была сфера социального обеспечения. Поэтому основная нагрузка легла на государство всеобщего благосостояния и возглавлявшие его левоцентристские партии. Те или иные бюджетные сокращения затронули все страны (Huber and Stephens 2001). У неолибералов возникло ощущение, что наступило их время. Распад СССР и переход Китая к рыночным реформам лишь укрепили их уверенность.

В большинстве развитых стран левые были ослаблены. В 1980-е гг. серьезный удар был нанесен сокращением численности профсоюзов, которое в 1990-е гг. прокатилось и по развивающимся странам. Уровень женского членства в профсоюзах вырос, а членство мужчин и молодежи сократилось. И если в государственном секторе положение профсоюзов было прочным, то в частном секторе оно существенно ухудшилось. Сни-

зился уровень их активности, в ряде стран забастовки практически исчезли. Главной причиной этого была деиндустриализация в развитых странах, вызванная желанием работодателей сократить издержки путем снижения заработной платы, а также избавиться от профсоюзов в результате вывода производства в менее развитые страны. Этот феномен Дэвид Харви и Биверли Сильвер назвали пространственным разрешением классового конфликта. Как следствие, в странах глобального Севера численность рабочих в отраслях, где традиционно были сильны профсоюзы, сократилась. И наоборот, в странах глобального Юга число таких производств увеличилось, но сопротивление рабочих жестоким формам эксплуатации, типичным для развивающихся стран, было еще в зачаточном состоянии. Сегодня рабочее сопротивление (как мы увидим в главе 8) усиливается в Китае, превратившемся в мирового промышленного лидера.

Тем не менее на Севере, где рабочие в растущих секторах, таких как транспорт и государственные услуги, сохранили или укрепили свои коллективные позиции, новая технологическая революция с эпицентром в отраслях электронных коммуникаций не требовала большого количества занятых. При этом растущий сектор частных услуг обходился малыми предприятиями, где система найма была более гибкой, рабочая сила — нередко временной, а потому уровень юнионизации ниже. Имело место расширение двух противоположных видов занятости: с одной стороны — высококвалифицированные офисные работники, особенно в сфере финансовых услуг, с другой — зачастую случайные работники без особой подготовки в частном секторе услуг. «Совокупный рабочий», в котором Маркс усматривал субъекта революции, эти взаимозависимые рабочие больших городов в странах глобального Севера уступили свое место индивидуализированному персоналу автоматизированных офисов и изолированному персоналу сферы услуг. Экспорт рабочих мест в промышленности и внедрение трудосберегающих технологий в современных отраслях производства привели к тому, что уровень безработицы, особенно долгосрочной безработицы, повысился, а инфляции снизился. Обе тенденции вели к дальнейшему ослаблению профсоюзов (Silver 2003: 97–123, 130; Ebbinghaus and Visser 1999; Visser 2006). Политики решили, что прежняя необходимость умиротворять профсоюзы теперь отпала. Кроме того, с распадом коммунизма уменьшилось давление на социалистов со стороны крайнего левого электората. Казалось, давление на них сохранилось лишь справа, из-за чего партии, считавшиеся левыми, сместились в центр (как, в частности, поступили британские и американские левые). В самом деле, как показывает Мадж (Mudge 2011), они взяли на вооружение изрядную долю

неолиберальной риторики, хотя и не в такой мере, как это сделали консервативные партии. Везде и во всех проявлениях социализм, наступление которого было остановлено структурными изменениями, пребывал в кризисном состоянии.

Поменялось и общественное мнение, хотя везде по-разному. Данные опросов по двадцати развитым странам не демонстрируют снижения поддержки экономических программ левых партий, но в то же время фиксируют рост популярности консервативной морали и националистической риторики, что является признаком расширяющегося недовольства в странах глобального Севера. Правые партии пропагандировали национализм, моральный консерватизм, закон и порядок, чем привлекли к себе многих рабочих. В Европе антииммигрантские настроения переплетались с культурным национализмом, а мнение народа о государстве всеобщего благоденствия перестало быть однозначным. Хотя большинство граждан в принципе все еще одобряли политику перераспределения, многие считали ее изъятием благ у простых рабочих в пользу дармоедов (нередко иммигрантов), живущих на социальные пособия и имеющих поддержку в лице бесполезной бюрократии. Корреляция между тем, к какому классу человек принадлежит и за какую партию голосует, в целом не изменилась (Houtman et al. 2008: главы 4 и 7; Manza et al. 1995), но правый популизм усилился, а левые партии сместились в центр, что исключало дальнейшее расширение социальных программ или сферы прогрессивного налогообложения.

Это был конец долгого послевоенного периода великого классового компромисса, инициаторами которого были левоцентристские партии. Соотношение сил в рамках капитализма стало все более асимметричным, поскольку рабочий класс был организован в масштабе отдельных национальных государств, роль которых тоже снижалась, а класс капиталистов становился все более глобально организованным. Эта асимметрия в равной мере придавала смелости и неолибералам, и консерваторам, и капиталистам. Казалось, рабочий класс доживает свои последние дни. И действительно, в наиболее развитых странах неравенство стало расти. В период с 1980 по 2000 г. коэффициент Джини (показатель неравенства) увеличился в большинстве (70%) из 24 государств — членов ОЭСР. Это был апогей неолиберализма. Больше всего он вырос в англосаксонских странах, как мы убедимся, лишь немногие страны обладали полным иммунитетом к росту неравенства. В период с середины 1990-х до середины 2000-х гг. общая тенденция не просматривалась. Если в половине стран — членов ОЭСР существенных изменений не произошло, то в четверти стран коэффициент Джини вырос, а в другой четверти —

снизился (ОЕСD 2008). По всей видимости, в этот период неолиберальное наступление достигло своего апогея.

Как показало сравнение Великобритании, США, Франции и Западной Германии (Prasad 2006), единого ответа на кризис не было. В двух англосаксонских странах (как мы видели в главе 9 тома 3) существовала комбинация прогрессивного налогообложения и системы социальных льгот, зависящая от имущественного критерия. Большую часть социальных пособий бедным оплачивали богатые, но свою лепту вносили и рабочие, и нижние слои среднего класса. Простые люди, понимавшие, что и к ним в двери может постучаться беда, в какой-то мере сочувствовали получателям социальной помощи. Государство всеобщего благосостояния опиралось на народную солидарность, которую левые называли классовой солидарностью. Однако благодаря успеху неокейнсианства в 1950–60-е гг. лица со средним доходом перешли в вышестоящую налоговую категорию, а налоговое бремя спустилось вниз по классовой структуре. В 1970-е гг. наступила рецессия и налоговое бремя возросло. Люди стали восприимчивее к консервативным взглядам на «социальное иждивенчество ленивых попрошайек» (в США это имело расовый оттенок). Прасад отмечает, что основная электоральная база Тэтчер/Рейгана прирастала квалифицированными рабочими и низшими слоями «белых воротничков» — социальными группами, более других готовыми на выборах 1979–1980 гг. сдвинуться вправо. Рабочий класс раскололся пополам вдоль самого его центра. В США белые рабочие все чаще отворачивались от профсоюзов и от Демократической партии. Две другие страны — Франция и Германия — отличались от США не столько тем, что сохранили мощный рабочий класс, сколько тем, что не имели аналогичной прогрессивной системы налогообложения и критериальной системы социальных пособий. Средние классы там получили не меньше (если не больше) льгот и выплат, чем рабочий класс, и потому были в той мере заинтересованы в государстве всеобщего благосостояния. Поэтому, несмотря на их отношение к дармоедам, окрашенное ксенофобскими и расистскими тонами, наступление на социальное государство означало бы там наступление не только на бедняков, но и на большинство народа. Для такого предприятия у политиков не было побудительных мотивов, поскольку речь шла уже не о классовой, а о всенародной солидарности.

Это была не более чем отсрочка неизбежного конца. В начале XXI в. социал-демократические политики Германии, стремясь разрешить фискальный кризис, связанный с [бюджетными] дефицитами, проигнорировали общественное мнение и провели серьезную реформу системы социального обеспечения. В ито-



ге она стала более либеральной в том смысле, что уменьшился объем социальных льгот особенно для пожилых и безработных, хотя эта мера была отчасти компенсирована увеличением семейных пособий. По утверждению Хинрикса (Hinrichs 2010), реформа сочетала элементы двух моделей социального обеспечения — скандинавской и англосаксонской и положила, по сути, конец традиционной германской модели, заложенной еще Бисмарком. Впрочем, добавляет Хинрикс, с 2008 г. дальнейшая ее либерализация встретила сопротивление. В результате идея углубления реформ была отвергнута, а пособия безработным увеличились. Это объяснялось давлением общественного мнения и подъемом Левой партии, бросившей вызов германским социал-демократам в ряде их традиционных электоральных бастионов. Таким образом, борьба за государство всеобщего благосостояния все еще продолжается.

В то же время Штрик (Streeck 2009) утверждает, что германская промышленность переживает либерализацию — «уменьшение централизованного контроля и авторитетной координации» — в пяти основных сферах экономической деятельности: в ведении коллективных переговоров, во взаимодействии профессиональных союзов с ассоциациями работодателей, в корпоративном социальном обеспечении, в государственных финансах и в корпоративном управлении. Результатом этого, отмечает Стрик, является стагнация заработной платы и расширение неравенства. Он считает, что процесс начался еще до объединения Германии и что его основными причинами не были ни глобальные проблемы, ни неолиберальные идеи, а он был вызван в основном фискальными проблемами и неспособностью традиционного немецкого корпоративизма справиться со структурными переменами в экономике. Это было следствием того, что растущий сектор услуг превысил по объему традиционно сильный в Германии производственный сектор, а также того, что промышленные предприятия нуждались в более гибких методах производства и организации труда, к тому же заметно выросло разнообразие германской экономики. Стрик полагает, что начался процесс институционального истощения корпоративной структуры, которая в конечном счете сама себя изживает. Однако у него есть и обратная сторона, от которой проигрывают не только малообеспеченные слои населения. Стагнация зарплат, увеличение безработицы и рост неравенства вызывают снижение совокупного спроса и добавляют финансовых проблем, поскольку государство всеобщего благосостояния существует на взносы, сильно зависящие от уровня занятости и заработной платы. И так как в Германии присутствуют влиятельные левые силы, выступающие за активную кейнсианскую

политику, дальнейшего продвижения страны по пути либерализации может и не произойти.

Иное дело Франция. Под давлением различных факторов, в том числе неолиберализма, она отказалась от контроля за движением капитала, провела радикальную денационализацию промышленности, придала рынку труда больше гибкости и упростила процесс увольнения работников. Тем не менее в помощь тем, кто мог пострадать от такой политики, французские власти, как голлистские, так и социалистические, приняли ряд компенсационных мер: крупные программы переобучения рабочих, досрочный выход на пенсию, расширение медицинской помощи и услуг по уходу за детьми, а также жилищные субсидии. В конце века Франция тратила на социальные программы 30% ВВП — больше, чем любая страна (за исключением скандинавских стран), вдвое больше, чем США, а ее уровень неравенства вообще не увеличился (Evans and Sewell 2011; Levy 2005; Palier 2005). В начале 2000-х гг. Николя Саркози высказывался в пользу англосаксонских рецептов для Франции, однако единственное, что он (уже как избранный президент) смог сделать с государством всеобщего благосостояния, лишь слегка «пощипать перья» весьма раздутому французскому государству всеобщего благоденствия. С началом Великой неолиберальной рецессии Саркози стал отзываться об «англосаксонской экономической модели» гораздо критичнее.

Во французской социальной политике по-прежнему доминирует *solidarite* — понятие солидарности: все мы — в одной лодке. В 2004 г. правительство Франции столь озабочилось истощением средств государственного пенсионного фонда, что для его пополнения призвало всех занятых бесплатно отработать лишний рабочий день. Его назвали *la journee de solidarite* — день солидарности, когда люди работают на благо больных и стариков. Франция до сих пор не провела реформ, которые помогли бы решить ее фискальный кризис и проблемы безработицы (Apgresano 2011: глава 5), и таких шансов все меньше, так как народ во Франции и в других странах разочаровался в неолиберализме Евросоюза, который ограничивает возможности. Хотя национальные парламенты продолжают ратифицировать соглашения о его углублении, они были отвергнуты в ходе всех (кроме одного) народных референдумов, проведенных с 2002 по 2008 г. во Франции, Голландии, Ирландии, Дании и Швеции (единственным исключением стала Испания). Еще в пяти странах референдумы были отменены из-за боязни политиков получить отрицательный результат. За углубление интеграции ЕС выступали национальные элиты, но не народы. Основной причиной были опасения простых людей, еще как-то сохранявших демо-

кратический контроль над своими национальными государствами, но воспринимавших ЕС как нечто далекое и неподвластное им. К этому привела ситуация в двух различных политических сферах — так называемый экономический неолиберализм Европейского союза и приток иммигрантов из новых стран-членов (а также из других стран), усилившийся после расширения ЕС.

Если мы распространим нашу перспективу на все развитые страны, то ощутить различия между ними поможет классификация Эспинг-Андерсена, выделяющая три типа государств всеобщего благоденствия. Эти типы я называл англосаксонским, скандинавским и континентальным (хотя они не являются статичными типами, а обладают собственными траекториями подъема или упадка). Под давлением финансовых трудностей они изменяются. Столкнувшись с рецессией, все страны прибегли к мерам дефляционной фискальной политики. Все они нашли способы урезать государственные бюджеты, в том числе путем экономии на социальных расходах. Однако крупнейшие сокращения, несомненно, были предприняты в англосаксонских странах. В 1980–90-е гг. особенно сильно пострадали системы социального обеспечения двух стран — Австралии и Новой Зеландии (Huber and Stephens 2001; Swank 2002: глава 6; International Government Office [ILO] 2008; Kato 2003: 133–156; Starke 2008)<sup>1</sup>. Англосаксонские страны сохраняли либеральные традиции этического индивидуализма и классической политической экономии. В отличие от них в странах континентальной Европы неолиберализм был приглушен послевоенным компромиссом между христианскими демократами и социал-демократами. Этот смягченный неолиберализм, или «социальный рынок», будучи довольно прагматичным, обычно не отказывался от мер государственной защиты (Mudge 2008: 710–718). С такими культурологическими объяснениями не согласен Прасад, отмечающий, что идеи «экономики предложения» не были особенно популярными среди политиков. Однако корни неолиберализма залегают глубже уровня экономики. Для Маргарет Тэтчер уменьшение роли государства и профсоюзов, распродажа национализированных предприятий, снижение налогов и разрешение съемщикам на приватизацию квартир в общественном жилищном фонде было движением к более свободному обществу. Политические

---

1. Австралия и Новая Зеландия в значительной степени зависят от экспорта сырья и полуфабрикатов. Их экономика пострадала в связи с тем, что Британия вступила в ЕС, а цены на сырье упали. Безработица в этих странах резко возрасла, возникли серьезные финансовые трудности. Поэтому на первые значительные сокращения социальных бюджетов пошли именно Австралия и Новая Зеландия (Castles 1998: 32–34; Starke 2008). Напряженность в экономике этих стран снизилась после того, как хозяйственный подъем Китая привел к увеличению спроса на их сырье.

лидеры англосаксонских стран утверждали, что они проводят приватизацию, борются с профсоюзами и реформируют налоговые кодексы во имя свободы. Эта идеология нашла сильный отклик в странах с либеральными традициями и гораздо меньший — в скандинавских и континентальных странах.

В англосаксонских странах идеи неолиберализма распространились по всему политическому спектру. Новые лейбористы Тони Блэра, как и новые демократы Билла Клинтона, проводили рыночно ориентированную политику. Выбранный ими «третий путь» предполагал, что граждане помимо прав имеют обязанности, причем права носят не универсальный, а условный характер. В итоге проведенной Клинтонем социальной реформы работа стала обязательной даже для одинокого родителя в обмен на временную финансовую поддержку, которая оказывалась человеку не более двух лет подряд и не превышала пяти лет на протяжении его жизни. Все это, а также строгие критерии нуждаемости вдвое уменьшили численность получателей социальной помощи. В то же время большинство людей, вычеркнутых из списка, остались бедняками, страдавшими от хронических социальных проблем. В ряду таких проблем — ограниченный доступ к услугам дошкольных и медицинских учреждений, перевод постоянных работников в разряд временных с понижением заработной платы, их субъективное разделение на тех, кто достоин сверхурочной (дополнительной) работы, а кто — нет (Handler 2004). Новые лейбористы Блэра провели деполитизацию государственного регулирования, так что новые правила, казалось, были продиктованы рыночными факторами. В угоду рынку Банк Англии поднял процентные ставки и обменный курс фунта стерлингов, а поскольку государственный сектор управлялся обезличенным методом учета издержек, правительству нельзя было вменить в вину последующее давление на заработную плату в сторону понижения (Burnham 2001). Лейбористские партии Австралии и Новой Зеландии придали торговле, процессу приватизации и реформе системы социального обеспечения прорыночную направленность (Swank 2002: глава 6; Starke 2008: глава 4). Премьер-министр Австралии Пол Китинг и новозеландская *Rogernomics* повлияли на Тони Блэра. Новые идеи и передовые практики свободно циркулировали между англосаксонскими странами. Политические элиты Австралии и Новой Зеландии нередко получают образование в Соединенном Королевстве, а канадские политики обучаются как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах.

Если неолиберальная теория верна, то крупнейшие сокращения происходили бы в наиболее расточительных государствах всеобщего благосостояния. Тем не менее произошло обратное.

Самые решительные сокращения наблюдались в англосаксонских странах, и без того не отличавшихся излишней щедростью. Сокращения в других странах были маргинальными, а последствия — не столь регрессивными. Скандинавские страны не отказались от универсальных прав на льготы и выплаты; континентальные страны чуть отошли от системы универсальных, но статусно неравных прав. В одном из компаративистских исследований (Palier 2010) отмечается ряд общих для этих стран либеральных реформ, в том числе расширение льгот, адресованных беднякам (например, социальные пенсии без взносов со стороны получателей). Эти меры, а также повышение пенсионного возраста обеспечивали экономию средств; кроме того, граждан призывали участвовать в частных пенсионных программах. Наблюдалось массовое, хотя и постепенное движение в сторону дуализма или (как сказано в исследовании Palier) к селективному универсализму. Подобно Германии, большинство стран континентальной Европы заимствовали программы как у скандинавских, так и у англосаксонских стран, например оказание медицинских услуг как гражданину, а не как рабочему (хотя в Великобритании последнее тоже практикуется). Помимо общей тенденции к экономии средств никакой «генеральной линии» среди стран континентальной Европы не просматривается (Palier 2010). Как показывает Ангресано (Angresano 2011), авторы сравнительно успешных социальных преобразований в Швеции и Нидерландах достигли консенсуса благодаря проведению прагматичных постепенных реформ, не угрожавших основам их социальных программ. Этого же, по его словам, добились новозеландские реформаторы, однако ценой большего неравенства и бедности. И хотя неолиберальные амбиции возникали в большинстве стран, при столкновении с массовым сопротивлением они быстро сходили на нет. Именно так в угол загнали, например, французских и итальянских реформаторов. В 1991 г. к власти в Швеции пришла Умеренная коалиционная партия, но к тому времени она отказалась от большей части своей неолиберальной программы, осознав, сколь популярно в народе государство всеобщего благоденствия. Вскоре к власти вернулись социал-демократы и, чтобы сбалансировать бюджет, предприняли ряд небольших сокращений. Когда в 2006 г. к власти вновь вернулись неолибералы, они чуть сократили налоги и социальные программы и объявили, что в долгосрочной перспективе стремятся к снижению налогов. Впрочем, непонятно, как можно этого добиться, не покушаясь на государство всеобщего благосостояния. Однако вместо этого они, подобно датской неолиберальной партии Венстре, в погоне за голосами избирателей сделали ставку на *Kulturkampfs*, сосредоточившись

на проблемах морального упадка, национализма и иммиграции (Lindbom 2008). Осознав кризис государства всеобщего благоденствия, скандинавские и континентальные страны больше не спешат с неолиберализмом. Финансовые проблемы остаются, и если Великая рецессия с высокой безработицей не прекратится, то эти трудности лишь усугубятся.

Европейским аналогом пособий только для работающих или ищущих работу (*workfare*) была программа активации, в рамках которой претенденты на получение социальных выплат должны были заключать личные контракты со специалистами по трудоустройству: первые обещали искать работу, а вторые помогали им с этим и предоставляли пособие по безработице. Кроме того, благодаря государственным субсидиям создавалось немало рабочих мест. В американской системе *workfare* изобилие однотипных случаев подталкивало менеджеров по трудоустройству к их поспешной классификации, чтобы иметь время на работу с более интересными претендентами (Pesch 2001; Handler 2004). Образцом для стратегии ЕС в сфере занятости 1998 г. послужила шведская система, обязывающая безработных по истечении условного срока проживания на пособие участвовать в программе своего трудоустройства. Однако в странах Европы, в отличие от США, краткосрочные пособия по безработице были больше, а сравнительно меньшая помощь при длительной безработице оказывалась в течение большего срока, чем предусматривали такие же американские программы. Как показывает опыт стран континентальной Европы, программа активации способствовала снижению уровня безработицы, хотя и ценой большего дуализма на рынке труда, который проявлялся в том, что созданные таким образом рабочие места были, как правило, второсортными с точки зрения величины зарплат и пособий (Palier 2010: 380–383). Впрочем, если Великая рецессия продлится достаточно долго, то эти программы могут попасть под сокращение.

Для скандинавских стран и стран континентальной Европы, расположенных севернее остальных, характерным было наличие государственного корпоративизма, в рамках которого труд и капитал заключали обязывающие их соглашения. В случае институционализации таких структур крупные корпорации зачастую отдают предпочтение универсальной системе социального обеспечения работников и активной политики на рынке труда. Таким путем им удастся снизить конкурентное давление со стороны предприятий с низкой оплатой труда; тем не менее в последнее время наблюдается ослабление германского корпоративизма. Согласно действующей в ряде стран Гентской системе в финансировании различного рода пособий рабочим участвуют профсоюзы. В этих странах членство в профсоюзах гаранти-

рует трудящимся пособия, на 20–30% превышающие выплаты в англосаксонских странах, где льготы распределяются чиновниками, а роль профсоюзов ограничена ведением коллективных переговоров на децентрализованных рынках труда (Western 1993; Scruggs and Lange 2002; Ebbinghaus and Visser 1999; ILO 2008; Huber and Stephens 2001; Pontusson 2005). Это повышает инфраструктурную власть в форме обязывающих соглашений для борьбы с экономическими и финансовыми трудностями. Это гарантировало разрешение социальных конфликтов внутри государства и не сулило расширения социальных льгот, но давало возможность их защищать.

На левом фланге укрепились консервативные настроения, выразившиеся в попытках заморозить большую часть существующей системы социального обеспечения, несколько ослабленной фискальным давлением и неспособной развиваться дальше. Очевидный регресс представлял собой нечто новое. Иммигранты, прибывшие в Западную Европу из периферийных стран, чаще страдали от безработицы, перевода на временную работу, ограничений в праве на социальные выплаты. Кроме того, в Германии и Швеции отсутствовали законы о минимальной заработной плате, что в периоды полной занятости не являлось проблемой, но теперь оказывало дополнительное давление на бедные слои населения. Это было частью непреднамеренного движения в странах развитого корпоративизма к оформлению «двойного» рынка труда. Если квалифицированные и организованные в профсоюзы работники из числа коренных жителей имели возможность отстаивать свои позиции, то растущий рынок труда для временных, неквалифицированных рабочих, включая иммигрантов, означал для них сокращение социальных прав. Тенденция казалась особенно сильной или, возможно, более шокирующей в Германии. Проявление расизма на производстве и дуализм на рынке труда, очевидно, привели к ослаблению рабочего движения.

Защитников прав трудящихся в англосаксонских странах практически не осталось. Поскольку в этих странах участие работодателей, профсоюзов и государства в коллективных переговорах оставалось добровольным, от них можно было легко отказаться. Не пригласив профсоюзных лидеров в свою резиденцию на Даунинг-стрит, премьер-министр Тэтчер одним этим вывела государство из трехсторонней схемы разрешения трудовых споров. Ее предшественники в доме №10 на Даунинг-стрит и их оппоненты из руководства профсоюзов зачастую утрясали производственные конфликты в ходе мирной беседы за пивом и бутербродами. Позже она добилась принятия законодательства, ограничившего право профсоюзов на забастовку. Иначе обстоя-

ли дела в странах континентальной Европы (за исключением Германии), где коллективные договоры не утратили своей роли, а также в скандинавских странах, Нидерландах и Франции, где этот институт даже укрепился, к 2000 г. охватив 90% совокупной рабочей силы<sup>1</sup>. Все это происходило одновременно с неолиберальными достижениями в финансиализации и приватизации, что указывало на значительную неравномерность распространения неолиберальных идей. В англосаксонских странах, напротив, охват [трудящихся] коллективными договорами резко сократился. В Великобритании и Новой Зеландии он сократился соответственно с 70 и 60% в 1980 г. до 30 и 25% в 2000 г. К 2005 г. профсоюзный охват в Австралии и Ирландии также резко упал (Pontusson 2005: 99; МОТ 2008: табл. 3.2, с. 82). Что касается арбитражных судов по трудовым спорам, то в Новой Зеландии правившие в период между 1987 и 1991 гг. консервативные правительства отменили их вовсе, а в Австралии в 2006 г. просто выхолостили их роль. Это значительно уредило прежнюю самобытность двух британских доминионов, сделав англосаксонские страны в большей мере единообразными. Во всех этих странах консерваторы получили шанс вернуться к тем классовым конфликтам, которые считались давно разрешенными.

Макрорегиональные различия отражались на уровнях неравенства. В 1950-е гг. англосаксонские страны входили в число наиболее эгалитарных обществ, но в конце 1960-х их опередили скандинавские страны, а в 1980-е гг. — континентальные. Начиная с 1970-х гг. неравенство быстрее всего росло в англосаксонских странах, особенно в США. Хотя оно выросло и в ряде стран континентальной Европы, их общий коэффициент Джини незначительно изменился. Данные Люксембургского центра исследования доходов показывают, что с 1980 г. значительный рост неравенства в заработной плате произошел в США, Великобритании и Новой Зеландии, в то время как в большинстве континентально-европейских стран изменений было гораздо меньше. В Европе же возник и новый тренд. По уровню неравенства три средиземноморские страны — Греция, Италия и Испания — приближались к англосаксонским странам (Mann and Riley 2007; Smeeding 2002; Kenworthy 2004; Pontusson 2005: глава 3; Alesina and Glaeser 2005: глава 4)<sup>2</sup>. Таким образом, грани-

---

1. Некоторые социологи объясняют слабость французских профсоюзов их малой численностью (например, Prasad 2006; Wilensky 2002; Kato 2005). Это неверно. Во Франции членами профсоюза действительно становятся, как правило, лишь наиболее активно настроенные представители трудящихся, но в коллективных переговорах участвуют почти все рабочие, а когда объявляется забастовка, к ней присоединяются все сотрудники — как члены профсоюзов, так и не члены.

2. После того как Европейский союз, состоявший из 15 государств, был расширен



цы выделенных макрорегионов не стоит считать неизблемыми. Предприятия в англосаксонских странах начали ориентироваться на максимизацию акционерной стоимости и раздавать пакеты акций топ-менеджерам. Таким образом, резко вырос уровень дохода и состояний одного (но богатейшего) процента населения. Менеджерияльная революция, предсказанная Берли и Минзом еще в 1940-х гг., наполовину состоялась. Теперь менеджмент компаний в англосаксонских странах положил себе зарплату, сопоставимую с доходами своего предшественника — класса рантье. Однако случилось то, чего Берли и Минз предвидеть не могли: в союз с топ-менеджерами компаний вступили крупные акционеры, то есть владельцы капитала и его распорядители объединились (ILO 2008: главы 1, 2; OECD 2008: графики 1.1, 1.2 и глава 8; Castles and Obinger 2008; Atkinson et al. 2007)<sup>3</sup>.

Одним из элементов усугубления классового неравенства стал прогресс гендерного равенства. Последний оказывается тем больше, чем выше доходы в данной сфере деятельности, что сопровождается увеличением числа браков внутри данного класса. Мужчины с высоким уровнем доходов вступают в брак (или сожительствуют) с женщинами, также обладающими высокими доходами, в результате чего совокупный доход таких домохозяйств значительно увеличивается. Спускаясь вниз по шкале доходов, мы обнаруживаем, что там работающие женщины зарабатывают меньше своих партнеров, будучи зачастую наняты на неполную ставку или на временную работу. Таким образом, доходы таких семей едва ли выросли вообще. Кроме того, революционный пафос феминизма негативно сказался на количестве разводов, чем ухудшил положение малообеспеченных слоев населения. Если раньше развод был скорее привилегией состоятельных кругов и представителей высокооплачиваемых профессий, то теперь он куда шире распространен среди лиц с низкими доходами. Сегодня матери-одиночки чаще встречаются среди бедных, а трудности совмещения работы с воспитанием детей делают их еще беднее. В то же время между двумя основными регионами, где феминизм достиг известного уров-

---

и охватил страны Восточной Европы, неравенство между странами ЕС увеличилось, так как теперь в нем появились новые члены, одни из которых были намного беднее остальных.

3. Иногда либералы утверждают, что растущее неравенство, особенно снижение налогов на богатых, приводит к тому, что в США они платят гораздо большую долю налогов. Это правильно, но лишь в отрицательном смысле. Богачи заплатили больше налогов, поскольку сниженные налоговые ставки привели к увеличению численности этой социальной группы. Богатые заплатили больше налогов, потому что стали богаче, бедные заплатили меньше налогов, потому что они стали беднее, а между тем доля богатых в общем составе населения по-прежнему не превышает 1%.

ня зрелости, — скандинавскими и англосаксонскими странами — существуют некоторые различия. Хотя и там и там свыше 75% женщин работают на полной ставке большую часть своей трудовой жизни, бесплатные дошкольные воспитательные учреждения есть лишь в скандинавских странах. В этих странах мать-одиночка может трудиться полный рабочий день, как правило, в государственном секторе, где она получает достойную зарплату. Таким образом, в скандинавских странах женщины пользуются большим равенством, чем в англосаксонских. В этом отношении страны континентальной Европы не составляют единой группы: степень участия женщин в общественной жизни и производственной деятельности там невысока, а страны Средиземноморья еще не знают экспоненциального роста разводов среди бедных слоев населения. Однако со временем они, возможно, встанут на путь развития феминизма, пионерами которого были англосаксонские и скандинавские страны (Esping-Andersen 2011).

Таким образом, неравенство доходов сильнее выросло там, где заметнее всего ослабли профсоюзы и где коллективные переговоры о размерах заработной платы оказались наиболее децентрализованными. Некоторой, хотя и недостаточной защитой послужил корпоративизм скандинавских и англосаксонских стран. Ограничения, наложенные таким фактором, как доверие бизнеса, в одних странах были больше, в других — меньше. Кроме того, в англосаксонских странах, снизивших максимальные ставки подоходных налогов и налогов на прибыль корпораций, налогообложение стало гораздо более регрессивным. Для налоговых властей в этих странах перераспределение доходов перестало быть приоритетом. В Великобритании «налоговую систему в наше время считают не столько средством преодоления рыночных диспропорций, сколько их причиной», тогда как социальное обеспечение стало скорее тормозом экономической эффективности, нежели решением проблемы бедности (Kato 2003: 85, 89; ср. Starke 2008: 87). Поскольку в деле перераспределения доходов англосаксонские страны больше всего опирались на налоговую систему, у них максимально вырос показатель неравенства после вычета налогов и трансфертов. В Скандинавии и северных странах континентальной Европы, где преобладали партии христианского социализма, показатель неравенства доходов (после вычета налогов и трансфертов) увеличился меньше, нежели показатель неравенства на рынке труда (ILO 2008: табл. 2.2, с. 53, 136–139; Castles and Obinger 2008; Kato 2003; Mahler and Jesuit 2006; OECD 2008: график 4.4). Стейнмо (Steinmo 2010) подчеркивает контраст между Швецией и США в размерах социальной помощи, оказываемой после вычета налогов. Если шведские социальные расходы в целом превышают аналогич-

ные расходы в США лишь на треть, то социальные трансферты после вычета налогов в Швеции превышают соответствующий американский показатель более чем вдвое. Шведская налоговая система проста: налоги там платят все, в том числе получатели социальной помощи, но поступления перераспределяются в пользу нуждающихся. В отличие от этого американская налоговая система сложна и включает многочисленные вычеты и льготы, смысл которых состоит в скрытом перераспределении доходов в пользу среднего класса и богатейших слоев общества.

На протяжении рассматриваемого периода макрорегиональные различия оставались важными, хотя и в меньшей степени. Как я настойчиво повторял, не каждая страна соответствует своему макрорегиональному типу, так что национальные государства сохраняют свои отличительные черты. Харви прав, утверждая, что в годы наибольшего подъема неолиберализма имело место перераспределение богатства в пользу высших классов, но это явление не было повсеместным. Большинство англоязычных ученых, играющих в этих спорах ведущую роль, склонны принимать свои национальные обстоятельства за универсальный опыт человечества. Это не так, по крайней мере пока не так. Поэтому четвертый тренд состоит в том, что США на мировом Севере оказались явно экстремальным случаем, хотя и имеющим параллель по уровню неравенства в лице бывших коммунистических стран. Вопрос неравенства в США, сыгравший столь важную роль в Великом неолиберальном кризисе 2008 г., подробнее обсуждается в главе 11.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАВЕНСТВО

Впрочем, у растущего неравенства есть и позитивные стороны. Неолибералы усматривают обратную зависимость между равенством и эффективностью: чрезмерное равенство снижает стимулы к труду; чрезмерное регулирование и требование коллективных переговоров становятся источником убытка для работодателей; слишком большие государственные расходы отодвигают на второй план частные инвестиции. С этим соглашаются пессимистично настроенные идеологи левого толка, мрачно наблюдающие деградацию общества, по мере того как правительства, желая привлечь инвестиции, урезают социальные расходы и отказываются от регулирования рынков. Оба лагеря видят, что критерии капиталистической эффективности (особенно доверие бизнеса) налагают на государство ряд строгих ограничений. Рынки функционируют наилучшим образом, если им не мешать, утверждают неолибералы, а индекс доверия

бизнеса выше там, где рынки либерализованы. Страны мира либо сойдутся на либеральной (как правило, американской) модели развития, либо их ожидает крах, доказывают эти идеологи.

В рамках сценария, ориентированного на эффективность, предполагается «эффект просачивания» материальных благ вниз по социальной лестнице, поэтому неолиберальные программы со временем приводят к сокращению бедности. Рассмотрев данные по 18 странам ОЭСР, Брэди (Brady 2009), подобно многим своим коллегам, обнаружил, что щедрость социальных программ коррелирует с политической силой левых. Он выявил некоторое (вполне естественное) воздействие экономического роста на уровень бедности: чем выше темпы хозяйственного развития, тем меньше в стране бедных. Однако этот эффект значительно уступает результатам государственного воздействия на рынки, особенно с помощью программ социального обеспечения, снижающих бедность гораздо заметнее. Кроме того, Брэди показывает, что уровень бедности почти никак не зависит от производительности труда и ресурсов человеческого капитала. Создается впечатление, что для снижения уровня бедности не стоит полагаться на рыночные силы; проблему должны решать непосредственно государственные власти, причем левые правительства именно так и поступают.

Согласно неолиберальному сценарию темпы экономического роста в странах, где равенства и социальных гарантий больше, должны быть ниже. Однако этого не наблюдается ни на Западе, ни в странах Азии и Латинской Америки (Amsden 2001). Как показал Линдерт (Lindert 2004: главы 10–14), высокие налоги и социальные расходы не приводят к снижению темпов роста экономики при условии, что налоги универсальны, прозрачны и призваны содействовать этому росту. С ним солидарен Свенк (Swank 1992), демонстрирующий, что высокий уровень расходов на социальные нужды не приводит к сокращению инвестиций. Гарретт (Garrett 1998) доказал, что от этого экономика не становится менее конкурентоспособной. Наконец, все это на более свежих данных подтвердил Понтуссон (Pontusson 2005). В томе 3 мы обсуждали разные модели капитализма и нашли, что все они в чем-то схожи, несмотря на многочисленные различия, существующие в отдельных странах. Если в 1960–80-х гг. *социальные рыночные экономики* (Social Market Economies, SME) стран Европы преуспели в большей мере, чем *либеральные рыночные экономики* (Liberal Market Economies, LME) англосаксонских стран, то в 1980–2000-х гг. существенного различия между ними не наблюдалось. Согласно данному исследованию США не отставали от других стран лишь благодаря увеличению рабочего времени: за одинаковые темпы роста американцы пла-

тили усилением стресса и сокращением свободного времени — не самый лучший из вариантов!

Как полагает Иверсон, каждая из двух систем обладает своими относительными преимуществами. Социальные рыночные экономики (SME) обеспечили высокий уровень инвестиций в техническое образование, к тому же их активная политика на рынке труда давала молодым людям с меньшим образованием стимулы для упорной подготовки к поступлению в лучшие профессионально-технические и ремесленные училища. Это обеспечивало «сравнительное преимущество фирмам, конкурирующим на рынках, где существует премия за формирование требуемых компетенций в используемых технологиях и неуклонное проведение диверсификации и модернизации действующих производственных линий». И наоборот, отмечает Иверсон, американская разноуровневая система образования дает компаниям сравнительное преимущество в двух сферах — в сфере услуг, для оказания которых не требуется высокой квалификации, и в сфере высокотехнологичных продуктов, где работникам именно такая квалификация и нужна. Здесь действует более гибкая система найма и увольнения, а также имеется «большая открытость к новым возможностям ведения бизнеса и ...стратегиям ускоренных производственных инноваций» (Iverson 2005: 14–15). Что касается нынешней германской экономики, то наиболее подходящей для нее системой представляется соединение двух вышеперечисленных моделей (Streeck 2009).

Брэдли и Стивенс (Bradley and Stephens 2007) проанализировали уровень занятости в 17 развитых странах за период с 1974 по 1999 г. Ученые пришли к выводу, что наилучшим образом на повышение уровня занятости влияют более высокие краткосрочные пособия по безработице, активная политика на рынке труда, модели ведения коллективных переговоров в духе нового корпоративизма (политика скандинавских стран). Депрессивным же образом на совокупную занятость воздействуют более долгосрочные пособия по безработице, высокие налоги на социальное страхование и жесткое законодательство о защите занятости. При этом отставание англосаксонских стран в образовательной сфере сомнений не вызывает. Нельсон и Стивенс (Nelson and Stephens 2009) показали, что в этой сфере англосаксонские страны значительно уступают скандинавским, а большинство континентальных стран расположены между ними. Если в 1950-х гг. Канада и Соединенные Штаты были мировыми лидерами в области государственного образования, то к 1990-м гг. они уже отставали. Особенно удручающе выглядят показатели «информационной грамотности», без которой, как считает ОЭСР, будущий рост экономики невозможен. Здесь англосаксонские страны зна-

чительно отстают (Канада и Австралия — в меньшей мере). Всемирно признанные американские и британские элитные университеты действительно предназначены в основном для элит, а не для широких народных масс (см. Iversen and Stephens 2008; Hall and Soskice 2001: 38–44; Estevez-Abe et al. 2001). Из неравенства человеческого капитала вырастает и закрепляется материальное неравенство, а ОЭСР считает, что это ограничивает потенциал роста. Можно ли обеспечить экономический рост, лишая социального гражданства 30% населения страны? Такая модель роста имела бы значительные издержки.

Пеник (Panik 2007) исследует производительность труда в семи странах за периоды 1989–1998 гг. и 1999–2004 гг. Критерием здесь служит предложенный ученым комплексный индикатор, включающий пять компонентов экономического здоровья (рост ВВП, уровень безработицы, потребительские цены, коэффициент Джини и торговые балансы). Наилучшие результаты демонстрируют Норвегия и Швеция, а англосаксонские страны в целом список замыкают. Следом за лидерами идут Нидерланды, Германия, Франция, Великобритания и, наконец, Соединенные Штаты. Однако, полагает ученый, целью развития должен быть не экономический рост, а социальное благополучие. Он подбирает 11 критериев такого благополучия: три измерения неравенства плюс уровни бедности, смертности, ожирения, неграмотности, экономическая безопасность, доля заключенных в общем составе населения, степень восприятия коррупции и доверия. По девяти критериям из одиннадцати США оказались на последнем месте. На предпоследнем месте (по восьми из одиннадцати пунктов) находится Великобритания. Лучшими по всем критериям, кроме одного, были Швеция и Норвегия (как ни удивительно, шведы страдают от ожирения), за ними следовали Нидерланды и Германия. Пеник видит связь между социальным и экономическим благополучием: чем теснее сплоченность общества и чем доступнее людям хорошая жизнь, тем эффективнее они трудятся. Это скорее социал-демократическая, чем неолиберальная точка зрения на эффективность.

Кенгас (Kangas 2010) использует более непосредственный показатель благосостояния — ожидаемая продолжительность жизни. Собрав данные по 17 странам — членам ОЭСР, он показывает: чем выше объем ВВП на душу населения, тем дольше живут граждане. Ничего неожиданного в этом нет, хотя для групп населения с высшими стандартами жизни этот эффект снижается. Ученый видит тесную зависимость между продолжительностью жизни и объемом услуг в рамках государства всеобщего благосостояния. Он находит, что универсальные права на социальное обеспечение важнее, чем общая величина социаль-

ных расходов, хотя и это увеличивает продолжительность жизни. Лучше иметь более широкий охват населения социальными благами или универсальный доступ к таким благам, чем щедрые пособия, предназначенные для ограниченных слоев населения. Государство всеобщего благосостояния — это действительно благо для его граждан, что бы там ни говорили неолибералы.

Таким образом, в странах глобального Севера неолиберальный поворот оказал различное влияние на уровень благосостояния и социального неравенства. Сильнее всего его влияние сказалось на англосаксонских странах, где он нашел отзвук в старинных либеральных идеологиях и волюнтаристических институтах, где он мог выиграть от альянса с консерваторами, а также от изменения в центральной части классовой структуры общества и упадка профсоюзов. В других странах глобального Севера неолиберальное давление не было главным фактором, обусловившим сокращение бюджетов, а итоги были неолиберальными лишь отчасти. Хотя социал-демократы и христианские демократы стремились сохранить исторический компромисс, им приходилось учитывать новое фискальное давление. Неолиберализм в целом был менее гуманным и вместе с тем менее эффективным. Однако для государств с наибольшей инфраструктурной властью сохранялся широкий выбор действий. Для развития капитализма есть множество способов. В рамках англо-американской модели преуспевают состоятельные граждане; в европейских моделях — простые люди. Очевидно, уверенность бизнеса крайне важна, но этот показатель может расти по разным причинам: экономические элиты могут предпочесть быстрое увеличение доходов или постепенное развитие бизнеса на основе массового спроса. Поскольку любые нормы возникают под влиянием окружающей среды, каждый макрорегион считает естественной собственной модель капитализма и в соответствии с ней формирует свои институциональные практики (Hall and Gingerich 2003: 22). Но что в этот момент происходило с предположительно менее влиятельными странами?

### СТРАНЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЮГА: ПРОГРАММЫ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

До сих пор мы обсуждали факты внутривосточного неравенства в странах глобального Севера. Поскольку все эти страны обладают весьма схожими стандартами жизни, неравенство между ними невелико. Подлинная линия мирового неравенства, разумеется, проходит между глобальным Севером и глобальным

Югом. Степень этого неравенства пока не изменило даже экономическое развитие Юга. Возьмем Индию и Китай — страны, демонстрировавшие наибольшие темпы роста. Житель Индии, принадлежащий к 5% *богатейших* людей страны, зарабатывает примерно столько, сколько американец, относящийся к 5% *беднейших* жителей США, — невероятная статистика. С тех пор как в Китае произошел экономический рывок, абсолютный разрыв в уровнях благосостояния между средним американцем и средним обитателем Поднебесной заметно увеличился. На долю богатейших 10% населения Земли, почти все из которых — жители глобального Севера, приходится 56% мирового дохода, тогда как на долю беднейших 10% — лишь 0,7% (Milanovic 2010: глава 2). Часть проблемы состоит в том, что экономический рост Китая, Индии и других развивающихся стран пришелся на период подъема неолиберализма, когда повсеместно считалось, что высокий уровень неравенства способствует экономическому росту. На самом же деле наибольший рост показали страны глобального Юга с наименьшим уровнем внутреннего неравенства, поскольку там формировалось однородное и сплоченное общество, активно поддерживавшее правительственную стратегию, нацеленную на субсидирование экспорта и отбор наиболее эффективных компаний (Amsden 2001).

На Юге всю тяжесть неолиберализма ощутили страны, оказавшиеся в долговой ловушке 1970–80-х гг. Повышение нефтяных цен ОПЕК в 1973 г. привело к тому, что европейские и американские банки наводнились нефтедолларами. Незадолго до этого американские банки были освобождены от обязанности вкладываться в американские облигации. Это привело к избыточному накоплению капитала — массы ликвидных средств, не нашедших продуктивного применения (неужели все-таки сработали трактовки империализма, предложенные Гобсоном и Лениным?!). Теперь банки готовы были кредитовать менее развитые страны под низкие процентные ставки, что позволяло этим странам осуществлять обширные заимствования и финансировать свои слабеющие экономики, не доказывая собственную кредитоспособность. Затем в 1979 г. председатель ФРС Пол Уолкер неожиданно втрое повысил процентные ставки в основном для борьбы с внутренней инфляцией в США. Другие страны вынуждены были следовать политике США, то есть повышать собственные ставки. Стоимость погашения кредитов выросла, после чего возник долговой кризис. Если у страны крупный долг, то ограничения, налагаемые таким фактором, как доверие инвесторов, становятся гораздо жестче, что во многом соответствует марксистскому тезису о подчинении современных государств силам капитализма. В данном случае так и было.



Теперь Всемирный банк и МВФ перенесли фокус внимания с глобального Севера на Юг. Их программы структурных реформ стали «новейшим словом» экономического империализма, тем более действенным, что его последователи искренне считали это разумной экономической политикой, поощрявшей свободу и выгодной для всех. В итоге возник неолиберальный Вашингтонский консенсус: банки брали на себя обязательство помочь стране-должнику, соглашаясь реструктуризировать займы в обмен на осуществление программ жесткой экономии госрасходов, повышение процентных ставок, стабилизацию валюты, приватизацию госпредприятий, отмену тарифов, освобождение рынка труда от навязанных профсоюзами ограничений, открытие внутренних рынков капитала для иностранцев и предоставление последним права на владение местными предприятиями.

Для беднейших стран это был массовый демонтаж их суверенитета. Реализация мер строгой экономии, которые были условиями кредитования, вела к ослаблению государственной инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования и транспорта, что усиливало зависимость этих стран от глобального Севера. Такое периферийное государство оставалось формально суверенным и в принципе могло отклонить условия кредита, однако следствием этого могло стать банкротство, повышение процентных ставок и даже возможное исключение из мировой экономики. Это было предложение, от которого большинство развивающихся стран не могло отказаться, поскольку задолженность успела их ослабить.

Хотя лидером наступления (и его бенефициаром) были США со своими бизнес-интересами, оно велось силами глобального финансового капитала при поддержке большинства стран глобального Севера. МВФ и Всемирный банк представляют собой международные, а не транснациональные организации. Их руководящие органы состоят из представителей государств, влияние которых зависит от их геополитической и экономической мощи. Европейские представители в этих организациях одобряли внешнюю политику, противоречившую интересам их собственной внутренней экономики. Однако эти люди были одновременно банкирами, экономистами, юристами корпораций и как таковые защищали интересы своих друзей и деловых партнеров. Такая политика гарантировала возврат кредитов и давала возможность приобретать иностранные активы по бросовым ценам. Свою роль играла в этом и геополитика. Кредиты МВФ и Всемирного банка с наибольшей вероятностью предоставлялись и с наименьшей вероятностью сопровождались принуждением к исполнению условий кредитования в особых

случаях. Это были те случаи, когда страны-реципиенты имели большую задолженность перед американскими банками, получали американскую помощь или голосовали в ООН солидарно с Соединенными Штатами, а иногда — с Францией (Oatley and Yackee 2004; Stone 2004). Лидером были США, но бенефициаром — финансовый сектор всех развитых стран.

Эти экономические программы включали меры, которые оказывали различное влияние. Более благополучные страны были способны выплатить свои долги, что и являлось главной целью программ. Кроме того, последние способствовали интеграции стран-реципиентов в мировую экономику, сокращению их бюджетных дефицитов и прекращению там гиперинфляции — положительные эффекты. Важной предпосылкой последующего экономического роста в Бразилии было подавление гиперинфляции в 1990-х гг. при президенте Кардозо. Если в той или иной стране государственная власть была некомпетентна или коррумпирована, то ее ограничение также могло стать благом для населения. Существовавшая в Латинской Америке система социальных выплат и льгот не являлась универсальной, а была закреплена за привилегированным госсектором и патрон-клиентскими сетями правящих режимов. Сокращение этой системы, возможно, расчистило путь развитию более универсальных программ. Неолиберализм не был лишен положительных свойств, и в первое время многие элиты в странах глобального Юга были убеждены в их необходимости.

Однако упразднение профсоюзов, придание рынку труда большей гибкости и отмена тарифов, защищавших отечественную промышленность, привели к увеличению импорта, бедности и безработицы, снижению спроса и перераспределению ресурсов от бедных к богатым, от труда к капиталу, от национального капитала к иностранному. Благодаря неолиберализму некоторые преуспели, но не большинство населения. Как подсчитали экономисты (Vreeland 2003 ср. Mogley 2001), доля трудящихся в национальном доходе стран, где и программы структурной трансформации МВФ были реализованы, сократилась в среднем на 7%. Кроме того, финансовые реформы увеличили приток краткосрочного иностранного капитала, что зачастую дестабилизировало местную экономику, позволяя компаниям и банкам развитых государств по бросовым ценам скупать ее активы. Программы структурной трансформации и масштабы обслуживания долга особенно болезненно сказались на профсоюзах в развивающихся странах, существенно уменьшив их численность (Martin and Brady 2007). Разумеется, все это было осознанной стратегией перемещения социальной власти от народных масс к хозяевам капитала.

В итоге ожидался экономический рост, призванный в долгосрочной перспективе оправдать то, что неолибералы считали краткосрочными побочными эффектами. Тем не менее этот рост редко происходил. Фриланд (Vreeland) проанализировал данные по 135 странам, в период 1952–1990 гг. реализовавшим у себя программы МВФ, продолжительность которых, если их суммировать, составила бы тысячу лет. За вычетом переменных, способных привести искажения, наблюдалась следующая картина: чем большую помощь от МВФ получали эти страны, тем хуже становилось их экономическое положение. Цена опеки МВФ измерялась снижением темпов экономического роста в среднем на 1,6% в год — весомая величина. Повторив свой анализ на базе данных за 1990-е гг., Фриланд выявил снижение темпов роста на 1,4% (Vreeland 2003: 123–130). Затем группа исследователей (Kose et al. 2006), изучившая статистику до середины 2000-х гг., не обнаружила связи между ростом экономики и свободой движения капиталов, тогда как другие ученые (Prasad et al. 2007; Gourinchas and Jeanne 2007) нашли, что рост производительности был максимален в странах, отказавшихся от привлечения иностранного капитала! Можно предположить, что иностранные займы вредят национальной экономике тем, что используются в большей мере для краткосрочного повышения потребительского спроса (зачастую ради победы на выборах), чем для долгосрочного хозяйственного роста (Rodrik and Subramanian 2008). Наконец, странами, достигшими наилучших экономических результатов в 1980–90-х гг., когда развивающиеся страны в целом показывали в среднем нулевой рост, были те, которые в основном игнорировали нормы МВФ и Всемирного банка. Такие страны, как Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, Ботсвана, Маврикий, Польша, Малайзия, Вьетнам, осуществляли синтез неолиберальных и неортодоксальных экономических реформ с местными практиками (Roberts and Parks 2007: 51; Lim 2010). Полученные данные позволяют предположить, что неолиберализм и снижение темпов роста не просто коррелируют между собой — неолиберализм в чистом виде порождает низкие темпы роста экономики.

Поддержка развивающимися странами программ структурных реформ резко сократилась из-за плохих результатов. Тем не менее ряд стран продолжили реализацию программ МВФ. Многие бедные страны из-за этого еще больше погрязли в долгах. Альтернативой было полное банкротство и полный отток капитала. Немногим лучше было положение стран, плативших по долгам 20–25% экспортной выручки (Sassen 2010). В поддержку таких программ выступали местные элиты, поскольку теперь они могли проводить выгодные для себя реформы, пе-

рекладывая ответственность за результаты на МВФ. Элиты извлекали выгоду из перераспределения благ от труда к капиталу. Как подсчитал Фриланд, доля труда в национальном доходе в среднем уменьшилась на 7%, однако капитал, несмотря на общее снижение темпов роста ВВП, имел чистый прирост (Vreeland 2003: 126, 153; ср. с Hutchinson 2001; Biersteker 1992: 114–116). Были довольны и политики. Если раньше иностранный капитал был в дефиците, то теперь недостатка в нем не было. Привлеченные кредиты позволили им распределять блага среди своих клиентов — форма политизированного капитализма. В демократических странах это дало им победу на выборах, позволив быстро нарастить импорт и потребительский спрос — малополезный сценарий для долгосрочного роста. Теперь неолибералы сетовали на свое неумение реализовать программы МВФ собственными силами и порицали коррумпированных политиков.

Позже возник кризис в странах Восточной Азии. Значительные внутренние сбережения позволяли им избегать долгов и контролировать приток иностранного капитала. В период, когда неолиберализм пользовался максимальным влиянием на Западе, страны Восточной Азии оставались в рамках этатизма. Их экономические успехи начиная с 1970-х гг. обеспечивала индустриализация с субсидированием экспорта. Однако в начале 1990-х гг., уступая тогдашним экономическим веяниям и давлению американских и международных организаций (например, ВТО), ряд стран Восточной Азии приступил к либерализации движения капитала. В Южной Корее, где местные корпорации (чеболи) уже и без того заимствовали слишком много, правительство опрометчиво открыло шлюзы для краткосрочных иностранных кредитов, сохранив контроль над долгосрочными. После этого в страну хлынули «горячие деньги», которые при первых же экономических трудностях из нее ушли (Gemici 2008). Эта уязвимость была вызвана политикой, внушенной Всемирным банком и МВФ и состоявшей в таких мерах, как привязка валютного курса [к доллару], стерилизация притока капитала с целью предотвращения инфляции и завышения курса национальной валюты, либерализация счетов движения капитала и внутреннего финансового режима. Таким образом, хедж-фонды получили возможность проводить активную спекулятивную игру против Восточной Азии. Используя «кредитное плечо» (леверидж) сто к одному (инвестиций к резервам), хедж-фонды проводили атаку на местную валюту и наживались на ее последующей девальвации (Krugman 2008). Сочетание экономической политики и валютных спекуляций вызвало азиатский кризис 1997 г. Несмотря на это, Казначейство США, американские финансовые фирмы, МВФ и ОЭСР продолжали

давить на власти Южной Кореи, требуя шире открыть корейский финансовый сектор для иностранцев. Последним было в 1998 г. разрешено учреждать в Южной Корее банковские филиалы и брокерские конторы. «Лобби американских финансовых компаний, стремившихся взломать корейский рынок, было той действующей силой, которая стояла за давлением американского Казначейства на Южную Корею», — пишет Блуштейн. Эти скрытые мотивы не нравились руководителям МВФ. Как сказал один из них: «Здесь США увидели возможность одним махом, как они делали это во многих странах, разрешить проблемы, докучавшие им долгие годы». Кроме того, США пресекли попытку Японии возглавить под предлогом борьбы с кризисом конкурирующий финансовый консорциум в Восточной Азии (Blustein 2001: 143–145, 164–170; Amsden 2001).

В период с 1997 по 1999 г. очередной финансовый кризис прокатился по всей Азии, России и Бразилии, которые тоже были уязвимы для притока краткосрочного капитала, особенно того, которым управляли хедж-фонды. Однако неолиберализм попал, наконец, под огонь критики международного сообщества. В Докладе о мировом развитии Всемирного банка за 1997 г. прозвучал тезис о пользе так называемого эффективного, а не минимального государства, которое должно быть вооружено инфраструктурными и инвестиционными программами (World Bank 1997: 27). Идея взаимодополняемости государства и рынков вызвала к жизни «поствашингтонский консенсус» (Post-Washington Consensus). Как полагал Стиглиц, государственная политика, нацеленная на регулирование финансового сектора, финансирование НИОКР, устойчивость окружающей среды, обеспечение демократии и равенства на рабочих местах, необходима, но лишь временно. «Государство должно служить дополнением к рынкам и принимать меры, улучшающие их работу и исправляющие провалы рынка. В некоторых случаях государство оказалось эффективным катализатором... Однако, как только государство сыграло свою роль катализатора, оно должно уйти в сторону» (Stiglitz 1998: 26). Впрочем, поскольку рынки всегда несовершенны, государство должно быть поблизости.

Азиатский кризис многому научил развивающиеся страны. В соответствии с нормами ВТО они формально отменили экспортные субсидии, но в реальности лишь переименовали их в меры поддержки науки, техники или слаборазвитых регионов (Amsden 2001). Правительство Южной Кореи позволило обанкротиться 14 чеболям, закрыло или реструктуризировало 12 крупнейших банков, вместе с тем выделив 60 млрд долл. на списание проблемных долгов и увеличение денежных резервов оставших-

ся банков. Поскольку чеболи были укрощены, сократилась и автономия центробанка, а регулирование финансового сектора вновь перешло из частных рук под контроль государства (Lim 2010). Страны с высокими темпами экономического роста осознали, что являются привлекательными для иностранных инвесторов и потому могут навязывать им свои условия. По мнению Гемичи (Gemici 2008), их цель — привлекать долгосрочные продуктивные инвестиции («холодные деньги»), а не краткосрочные спекулятивные вливания («горячие деньги») путем обложения последних налогом; направлять иностранный капитал на продуктивные инвестиции, а не на рост потребления (что увеличивает импорт) или сокращение бюджетного дефицита государства. Если то или иное правительство заимствует деньги, чтобы выиграть очередные выборы или стимулировать потребление без повышения производительности, это вызовет инфляцию, рост импорта и кризис платежного баланса, после чего иностранный капитал потребует дальнейших структурных преобразований. Здесь важен уровень квалификации правительства, и Гемичи доказывает, что в Чили, Южной Корее и Турции политика, проводившаяся с разной степенью мудрости (или глупости), в основном объясняется не внешним давлением, а конфигурацией внутренних сил. Эти государства сохранили достаточно суверенитета, чтобы регулировать степень доверия инвесторов и допустить собственные ошибки.

Урок состоял в том, что правительствам необходимо сохранять известную автономию, в противном случае их суверенные долги накапливаются, а сами они становятся мишенью для спекулятивных потоков «горячих денег». Вскоре большинство стран со средним уровнем дохода возобновили экономический рост и смогли таким образом увеличить свои резервы, чтобы не занимать денег у международных банков. Это оказалось чревато ростом глобальных дисбалансов, сыгравших свою роль в Великой неолиберальной рецессии 2008 г., которая рассматривается в главе 11. Такую политику проводили все страны Восточной Азии и АСЕАН. Неолиберализм стал образом мыслей чиновников, натасканных на его экономические модели; поскольку ни одна страна не хочет возвращения к донеолиберальной эпохе, неолиберальный курс остается своего рода политикой по умолчанию. Тем не менее в большинстве стран возникали собственные варианты, одни из которых можно было назвать центристским неолиберализмом с активным государственным планированием, умеренным регулированием и рядом социальных программ, а другие являлись коррумпированными формами политизированного капитализма. Нельзя сказать, что англо-американская модель неолиберализма возобладала в ми-

ровом масштабе: развивающиеся национальные государства смогли ее либо отвергнуть, либо извратить. Ирония в том, что в то время как в развивающихся странах в конце XX в. финансовое регулирование возрождалось, в развитых странах от него отказывались. Здесь уроки восточноазиатского и российского финансовых кризисов были проигнорированы. Запад опускался — остальной мир поднимался.

Этот неожиданный контраст между странами Запада и рядом стран остального мира проявлялся и в области социального обеспечения. В 1970-х и в начале 1980-х гг. авторитарные режимы Восточной Азии разработкой социальных программ фактически не занимались, за исключением сферы образования. Однако в конце 1980-х гг. демократизация и экономический рост привели к увеличению затрат на социальное обеспечение, и даже финансовый кризис в Азии этому помешать не смог. В 1990-х гг. программы в области здравоохранения на Тайване и в Южной Корее неуклонно расширялись, охватив все население. Южная Корея двигалась в сторону модели медицинского страхования с единым плательщиком (*the single-payer insurance model*), уже давно внедренной на Тайване. Поскольку жители Южной Кореи все еще оплачивают примерно 40%, а жители Тайваня — около половины медицинских расходов, их системы здравоохранения не полностью соответствуют европейской модели, но развиваются в этом направлении. На самом деле кризис 1997 г. положительно повлиял на систему социального страхования, вскрыв пробелы в социальных программах, прежде ориентированных на сотрудников крупных корпораций. В ответ на кризис были расширены программы, охватывающие неработающих, в том числе бедных, пожилых и безработных, для которых были введены программы переобучения. В экономике это привело к увеличению массового спроса. Поскольку вскоре экономический рост возобновился, то серьезного финансового кризиса, способного помешать расширению государства всеобщего благосостояния, не произошло. Напротив, теперь ему способствовала риторика, подчеркивавшая цели демократического развития (Wong 2004; Haggard and Kaufman 2008).

Гораздо медленнее после долгового кризиса восстанавливалась Латинская Америка. Однако и здесь в конце концов произошел экономический рост. Часть его основ была заложена неолиберальными программами, благодаря которым была достигнута макроэкономическая стабильность, сокращены дисбалансы, инфляция и задолженность, приватизированы неэффективные отрасли, оптимизировано правительство, увеличен приток иностранного капитала. Тем не менее эти достижения были оплачены немалой ценой. Выросла безработица, упали

зарплаты, расширилась бедность — все это вызвало сокращение спроса, приведшее к снижению темпов роста. Например, в Бразилии темпы роста оказались самыми низкими за все столетие. Неолиберальные реформы не стали историей успеха, но послужили его стартовой площадкой. Экономический подъем Бразилии начался с того, что правительство Лулы (с 2003 г.), хотя и поддерживавшее рыночные программы, ввело активное макроэкономическое планирование, включавшее расширение государственных инвестиций, развитие социальных программ (в частности, *Bolsa Familia*) и установление минимума заработной платы. Все эти меры были нацелены на увеличение массового спроса. Кроме того, была значительно расширена система начального образования, начата крупномасштабная программа наделения малоимущих земель и денежными средствами. Государство осуществило финансовые вливания в развитие инфраструктуры, включая транспорт, энергетику и высокотехнологичные отрасли промышленности. Программы социального обеспечения из привилегии для групп высокооплачиваемых работников превратились в систему универсальных прав. К 2000-м гг. это привело к дальнейшей диверсификации экономики Бразилии, научившейся эксплуатировать изобилие природных ресурсов с помощью корпораций, конкурентоспособных на международном уровне. Такому примеру последовали другие левоцентристские режимы Латинской Америки, проводившие активную макроэкономическую политику, в поддержку которой в Андском регионе выступили также созданные недавно организации коренных народов.

В результате этой политики большинство стран Латинской Америки показали в первом десятилетии XXI в. повышение темпов роста экономики в сочетании со снижением уровня бедности и неравенства (Lopez-Calva and Lustig 2010; Evans and Sewell 2011). При Луле Бразилия была практически образцом левого неолиберализма. В период 2004–2010 гг. среднегодовой темп роста бразильской экономики составлял 4,2% в год, то есть он вдвое превысил темп роста в 1980–2004 гг., несмотря на Великую неолиберальную рецессию 2008 г., которая в 2009 г. обернулась нулевым ростом. В Бразилии ставшая более компактной, но при этом активная государственная машина, расширившая социальные права граждан, сделала страну частью БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) — группы стран, за которой, как считают некоторые, будущее. Получилось, что в то время, когда на Западе социальные права граждан оказались под угрозой, в Восточной Азии и Латинской Америке они расширялись и укреплялись.



До 2000 г. в странах Африки независимо от их стратегии развития продолжался экономический спад (Nugent 2004: 326–347). Одни постколониальные страны выбрали капиталистический путь, другие начали свои эксперименты с африканским социализмом. Однако все они глубоко погрязли в сельской и городской нищете, вызванной рядом неблагоприятных факторов, среди которых — зависимость от сырьевого экспорта зачастую в форме единственного товара, глобальный экономический спад 1970 г., весьма волатильные, но в основном снижающиеся цены на сырье, рост численности населения, накопление торговых и бюджетных дефицитов, рост долгов и политическая коррупция. В 1980-е гг. эти страны пошли на поклон к международным банкам за кредитами и получили программы структурной трансформации в обмен на открытие своих рынков и ослабление роли своих государств. По крайней мере в одном отношении эти программы действительно представлялись целесообразными, поскольку многие африканские государства были коррумпированы и малоэффективны. Они по существу были слишком слабы и, как правило, собирали в виде налогов не более 10% ВВП по сравнению с 30–50% в развитых странах. Из-за этого они не имели базовой инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования и связи, а также судебных и полицейских органов, необходимых современному государству. В довершение всего многие государства были коррумпированы, а некоторые страдали от вспышек насилия. Примерно в половине африканских стран отсутствовали все три предпосылки «хорошего правления», которые перечислил Фукуяма (Fukuyama 2011), — обеспечение порядка, верховенство закона, подотчетность правительства.

Однозначно судить об эффективности неолиберальных реформ в Африке трудно, учитывая неадекватную статистику и диспропорции, вызванные случайными факторами, как неблагоприятными (например, гражданские войны), так и благоприятными (открытие месторождений полезных ископаемых). У этих стран выплаты по долгам всегда превышали совокупную зарубежную помощь, и в конце 1990-х гг. отношение долга к ВВП в Африке составило 123% против 42% в Латинской Америке и 28% в Азии (Sassen 2010). Приватизация неэффективных государственных предприятий была особенно полезной там, где права профсоюзов были закреплены в законе. Если же они не были закреплены, то повышение эффективности предприятий новыми, как правило, иностранными владельцами достигалось в значительной степени за счет снижения заработной платы, а прибыль уходила за границу, принося африканцам мало пользы. В странах, где приватизация была лишь передачей на-

ционализированных отраслей друзьям правящего режима, пользы почти не было. В Африке к югу от Сахары темпы роста экономики в целом сократились с 1,6% в 1960–80-е гг. до -0,3% в 1980–2004 гг. — ужасающий тренд (Chang 2009). Неолиберальные программы вели к росту неравенства, происходившему на фоне политики, сознательно сокращавшей программы здравоохранения и образования, как раз тогда, когда Африку поразил вирус СПИДа (ВИЧ-инфекции). Без экономического роста, превышающего темп роста населения, эти программы приводили еще и к увеличению внешней задолженности.

Затем в экономике развивающихся стран произошел благотворный сдвиг. В 1990-е гг. международные программы для Африки начали поощрять «хорошее управление» и развитие инфраструктуры. Как утверждает Харрисон (Harrison 2005), это была неолиберальная фаза развития, в которой силы государства направлялись на формирование эффективных рынков путем активизации строительства инфраструктурных объектов, развития сферы образования, а также расширения полномочий центральных и местных органов власти в том числе для того, чтобы гарантировать права собственности в сельских районах. Эти программы также включали сокращение нищеты отчасти путем расширения системы социальной поддержки бедных. Ради укрепления гражданского общества партнерами по реализации этих программ выступили НПО. Однако называть эту политику неолиберальной можно лишь с большой натяжкой, поскольку теперь она поощряла как либерализацию рынков, так и конструктивный этатизм. В реальности неолиберализм в Африке был таким же противоречивым и компромиссным, как и везде. В первом десятилетии нового века наблюдался экономический рост (порядка 5%), движущими силами которого были нефтедобывающие экономики Анголы, Нигерии и Судана, увеличение спроса на сырье в Китае, значительный приток ПИИ (прямых иностранных инвестиций), особенно китайских, иностранная помощь и облегчение бремени долгов, порою относительно успешная приватизация, политика правительств, способных направить часть прибыли на погашение долгов и улучшение инфраструктуры. В 2000-х гг. средние темпы экономического роста в Африке были примерно такими же, как в Азии. Хотя большинство африканских стран довольно быстро оправилось от Великой неолиберальной рецессии, которую мы обсудим в главе 11, уровень безработицы (особенно среди молодежи) остается высоким, а в ряде стран рост численности населения угрожает свести на нет рост экономики. Тем не менее Африка выигрывает от подъема мировой экономики, особенно от сдвига экономической власти в сторону Китая.

Сегодня в странах глобального Юга, особенно в Китае, активизируются и движения протеста рабочих и крестьян (см. главу 8). За последние 30 лет численность рабочей силы в мире удвоилась, причем почти все увеличение пришлось на страны Юга. Усилилась тенденция к феминизации труда и расширению неформальной занятости, так что профсоюзам пришлось разрабатывать стратегию противодействия. В странах глобального Севера происходит деиндустриализация, поскольку рабочие места в промышленности переносятся на Юг. Капитализм попытался разрешить кризис рентабельности с помощью того, что Харви (Harvey 2005) и Сильвер (Silver 2003) называют пространственным решением (*a spatial fix*) — не прекращением классового конфликта, а его [географическим] перемещением. В то же время тенденция к демократизации стран глобального Юга придает протестам трудящихся и движениям коренных народов все большую политическую силу. У этого процесса есть свои пределы, поскольку в ряде стран мирового Юга тенденция к образованию экономических анклавов превращает организованных рабочих в привилегированную группу. В то же время обострение международной конкуренции среди производителей, равно как и внедрение субподряда и автоматизации, снижает способность профсоюзов требовать улучшения условий труда, что Сильвер называет организационным/технологическим решением. Тем не менее по всему миру программы структурных реформ были встречены массовыми движениями протеста, и они, очевидно, будут продолжаться.

Таким образом, в разных регионах мира глобальные тенденции и пределы капиталистического развития были неодинаковы, о чем нам говорит и статистика неравенства. За 1990–2006 гг. во многих странах произошел рост неравенства (МОТ 2008). Согласно исследованию Ван Зандена (van Zanden et al. 2011), среднее мировое значение национальных коэффициентов Джини выросло с 0,35 в 1980 г. (минимальное значение за весь предыдущий период фиксации этих данных, начавшейся в 1820 г.) до 0,45 в 2000 г. — существенное увеличение. Однако виновными в этом были преимущественно два региона. Максимальный рост неравенства произошел в посткоммунистических странах, включая Китай, при коммунизме бывших наиболее эгалитарными, а теперь оказавшихся, как правило, наиболее неравными. Следующий по масштабам рост неравенства отмечался в англосаксонских странах. Исключением были два региона. Относительно эгалитарной оставалась Восточная Азия, кроме Китая, а после 2000 г. большее равенство было достигнуто во многих латиноамериканских странах (Lopez-Calva and Lustig 2010). Кроме того, уменьшению неравенства во всем

мировом сообществе, взятом как целое, способствовало устойчивое экономическое развитие Азии. Хотя неравенство между *странами*, как отмечалось ранее, продолжает расти, этот феномен характерен для большого числа маленьких и бедных стран. В действительности единый глобальный коэффициент Джини применительно к населению Земли в целом снизился с 0,56 в 1980 г. до 0,51 в 2000 г. (van Zanden et al. 2011: табл. 5A). Поскольку Индия и Китай, на долю которых приходится 40% мирового населения, продолжают снижать у себя уровень бедности, она по-прежнему сокращается и в глобальном масштабе. Так что это хорошая глобальная новость.

### ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ: ЛИПОВАЯ СВОБОДА ТОРГОВЛИ

Позитивные результаты для всего мира обеспечивают такие факторы, как рост экономической глобализации, расширение международной торговли и гармонизация интересов тех государств, промышленность которых достаточно сильна, чтобы выдержать иностранную конкуренцию. Это относится и к развивающимся странам, даже если своей конкурентоспособности они добивались изначально с помощью мер протекционизма и этатизма. То, как этот переход к большей открытости происходил в таких странах, как Тайвань, Южная Корея и Индия, мы видели в главе 5. Применительно к Китаю этот процесс мы рассмотрим в главе 8. Таким образом, произошедшая недавно глобализация увеличила объемы международной торговли в интересах большинства населения Земли. Повысился его уровень жизни. Исторически людей среднего достатка на планете было сравнительно немного. Сегодня они составляют большинство.

Неолибералы выступают за либерализацию торговли, что само по себе и неплохо. Либерализация в основном была результатом Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которое в 1995 г. превратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО). В 1970-х гг. по примеру двух международных финансовых структур, ГАТТ развернулось в южном направлении, распространив свободу торговли на новые отрасли производства, а также на сферу услуг, особенно финансовых. Одновременно с расширением сферы применения инструментов ГАТТ происходило ее углубление — решения ГАТТ были подкреплены перечнем норм международного права, обязательных как для Севера, так и для Юга. К началу XXI столетия меры протекционизма вроде тарифов на импорт стальной продукции, введенных Бушем-младшим, получили нелицеприятную оценку в виде

значительных штрафных санкций. Это способствовало изменению соотношения сил в лагере развитого капитализма, где упало влияние отраслей, нуждающихся в протекционизме, и выросло влияние корпораций, требующих либерализации, особенно в быстрорастущих секторах, таких как финансы и фармацевтика. Увеличился масштаб корпоративного лоббирования в ГАТТ и ВТО.

Все страны заинтересованы в том, чтобы открыть для себя рынки других государств. Бедные страны понимают, что их соперники разбогатели, защищая свои нарождавшиеся отрасли, ограничивая свободу движения капиталов и субсидируя экспорт. Однако по геополитическим причинам невозможно ввести тарифы, которые бы обеспечили перераспределение благ от богатых стран к бедным. Таким образом, у бедных стран остается второе возможное решение — добиваться подлинной свободы торговли для всех народов. В этом случае их экспорт, состоящий из сельскохозяйственного сырья и дешевой промышленной продукции, окажется конкурентоспособным. Обратной стороной будет вынужденная специализация на технологически простых товарах с низкой долей добавленной стоимости. Однако бедные страны столкнулись с худшим выбором. ВТО заставила их открыть свои рынки, тогда как богатые страны не отменили субсидирования своих аграрных отраслей. Против ложной свободы торговли выступают подлинные неолибералы, требующие отмены всех торговых барьеров. Однако в реальном мире силу утопических идей подрывают корыстные интересы классов и наций, провозглашающих эти идеи на словах.

Несмотря на формально демократичный устав, ВТО находилась под патронажем развитых стран глобального Севера, особенно неформальной группы, известной как «четверка» — США, ЕС, Япония и Канада. Бедные страны сетовали на то, что переговоры по тарифам непрозрачны и проходят ночью за закрытыми дверями, что пресс-релизы выходят с опозданием, что на решающие заседания их не приглашают. Страны, отказывавшиеся поддержать инициативы «четверки», попадали в черный список недружественных государств, а с некоторыми из них были заморожены соглашения о торговых преференциях (Jawara and Kwa 2003). Особенно характерно в этом смысле Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS, ТРИПС) 1994 г. Оно охраняло патентные права изобретателей и авторские права писателей, музыкантов и артистов, но его главными бенефициарами были крупные фармацевтические компании. Препараты против СПИДа, запатентованные компанией Big Pharma, стоили слишком дорого, чтобы широко использовать их в бедных странах, поэтому сотни тысяч больных умерли. Индия и Китай производили дешевые

дженерики, однако ТРИПС препятствовало их продаже. Кроме того, ТРИПС ограничивало исследовательскую деятельность развивающихся стран в сфере передовых технологий. Оно регистрирует свыше 90% патентов в мире. ТРИПС — в значительной степени результат сговора стран «четверки» и их крупных корпораций. Это наступление распространилось даже на природные ресурсы, поскольку на воды, почвы и растения все чаще утверждалось монопольное право собственности. Растительные лекарственные средства, выращиваемые в странах глобального Юга, были запатентованы корпорациями глобального Севера. В отличие от большинства случаев национализации это в действительности было приватизацией общественного блага, своего рода «новым огораживанием» (Draho and Braithwaite 2002: 72–73, 114–119; Roberts and Parks 2007: 52–54). Это явилось извращением патентной системы, которая (как сказано в главе 2 тома 3,) служила важной частью технических инноваций эпохи второй промышленной революции. Теперь она стала тормозом глобального распространения технологических знаний.

В конце концов со стороны Юга на это последовала реакция. В 1999 г. возмущение развивающихся стран вылилось во встречу министров в Сиэтле, завершившуюся почти безрезультатно. После острых переговоров был санкционирован отказ от ряда положений ТРИПС. В 2003 г. развивающимся странам было разрешено импортировать непатентованные лекарства для лечения эпидемических заболеваний, представляющих угрозу общественному здоровью. Эта борьба продолжается, поскольку в 2011 г. индийские и китайские компании приблизились к производству гораздо более дешевых препаратов для борьбы с диабетом, раком и болезнями сердца. Поскольку ни одно из этих заболеваний не считается эпидемиологическим, бедные страны настаивают на дальнейшей либерализации требований ТРИПС. Кроме того, США не смогли убедить ОЭСР в необходимости разрешить [международным] корпорациям создавать зарубежные филиалы и приобретать местные компании в масштабах, позволяющих доминировать на национальных потребительских рынках. В 1998 г. подписаться под этим требованием отказалась Франция, ее примеру последовал ряд других стран. Начиная с 2001 г. раунд переговоров в Дохе (в рамках ВТО) был заблокирован, а в 2008 г. они и вовсе прекратились. США, Япония и ЕС поочередно блокировали продолжение переговоров по вопросам развития сельского хозяйства, наиболее актуальным для небогатых стран. Присоединившись к ВТО, Китай стал мощным союзником Индии, Бразилии и других членов G-20, которые в 2003 г. на встрече в Канкуне приступили к созданию собственной организации. Отныне устойчиво высокие

темпы экономического роста демонстрировали крупные страны со средним уровнем достатка — Бразилия, Россия, Индия и Китай (страны БРИК). Их подъем свидетельствовал о том, что в раскладе сил на глобальной экономической сцене произошел крупный сдвиг — от господства богатых стран во главе с США к многополюсному миру с возросшим количеством игроков.

Коллективная организация стран глобального Юга во главе с членами БРИК остается прямой угрозой неолиберальному империализму Севера во главе с США. Она получила поддержку со стороны «мировой улицы» — разношерстной компании сторонников протекционизма и противников глобализации, феминисток и защитников окружающей среды, новых социальных движений и борцов за права коренных народов, которые стали координировать свои усилия в глобальном масштабе. Сегодня их Всемирный социальный форум — противовес Всемирному экономическому форуму господствующих классов — представляет собой идеологический феномен, привлекающий всеобщее внимание. В начале XXI в. их способность привлечь на свою сторону средства массовой информации заставила ВТО и Всемирный банк пойти на большие изменения в риторике и небольшие перемены в реальной политике (Aaronson 2001; Rabinovitch, 2004). Тот факт, что работа ВТО застопорилась, был плохой новостью, поскольку от расширения свободы торговли бедные страны лишь выиграли бы. Однако то был символ коллективного отпора липовой свободе торговли. США и ЕС пытались противостать этому путем двусторонних соглашений с бедными странами, а Китай проводил ту же линию в отношении АСЕАН. Однако в Латинской Америке такая политика успеха не имела. Провозглашенная в 1994 г. президентом Клинтонем «зона свободной торговли обеих Америк» (*Free Trade Area of the Americas*) оказалась на мели. Латиноамериканцы возражали против защиты Соединенными Штатами своего сельского хозяйства при помощи субсидий и утверждали, что американские предложения для «зоны свободной торговли» подрывают их (латиноамериканские) сравнительные экономические преимущества. Вместо этого МЕРКОСУР — страны Южного конуса — подписал собственное региональное соглашение о свободе торговли, которое позднее расширилось и на страны Андского блока. На сегодня Китай оттеснил США с позиции главного торгового партнера Бразилии, а с рядом латиноамериканских стран подписал двусторонние соглашения. В это время США, фактически оставшиеся за бортом, ведут переговоры с небольшими странами — своими союзниками в Западном полушарии.

В начале нового тысячелетия неолиберализм утратил былую силу. Накануне миллениума он распространился почти по

всюду, но всерьез стал доминировать лишь в англосаксонских и постсоветских странах. Приватизация являла собой глобальную тенденцию, но в разных странах она имела разные мотивы и далеко не одинаковые результаты. Мощнее в глобальном измерении стал и финансовый капитал. Однако в скандинавских странах и в ряде стран континентальной Европы, а также в успешно развивающихся странах глобального Юга неолиберализм встретил сильное сопротивление и в начале XXI в. был скрещен с активной позицией государства. Это привело к появлению новых экономических режимов, плохо вписывавшихся в существующие варианты капитализма или модели государства всеобщего благосостояния. Основной их задачей было не стать крупным должником. Если это удавалось, то такая страна, богатая или бедная, могла уверенно противостоять леденящим ветрам неолиберализма, который оказался в итоге не таким уж глобальным. Пожалуй, основной вывод из этой главы состоит в том, что наш мир является крайне изменчивым и разнообразным. Хотя мы могли видеть, как прилив неолиберализма сменялся отливом, национальные государства и мировые макрорегионы реагировали на это по-разному. Капитализм не налагает на государство строгих ограничений. Как и раньше, национальные государства развивались одновременно с транснациональным капитализмом. Однако затем произошла катастрофа: Великая неолиберальная рецессия 2008 г., о которой пойдет речь в главе 11.



## ГЛАВА 7

# Крах советской альтернативы

**В** ТРЕТЬЕМ томе я предложил объяснение большевистской революции. В этой главе я остановлюсь на крушении государственного социализма, построенного в результате этой революции, и на том, какие формы капитализма и демократии пришли ему на смену. Распад Советского Союза был событием, изменившим весь мир. Наряду с экономическими реформами, проводимыми Коммунистической партией Китая (см. следующую главу), это означало конец холодной войны, отказ от государственного социализма и мировую победу капитализма над последним из оставшихся альтернативных вариантов развития мировой экономики. Очевидно, что объяснение причин крушения социализма крайне важно для социологии. В течение более 60 лет государственный социализм держался на советской мощи. С распадом Советского Союза стремление к мировой революции практически исчезло. Большинство марксистских идеалов более совершенного общества рухнуло, оставив после себя лишь сам марксизм в качестве полезного критического инструмента анализа капитализма.

Распад Советского Союза отличался от большевистской революции. Он начался сверху, когда неудавшаяся попытка коммунистической партии провести реформы привела к кризису. Обычно подобные события называют «революция сверху», но было ли оно революцией? Это крушение вызвало сравнительно небольшие волнения снизу: несколько массовых демонстраций, если не считать Центральной Европы, и сравнительно незначительный всплеск насилия, если не считать событий в Румынии и столкновений между некоторыми этническими группами. Поэтому в настоящей главе, в отличие от предыдущих, я дам объяснение, в центре которого скорее будет роль элит. Этот коллапс имел три части: конец государственного социализма, развал Советского Союза и конец советской империи за рубежом. Переходный период, последовавший за крушением, состоял из двух частей: перехода к капитализму и перехода к демократии. Именно эти составные части я и буду рассматривать.

## НЕУВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ ОТТЕПЕЛИ, 1945—1985 ГОДЫ

В третьем томе я описал два достижения Советского Союза в период правления Сталина: заметный экономический рост, вылившийся в умеренное улучшение жизни общества, и огромную военную мощь, позволившую сокрушить Гитлера. Все это было достигнуто значительной ценой. Персональное и политическое гражданства практически отсутствовали, а деспотичный партийно-государственный режим стал причиной гибели миллионов человек. Победа во Второй мировой войне позволила законсервировать ситуацию: была закреплена роль общественных институтов, что во многом лишало Советы готовности принять перемены. Война, позволившая Сталину сохранить за собой власть, также дала возможность снизить масштабы репрессий: не доверяя никому, он держал своих подчиненных в страхе. И хотя его пособники, такие как Берия и Маленков, осознавали необходимость реформирования системы гуглаговских лагерей и сельского хозяйства, они не решались приступить к ним. Сталин все же предоставил Совету Министров больше самостоятельности в решении экономических вопросов, а тем временем молодые члены партии, обладавшие техническими знаниями, получали возможность использовать их (Gorlizki and Khlevniuk 2004). Режим пошел лишь на незначительные послабления в вопросах обеспечения жильем и медицинском обслуживании людей, победивших в войне (Zubkova 1998). В целом перемены были незначительными, и люди затаились, надеясь на улучшение своей жизни после смерти Сталина. Экономический рост возобновился. К 1950 г. пострадавшая в ходе войны экономика достигла уровня 1940 г. и продолжала стремительно расти.

Значительные перемены начались после смерти Сталина в 1953 г. При Хрущеве (1954–1963) уменьшился уровень принуждения, спала волна террора, закрывались лагеря, были отменены ограничительные меры в отношении миграции рабочей силы, увеличились инвестиции в производство потребительских товаров и жилищное строительство, была ослаблена цензура. Режим продолжал осуществление грандиозных проектов развития, подобных освоению целинных земель, которое вылилось в безуспешную попытку решения проблемы кризиса производства сельскохозяйственной продукции за счет экстенсивного ведения хозяйства в степных районах. Более успешной оказалась программа освоения космоса, позволившая запустить в 1957 г. первый искусственный спутник Земли на околоземную орбиту, за которым последовал полет в космос Юрия Гагари-

на в 1961 г. Это были значительные достижения науки и техники. В 1960 г. Хрущев провозгласил, что Советы «похоронят» Запад, и обещал, что к 1984 г. народ будет жить при социализме. Однако его эксцентричное поведение многих отталкивало, а унижение, которому он подвергся во время кубинского кризиса, привело к тому, что его место занял Леонид Брежнев, остававшийся на посту первого секретаря вплоть до своей кончины в 1982 г.

Брежнев расширил систему номенклатуры, при которой на ведущие посты в государстве назначались проверенные члены партии. Партийные органы управляли практически всем — от комсомольских организаций и профсоюзов до системы социального обеспечения, но государственный социализм уже не был столь централизованным. Режим закрывал глаза на неформальные связи — *блат*, посредством которого люди обменивались услугами. Чиновники использовали свое служебное положение для поиска ренты, а население подкупали некоторым улучшением ситуации с потребительскими товарами. Эпоха Брежнева характеризовалась стагнацией. Элита жила спокойной комфортной жизнью, развивалась политика разрядки в отношениях с Западом, продолжался рост городов. Пражская весна была с легкостью подавлена, репрессии внутри страны уменьшились. К открытому политическому инакомыслию отношение оставалось нетерпимым, но число высших учебных заведений росло и интеллектуалам чаще удавалось знакомиться с западной литературой и осторожно нащупывать границы цензуры. Экономика хоть и со скрипом, но работала, правда, инновации в основном ограничивались внедрением полуавтоматических линий на предприятиях военно-промышленного комплекса, а система централизованного планирования, которая определяла цены примерно на 60 тыс. наименований товаров, сводила результаты этих инноваций на нет. Хайек определил ключевые слабости командной экономики: при возрастающих масштабах и многоплановости экономического роста издержки на информацию и координацию растут быстрее, чем в условиях рыночной экономики. Но на уровне предприятий ситуация стала проще. Опоздание и неявка на работу уже не считались уголовным преступлением, реже повышались нормы выработки, на смену сдельной оплаты труда пришла повременная (Ellman and Kontorovich 1998: 10–11). По иронии судьбы в итоге участились случаи опоздания и невыхода на работу, выросла текучесть кадров, а протестные выступления рабочих на предприятиях обрели более открытый вид. В Советском Союзе наступила оттепель, но при этом страна теряла обороты.

Рабочим гарантировали, что они не потеряют работу, что на зарплату можно будет прожить и что можно будет без особых усилий получить некоторые льготы, гарантировали безопасность труда. До тех пор пока рабочие верили в социалистические идеалы, они выступали лишь с протестами против нарушений социалистической действительности. Но идеалы оказались «вытесненными из массового сознания конформизмом, жадной потреблением и индивидуализмом брежневской эпохи», и поэтому протесты прекратились (Kozlov 2002: главы 12–13). Развитие городского образованного потомственного рабочего класса привело к рождению коллективной идентичности и оппозиции: мы рабочие — они начальники, притом что режим присвоил себе право выбора любой альтернативы социализму и дискредитировал ее. Мирные коллективные выступления и забастовки на уровне предприятий, носившие ритуальный характер, позволяли добиться некоторых уступок (Сопног 1991).

Ослабевал контроль над служащими и руководителями среднего звена. Пятилетние планы и целевые показатели для каждого предприятия были снижены. У руководителей оставалось все меньше стимулов работать и внедрять инновации и становилось все больше возможностей использовать блатные связи для получения ренты и обмена услугами в сфере экономики. Чиновники также использовали свои сети для неформального достижения своих целей. Партия перестала играть роль приводного ремня при выполнении планов развития. Она сохраняла привилегии для номенклатуры, жившей в обособленных кварталах, уезжавшей на выходные на свои дачи, приобретающей в специальных магазинах дефицитные товары. Рональд Суни (Suny 1998: 436) рассказывает о том, как Брежнев однажды приехал к своей матери. Она переживала из-за того, что он живет в такой роскоши. «В чем дело, мама? — спросил Брежнев. «Но Леня, что ты будешь делать, если большевики вернуться?!» — спросила она в ответ.

Уровень неравенства был намного меньше, чем на Западе, а коррупция еще не получила большого распространения, ведь и то и другое было достаточно сложно легализовать в стране, претендовавшей на то, чтобы называться социалистической. На коррупцию жаловались повсеместно, велись дебаты о равенстве. Одни социологи утверждали, что эффективность труда можно повысить, если создать новые стимулы и ввести более высокую оплату квалифицированного труда. Другие возражали: сокращение неравенства вызовет подъем духа коллективизма и возврат к ценностям социалистической эффективности (Grant-Friedman 2008). Но рост экономики продолжался. За период с 1950 по 1975 г. реальное потребление на душу населения

ежегодно увеличивалось на 3,8%. К 1975 г. ВВП Советского Союза составлял от 40 до 60% ВВП США. В стране увеличился уровень грамотности, стало больше врачей и больничных коек, безработица отсутствовала, а социальные льготы превосходили те, которые существовали в сопоставимых развивающихся странах. Массы все еще верили в то, что жертвы были не напрасными, что контроль может ослабнуть, а жизнь станет лучше. В то же время элиты верили в то, что режим восстановит свою популярность и способность демонстрировать что-то отдаленно напоминающее социализм.

К несчастью, темпы экономического роста стали падать. Сам рост ВВП продолжался, но его темпы постоянно снижались. Если в период с 1928 по 1970 г. среднегодовой рост составлял 5–6% в год, то в 1970–1975 гг. он был уже на уровне 3%, в 1975–1980 гг. — 1,9% и в 1980–1985 гг. — 1,8% (Lane 2009: 153–154, 162). Снижалась производительность труда, падали темпы технического прогресса. Малоэффективная экономика производила множество никому не нужных товаров, а 40% бюджета страны и как минимум 20% ВВП расходовались на вооружение (по сравнению с 5–7% в США). Горбачев (Gorbachev 1995: 215) подтверждает достоверность этих цифр, отмечая, что они были вдвое больше тех, которые были в головах у членов Политбюро, и тех, о которых докладывали ему самому, когда он только вступал в должность. Военно-промышленный комплекс пользовался гораздо большей независимостью, чем в США, нанося при этом огромный вред экономике. Западные банки увеличивали свои инвестиции в странах восточного блока, но экспорт этих стран никогда не мог окупить эти инвестиции, поэтому задолженность перед Западом постоянно увеличивалась (Kotkin 2009). Лишь к 1990 г. рост приобрел отрицательные значения, что стало результатом неудачных реформ. Не будь реформ, советский блок с его незначительным экономическим ростом смог бы продержаться еще какое-то время, сдерживая процесс универсальной глобализации.

Советы полностью исчерпали возможности экстенсивного роста экономики. В сельском хозяйстве уже не хватало рабочих рук, а природные ресурсы, не считая нефти и природного газа, сокращались. Рост на базе технологий наблюдался только в военно-промышленном комплексе. В отличие от США засекреченность нововведений в военно-промышленном комплексе препятствовала их распространению в производстве гражданской продукции. По утверждению Горбачева, 80% НИОКР приходилось на сферу вооружений, в то время как в США этот показатель составлял от 40 до 60%. Власти еще более усложнили проблему, тратя огромные средства на освоение обшир-

ных сибирских просторов и переоснащение заброшенных фабрик (Allen 2004: глава 10). Эта модель сохранилась со времен догоняющей индустриализации, для которой система централизованного планирования вполне подходила. Но капитализм с его «творческим разрушением» превосходил эту модель в том, что касалось более сложных и текучих высокотехнологичных продуктов эпохи постфордизма. Несмотря на это, инфляция была низкой, уровень жизни все еще возрастал, кредитный рейтинг страны оставался высоким, а спады на производстве выглядели умеренными по сравнению с масштабами рецессий в капиталистических странах (Ellman and Kontorovich 1998: 17; Kotz 1997: 34–47, 75–77). До середины 1980-х гг. ничто не предвещало кризиса.

Однако часть номенклатуры, имея доступ к статистическим данным, которые свидетельствовали не только о падении экономики, но и об увеличении смертности населения, стала предчувствовать катастрофу. Начиная с 1960-х гг. смертность мужчин трудоспособного возраста увеличилась. Во многом это было связано с несчастными случаями и другими внешними причинами, обусловленными, как правило, потреблением алкоголя, достигшего самого высокого уровня среди всех стран, в которых велся статистический учет (White 1996: 33–40). В начале 1970-х гг. также стала расти детская смертность. Такого сочетания оказалось достаточным, чтобы прекратить публикацию статистических данных о смертности в Советском Союзе. Сейчас представляется, что рост показателей детской смертности был связан с более полной отчетностью в отсталых среднеазиатских республиках, в которых и рождаемость была выше. Детская смертность не обязательно означала снижение рождаемости, но в то время советские руководители этого не знали. А вот рост мужского алкоголизма низкой трудовой дисциплине они, по всей видимости, приписывали совершенно справедливо.

Это не был кризис в прямом смысле слова, а вялотекущее явление, которое могло продолжаться десятилетиями. Но постоянное снижение темпов роста экономики и растущая задолженность очевидно были структурными проблемами, и тут в действие вступила советская идеология. Руководство страны подменило материальные цели социальной утопией. О социалистической системе полагалось судить по ее способности обогнать Запад, в особенности США, руководствуясь при этом показателями объемов произведенной продукции и темпов роста экономики. Эта конкретная цель сохранилась еще со времен, когда существовали сомнения относительно утопического социализма, и она казалась достижимой, когда разрыв с США начал сокращаться, вплоть до 1975 г. Но затем отрыв США снова

стал возрастать. Большинство руководителей не могли смириться с замедлением темпов экономического роста, которое делало задачу обогнать США невыполнимой. Они считали, что корень проблемы лежит в экономике. Но было очевидно, что государственный социализм потерпел сразу две неудачи: в экономике и, что было важнее, в политике, в которой, несмотря на то что деспотия уменьшилась, не было движения к демократии. Но восприятие этой неудачи обострялось в силу идеологических причин, ведь предполагалось, что все должно быть намного лучше. Это было поражением идеологической власти, что было особенно заметно в кругах партийно-государственной элиты.

Что оставалось делать? Внутри партии возникло движение за «новое мышление» среди нового поколения технократов, которые во времена Хрущева и Брежнева получили возможность изучить Запада и его экономическую и техническую мощь. Технократы оказали сильное влияние на Горбачева (English 2000). Эти люди верили, что путем реформ можно построить социализм с человеческим лицом (Kotkin 2001). Они понимали, что СССР в его прежнем виде был не в состоянии догнать США, которые были и богатым обществом потребления, и мировой сверхдержавой. В 1970-х гг. Горбачев (в то время он был высокопоставленным аппаратчиком) посетил один канадский супермаркет — храм потребления. Он удивился увиденному и решил, что это было что-то вроде потемкинской деревни, в которую товар специально привезли к его приезду. Он попросил шофера остановиться у другого супермаркета, но и там обнаружил избытие товаров.

Капитализм оказался успешным, и кадры знали об этом. Их исторические стремления к мировому лидерству слабели. «Если социализм не может превзойти капитализм, то его существование не может быть оправданием», — пишет Коткин (Kotkin 2001: 19). Теперь идеология играла меньшую, но уже дестабилизирующую роль, потому что она мешала комфортному существованию во втором эшелоне. Фундаментальные перемены казались необходимыми. Формируемая индустриализация, проводимая партией в сталинские времена, была необходимым шагом в направлении построения социализма. Став, подобно Западу, индустриальным обществом, Советский Союз должен был во что бы то ни стало превратиться по-настоящему в социалистическую страну. Построение счастливого будущего требовало лишений. После Сталина Советский Союз стал немногим более гуманным, люди жили лучше, получали хорошее образование. Но развенчание культа личности Сталина Хрущевым на XX съезде партии шокировало членов партии, им было сказано, что эти ли-

шения не были необходимым этапом на пути к построению социализма, а всего лишь результатом «преступного руководства». Последовавшая либерализация привела не к социализму, а к ненасытному консьюмеризму и коррупции. Номенклатура погрязла во лжи, прославляя марксизм-ленинизм и одновременно используя свое служебное положение для личного обогащения. Подобно остальным, они топили это противоречие в алкоголе. Их дети предпочитали джинсы и поп-музыку с Запада Программе КПСС и марксизму-ленинизму (Service 1997: 370). В идеологию больше никто не верил. На смену идеократии пришла технократия (Hall 1995: 82). Рассказывали анекдот о человеке, который пришел в поликлинику и хотел попасть к специалисту по зрению и слуху, и когда ему объяснили, что такого специалиста не бывает, он продолжал настаивать. Наконец, доведенный до белого каления работник регистратуры спросил, для чего ему такой врач. Человек ответил: «Я все время слышу одно, а вижу — другое». К середине 1917 г. почти никто в России не верил в монархию. К 1980 г. почти никто не верил в марксизм-ленинизм. Режим мог продолжать держать народ в подчинении, не прибегая к особой жестокости, но ему уже не хватало сердца, души, морали и законности (Hollander 1999). Советские комментаторы открыто говорили о падении морали. Режим утратил идеологическую власть.

Режим был в упадке, но не на грани распада. Его нельзя было сравнить с Францией 1789 г., переживавшей финансовый кризис, или с опустошенной войной Россией 1917 г., или с Китаем в 1930 г. Давление со стороны США не было очень сильным. Коллективное руководство сохраняло единство. Советский Союз продолжал существовать, поддерживая установленный порядок в Восточной Европе и соблюдая негласный договор, согласно которому режим берет на себя обеспечение приемлемого уровня жизни, а народ позволяет ему править. Реформы не были вызваны коллапсом СССР. Напротив, это реформы принесли коллапс.

Корнем проблемы элита считала отсутствие дисциплины. Горячо обсуждались два способа ее обеспечения. Консерваторы говорили о том, что необходимо усилить контроль и заставить людей работать усерднее и вернуться к сдельной оплате труда. Либералы говорили о дисциплине рынка, которая обеспечит производительность. Эксперименты с введением рыночной дисциплины были проведены в конце 1970-х и начале 1980-х гг. и показали, что она не очень подходит к условиям экономики, построенной на основе плана, партийного руководства и *блата*. Многие партийные чиновники саботировали подобные эксперименты. При Юрии Андропове, который короткое время зани-



мал пост генерального секретаря, последовали консервативные реформы, позволившие незначительно оживить экономику (Ellman and Kontorovich 1998: 14–15). Если бы не внезапная смерть Андропова, Советский Союз мог бы просуществовать дольше.

Андропову хотелось, чтобы его преемником стал Горбачев, но старая партийная гвардия назначила на этот пост пожилого Черненко, который был болен и недолго его занимал. После смерти Черненко назначению Горбачева в 1985 г. уже ничего не мешало. Сначала он следовал консервативной стратегии Андропова, правда, улучшил при этом командную структуру, укрупнив министерства, повысил контроль качества и вплотную занялся проблемами прогулов и алкоголизма. Увеличились инвестиции в машиностроение, компьютеризацию и роботизацию производства. Для ограничения бюрократии он ввел элементы рыночной экономики, расширил права предприятий, разрешил деятельность частных кооперативов. Но и такая комбинация не дала ожидаемого результата. Тогда Горбачев заявил о необходимости углубления рыночных реформ в целях сохранения социализма. Он не понимал, что это может стать дорогой к капитализму.

Многое, из того что произошло потом, зависело от власти Горбачева и его кабинета. Пожалуй, ни один руководитель не брался за столь глубокие реформы. Способности Горбачева заслуживали уважение, но выбирали его не в качестве великого реформатора, и на том этапе он таковым и не был. Но Горбачев, пользуясь непререкаемым авторитетом Генерального секретаря ЦК КПС, которому не привыкли возражать ни члены Политбюро, ни кто-либо еще, проталкивал реформы, назначая поддерживавших его реформаторов на высокие посты. Это надо было делать постепенно, за исключением сферы внешней политики, где власть генерального секретаря была почти абсолютной (Grown 2007: 201, 230, 256–257). Примерно через год он собрал вокруг себя группу реформаторов. Главной проблемой теперь было заставить государственно-партийную машину приступить к проведению реформ.

## ПЕРИОД РЕФОРМ 1987–1991 ГОДОВ

Во внешней политике Горбачев был готов пойти на уступки Западу в вопросах контроля над вооружениями и в региональных спорах. Это должно было остановить гонку вооружений, которая требовала направлять незначительные имевшиеся в распоряжении активы на нужды военно-промышленного комплекса и была препятствием на пути экономического сотрудничества

с Западом. В экономике Горбачев видел две проблемы: отсутствие рабочей дисциплины и заинтересованности в труде и чрезмерно жесткую командную структуру. В рыночной дисциплине и конкуренции он видел ключ к решению этих проблем. Для повышения дисциплины требовалось поставить оплату труда в зависимость от производительности. Горбачев выступал против уравниловки, которая «отрицательно сказывалась на качественных и количественных результатах работы». Он говорил, что «доход трудящихся должен зависеть от результатов их работы». Предполагалось, что люди будут работать с большей отдачей, если за разную квалификацию будут выплачивать различное вознаграждение (Kotz 1997: 57). Но Горбачев также считал, что для повышения производительности труда необходимо сократить иерархическую структуру и обеспечить больше демократии на производстве. Руководители и рабочие должны были совместно принимать коллективные решения о производственных заданиях и способах их выполнения. Предприятия должны были конкурировать друг с другом на рынке, а не в достижении основных плановых заданий. В теории все это было замечательно. Горбачев и его сторонники брали на вооружение практику капитализма, но считали, что реформа будет совместима с социализмом. Частная собственность не нужна, достаточно провести децентрализацию государственной собственности, чтобы получить более эффективную и демократическую форму социализма. Это назвали *перестройкой*, реструктуризацией, которую сначала приняли за экономическую.

В соответствии с горбачевскими реформами 1986–1987 гг. государственные предприятия получали независимость в производстве продукции, правда, в рамках общих неизменяемых плановых заданий. Они могли свободно распоряжаться своими доходами, вкладывая больше средств в фонды поощрения рабочих. Но они не могли увольнять рабочих или назначать цены, которые в большинстве своем устанавливались государством. Это была неудачная комбинация. Самостоятельность предприятий означала, что они не были обязаны поставлять государству свою продукцию по фиксированным или назначенным ценам. Вместо этого они могли продавать ее с большей прибылью кому угодно либо могли обмениваться продукцией друг с другом по бартеру, вместо того чтобы продавать ее на рынке за рубли. Постепенно бартер охватил половину торговли, и это привело к тому, что остановился механизм распределения, как и торговля между республиками. Получившие новые полномочия республиканские и муниципальные органы власти использовали их для того, чтобы сократить поставки за пределы своих регионов. Децентрализация и демократизация производства приве-

ли к немедленному повышению заработной платы, поскольку рабочие теперь платили сами себе. Поскольку большинство цен были фиксированными, все это привело не к повышению цен или инфляции, а к тому, что люди, у которых стало больше свободных денег, скупали все подряд, толпясь в магазинах и опустошая прилавки. Огромные очереди и невозможность купить самые простые вещи в 1990 и 1991 гг. были скорее отражением политических ошибок, а не общей слабости экономики. Но теперь это уже приобретало характер экономического кризиса.

Кризис сильно ударил по государству. Оно лишилось возможности получать налоги со ставших более самостоятельными предприятий и республик. К этому добавилось падение цен на нефть, и доходы государства стали падать. Затем правительство создало себе еще одну головную боль с поступлениями в бюджет. Непопулярная антиалкогольная кампания была подорвана неутолимой тягой русских к спиртному и массовым нелегальным самогонварением, что напоминало Америку в период действия сухого закона. Доходы государства от продажи легально произведенного алкоголя составляли одну пятую всех бюджетных доходов, что еще более усложняло кризис бюджетных поступлений. Дефицит бюджета нарастал, и правительство выбрало простой путь — печатать деньги и занимать их за рубежом. Начала раскручиваться инфляционная спираль.

Один анекдот рассказывает о мужчине, стоящем в очереди за водкой. Из-за сухого закона Горбачева очередь эта была длинной. Потеряв терпение, мужчина прокричал: «Сил моих больше нет тут стоять. Ненавижу Горбачева! Пойду в Кремль и убью его!» И ушел. Через полчаса вернулся и на вопрос, удалось ли ему убить Горбачева, ответил: «Нет, я пришел в Кремль, но там была такая длинная очередь из желающих убить Горбачева, что я решил вернуться и постоять за водкой».

Эти реформы не предлагали решения двух ключевых задач: сокращения субсидирования промышленности и переход к более свободной ценовой политике, которая позволила бы ценам подняться до рыночного уровня. Горбачев, как и более поздние неолибералы, недооценивал проблему роли власти в переходе от государственного управления к рыночному. Он разрушил государственные социалистические институты, обеспечивавшие управление и стабильность, но почти ничего не предложил взамен. Он не обращал внимания на опыт проведения реформ в Китае, где тщательно контролируемые рыночные реформы, осуществляемые под руководством государства, уже продемонстрировали возможность успешного развития экономики. Уже имелся и успешный опыт венгерского (смешанного) «гуляш-социализма», где сельское хозяйство, но не промышленность было пере-

ведено на рыночную основу (Hough 1997: 16–22, 119, 269–273, 491). Китайские руководители, оказавшиеся под влиянием восточно-азиатских моделей развития, к числу необходимых условий проведения реформ относили наличие сильного государства, введение протекционистских тарифов, ограничивающих импорт, экспортные субсидии и ограничение потока международного капитала. Но Советы смотрели на своих младших братьев свысока, считая, что это китайцы должны у них учиться, а не наоборот. Конечно, все правительства допускают ошибки, и те из них, которые пытаются провести все изменения за один присест, допускают их еще больше. В главе 9 мы увидим, что первые реформы китайских коммунистов часто оказывались контрпродуктивными. Но руководство КПК методом проб и ошибок сумело понять, какие реформы полезны, а какие — нет, а также понять, что предварительным условием было сохранение контроля над государством, чтобы власти наверху могли определить, каким программам следует оказывать поддержку. Советы, напротив, решились на двойную революцию — одновременно в экономике и политике — и потерпели неудачу (Pei 1994).

Горбачеву, в отличие от Китая, мешало отсутствие единства в партии. И хотя фракционизм возник в Китае, где Мао Цзэдун отклонился от основной линии, партийные верхи извлекли горькие уроки из событий культурной революции. Они спорили о реформах, но не публично, а уже принятые решения поддерживали коллективно. В противоположность этому советские руководители помнили совсем о другом — о чрезмерной дисциплине при Сталине. Поэтому их споры вокруг реформы обернулись жесткой фракционной борьбой.

Я выделяю пять возникших в тот период фракций. Справа от Горбачева находились консерваторы двух типов: консерваторы-реформаторы, стремившиеся к усилению роли государства, и те, кто был консерватором по своей природе и опасался любых перемен, которые могли поставить под угрозу их положение. Третьей была фракция социалистов-реформаторов самого Горбачева. Слева от Горбачева находились либералы двух типов: настоящие сторонники либеральной идеологии, уверовавшие в капиталистический рынок и либеральную демократию, и либералы-оппортунисты, видевшие для себя возможность быстрого обогащения — «самоэмансипации элиты», полные решимости обратить реформы в свою пользу (Tucker 2010). К союзу с этими оппортунистами все больше стремились националисты, которые использовали идею децентрализации, заложенную в горбачевских реформах для усиления позиций своих республик и краев. Местная номенклатура могла добиться большей самостоятельности, выступая под национальными флагами,

но на деле преследуя свои собственные интересы. В конечном счете победу одержал либерально-национальный союз во главе с Борисом Ельциным. Но по мере ослабления партийно-государственного режима борьба между фракциями, к несчастью, усилилась.

Пользуясь поддержкой партии, Горбачев мог и дальше продвигать свои реформы, но у него не было ясного представления о приоритетах в экономике. Добрынин, член Политбюро, говорил, что он «ни разу не слышал, чтобы Горбачев представил хоть какой-то широкий и подробный план реформирования экономики, будь то на один год или на пять лет, либо любой другой действительно продуманный план». Такой план он оставил на председателя Совета Министров Рыжкова, который не обладал столь широкими полномочиями. Горбачев же сосредоточился на политической реформе, где он мог давать указания о проведении тех или иных изменений. Провозгласив консерваторов «гигантским партийно-государственным аппаратом, который, подобно плотине, стоит на пути реформ» (Hough 1997: 105), он ушел от партии и министров и обратился к народу, объявив о *гласности* (открытости). Этот шаг оказался популярным и придал смелости либералам, которые хотели более глубоких рыночных реформ по сравнению с теми, которые проводил Горбачев. С расцветом свободы слова и организаций расцвели и народные оппозиционные движения. В отличие от прагматизма членов горбачевской фракции реформ и инстинктивного отторжения реформ со стороны консерваторов некоторые либералы обладали некоторой идеологией, видением альтернативного общества. Лоусон (Lawson 2010) пишет, что их идеи «свободы, справедливости и равенства могли быть и не новыми, но они определенно были утопическими», к тому же они были в равной мере применимы к отношениям политической, экономической и военной власти.

*Гласность* берет свое начало с марта 1986 г., когда Горбачев призвал СМИ критиковать правительство. В большинстве СМИ работали либералы, и они с удовольствием принялись за дело. Но в условиях падения цен на нефть и природный газ это не помогло Горбачеву. В конце апреля произошел взрыв на атомной электростанции в Чернобыле, и в результате тысячи людей погибли от воздействия радиации. Горбачев посчитал, что главной причиной катастрофы стала самостоятельность военно-промышленного комплекса, который и занимался атомной промышленностью. И хотя военные находились под политическим контролем партии, за свое подчинение партии они всегда получали самостоятельность и значительные средства на свои нужды. Даже Политбюро не знало, как обеспечивается безопас-

ность атомной энергетики. Это укрепило Горбачева в желании урезать автономию военных. Обсуждение вопросов секретности внутри фракции привело к тому, что Горбачев стал еще большим приверженцем принципа *гласности* (Chernyaev 2000: 8; Service 1997: 445–447). В 1986–1987 гг. были выпущены на свободу политзаключенные, цензура прессы была отменена. В январе 1987 г. Горбачев призвал к всесторонней демократизации общества, включая свободу собраний и организаций. В ответ на этот призыв немногочисленные движения приступили к созданию собственных лобби и проведению демонстраций. Либералы призывали к развитию рынка, демократические клубы требовали демократизации и честного расследования советского прошлого, группы профсоюзов требовали экономических реформ в интересах рабочих, а националисты — самостоятельности для регионов.

Горбачев был демократом и скорее с оптимизмом ожидал, что свободные выборы внутри партии в условиях тайного голосования и при наличии нескольких кандидатов дадут ему мандат на продолжение реформ. Но партия уже давно была скорее администрацией, чем партией в западном понимании. Когда Горбачев ограничил руководящую роль партии, то ее членам было трудно перейти к дебатам по политическим вопросам или по вопросам стратегии выборов. Партия сохраняла свой консервативный характер, но внутрипартийная политическая жизнь была неразвита, поэтому у партии была склонность к делению на местные партийные организации (Gill 1994: 184). Это привело к двум неожиданным результатам. Во-первых, *гласность* породила множество малочисленных, но активных общественных движений, в которых велось обсуждение идей самого широкого спектра, включая и чисто западные. Во-вторых, партийные чиновники начали понимать, что могут завладеть местными, принадлежащими государству активами, которыми им было поручено руководить, и стать предпринимателями. Их опыт построения собственной карьеры был богаче, чем опыт проведения политики партии. Центральный комитет терял контроль над ситуацией. Для восстановления политического контроля один из заместителей Горбачева Яковлев предложил ему выйти из партии и создать Социал-демократическую партию реформ, которая стала бы противвесом консервативной Коммунистической партии. Горбачев отверг эту идею. Браун (Brown 2007: 204–205) считает, что такой шаг мог оказаться успешным, несмотря на опасность осуществления консерваторами государственного переворота. Он мог привести к выработке более последовательной стратегии реформ и облегченному переходу к демократии.

Когда демократизация Коммунистической партии не сработала, Горбачев приступил к сокращению ее полномочий. Основные полномочия Политбюро и ЦК КПСС были отменены в 1989 г. Число отделов Секретариата ЦК КПСС было уменьшено с двенадцати до девяти: были распущены все отделы, занимавшиеся вопросами экономики, за исключением отдела сельского хозяйства. Центральный плановый орган, Госплан, был расформирован в 1991 г., как и Госнаб, распоряжавшийся взаимными поставками предприятий. Экономика была отделена от государства. В выборах 1989 г. впервые участвовало несколько кандидатов, предлагавших различные политические программы, и те, кого избрали, немедленно уволили ряд министров из кабинета премьер-министра Рыжкова. Горбачев допустил небольшое отступление от демократии, когда в начале 1990 г. согласился на то, чтобы его кандидатура была выдвинута на пост первого в истории страны президента законодательным органом, вместо того чтобы провести всеобщие президентские выборы. Эту ошибку он впоследствии признал. В то время он мог победить на выборах своего главного соперника — Ельцина и получить больше законных оснований для сохранения Советского Союза. Если бы выборы выиграл Ельцин, у него не было бы повода для уничтожения Советского Союза. Основные сторонники Горбачева также считали, что круг полномочий президента должен быть шире, чем это предлагал Горбачев, поскольку часть полномочий уже была передана руководителям отдельных республик. В 1990 г. Горбачев заставил партию отказаться от руководящей роли в обществе. Конец коммунизма наступил именно тогда, хотя Советский Союз просуществовал вплоть до 1991 г. (Brown 2007: 202, 209–210, 298–302; Kenez 2006: 258–261).

На протяжении всех этих шокирующих политических перемен многие номенклатурщики просчитывали, как им лучше сохранить свои должности и льготы. В республиках высокопоставленные чиновники пользовались большей самостоятельностью, чем та, которую они получили после того, как Горбачев развалил общесоюзную партию. Лэйн (Lane 2009: 162–164) особенно подчеркивает возникновение класса приобретателей, к которому относятся представители среднего класса, появившегося в результате развития системы образования во времена Хрущева и Брежнева и состоявшего из инженерно-технических работников и профессионалов. Этот класс привлекала горбачевская политика повышения оплаты высокопроизводительного и высококвалифицированного труда и возможность увеличить свое присутствие в партии, в которую раньше принимали в основном рабочих и крестьян. Хоух усматривает параллели

с Французской революцией и характеризует разворачивавшиеся события как «настоящую революцию среднего класса... бюрократов, буржуазии, управлявшей средствами производства», поддерживаемых «массами проживающих в городах, хорошо образованных квалифицированных рабочих и „белых воротничков“, созданных коммунистическим режимом» (Hough 1997: 1, 24). На первых шагах именно эта группа представляла основной электорат Горбачева, который начинал свою деятельность при значительной поддержке населения. Лишь в мае или июне 1990 г. он утратил часть своей популярности среди избирателей, уступив Ельцину.

Горбачеву удалось легко демонтировать государственную власть, а вот исправить ошибочные реформы было сложнее. Его собственные осторожные экономические реформы не принесли желаемого результата потому, что натолкнулись на сопротивление консервативно настроенных бюрократов. Озвучивались самые разнообразные планы проведения реформ. Некоторые выступали за восточноевропейскую модель, в которой предусматривались фиксированные цены на товары первой необходимости, свободные цены на предметы роскоши и максимальные цены на все остальные товары. Очевидно, что ряд цен все равно пришлось бы увеличить и сделать это должно было государство, а не рынок, которого еще не существовало. С началом реформ в Восточной Европе и в Советском Союзе возникли два представления о том, какими должны быть реформы. Неолибералы выступали за ускоренную шоковую терапию, быструю либерализацию всего, что только возможно. Сторонники постепенного проведения реформ, градуалисты, говорили, что действовать необходимо более сдержано и избирательно, учитывая особенности каждой страны и обеспечивая сохранность институтов, которые устанавливают нормы и правила переходного периода экономики. Рыночный механизм ценообразования может вводиться постепенно, от одного вида продукции к другому при одновременном сокращении госзаказа. Постепенное проведение реформ, градуализм, был наименее разрушительной стратегией. Но неолибералы хотели демонтировать государственного управления и приватизации предприятий, чтобы создать рынок, полагая, что разрушение системы государственного управления создаст условия для процветания рынка. В конце концов в то время эта точка зрения преобладала и среди западных экономистов.

Премьер Рыжков, который выступал за постепенное повышение цен, говорил, что Горбачев делал постепенный переход затруднительным, «предлагая ликвидировать существовавшие механизмы управления экономикой без того, чтобы создать



хоть что-нибудь вместо них». Горбачев (Gorbachev 1995: глава 17) описывает многочисленные предлагаемые к рассмотрению планы, которые так и не удалось свести воедино. С ухудшением ситуации в экономике и распадом политического центра руководители республик, особенно Ельцин в России, тоже начали препятствовать проведению реформ. Любой из предлагаемых планов отзывался болью в сердцах советского народа. Может быть Горбачев хотел отложить болезненные процедуры на период после выборов 1989 г. в Советском Союзе и выборов 1990 г. в России. Если так, то это был еще один его просчет, потому что выборы он проиграл (Hough 1997: 16–22 и глава 4, цитаты по с. 130 и 104; Kenéz 2006: 267–270).

Сталин, Хрущев, Брежнев и Горбачев ехали в поезде, который внезапно остановился, и ничто не могло заставить его продолжить движение. «Расстрелять машиниста», — рявкнул Сталин. Поезд не тронулся с места. «Скажите помощнику машиниста, что социализм уже не за горами», — крикнул Хрущев. Ничего не изменилось. «Опустим шторы и будем считать, что поезд едет», — предложил Брежнев. Наконец, Горбачев открыл окно и попросил попутчиков высунуться в окно и кричать: «Все приехали — дальше рельсов нет! Все приехали — дальше рельсов нет!».

В 1990 г. начались экономический спад и волнения рабочих: сначала они разочаровались в коммунизме, теперь — в Горбачеве. Массовые забастовки шахтеров в 1989 г. сопровождалась широкими требованиями в обстановке разрушающейся экономики, и Горбачев был вынужден пойти на дорогостоящее повышение зарплат и ценовые уступки (Сопнов 1991: глава 7). Теперь кризис ощущала почти каждая семья в стране. С падением экономики таяла и популярность Горбачева. Опрос, проведенный осенью 1990 г., показал, что 57% респондентов считали, что при нем жить стало хуже, и лишь 8% говорили, что жизнь улучшилась (Levada 1992: 66; Kotz and Weir 1997: 77–83). Либеральные и националистические оппоненты Горбачева восторжествовали на выборах 1990–1991 гг. Многие представители номенклатуры и класса приобретателей решили, что настало время избавиться от ослабшей бюрократии и попробовать себя в рыночной экономике без какого-либо социализма. Более заметной стала либеральная интеллигенция. Чем более образованным был человек, тем больше была вероятность того, что он является сторонником рыночных реформ. В парламенте профессионалы и либеральная интеллигенция были меньшинством в окружении консерваторов, зато составляли большинство среди реформаторов, поэтому они преобладали в ельцинской проакадемической группе (Lane 2009: 168–169). В конце 1990 г. Горбачев,

встревоженный либеральным уклоном, обратился за поддержкой к консерваторам, но это было его ошибкой. Он не стал бы делать того, чего в действительности хотели консерваторы, и это только разозлило либералов. Либералы и оппортунисты теперь были заняты поиском подходящих средств для достижения довольно разных целей — дальнейшей децентрализации власти в пользу тех, кто захватил рыночные активы.

## КОНЕЦ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Политический кризис быстро привел к распаду советской империи. Царская империя была передана большевикам по наследству, но они предоставили большинству нерусских жителей страны собственные республиканские или областные правительства, выделяли им субсидии и предоставляли языковые и культурные привилегии. Тем не менее национальные меньшинства учили русский язык, считая его пропуском в современный мир. Советский Союз не был империей в том смысле, что центр эксплуатировал периферию, многие русские были убеждены, что все было как раз наоборот. Но на территориях, завоеванных перед Второй мировой войной, дело обстояло иначе, потому что европейские страны-сателлиты и прибалтийские республики были раньше независимыми, и периодические волнения послевоенного периода свидетельствовали об их недовольстве Советской властью. В конечном счете их удерживали силой, хотя и они получали субсидии из Москвы.

Почувствовав ослабление Советов, оппозиционные силы в Польше и Венгрии развернули демонстрации за большую самостоятельность, а потом и за независимость. Порывая с прошлым, Горбачев поддержал их. В 1985 г. он уже сообщил восточноевропейским руководителям, чтобы впредь они не ожидали военной поддержки, что им придется стать ближе к народу. Министр иностранных дел Шеварднадзе дал резкий ответ на запрос венгерского правительства, когда в 1989 г. наблюдался большой поток немцев из ГДР, следующих в Австрию и Германию через Венгрию: «Этот вопрос касается только Венгрии, ГДР и ФРГ, а не нас» (Brown, 2007: 242, 235). Горбачев и его окружение на самом деле хотели падения режимов старой коммунистической гвардии в Восточной Европе, ожидая, что их свергнут такие же, как он, коммунисты-реформаторы. Он не понимал, что ни в одной восточноевропейской стране таких не было (Kramer 2003b; Kotkin 2009: xvi-xvii).

Коммунистические режимы в странах-сателлитах беспокоили Горбачева еще и потому, что они поддерживали его консер-

вативных оппонентов внутри страны. Но Лигачев, один из ведущих консерваторов, говорил, что ни один из членов Политбюро не настаивал на отправке частей Красной Армии для подавления волнений 1989 г. в Берлине. Если Запад уже не представляет угрозы, какой смысл содержать столь дорогостоящие буферные государства? Теперь руководителей этих стран вынуждали договариваться с оппозицией. В противном случае им пришлось бы отказаться от реформ и применять репрессии против своего народа. Но какими бы ни оказались результаты этих репрессий, вероятность «бархатных революций» была невелика. Но теперь конец империи, в состав которой входили страны-сателлиты, удерживаемые военной силой, которую Советы уже отказывались применять, был неизбежен.

Новое мышление охватывало и внешнюю политику, в которой подчеркивалась необходимость политического самоопределения, а мир представлялся взаимозависимым, воплощающим общечеловеческие интересы и ценности, отвергающие классовые интересы и холодную войну. Горбачев стал человеком, положившим конец холодной войне. Вместо того чтобы дать симметричный ответ рейгановской стратегической оборонной инициативе и вмешательству в Афганистан, Горбачев отверг нулевой вариант холодной войны, предложив переговоры по сокращению вооружений, отказ от применения силы в странах-сателлитах и терпимость по отношению к инакомыслию внутри страны. К счастью, его оппонентом оказался Рональд Рейган, который, несмотря на прежнюю жесткую риторику, в 1983 г. начал действовать в том же направлении. Этот поворот не был связан с предвыборной кампанией или сменой президентских советников. На позицию Рейгана повлияли три события: сбитый Советами корейский самолет, отклонившийся от курса, и воспринятые Советами учения НАТО в Западной Европе «Умелый лучник» (Able Archer) как нападение, что означало: СССР опасается американской агрессии, а телевизионный фильм «На следующий день», показывающий последствия ядерной войны в канзасском городе Лоуренсе, сильно напугал Рейгана. Он верил в Армагеддон, но не хотел стать его свидетелем (Fischer 1997: 112–138). Когда в 1985 г. Горбачев начал предварительные беседы, Рейган пошел ему навстречу и мог пойти еще дальше, если бы его не остановили советники. Рейган Марк II, миротворец — это была хорошая новость для всего мира. Но еще лучшей новостью был сам Горбачев. Он ненавидел военно-промышленный комплекс, но не смог противостоять ему напрямую, а политика разоружения избавляла его от этой необходимости. Кроме того, Горбачев понял, что даже если он избавится от всего имеющегося в стране ядерного оружия, то никто не станет

нападать на нее (Chernyaev 2000: 103–104; 192–198; Brown 2007: 266–274; Leffler 2007: 466ff). Сомнительно, что подобный мирный процесс мог начать какой-либо другой советский руководитель, хотя, будь американским президентом кто-то другой, он тоже мог бы решиться на подобные шаги, если бы столкнулся с Горбачевым и слабеющим Советским Союзом. В своей искренности Горбачев сумел убедить даже Маргарет Тэтчер.

Горбачев практически всегда принимал верные моральные решения. В Европе это опять привело к оптимистичным просчетам. Горбачев полагал, что страны-сателлиты примут идею социализма с человеческим лицом, но для них социализм означал деспотический империализм. И даже когда в Польше к власти пришла «Солидарность», когда под восторженные крики толпы была разрушена Берлинская стена, а в Румынии расстреляли супругов Чаушеску, горбачевские реформисты были на стороне новых некоммунистических режимов. Во время распада советского блока Красная армия не произвела ни единого выстрела. К концу 1989 г. Горбачев потерял возможность военного вмешательства. Пламя охватило все страны-сателлиты, и теперь даже Красная Армия не могла их подавить.

Теперь Горбачев обратился к менее важным преимуществам политики невмешательства, утверждая, что она будет служить улучшению отношений между Востоком и Западом и позволит направить ассигнования, предназначавшиеся на нужды обороны, на инвестиции в производство товаров народного потребления, что даст возможность спасти экономику. Но времени дожидаться результатов этой политики уже не было, потому что начало сокращения оборонных расходов пришлось на 1990 г., когда распад Советского Союза уже начался. Геополитическая цена этого была колоссальной: распались Варшавский договор и Совет экономической взаимопомощи, произошло воссоединение Германии в рамках НАТО, который вплотную приблизился к границам Советского Союза. На самом деле госсекретарь США Бейкер и канцлер Германии Коль обманули Горбачева. Он согласился на воссоединение Германии, против которого сначала категорически возражал, в обмен на обещание Бейкера и Коля не допустить присутствия НАТО в Восточной Европе. Но НАТО пришел в Восточную Европу. Демилитаризованной зоне в Центральной Европе было не суждено появиться. Вместо этого весь регион был присоединен к Западу, который теперь вплотную придвинулся к границам России (Sarotte 2009; Kramer 2003). Консерваторы и русские националисты были в ужасе от этих небывалых геополитических провалов Горбачева.

Потеря Центральной Европы вдохновила националистически настроенных диссидентов в самом Советском Союзе. Не-

приятности грозили лишь со стороны нескольких из 127 официально признанных национальностей и народностей Советского Союза, почти все из которых проживали на западных и южных границах страны. Байссингер (Beissinger 2002) демонстрирует, что республиками и автономными районами управляли наиболее образованные и привыкшие к жизни в городских условиях люди. Некоторые из них лишь недавно попали на руководящие посты. Первыми в июле 1988 г. выступили литовцы, латыши и эстонцы, и поначалу это были выступления за предоставление этим республикам большей самостоятельности. Три прибалтийские республики были силой присоединены к СССР в конце войны, и это присоединение было закреплено поселением на их территории большого числа русских. Такая политика привела к возникновению характерных для колоний напряженных отношений между местными жителями и поселенцами. События 1989 г. в Восточной Европе оказали сильное влияние на прибалтийские республики, особенно после того, как сквозь поток контролируемой Советами информации пробилось польское телевидение, программы которого теперь становились доступными. Речь шла уже о независимости, что вызывало тревогу русских поселенцев, которую подхватили националисты в самой России.

К прибалтийским республикам вскоре присоединились Грузия и Молдова, в которых некоторые националисты тоже хотели независимости. Грузия в течение короткого периода после большевистской революции была независимым государством, а Молдова была частью Румынии до 1944 г. В этих республиках конфликты между местным населением и русскими были не такими острыми, как между представителями двух местных народностей. То же самое относится и к армяно-азербайджанскому конфликту на юге, где советское руководство осознавало опасность межэтнической резни. Здесь неуместно говорить о противостоянии национализма и империализма в отличие от Восточной Европы и Балтики. Это было столкновение двух этнических концепций по вопросу о том, кому принадлежала каждая из республик. Требования демократии, таким образом, способствовали разжиганию этнических столкновений и чисток, подобно тому как это происходило на протяжении XX в. во многих странах (Манн 2005). Советское руководство было вынуждено вмешаться в конфликты, и это стало публичной проверкой его способности поддерживать общественный порядок.

На националистов у режима был совсем другой взгляд. Выход из состава страны считался неприемлемым нарушением советской конституции. Горбачев был готов к обсуждению допустимых форм автономии, но идею независимости не поддер-

живал. Однако руководство страны недооценило решимость коренного населения прибалтийских республик. Члены Политбюро, выезжавшие в республики, возвращались напуганными, но все еще не решались прибегнуть к репрессиям. Когда в 1988 г. произошло кровавое столкновение между армянами и азербайджанцами из-за спорных территорий Нагорного Карабаха, глава КГБ предложил ввести войска, но Горбачев и большинство членов Политбюро отвергли это предложение. Горбачев симпатизировал армянам, но при этом не хотел настраивать против себя азербайджанцев и находился в смятении. Когда в Баку случился армянский погром, он распорядился ввести войска — единственный раз, когда он пошел на подобный шаг. Однако, узнав, что при этом погибли невинные люди, он отменил свой приказ. На Кавказе и в прибалтийских республиках были случаи, когда местное руководство было готово прибегнуть к репрессиям, но каждый раз эти попытки наталкивались на запрет Горбачева. Видимо, такое поведение было воспринято как проявление слабости, потому что в период между 1988 г. и серединой 1991 г. националисты решились на еще более смелые выступления (Tuminez 2003; Kramer 2003a; Beissingер 2002; Chernyaev 2000: 181–191).

Байссингер (Beissingер 2002: глава 7) указывает на ослабление «репрессивных режимов» в Советском Союзе. В сталинскую эпоху местные партийные органы не принимали особого участия в акциях подавления волнений, в которых были задействованы войска НКВД, применявшие многократно превосходящую силу. При Хрущеве ситуация изменилась, потому что поддержание общественного порядка было возложено на местные власти, которые отработали штатные ситуации, предусматривающие применение незначительного насилия. При Брежнев в первую очередь выявлялись и арестовывались зачинщики, а с остальными поступали достаточно мягко. Жесткие репрессии стали редкостью. Свобода собраний и шествий была частью горбачевской *гласности*. Как и на Западе, организаторы должны были получить разрешение местных властей и определить число участников, место проведения, маршрут и продолжительность демонстрации. Полиция и силы безопасности чаще имели при себе средства для предотвращения беспорядков, а не боевое оружие. По мере дальнейшего роста числа выступлений националистов их организаторы стали просто игнорировать правила, полагаясь на поддержку со стороны населения, а порой и на поддержку со стороны местных чиновников. Горбачевские реформы служб охраны общественного порядка оказались несостоятельными, и к 1980-м гг. властям не хватало опыта применения жестких мер при подавлении выступлений. Байссингер от-

мечает, что в конце 1988 г. и начале 1989 г. репрессии еще были возможны, но с распространением агитации националистов, вызвавшей забастовки на промышленных предприятиях, в особенности на шахтах, возможность репрессий исчезла (ср. Сопног 1991: глава 7). Байссингер пишет, что армия не имела возможности вмешиваться в нескольких местах одновременно, к тому же генералы не хотели, чтобы их использовали для проведения внутренних репрессий. Он считает, что не будь этой волны национализма, не было бы и распада Советского Союза (Beissinger 2002: 160). Крамер (Kramer 2003a: 24–29) не согласен с этим, утверждая, что режим имел возможность применить силу, но он ею не воспользовался. Он подчеркивает примиренческий характер действий фракции Горбачева. Байссингер также не уделяет достаточного внимания тому, как руководители республиканского уровня использовали национализм в качестве прикрытия собственного стремления к захвату власти.

К 1990 г. неприятие репрессий послужило сближению либералов и националистов. Горбачев чувствовал себя недостаточно сильным, чтобы последовательно противостоять то либерал-националистам, то сторонникам жесткого курса из числа консерваторов и был вынужден лавировать. Сам он видел Советский Союз как социалистическую страну, в которой реформы ведутся мирным политическим путем. В конце концов он позволил прибалтийским республикам и странам Центральной Европы уйти и признал, что полномочия советских органов власти в решении вопросов Нагорного Карабаха и Молдовы ограничены. Он оправдывал это тем, что такие сложные события происходили на периферии. Окраинным областям империи можно было и предоставить свободу. Но он все еще верил в то, что ядро Советского Союза удастся сохранить.

Но к 1990 г. Горбачев был вынужден признать существование более серьезной угрозы со стороны националистов. И эта угроза находилась в России, в самом сердце Советского Союза. Теперь оппозиционные движения заявляли, что советская империя эксплуатировала их (Hough 1997: 216, 238). Ельцин и его либеральные союзники перешли на сторону русских националистов, а он стал неформальным руководителем русского национально-либерального союза, который требовал от Горбачева более решительных реформ, но на них он не был готов пойти. На выборах, состоявшихся в январе 1990 г., Ельцин победил с небольшим перевесом, взял в свои руки управление правительством Российской Республики, которая занимала 75% территории Советского Союза и на которой проживало почти 60% населения страны. Месяц спустя правительство приняло резолюцию, провозгласившую его власть на всей территории России. Резолюции

о суверенитете были приняты и другими республиками на тот случай, если Ельцину удастся выйти из состава Союза. Теперь борьба велась еще и между российской и советской элитами, и ее олицетворяли ненавидевшие друг друга Горбачев и Ельцин. Это привело к сближению Горбачева с советскими консерваторами, которое принято считать уходом Горбачева вправо.

В то время советские экономисты были разочарованы в планировании и восхищены западной экономикой. Они знали все о недостатках планирования, но им ничего не было известно о недостатках нерегулируемого рынка, и это стало пиком популярности неолиберализма. Влияние западных советников и обещания Запада оказать помощь привели к тому, что многие жители России превратились в неолибералов, ратовавших за шоковую терапию. Они устремили свои надежды к Ельцину как к человеку, который сможет все осуществить. У Ельцина и у них были одни и те же враги, хотя Ельцина не очень интересовали принципы экономики. Задуманная Горбачевым модель смешанной экономики, казалось, лишь усугубляла ситуацию, зато изменилась терминология, использовавшаяся для определения желаемой экономической модели. На место широко распространенного в 1988–1989 гг. понятия «социалистическая рыночная экономика» в 1990 г. пришла модель «экономики регулируемого рынка», а затем и «экономики свободного рынка». В отличие от Ельцина и либералов из движения «Демократическая Россия» Горбачев не решался идти до конца. На протяжении двух лет велись споры о том, как далеко следует идти по пути рынка и приватизации и каким образом должны формироваться цены. Советская элита раскололась, отстаивая множество различных планов.

Эти споры разрешились в результате двух попыток захвата политической власти, одна из которых оказалась успешной, а другая — неудачной. В декабре 1990 г. Ельцину незначительным большинством голосов в российском парламенте удалось провести решение о сокращении размера российского взноса в союзную налоговую базу с половины до одной десятой части всех поступлений. Это был сокрушительный удар по Горбачеву. Возникло двоевластие: российские институты против советских институтов. Однако руководители других крупных республик — Украины, Белоруссии и Казахстана — еще не были готовы к тому, чтобы разрушить Союз, а Ельцин, похоже, не верил, что это возможно. Сепаратистов в этих республиках было немного. На Украине на состоявшемся в марте 1991 г. референдуме почти три четверти участников высказались за «сохранение Союза Советских Социалистических Республик в качестве обновленной федерации».



Вторая попытка была предпринята консерваторами, и их неумело подготовленный переворот закончился тем, что Советскому Союзу был нанесен непреднамеренный смертельный удар. Путч был инициирован в августе 1991 г. людьми, которых сам Горбачев назначил вице-президентом, премьер-министром, командующим вооруженными силами и главой КГБ. Однако путчистам не хватило смелости задействовать без санкции Горбачева и других гражданских руководителей войска, находившиеся в их полном распоряжении. В СССР военные никогда не вмешивались в вопросы политической власти, а генералы еще не утратили привычку подчиняться. Горбачев отдыхал в своей летней резиденции в Крыму. Группа заговорщиков вылетела к нему на самолете, чтобы получить разрешение на проведение переворота, но Горбачев ответил отказом и переворот не состоялся. Избранные для того, чтобы возглавить штурм Белого дома, они оказались слишком нерешительными. Крючков, председатель КГБ, позже написал Горбачеву покаянное письмо, в котором говорилось: «В общем, мне очень стыдно» (Brown 2007: 366–371; Taylor 2003; Knight 2003; Dunlop 2003; Beissinger 2002: 366–371). Двое главных заговорщиков были пьяны во время переворота. Валентин Павлов, горбачевский премьер-министр, не явился на главную пресс-конференцию заговорщиков, а Геннадий Янаев, горбачевский вице-президент и исполняющий обязанности президента во время путча, был пьян настолько, что не узнавал людей, которые пришли его арестовывать (White 1996: 60, 163; Houg 1997: 429–430). Возможно, такое состояние помогало ему облегчить на время боль, но похмелье в тюрьме, вероятно, должно было быть действительно ужасным.

Провал путча, начатого назначенцами Горбачева, был очевиден. Благодаря реформам Горбачева Коммунистическая партия уже почти исчезла. А теперь с распадом Советского Союза коммунизм стал вытесняться капитализмом. Ельцинское смелое и широко растиражированное разоблачение заговора на бронемашине перед Белым домом резко выделялось на фоне отсутствия Горбачева, уехавшего отдыхать на юг, и ложных слухов о его причастности к путчу. Украинский лидер Кравчук, который, выступая по телевидению, заявил о своем желании сотрудничать с заговорщиками, мгновенно превратился в поборника национальных интересов и, что еще менее правдоподобно, в демократа. Но он продолжал контролировать силы безопасности в своей республике, а это много значило.

Теперь на референдуме, прошедшем на Украине в начале декабря 1991 г., большинство высказалось за независимость. Тогда же Ельцин подписал с руководителями Украины и Белоруссии совместное заявление об упразднении Советского Союза

и создании Содружества независимых государств. Республиканские боссы, тут же забыв о коммунизме, обратились к националистической риторике, стремясь прибрать к рукам государственную собственность, и в этом стремлении их поддержал нарождавшийся класс приобретателей (Lane 2009: 174–175). Этот национализм, нанесший смертельный удар Советскому Союзу, был не искренней идеологией, а скорее прикрытием для того, чтобы растащить оставшееся от большой страны. Байсингер указывает на то, что крах Советского Союза стал результатом волны национализма, поднявшейся в Восточной Европе и прибалтийских республиках, но в других местах лишь немногие конфликты можно было охарактеризовать как противостояние национализма и империализма (Suny 1993; Pearson 1998; Bunce 1999).

Прямая роль Запада в распаде Советского Союза не была значительной. Разумеется, холодная война усугубила экономические трудности Советов, вынужденных направлять значительную часть ресурсов страны на военные нужды. Это обстоятельство и сам факт стабильного роста экономики стран Запада могли легко выступить как косвенный фактор, оказавший продолжительное воздействие на ситуацию. Согласно рейгановскому мифу о роли Америки, именно давление со стороны его администрации и стало основной причиной краха СССР. Но рост напряженности во время холодной войны способствовал усилению советских консерваторов, находивших в этом оправдание милитаризации социализма и поиска врагов внутри страны. Большинство русских думают, что давление со стороны администрации Рейгана продлило существование Советского Союза и затруднило начало реформ. Некоторые отмечают значение рейгановской программы «звездных войн», хотя встречи Горбачева со специалистами в области вооружений и космоса показали, что эта программа не будет иметь успеха, а советский арсенал баллистических ракет с разделяющейся боеголовкой в состоянии обеспечить более эффективную и менее затратную защиту, чем попытки разработать советский аналог СОИ (Brown 2007: 246).

Данные о расходах на оборону также не свидетельствуют в пользу версии о военном давлении со стороны Америки. Хотя оборонные расходы США возросли в начале 1980-х гг., они вновь начали снижаться после 1985 г. Расходы на оборону Советов продолжали расти до тех пор, пока их не пришлось сократить в 1989–1991 гг., но было слишком поздно и уже ничто не могло спасти экономику. В начале 1980-х гг. Горбачев был обеспокоен размещением в Европе американских ракет средней и меньшей дальности и частично по этой причине пошел

на вывод войск из Афганистана, что содействовало заключению договора по ликвидации этих ракет. Афганская война закончилась поражением, но не широкомасштабным. Численность советских войск в Афганистане составляла лишь пятую часть американских сил, находившихся во Вьетнаме, а потери — всего около четверти того, что американцы потеряли во Вьетнаме. При этом просоветский режим в Кабуле сумел удержаться после вывода советских войск в 1989 г. и просуществовал до 1992 г. (Halliday 2010). Буш-старший не оказывал давления на Советы. Он предостерегал Горбачева от применения силы в Восточной Европе, но Горбачев и так не собирался применять ее. На самом деле администрация Буша опасалась, что распад Советского Союза может привести к хаосу в регионе, и желала того, чтобы Горбачеву удалась его попытка реформировать коммунизм. В конце 1989 г., в самый разгар столкновений между режимом Чаушеску и инакомыслящими, госсекретарь Бейкер говорил Горбачеву, что США не стали бы возражать против советской военной интервенции в Румынию. Шеварднадзе, советский министр иностранных дел, высмеял это предложение, назвав ее глупым (Pleshakov 2009). Советские дипломаты никогда не опасались прямой американской помощи диссидентам, а реформаторы надеялись на то, что США помогут им вывести экономику из тупика.

С другой стороны, Рейган Марк II содействовал реформам и тем самым способствовал распаду СССР. Переговоры между Горбачевым и Рейганом, продолженные Бушем, способствовали усилению позиций либералов и ослаблению влияния военных, КГБ и консерваторов, так как показывали, что Запад не опасен (Brown 2009: 601–602). Либералов вдохновляла и волна неолиберализма, захлестнувшая западные, особенно американские, экономические и финансовые институты. Это сыграло важную роль в росте разногласий внутри советской элиты, а либералы еще больше уверовали в то, что ключ к будущему находится у них в руках. Осуждение коммунизма Иоанном Павлом II повлияло на польских диссидентов и подняло их дух. Но в целом наиболее значительным было косвенное влияние Запада, сказывавшееся на восприятии его русскими как общества с динамичной экономикой, которые считали, что и они, проведя реформы, могут достичь таких же результатов. Само *существование* западных стран, особенно США, оказывало большее воздействие, чем любое прямое влияние на Советы, во всяком случае до прихода неолибералов. Но основные причины распада СССР были внутри страны. Сами граждане стран советского блока разрушили этот режим (Wallander 2003; Kramer 2003a: 31–39; Brown 2007: глава 9).

## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАСПАДА: БЫЛ ЛИ ОН РЕВОЛЮЦИЕЙ?

Распад СССР стал следствием ошибок, случайностей и непредвиденных последствий действий. В ретроспективе это движение вниз по наклонной, построенной на ошибках, может создавать обманчивое впечатление чего-то неизбежного, но результат мог оказаться другим, если бы предпринятые шаги были более решительными и политическим реформам предшествовали реформы в области экономики, как это случилось в Китае. Важную роль сыграли и просчеты Горбачева. На протяжении всего периода реформ именно он находился у власти и обладал значительным опытом политической борьбы внутри властных структур. Но результат его действий оказался почти полной противоположностью его намерений. Следует признать, что проведение реформ в Советском Союзе было по-настоящему сложной задачей. Экономика страны давно устарела, КПСС с ее разобщенным руководством была препятствием на пути преобразований. Но я указал альтернативное направление реформ, которое могло бы оказаться более успешным. Дело было в Горбачеве: именно его начинания внутри страны и за рубежом привели к тому, что Советский Союз рухнул быстрее и более основательно, чем это могло произойти без него. В данном случае теория о роли великих личностей в истории работает: этот морально мужественный, но политически некомпетентный человек, который обладал властью, достаточной для того, чтобы сокрушать институты, но недостаточной для того, чтобы воссоздавать их, изменил ход истории.

Крах был неожиданным. Почти никто не предсказывал его, тем более в самом Советском Союзе. Целый ряд зачастую непредвиденных последствий действий умеренных реформаторов, желавших остаться в рамках существующей системы, привел к тому, что запущенные ими реформы вызвали ответную реакцию, управлять которой они оказались не в состоянии. В этом отношении происходившее напоминает Французскую революцию. Но отличие в том, что радикальные реформаторы, занявшие руководящие позиции, пришли не снизу, а вышли из самой элиты. Первоначальная причина ослабления Советского Союза состояла в затянувшемся экономическом спаде, который, если сравнивать его с экономической деятельностью в западных странах, противоречил идеологическим основам режима. Это порождало среди элиты острое желание реформ. Но в Коммунистической партии; которая выступала скорее как административный орган, а не как источник политических программ,

не было единого мнения о том, какими должны быть реформы. Поэтому предложения Горбачева привели к возникновению пяти основных фракций, что свело на нет не только сами реформы, но и все, что с ними было связано.

Ситуация напоминала описанные в предыдущих главах случаи, когда само государство порождало революцию: оно раскололось на фракции и оказалось неспособным ни к проведению жестких репрессий, ни к осуществлению последовательных реформ. Но это было результатом процесса реформ, изначально государство не было таким. Горбачев реагировал на неудачу ослаблением партийно-государственного режима, не предложив ничего взамен в качестве гаранта законности и порядка. А это побудило страны Центральной Европы и прибалтийские республики выступить с требованиями независимости, что стало почти единственным случаем, когда массовое движение низов вышло на первый план наряду с забастовками шахтеров в 1989 г. Затем от репрессивного милитаризма отказались те единственные две фракции, которые могли к нему прибегнуть, — горбачевские реформаторы и сплотившиеся консерваторы. Вялый государственный переворот, организованный консерваторами, продемонстрировал типичную для коммунистических режимов подчиненность военных партийно-государственной машине. Государство разваливалось, а генералы так и не сумели предпринять более решительные или более трезвые шаги.

Неудавшийся переворот спровоцировал окончательный крах, что позволило бывшим коммунистам, превратившимся, подобно Ельцину, в либералов, сблизиться с оппортунистами из класса новых собственников, которым теперь была свойственна националистическая риторика. Развал Советского Союза начался сверху, при этом зыбкость ситуации усугублялась тем, что решающий удар наносился со стороны достаточно малочисленной группы руководителей, многие из которых совершили грубейшие ошибки, повлекшие за собой непредвиденные последствия. Позже усилилось влияние популистских сил, деятельность которых пересекалась с деятельностью диссидентов внутри партийно-государственного аппарата. В Восточной Европе и республиках Прибалтики ситуация была иной. Там партийно-государственная элита столкнулась с противостоящими ей массовыми движениями. Никому не удалось получить того, на что он изначально рассчитывал, но многие сумели приспособиться и урвать для себя кусочек в результате развала страны. Распад Советского Союза не следует оплакивать. К тому моменту он утратил свою идеологическую привлекательность. Советский Союз успешно провел догоняющую индустриализацию, но в дальнейшем не сумел своевременно модернизировать

экономику. Он обладал огромной военной мощью, но проиграл в холодной войне. Он пережил тяжелейшие политические зверства, но остался репрессивным. Он больше не казался жизнеспособной альтернативой демократическому капитализму, какой продолжал оставаться Китай, а вот перед жителями стран бывшего советского блока в 1991 г. встал вопрос, а не лучше ли им свергнуть этот и построить новый режим.

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ: К ДЕМОКРАТИИ И ДИКТАТУРЕ

На территории бывшего Советского Союза возникло 15 государств. Советская империя со странами-сателлитами была заменена еще шестью государствами, а Восточная Германия вошла в состав единой Германии, что принято называть переходом к капитализму и демократии, хотя это слишком упрощенная формула. Отношения политической власти проще для понимания: тут произошло одно большое разделение. На одной стороне находились страны — наследницы Советского Союза, не считая республик Прибалтики. В них никогда не существовало значительных парламентских институтов, а коммунистическое правление практически исключало существование каких-либо гражданских общественных организаций — независимых групп предпринимателей, профсоюзов, крестьянских объединений, газет, университетов или религиозных организаций. Поэтому возникавшие политические партии не обладали организационным базисом внутри гражданского общества. Обычно они представляли собой сети видных деятелей. Там, где существовавшие республики и области провозгласили свою независимость, видные деятели создавали единые народные фронты, а часто — однопартийные режимы. Демонтаж коммунистического государства и спад экономики также ослабили политические возможности (Strauerg 2001: 386–388). Демократии во всем этом было немного.

В странах, находившихся западнее, демократизация проходила намного проще. Страны Центральной Европы и Прибалтики были соседями демократической Западной Европы; у них уже был опыт функционирования парламентских институтов; они не так долго находились под влиянием Советов, а действовавшие в них коммунистические режимы прекратили свое существование, потому что им не удалось сохранить власть, выдавая себя защитниками национальных интересов. Страны Центральной Европы и Прибалтики также хотели войти в Европейский союз, а для этого требовалось установление демо-

кратии. Трудно определить относительное значение внутренних требований демократизации, потому что между ними существовала значительная взаимная корреляция. Сроки проведения демократических реформ в этих странах были так или иначе связаны с их заявками на вступление в члены ЕС. Позже всего реформы начались в большинстве стран, входивших в состав бывшей Югославии, и в Албании (Cameron 2007). Хантингтон (Huntington 1991) отнес эту область к третьей волне демократизации, начавшейся в Южной Европе и Латинской Америке и докатившейся до Восточной Азии. Тем не менее это была действительно отдельная региональная волна, на которую, в отличие от других стран, не влияли события в других регионах: ни перемены в США, ни папская политика. Демократизация здесь начиналась в то время, когда горбачевские перемены сопровождалась попытками стран Центральной Европы выйти из советской империи, а давление со стороны Европейского союза придавало ей более интенсивный характер в (Brown 2007: 216–223).

Эти демократии не были совершенными. Четырем странам — Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии — понадобилось десять лет, прежде чем органы государственного управления стали сколько-нибудь демократическими. Ситуация омрачалась этническим экстремизмом, направленным против меньшинств (включая цыган), но были и более серьезные проблемы в период между войнами. В каком-то смысле Центральная Европа вернулась к формату, существовавшему между войнами. Местное население говорило, что это было возвращением в Европу, потому что границы Европы отодвинулись на восток, к линиям раздела, существовавшим в период между мировыми войнами. Страны Центральной Европы, Балтии и некоторые страны бывшей Югославии выиграли в результате распада Советского Союза, получив свободу и в большинстве своем — демократию. Хабермас (Habermas 1990) назвал это революциями очищения или восстановления после пятидесятилетнего блуждания в дебрях коммунизма и возврата к прежним современным западным либеральным моделям. Но и здесь имели место два серьезных изменения. Во-первых, с возникновением Европейского союза фундаментальным образом изменилась экономическая структура Западной Европы. Во-вторых, применительно к отношениям военной власти расширение НАТО на Восток по направлению к границам России фактически привело к тому, что значительная часть Центральной и Восточной Европы оказалась в сфере влияния США.

Восточнее, в странах СНГ, политическая ситуация была более сложной. Переход обернулся политической катастрофой

в странах, где крах Советов означал обострение этнических и религиозных притязаний, издавна существовавших на территории новых национальных государств. Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия и Таджикистан были опустошены гражданскими войнами, ведущимися за то, кто будет владеть страной и какие земли будут ей принадлежать. Во многих из этих стран люди предпочли бы отказаться от попыток строительства демократического общества, обернувшихся этнократией, и вернуться к жестким режимам времен Сталина или Брежнева. Эти опасные национальные устремления сопровождались желанием правящих коммунистических элит сохранить свою власть, но уже в образе защитников национальных интересов. В результате в 1990-х и начале 2000-х гг. возникло движение в направлении, *противоположном* созданию демократических институтов, в России, Молдове, Беларуси, Армении, Азербайджане и Узбекистане. В то же время Грузия, Кыргызстан и Таджикистан, где власть больше напоминала авторитаризм, а не демократию, не могли определиться. В 2003–2005 гг. в Грузии, на Украине и в Кыргызстане произошли революции, которые выглядели прогрессивными и назывались «революцией роз», «оранжевой революцией» и «революцией тюльпанов». В ходе этих революций проявилось этническо-региональные разногласия, ограничившие последующую демократизацию. Если сравнивать со странами, расположенными западнее, то почти во всех странах СНГ была установлена сильная президентская власть при слабых парламентах (Сатерон 2007).

Режимы продолжали существовать либо свергались с применением непарламентских средств. Из коммунистических руководителей республик, подписавших в 1991 г. Договор СНГ, продолжают возглавлять репрессивные режимы Назарбаев в Казахстане и Каримов в Узбекистане. До своей кончины в 2006 г. Узбекистаном правил Ниязов, на смену которому пришел новый диктатор. Другие президенты были смещены или вынужденно ушли в отставку в результате кризисов, положивших конец их жесткому правлению. Из их числа только президент Молдовы Снегур оставил свой пост в результате проведения нормальных конкурентных выборов. Ближе всех к демократическим выборам подошла Россия, но и Ельцину удалось провести назначение своего преемника Путина. В России никогда не было по-настоящему справедливых всеобщих выборов, в то время как Грузия пережила несколько различных вариантов выборов и несколько государственных переворотов. И все же, если не принимать во внимание отсутствие в странах СНГ демократии и имевшие место гражданские войны, можно считать, что ситуация в них стала лучше, чем была в советское



время, потому что теперь там существуют частично самостоятельные парламенты, партии и средства массовой информации, хотя их свободы и ограничены. Если к этому добавить более радикальные демократические нововведения в бывших странах-сателлитах и странах Балтии, то распад Советского Союза, если рассматривать его с точки зрения политической власти, оказался в целом положительным явлением.

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ: КАПИТАЛИЗМ ИЛИ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ

Период экономического перехода был осложнен тем фактом, что советский блок переходил к капитализму в период, когда на Западе наблюдался подъем неолиберализма. Первоначальные разговоры о втором плане Маршалла для посткоммунистических стран закончились ничем. Вместо этого они получили программы структурных реформ в форме шоковой терапии. План Маршалла на 90% состоял из грантов, теперь же 90% средств выделялось в виде займов на определенных условиях. Неолибералы считали, что государство следует ликвидировать, чтобы рынок мог автоматически занять его место. Так думали русские неолибералы, подобные Бурбулису, Гайдару, и их американские советники.

Главным из них в России был Лоуренс Саммерс, заместитель министра финансов США, бывший в то время влиятельным человеком в МВФ, а позднее главным экономическим советником президента Обамы. Он объяснял заместителю премьер-министра Виктору Черномырдину принципы, на которых МВФ выдавал займы России: «Правила, по которым МВФ выделяет кредиты, не выдуманы и не навязаны, но отражают неизменные принципы экономики, которые действуют так же, как законы физики» (Talbot 2002: 82). Это неоклассическая формулировка представлений о том, что капитализм определяет строгие границы того, что государство может (в разумных пределах) делать. Но это не соответствует действительности. Законы природы очень сильно отличаются от человеческих законов. Последние необъективны, они представляют интересы определенных сил, и поэтому одни получают преимущества перед другими, для их выполнения необходимы юридические нормы и законы, а также организации, обеспечивающие соблюдение и исполнение этих норм и законов. Если бы Саммерс прочел хотя бы одну книгу по социологии, а из классиков он мог выбирать между Марксом, Дюркгеймом или Вебером, то знал бы, что для развития рынка требуются институты, которые созда-

ет человек, а нормы и правила, определяемые этими институтами, должны стать общепризнанными. К этому же выводу, правда, с опозданием пришли такие институциональные экономисты, как Норт и Стиглиц. Требуется наличие законодательного органа, а также независимой судебной системы, честного администрирования, закрепленных законом прав частной собственности, товарообмена на добровольных началах, подлинно конкурирующих друг с другом предприятий и прежде всего нормативная солидарность всех заинтересованных сторон. На деле ни одного из этих предварительных условий не существовало, а реформаторы фактически стремились разрушить некоторые из них. К тому же они не понимали, что рынок всегда несет в себе силовую составляющую, которая используется теми, кто командует рынком в интересах наращивания собственных ресурсов, и лишь потом (а порой и никогда) — для увеличения ресурсов общества в целом. Оставить Россию во власти собственного рынка, который на самом деле управлялся огромными монополиями, было все равно что усилить эти монополии.

Предложенные Саммерсом неизменные принципы поставили Россию в зависимость от того, что он сам называл «тремья -зациями»: приватизацией, стабилизацией и либерализацией, которые «было необходимо провести как можно скорее», одним ударом. Приватизация всей государственной промышленности должна была создать стимулы для повышения производительности и прибыльности, стабилизация должна была обуздать инфляцию за счет жестких фискальных мер, а либерализация цен и торговли — позволить рынкам перераспределить активы. Джеффри Сакс, еще один неолиберал, сумевший своим высокомерием настроить русских против себя, отвергал любую критику шоковой терапии как «политически мотивированную, а не аналитически обоснованную» и утверждал, что «существуют широкие возможности для повышения среднего уровня жизни в ближайшие несколько лет» (цитата по Romer 2001). Такая форма неолиберализма представляет собой трансцендентальную идеологию, которая предусматривает применение одних и тех же принципов независимо от места и времени, хотя некоторые неолибералы выступали за поэтапное проведение приватизации: сначала малых и лишь потом крупных предприятий, уделяя при этом хоть какое-то внимание проблеме безработицы.

Самым ярким защитником неолиберальной шоковой терапии является шведский экономист Андерс Ослунд (Aslund 2002, 2007), который был советником правительств России, Украины и Кыргызстана. Ослунд утверждает, что свободный рынок всегда будет наиболее эффективной экономикой. Государство

лишь мешает и занимается поиском ренты, а смысл переходного периода в посткоммунистических странах как раз и состоит в борьбе с поиском ренты, погоней за прибылью в неконкурентной среде, обусловленной наличием монополий. Если правительственные чиновники будут продолжать управлять экономическими ресурсами в ходе процесса постепенной либерализации, утверждает Ослунд, они будут получать ренту с каждой монополией, которой они управляют, не давая возможности развиваться всей экономике. Только полная и быстрая либерализация, то есть шоковая терапия, может предотвратить такой поиск ренты в условиях переходного периода. Он соглашается с тем, что это приведет к росту безработицы и увеличению неравенства, но зато создаст стимулы и для предпринимателей, и для рабочих и обеспечит больший рост, чем затянувшийся поиск ренты.

Представленные им данные по 21 посткоммунистической стране показывают, что страны, пережившие шоковую терапию в 1990-х гг., похоже, достигли больших успехов, чем те, в которых переход был более постепенным или свелся к минимуму. В странах, где была проведена шоковая терапия, например в Польше и Чешской Республике, наблюдалось менее чем 20%-е падение ВВП в первые три или четыре года, тогда как в других, подобных Румынии, ВВП сократился на 25%. За этим в Польше последовал существенный рост экономики, в Венгрии и Словакии он был не столь заметен. К 1988 г. ВВП этих стран (при равной покупательной способности) был больше, чем в 1989 г., примерно таким же он был в Чешской Республике. Напротив, в Болгарии и Эстонии ВВП упал почти на треть, и к 1998 г. Эстония имела примерно те же показатели, что и в 1989 г., хотя восстановление экономики в Болгарии и Румынии происходило еще медленнее. Экономики двух других прибалтийских республик, Литвы и Латвии, первоначально потеряли больше всех — почти 50%, но затем сумели поправить положение, правда так и не достигнув при этом уровня 1998 г. В целом в конце 1990-х гг. в странах Центральной Европы и Балтики наблюдался стабильный рост порядка 4–6% в год, а Румыния и Болгария наряду с Россией вошли в 1996–1998 гг. в полосу серьезного макроэкономического кризиса. В 1990-х гг. ситуация в странах СНГ была на много хуже. В Грузии ВВП упал на 76%. На Украине, в Азербайджане, Молдове и Таджикистане — на 50–65%, в Кыргызстане и Армении — примерно на 50%, в России и Казахстане — почти на 40%, в Беларуси и Туркменистане — примерно на 30%, а в Узбекистане — лишь на 20%. В конце 1990-х гг. наблюдалось частичное восстановление в Армении, Грузии и Кыргызстане, в то время как в Беларуси, Азербайджане и Узбекистане ситуа-

ция сохранялась. В России, на Украине, в Молдове и Казахстане ежегодное падение составляло около 4%, а в Таджикистане и Туркменистане — почти 10%. Страны СНГ, которые изначально действовали успешнее других, провели не столь обширные реформы, в то время как те страны, где ситуация была хуже, опасались этнических гражданских войн, ставших возможными после распада Советского Союза (Aslund 2002: 115–120).

Но к выводам Ослунда следует относиться с осторожностью. Наиболее успешными странами 1990-х гг. были страны Балтики и Центральной Европы, которые и географически, и идеологически были ближе к Западу. У них было больше возможностей торговать с Западом и получать западные инвестиции, там уже существовал более крупный частный сектор и/или институты гражданского общества, также у них было больше опыта жизни при капитализме в прошлом. Вскоре они стали членами Европейского союза. Все это давало заметные преимущества, которые могли иметь больше значения, чем шоковая терапия в сочетании с более быстрой адаптацией к капитализму, хотя и там допускалось проведение программ шоковой терапии при меньшей политической оппозиции. Из числа стран, возникших на территории бывшей Югославии, Словения и Хорватия были наиболее близки Западу, и опять-таки именно они показали наилучшие экономические результаты.

А был ли поиск ренты в условиях градуализма более масштабным по сравнению с условиями шоковой терапии? Бывший министр финансов Польши Колодко (2000) и нобелевский лауреат Стиглиц (1999), поддерживаемые еще четырьмя лауреатами Нобелевской премии в области экономики, утверждают, что массовая неолиберальная приватизация банков и промышленных предприятий позволила номенклатурным капиталистам взять под свой контроль основные активы и получение монопольной ренты, а либерализация финансов дала им возможность перевести свои капиталы за рубеж. Чем больше шок, говорили они, тем больше рента. Это был не рыночный, а политизированный капитализм, как я его назвал. Нобелевские лауреаты подчеркивали необходимость поддерживать работу институтов и социального капитала, чтобы ограничить такое развитие ситуации. Так как переход осуществлялся из условий коммунизма, институты и общественный капитал в основном действовали в государственном секторе. Лауреаты также были убеждены, что чувство справедливости необходимо для обеспечения легитимности рыночной экономики, и с осторожностью относились к неолиберальным реформам, которые обычно проводятся в интересах богатых и увеличивают неравенство. Эта дискуссия в среде экономистов продолжается.

В первом десятилетии XXI в. расстановка стран, учитывающая размер ВВП, изменилась с точностью до наоборот. Страны-градуалисты, то есть те, где переход происходил постепенно, и даже расположенные на Востоке страны, где был проведен минимум реформ, обогнали в своем росте западных неолибералов. В течение всего периода с 1989 по 2008 г. эти тенденции практически исключили друг друга, в результате чего три основные группы стран — неолибералы, градуалисты и минималисты — показали похожие темпы роста. Отношение реального ВВП в 2008 г. к аналогичному показателю 1989 г. в странах СНГ было лишь немногим ниже, чем в бывших странах-сателлитах и странах Балтии. Различия между странами СНГ, особенно в Центральной Азии, были более заметными. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в богатом природном газом Туркменистане (226), а самые низкие — в Таджикистане (61), в то время как в европейских и прибалтийских странах этот показатель находился в диапазоне от 118 в Латвии до 178 в Польше. Добившийся высоких показателей Туркменистан набрал наименьшее количество переходных баллов Европейского банка реконструкции и развития — показателя продвижения в направлении либерализации экономики. Вся группа среднеазиатских стран набрала намного меньше баллов за переход к либерализации, чем европейские страны, хотя темпы роста экономики этих стран были лишь немногим ниже. В самой России за указанный период рост почти не наблюдался (его темп составил 108), а либерализация была оценена выше среднего. В Беларуси наблюдался более высокий темп роста (161), однако показатели либерализации оказались невысокими, в то время как на Украине ситуация была противоположной — негативный рост (61), но достаточно высокие показатели либерализации (те же, что и в России). Во всех посткоммунистических странах *не наблюдается* общей связи между либерализацией и экономическим ростом (European Bank for Reconstruction and Development [EBRD] 2009: tables 1.1 and A1.1.1; Tridico 2009).

Две группы стран показали наилучшие за весь период показатели роста ВВП. В первую группу вошли Словения, Чешская Республика, Словакия, Польша и Венгрия — наиболее вестернизированные страны. В них была проведена либерализация экономики, хотя шоковая терапия была применена в полной мере только в Чешской Республике и Польше. Ко второй группе относятся Туркменистан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан, где были проведены незначительные реформы. Три из них имели преимущество в виде запасов нефти и газа, а четвертая — Беларусь — пользовалась нефтью и газом, поставляемыми из России по льготным ценам. В этих странах была с запозданием проведена частичная приватизация. Наличие таких природ-

ных ресурсов, как нефть и газ, является особенно благоприятным обстоятельством для авторитарных режимов, как демонстрирует Ближний Восток.

За 20 лет переходного периода лишь немногим странам удалось показать результаты, которые были заметно лучше тех, которые они могли бы получить, если бы продолжали жить в условиях коммунизма. Среднее соотношение показателей 2008 г. к показателям 1989 г. по методике ЕБРР для всех стран бывшего советского блока, исключая Балканы, Монголию и Турцию, которую ЕБРР страным образом отнес к числу стран с переходной экономикой, равнялось 127. Это означает средний годовой рост, равный 1%, что никак нельзя считать большим достижением, и как показал Lane (2009), бывшие коммунистические страны, ставшие членами ЕС, в большей степени пострадали от Великой неолиберальной рецессии 2008 г., чем страны СНГ, именно потому, что они были в большей степени интегрированы в западную экономику, особенно в ее финансовый сектор, который и стал причиной кризиса.

Ослунд (Aslund 2007) отвечает на вышеприведенные данные ЕБРР, которые ставят под сомнение его доводы, тем, что замедленный рост стран Центральной Европы и Балтики объясняется значительными расходами на социальное обеспечение. Однако сложно утверждать, что в результате шоковой терапии были достигнуты более высокие темпы роста, чем при постепенном переходе или даже при проведении минимальных реформ. Основная причина того, почему некоторые страны оказались более успешными, чем другие, состоит не в этом. Ни одна из моделей не может оказаться подходящей для всех: рост экономики зависит от политики, учитывающей особенности каждой страны.

Ожесточенные споры ведутся вокруг качества представленных данных ВВП, особенно тех, которые относятся к позднесоветскому периоду. Однако статистические данные, касающиеся уровня смертности и бедности, проще собирать, они более достоверны и в большей степени отражают изменения в жизни простых людей. Лишь менее чем в половине стран бывшего советского блока показатели ожидаемой продолжительности жизни в 2006 г. вернулись к уровню 1990 г. Это же относится и к менее чем половине стран СНГ (World Bank 2007). Согласно данным Программы развития ООН [UNDP] (1999), в переходный период преждевременной смертью умерло 10 млн человек, что примерно равняется числу жертв сталинских репрессий (Mann, 2005a: 329–330). Зверства, которые несет рынок, могут быть и не столь заметны по сравнению с плановым хозяйством, но страдания людей и уровень смертности могут оказаться похожими.

Программы массовой приватизации привели к катастрофе. Меланович и Эрсато (Milanovic и Ersado 2008) указывают на то, что в результате выполнения этих программ увеличилась бедность и выросло неравенство, которые были связаны со значительным сокращением размеров субсидий инфраструктурных проектов. Сталкер, Кинг и Хэм (Stuckler, King, and Hamm 2009) в своем исследовании 21-й посткоммунистической страны показали, что выполнение программ, в результате которых 25% принадлежавших государству промышленных предприятий были в течение двух лет переведены в частный сектор, стало причиной увеличения средних показателей смертности среди мужчин почти на 13%. Там, где приватизация не проводилась или проводилась постепенно, показатели смертности были намного ниже. Авторы также обнаружили, что массовая приватизация стала причиной снижения экономического роста, уменьшения роли государства и ослабления защиты прав собственника. Этот вывод был подтвержден данными, полученными в результате выборочного опроса руководителей 3550 компаний в 24 посткоммунистических странах. Согласно этим данным, в тех странах, где была проведена массовая приватизация, вероятность участия недавно приватизированных компаний в реструктуризации промышленности была меньше, зато эти компании с большей вероятностью прибегали к бартерным сделкам и имели налоговую задолженность, чем аналогичные компании, находящиеся в государственной собственности. Авторы считают, что собранные ими данные говорят в пользу неовеберийской модели экономического роста, которая, как и модель свободного рынка, предполагает существование самостоятельного эффективного и бюрократического государства. Массовая приватизация не привела к возникновению самостоятельной частной собственности или разделению экономической и политической власти, на что рассчитывали ее сторонники. Вместо этого она способствовала ослаблению самостоятельности как государства, так и частной собственности и подталкивала эти страны в направлении кланового или политизированного капитализма. Мы еще проиллюстрируем примерами такой капитализм. Итак, во многих постсоветских странах появился еще один тип политического капитализма, в котором особую роль играли патрон-клиентские связи и наличие небюрократического государства, в то время как страны, где создание частного сектора происходило постепенно, например Польша и Словения, сегодня гораздо ближе к западному идеалу капитализма при относительном разделении политической и экономической власти (Hamm, King, and Stuckler 2012). Исследование Дэвиса (Davis 2001) также показывает, что массовая приватизация помимо прочего ведет

к росту безработицы, сокращению программ здравоохранения и социального обеспечения, предоставляемых обычно через государственные предприятия. Прекращение государственного субсидирования основных продуктов питания, потребительских товаров и коммунальных услуг также оказалось тяжелым ударом, особенно по пенсионерам, пожилым рабочим и национальным меньшинствам. Шоковая терапия обернулась катастрофой.

Разумеется, неолибералы понимали, что приватизация приведет к всплеску безработицы. В социалистических странах значительная часть социальных льгот предоставлялась по месту работы, поэтому никакой системы страхования от безработицы не было. Такие системы стали спешно создаваться с помощью Всемирного банка и ОЭСР. В середине 1990-х гг., когда, казалось, левые партии в Центральной Европе возвращаются к власти, произошло значительное увеличение финансирования со стороны Всемирного банка (вполне в духе Бисмарка) в попытке разрядить классовое противостояние за счет социального обеспечения, как это происходило 100 лет назад. Размер пособия по безработице был увеличен до 30% от уровня оплаты труда по сравнению с 10%, а то и меньше в странах СНГ (Orenstein 2008). Позднее были приняты и другие меры социального обеспечения, но в странах Центральной Европы их стали вводить только в конце 1990-х гг. Программы пенсионного обеспечения обрели форму уникальной комбинации двух режимов социального обеспечения по Эспинг-Андерсену: приватизированных либеральных схем, поддерживаемых международными агентствами, и консервативно-корпоративистских программ, которые в большей степени отвечали местным условиям и получили развитие в Германской и Австро-Венгерской империях (Cerami and Vanhuysse 2009). Требования к улучшению условий труда, медицинского обслуживания и техники безопасности, государственного здравоохранения и обеспечения прав национальных меньшинств, установленные позднее Европейским союзом, расширили список государств всеобщего благоденствия. К 2007 г. в странах Центральной Европы и Балтики предоставлялись более широкие социальные льготы, чем в других странах с аналогичным уровнем развития, в то время как в странах СНГ социальное обеспечение было развито заметно меньше.

Тридикко (Tridico 2009; ср. Cerami and Vanhuysse 2009) пишет об очевидном влиянии в регионе Австро-Венгрии в прошлом и Германии в настоящем. Он говорит о двух видах успеха. В странах, где преобладал конкурентный капитализм, либеральная модель (шоковая терапия, как правило) позволила в наибольшей степени обеспечить рост ВВП, корпоративист-



ская модель — получить наилучшие показатели установленного ООН индекса человеческого развития (ИЧР), который объединяет в себе показатели ожидаемой продолжительности жизни, младенческой смертности, образования и расходов на социальное обеспечение. В корпоративистских странах, к которым относятся страны, входившие ранее в состав Австро-Венгрии, а именно в Чешской Республике, Венгрии и Словении, наблюдается самый низкий уровень бедности, самый высокий уровень средней оплаты труда, самая низкая безработица и самые большие социальные расходы, не говоря уже о достаточно высоких показателях экономического роста. Страны государственного капитализма (Туркменистан, Узбекистан, Беларусь), равно как и страны с гибридными системами, также имели более высокие показатели ИЧР ООН по сравнению с капиталистическими странами-конкурентами. Большинство людей предпочитает долголетие высоким показателям ВВП, потому что для того, чтобы воспользоваться преимуществами более высокого ВВП, надо еще дожить до того времени, когда они станут доступными! Само слово «либерализация» применительно к бывшим странам-сателлитам нуждается в уточнении. Наиболее успешными переходными моделями были социально-либеральные, представляющие смесь континентально-европейской и англосаксонской моделей социального гражданства.

Из уст жителей посткоммунистических стран не услышать истории о счастливом неолиберальном транзите. В ходе опросов, проведенных в 1990-х и 2000-х гг. «Евробарометром» и фондом Pew, большинство респондентов в большинстве стран, входивших ранее в советский блок, указали на ухудшение экономических условий. В отношении капитализма или государственного социализма мнения существенно расходятся: жители стран, ставших членами Европейского союза, предпочитают капитализм, а в странах, расположенных далее на восток, мнения либо разделились поровну, либо предпочтение было отдано государственному социализму. В целом большинство выступает за проведение дальнейших реформ, что само по себе звучит очень позитивно, но ответы респондентов не указывают направления этих реформ. В 20 посткоммунистических странах коэффициент Джини указывает на расширение неравенства, а результаты опросов показывают, что жители этих стран осознают это положение и оно им не нравится. Ослунд (Aslund 2002: 31) как настоящий неолиберал называет рост неравенства по коэффициенту Джини «ожидаемым и желательным», но только не для самих жителей.

В большинстве бывших стран советского блока, расположенных на самом западе, процесс перехода был весьма успешным,

что нашло свое выражение в развитии демократии, сопровождавшемся либо ростом ВВП, либо высоким значением индекса человеческого развития. По мере продвижения на восток демократия ослабевает, а экономическая ситуация ухудшается, за исключением стран, располагающих природными ресурсами. На востоке войны и гражданские войны, возникшие в результате распада Советского Союза, привели к катастрофе. И здесь мы снова наблюдаем множество различий между национальными государствами и макрорегионами. После двух десятилетий переменного успеха общая экономическая картина показывает, что экономические показатели стран, бывших ранее в составе советской империи, приблизились к экономическим показателям соседних стран, которые не входили в состав СССР. И это своего рода прогресс. В определенных отношениях «нулевой точкой» этой системы отсчета выступает сама Россия, у которой показатели экономического роста и человеческого развития находятся на уровне ниже среднего, но демократия шагнула дальше, чем в большинстве стран СНГ. И поскольку Россия является самой большой и наиболее влиятельной из них, я сфокусируюсь на ней.

### РУССКИЙ ПЕРЕХОД: ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ, ПЕРВЕРСИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Политика Горбачева привела к демонтажу административной власти государства, позволив в то же время номенклатуре взять под свой контроль промышленность и банки. Теперь бывшая номенклатура могла приступить к поиску ренты, будь то в условиях шоковой терапии или в условиях постепенного перехода. В то же время в целом не важно, будем ли мы подчеркивать их исходное этатистское происхождение или их капиталистические устремления, потому что это был политический капитализм, в условиях которого они смешались. Это были олигархи, бароны-разбойники, мафиозные боссы, и общество это видело, поэтому процесс либерализации, особенно приватизации, вызывал глубокий протест. Именно в данном контексте вице-президент США Гор, отвечая Саммерсу, заметил, что политика США должна быть «синтезом чего-то среднего между железными законами экономики и жестокой реальностью русской политики» (Talbot 2002: 85). Железных законов как таковых не было, а вот политические реалии России и некоторых других стран свели на нет всю шоковую терапию: она была настолько непопулярна, что довести ее до конца можно было только силой.

Сначала правительство России попыталось провести полный курс капиталистической шоковой терапии в отличие от большинства стран СНГ. В начале января 1992 г., спустя несколько дней после того, как Советский Союз перестал существовать, президент России Борис Ельцин назначил Геннадия Бурбулиса первым заместителем председателя правительства, а Егору Гайдару поручил надзор за министерствами экономического блока. Эти неолибералы и их американские советники немедленно распорядились начать либерализацию внешней торговли, цен и валюты. Действовавший в Советском Союзе контроль цен был отменен в попытке вернуть товары обратно в пустующие магазины, были сняты барьеры на пути частной торговли и производства, урезаны субсидии совхозам и государственным промышленным предприятиям, а для того, чтобы нарушить власть местных государственных монополий, была открыта дорога иностранному импорту.

Инфляция началась, когда Центральный банк приступил к печатанию денег, чтобы в отсутствие поступлений облегчить жизнь правительства, но эти реформы привели к гиперинфляции, выражавшейся ежемесячно двузначными цифрами. Были уничтожены пенсии и накопления среднего класса. В рамках стабилизационной программы правительство отпустило большинство цен, повысило процентные ставки и налоги, резко сократило субсидии в промышленности, строительному сектору и социальному обеспечению. Такая политика привела к повсеместному ухудшению ситуации. Государственные предприятия остались без заказов или средств финансирования. Многие из них закрылись, что привело к затяжной депрессии. В период между 1991 и 1994 гг. реальные доходы на душу населения и общие объемы производства упали на ошеломляющие 50%, объем инвестиций снизился более чем на две трети, что было значительно хуже того, что происходило во время Великой депрессии, описанной в главе 7 тома 3 (Klein and Pomer 2001: статистическое приложение). Монорегионы, зависящие от гигантских предприятий и отдельных отраслей промышленности, были разорены.

Социальные последствия были ужасающими. В конце советской эры считалось, что доля бедных составляет 1,5% от общей численности населения, а к середине 1993 г. она выросла до уровня, который оценивался от 39 до 49% (Milanovic 1998: 186–190). Согласно данным правительства страны, доход на душу населения к 1998 г. упал на 15%. Значительно уменьшилась ожидаемая продолжительность жизни: у мужчин с 64 лет в 1990 г. до 48 лет в 1994 г., а у женщин — с 74 лет до 71 г. Экономический переход стал причиной гибели людей! Даже к 2004 г.

показатели ожидаемой продолжительности жизни не вернулись к уровню 1990 г. На 60% увеличилось число смертных случаев в основном среди мужчин, связанных с употреблением алкоголя, что свидетельствовало о падении морали. Вдвое выросла смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний. Бедные люди уже не могли позволить себе приобретать лекарства. В России примерно в полтора раза увеличилось число смертей при родах. Тихомиров (Tikhomirov 2000: 8) показывает, что масштаб экономического кризиса в постсоветской России до 1996 г. превышал масштабы кризисов, вызванных Первой мировой войной, Гражданской войной и Второй мировой войной. Экономический коллапс переходного периода был намного сильнее упадка конца советского периода.

А вот как позже описывал шоковую терапию Горбачев (Gorbachev 2001: xiii):

Шоковая терапия нанесла непоправимый ущерб. Наиболее опасными оказались социальные последствия — резкое падение уровня жизни, чудовищный разрыв в доходах, сокращение продолжительности жизни, не говоря уже об оскудении образования, науки и культуры. Все это было связано с глубоко порочной приватизацией, всплеском преступности и моральной деградацией.

Американских экономических советников обвинили в умышленной попытке поставить Россию на колени в интересах Соединенных Штатов! Как сказал Арбатов, «многие мои соотечественники воспринимают теперь шоковую терапию как сознательную попытку полностью подорвать Россию как великую державу и превратить ее в страну третьего мира. И настоящие результаты шоковой терапии были недалеки от этой цели» (Arbatov 2001: 178). Это несправедливо. Здесь надо винить не злой умысел, а глупость, которая обычно сопутствует абстрактной идеологии на макроуровне, как это было при Сталине, и которая вновь показала себя уже при неолиберализме. Обеим идеологиям присущ определенный набор простых принципов и вера в то, что ими в конечном счете объясняется все, что происходит в обществе и в экономике, хотя реальность оказывается намного разнообразнее, сложнее и деликатнее. В условиях революции или структурных перемен эти принципы оказываются хрупкими. Неолиберализм, как сталинизм и фашизм, подобен шорам, которые обеспечивают ясный, но очень ограниченный обзор. Носители идей неолиберализма прибыли в Россию не как ученые, а как миссионеры (Cohen 2001: 50).

К чести Саммерса и Сакса, они выступали за широкую программу оказания помощи России и были разочарованы жалким займом в размере 16 млн долл., который США предоставили

России. Они пытались убедить МВФ финансировать программу создания в России сетевой программы социальной безопасности (Talbot 2002: 107, 286). Они понимали, что российскому рынку необходимо стимулирование, они просили намного больше, и американские политики поначалу обещали эту помощь. Однако мысль о выделении денег недавней империи зла оказалась не очень популярной в Конгрессе, поэтому размеры помощи оказались незначительными. Посткоммунистические страны были вынуждены платить западным правительственным организациям за обслуживание займов, полученных в период коммунизма, больше, чем они теперь получали кредитов и грантов (Aslund 2002: 41ff.). В любом случае помощь преимущественно направлялась в страны Центральной Европы и Балтии, но не на восток. Частные инвестиции были больше, но и они шли в тех же направлениях. Западная помощь была в основном нацелена на удаление европейских стран от России, чем на восстановление России.

Русские старались сделать то, чего никто еще не пытался сделать, — построить капитализм в уже ставшем индустриальным обществе. В любом случае это была трудная задача, потому что многие гигантские устаревшие заводы имели очень незначительные шансы оказаться конкурентоспособными в глобальном масштабе. Любому режиму было бы трудно развернуть подобную экономику. Но в Китае существовали проблемы, не сильно отличавшиеся от этой, и там многие государственные предприятия были уничтожены, но экономика от этого не разрушилась. Я вернусь к более системному сравнению с Китаем в конце следующей главы. Но неолиберализм в том виде, который он принял в России, сосредоточился на разрушении двух гарантов соблюдения законности и правил в обществе и экономике — государства и Коммунистической партии. Он также разрушил идеологию, лежащую в их основе. Командная система была разрушена, но на смену ей ничего не пришло. Полагали, что свободный рынок сам займет ее место. Но этого не произошло и никогда не происходило.

Конечно, ни один советский или российский политический лидер, рассчитывавший на переизбрание, не стал бы задумываться о полноценной шоковой терапии. Связанный с ней шок мог бы поднять население на еще одну революцию. В 1992–1993 гг. Коммунистическая партия возрождалась на волне приближающейся катастрофы и сумела вместе с националистами сформировать большинство в Верховном Совете. «Лекарства», предлагаемые неолибералами, ни коим образом не соответствовали экономическим реалиям. Рынок сам по себе не мог привести к возникновению конкуренции внутри страны, как это

предполагалось. А одно большое предприятие — государство — выпускало 77% всей продукции. Это была экономика монополий, которые, дай им волю, назначали бы какие угодно цены. С их точки зрения было разумно не проводить реструктуризацию, а поднимать цены, вызывая массивную инфляцию. Шоковая терапия включала также открытие российского рынка для иностранных конкурентов, но импортные товары в целом были более высокого качества и дешевле и уничтожили бы большинство российских фирм. Ни один политик не мог допустить этого, поэтому государство продолжало выдавать кредиты промышленности. Правительство Гайдара, якобы неолиберальное, возобновило субсидирование в середине 1992 г. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы погасить волну критики, поэтому Ельцин в конце 1992 г. уволил сначала Бурбулиса, а потом и Гайдара.

Коммунистическо-националистическое большинство в парламенте не принимало ельцинскую программу шоковой терапии. Ельцин ответил оружием. К тому времени он уже начал военное наступление в Чечне в противовес политике умиротворения, которой придерживался Горбачев. По словам министра внутренних дел России, в ходе двух войн в Чечне, развязанных Ельциным и Путиным, погибло столько же русских, сколько во время войны в Афганистане (Brown 2007: 316). Но в октябре 1993 г. Ельцин отправил войска на штурм Белого дома и арестовал депутатов, засевших внутри. В ходе этой атаки сотни человек были убиты. США не протестовали, потому что им хотелось, чтобы Ельцин продолжал шоковую терапию. На тот момент неолиберализм для Соединенных Штатов означал больше, чем демократия. Теперь Ельцин разработал новую конституцию, предоставлявшую президенту еще больше полномочий. Эта конституция продолжает действовать, как продолжает отсутствовать и независимая судебная система. Президентские полномочия позволили Ельцину в период между 1994 и 1996 гг. продвинуть массовую приватизацию еще дальше, но последовавшие неудачные выборы заставили его пойти на компромисс. Премьер Черномырдин призвал покончить с рыночным романтизмом и, лавируя между государством и рынком, сумел смягчить последствия катастрофы.

Но последствия первой неолиберальной катастрофы ликвидировать не удалось. Гайдар отменил ограничения на перемещение капитала, и теперь руководители предприятий получили возможность экспортировать капитал как часть теневых внешнеторговых сделок. Они понимали, насколько нерентабельными были их предприятия, поэтому для них лучшая стратегия обеспечения личной безопасности заключалась в том, чтобы

перевести все, что у них было (в основном госкредиты) на счета в иностранных банках. Отток капитала принял немислимые масштабы, возможно, около 100 млрд долл. за период 1992–1997 гг. Если бы от приватизации ожидали решения проблем, то ее следовало дополнить протекционистскими тарифами и большим регулированием движения капитала. Но к моменту начала приватизации большинство государственных фирм находилось в столь кошмарном финансовом положении, что политики не могли прекратить их субсидирование (Tikhomirov 2000: 16–22, 60–63, 141–158).

Итак, в России был построен не тот капитализм, который виделся изначально, но клановый, политический капитализм. В отсутствие сильного правительства и с экономикой, изначально выстроенной под монополии, а не под конкуренцию, экономическая власть опиралась на политические связи, воровство, монополию и использование разрыва между старой и новой системами. Поскольку обеспечить выполнение контрактов легальными способами было трудно, боссы КГБ использовали бизнесменов в качестве подставных лиц или решали проблемы в мафиозном стиле, прибегая к услугам наемных убийц. В ходе опроса, проведенного в ноябре 1996 г., 52% жителей страны сказали, что считают, что Россией правит мафия. К богатству вели несколько путей. Те, кто распоряжался государственными активами, например высокопоставленные партийные чиновники, верхушка КГБ и комсомола, могли ликвидировать активы своих организаций и направить их на зарубежные счета или использовать для инвестиций. Другие воспользовались фиксированными ценами горбачевского периода. Используя связи в партийно-государственной элите, они приобретали малодоступные товары советского производства по низким ценам, чтобы перепродать их затем по высоким рыночным ценам внутри страны. Еще более высокую прибыль можно было получить, если имелись связи, позволяющие скупать советское сырье, особенно нефть, и продавать его на внешнем рынке, оставляя заработанное за рубежом и не принося никакой пользы российской экономике. Еще одним способом заработать были валютные спекуляции на советском золоте, или долларах, или иенах, если учесть, что экономический упадок позволял получить хорошую прибыль при их перепродаже через некоторое время. Такие возможности означали, что Россия получала прибыли безо всяких рынков — «капиталисты без капитализма», что отличало ее от большинства бывших стран-сателлитов, где царил рынок, появлялось много мелких собственников и держателей акций, а также сети с перекрестной структурой собственности — «капитализм без капиталистов» (используя терминологию Eyal et al. 1998).

Владимир Гусинский заработал свои первые деньги как король медных браслетов, модных в то время в России. Связи в правительстве позволили ему заняться недвижимостью и банковским делом. Он спекулировал валютой, покупая доллары за рубли, а затем, дождавшись, когда рубль упадет, продавал доллары, возвращал рублевые долги и оставался с прибылью в кармане. В условиях, когда процентная ставка была ниже темпов девальвации, это был надежный способ делать деньги. Игра на понижение оказалась прекрасной идеей. Затем он переключился на средства массовой информации. В обмен на политические услуги, оказанные Ельцину, он получил в свое распоряжение телевизионную сеть НТВ и государственный заем в размере 1 млрд долл., который исчез и никогда не был возвращен (большинство биографических деталей взяты из Hoffman 2003).

А потом пришло время ельцинских программ массовой приватизации, которые задумывались, как у Тэтчер, для увеличения числа держателей акций и поддержки реформ. Население получало в качестве свободных акций ваучеры, затем их стали выдавать сотрудникам компаний, подлежащих приватизации. Но в условиях экономической катастрофы большинству людей нужны были наличные деньги, поэтому они продавали свои ваучеры богатым перекупщикам. Ельцин, которому не хватало средств на предстоящие выборы, где Компартии удалось вернуть себе свои позиции, провел в 1995 г. залоговые аукционы, во время которых пакеты акций предприятий переходили банкам в качестве государственного залога в обмен на кредиты, предоставляемые этими банками государству. В обмен на кредиты государство передавало банку активы, стоимость которых во много раз превышала размеры кредитов. Если государство не возвращало кредит в течение года, а оно было не в состоянии это сделать, пакет акций переходил в собственность кредитора. Аукционы были организованы коррумпированным государством, допустившим к участию в аукционе лишь несколько банков, чтобы предотвратить повышение стоимости пакетов акций. В результате пакеты акций были переданы друзьям по заниженной цене. Основная часть пакетов акций была передана нескольким банкам, которые приобрели первоклассные экономические активы по бросовой цене. Неофициальная часть сделки состояла в том, что медиаимперия олигархов окажет Ельцину поддержку на выборах. Это был не неолиберализм, а политизированный капитализм, и Саммерс, неолиберал, на самом деле пытался убедить Клинтона в необходимости остановить Ельцина. Клинтон отказался, посчитав это небольшой платой за финансовую поддержку Ельцина в борьбе против коммунистов (Kotkin 2001: 130; Tikhomirov 2000: 236–54; Cohen 2001; Talbott



2002: 206–209). Экономическая власть превращалась в политическую, поглощая и искажая демократию, а США продолжали жертвовать идеалами во имя антикоммунизма.

В 2004 г. олигарх Михаил Ходорковский был самым богатым человеком в России. Выходец из среднего класса, он выбрал для собственного восхождения карьеру в комсомоле. Его первые шаги в бизнесе начинались с использования собственности комсомола, которую он прибрал для себя и для тех, кто поддерживал его в комсомоле и КГБ. Люди доверяли ему, потому что знали, что у него есть могущественные покровители. В 1987 г. он открыл научно-технический центр «Менатеп», который сначала занимался импортом компьютеров и их перепродажей, затем французским коньяком и шведской водкой (возможно, и то и другое было подделкой). Заработав на этом наличные и используя свои связи, он в 1989 г. получил для «Менатепа» банковскую лицензию. Он получал также большие депозиты от государственных агентств для финансирования импортно-экспортных операций и в период распада Советского Союза мог украсть средства советского министерства финансов. Банк «Менатеп» позволил ему в 1995 г. оформить заявку на принадлежащую государству нефтяную компанию «Юкос». Для совершения этой сделки на залоговом аукционе он использовал свои связи в правительстве и заплатил всего 350 млн долл. за приобретение 78% акций в «Юкосе», который стоил во много раз дороже. Предложения более высокой цены были отклонены его помощниками, обладавшими инсайдерской информацией. В течение нескольких лет, обведя вокруг пальца несколько западных банков и нефтяных компаний, используя сомнительные методы, Ходорковский построил внушительную нефтяную империю. И здесь он понял, что для дальнейшего роста ему необходима респектабельность. Его бизнес стал образцом прозрачности. Но он допустил ошибку, используя свое состояние для финансирования партий и медиаресурсов, оппозиционных президенту Путину. Он встречался с вице-президентом Чейни для обсуждения возможного слияния с одним из американских нефтяных гигантов, который мог бы обеспечить ему мощную антипутинскую поддержку из-за рубежа. Однако Путин не испугался, и Ходорковский сел в тюрьму, осужденный за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в 2005 и 2010 гг. Срок его заключения истекает в 2017 г. Хотя он, по всей видимости, был действительно виновен в каких-то нарушениях закона, они были настолько типичны для российского бизнеса, что дело Ходорковского имело явно политический характер. Политическая власть использовала козырь в игре против экономической власти, и большинство жителей страны это одобрили.

Александр Смоленский начал торговать на черном рынке еще в советские времена. В 1981 г. он был арестован и осужден на два года трудовых лагерей за экономические преступления. Затем он занялся строительством и при помощи мэра Москвы перепрофилировал свой бизнес в банк «Столичный», который специализировался на валютных спекуляциях. На залоговом аукционе ему досталась сеть агропромышленного банка «Агропромбанк», второго по величине в России. Анатолий Чубайс, будучи министром, курировавшим эту сделку, получил в банке «Столичный» беспроцентный кредит в размере 3 млн долл. Затем в результате слияния Смоленский получил «СБС-Агробанк», который стал крупнейшим банком России. Банк рухнул во время финансового кризиса в России в 1998 г., но Центральный банк выдал банку Смоленского кредит в размере 100 млн долл., которые загадочным образом исчезли. С тех пор Смоленского неоднократно обвиняли в присвоении чужих средств и махинациях с валютой, однако до сих пор ему удается избегать неприятностей благодаря влиятельным друзьям в политических кругах и силовом блоке. В настоящее время он владеет рядом крупных газет.

Многие успешные капиталисты во всем мире начинали с сомнительных дел, одни используют политические связи для получения правительственных контрактов и привилегий, другие — монополии, а не рынок. Само понятие олигархического капитализма или капитализма «баронов-разбойников» (*robber baron capitalism*) появилось в начале XX в. в Америке. Но я сомневаюсь, что в какой-либо стране «бароны-разбойники» или мафиозные капиталисты пользовались таким влиянием, как в России в 1990-х гг. Но подобно своим коллегам в других странах, русские со временем стали уважаемыми, они создают совместные предприятия за рубежом, входят в состав советов директоров западных компаний, конвертируя свою прибыль в частные корпорации, действующие на более или менее частных рынках. О происхождении капитала можно забыть, если придать бизнесу законный характер.

Политические связи и доступ изнутри к производственным ресурсам значили больше, чем технические знания или производственная квалификация, поэтому большинство предпринимателей оказались бывшими партийно-государственными аппаратчиками. Ходорковский преувеличивал, когда говорил, что «90% успешных людей в бизнесе вышли из старой номенклатуры и ее окружения». Но, согласно одному исследованию, 68% московских бизнес-проектов действуют под руководством бывших руководителей государственных предприятий. Другое общенациональное исследование показало, что среди 100 ведущих

бизнесменов России 62% ранее имели отношение к бывшей государственной или партийной элите. Главными застрельщиками свободного рынка были люди из партийно-государственной элиты, которые уже не верили в социализм, но чувствовали возможность приобрести богатство, не заботясь о партии и социализме. Теперь они могли позволить себе открыто демонстрировать свое богатство и передавать его своим детям.

И сама политическая элита изменилась несильно. Около 75% самых высокопоставленных советников и министров Ельцина вышли из класса бывших советских аппаратчиков. В 1995 г. бывшие секретари местных комитетов Компартии возглавляли 83 из 89 региональных и местных администраций страны. Примерно одна пятая часть крупнейших приватизированных предприятий стала собственностью их бывших «красных директоров», а еще 60% находились под их контролем (Kotz and Weir, 1997: 117–118, 121, 126: глава 7; Kotkin 2001: 7; Tikhomirov 2000: 289). Находившиеся в тени мафиозные структуры поддерживали олигархов, взяв на себя монополию на средства насилия, которые политической элите полагается маскировать. К концу 1990-х гг., говорит Кенез (2006: 291), в России «правил союз преступных синдикатов, коррумпированных бюрократов и олигархов». Да, это лучше, чем сталинизм, но разве это лучше, чем поздний коммунизм? Это было не до конца ясно.

## РОССИЯ ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ БЕЗДНЫ — 2000-е ГОДЫ

Восточноазиатский финансовый кризис добрался до России в 1998 г., ударив по экономике, которая только начала восстанавливаться. Однако восстановление экономики вскоре возобновилось и продолжалось до окончания финансового кризиса 2008 г. Правительства России одно за другим подходили к вопросу управления богатой источниками энергии экономики прагматично, что обеспечивало достаточно устойчивый рост в условиях значительного неравенства и борьбу за власть между олигархами, региональными политическими боссами и центральной властью. С приходом Владимира Путина, преемника Ельцина, неолиберализм был забыт.

Формально государство получило больше власти, проведя ренационализацию промышленности, располагая обретшими второе дыхание секретными службами и усилив контроль над средствами массовой информации. В 2006 г. в руках государства было сосредоточено около 35% ВВП России. В силу своих заслуг Путин пользовался достаточной степенью легитимности.

Он был популярен, потому что при нем заработная плата и пенсии выплачивались регулярно, вырос уровень жизни, государству хватало сил на борьбу и с олигархами, и с руководителями местных администраций, и на поддержание порядка в стране, а сам Путин был выразителем настоящей русской национальной идеи, демонстративно пресекая попытки западных стран хозяйничать в его стране. В первое десятилетие его правления прошли выборы, Путин одержал бы победу на них безо всяких подтасовок.

При Путине была в значительной степени восстановлена монетарная экономика, а неформальный бартер сошел на нет. Экономический рост в первые восемь лет нового столетия в среднем составлял около 7%. В 2009 г. по причине Великой неолиберальной рецессии рост стал отрицательным, но затем возобновился и составил около 4%, что было лучше, чем в странах Запада. Благодаря тому что Россия была в меньшей степени зависима от глобальной экономики, если не считать поставки энергоносителей, ей удалось пережить финансовый кризис легче, чем странам Восточной Европы, охваченным неолиберализмом (Lane 2009). Иностранные инвестиции были доступны в избытке, капиталисты стали меньше беспокоиться о выводе активов, уделяя больше внимания инвестициям в производство. Тем не менее экономика России сильно зависит от нефти, природного газа и металлов и до сих пор не смогла достичь технологического уровня, необходимого для конкуренции на западном рынке полуфабрикатов и промышленной продукции. Хэнсон (Hanson 2003) отмечает различия. В некоторых отраслях, несмотря на слабые позиции закона и недостаточно защищенные права собственности, предприниматели признают наличие жизнеспособных неформальных правил и готовы инвестировать и развивать производство. В других отраслях грубое незаконное вмешательство государства приглушает капиталистическую рациональность. Он приходит к выводу, что эта динамично развивающаяся экономика могла бы развиваться еще лучше, если бы правила игры были более формализованными и предсказуемыми. Фойгт и Хокманн (Voigt and Hockmann 2008) фиксируют некоторый рост технической эффективности в промышленности, а не в сельском хозяйстве, но значительную часть роста за последнее время относят на счет девальвации рубля после финансового кризиса 1998 г. и роста цен на сырье, особенно на энергоносители, которых у России в избытке. Источником роста России стали внешние потрясения, а не успешный переход к рыночной экономике, заключают они.

Уровень неравенства остался высоким, хотя и перестал расти. По оценкам Милановича (Milanovic 1998) и Мелановича

и Эрсачо (Milanovic and Ersado 2008), в период с 1988 по 1993 г. коэффициент Джини удвоился с 0,24 до 0,48, что произошло за счет того, что 10% самых богатых стали значительно богаче, а 10% самых бедных стали намного беднее, притом что положение тех, кто находится в середине, лишь немногим ухудшилось. Более поздние оценки указывают на то, что коэффициент Джини остается стабильным после 1995 г. на уровне около 0,40, притом что доля каждого дециля также остается относительно стабильной. Это неравенство меньше того, которое существует в США. Меланович и Эрсачо приходят к выводу, что рост неравенства в наибольшей степени связан с коррупционным распределением крупных приватизационных пакетов. Наиболее отчетливо неравенство проявляется при сравнении Москвы с остальной страной. Москва — это связь с внешним миром, «вотчина воров», в которой и происходило распределение богатств среди нового среднего класса, что заметно контрастирует с остальной Россией, погрязшей в бедности.

Путин действительно поставил на место некоторых олигархов. Они переоценили свою силу, поверив, что их капитализм стал более важен, чем государство. Путин доказал их неправоту, проведя среди них аресты и изъяв имевшиеся у них активы. В 2000 г. Гусинский был арестован на короткий срок, и этого оказалось достаточно, чтобы он сбежал в Испанию. Березовский сбежал в Лондон. Ходорковский, самый богатый человек в России, имел неосторожность остаться и оказался в тюрьме вместе с несколькими юкосовскими помощниками. В целом большинство жителей России сочли это допустимым, хотя ходили слухи о том, что многие отрасли промышленности, конфискованные у олигархов, были переданы друзьям Путина. Такер (Tucker 2010) говорит о том, что это была вторая волна самоосвобождения номенклатуры, в особенности из КГБ. Те, кто пропустил первую волну приватизации, теперь обеспечили себе поле деятельности. Почти все бюрократы в окружении Путина являются еще и руководителями крупных корпораций, которые неформально контролируются государством. В 2008 г. ведущий деловой журнал опубликовал оценку, согласно которой личные и политические союзники Путина контролируют 40% экономики России. Столь сильно политизированный капитализм подразумевает частичный возврат политической и экономической власти после промежуточного периода их более полного разделения в условиях капитализма (Aron 2009). Опубликованные на Викиликс документы Госдепартамента США содержат сообщения американских дипломатов о доминирующем положении, которое теперь заняли МВД и ФСБ. В одном из сообщений говорится, что «московские бизнесмены понимают, что лучше

иметь защиту в лице МВД и ФСБ, чем в лице организованной преступности, потому что у них не только больше оружия, ресурсов и силы, чем у криминальных группировок, но и потому что они защищены законом. Поэтому спрос на защиту со стороны банд уголовников теперь уж не так высок».

Тем не менее неясной остается степень, в какой Путин или любые другие центральные административные органы управляют этим обширным клановым государством и капитализмом. Путинская Россия не вернулась к деспотическим формам советского периода. Партийно-государственный режим исчез, потому что партия рассыпалась, а государственные административные агентства распались на отдельные части и так и не собрались воедино. Хардинг так комментирует опубликованную Викиликс переписку американских дипломатов из Москвы: «Частным образом, похоже, американские дипломаты видят Кремль таким же, каким его вижу я: это не столько государство, сколько частный бизнес по зарабатыванию денег, где воровство стало паталогической привычкой». Он цитирует оценку «Транспаренси Интернешнл», согласно которой взятки обходятся России в 300 млрд долл. в год, что составляет не менее чем 18% ВВП России (Harding 2011: 230, 242). Путинское государство обладает властью, достаточной для того, чтобы заниматься простыми вещами, например подтасовками на выборах, убийством беспокойных диссидентов, но клептократия представляет собой противоположность бюрократии, потому что ее невозможно контролировать сверху. Даже ближайшее окружение становится неуправляемым, если дать ему больше свободы. Американский дипломат отметил в 2006 г., что «на самом вершину путинского руководства стремительно развивающейся экономики говорят, что в президентской администрации не выполняется до 60% его распоряжений» (*New York Times*, December 2, 2010). В 2011 г. многие жители России были настроены против путинского государства именно из-за этого сочетания: государство не может побороть коррупцию, зато может подтасовывать результаты выборов и убивать диссидентов.

Тем не менее Россия является намного более демократической страной, чем был Советский Союз; военные уже не столь самостоятельны, как это было во времена СССР. В 2010 г. на переговорах с США о сокращении ядерных вооружений военные давили на Кремль, требуя отказаться от сокращения вооружений до тех пор, пока США не согласятся на то, что количество ракет в Восточной Европе должно быть ограничено минимумом, достаточным для нанесения ответного удара. Но настойчивость военных была отвергнута по политическим мотивам. А такого не происходило в советские времена, с сожалением замечает Гор-

бачев. Возможно, Путин и перейдет к более демократическому и равноправному распределению власти в интересах всех жителей России в целом. Но до сих пор этого не произошло.

Распад советской империи благоприятно сказался на странах Восточной, Центральной Европы и Балтии. Он пошел на пользу делу ядерного разоружения, мира во всем мире и глобализации. Это было достаточно положительным результатом. Отдельным прогрессистам, считавшим Советский Союз маяком социализма, был нанесен жестокий удар, хотя у многих левых падение Советского Союза вызвало чувство облегчения, потому что они получили возможность отмежеваться от зверств советского периода. Вскоре после распада Советского Союза улучшилось положение в большинстве восточноевропейских стран, входивших в советский блок. Но самой России и большинству бывших республик Советского Союза досталась лишь деспотическая, полная неравенства капиталистическая альтернатива государственному социализму, которая могла быть достигнута еще в первой трети прошлого века, если бы не было Первой мировой войны. Тем временем в ходе коммунистических и неолиберальных экспериментов погибли миллионы людей. Революции редко заканчиваются добром. Они ведут к сильнейшему разрушению властных структур, а результатом зачастую становится перевернутая с ног на голову версия их утопических целей. России в XX в. не повезло: она пережила целых две революции. Конечно, Россию можно считать экспериментальным случаем проверки пределов разумного в деятельности человека и его неспособности находить адекватный выход из кризисов, им же самим и созданных. Какой русский в 1914 г. мог желать такого XX в.?!

## ГЛАВА 8

# Реформирование маоистской альтернативы

### КОНСОЛИДАЦИЯ И КРИЗИС: МАОИЗМ, 1950–1976 ГОДЫ

**У**КИТАЙСКОГО коммунизма была совсем другая траектория. Подобно советскому коммунизму, он строился на утопических устремлениях, находясь в не менее враждебном окружении, и обрел стабильность в условиях крайне репрессивного режима. Однако после одной опрометчивой попытки, чуть было не обернувшейся катастрофой, китайские коммунисты сумели найти экономическое решение, которое позволило им избежать новых революционных потрясений, обеспечило стабильный экономический рост и вернуло стране исторический статус азиатского гиганта. Хотя пока этот путь не привел Китай ни к демократии, ни к равенству, для значительной части населения он оказался не самым плохим вариантом. Каким образом удалось нащупать этот особый путь?

Имеет место целый ряд фундаментальных отличий Китая от Советского Союза. И первым таким отличием было время. Китай стал коммунистическим позднее и в менее враждебной геополитической среде, к тому же он мог поучиться на советских ошибках. Китай был намного более однородным этнически, что обеспечивало большую социальную сплоченность и позволяло обходиться без централизованного правительства. Большая политическая самостоятельность провинций и уездов оказалась преимуществом. Однако к моменту революции Китай был намного более отсталой страной, чем Россия. В Китае произошла аграрная революция, опирающаяся в основном на бедное и среднее крестьянство, а не на городских промышленных рабочих. В отличие от большевиков у большинства китайских руководителей были крестьянские корни. Отличались и обстоятельства прихода к власти — в Китае коммунисты взяли власть лишь после гражданской войны, а не до нее. Части Красной Армии, победившие в войне против Японии, а затем в ходе гражданской войны одержавшие победу над вооруженными силами националистов, пользовались огромным доверием по всей



стране. К 1950 г. власть коммунистов под предводительством Мао Цзэдуна стала незыблемой. Они получили широкую поддержку, особенно в сельской местности, где проживало 85% населения страны. Коммунисты восстановили мир и национальное единство, добились освобождения страны от иностранного господства, а крестьяне получили землю.

Коммунистический партийно-государственный режим выдвинул радикальный проект устранения классовых различий. Политика по-прежнему строилась на двух неизменных принципах: «руководящей роли партии», то есть монополии на власть, и мифическом «демократическом централизме». Эти принципы и составляли основу авторитарного партийно-государственного режима. И все же завоевание страны частями Красной армии происходило постепенно. Как мы видели в главе 14 тома 3, армейские части продвигались из центральных областей и устанавливали региональные правительства. В центре лидерство Мао не оспаривалось, поскольку его фракция на всем долгом пути к власти принимала только верные решения. Но теперь ему приходилось координировать деятельность крупных региональных фракций в условиях, когда новая конституция предоставляла региональным партийным отделениям и местным органам власти почти те же полномочия, что и центральным партийным органам и министерствам (Huang 2000). Именно от Мао зависела жизнеспособность этой системы.

Коммунисты продолжали насильственное перераспределение земель, используя опыт, который они накопили в своих базовых областях. Политическая линия определялась наверху, и беднейшие крестьяне, которые поняли, что Гоминьдан и местные правящие классы уже не вернутся, следовали ей с энтузиазмом и готовностью применять насилие. Захваченные земли богатых крестьян и помещиков передавались бедному и среднему крестьянству в качестве частной собственности домохозяйств. К середине 1952 г. 90% сельского населения Китая составляла довольно однородная масса крестьян-средняков, освобожденных от классовой эксплуатации и способных «приумножать состояние своих хозяйств» и воспроизводить свои местные обычаи (Friedman et al. 1991). На тот момент режим пользовался поддержкой населения, урожаи крестьян росли, а местные коммунистические элиты стремились поддерживать столь благоприятное развитие событий.

Но так повезло не всем. От одного до двух миллионов «контрреволюционеров» — землевладельцев, зажиточных крестьян, а также тех, кто поддерживал Гоминьдан и японцев, были убиты, еще от четырех до шести миллионов человек были

отправлены в исправительно-трудовые лагеря. Поначалу действия КПК в городах, где она не пользовалась массовой поддержкой, были осторожными. Ей было необходимо привлечь к сотрудничеству людей, обладавших техническими знаниями, в том числе предпринимателей. Но уже через пять лет все менялось, и эти люди оказались в числе контрреволюционеров и уголовников. По всей видимости, очередными жертвами стали еще около миллиона человек, и еще два миллиона человек были отправлены в лагеря. Это огромные цифры, однако они не так велики в контексте общей численности населения Китая, которая в то время составляла 580 млн человек. При этом наиболее квалифицированных специалистов не тронули. Затем вектор классовой дискриминации сменился на противоположный. Выходцы из состоятельных семей стали считаться неблагонадежными и были лишены своих привилегий, в то время как выходцы из крестьянских и рабочих семей оказались в привилегированном положении.

Во время Корейской войны Китай занимал агрессивную геополитическую позицию и последовательно использовал всю необходимую силу для поддержания спокойствия в Тибете. В 1979 г. при Дэн Сяопине, сменившем Мао, Китай совершил катастрофическое по своим последствиям вторжение во Вьетнам, периодически бряцал оружием на границах с Тайванем, СССР и Индией. Армия играла политическую роль во время «культурной революции» и использовалась для ее насильственного продвижения в ряде районов страны. Но китайский коммунизм, несмотря на имевшуюся у него многочисленную армию, носил скорее оборонительный характер. Китайские солдаты чаще использовались в качестве рабочих.

Китайские коммунисты столкнулись с той же экономической проблемой, что и большевики. Прежде всего они хотели провести индустриализацию страны, но для этого было необходимо забрать ресурсы потребительского и сельскохозяйственного секторов. Но теперь (как и в Советском Союзе) крестьяне распоряжались землей и вряд ли одобрили такой подход. Участие Китая в Корейской войне убедило руководство страны в необходимости индустриализации, ведь из-за недостаточного оснащения Народно-освободительная армия понесла значительные потери от рук американцев. В течение десятилетия КПК крайне зависела от советских военных поставок.

Мао стремился поддерживать революционный настрой, устранение классовых различий в правах, мобилизуя массы на осуществление «героических проектов», при этом он использовал во внешней политике риторику, которая подогревала китайский национализм (Chen 2001). Устранение классовых раз-

личий сопровождалось перераспределением благ, хотя для тех, у кого было «правильное» классовое происхождение, действовал второй критерий, от которого зависело получение привилегий. 10–20% населения, определяемых в качестве политически надежных активистов, оказались в привилегированном положении. Между этими двумя принципами определения заслуг, политическим и идеологическим, на всем протяжении коммунистического правления существовала напряженность (Andreas 2009). Но в то же время Мао не хотел проводить насильственную индустриализацию по-сталински, которую он сравнивал с ловлей рыбы путем осушения пруда. Он нашел менее жесткие способы надежного управления крестьянами. Самым жестким из них был запрет крестьянам покидать свое место жительства. На деле это был социалистический вариант крепостного права, насильного закрепления крестьян на земле. Существовали и более мягкие методы. Начиная с 1952 г. государственные агентства по закупкам приобретали сельскохозяйственную продукцию по фиксированным низким ценам, иногда для того, чтобы субсидировать промышленных рабочих, иногда для того, чтобы перепродать ее по более высоким ценам. И то и другое позволяло увеличить инвестиции в промышленность за счет удержания заработной платы в промышленности на низком уровне и использования излишков для инвестиций. И хотя государство монополизировало рынок, сфера производства была с самого начала оставлена на откуп крестьянам.

Затем Мао ужесточил контроль над крестьянами, приступив к созданию сельскохозяйственных коллективов, в которых они пользовались определенными преимуществами: им разрешалось иметь в совместном пользовании инструмент и рабочий скот. Начиная с 1949 г. группы из 5–15 домохозяйств объединялись в бригады взаимопомощи, которые в 1953 г. превратились в простейшие сельскохозяйственные кооперативы, состоявшие из 20–40 домохозяйств. Эти перемены не встретили особого сопротивления. Власти приступили к созданию государственной тяжелой промышленности. Следуя советской модели, в стране создавали большие капиталоемкие предприятия часто с технической и финансовой помощью Советов. В 1953 г. был принят первый пятилетний план (напоминавший планы СССР), согласно которому ресурсы направлялись в тяжелую промышленность и на крупные строительные проекты. Рабочих контролировали через государственные профессиональные союзы, на каждую фабрику были направлены партийные секретари, производился набор рабочих в партию. Почти все жители городов были членами рабочих ячеек, которые несли ответственность за их благополучие, а в сельской местности жители дерев-

ни были членами производственных бригад. Даже домохозяйки были постепенно привлечены в рабочие ячейки. Начальный уровень благосостояния, получивший название «железной миски риса», обеспечивался рабочей ячейкой. Периодически проводилась мобилизация рабочей силы (напоминавшая стахановское движение в Советском Союзе), в ходе которой рабочих призывали больше трудиться на благо своей страны. К середине 1950-х гг. партия искоренила капитализм, существовавший в республиканском Китае, а к 1960 г. ей удалось привлечь домашние хозяйства к участию в формах деятельности, носивших более коллективный характер.

Повторюсь: как и в Советском Союзе, государственный социализм демонстрировал уверенный рост экономики и в последующих периодах. В 1952–1957 гг. ежегодный рост ВВП составлял 9,2 или 6,8% в пересчете на душу населения и с учетом роста его численности. Этот показатель был не хуже, чем в любой другой стране того времени, хотя рост потребления оставался незначительным. Как и Советский Союз, коммунистический Китай достиг значительных успехов в развитии образования и здравоохранения, повышении грамотности населения и поддержании неравенства на более низком уровне по сравнению с большинством развивающихся стран (Bramall 2000: табл. 2.2; Naughton 2007: 80–82)<sup>1</sup>. Стремительно увеличивалась продолжительность жизни: с 35 лет в 1948 г. до 50 лет в 1960 г. и до 65 лет в 1980 г. Уровень смертности в период между 1953 и 1970 гг. уменьшился наполовину. Показатели ожидаемой продолжительности жизни и смертности с большей достоверностью, чем ВВП, свидетельствуют о существенном превосходстве Китая над большинством стран с аналогичным уровнем экономического развития. Положительные стороны коммунизма — относительно невысокий уровень коррумпированности политических элит, стремящихся обеспечить более или менее равное развитие для всех, — позволяли использовать преимущества планового развития в ходе догоняющей индустриализации. Важно отметить, что экономический рост начался не с реформ периода после 1978 г. У коммунизма были свои добродетели. Но у него были и пороки, к которым следует отнести жесткую структуру управления, присутствие партии почти во всех сферах жизни общества, нерегулярные, но жестокие кампании преследования тех, кого зачисляли в классовые враги. Это было уже знакомое нам присущее коммунизму сочетание экономического прогресса,

---

1. О достоверности экономической статистики Китая много спорят (см. обзор в Naughton 2007). Большинство считает, что данные преувеличены, хотя и незначительно.

политико-идеологического деспотизма и военной власти подчиненной партии.

Серьезной неудачей был ознаменован 1956 г., когда слишком большое число крестьян ушло в город, что привело к сокращению производства сельскохозяйственной продукции, голоду и безработице. Теперь Мао ужесточил контроль, приступив к созданию уже крупных кооперативов, каждый из которых включал в себя более тысячи крестьянских хозяйств. Эти контролируемые партийными чиновниками кооперативы не пользовались популярностью, потому что низкие цены на продукцию требовали от крестьян большей выработки. Однако ужесточение контроля было постепенным: крестьян прочно привязывали к общинам, не прибегая к насильственному принуждению, которое применял Сталин. В конечном итоге ранние годы коммунистического правления были годами экономического успеха, правда, не для тех, кто принадлежал к классам, подлежащим чистке. Жесткая однопартийная диктаторская система обеспечивала порядок, который был ценным после десятилетий войны с Японией и гражданской войны. Зверства режима прекратились после первой же их волны. На республиканский период между двумя войнами пришелся период экономического роста. Абсолютно непонятно, могли бы националисты достичь подобных успехов, если бы они победили в войне. На Тайване им это удалось, правда, в гораздо более благоприятной ситуации.

Тем временем обострение отношений с Советским Союзом и Соединенными Штатами привело к осложнению геополитической обстановки. Мао не хватало терпения наблюдать слишком медленное улучшение экономической ситуации, и он принялся за столь любимые коммунистическими режимами героические проекты. Второй пятилетний план, принятый в 1958 г., предполагал «большой скачок вперед». Мао выдвинул лозунг «Три года упорной работы и лишений и тысяча лет процветания». Рассчитывая настроить национальные чувства китайцев на «Большой скачок», Мао пошел на обострение отношений с США в вопросе о Тайваньском проливе (Chen 2001). «Большой скачок» представлялся привлекательным для решения проблем развития сразу двух отраслей — сельского хозяйства и промышленности с использованием естественного преимущества Китая — дешевой рабочей силы из числа сельских жителей. Китай мог провести индустриализацию, заменяя импортное тяжелое оборудование многочисленными трудовыми ресурсами. Объединение существующих коллективных хозяйств в коммуны, в состав которых входило около пяти тысяч домохозяйств, позволяло экономить за счет масштаба. «Большой скачок» в сельской местности предусматривал и некоторую децентрализацию.

Большинство предприятий, находившихся в управлении Госсовета, переходили в ведение местных органов власти, а местным чиновникам и руководителям коммун была предоставлена определенная самостоятельность и выделены средства на развитие бригадных предприятий и строительных объектов, которые могли распоряжаться частью получаемой прибыли. За год доля продукции, выпускаемой промышленными предприятиями, находившимися под управлением центрального правительства, резко сократилась с 40% в 1957 г. до 14% в 1958 г. (Wu 2004: 44–47). «Большой скачок» привел к тому, что плавильные печи устанавливались на каждом заднем дворе. Под руководством местных чиновников, с энтузиазмом поддерживавших «Большой скачок», в печах жгли все дерево, какое было в округе, пуская на переплавку любой металл, даже обрезки. Люди ушли с полей на такие объекты.

Результаты оказались катастрофическими. Получить удалось только низкокачественный чугун, в большинстве мест были исчерпаны запасы дерева и металла, собирать урожай было некому. Люди устали, продуктов питания не хватало, и это привело к сильному голоду в 1959 и 1960 гг. Ситуацию усугубляли установленные квоты, в отчетах о выполнении которых местные чиновники значительно завышали данные об объемах произведенной продукции, так что в начале высшее руководство даже не осознавало масштабов катастрофы. И даже когда происходящее было осмыслено, Мао не пожелал изменить свою политику, а сказать ему правду почти никто не осмеливался. В конце концов в январе 1961 г. поступила команда о завершении политики «большого скачка вперед». Правда, некоторые чиновники на местах потихоньку отошли от нее еще раньше (Macfarquhar 1983; Yang, 1996).

Тем временем голод мог унести жизни 30 млн китайцев, что при общей численности населения 650 млн человек составляло почти пятипроцентные потери. Гибель людей не была результатом преднамеренных действий в отличие от того, что происходило раньше, когда убивали помещиков и т.д. Это не было атакой на крестьян, как при проведении сталинской коллективизации, но стало результатом политических ошибок диктатора, обладавшего непререкаемым авторитетом и пользовавшегося поддержкой радикальных партийных деятелей на местах, проявлением присущей коммунистическим режимам идеологической порочности: следование утопической идеологии, требующей полного преобразования общества, может обернуться его разрушением. Больше других пострадали провинции, руководство которых с особым рвением придерживалось политической линии партии. Великий голод привел к тому, что, несмо-

тря на продолжавшуюся индустриализацию, в период между 1957 и 1965 гг. рост экономики был негативным (Bramall 2000: табл. 2.2). Как заметил Ноутон, «что проку обеспечивать базовые потребности людей на протяжении 27 лет, а затем три года подряд морить их голодом?» (Naughton 2007: 82).

Таким образом, у «Большого скачка» были и политические последствия. Авторитет Мао был подорван, и он был вынужден отойти в тень. Фракционная борьба в партии стала более явной, усилился раскол между радикалами и умеренными, и все это сопровождалось региональными конфликтами. Государство слабело. Проведенный Ширк (Shirk 1993) анализ социального происхождения примерно 500 партийных и государственных чиновников, из которых отбирались кандидаты в высшее руководство, показал, что значительную их часть составляли партийные и государственные чиновники провинциального уровня. Когда тот или иной руководитель не оправдывал ожиданий или шла борьба за его место, то таким чиновникам предлагалось занять его место с предоставлением ряда льгот. Послереволюционный период жесткого руководства завершился, провинции теперь требовали большей самостоятельности.

Приятной неожиданностью стало то, что экономическая децентрализация, начатая во время «большого скачка», продолжилась. Под давлением масс коммуны были распущены, а частные производственные группы и бригады, работавшие в различных отраслях промышленности, получили больше независимости. В течение какого-то времени поощрялась система ответственности домохозяйств (Yang 1996: 98), при которой крестьяне будут производить больше, если позволить им непосредственно пользоваться плодами своего труда. Государство сохранило за собой контроль цен на сельскохозяйственную продукцию, хотя крестьянам и разрешили повысить некоторые цены. Увеличились инвестиции в сельскую инфраструктуру. Люди стали возвращаться в деревню, так как были уже не в силах прокормиться в городе, а инвестиции в промышленность были сокращены для того, чтобы высвободить средства для развития сельского хозяйства. Итак, после периода, когда идеология предположительно одержала верх над реальностью, КПК развернулась обратно к реальности и, руководствуясь прагматическими соображениями, обратилась к действительным интересам крестьян. Как мы видели в главе 14 тома 3, прагматизм был усвоен партией десятилетия назад. Теперь ситуация повторилась.

Между 1965 и 1978 гг. возобновился рост ВВП, достигнув внушительных 4,9% в год (2,6% в пересчете на душу населения). Доля промышленности в ВВП продолжала расти, увели-

чившись с 10% в 1952 г. до 35% в 1978 г., а площади орошаемых земель выросли втрое. С этих позиций можно было приступить к последующим рыночным реформам. Такие достижения только силами рынка были невозможны (Bramall 2000: табл. 2.2, 130, 300, 415; ср. Maddison 1998). Хотя рынок был по-прежнему предан идеологической анафеме, децентрализация продолжалась. В 1970 г. Мао считал, что геополитическая напряженность может привести к новой мировой войне и поэтому необходимо подготовить глубоко эшелонированную оборону (как во время японского вторжения). Страна была разбита на десять зон сотрудничества, каждая из которых получила задание разработать собственный план оборонной промышленности под весьма сомнительным девизом «Децентрализация — это революция, и чем больше децентрализации, тем больше революции» (Wu 2004: 53). Различия между регионами становились все более заметными. В некоторых провинциях в качестве исходной производственной единицы возродились крестьянские домохозяйства, в других (особенно там, где прежде были сильны радикальные настроения) пережитки эпохи «большого скачка вперед» сохранялись в виде небольших, но развивающихся сельских предприятий, на которых производились различные товары. Такие предприятия принадлежали крестьянским хозяйствам или группам крестьянских хозяйств, в других случаях — местным руководителям. Эти предприятия сыграют важную роль в ходе реформ более позднего периода (Yang 1996).

Но общее идеологическое видение социалистического развития было ослаблено политическим расколом. В 1966 г. Мао мобилизовал «красную гвардию» (хунвейбинов), состоящую из радикально настроенных студентов, для проведения «культурной революции», целью которой стали укоренившиеся привилегии партийно-государственных чиновников. Андреас (Andreas 2009) пишет, что это было сделано для того, чтобы объединить в единый правящий класс политическую элиту, состоявшую из бывших крестьян и высокообразованной интеллигенции. Мао был озабочен тем, что в этих двух группах стала возможна передача полученных привилегий по наследству детям в условиях, когда политическая благонадежность и меритократия были основными критериями приема в партию и доступа к высшему образованию. Мао хотел ослабить влияние этих групп, возобновить проект обеспечения равноправия классов и восстановить собственную власть. Он поощрял студентов, требовавших революционного обновления, но «культурная революция» вышла из-под контроля, и к осени 1966 г. в нее были втянуты рабочие и крестьяне. Студенты раскололись на умеренную и радикальную фракции, между которы-



ми развернулась борьба, распространившаяся из университетов на города и села. Радикалов поддерживали даже армейские командиры. Воцарился хаос, который нанес тяжелый ударил экономике и партии.

Мао удалось расширить свою власть, правда, безо всякого революционного обновления. На словах единство партии было восстановлено. Теперь все цитировали лозунги Мао, говоря о своих целях. В 1968 г. Мао вновь вернул себе власть, провел чистку среди оппонентов, назначил на новые должности лояльных ему людей, а затем взялся за радикалов. Демонстрация силы не произвела на радикалов должного впечатления, и тогда Мао задействовал армию. По некоторым расчетам, в ходе «культурной революции» погибло до полутора миллионов человек, включая более 100 тыс. кадровых партийцев (Chen 2001: 846). На восстановление эффективной работы партийных и административных институтов ушли месяцы. Университеты были закрыты, около 17 млн учащихся средних школ и студентов университетов — целое поколение — были сосланы из городов в сельскую местность для переобучения физическому труду. Это было неприятным испытанием для руководства. Теперь перед Мао все преклонялись, тем не менее фракционная борьба в радикальной «банде четырех», выступавшей против умеренных, продолжалась. Мао всегда следовал правилу «разделяй и властвуй»: он выдвигал новых лидеров, а если они становились его потенциальными соперниками, подвергал их чистке.

Мао умер в 1976 г. Наследником стал Хуа Гофэн, которому удалось арестовать членов «банды четырех», хотя реальная власть находилась в руках Дэн Сяопина, фактически пришедшего к власти в конце 1978 г. Он реабилитировал тех, кто, подобно ему, пострадал в ходе чисток, проводившихся «бандой четырех». В 1978 г. были открыты школы, а в 1980 г. — университеты. Авторитет и единство партии были восстановлены, а Дэн единогласно признан ее руководителем. Для устранения последствий «культурной революции» требовалось восстановить единство партийной элиты и образованных технократов. Последним вернули политическое положение и ученые звания, университеты вновь начали работать на меритократической основе. Пожилые руководители, находившиеся у власти с 1949 г., были отправлены на пенсию, освободив места для нового поколения коммунистов-технократов, красных инженеров, которым предстояло руководить Китаем в период реформ (Andreas 2009). Была также подтверждена необходимость поддержания порядка, если необходимо, то и с применением военной силы. Это привело к росту влияния Народно-освободительной армии в высших партийных кругах.

В 1978–1979 гг. была провозглашена политика одного ребенка на одну семью. Ее целью стало приведение демографической ситуации в соответствие с потребностями индустриализации. Все вместе это позволило стабилизировать численность населения и обеспечить рост экономики. В 1979 г. ход реформ, проводимых Дэнгом, был нарушен сокрушительным военным поражением, которое Народно-освободительная армия Китая потерпела от вторгшейся на территорию страны закаленной в боях армии Вьетнама. Стала очевидной необходимость модернизации армии, которая, в свою очередь, зависела от роста экономики. Вопросы геополитики снова требовали перемен, и Дэн возглавил экономическую реформу, растянувшуюся на многие годы и продолжающуюся в XXI в. В отличие от реформ, проводимых в Советском Союзе, экономическая реформа не сопровождалась значительными изменениями в области политики, хотя идеологическая реформа состоялась, когда преобладающая рыночная идеология потребовала учета меритократических, а не политических качеств при продвижении по партийной лестнице.

### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА: ЭРА ДЭН СЯОПИНА, 1979–1992 ГОДЫ

Экономические реформы начинались примерно так же, как и перестройка в Советском Союзе. И хотя Китаю не приходилось беспокоиться о снижении темпов роста экономики, руководство страны было озабочено отставанием от капиталистической Японии и восточноазиатских «тигров», включая Тайвань, где у власти находилась Гоминьдан. Нельзя согласиться, что китайская реформа «была отчасти непреднамеренным последствием неолиберального поворота в развитии капиталистическом мире», как утверждает Харви (Harvey 2005: 211). Китаю приходилось наверстывать свое отставание, и, как мы увидим, созданный в Китае рынок был ограниченным и не совсем капиталистическим. Инициатива реформ шла сверху. Начать сразу после «культурной революции» реформы были попыткой восстановить централизацию и укрепить дисциплину (аналогично тому, что происходило при Андропове и в начале правления Горбачева). В 1975 г., когда и эта попытка провалилась, была выбрана умеренная политика «четырёх модернизаций» сельского хозяйства, промышленности, технологий и вооруженных сил, которая изначально была предложена умеренным Чжоу Эньлаем. Поначалу эта политика не предусматривала освобождения рыночных сил, которое скорее стало непреднамеренным

последствием постепенных реформ. Дэн и члены его фракции постоянно ссылались на практику, которая была, по выражению Мао, критерием истины, что означало: если какой-то метод принес результаты, значит, надо его использовать и дальше, в противном случае от него следует отказаться — и снова прагматизм китайских коммунистов.

К середине 1980-х гг. стало очевидно, что курс, взятый китайским руководством, отличается курса Советского Союза, если не считать тяжелой промышленности, и проведение рыночных реформ осуществляется при сохранении руководящей роли партии, которая играла двойную роль. В отличие от ситуации, сложившейся в посткоммунистической России, партия продолжала руководить развитием страны, назначая директоров предприятий, устанавливая критерии успеха и непосредственно управляя финансами. Но государственное принуждение также играло и роль предохранителя: если экономические реформы вели к нежелательным политическим последствиям, то партия могла остановить их. Работала секретная полиция, суды подчинялись партии, сохранились тюрьмы и трудовые лагеря. В первую очередь следовало обеспечить порядок. И если Россия прошла сквозь длительный период сталинского порядка, а затем восстала против него, то китайцев от беспорядков спас коммунизм, хотя впоследствии возникли еще большие беспорядки, вызванные нарушением партийного единства. То есть массы поддерживали руководящую роль партии, коль скоро это означало порядок. В 1979 г. Дэн, как и Горбачев, ясно определил свое отношение к демократии, которое оказалось совершенно противоположным: «Абстрактные разговоры о демократии неизбежно ведут к неконтролируемому распространению ультрадемократии и анархии, полному разрушению политической стабильности и полному провалу нашей программы модернизации... Китай вновь будет ввергнут в хаос, раздробленность, регресс и мрак» (Deng Xiaoping 1984: 171). Но экономические реформы не носили ярко выраженного принудительного характера. Политическое воздействие происходило на уровне макроэкономики. Экономика была в какой-то степени отделена от политической власти.

Имели место и другие отличия от Советского Союза. С точки зрения политической власти Дэн и его фракция в гораздо большей степени контролировали партийно-государственный механизм, чем Горбачев со своей фракцией, поэтому у них не было необходимости восставать против этого механизма. Кроме того, в китайской экономике, в отличие от советской, никогда не было столь высокой степени централизации планирования. Промышленность была национализирована лишь

наполовину, увеличивалось число независимых городских и сельских предприятий (НГП) и коллективных фермерских хозяйств. В 1970-х гг. НГП получили название предприятий коммун и бригад, а сельское хозяйство почти полностью велось на коллективной основе. В 1980-х гг. независимыми городскими и сельскими предприятиями руководили в основном сельские и городские чиновники, а коллективного сельского хозяйства уже не было. В масштабе всей страны цены назначались менее чем на 600 наименований товаров (Strayer 2001: 394). Руководство продолжало отслеживать совокупный спрос, определяло потребности сельского хозяйства, торговли, промышленности и обороны. На повестку дня были поставлены вопросы экономического роста и развития технологий. Пользуясь нормализацией отношений с США, начавшейся после визита Никсона в 1972 г., Дэн открыл страну для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Китай постепенно входил в мировую экономику, сосредоточившись в начале на предприятиях государственной формы собственности (ПГС), самостоятельность которых Дэн ограничил.

Тем не менее экономический рост происходил в основном за счет внутренних ресурсов. Китай имел возможность использовать достижения маоизма и собственные сравнительные преимущества. У страны не было внешнего долга, она располагала значительными трудовыми ресурсами в сельской местности, достаточно развитой инфраструктурой, а уровень медицинского обслуживания и образования обеспечивал наличие квалифицированной и дисциплинированной рабочей силы, а также очень высокую внутреннюю норму сбережений, что составляло значительный инвестиционный капитал. За счет этого было обеспечено более половины увеличения производительности труда в период реформ (Hofman and Wu 2009: 11). В 1981 г., когда реформа еще фактически и не начиналась, рост впервые достиг 11%. Однако нельзя полностью отнести экономическое возрождение Китая только на счет рыночных реформ. Все руководители после Мао независимо от того, в какой степени они предпочитали плановое хозяйство рынку, делали все для обеспечения этих предварительных условий экономического роста. Повысился уровень жизни, правда, незначительно, потому что все больше средств направлялось на инвестиции в промышленность, а не на потребление, при этом сфера услуг оставалась относительно неразвитой. Сближение с США означало, что расходы на военные нужды не будут истощать ресурсы страны в отличие от того, что происходило в СССР. Таким образом, с сокращением плановых показателей доля инвестиций в ВВП увеличивалась, что способствовало ускорению общего

роста и увеличению производительности. В период между 1978 и 1988 гг. ВВП рос примерно на 8,4% в год, а ВВП в пересчете на душу населения — почти на 7% — темпы, которые на протяжении десяти лет до сих пор удавалось поддерживать лишь трем странам — Японии, Южной Корее и Тайваню. И лишь эти страны могли сравниться с Китаем в темпах роста капиталовложений (Bramall 2000: табл. 2.3; Naughton 2007: 142–148). В 1980 г. резко сократился уровень бедности. В то время лишь китайцам удавалось поддерживать высокий рост экономики столь долгое время. В течение первых 30 лет реформ средний годовой рост экономики составил более 9,5% (8,1% в пересчете на душу населения) — абсолютный мировой рекорд. Неизбежные периоды замедления (в 1981, 1989 и 1990 гг.) сменялись периодами ускоренного роста (Hoffman and Wu 2009: 10–12).

Начальная фаза экономических реформ отражала положительные стороны относительно прагматического технократического государственного социализма, оставившего в стороне коллективизацию, героические проекты и милитаризацию экономики. Это стало возможным благодаря твердому руководству Дэна, ликвидации радикалов и подчинению бюрократии. Подход верхов к управлению реформами носил прагматический характер. Требование проведения определенных реформ может исходить снизу, но обычно необходимо согласие руководства на проведение экспериментальных реформ в каком-то отдельном месте. В случае удачи реформы проводятся повсеместно. Но оценку успешности реформ давало руководство. Политика не зависела ни от одной из групп влияния — ни от землевладельцев, ни от промышленников, ни от местных партийных олигархов. И чиновники уже не могли создавать достаточно влиятельные коалиции, чтобы использовать государство в целях поиска ренты. Тем не менее Дэн пошел на сделку с руководителями провинций, заручившись их поддержкой в обмен на увеличение их представительства в Центральном Комитете. В 1987 г. они составляли 43% членов ЦК, представляя самый многочисленный единый блок. Это обеспечивало сохранение децентрализации при любых реформах (Shirk 1993: 149–152).

В 1980-х гг. политика попеременно обращалась то к городу, то к сельской местности. В городах государственный сектор продолжал преобладать, а рынок ограничивался мелкими поставщиками услуг. Здесь традиционная цель социализма состояла в обеспечении рационального соотношения между производством, ценами и планом. Эта цель, как обычно, не была достигнута. Плановики неоднократно пытались, но так и не сумели определить оптимальные цены, которые могли бы действовать «на земле», учитывая, что сталинский метод при-

менения силы был оставлен в прошлом. Поэтому на практике предприятия государственной формы собственности (ПГС) получили больше самостоятельности в своих попытках достичь положительного баланса. Плановики пошли на некоторое ослабление контроля цен. Если предприятие выполняло установленную планом квоту, оно имело право продавать дополнительную продукцию и приобретать необходимое сырье по рыночным ценам. Это стимулировало руководителей предприятий и рабочих к поиску прибыли, что привело к появлению все более резкого разделения ПГС на прибыльные и неприбыльные. При этом первые жили в основном за счет рынка, а вторые — за счет государственных субсидий. При этом вторых было больше, но они не пользовались предпочтением у плановиков, поскольку обходились слишком дорого. В течение 1980-х гг. право получать прибыль перешло от министерств к местным руководителям ПГС. Теперь государство облагало предприятия налогами, а не забирало у них поступления напрямую. Руководители ПГС все еще вынуждены были обращаться в государственный банк за фондами, но не это было основным бюджетным ограничителем, потому что банки по старинке считали, что они должны спасать слабые предприятия, а не отказывать им в займах (Lardy 2002). Правительство все еще косвенным образом защищало ПГС за счет экономики, потому что многие из них были неэффективны и обременены значительными расходами на программы социального обеспечения рабочих. Но режим, видимо, опасался, что более радикальные реформы могут вызвать массовое недовольство рабочих. А на ПГС существовали многочисленные коллективы, работавшие по договору и способные к коллективным действиям.

Горбачев пытался спасти советскую экономику через радикальное реформирование государственных предприятий, которые преобладали в экономике. Когда это не сработало, предприятия приватизировали. Но проведение подобных радикальных перемен оказалось несовместимым с ожиданием того, что этот сектор окажется в силах оздоровить всю экономику. Напротив, в Китае вплоть до 1992 г. даже не предпринималось серьезных попыток приватизации крупных ПГС, то есть это произошло значительно позднее того, как реформы в негосударственном секторе в сельской местности сделали его достаточно прибыльным, а значит — способным поддерживать значительную часть всей экономики. Наиболее значительными были те китайские реформы, которые «вырастали вне плана» (по выражению Naughton 1995: 129–130; 2007: 92) и не затрагивали планового развития государственного сектора в городах, но способствовали расширению самостоятельности и развитию рынка

в негосударственном секторе сельского хозяйства и на предприятиях, принадлежавших местным органам управления в сельской местности и малых городах. Никаких попыток «шоковой терапии» не было. Реформы носили постепенный, но нарастающий характер. Дэн сравнил это с тем, как «переходят реку, нащупывая брод».

Итак, на протяжении почти двух десятилетий сосуществовали два разных типа производства: государственно-социалистический в городах и малые предприятия в сельской местности, которые при этом продолжали получать государственные субсидии и были тесно связаны с чиновниками местных органов власти (Wu 2004: 64, 434–435; Pei 2006: 22–26; Naughton 2007: 91–98; Andreas 2008: 127–129). Заложенная Мао система регистрации домашних хозяйств, дополненная карточной системой распределения продуктов питания и строгим полицейским контролем за передвижением, способствовала созданию двух различных миров. В городах существовала постоянная занятость, правительство обеспечивало жилье, пенсии, образование, на них также приходилась львиная доля инвестиций. Экономика в сельской местности обеспечивала не столь высокий жизненный уровень, было меньше социального обеспечения, но сельская экономика могла расти, в большей степени предоставленная сама себе.

Крестьяне стали более свободными. Численность членов трудовых бригад сократилась, и между 1980 и 1983 гг. в ходе экспериментов, проведенных в некоторых провинциях, крестьянским хозяйствам была предоставлена полная самостоятельность в производственных вопросах. Китай вновь вернулся к экономике крестьянских хозяйств, на этот раз уже без землевладельцев. Государство оставило за собой формальное право собственности на землю (и сохраняет его до сих пор) и контроль ценообразования. К 1983 г. крестьянские хозяйства почти полностью заменили трудовые бригады, работавшие по договору и состоявшие из крестьян, и получили право приобретать собственные средства производства. Как следствие, в сельском хозяйстве в течение определенного времени наблюдался бум. В Советском Союзе в переходный период сельское хозяйство играло гораздо менее важную роль (в нем было занято 14% всей рабочей силы по сравнению с 71% в Китае) и крестьяне были настроены консервативно, предпочитая оставаться в коллективных хозяйствах, отвергая призывы Горбачева к приватизации (Strayer 2001: 397–398). В Китае административная власть перешла от народных коммун к администрации городов, руководители которых могли сами определять политику развития местной собственности и налогообложения. Уступки, предо-

ставленные крестьянам и местным чиновникам во время и после «большого скачка» и «культурной революции», не только усилили их самостоятельность, но и привели к повышению устанавливаемых государством цен на сельскохозяйственную продукцию. Несколько урожайных лет подряд способствовали расцвету легкой промышленности в сельской местности, НГП продолжали оставаться в коллективной собственности и находились в управлении местных чиновников вплоть до конца 1980-х гг. Хуан (Huang 2008) приписывает значительный экономический рост 1980-х гг. преобладанию в сельской местности частных предприятий, но это потому, что он объединяет собственно частные предприятия и все еще значительное число лиц, традиционно работающих не по найму, — кустарей, разносчиков и пр. На самом деле экономический рост 1980-х гг. происходил за счет мелких коллективных производств, которым государство оказывало помощь в виде дешевых кредитов и права договариваться с министерствами о размерах налогообложения. В 1985 г. они получили право продавать сверхплановую продукцию по ценам, которые они назначали сами. Они даже могли заключать соглашения о создании совместных предприятий с иностранными фирмами. Из плановой экономики выросла динамично развивающаяся рыночная экономика (Huang 2008: глава 2; Andreas 2010: 68; Wu 2004: 64–65; Gittings 2005: 123–125; Pei 1994: 43–44, 74–76; Naughton 2007: главы 10, 11).

Контракты и права собственности сельских предприятий гарантировались не столько законом, сколько властными структурами, в рамках которых чиновники и местные семейные предприятия приходили к компромиссу. В прибрежной провинции Фуцзянь предприниматели нанимали приезжих рабочих и открывали малый бизнес по производству текстиля прямо в жилых помещениях. Некоторые из них превратились в крупные семейные фирмы — характерный классический вариант построения капитализма «снизу вверх». А в соседней провинции Цзянсу некоторые крупные производства, находившиеся в основном под управлением местных чиновников, брали на работу жителей местных деревень. Чен (Chen 2003) пишет, что секретари сельских партийных организаций становились жадными до прибыли капиталистическими боссами и это сказалось на экономическом развитии Китая — еще один вариант постсоветских бюрократов-предпринимателей, занятых поиском ренты. Частные кооперативы процветали за счет кредитов, которые государство предоставляло им на льготных условиях. Некоторые использовали средства, присылаемые китайцами, работавшими за рубежом. Военные создали собственные предприятия, выросшие затем в военно-промышленную империю.



В середине 1980-х гг. даже ужасные условия содержания заключенных в тюрьмах и лагерях были улучшены, поскольку начальники тюрем поняли, что и тюрьма может быть производственным предприятием, но для этого заключенные должны быть здоровыми и сытыми (Lau 2001).

Разнообразие форм стало еще большим, когда режим принял решение о выделении субсидий прибрежным провинциям, которые могли легко импортировать сырье, полуфабрикаты, капитал и технологии и экспортировать готовые товары. В 1980 г. было создано четыре особые экономические зоны, в 1985 г. для внешней торговли и инвестиций были открыты 14 портовых городов. Районам, расположенным внутри страны, предстояла специализация на предприятиях импортозамещающей промышленности, способствующей положительному сальдо торгового баланса страны. Модели предприятий, находившихся в частной собственности, первоначально созданных в особых зонах за счет инвестиций китайцев, проживавших за рубежом, были затем широко использованы по всей стране. В этих зонах китайский сегментализм заканчивался. Однако права собственности оставались нечетко определенными и слабо защищенными, потому что частная собственность тесно переплеталась с общественной (Oi and Walder 1999; Wu 2004: 66–69; Wedeman 2003: 35–36).

Местные чиновники были вовлечены во все проекты. Они могли использовать прибыли отрасли для их увеличения в случаях, когда планировщики из центра снижали их прибыли. «Сельское предприятие — наше второе казначейство!» — говорил один из них. Взамен чиновники могли содействовать местным предприятиям в получении займов в государственных банках по льготным процентным ставкам в условиях дефицита кредита, переименовании предприятия, чтобы оно могло получить пусконаладочные фонды, или отнестись предприятие к числу тех, которыми управляет школа (что обеспечивало им налоговые каникулы), или указать большее число занятых, чтобы можно было отчитаться о максимальных издержках. Уход от налогов был обычной практикой, по мере того как отношения между местными чиновниками и предпринимателями становились все более тесными, росла коррупция. Центральная власть, обнаружив, что поступлений стало недостаточно, ужесточила налоговую систему, но местные чиновники были уже достаточно изобретательными, чтобы разработать собственную систему местного налогообложения.

НГП имели возможность пользоваться избытком рабочей силы в сельской местности. Там, где государство устанавливало высокую цену на продукцию, они могли ее продавать дешевле, чем ПГС, которые продавали ее по фиксированным ценам.

По мере их развития усиливалась конкуренция и снижались цены. Это усложняло жизнь неэффективных ПГС, притом что чиновники в центре, стремясь к большей эффективности, стали отдавать предпочтение рыночным процессам. Даже такие консерваторы, как премьер Ли Пен, оценили вклад сельских предприятий в обеспечение стабильности, хотя консерваторы также хотели препятствовать тому, чтобы провинциальные чиновники становились на сторону их соперников, принявших реформы. Рынок часто возникал как непреднамеренное последствие децентрализации (Shirk 1993: 154, 177, 195). Реформы давали результат, а это вело к росту экономики и удовлетворенности в обществе, и партийные элиты чувствовали себя спокойно. Даже ПГС оказались в выигрыше, правда, для этого им пришлось предпринять обходные шаги. Они могли заключать договоры субподряда с НГП, а учитывая то, что для работников НГП социальные льготы не были предусмотрены, а политика одного ребенка на одну семью не оставляла больших надежд на то, что пожилые люди смогут получать помощь от своих детей, рабочие и крестьяне открывали сберегательные счета в государственных банках, средства с которых затем инвестировались в ПГС.

В середине 1980-х гг. чиновники в регионах даже запрещали экспорт местной продукции за пределы региона и ограничивали импорт, чтобы защитить местных производителей. Войны вокруг сырья угрожали интеграции рынка страны и наряду с сокращением кредитования, направленным на снижение инфляции, привели к тому, что в период с 1988 по 1991 г. рост ВВП снизился до 5,5 или до 4% ВВП в пересчете на душу населения (Watan 2000: табл. 2.3). Тем не менее сельская промышленность оставалась на плаву, что помогало компенсировать нестабильный рост сельского хозяйства. Регионы были достаточно крупными, стимулы для открытия новых предприятий — достаточно привлекательными, а конкуренция — достаточно сильной. Администрации некоторых регионов затем прекратили поддержку неконкурентоспособных отраслей и заключили межрегиональные торговые соглашения друг с другом (Naughton 1995: 153–158, 186; Shirk 1993).

## КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОДНОПАРТИЙНОЕ ГОСУДАРСТВО С 1992 ГОДА И ДАЛЕЕ

Цзян Цзэминь стал председателем в 1989 г. В этом году власти были встревожены поддержкой, оказанной городским населением студентам, вышедшим на демонстрацию на площадь Тяньаньмэнь, для разгона которой была применена сила. Од-

нако столь консервативная политическая реакция не означала отказа от реформ. В 1992 г. Дэн, совершая поездку по югу страны, в своих выступлениях высказался в пользу реформ, говоря, что «быть богатым — почетно» и «для начала пусть разбогатеют хотя бы несколько человек». Короткие наставительные лозунги всегда были отличительной чертой коммунистической идеологии в Китае. На XIV съезде КПК целью реформ была впервые провозглашена социалистическая рыночная экономика. В то время как прежние руководители опасались роста крупных частных предприятий и поэтому субсидировали и ПГС, и НГП, Дэн в ходе поездки был впечатлен эффективностью экспортно ориентированных фирм с участием иностранного капитала в особых экономических зонах. Он решил, что для конкуренции с иностранными предпринимателями в стране необходимо создать крупномасштабные частные бизнес-проекты. Начиная с 1992 г. правительство начало открывать новые каналы для прямых иностранных инвестиций: теперь Китай стал в большей степени зависеть от мировой экономики, а внешняя торговля составила не менее 60% ВВП. В том же году началась приватизация НГП и ПГС, было проведено укрупнение частных предприятий, которые все меньше зависели от правительства, а оно, в свою очередь, прекратило выдачу льготных кредитов и отменило другие льготы для малых коллективных предприятий. Начались сокращения в министерствах, занимавшихся промышленностью, значительно снизилась доля городских рабочих в государственном секторе (Pei 1994: 43–44, 81; Naughton 1995: 273–274; Wu 2004: 82–83; Yang 2004: 25–26, 37; Andreas 2008: 130; 2010: 69–74).

Это были по-настоящему коренные перемены. Начиная с этого момента, становится трудно подобрать термин, который мог бы в полной мере дать определение китайской экономике. «Социализм с китайским лицом» — так сам режим определил свою цель, но это определение представляется недостаточно четким: в нем преувеличена роль социализма. На Западе некоторые считают это одним из вариантов капиталистического способа производства (например, Andreas 2008). Китай включается в единую мировую экономику, рушится последний бастион автократии, противостоящей универсальной глобализации. Но внутри Китай по-прежнему значительно отличается от капитализма западного образца. Он остается под надежной опекой государства, здесь нет частной собственности в том виде, как она понимается на Западе, поэтому такой строй нельзя назвать капитализмом, даже политизированным капитализмом, так как государство продолжает контролировать частные корпорации. Фэн с соавторами (Fan et al. 2011: 1) довольно мет-

ко определил это как «удачный стир-фрай, для приготовления которого использовались рынок, социализм и китайские традиции, привкус которого в итоге не сводится ни к одному из этих ингредиентов... потому что все вместе подвергнуто обработке на очень сильном огне».

Ои и Волдер (Oi и Walder 1999) вводят в научный оборот представление о горстке прав собственности, выделяя право на управление собственностью, право получать доход от собственности и право на передачу собственности. Они отмечают постепенный и неравномерный характер перемен в стране, в том числе переход от традиционных государственных и коллективных фирм к фирмам, прошедшим ряд преобразований, к фирмам, работающим по договору и на условиях лизинга, а также к полностью частным фирмам. Тем не менее этот переход осложняется региональными различиями, а также различиями в корпоративных отношениях собственности между предприятиями с широким государственным участием во внутренних районах страны и частными предприятиями, особенно важными в прибрежных районах. Разнообразие таких форм и существующая между ними конкуренция помогают понять, каким образом стало возможным развитие экономики в условиях крайне несовершенных прав собственности. Похоже, китайцы сумели продемонстрировать, что вопреки традиционным представлениям экономистов абсолютные, гарантированные права собственности не являются предварительным условием экономического успеха, поскольку они оказались более успешными, чем различные виды капиталистической экономики. Как отмечает Фукуяма (Fukuyama 2011: 248–250), западные экономисты преувеличивают значение абсолютных прав собственности: не абсолютных, «но достаточно хорошо работающих» прав вполне достаточно. В Китае партия может аннулировать любое право собственности, но, заботясь об экономическом росте, редко пользуется этой возможностью. Экономическим акторам этого вполне достаточно, чтобы идти на риск, вкладывая свои средства в различные предприятия. Что не менее важно в условиях отсутствия полностью гарантированных прав, так это то, что существующие формы собственности отвечали интересам местной администрации и местных предпринимателей.

1990-е гг. были годами бурной приватизации, хотя при этом многие предприятия государственной формы собственности превращались в акционерные компании, в которых государство выступало в роли держателя либо контрольного, либо мажоритарного пакета акций. Много акций было продано иностранным инвесторам, жаждущим ухватить кусочек китайского экономического чуда, но, похоже, самые крупные компании

остаются в руках государства, хотя часто это выглядит так, как будто решения принимаются непосредственно руководством этих компаний, а не министерствами.

Однако кадровые решения принимаются в Организационном отделе КПК, а не на заседаниях совета директоров компаний. Этот отдел засекречен, его телефонного номера нет в телефонном справочнике, его названия не найти на стене огромного здания, расположенного рядом с площадью Тяньаньмэнь, в котором размещается этот отдел. Если бы такой отдел существовал в США, утверждает МакГрегор (McGregor 2010: 72), то

в его ведении были бы такие вопросы, как назначение американского правительства, губернаторов штатов и их заместителей, мэров крупных городов, руководителей всех федеральных ведомств, высшего руководства «Дженерал электрик», «Эксон-Мобил», «Уол-Март» и других полсотни крупнейших американских компаний, судей Верховного суда, главных редакторов «Нью-Йорк Таймс», «Уолл-стрит Джорнал» и «Вашингтон пост», боссов телевизионных станций и кабельных каналов, президентов Йельского, Гарвардского и других крупных университетов, руководителей аналитических центров наподобие Института Брукингса и Фонда наследия.

Это относится к предприятиям, которые оставались в государственном управлении, так как приватизированных предприятий было куда больше. Но в партии царилась своя особая меритократия. Основным критерием продвижения руководителя было его умение обеспечить рост, создать рабочие места, привлечь прямые инвестиции из-за рубежа, контролировать уровень общественного недовольства и обеспечить выполнение обеих контрольных задач. По замечанию Хоффмана и Ву (Hoffman и Wu 2009: 20), четыре из пяти перечисленных требований напрямую связаны с обеспечением экономического роста. Некоторым это может напомнить конфуцианскую меритократию, в основе которой была сдача экзаменов каждым желающим получить государственную должность в прежней китайской империи, где особое внимание уделялось умению поддерживать порядок. Эти стимулы продолжали действовать и в новых условиях. Местным чиновникам, сумевшим обеспечить рост экономики, разрешалось использовать нераспределенную прибыль для инвестиций, а успешный чиновник местного уровня в качестве награды получал должность в центральном правительственном аппарате.

В 2004 г. права собственности были, по всей видимости, гарантированы конституцией, а в 2007 г. эти гарантии были подкреплены, но, как и в случае с трудовым законодательством, наблюдается отставание при выполнении уже принятых решений. Государство и экономика по-прежнему тесно переплетаются.

ются, государство определяет макроэкономические показатели частично через стабильность государственного сектора, частично через устойчивые сбережения и инвестиции. Партийные руководители являются членами «малых руководящих групп», в состав которых входят министры, эксперты, руководители компаний и чиновники, занимающие ключевые политические посты. Ведущую экономическо-финансовую группу Коммунистической партии — орган управления экономикой — возглавляет сам премьер-министр Вэнь Цзябао. Руководящие группы отдают распоряжения подчиняющимся им министерствам. Особое внимание уделяется руководству финансового сектора. Руководящая экономическо-финансовая группа отдает распоряжение Народному Банку Китая, когда пора корректировать процентную ставку. Руководящие группы могущественны, но, как и в других партийных органах, состав участников этих групп засекречен (McGregor 2010; Naughton 1995: 13). На верхнем уровне регулирование гораздо сильнее, чем в любой капиталистической стране, при этом главным регулятором остается партия, а не бюрократы в министерствах опять-таки в отличие от тех капиталистических стран, где сильны позиции государства, например Японии или Южной Кореи. Правительство страны сохраняет свое право собственности на землю, в то время как местные власти активно занимаются выселением крестьян, освобождая земли для развития. Рынок акций в Китае не похож на прочие. Это забавное казино, где играют на деньги (Walter and Howie 2003). 70% всех акций принадлежат государству, а контрольный пакет акций любого зарегистрированного китайского предприятия зарезервирован за государством. Китайские облигации в основном находятся в китайских банках, которые в основном принадлежат китайскому государству. Иностранные инвесторы вкладывают большие деньги, но государство сохраняет свой контроль. Цель фондового рынка состоит не в том, чтобы частное лицо или государство могло получить прибыль, а в том, чтобы направить сбережения туда, где они нужнее всего. И хотя формально основные инвестиции банков приходятся на ПГС, возник и неформальный финансовый сектор, который обеспечивает кредитование других гибридных предприятий. Норма частных сбережений в Китае высока, как и в большинстве стран Восточной Азии. Но у китайцев больше стимулов для того, чтобы делать сбережения, потому что медицинское страхование и пенсионное обеспечение все еще не получили развития. Объемы сбережений растут (Fan et al. 2011: 6–8, 13). Это не похоже на капитализм, хотя в будущем движение по направлению к капитализму остается возможным.

На более низком уровне и на уровне местной власти партийные кадры и предприниматели или члены их семей образовали уникальный класс красных капиталистов — кадровых магнатов. После неудач с «большим скачком» и «культурной революцией» местные чиновники добились перераспределения центральной власти и определенной самостоятельности для себя. Теперь они получали прибыль от экономической децентрализации. Чиновники входят в состав совета директоров предприятий, получают вознаграждение за посредничество при создании совместных предприятий, подают налоговые декларации за себя и за свое начальство. Этот более этикетский вариант политического капитализма получил широкое распространение во всем мире, а между его двумя составляющими — чиновниками и предпринимателями в целом сложились вполне гармоничные отношения. Диксон обнаружил сходство консервативных взглядов среди предпринимателей и чиновников. Предприниматели были встроены в государственные структуры еще до того, как были приняты в партию. Государство создало институты, позволяющие предпринимателям процветать, поэтому они не выступали за демократию (Dickson 2003: 84–85; Tucker 2010). В 1993 г. Цзян Цзэминь внес изменения в конституцию, которые позволили капиталистам вступать в партию, в которой они с тех пор непропорционально широко представлены. Время, когда преимущество отдавалось рабочим и крестьянам, прошло. Предпринимателей принимали в партию, чтобы приучить их к дисциплине, а также использовать их возможность контролировать рабочих на своих предприятиях для усиления власти государства. В провинции Фуцзянь местная партийная организация расширила сотрудничество с руководителями предприятий, стремясь сохранить единую систему местного управления. Капиталисты влились в местную систему партийно-государственного управления, а сельские жители стали объектом эксплуатации и в интересах капиталистов, и в интересах государства (Chen 2003). Это не тот государственный капитализм, о котором говорили Троцкий и Джилас. Для него характерным является наличие объединенной государственной элиты, номенклатуры, контролирующей все источники социальной власти, эксплуатирующей всех, кто находится в подчиненном положении. Но это также и не современный политизированный капитализм, который сегодня доминирует в значительной части мира. Доступ к экономическим ресурсам обеспечивается за счет доступа к государственным структурам, и в результате возникают корпорации, которые не являются полностью частными. Баланс власти складывается в пользу государства в большей степени, чем это обычно бывает при других вариантах политического

капитализма, поэтому я предпочитаю термин «партийно-государственный капитализм», в котором сохраняется смысл двуединства экономической и политической власти, директивной природы центральной государственной власти и самостоятельности местных партийных органов при решающем значении партийно-государственных структур.

Экономический и политический рынки сплетены воедино. Ни один из них не является самовоспроизводящимся, каждый нуждается в активах, принадлежащих другому. Сато (Sato 2003) пишет, что сельские семьи с наиболее сильным политическим капиталом оказывались и наиболее успешными в предпринимательской деятельности. Он также указывает на существование региональных различий. В провинции Уцзян местная власть находилась в руках партийных и государственных кадров, а в городе Вэньчжоу — в руках частных предпринимателей. На экономическом рынке происходит процесс обмена товарами и факторами, а на политическом — процесс создания, обмена и распределения государственных активов в частных интересах, сопровождающийся поиском ренты при наличии коррупционной составляющей. Частные собственники нередко являются родственниками чиновников. В период правления Мао деятельность местных чиновников ничто не связывало, однако теперь стало труднее скрывать использование государственных средств в личных интересах. Это расходилось с идеологией, которой придерживались большинство чиновников. Перенос рыночных процессов на уровень местных органов власти привел к расцвету коррупции (Yang 2004: 12–13; Wu 2004: 74; Wedeman 2003: 27, 242; Lin 2001: 3–6, 18, 98, 144–145). Ян проанализировал 1300 примеров коррупции и пришел к выводу, что масштабы и распространенность коррупции в иерархической структуре еще более возросли после 1992 г., когда произошел подрыв основ командной экономики. Хуан (Huang 2008) ошибочно считает коррупцию исключительно бюрократическим явлением, не выходящим за рамки государственных учреждений. Коррупция свойственна и экономическим предприятиям, а частичная либерализация этих предприятий повлекла за собой рост коррупции. Начало внешнеторговой деятельности, привлечение инвестиций, культурные обмены поставили торговцев, таможенников, чиновников системы образования в положение, когда, получив возможность обеспечивать многосторонние контакты, они также получили возможность извлекать ренту. Чем разнообразнее рынок и его регуляторы, тем больше возможностей для получения ренты (Zweig 2002: 44, 162). И такими возможностями в условиях этой крайней формы политического капитализма зачастую пользовались сполна.



В период реформ китайские чиновники имели большую самостоятельность в рамках официальной административной системы по сравнению с их советскими/российскими коллегами (Solnick 1996). Они могли получать прибыль от того, что выступали сразу в двух ролях — держателя акций государства и сборщика налогов в пользу государства. Некоторым из них удалось получить доступ к государственным активам в ходе приватизации, хотя это происходило и не так повально, как с советскими/российскими чиновниками, когда те почувствовали, что государство ослабевает, но зато китайские чиновники имели возможность заниматься этим на более постоянной основе. Несмотря на то что все происходящее представляется обычным в условиях политического капитализма, китайская иерархическая система оставалась в сохранности, обеспечивая на удивление отлаженную структуру, необходимую для развития. По мере роста неравенства между провинциями, а также того, как местные чиновники, проявляя все большую настойчивость в поисках ренты, превращались в квазикапиталистов, центральное правительство стремилось к тому, чтобы восстановить свои функции регулятора. Цзян Цзэминь и Чжу Жунцзи были обеспокоены кризисами, подобными событиям на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., распаду Советского Союза и азиатскому финансовому кризису 1997–1998 гг., в результате которого были свергнуты правительства в ряде азиатских стран. Руководство страны уволило тысячи коррумпированных чиновников, казнив наиболее злостных из них. Оно усилило свои позиции в области сбора налогов, выдачи банковских займов, капиталовложений, рынков акций и облигаций, соблюдения норм защиты окружающей среды, таможни и других сферах. Руководство страны стремилось создать более компактный, но хорошо дисциплинированный слой бюрократов, обеспечивающих прозрачность деятельности и большую отчетность чиновников по горизонтали, однако остается непонятно, насколько ему это удалось. Похоже, это был циклический процесс, в котором на смену крупным, более самостоятельным рынкам приходило жесткое государственное регулирование, но при этом реформы продолжались, открывая новый этап коррупции. Затем цикл повторялся (Whiting 2001; Bramall 2000: 459; Yang 2004: 20–21; Oi and Walder 1999).

Это не просто два шага вперед и один шаг назад. Эффективность такого партийно-государственного капитализма происходила из диалектической связи между предпринимательским динамизмом местных чиновников и бизнесменов и способностью партийного руководства обуздать их поиски ренты, сохранив при этом остатки неподкупности, идеологии равного раз-

вития всех социальных групп и собственной деспотической власти. В отличие от Советского Союза, где переход сопровождался параличом государства, в Китае государство сохранилось и ему удалось использовать имеющиеся политические механизмы и рычаги, которые были в его распоряжении (Yang 2004: 297–298). Это не осталось незамеченным для жителей Китая. Многие китайцы нередко с презрением высказываются о партии, но считают, что она необходима для предотвращения хаоса и безудержной коррупции, которые они наблюдают на примере перехода России к капитализму и демократии (Gittings 2005: 12–13).

Партийно-государственный капитализм продолжал оправдывать надежды. В период между 1991 и 1996 гг. рост ВВП составлял целых 12%, а в пересчете на душу населения — 11%. И это несмотря на дефляцию! Ежегодные темпы роста на уровне 8–11% сохранялись до начала мирового финансового кризиса в конце 2008 г. И это в стране с населением более одного миллиарда человек. Китай сумел вернуться к темпам роста 2009–2010 гг. раньше остальных стран. Ни в одной другой стране не наблюдалось таких высоких темпов роста в течение столь длительного периода. Восточноазиатские конкуренты удерживали высокие темпы роста на протяжении 10–12 лет, в Японии период высоких темпов роста сменился периодом стагнации. Своим продолжением китайский экономический рост был обязан высокому уровню инвестиций, который в новом тысячелетии был выше, чем в какой-либо другой стране. Поскольку рост был сконцентрирован вокруг промышленности, Китай стал всемирной фабрикой. В Индии, занимающей сегодня второе место по темпам роста экономики, промышленность не столь развита, зато получили развитие услуги и сельское хозяйство. Индия продолжает отставать от Китая на 15 лет. Но надо помнить, что Индия также начинала свое движение к рынку в условиях экономики, в которой планирование играло довольно значительную роль, располагая при этом высокообразованной рабочей силой. В ней, как и в Китае, рынок вырос из плановой экономики. Китай и Индия также осваивают последние достижения мировых технологий, при этом Китай вошел в число лидеров в области экологических технологий (Naughton 2007: 143, 153–156; Maddison 2007: 169). За период между 1990 и 2006 гг. младенческая и детская смертность уменьшилась практически наполовину, а ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73 лет, что лишь на пять лет меньше, чем в США.

За описанный период времени Китай превратился в одного из основных игроков в мировой экономике. В 1986 г., когда тарифы достигали в среднем 43%, Китай отправил ГАТТ заяв-

ку о вступлении. Переговоры с ГАТТ и ВТО длились до начала нового тысячелетия, при этом Китай постепенно снижал тарифы: до 15% в 2001 г. и менее 10% к 2005 г. После создания в 2010 г. зоны свободной торговли между Китаем и странами АСЕАН были отменены все тарифы. К 1996 г. была введена полная конвертируемость по счету текущих операций. Пользуясь завышенным курсом юаня в новом тысячелетии, Китай сумел стать крупнейшим мировым экспортером и занял вторую после США позицию в ряду крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций. Китай берет крайне малые суммы «горячих денег» на очень короткие сроки, уходя от волатильности в финансовой сфере, поразившей капитализм эпохи неоллиберализма. К 2000 г. почти треть производства в Китае была размещена на предприятиях, аффилированных с иностранными компаниями (Lardy 2002: 4, 8, 32–33, 61; Naughton 2007: 401–423; Andreas, 2008: 130). Финансовый мировой кризис 2008 г. немедленно сказался на китайском экспорте промышленных товаров. Однако Китай сразу же приступил к осуществлению самой масштабной в мире внутренней программы стимулирования производства и сумел быстро восстановить свои позиции и перейти к более здоровому с точки зрения политической экономии наращиванию внутреннего потребления и, вероятно, даже к сокращению неравенства между регионами. Это, очевидно, можно считать добродетелями партийно-государственной части капиталистической партии-государства.

Китайское чудо стало возможным благодаря устойчивым темпам развития, которые не имели мировых аналогов в XX и XXI вв. и которые, вероятно, продолжат существовать еще какое-то время. В период между 1981 и 2004 гг. резко сократились численность и доля бедного населения, хотя две трети этого сокращения пришлось на 1980-е гг. и могло быть связано с деятельностью независимых городских и сельских предприятий и ростом сельскохозяйственного производства после деколлективизации, проведения уравнивающей земельной реформы и повышения государственных цен на сельскохозяйственную продукцию. Как отмечает Перри Андерсон (Anderson 2010: 95), это была наиболее динамичная форма либо капитализма, либо коммунизма. Никогда еще современная промышленность и городская инфраструктура не развивались столь быстрыми темпами, никогда еще людям не удавалось так быстро распрощаться с нищетой, но в то же время никогда еще неравенство и коррупция не росли так стремительно, а рабочие и крестьяне, которым теоретически еще недавно принадлежало государство, никогда еще не сталкивались с таким беспощадным обращением. Для большинства китайцев полученные результаты можно счи-

тать положительными. Китайцам не очень нравится правящий режим, однако он позволяет им удовлетворять свои материальные и духовные потребности. Китай — великая страна, а жизни простых китайцев можно описать поговоркой «Живем, хлеб жуем, а ино и посаливаем».

Скептики считают, что экономика страны представляет собой набор проблем с плохо функционирующими финансовым и бухгалтерским секторами, неэффективными предприятиями, находящимися в государственной собственности, значительным торговым профицитом, который стимулирует городской промышленный сектор на создание относительно небольшого числа рабочих мест, и значительным неравенством между городом и деревней, что в сочетании с невысокими заработными платами рабочих сводит на нет развитие внутреннего потребления. Лин и Лиу (Lin and Liu 2003) демонстрируют, что когда большая часть инвестиций направляется во внутренние провинции страны, то их непропорционально большая часть приходится на долю неприбыльных капиталоемких ПГС в тяжелой промышленности. Было бы лучше, утверждают они, если бы инвестиции были направлены в те отрасли, где расположенные внутри страны провинции имеют относительные преимущества, прежде всего в трудоемкие производства. Вступление Китая в ВТО в 2001 г. не на самых благоприятных условиях могло быть попыткой решить эту проблему за счет увеличения иностранных инвестиций и развития внешней торговли (Lardy 2002). Правда, в сухом остатке рост китайской экономики продолжается, к тому же, в отличие от США, Японии и большинства европейских стран, Китаю удалось довольно быстро преодолеть последствия Великой неолиберальной рецессии.

## НЕРАВЕНСТВО И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Главной проблемой является не рост, а равное распределение его плодов. Децентрализация рынка привела к значительному увеличению неравенства, а возникновение партийно-государственного капитализма содействовало резкому росту коррупции. Бедность снизилась, доходы во всех провинциях возросли, но города и прибрежные провинции оказались в лучшем положении, чем сельская местность и внутренние провинции, особенно в период правления Дэна Сяопина. ВВП на душу населения в большом Шанхае и прибрежной провинции Чжэцзян были выше, чем в расположенной на западе страны провинции Гуйджоу в 13 и 5 раз соответственно (Lin and Liu 2008: 56). Рынок привел к классовому расслоению вебериянского типа, когда

те, кто приходил на рынок с экономическими и политическими ресурсами, получали дополнительные возможности за счет тех, кто мог предложить лишь свой собственный труд. В результате резко увеличилось неравенство как между отдельными людьми, так и между отдельными хозяйствами. Согласно оценкам, коэффициент Джини в 1979–1981 гг. находился в диапазоне 0,29–0,31, что было одним из самых низких показателей в мире. В 1995–1998 гг. он увеличился примерно до 0,38, а в 1994 г. — до 0,43 и достиг почти 0,5 в 2006 г., что было лишь немного больше, чем в США. По данным Всемирного банка, такое увеличение наполовину связано с различиями между городом и деревней, на одну треть — с неравенством между регионами, а оставшееся приходится на счет различий между отраслями городского и сельского хозяйства. В период правления Дэна Сяопина положение усугублялось тем, что крупным частным предприятиям и особым зонам предпринимательства предоставлялись особые привилегии. По этому показателю Китай уступал лишь России и немногим латиноамериканским странам. На протяжении всего периода наблюдалась тенденция роста неравенства и формирования классовой эксплуатации, что было отличительной чертой этой двуединой системы. Теперь режим опасается, что такое положение может привести к возникновению серьезного конфликта (Lee and Selden 2007; Chai and Roy 2006: 191–192; Naughton 2007: 217–225; Huang 2008; Andreas 2008: 134–138). Но сокращение программ медицинского обслуживания и образования в сельской местности началось раньше, хотя и было ускорено в период, когда НГП передавались в аренду, а ПГС закрывались. Время «железной миски риса» прошло. Такая ситуация не вполне соответствует утверждению правительства о том, что оно обеспечивает основные права человека для граждан страны — не личные гражданские или политические свободы, но социальные права гражданина, предусматривающие материальную безопасность и свободу от абсолютной нищеты. В сравнении с другими развивающимися странами, особенно с ближайшим соперником — Индией китайский коммунизм подразумевал свободу от абсолютной нищеты, а не свободу от относительной нищеты.

Это проблема характерна не только для Китая, но и для всего мира. Относительная массовая нищета в условиях очень высокой производительности в экономике означает, что внутри страны отсутствует достаточный спрос на произведенные товары. Страна вынуждена непропорционально наращивать экспорт этих товаров. Китай экспортирует намного больше, чем импортирует, и таким образом зарабатывает колоссальные суммы в иностранной валюте, особенно в долларах, а из-за недостаточного спроса

внутри страны ему приходится инвестировать в развитые страны. Это подпитывает мировой дисбаланс, о котором речь пойдет в главе 11 и который стал одной из главных причин Великой рецессии 2008 г. Поэтому мир заинтересован в том, чтобы повысить уровень жизни основной массы населения Китая.

Возможно, Китаю удастся разрешить эту проблему путем классовой борьбы. Рабочее и крестьянское сопротивление в Китае имеет давнюю историю, а за последнее время было достаточно проявлений недовольства. В 1980-х гг. студенческие волнения закончились событиями 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. Студенты требовали большей политической свободы, но их выступления были спровоцированы ростом цен и коррупции чиновников, и это недовольство нашло поддержку среди городских рабочих и многих партийных чиновников. Консерваторы сочли это недовольство крайне опасным, и им удалось убедить ЦК в необходимости применения силы. Затем более важными стали требования рабочих. Для рабочих ПГС реформы означали конец социально гарантированной «железной миски риса». 80 млн рабочих-мигрантов на частных предприятиях в прибрежных провинциях никогда не имели таких привилегий. До 2008 г. этот сектор экономики держался на плаву, безработица не представляла собой проблемы, а приезжие женщины-работица вели себя тихо и покорно. Однако в обеих отраслях наблюдалась жестокая эксплуатация. Теперь участились случаи протеста в экспортных отраслях, нередкими стали забастовки, которые были не таким широко распространенным явлением на ПГС. Второе поколение рабочих-мигрантов, большинство из которых уже не вернется назад в деревню, обрело уверенность в себе и в большей степени было готово к протесту. Таким образом, случаи протеста рабочих множилось, равно как и количество трудовых споров, что стало следствием значительного увеличения числа судебных исков против работодателей и чиновников в конце 1990-х гг. Согласно утверждению Ли (Lee 2002), переход от государственного социализма к рыночному привел к радикализации рабочих, чего не наблюдалось в Советском Союзе.

Ли (Lee 2007a) провела сравнение случаев протестного движения в конце 1990-х гг. в двух регионах. На севере промышленного пояса в городе Ляонин закрытие одного из ПГС в рамках правительственной программы реформ привело к значительному росту безработицы, притом что многие рабочие не получали зарплату месяцами или пенсий либо других выплат, предусмотренных законом. Примерно половина всех ПГС были остановлены или временно сократили объемы производства и не имели возможности производить выплаты. Рабочие были убеждены,

что ответственность за это должны нести местные и региональные правительства, и обратились к ним с требованием заплатить положенное, однако ничего не добились. Рабочие неоднократно обращались с жалобами к чиновникам, организуя сбор подписей и шумные демонстрации на улицах и у зданий местных и региональных органов власти. Эти выступления нашли поддержку общественности и встретили сочувствие ряда чиновников. Даже полицейские, окружавшие протестующих, демонстрировали свое сочувствие. Рабочие были рады поддержке извне, но из осторожности ограничили свои выступления рамками отдельного трудового подразделения, *данвеля*, которое в условиях государственной социалистической системы создавалось по месту жительства и занималось выплатой социальных пособий. В результате протест носил спорадический и разрозненный характер, а случаи совместных выступлений нескольких подразделений были редки, что явилось очевидной слабостью.

Ли видит две основные причины такого положения. Во-первых, при всей распространенности жестокой эксплуатации она принимала различные формы на различных предприятиях и среди различных категорий рабочих в зависимости от возраста, квалификации и классового статуса. Поэтому причины конфликтов в различных местах были отличны друг от друга. Во-вторых, рабочие понимали, что власти в случае более массовых выступлений тут же прибегнут к репрессиям. Протесты на уровне производственной единицы были допустимы, но, как сказал один рабочий, «нет необходимости объединяться с другими единицами. Государство решит, что мы пошли на бунт, если мы будем действовать скоординированно с другими». Рабочие ссылались на нормы и законы, которые режим должен был формально соблюдать. Это было не вызовом государству, а требованием, чтобы государство выполняло то, что оно должно было выполнять в соответствии с классовыми, товарищескими и гражданскими нормами китайского социализма. Рабочие просили, чтобы режим придерживался норм социализма, определенных Мао, при котором, как они считали, отношение к ним было достойным и справедливым. Вероятность успеха такой тактики была крайне малой. Рабочим пришлось бы продолжать создавать неприятности, чтобы добиться уступок, но трагедия этого пути, как это случается в условиях государственного социализма, была в том, что тем, кто стоял во главе демонстраций и выступлений, грозила очень жесткая реакция со стороны государства. Наилучшим исходом в данной ситуации было бы предоставление китайским рабочим больших демократических прав, в результате чего из их требований могло бы вырасти социал-демократическое рабочее движение. Однако на настоя-

щий момент имеется мало признаков, которые свидетельствовали бы в пользу такого развития событий.

Ли отмечает низкий уровень зарплат и плохие условия труда рабочих, занятых на промышленных предприятиях в стремительно развивающихся южных прибрежных провинциях. Продолжительность рабочего дня часто составляет 12 часов при шести- или семидневной рабочей неделе, имели место физические наказания, а рабочие часто даже не знали расценок на выполняемые ими работы. Такая эксплуатация сравнима с тем, что было описано Фридрихом Энгельсом в работе «Положение рабочего класса в Англии в 1984 году». Законы, призванные защищать права рабочих, игнорировались зачастую с согласия правительства, поскольку оно хотело привлечь иностранный капитал, а обеспечение высокой прибыли зависело от того, в какой степени удастся пренебречь законом. Суды выступали на стороне работодателей, аргументируя это тем, что соблюдение трудового законодательства приведет к оттоку иностранных инвестиций. Ли отмечает, что в Китае в бурно развивающихся отраслях размер оплаты труда низок не только по причине избытка рабочей силы, но и потому, что издержки воспроизводства рабочей силы оплачиваются сельскими общинами, а не работодателями. А значит, сельские общины также подвергаются косвенной эксплуатации. Протесты рабочих носили эпизодический характер, на старых предприятиях обычно не существовало структурных рабочих организаций. Приезжих рабочих трудно организовать, поэтому протестов было немного и протестовали в основном небольшие группы рабочих из одного землячества. Они фокусировались на размере зарплат, вновь ссылаясь на нормы, установленные самим режимом, и недавние заявления о верховенстве закона. В Китае рабочие и крестьяне ссылаются на закон, а буржуазия — работодатели и чиновники — пренебрегают им (Lee 2002). И в этом случае рабочие проводят тонкую линию, отделяющую демонстрации с требованиями соблюдения закона от действий, которые могут быть восприняты как угроза работодателями и чиновниками, обычно тесно связанными друг с другом.

Поэтому большинство протестов неэффективны. Рабочие уже не могут полагаться на защиту партийных секретарей, которых раньше использовали для партийной работы на предприятиях. Партийные чиновники часто получают часть прибыли предприятия и поэтому не поддерживают требований повышения заработной платы или расширения льгот. Профсоюзам не хватает средств, и они неэффективны. Руководство предприятий почти не ограничено в своих правах. Реформы не принесли рабочим освобождения. В европейских, американ-



ских и японских компаниях, работающих в Китае, условия труда часто бывают лучше, если только они не передают производство субподрядчику. На частных китайских, гонконгских, заморских китайских и корейских предприятиях условия труда хуже. Но режим считает, что эксплуатация необходима для того, чтобы Китай мог использовать свое относительное преимущество в виде квалифицированной, но дешевой рабочей силы (Taylor et al. 2003; Chan 2001; Lee 2007b настроены менее оптимистично в вопросе влияния западных фирм).

Каждое новое руководство партии заявляло о своем желании повернуть вспять процесс роста неравенства, однако рыночные реформы мешали им сделать это. Получившие самостоятельность местные чиновники не хотели изменения выгодной для них системы. Расширяя поле деятельности для частных и местных предпринимателей, государство теряло свои ресурсы. Государственные доходы с отметки 35% ВВП в 1979 г. сократились до 10% в 1996 г. Децентрализация, проходившая в рамках реформ, привела к тому, что бремя расходов на медицинское обслуживание и образование легло на местные органы власти. Нехватка средств в сельской местности и провинциях, расположенных в глубине страны, стала причиной ухудшения медицинского обслуживания и уменьшения размера пенсий и вызвала рост смертности, особенно после того, как начался процесс разукрупнения ПГС. Когда в конце 1990-х гг. правительство начало возвращать себе власть, произошло увеличение государственных доходов, достигших в 2005 г. 20% ВВП. Это открыло целый ряд возможностей.

Но политические проблемы остались на месте. Цзян Цзэминь настаивал: «Сначала — ВВП, социальное обеспечение — потом». И эта позиция была поддержана партией в крупных городах и прибрежных провинциях. В 2002 г. на посту Генерального секретаря КПК его заменил Ху Цзиньтао, который вместе с премьер-министром Вэнь Цзябао заявил о необходимости уменьшить неравенство и улучшить социальное обеспечение. Под бурные возгласы одобрения они объехали наиболее бедные районы страны, обещая улучшение социальной защиты и создание новых рабочих мест. Были снижены налоги в сельской местности, увеличены субсидии, проведены незначительные улучшения в медицинском обслуживании и образовании в сельской местности, провозглашена переориентация экономики с инвестиций и экспорта на внутреннее потребление и государственные услуги. Но реформы продвигались медленно, и богатые регионы противились им. Это политический вопрос, демонстрирующий противостояние между правыми и левыми (Naughton 2007).

Хотя режим и предпринимал меры по обузданию коррупции, существуют различные мнения по поводу их эффективности. Гипотетически это может стать серьезным вопросом для правящего режима. Если партийно-государственный режим утратит контроль над своими чиновниками, а массивные поиски ренты приведут к снижению экономического роста, то это вызовет недовольство государством снизу. Ли (Lee 2007b) усматривает здесь повод для оптимизма, потому что рабочее движение сумело добиться ряда успехов в последнее время, а правительство пошло на проведение ряда прогрессивных реформ, направленных на совершенствование системы пенсионного обеспечения, снижение уровня безработицы, определение процедуры банкротства, борьбу с коррупцией и создание чрезвычайного фонда на случай бедствий. Режим опасается общественных беспорядков, оставаясь враждебным по отношению к массовым общественным движениям. Поэтому она считает, что китайские рабочие в большей степени представляют собой силу для проведения реформ в социальной политике, чем для осуществления политических перемен, что означает большую вероятность постепенного перехода.

Противоположного мнения придерживается Пей (Pei 1994, 2006), который усматривает тут затаившуюся катастрофу. Поначалу он считал, что Китай достаточно успешно следует по пути эволюционного авторитарного перехода к координации рынка и частной собственности. И хотя он заметил некоторые побочные эффекты, их влияние на переход власти от государства к гражданскому обществу при возможном поощрении определенной степени демократизации было очень ограниченным. В последнее время он отмечает ряд противоречий в избранном Китае пути. При становлении рынка в условиях авторитарного режима возможности получения ренты от служебного положения возрастают и коррупция достигает пределов, когда государство превращается в эксплуататора и уже представляет собой опасность для эффективности рынка. Китай, утверждает он, попал в ловушку, которая и положит всему этому конец. Партия прекрасно осознает такую возможность, но решает эту проблему характерным для нее секретным образом. В борьбе с коррупцией, если в ней замешан функционер высокого уровня, Центральная комиссия по вопросам дисциплины, высший партийный орган, расследует обвинения. Деятельность комиссии не ограничивается законом, поэтому подозреваемого могут похитить, допросить с пристрастием и держать в заключении месяцами. Вердикт зависит не только от собранных фактов, но и от результатов секретных переговоров между партийными кликами. Если функционер будет признан виновным, он пой-

дет под суд. Судебный процесс будет носить формальный характер, а строгость приговора может быть определена в ходе переговоров. Но главный источник коррупции — сама партия. На высоком уровне партийные и государственные деятели и чиновники от бизнеса поддерживают друг с другом связь по своей собственной закрытой телефонной линии, «красной машине». Один заместитель министра признался, что «более половины полученных им звонков по „красной машине“ касались просьб об услуге со стороны высокопоставленных партийных чиновников, просящих для своего сына, дочери, племянника, племянницы, двоюродного брата или хорошего друга какой-нибудь работы» (McGregor, 2010).

Конечно, Китай продолжает оставаться деспотичным. Экономическая власть частично отделена от государства, но и она сама по себе деспотична. На протяжении всего периода реформ не было никакой гласности. Массы проявляют больше беспокойства, но они не раскачивают лодку из опасений хаоса или расплаты, если лодка все же будет опрокинута. Конституция запрещает деятельность, направленную на подрыв государственной власти, предусматривая неотвратимую и жесткую кару. Средства массовой информации контролируются государством. Начиная с 2001 г. положения закона о постоянной регистрации, ограничивающего переезд жителей сельской местности в города, — *хукоу (системы хукоу)* — были смягчены. Но даже переехав в город, сельские жители ощущают себя гражданами второго сорта. Трудовое законодательство стало строже, правда, непонятно, каким образом положения закона будут выполняться. Начиная с 1988 г. в выборах в местные органы власти в сельской местности участвуют большинство жителей страны, но их нельзя считать по-настоящему свободными — отсутствуют политические права на общенациональном или региональном уровне. Власть в провинции Синьцзян, некоторых частях Внутренней Монголии и Тибета все еще зависит от военных, хотя к другим национальным меньшинствам, если они не требуют автономии, отношение вполне нормальное.

## СРАВНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМ В КИТАЕ И РОССИИ

Китай не до конца отказался от коммунизма. Некоторые из шести основных характерных черт коммунистических режимов, определенных Брауном (перечисленных в главе 6), по его собственному замечанию (Brown 2009: 604–606), сохраняются. Применительно к экономической власти рынок заменил плано-

вое хозяйство лишь в деталях, а не в целом на уровне управления макроэкономикой, которое находится в руках партийно-государственной элиты. Идеологически произошел отказ от двух основных принципов коммунизма: перспектив построения подлинного коммунистического общества (о котором уже никто не даже не заикается) и принадлежности к мировому коммунистическому движению. Новыми легитимирующими принципами стали китайский национализм, рост экономики и обеспечение порядка. Коммунизм утратил свою идеологическую власть, и это стало основной причиной бурного расцвета коррупции. Неизменной осталась монополия партии на политическую власть, хотя последняя не является демократической или особенно централизованной. Такое сочетание трудно назвать коммунизмом. Но это и не капитализм. Я назвал это партийно-государственным капитализмом. В широком понимании это название вполне применимо к Вьетнаму и Лаосу. На Кубе меньше капитализма, но партийно-государственный режим носит более мягкий характер. Похоже, одна только Северная Корея осталась стоять подобно гранитной глыбе сталинских времен среди рыхлой массы остатков бывших коммунистических режимов.

Разительным представляется отличие от Советского Союза с точки зрения коллективной экономической власти. В 1978 г. доход на душу населения в Китае составлял всего 15% от аналогичного показателя в Советском Союзе. А в 2006 г. Китай уже обогнал Советский Союз и продолжает обгонять его до сих пор (Maddison 2007: 170–174). Экономика России зависит от цен на нефть и природный газ, составляющих основу экспорта страны, в то время как в основе экономики Китая лежит производство разнообразных товаров, обеспечивающее дешевую, но дисциплинированную квалифицированную рабочую силу. Ответом Китая на Великую неолиберальную рецессию стало увеличение инвестиций в экономику страны, направленное на расширение ее основ. В предыдущей главе был представлен весь масштаб бедствий, обрушившихся на Советский Союз при переходе от высоко централизованной системы коммунистического планирования экономики. В настоящей главе, напротив, мы проследили историю успеха Китая. В противовес этому можно указать на большее уважение гражданских и политических прав человека в посткоммунистической России. Демократия в России имеет свои недостатки, но Россия гораздо в меньшей степени авторитарна, чем Китай. Когда говорят об экономическом успехе Китая, чаще всего указывают на то, что там удалось сохранить жесткий политический контроль над процессом экономического перехода, в то время как в Советском Союзе такой контроль отсутствовал, потому что экономическая перестройка

происходила одновременно с политической и идеологической гласностью (Pei 1994). Кроме того, в Китае процесс перехода занял долгий тридцатилетний период, в то время как в Советском Союзе он произошел в течение всего шести лет. У Китая была возможность вырасти из плановой экономики, тогда как Горбачев, а за ним Ельцин уничтожили плановую систему, не предложив ничего взамен. Ключевой вопрос заключается именно в том, как им это удалось.

Но почему они пошли именно таким путем? Часто говорят, что преимущество Китая состояло в его изначально более низком уровне экономического развития и значительно меньшем количестве промышленных гигантов. Но отсталость не всегда является преимуществом, изначально в Китае было значительно меньше хорошо подготовленных технократов — ученых, инженеров, директоров заводов и фабрик, экономистов, агрономов и т. п. Как отмечает Стрейер (Strayer 2001: 402), более высокий уровень развития экономики стран Восточной Европы, таких как Венгрия, Польша и Чешская Республика, позволил им достичь больших успехов именно потому, что они в своем развитии были ближе к Западу, чем Россия или Китай. Внезапная потеря Восточной Европы и прибалтийских республик привела к нарушению торговых связей Советского Союза, а затем и России. Проблемы алкоголизма и связанные с ним фискальные осложнения были специфическим российским явлением. Ничего похожего в Китае не наблюдалось. У Китая было преимущество в виде экономических связей с другими азиатскими странами — Японией и Кореей, а также с китайской диаспорой, проживающей за океаном, которые были возобновлены в 1950–60-х гг. (Arrighi 2007). Но эта диаспора была связана с Америкой и Европой, поэтому были использованы как глобальные, так и макрорегиональные модели.

Но, пожалуй, более важным фактором была политическая власть. Китайская партийно-государственная элита была не так сильно централизована, как советская, зато в ее рядах было намного больше единства. Децентрализация экономики была запущена намного раньше — еще в 1960-х гг., когда были приняты меры по развитию промышленности на селе в период «большого скачка», продолжилась с возвратом к производству в крестьянских хозяйствах в 1963 г. после катастрофического провала «большого скачка» и получила дальнейшее развитие в 1970 г. — и все это во время правления Мао. В целом начало реформ мы относим к 1979 г., но база реформ была заложена раньше, включая децентрализацию и прагматизм. После того как была закончена «культурная революция» и отзвучало эхо гражданской войны, разделившей общество, наступил период политическо-

го примирения между образованной и политической частями элит, а чистки радикальных элементов, проведенные после 1976 г., привели к восстановлению партийного единства. Новое коллективное руководство опиралось на новое молодое поколение «красных инженеров», технократов, которые в то же время были и коммунистами, преданными делу развития через проведение технократических реформ и гораздо меньше думающими о собственной выгоде (Andreas 2009).

Поэтому Китай мог способствовать децентрализации, открывая поле деятельности для рынка местной промышленности и ферм в рамках правил и макроэкономических планов, составленных сплоченной партийно-государственной элитой. Особую важность и идеологическое значение для Китая имеет поддержание порядка, что сдерживает коррупцию и поиски ренты, характерные для политического капитализма, хотя, конечно, не исключает их полностью. В противоположность этому советские партийно-государственные элиты потеряли свою идеологическую ориентацию; они уже были в значительной степени коррумпированы при коммунизме и стремились использовать свои возможности для приватизации государственных и республиканских активов. Советские и российские реформаторы сменили свою идеологическую веру на веру в свободный рынок, чему способствовали их гораздо более сильные идеологические связи с Западом, а также захлестнувшая страну волна неолиберализма.

Китайцы оказались правы, а русские и их неолиберальные советники допустили ошибку. Экономике нужен порядок, которого рынок не в состоянии обеспечить автоматически. Как мы видели в главе 2, определенная степень государственного контроля в экономике способствовала развитию экономики в недавнем прошлом, особенно в случае догоняющего развития, правда, при условии, что государственная элита действительно заинтересована в развитии, а не в набивании собственных карманов. Проблема большинства развивающихся стран состоит как раз в том, что местные элиты не всегда заинтересованы в развитии страны. Китайцы воспользовались обеими идеологиями, что до сих пор позволяет им сдерживать коррупцию, — коммунистической идеологией и комбинацией восточноазиатских идеологий (общих с Японией и азиатскими «тиграми»), для которых обязательной нормой является солидарность, упорный труд и бережливость, позволяющие делать значительные накопления и инвестиции.

Неолибералы, оглядываясь на ошибки, допущенные ими в России, оправдываются тем, что идеи рынка не получили должного развития, или тем, что Россия по своей природе не

поддается реформам, что она слишком коррумпирована, что в ней сохранилось слишком много устаревших промышленных гигантов (Aslund 2002: 13–15). Но альтернатива была открыта. Если бы советское руководство отложило гласность до тех пор, пока перестройка обретет прочные институты, обеспечивающие интересы государства и соблюдение закона, то Россия могла достичь больших экономических успехов, хотя с гражданскими и политическими свободами пришлось бы немного подождать. Наверное, Горбачев не смог пойти на это, потому что в большей степени отдавал предпочтение гласности, а не перестройке. А кроме него, генерального секретаря партии, сделать это не мог никто. В принципе это было возможно, но миром управляют не принципы. И точно так же, как большинство китайцев высказались за сочетание экономического роста и соблюдение порядка, которое обеспечивало руководство страны, большинство жителей России аплодировали Путину, потому что он сумел наполовину воплотить этот идеал.

Арчи Баун (Brown 2009: 616) делает решительный вывод: «коммунизм как альтернативный путь организации человеческого общества обернулся кошмарным провалом». МакГрегор (McGregor 2010) менее категоричен, хотя тоже не симпатизирует коммунизму. Он заключает, что китайская коммунистическая система была «прогнившей, затратной, коррумпированной и зачастую дисфункциональной. Но помимо этого, к удивлению и ужасу многих на Западе, система оказалась достаточно гибкой и изменчивой, чтобы переработать все, что попадало внутрь ее. Похоже, что в обозримом будущем их желание оседлать остальной мир, подобно колосу, на своих безжалостных условиях может осуществиться». Хотя коммунизм в полной мере проявил свое ужасное лицо, у капиталистического рынка есть свои проблемы, подобным же образом у коммунизма были определенные достижения. В процессе развития, направленного на сокращение разрыва, сначала Советский Союз, а за ним Китай и Вьетнам поступали так же, как и любое другое сравнимое развивающееся общество. Что касается умения приспособливаться в экономической сфере и проявлять гибкость за рамками коммунизма и в отношении долгосрочного роста, и в отношении повышения материальных основ уровня жизни, достижения Китая беспрецедентны. Советский Союз обеспечил военную мощь, которая спасла значительную часть западных стран от фашизма, тогда как Китай начиная с 1950 г. использовал свои вооруженные силы в основном для решения задач внутри страны, а не для расширения имперских владений. Китай с осторожностью подошел к вопросу налаживания мирных отношений с США и к тому, чтобы не претендовать на роль лидера

в своем регионе. Отношения Китая со странами АСЕАН остаются достаточно хорошими, хотя теперь уже могут проявляться гегемонистские стратегии. Отношения с Японией остаются плохими в силу исторических причин. Тайваньский вопрос является потенциально опасным, как и претензии Китая на некоторые острова в Китайском море, — почти все жители континентальной части считают Тайвань частью Китая. Китайский национализм не позволяет остыть этим спорным вопросам, в которых ему противостоит японский и тайваньский национализм. Но в настоящее время Китай настроен более миролюбиво, чем США, а с точки зрения перспектив экономического роста он более успешен. В общем процессе развития более универсальной глобализации, в рамках которой коммунистические режимы уже не представляют сколько-нибудь заметную часть человечества, происходит глубинное изменение в распределении мировых сил.

Что ожидает нас в будущем? Оптимистически настроенные комментаторы предвидят постепенное движение Китая в направлении развития гражданских и политических прав. Ян (Yang 2004) считает, что коррупция и вседозволенность местных боссов уже сейчас урезаются, усиливается внимание к соблюдению требований конституции, суды становятся более независимыми и эффективными, а местные органы юстиции все в большей мере обращают внимание на действие чиновников. Возможно, в этом и состоит путь к развитию демократии и равенства. Другие возражают. Если коррупция и неравенство регионов вызывают серьезный протест, то трудно ожидать, что режим ослабит свой контроль. Режим обеспечивает порядок, что особенно ценно в развивающихся странах. Похоже, еще большую ценность он представляет в Китае. Более реалистичский и в то же время оптимистичский прогноз состоит в том, что партийная элита, встревоженная нарастающей протестной волной, может пойти на более решительные меры в борьбе с коррупцией и неравенством, хотя это может способствовать деспотизму, а не демократии. Подлинная демократия может оставаться недостижимой еще долгое время, хотя дальнейшая децентрализация без демократии вряд ли окажется способной эффективно противостоять коррупции и неравенству. В конце концов именно рыночная децентрализация стала основной причиной роста последних.



## ГЛАВА 9

# Теория революции

**Я** ОПРЕДЕЛИЛ революцию как народное повстанческое движение, которое свергает правящий режим и затем проводит фундаментальные преобразования по меньшей мере трех из четырех источников социальной власти: идеологического, экономического, военного и политического. Политическая революция меняет лишь отношения политической власти, как это произошло в 1911 г. в Китае и как пытались в 2011 г. во время «арабской весны». Более подробные объяснения наиболее значительных революций XX столетия, как удавшихся, так и неудавшихся, приведены в томе 3. В главе 5 настоящего тома в качестве примера я добавил послевоенные события в некоторых латиноамериканских и азиатских странах. Глава 7 повествует о событиях, связанных с развалом Советского Союза. Далее в этой главе я собираюсь уделить внимание Иранской революции 1979 г. В остальных главах обсуждаются основные реформистские альтернативы революционным преобразованиям, наблюдавшиеся на протяжении столетия. Взятые вместе, эти кейсы позволяют сделать широкие сравнительно-исторические обобщения, для того чтобы на их основе предложить набросок теории революции, хотя история постоянно ставит и революционеров, и контрреволюционеров перед новыми вызовами. Эти обобщения касаются всех четырех источников социальной власти.

Во-первых, в ходе революций XX в. вплоть до Иранской революции 1979 г. лидеры успешных восстаний следовали марксистской теории классовой эксплуатации, классовой борьбы и революционного преобразования, и в их руках марксизм оказался гибким идеологическим инструментом. Существенный компонент идеологической власти был необходим революциям модерна, ведь именно он обеспечивал общее видение исторического процесса, которое сплачивало восставшую идеологическую элиту и предписывало ей участие в высоко рискованных действиях в ходе восстания, а также осуществление всеобъемлющих социальных преобразований после захвата власти. Это означает,

что восставшие постоянно помнили о финальных целях своих преобразований даже тогда, когда занимались прагматичными насущными преобразованиями, что особенно хорошо заметно на примере китайских коммунистов. Это гарантировало, что захват власти не означал окончания революции. Такие революционеры не успокаивались, довольствуясь завоеванной властью, но, следуя своей идеологии, стремились к преобразованию других источников власти.

Во-вторых, принятие значительной частью рабочих и крестьян представлений о классовой эксплуатации означало, что классовая борьба была ключевой причиной современных революций, как и утверждали марксисты. Но я нашел немного доказательств в пользу марксистских представлений о том, что особенности производственных отношений в сельском хозяйстве — крестьянская собственность, наемный труд и тому подобное — могут положительно или отрицательно влиять на ее причины. Революцию запускает класс в значительно более широком понимании, часто обращенном к государству в не меньшей степени, чем к высшим классам. Революционной элите в таком случае приходилось спешно находить объяснение собственной роли в революции, поскольку она в основном состояла не из рабочих, а из буржуазных интеллектуалов. Важнее было то, что, поскольку революции происходили в относительно отсталых странах, революционные элиты оказывались перед необходимостью распространения теории промышленного классового конфликта Маркса на реалии крестьянского общества. Но с этим они быстро справились, ведь от этого зависело их собственное выживание! Классовая борьба стала основным вкладом отношений экономической власти в революцию. Это означало, что партии, во главе которых стояли идеологические элиты, получали массовую поддержку, либо постоянную, как это было в Китае, либо в решающий момент, как это было в России. Без такой поддержки ни одна революция не смогла бы выстоять в борьбе даже со слабыми, раздираемыми фракционной борьбой государствами и армиями.

В-третьих, как отмечал сам Ленин и как неоднократно повторяли многие другие, политическая слабость или раскол внутри правящего режима были необходимым условием революции. Здесь я несколько отклонюсь от общепринятой точки зрения и отмечу, что репрессивное эксклюзивное государство, которое *либо* инфраструктурно ослаблено, *либо* внутренне расколото, представляется наиболее уязвимым для революции. В этом и заключается главная роль отношений политической власти в качестве причины революции. Как мы увидим далее, революционерам приходилось также распространять

собственную теорию эксплуатации и революции на экономические и в еще большей степени на политические реалии. Исходя из этого, отметим, что демократии мало подвержены революциям. В них, как правило, причины недовольства устраняются в ходе институализированных электоральных процессов. Крах Веймарской республики наступил лишь после серии кризисов, длившихся более десяти лет и приведших к ослаблению этих институтов.

В-четвертых, революциям, имевшим место в рассматриваемый период, за исключением латиноамериканских стран (большинство из которых закончились неудачей), предшествовали серьезные военные поражения, как это видно на примере модели революции, которую предлагает Скочпол. Но война также продолжала определять форму самой революции. Революция, как и возникшая в ответ контрреволюция, милитаризовалась и сопровождалась гражданской войной. Это происходило в России, Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, на Кубе, в Никарагуа и происходит сегодня в Непале. В этом и состоит принципиальная роль военной власти.

Таким образом, необходимые предпосылки революции обеспечиваются всеми четырьмя источниками социальной власти, поэтому отдать предпочтение какому-то одному источнику при объяснении революции не представляется возможным. На самом деле более сильное влияние одного источника могло компенсировать слабость другого. Так, китайское национальное государство не было особенно слабым. Оно было значительно сильнее, чем организованные коммунистами советы, противостоявшие ему, но оно было критически слабее японского государства, военные которого продолжали дробить власть китайских националистов, что в конечном счете позволило коммунистам одержать победу. В Латинской Америке немногие революции и их попытки обошлись без войны, потому что правящие режимы были до крайности персонифицированы и эксклюзивны. Похожим образом, как мы увидим на примере Ирана, отсутствие войны компенсировалось крайней персонификацией и слабой инфраструктурой шахского режима.

Названные элементы являются общими в широком смысле. Однако не все революции были одинаковыми. Мы можем наблюдать развитие двух, из которых может получиться три исторически выраженные революционные волны. Первая волна приходится на 1917–1923 гг., на гребне которой находилась большевистская революция в России, столь неудачно прошедшая по странам Центральной и Восточной Европы. Как я отметил в главе 6 тома 3, большевистская революция остается единственным примером успешной революции в индустриа-

лизующемся обществе. Основным актором, как и предсказал Маркс, выступил организованный пролетариат, промышленный рабочий класс. В 1917 г. большевики начинали как маргинальный актер. Однако их влияние быстро росло, правда, отчасти за счет того, что они заигрывали с рабочими, действия которых уже были революционными. Рабочим требовалась поддержка вооруженных солдат из числа крестьян, в то время как захват крестьянами земель парализовал власть в сельской местности, к тому же в конечном счете рабочим было необходимо руководство со стороны большевиков. При этом рабочие составляли ядро восставших и во время революции, и в ходе последовавшей за ней Гражданской войны. Однако в остальном индустриальном мире, как и в сегодняшнем мире, движущемся по пути индустриализации, промышленному рабочему классу было суждено не совершать революции, а реформировать капитализм. Рабочие были главными (хотя опять-таки не единственными) действующими лицами в реформировании капитализма и углублении демократии, генерируя при этом не революцию, а то, что Маршалл называл социальным гражданством. Но почему же все-таки большевикам и рабочему классу России удалось добиться уникального успеха в свершении революции?

Изначальный ответ прост: война. Первая мировая война привела к коллапсу инфраструктурной власти российского государства с последующей потерей легитимности в глазах народа. Но Россия представляла собой единственный пример страны с крупным промышленным сектором (особенно важным в двух столичных городах), которая в ходе масштабной войны столкнулась со значительными потерями армии, состоявшей в основном из пехоты, используемой в качестве пушечного мяса, чтобы компенсировать недостатки в снабжении и нехватку вооружений, что привело к общему восстанию солдат *в ходе самой войны*. Солдаты в основном были выходцами из крестьян, в то время как большинство матросов — из рабочих. Во время восстания солдаты использовали оружие для поддержки рабочих и демонстрантов, требующих хлеба, а также крестьян, захватывающих землю. Для этих групп вариант марксизма, объясняющий эксплуатацию большей частью политическими и военными причинами, имел смысл. Лишь рабочие, похоже, видели главного врага в капиталистах, в то время как все инакомыслящие видели эксплуататора в государстве, особенно в условиях, когда власть отправляла миллионы людей на гибель в бессмысленной и бесполезной войне. Большевики к тому времени превратились в единственную партию, которая вела речь об эксплуатации в самом широком смысле. Они включили в свою программу требования земли, хлеба и мира, что могло привести к уничтожению

основных источников эксплуатации, и люди прислушивались к ним. В этом и состоял провал всех монархических и либеральных альтернатив, говоря о которых Троцкий провозглашал, что «революция происходит тогда, когда не остается другого пути»<sup>1</sup>. Заметим, что солдаты не просто отказались подавлять революцию — они стали ее ударной силой и преодолели пропасть между рабочими и крестьянами, наличие которой способствовало поражению революций во всей остальной Европе.

Позднее, проводя экономический анализ революции с позиций «сложного и неравномерного развития», Троцкий утверждал, что в России произошел одновременный взрыв противоречий феодализма, касавшийся в основном крестьян, и капитализма, касавшийся рабочих. Ситуация была острой, но сама по себе она могла породить отдельные выступления, которые можно было успешно подавить по отдельности, как это произошло в свое время в Испании. Рассчитывая на успех, большевики полагались и на войну. В России выделялись две причинно-следственной связи: первая представляла собой классовую борьбу, руководство которой было связано с промышленным пролетариатом, марксистской идеологией и большевистской политической организацией; вторая состояла из серии крупных военных поражений, ослаблявших действовавшую власть, вооружавших революцию и позволявших солдатам стать мостом через пропасть, разделявшую рабочих и крестьян. Вместе эти две причинно-следственных связи привели к успеху.

Этот вывод подкреплен в главе 6 тома 3 при анализе причин поражения революционной волны в Германии, Австрии, Венгрии и Италии в период 1918–1923 гг. И здесь военное поражение привело к ослаблению действовавших режимов (основательно ослабленная итальянская армия лишь формально считалась победителем). В этих странах, в отличие от России, потерпевшие поражение армии восстали лишь в самом конце войны. Солдатские советы возникали одновременно с рабочими советами, и в ряде случаев с требованием революции выступали и те и другие. Но у новых центристских режимов, появившихся после окончания войны, нашлось решение: в результате демобилизации солдаты отправились по домам, но без оружия. Солдатская масса исчезла, оставив после себя лишь ядро революционно настроенных солдат, которым противостояли более организованные контрреволюционные военизированные формирования под командованием армейских офицеров. Это также означало, что солдатам не удастся стать мостом через пропасть, которая разделяла рабочих и крестьян и которая в указанных

---

1. Троцкий, Л.Д. (1997). История русской революции. Т. 2. М.: Республика. С. 152.

странах играла важную роль слабого звена, поскольку большинство крестьян оставались пассивными в ходе послевоенных волнений. Существовали и другие различия между этими странами и Россией. В Германии и Австрии рабочие-реформисты могли преуспеть в послевоенных республиках, что подрывало позиции левых революционеров. Контрреволюционная румынская армия вторглась в Венгрию, что помогло свергнуть режим, установленный революционерами в столице, и этот случай был единственным после Первой мировой войны, когда пришедшие извне контрреволюционеры сыграли основную роль.

Большевики захватили власть в столицах также без особых сложностей, и немедленных попыток контрреволюции не последовало. Однако консерваторы перегруппировали свои силы и создали вооруженные отряды белых в различных областях страны, вынудив тем самым большевиков на формирование Красной Армии. Последовавшая Гражданская война длилась несколько лет и привела к значительным разрушениям, особенно у большевиков. Но после того как западные союзники прекратили оказывать значительную помощь белым, их злодеяния по отношению к гражданскому населению и внутренние раздоры позволили красным одержать победу. С тех пор внутри страны уже не возникало значительных контрреволюционных движений, если не считать тех, которые вспыхивали в воображении Сталина. Большевистские вожди использовали предполагаемую угрозу контрреволюции для легитимации собственной деспотической власти, но в основе всего лежали их собственные утопические цели, которые навязывались населению, с неохотой их воспринимавшему. Реальная контрреволюционная угроза Советскому Союзу исходила со стороны других государств, особенно после того, как Гитлер захватил власть в Германии. Строительство советских сил обороны означало приоритет ускоренной индустриализации, что, в свою очередь, вело к тому, что избыток сельскохозяйственной продукции направлялся на обеспечение капиталовложений в промышленность, а это требовало принуждения противившегося крестьянства. Таким образом, Русская революция привела к тому, что деспотизм государства стал еще сильнее по сравнению с довольно неэффективным царским режимом. Таковым было сочетание власти и трансформационных целей, поставленных большевиками и особенно сталинским режимом, столкнувшимся одновременно с геополитическим давлением и нежеланием перемен со стороны крестьянского населения.

Скочпол (Skocpol 1979) отмечала, что революции приводят к усилению государственной бюрократии. Это несправедливо по отношению к Французской революции (как я указывал

во втором томе). Но это справедливо по отношению к Русской революции, правда, особым образом, который связан с изобретением партии-государства. Инфраструктурная власть государства зависела не только от возросшего числа правительственных учреждений, но и от партии, создавшей собственную службу безопасности, присматривавшей одновременно и за государственными чиновниками, и за населением в целом. Партия не была бюрократией в нейтральном смысле, который ей придает Вебер и который связан с выбором наиболее рациональных способов достижения известных целей, но который идеологически заряжен инструментом, нацеленным на достижение предельных ценностей. Более того, склонность власти к масштабным проектам, требующим проведения массовой мобилизации, была отнюдь не бюрократического свойства. Но пределы государственной власти проявлялись в психологической отстраненности граждан (а в конце и самой партии) от режима. Тем не менее эта революция привела к усилению как деспотической, так и инфраструктурной власти государства, что в целом, по всей видимости, нельзя считать полезным.

Вторую революционную волну вдохновили китайские коммунисты. Во главе революции также стояли марксисты, но, как почти все более поздние революции, она совершалась от имени крестьян, а не рабочих. Под руководством Мао Цзэдуна Коммунистическая партия Китая преобразовала марксизм в учение о сельской эксплуатации и классовой борьбе: бедные и средние крестьяне выступают против эксплуатирующих их богатых крестьян и землевладельцев, которые заставляют их работать, платить арендную плату, налоги и прочие повинности. Подобная разновидность эксплуатации была понятна крестьянским массам и жизненно важна для успеха коммунистов, так как крестьяне в большинстве своем начинали понимать, что от коммунистов они получают большую материальную помощь, чем от националистов или от японцев. Эта революция, подобно большевистской, носила классовый характер, использовала марксистскую терминологию и ее возглавляла сплоченная Коммунистическая партия. Но крестьяне опасались власти имущих классов и государства (а затем и японцев), поэтому они редко решались на нечто большее, чем локальные, носящие скорее ритуальный характер демонстрации-восстания, имевшие ограниченные цели, и обычно без особой радости встречали коммунистов в своих деревнях, потому что в дальнейшем ожидали репрессий со стороны режима.

Поэтому вторым обязательным требованием революции стала способность коммунистов к военной защите крестьян в тех базовых областях, где действовали советы, куда коммуни-

сты пришли и где они правили. КПК *была* армией с появления первых советов в провинции Цзянси в 1931 г. и до своей окончательной победы в 1949 г., а политика партии всегда включала создание отрядов самообороны на базовых территориях, обеспечивавших первоначально проводившееся на них перераспределение земли, ренты и налогов. Другим предварительным военным условием было японское вторжение в 1931 г., которое переросло в Тихоокеанскую войну и продолжалось до 1945 г. Националистические силы Чан Кайши были отвлечены на эту войну, что, вероятно, помешало им окончательно уничтожить коммунистов, а сам режим Чан Кайши был ослаблен неспособностью победить японцев. В результате коммунисты сумели защитить и расширить подконтрольные им территории и были готовы противостоять националистам после того, как японцы капитулировали.

И вновь мы находим сходные общие причины: классовая борьба с учетом сельского идеологического уклона Мао Цзэдуна и ряд военных поражений на территории самого Китая, позволивших сплоченной идеологической элите Коммунистической партии выстроить оборонительную военную мощь, необходимую для создания местных советов, привлечения на свою сторону крестьян и достижения окончательной военной победы.

Почти все революции второй волны, следовавшие после 1949 г., совершались от имени крестьян, и большинство в основном оказывалось под влиянием китайских коммунистов, хотя и пользовалось материальной помощью со стороны Советского Союза. Но между Китаем и Россией существовало различие. За пределами Латинской Америки революции носили еще и антиколониальный характер, что объединяло классовую борьбу крестьян с националистическим антиколониализмом. Особенно в Азии крестьяне видели двух связанных между собой врагов: колониальное государство и его главных коллаборационистов в лице местных землевладельцев и купцов. Это положение вещей было в значительной степени ослаблено Второй мировой войной, сначала когда Япония положила конец колониальным режимам Великобритании, Франции и Нидерландов в Азии, а затем когда США, Британская империя и Китай нанесли поражение Японской империи. В Африке, в странах Карибского бассейна и в других местах война даже привела к ослаблению позиции победившей Британской империи в глазах местных жителей. Позиции французов, бельгийцев, голландцев, потерпевших поражение, но сумевших от него оправиться, были ослаблены еще в большей степени. После этого националистические движения во всем мире добились независимости в бывших колониях чаще всего в результате чисто по-



литических революций, но в некоторых случаях в результате социальных революций, когда классовая борьба переплеталась с антиколониальным национализмом. Все революционные повстанческие движения в Азии — в Корее, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже — совмещали в себе марксистскую и националистическую идеологии. Похожее имело место в большинстве выступлений социального характера в Африке — в Алжире и Анголе. Правда, в Анголе, как и во многих африканских странах, где происходили антиколониальные политические революции, об интересе к судьбе народа можно было судить лишь по блеску в глазах представителей революционных элит. На деле чувство национальной идентичности почти полностью отсутствовало в отличие от большинства стран Восточной и Юго-Восточной Азии с долгой политической историей. В Африке основной упор делался на расовом вопросе — выгнать белых, а в исламской Африке к этому еще присоединился религиозный — выгнать христиан. И хотя я не согласен с Чалмерсом Джонсоном, который объясняет одну из причин Китайской революции национализмом крестьян, его теория намного ближе к истине во всех этих случаях, так как в их основе лежал национализм, направленный против империализма.

Итак, в основе второй революционной волны лежали три основные причины: классовая борьба в сельской местности, национальный/расовый антиколониализм и поражение правящих режимов в крупной войне. Отметим, что Великобритания, победившая в мировой войне, пострадала лишь от политических революций и успешно подавила вооруженные восстания в Малае и Кении. Макроэкономические условия и конкретные производственные отношения имели определенное значение, но обычно не очень большое. Вместе с крестьянами, симпатизировавшими коммунизму, порой были фермеры-арендаторы, мелкие собственники, а иногда и безземельные сельскохозяйственные рабочие. У этих движений была различная социальная база, как отмечает Гудвин (Goodwin, 2001: 82–84), возражая скорее экономическим аргументам Пейджа и Вульфа. Тем, что действительно имело значение, была сельская военная борьба местных крестьян и землевладельцев, которые сотрудничали с иностранными колониальными властями и утратили свои позиции после их падения.

Таким образом, успешные революции не обязательно встречали сопротивление сильной внутренней контрреволюции после захвата власти. Так было в Китае, Северной Корее и Вьетнаме, где новые режимы пользовались значительно большей популярностью у населения, чем их внутренние оппоненты. Тем не менее этим революционерам приходилось противостоять

ять более мощным контрреволюционным силам, действие которых было обусловлено новым геополитическим контекстом. Главную роль в этом играла решимость США не повторять больше ошибок с Китаем, но, применяя всю необходимую силу, сокрушить коммунистические революции. США выделяли находившимся в опасности режимам многомиллиардную помощь и были готовы, если потребуется, пойти на применение тактики выжженной земли, показательные репрессии, убийство людей и уничтожение экономики в таких количествах и объемах, которые значительно ослабили бы любой коммунистический режим и сделали бы его непривлекательным для националистов в соседних странах. Поначалу Советский Союз и Китай противопоставляли этой поддержке свою помощь революционерам в Корее и во Вьетнаме, но устали от своих неуправляемых союзников на местах еще раньше, чем США. В противоположность этому в России революционеры в конце Первой мировой войны были во многом предоставлены сами себе, несмотря на кратковременные, плохо подготовленные случаи вмешательства Запада в ход Гражданской войны. В отличие от революционеров второй волны у них не было поддержки извне, как ее не было и у революционеров в странах Центральной и Восточной Европы. Можно утверждать, что беспомощность интервенции западных держав после 1918 г. была обусловлена послевоенной усталостью, но США, Советский Союз и Китай тоже были истощены после Второй мировой войны, но тем не менее решились на значительное вмешательство. США оказывали поддержку китайским националистам во время Тихоокеанской войны, но с началом гражданской войны предпочитали оставаться в стороне. В результате этого поражения наряду с ростом американского влияния в мировом масштабе произошло и усиление американской стратегии поддержки контрреволюции, что сузило перспективы революционеров по всему миру.

Американская стратегия может показаться не очень успешной: ничейный исход в Корее, поражение во Вьетнаме, к которому добавились неудачи в Лаосе и Камбодже. Но на это можно взглянуть иначе. В Корее опустошительные бомбардировки на севере страны позволили сохранить правящий режим на юге и создать покладистое капиталистическое и в конечном счете демократическое правительство Южной Кореи. А разрушение севера страны и его милитаризация в ходе гражданской войны способствовали тому, что коммунистический режим стал непривлекательным для жителей юга страны и всего мира. Во Вьетнаме бомбардировки также изувечили коммунистический режим, который, правда, в конце концов оправился и двинулся в направлении капитализма. В Камбодже под воз-

действием американских бомбардировок был установлен столь кошмарный режим «красных кхмеров», что коммунистический режим в соседнем Вьетнаме решил вторгнуться в Камбоджу, чтобы свергнуть его. В Лаосе вторжения американцев (а также вьетнамцев) привели к гражданским войнам и созданию очень слабых коммунистических режимов, которые были не в состоянии эффективно управлять страной. Поэтому для американских контрреволюционеров на самом деле существовало два уровня успеха. Более высокий уровень означал создание демократического капиталистического режима, но достигался редко. Более низкий уровень означал «выжженную землю» и разоренную страну, которые служили сильным стимулом для того, чтобы представители всех классов отвернулись от революционеров, а жители соседних стран не следовали их примеру. Политика США доказала свою эффективность в стратегических решениях более позднего времени, вылившихся в блокаду революции, особенно в малых странах, что делало разорение этих стран еще проще.

В моем объяснении легко узнать марксизм с его упором на классовую борьбу, но на этом он и заканчивается. Результаты революции несильно зависели ни от макроэкономических успехов капитализма, ни от производственных микроотношений. Революции происходили не в какие-то определенные моменты экономических циклов и не в результате экспансии мировой капиталистической системы. Они часто выпадали на периоды особых экономических трудностей, обычно вызванных войной. Выступавшие на стороне революции рабочие могли быть высококвалифицированными или неквалифицированными, крестьяне могли быть фермерами-арендаторами или мелкими собственниками, а иногда безземельными сельскохозяйственными рабочими. Социальная база движений была различной, хотя среди активистов обычно было значительно больше мужчин, чем женщин, а те, кто был готов рисковать, чаще были молодыми неженатыми людьми и зрелыми холостыми. Но общим у всех народных классов было отчетливое ощущение эксплуатации, возникавшее из чего-то большего, чем просто отношения между трудом и капиталом, потому что здесь присутствовало и чувство политической, военной и идеологической (в колониальных странах — расовой) эксплуатации. Такое сочетание позволяло умело приспособившимся марксистским идеологам доступно и зачастую корректно выявлять причины эксплуатации и средства борьбы с ней.

Вскоре после революции марксистские идеологи переставали быть такими гибкими. «Медовый месяц» заканчивался, и они приступали к жестким действиям против предположи-

тельно контрреволюционных классов, равно как и против всех политических инакомыслящих. Деспотическая власть государственной элиты усиливалась тем же образом и в основном по тем же причинам, что и в Советском Союзе. Сочетание утопических трансформационных целей, геополитического давления, нежелания крестьян идти на жертвы в интересах развития промышленности и производства вооружения приводило к росту деспотической власти. Инфраструктурная власть, периодически использовавшаяся партией-государством при запуске новых героических проектов, также укреплялась при внешне меньшей, чем в Советском Союзе, психологической отстраненности. Но в Китае чрезвычайная экономическая гибкость была задана правящим режимом, и то же самое затем повторилось во Вьетнаме, что дало режиму возможность создавать комбинацию рыночных и государственных экономических инструментов, позволявших стране достичь всеобщего и устойчивого экономического роста. Для революционеров XX в. это, без сомнения, было самым важным достижением, даже притом что эти реформы все еще не оказали заметного влияния на политические реалии.

Однако не все современные революции можно интерпретировать по аналогии только с советским или китайским опытом. В Африке существуют свои отличия, хотя антиколониальные восстания на континенте происходили под влиянием двух мировых войн, когда африканцев призывали убивать европейцев, и это нанесло серьезный ущерб так называемому превосходству европейцев. Еще больше отличий наблюдается в Латинской Америке, поскольку на континенте не было серьезных войн. Но там крайняя степень неравенства усугублялась расово-этническим неравноправием и долгой традицией крестьянских восстаний. Однако, наверное, в первую очередь здесь сказалась уязвимость правящих режимов, которые отличались высшей степенью персонализма и исключительности. Воздействие этих факторов вело к многочисленным попыткам революции, но лишь две из них увенчались успехом — на Кубе и в Никарагуа, притом что в них революционные партизанские движения подавлялись еще в середине 1960-х и в середине 1970-х гг. Здесь были слышны слабые отголоски антиколониализма, поскольку правящие элиты обычно пользовались поддержкой американской империи, а получившие университетское образование интеллектуалы распространяли утопические марксистские идеи в том виде, в каком их понимали Фидель Кастро и Че Гевара, трансформировавшие латиноамериканские повстанческие традиции, уходящие корнями во времена Сапаты и Сандино. Но в целом местные режимы были готовы к адекватным

действиям против повстанцев при условии, что США окажут им незначительную помощь извне. Победившие революции были направлены против в высшей степени репрессивного, эксклюзивного, персоналистского и инфраструктурно слабого государства, которое социологи в целом считают особенно уязвимым при повстанческих движениях. Этим режимам удалось оттолкнуть от себя даже многие элитарные группы; они не пошли на смягчение тяжелого положения народных масс, что могло бы стать причиной разрыва между реформистами и революционерами; им не хватало военного профессионализма, чтобы подавить движение повстанцев. Они располагали лишь личными преторианскими гвардиями, а не настоящими армиями (Wickham-Crowley 2001). Но затем эти революции столкнулись с возглавляемыми американцами силами контрреволюции, и в результате доверие к никарагуанским сандинистам и кубинским сторонникам Кастро было утрачено в результате проводимой американцами политики выжженной земли.

Таким образом, большинство отдельно взятых причин, выявленных ранее другими теоретиками или мной, не были всецело необходимыми для революции. Масштабную разрушительную и продолжавшуюся долгие годы войну в Китае и на удивление неэффективные правительства, действовавшие на Кубе и в Никарагуа, можно считать компенсацией отсутствия некоторых других причин. Подобная компенсация как нельзя лучше проиллюстрирована примером Иранской революции 1979 г., которая является исключением и не носила выраженного марксистского характера, — она не была вызвана войной и имела совсем другие результаты. Возможно, что, подобно Русской и Китайской революциям, Иранская революция может положить начало еще одной революционной волне. Я остановлюсь на этом более подробно.

## ПРЕДВЕСТНИК ТРЕТЬЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЛНЫ? ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1979 ГОДА

До 1979 г. Ираном правила династия Пехлеви<sup>1</sup>. Ее основал в 1925 г. армейский офицер Реза Шах, сын армейского майора, выходца из обычной крестьянской семьи. В 1941 г. во время Второй мировой войны, когда территория Ирана играла важнейшую роль для поставок в Советский Союз помощи с Запада, англичане засомневались в его лояльности. Великобритания ввела

---

1. В данном разделе я часто обращаюсь к работе Хазема Кандиля (Hazem Kandil 2012).

в Иран свои войска, легко разбив армию Реза Шаха, и поставила на престол его сына Мохаммада Реза Пехлеви, который правил страной вплоть до 1979 г. Поскольку его династия, так сказать, не была освящена временем, постольку сроки его правления зависели от его персонального успеха или провала. Шах лишь увеличил груз собственной ответственности, возглавив абсолютную монархию, опирающуюся на отживших свое феодальных аристократов-землевладельцев. Правда в 1960-х гг. он начал земельную реформу, целью которой было отстранение от власти класса землевладельцев и создание класса лояльных шаху крестьян. К сожалению, земель, полученных большинством крестьян, было недостаточно для выживания, и им пришлось перебираться в город, где они были вынуждены жить в маргинальных городских районах (Kian-Thiébaud 1998: 127; Kandil 2012). Тем самым была сужена социальная база поддержки шаха.

Экономика страны сильно зависела от добычи нефти, на долю которой в 1978 г. приходилось 98% экспорта. Связанный с этим импорт иностранных товаров подрывал основы иранского предпринимательства, особенно сказываясь на торговцах и ремесленниках на базарах, так называемых базаари, которых шах считал пережитком прошлого. Нефтяные деньги финансировали государство, в том числе все основные государственные проекты. В начале 1970-х гг. это привело к заметному экономическому росту, хотя доходы от него не выходили за рамки окружения шаха, для простых же людей все результаты экономического роста нивелировались инфляцией. Шах был настоящим реакционером, избегавшим понятий «модернизация» и «развитие», которым он предпочитал заявления о возрождении Великой цивилизации, а это означало сохранение двора со всеми его атрибутами, возвышенной риторикой и клиентелизмом давно отжившего свое монархического строя. Улучшилось положение с правами женщин, а также ситуация в здравоохранении и образовании, к тому же сам режим носил довольно светский характер. Шах вообразил, что может стать абсолютным правителем, действуя через новый класс технократов, но придворные интриги и коррупция помешали этому. Вновь испеченные богачи из числа приближенных подозрительным образом присваивали себе значительную часть богатств, что создавало в населении широко распространенное ощущение относительной депривации. Неустанная пропаганда, превозносившая монархию, привела к возникновению своего рода массового цинизма, который также наблюдался в Советском Союзе (Azimi 2008: глава 8). Арджоманд (Arjomand 1988) добавляет, что состояния, построенные на полученные от продажи нефти долларах, вызывали моральное смятение. Небольшое число иранцев разбогатело,

но материальные устремления большинства населения остались неудовлетворенными, а это порождало чувство относительной депривации и осознание того, что режим несправедлив и аморален, и способствовало распространению исламских идей социальной справедливости.

С геополитической точки зрения шах изначально выступал в качестве американского полицейского в Персидском заливе, хотя новейшие модели американского (и другого) военного оборудования он закупал в основном за счет доходов от продажи нефти. Такое положение стало причиной часто выдвигаемых против шаха обвинений, в которых его называли инструментом иностранного империализма, что было не совсем верно в 1970-х гг., когда он пытался лавировать между США и СССР. Шах продолжал вкладывать немислимые средства в оборону, в которой не было необходимости, и в закупки новейшего военного оборудования, которым в войсках не умели пользоваться. Режим становился все более коррумпированным и авторитарным, теряя поддержку населения, проводя липовые выборы, отправляя в тюрьмы тысячи инакомыслящих, — все это создавало серьезные проблемы. Развитие государства почти полностью зависело от доходов от продажи нефти, что вело к росту численности среднего и рабочего класса, появлению большего числа образованных людей, юристов, одним словом, к появлению широкой социальной базы, выступающей за усиление конституционных принципов правления. Но шах категорически отказывался пойти по этому пути, что было понятно всем потенциальным реформаторам. Как задолго до этого указывал Токвиль, либерализация деспотического правления представляет опасность для монарха. В отсутствие реформаторов внутри правящего режима наиболее вероятным становилось проведение реформ извне, а это означало революцию (Azimi 2008: 348–353).

Большинство теорий революции считает, что наиболее уязвимыми для революций являются персоналистские диктаторы. Шахский режим носил исключительно персоналистский характер: шах разделял и властвовал среди своих приспешников, которые отчитывались ему лично. То же самое относилось и к армейским командирам — на высшем уровне коллективное командование отсутствовало. Шах не допускал отклонений от проводимой им политики, и ни один человек, какой бы пост в гражданском или военном руководстве он ни занимал, не мог чувствовать себя в безопасности. Как отмечает Кандиль (Kandil 2012), это была абсолютная монархия в том смысле, что ее политическое ядро составлял шахский двор, в подчинении которого находились и военные, и органы безопасности страны. Шах понимал всю опасность ослабления собственной военной власти,

но система его правления серьезно ослабляла инфраструктурную власть государства. Как и американцы, шаха больше всего беспокоила угроза левой оппозиции, но он также внимательно следил за тем, чтобы «разделять и властвовать» в исламской иерархии — среди улемов. Он жестоко преследовал инакомыслящих клерикалов и выслал из страны нескольких из них, в том числе Хомейни, но при этом терпимо относился к руководству улемов в целом, состоявшему из консерваторов и ярых антикоммунистов. Вплоть до последних дней ислам не представлял собой опасности для шаха.

Определенную роль в этой революции классы все же сыграли, но не классы в узком марксистском понимании. В середине 1970-х гг. глобальная стагфляция затронула как средний класс, так и городскую бедноту. Форан (Foran 2005: 75–80; ср. Moshiri 1991: 124) пишет, что этот экономический спад ускорил революцию вполне в соответствии с теорией J-образной кривой Дэвиса, согласно которой революция происходит, когда за периодом долгого экономического роста следует внезапный и резкий спад. Однако Курцман (Kurzman 2004: 91–104) отмечает, что рецессия была не сильнее, чем в сопоставимых с Ираном развивающихся странах, в которых революции не произошло, к тому же в Иране те, кто пострадал больше всех, не спешили поддерживать диссидентов. Как бы там ни было, главная проблема шаха заключалась в том, что он политизировал и даже персонифицировал экономику. Его собственная семья и еще десять приближенных семейств владели всеми 500 крупнейшими промышленными и финансовыми корпорациями страны (Kandil 2012). Это была близкая к экстремальной форма политического капитализма, но у нее была и оборотная сторона для тех, кто пользовался ею в собственных интересах. Режим, то есть шаха, восхвалялся, когда все было хорошо, но затем для зависимой от нефти иранской экономики и мировой капиталистической экономики, над которой шах был не властен, наступили тяжелые времена, и его возненавидели. В некоторых странах реакцией на подобную ситуацию было появление неолиберализма; в Иране — недовольство, приведшее к революции. Парса (Parsa 1989: глава 5) утверждает, что в центре движения находились базары, пострадавшие в результате антиинфляционной политики, проводимой шахом (шах сажал в тюрьму торговцев, которые повышали цены на свои товары), к ним присоединились относительно привилегированные строительные рабочие и рабочие-нефтяники, а также «белые воротнички» и придерживающиеся левых взглядов студенты — широкая оппозиция, в которой преобладал средний класс. Классы играли незначительную роль в этой революции: немногочисленный шахский двор и капиталисти-



ческая элита противостояли большинству среднего класса, хотя в конце концов к революции примкнула и городская беднота.

Имело место и идеологическое недовольство: неприятие коррупции и вольнодумства, по слухам царившие в вестернизированном дворе Пехлеви. Такое сочетание культурного либерализма, включающего толерантное отношение к религиозным меньшинствам и правам женщин, и политический деспотизм были анафемой в глазах нижнего слоя улемов и молодых семинаристов. Клерикалы пользовались достаточно широкой идеологической властью в исламской стране, которая проистекала из их скромного образа жизни и бросающегося в глаза отсутствия коррупции. Высший клир добился компромисса: шах не будет трогать улемов, а они не будут критиковать его. Однако среди более молодых и радикально настроенных клерикалов начались волнения (Arjomand 1988: 201; Moshiri 1991: 126; Azimi 2008: глава 9). Эта революция с очевидностью зависела от недовольства широких масс экономической ситуацией, хотя и проходила в большей степени не под экономическими, а под идеологическими и политическими лозунгами (Kian-Thiébaud 1998: 202–209). Организованная оппозиция была немногочисленна и неоднородна — от коммунистической партии Туде и небольших партизанских движений слева до либералов, националистов и исламских популистов справа. Общность репрессивного опыта подтолкнула их к минимальному взаимодействию под националистическими и популистскими лозунгами. Недовольство нарастало, как отмечали иностранные дипломаты, но не сам шах. Он пребывал в капкане собственных иллюзий, окруженный великолепием восточного двора. Находясь среди подобострастных приспешников и иностранных торговцев оружием, шах не осознавал грозящей ему опасности.

Американские политики оказались перед типичной дилеммой: поддерживать ли их «сукина сына» с его антикоммунизмом в надежде, что он в конце концов придет к либеральному конституционному правлению. Кеннеди пытался оказать давление, но заметных результатов это не принесло. Политика и Картера была неоднозначной. Он заявлял, что иностранная помощь будет предоставляться только режимам, признающим права человека, однако на практике для шаха он делал исключение, щедро расхваливал его, называя оплотом борьбы против коммунизма, потому что ему была нужна иранская нефть. И хотя американцам не нравились попытки шаха настроить сверхдержавы друг против друга, его роль в ОПЕК, эмбарго арабских стран на поставки нефти, а также решение о ее национализации по-прежнему позволяли шаху использовать заинтересованность американцев в нефти.

Оппозиционные движения выживали лишь благодаря тому, что низовые репрессии, проводимые личной полицией шаха, носили в известной степени спорадический характер. Тайная полиция, САВАК, испытывала недостаток кадров и финансирования, поскольку шах опасался ее усиления как потенциального соперника (Kandil 2012). САВАК вовсе не была столь всемогущественной, как многие утверждали. Оснащенная новейшими вооружениями для ведения военных действий, армия, как и полиция, не располагала травматическим, нелетальным, оружием, необходимым для разгона демонстраций. Отсутствовали военизированные полицейские формирования. На протяжении всего 1978 г. число забастовок и демонстраций нарастало. Исламистские движения могли мобилизовать широкие сети людей, действуя в мечетях, и научились использовать традицию всеобщего траура на сороковой день кончины человека, превращая траурные процессии в демонстрации протеста в память жертв репрессий. Радикальным клерикалам среднего звена удалось использовать некоторые мечети для пропаганды лозунгов аятоллы Хомейни, который взял на вооружение ряд левацких лозунгов, дополнив их тезисом о том, что только ислам в состоянии противостоять американскому империализму и его марионеткам. Находясь в изгнании, он превратился в наиболее влиятельного критика режима, заявившего о своей ясной позиции, и остальным оппозиционным группам было сложно не соглашаться с его высказываниями. Сторонники Хомейни следовали каждому его слову и воспринимали его как нового харизматичного религиозного лидера (Azimi 2008: 342–347). К осени 1978 г. исламисты имели достаточно нежесткие связи с бастующими «синими» и «белыми воротничками», а также более тесные связи с левыми силами в целом.

В середине ноября 1978 г. шах продемонстрировал определенную решимость и, отправив в отставку гражданское правительство, ввел военное положение. Казалось, демонстрация военной силы на улицах заставила митингующих успокоиться, однако, когда демонстранты возобновили свои выступления, шах не захотел пойти на ужесточение репрессий и отказался назначать на высшие правительственные посты сторонников жесткой линии из числа решительно настроенных генералов. Линию, проводимую шахом, можно считать, как предлагает Курцман, политикой кнута и пряника, когда, подавляя массовые демонстрации, он в то же время искал примирения с либералами. Но оппозиция, как и последующие исследователи, увидели в этом его нерешительность. Тяжелая форма ракового заболевания ослабила способность шаха принимать решения, которые следовало принять еще в самом начале кризиса. Чув-

ствуя приближение своей кончины, шах не хотел оставлять в наследство своему восемнадцатилетнему сыну режим, построенный на терроре. Он отклонил просьбы военного командования об усилении репрессии, а армия, ослабленная годами политики «разделяй и властвуй», была не в состоянии самостоятельно организовать военный переворот.

Численность демонстрантов и их уверенность в своих силах росли. 10 и 11 декабря 1978 г. произошли массовые демонстрации, участники которых требовали заменить монархию конституционной республикой. По оценкам иностранных наблюдателей, число участников демонстраций в Тегеране достигло миллиона человек, в других городах на улицы вышли сотни тысяч человек. Для участия в выступлениях были мобилизованы до 10% всего населения, что пропорционально больше, чем во многих других революциях. В основном это были представители среднего класса. Крестьяне почти не участвовали в революционных событиях; городская беднота присоединилась к выступавшим уже после того, как шах был свергнут. Столкнувшись со столь массовыми демонстрациями, армия и сам шах оказались перед дилеммой. У них не было средств для подавления массовых волнений, таких как слезоточивый газ, резиновые пули и бронежилеты. Армия могла задействовать лишь летальные вооружения, что привело бы к многочисленным жертвам и дальнейшему усилению протестных настроений среди населения. Тем не менее некоторые генералы призывали шаха разрешить чаще открывать огонь на поражение, но он не решился на такой шаг. Случаи дезертирства были, но в целом армия оставалась дееспособной, хотя и не проявляла активности (Kurzman 2004: глава 6; Parsa 1989: 241–247; Arjomand 1988: 120–128).

Администрация Картера была в смятении. Совет национальной безопасности призывал применить «железный кулак», однако Госдепартамент рекомендовал примирение и конституционную монархию. Командированный в Иран для проведения вместе с иранскими генералами военного переворота американский генерал Хайзер был доведен до отчаяния полной неспособностью иранцев к коллективным действиям. Иранские генералы оставались верными шаху, но были не в состоянии совместно воздействовать на него. У армейских офицеров отсутствовал дух корпоративной солидарности, что было следствием крайне индивидуалистического характера шахского режима (Kandil 2012). Картер ни при каких обстоятельствах не был готов пойти на применение силы, к тому же он был занят проблемами в других частях мира, пока не стало слишком поздно. Один из сотрудников иранского отдела Госдепартамента США описал атмосферу смятения и бездействия, царив-

шую в Вашингтоне (Precht 2004; ср. Moshiri 1991: 129). Иранцы не до конца понимали сигналы, которые исходили со стороны США, но к середине декабря большинство из них считало, что Америка оставила шаха, да и он сам думал так же (Arjomand 1988: 128–33). Американские чиновники уже вступили в контакт с помощниками Хомейни и, похоже, убедили сами себя в том, что смогут работать и с либералами, и с армией, для того чтобы сформировать новое конституционное правительство. Это было их роковой ошибкой.

В январе 1979 г. уже деморализованный и очень больной шах, теперь уже осознавший, что США не будут его защищать, покинул страну (как он уже делал в 1953 г., когда против шаха выступил сторонник республики премьер-министр Моссадек). После побега армия отвернулась от шаха. В феврале демонстрации обрели характер мятежа, в котором тон задавали вооруженные банды исламистов и ультралевых. Армия не вмешивалась, и в стране произошел мирный переход к республиканскому режиму, во главе которого, казалось, стояли либеральные политики. Но либералы, националисты и левые партии были ослаблены годами преследований, и революцию возглавил Хомейни, умелый политический игрок, которому после бегства шаха удалось, действуя через мечети, настроить против сторонников современных взглядов из числа представителей среднего и рабочего класса еще большее число базари и городских маргиналов (Arjomand 1988; Keddie 2003: 222–239; Moshiri 1991; Foran 2005: 80–87). Результаты референдума, прошедшего в апреле 1979 г., оказались в пользу исламской республики, а в декабре аятолла Хомейни стал верховным правителем страны.

Была ли это революция? Конечно, массовые волнения имели место, хотя их масштабы зачастую преувеличивались. Оценки числа погибших сильно различаются, но, по всей вероятности, за 15 месяцев 1978–1979 гг. погибло около тысячи человек, так что число жертв не представляется таким уж большим. Столько же жертв унесли демонстрации в Египте в 2011 г., которые продолжались менее трех недель. Эти данные «не соответствуют образу широких массовых, устоявших под пулеметным огнем», утверждает Курцман (Kurzman 2004: 71; ср. с Kandil 2012). Это была политическая революция, направленная на свержение монархии и замену ее конституционной республикой под контролем теократии. Но она превратилась в идеологическую революцию, ознаменовавшую собой переход от западного секуляризма к исламизму, притом что две трети членов первого парламента 1980 г. были светскими или клерикальными интеллектуалами (Arjomand 1988: 202), напоминавшими французских революционеров, состав которых я описал в томе 2, и в чем-то

похожими на коммунистические элиты, которых я коснулся ранее в настоящем томе.

Раскол в новом режиме после переворота также напоминает Францию. Ведь для большинства участников «революция 1978–1979 гг. была в полном смысле попыткой добиться выполнения задач Конституционной революции 1905–1911 гг.» (Azimi 2008: 440). Однако события развивались иначе. Либералы и гражданские националисты, сформировавшие первое послереволюционное правительство, располагали лишь небольшими организациями. Им не хватало массовой мобилизации. Их боязливость отпугивала как левых, так и исламистов, а сотрудничество между тремя основными революционными группами близилось к своему концу. Хомейни выиграл последовавшую борьбу за власть, потому что обещал сформировать конституционное правительство, перехватив инициативу своих соперников; потому что пошел на сделку с военными, чего не сумели сделать левые (обещая им защиту от преследований в случае, если они не будут вмешиваться в ход событий), и потому что после свержения шаха Хомейни сумел завоевать поддержку масс, обещая экономические выгоды всем. Это в наибольшей степени привлекало базари и городскую бедноту. В конце концов он был лидером, пользующимся наибольшей поддержкой масс. Разумеется, он не сдержал своих обещаний, а предпринятые им репрессии были ужасны.

Экономика оставалась капиталистической, хотя режим Хомейни национализировал многие отрасли промышленности и занимался развитием инфраструктурных экономических проектов, что в итоге привело к удвоению численности государственного аппарата. Но уникальность иранского варианта партийного государства состояла в том, что государство контролировалось не партией, а могущественной клерикальной элитой — это была теократия. Властная структура была усилена за счет преобразований в военной сфере, где был создан исламистский вариант партийной милиции — корпус стражей революции, который просуществовал значительно дольше любой красной гвардии. Влияние стражей революции значительно возросло в ходе ирано-иракской войны, которая была спровоцирована обращениями Хомейни к шиитскому большинству населения Ирака с призывами начать восстание против суннитского правления Саддама Хусейна, хотя формально начало войне было положено иракским вторжением на территорию Ирана. Таким образом, религиозная элита получила возможность объявить войну «священной и оборонительной». Эта война также рассматривалась в качестве «дара провидения», «благословенной войны», как называл ее Хомейни, потому что служила па-

триотическому подъему и поддержке режима, а также содействовала усилению «революционной гвардии» (Azimi 2008: 336). Разумеется, режим недолго оставался популярным. Последние несколько лет указывают на то, что большинство иранцев хотели бы освободиться от влияния аятолл.

В целом трансформации в Иране имели достаточно важный характер, чтобы рассматривать их как революцию. Иранская революция произошла в основном под воздействием причин внутреннего характера. В отличие от других революций нашего времени правящий режим Ирана не был ослаблен в результате геополитической нестабильности. Иран не воевал накануне революции 1979 г., иранское государство не было ослаблено под воздействием событий, происходивших за пределами страны. Основным внешним фактором была зависимость шаха от Соединенных Штатов, хотя к моменту революции союз шаха и США утратил свою прочность и США на деле не оказали ему помощи во время кризиса. Но в Иране связи шаха с США расценивались как проникновение американского империализма. Это могло послужить фактором, способствовавшим формированию широкого союза, противостоявшего шахскому режиму. В него вошли либеральные центристы, ультралевые и исламисты, которых трудно считать естественными союзниками. Но этот фактор не был единственным. В революции сыграли свою, пусть и не фундаментальную роль геополитические факторы.

Иран не подходит под предложенную Скочпол модель революции, поскольку там не было войны, финансового кризиса или крестьянских волнений. Скочпол признала это и назвала иранский случай исключительным (Skocpol 1994; Arjomand 1988: 191, 202–203). Но эта революция также носила исключительно городской характер, в ней не принимали участия крестьяне, и других подобных революций в XX столетии не было. Иранская революция была исключением и потому, что в ней разнородные религиозные революционеры выступили против светского государства, что создавало ситуацию, противоположную той, которая складывалась обычно в революциях модерна, когда левый секуляризм направлен в равной степени и против государства, и против религии. Наконец, Иранская революция уникальна тем, что была направлена против человека, который не прибегал ни к реформам, ни к жестким репрессиям. Если бы шах приказал армии подавить демонстрантов, используя всю силу оружия, он мог бы сохранить власть, как это делали многие деспоты. Но для этого ему не хватило смелости, учитывая всю степень его самообмана, его болезнь и обеспокоенность за судьбу своего младшего сына и наследника. Именно эти качества отличают Иранскую революцию от других.

Но существует еще один важный аспект, благодаря которому Иран очень хорошо вписывается в стандартные модели революции. Это был персоналистский, репрессивный и эксклюзивный режим, а именно такой тип режима считается наиболее уязвимым для революции. А поскольку режим шаха был исключительно персоналистским, постольку он был особенно уязвимым. Шах, члены его семьи и его близкие друзья также распоряжались экономикой, а значит, вина за любые неудачи в экономике ложилась непосредственно на шаха. За пределами этого узкого круга шах целенаправленно «разделял и властвовал» среди всех групп элиты, которые, будь все по-другому, могли бы предложить ему коалиционную поддержку. Это не стало причиной раскола внутри режима, который мог бы привести к серьезным политическим разногласиям, что усложняло ответные действия других режимов перед лицом серьезных мятежей. Проблема скорее состояла в том, что режим поощрял пассивность своих потенциальных союзников и не был готов к коллективным действиям. Основной удар режим получил со стороны своих военных. Они казались могущественными в силу своей многочисленности и прекрасно вооруженными для того, чтобы вести войну. Но иранские военные не имели достаточной квалификации, чтобы воспользоваться значительной частью имевшегося в их распоряжении современного оружия, что не способствовало укреплению морального духа офицеров. Но критическим недостатком было отсутствие высшего командования. Все генералы подчинялись непосредственно шаху. Большинство из них были преданы ему. Но они оказались неспособными к коллективным действиям или коллективному давлению на него. Если шах не желал репрессий, генералы ничего не могли с этим поделать, как не могли и совершить военный переворот. В определенном смысле необычайная степень концентрации власти в руках одного человека компенсировала отсутствие геополитической нестабильности и участия крестьян, и в результате то, что могло ограничиться недовольством по поводу ослабления экономики, вылилось в яростные нападки на правящий режим. Политическая и военная слабость режима стала наиболее важной причиной, которой в сложных идеологических и экономических условиях оказалось достаточно для начала революции.

Мог ли Иран стать прообразом третьей волны революции, которая была ограничена в данном случае исламскими странами и во главе которой, в отличие от предыдущих революционных волн, стояли бы религиозные группы? На тот момент позиции марксизма и социализма в регионе были очень слабы и вряд ли могли обеспечить появление большого числа революционеров. Опыт социализма в арабских странах был неудачным по мере

того, как называющие себя социалистическими партии баасистов вырождались в деспотизм, репрессивный клиентелизм, которые были не способны обеспечить необходимыми темпами экономическое развитие. Единственная из них — сирийская партия БААС — продолжала оставаться у власти, так и не получив широкого народного признания и сталкиваясь с массовым сопротивлением сначала в 1982 г., которое ей удалось подавить, а затем вновь в 2011 и 2012 гг. В других странах братья-баасисты исчезли. Начиная с 1990-х гг. наибольшую популярность на Ближнем Востоке обрели исламистские движения, революционные в том смысле, что они были направлены на свержение политических режимов и установление законов шариата. За исключением «Братьев-мусульман», эти движения прибегают к насилию и создают собственные военизированные формирования. Однако их силы не следует преувеличивать. Раскол между шиитами и суннитами — двумя ветвями ислама — ограничивает взаимодействие исламистов в регионе. Партия «Хезболла», как и иранский режим, представляет шиитов, а партия ХАМАС, «Братья-мусульмане», «Талибан» и «Аль-Каида» — суннитов. У этих двух направлений имеются общие внешние враги, раскол между ними преодолим, но сотрудничают они редко. На самом деле «Хезболла» и ХАМАС в большей степени напоминают национально-освободительные движения, чем разделенных религиозным расколом исламистских революционеров. «Братья-мусульмане», стремящиеся к установлению законов шариата, в результате репрессий были вынуждены перейти к реформистской деятельности на уровне местных сообществ. Более радикальные суннитские террористические движения, предшествовавшие «Аль-Каиде», откололись от «Братьев-мусульман», не приемля их приверженности к ненасильственной деятельности. Сегодня «Аль-Каида» превратилась в силу, привносящую еще больше поляризации в мусульманский мир. Усама бен Ладен стал популярен среди простого арабского населения в первую очередь благодаря своим смелым выступлениям против американского империализма. Именно американский империализм является целью «Аль-Каиды», аятолл в Иране и других исламских экстремистов. Если бы не было американского империализма, эти силы, не имеющие реальных социальных и экономических программ, убивающие гражданское население и следующие фундаменталистской идеологии, пользовались бы лишь незначительной поддержкой. Это могло бы привести самое большое к возникновению искусственно созданной, инициированной извне третьей волны революции, не имеющей внутреннего импульса.

Предпринимались попытки повторить опыт Иранской революции, но они не имели особого успеха. Талибы захвати-



ли власть в период, когда афганцы противостояли советскому вторжению, но им не удалось подчинить себе всю страну. В Судане, Йемене и Сомали исламистские движения, несмотря на все усилия, не смогли захватить или удержать власть. До сих пор исламский фундаментализм продемонстрировал лишь умение извлекать выгоду из хаоса и способствовать его распространению (особенно при помощи иностранного империализма), революция удалась ему только в Иране. Основную силу он черпает, если не считать реформистского движения «Братьев-мусульман», в нападениях на американский империализм и израильский колониализм. Урегулирование палестинского конфликта, равно как и вывод американских войск из Ирака и Афганистана, серьезно ослабит исламистские революционные силы. Первое представляется маловероятным в обозримом будущем, второе уже происходит в настоящее время. Но радикалы, подобные «Аль-Каиде», потерпели поражение во многом из-за своих попыток поднять революцию на Ближнем Востоке, тогда чтобы внести определенную сумятицу, им было достаточно нескольких террористов. Этим революционерам лучше удастся организация (небольших) беспорядков, чем революция. Похоже, в ближайшем будущем на такой основе не следует ожидать третьей волны революции.

Однако представляется вполне вероятным, что стремление к более полному политическому представительству и большей экономической справедливости на всем Ближнем Востоке, как показали волнения в арабских странах в 2011 г., будет использовано некоторыми из этих движений и их ответвлениями и приведет к развитию диссидентских движений с более широкой базой и даже к революциям, носящим не только политический характер. В большинстве стран Ближнего Востока действуют деспотические режимы, династии и элиты которых не освящены временем и которые присваивают себе значительную часть богатств страны, используя принуждение и коррупционные государственно-капиталистические связи, подобные тем, которые существовали в Иране при шахе. Агентства национальной безопасности, выполняющие репрессивные функции, остаются в этих странах основной формой инфраструктурной власти, и ни один из правителей не пошел по самоубийственному пути, избранному шахом, когда тот решил ослабить армию. Но в других случаях единство армии и агентств безопасности нельзя принимать в качестве чего-то само собой разумеющегося. Поскольку эти деспоты не доверяют армии полностью, они выстраивают собственные преторианские гвардии в виде военизированных агентств безопасности, которые и берут на себя основные репрессивные функции. Однако это может

вызвать отчуждение со стороны армии, особенно в тех случаях, когда военные понимают, что проигрывают в борьбе за ресурсы в условиях нового государственного капитализма. Именно это произошло в Египте и стало одним из решающих факторов отказа армии участвовать в подавлении массовых демонстраций 2011 г., в которых приняло участие от 10 до 15 млн человек. Непопулярность военных Мубараку сделала возможным успех этих выступлений (Kandil 2011, 2012).

В Тунисе, Египте и Ливии в 2011 г. диссиденты активно выступали против экономической коррупции и эксплуатации, воплощенных в слившихся воедино государственных и капиталистических агентствах. В Египте помощь, поступавшая из США, и неолиберальная приватизация позволили друзьям и родственникам Мубарака завладеть большей частью экономических ресурсов страны. Этот вновь разбогатевший капиталистический класс был тесно связан с политическим аппаратом режима. В стране наблюдался умеренный экономический рост, но его плоды не доходили до нижних слоев общества и не способствовали улучшению жизни людей. Корпоративные налоги были уменьшены, а налоги на население, напротив, повышены. Были сокращены субсидии на продукты питания, ухудшились условия труда, а выплаты по долгам обеспечивали заинтересованность иностранных инвесторов в неолиберальной линии. Этот новый уровень эксплуатации со стороны правящего режима и иностранных банков создал экономические трудности, которые и стали причиной восстания в Египте (Kandil 2011). В Тунисе и Египте мы наблюдали два непреходящих условия для революции: массовое недовольство, чувство несправедливости, а также раскол внутри правящего режима, который особенно сказывался на его способности к репрессивным действиям. Как и в Иране, временные коалиции левых, либералов и исламских диссидентов заручились широкой социальной поддержкой, которой, по всей видимости, оказалось достаточно не только для изменения формы правления, но и для того, чтобы затем развязать постполитическую революционную борьбу между победителями. Там, где правители относятся к секте или этнической группе, отличной от той, к которой принадлежит большинство населения, такой популизм может видоизменяться под воздействием религиозных и этнических чувств, как в Бахрейне и Сирии, хотя правящая этническая/религиозная группа в еще большей степени склонна сопротивляться и прибегать к репрессиям, больше всего опасаясь политической революции.

Это сохраняет возможность того, что события в Иране все же положили начало третьему этапу революции, хотя это зависит, во-первых, от того, смогут ли диссидентские движе-

ния достичь политической стабильности, не прибегая к насилию, и приступить к коренным экономическим и политическим реформам. Если Западу нужны порядок, реформы и модернизация на Ближнем Востоке, он может помочь этим диссидентам, но только не путем военных интервенций. Но если умеренные реформаторы потерпят неудачу и против них будут начаты репрессии, то это лишь усилит революционный порыв, вероятно, исламистского толка. Однако большинство революций терпело неудачу на первых двух этапах. Революционеры вообще гораздо чаще терпят поражение, чем добиваются успеха.

## КРУШЕНИЕ СОВЕТОВ: РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ?

Развал Советского Союза по своей сути носил революционный характер, хотя и отличался от других революционных событий, которые мы здесь рассмотрели. Начиная с 1990 г. Советский Союз отвечал всем моим критериям революции, за исключением одного. Политически 15 республик заменяли единое государство плюс еще шесть государств, которые добавляла к ним колониальная империя. В первом случае однопартийное государство было превращено в демократию, а во втором случае ему на смену пришли режимы личной диктатуры. Очевидно, что это была политическая революция. Иногда на смену извращенной социалистической экономике приходила извращенная капиталистическая экономика, и это тоже было революционным изменением. От идеологии марксизма-ленинизма отказались в пользу западных либеральных идеологий, и это было революционной трансформацией. Даже военная власть частично изменилась с падением супердержавы и окончанием холодной войны. Существует еще ряд сходных черт с другими революциями. Изменения сопровождалась непреднамеренными обострениями обстановки, как это происходило и во время других революций, рассматриваемых в настоящей книге, хотя по большей части особой идеологии у этих «революционеров» не было, если не считать либералов и неолибералов, которые в конце концов так и не сумели взять верх. Еще одним отличием, за исключением Иранской революции, было отсутствие геополитического кризиса или ситуации мир-системной открытости. Сколь-либо серьезных внешних причин для развала СССР не было, если не считать самого существования более успешной западной модели развития, которая подтачивала идеологическую власть партийно-государственной элиты. Внешнее влияние становится более важным фактором уже после коллапса, когда во всем бывшем советском блоке будут доминировать западные идеи

и практики. Последние будут часто извращены и подогнаны под интересы тех, кто окажется у власти на местах. Бывшие советские республики больше не представляли собой альтернативу западной демократии во главе с Соединенными Штатами. Универсальная глобализация тем самым стала приобретать все более реальные черты. Распад Советского Союза был, без сомнения, революционным событием по своим геополитическим результатам.

Но была ли эта революция результатом восстания? Можно ли на самом деле назвать это революцией, если значительная часть правящего коммунистического класса так и осталась правящим классом, только теперь уже капиталистическим, руководствуясь при этом самым грубым материализмом? Обычно это были те же люди, которые трансформировали социальные источники власти и получали личную выгоду от такой трансформации! Масштабы низовых восстаний были далеки от тех, которые имели место в 1917 г. В 1991 г. огромные толпы при поддержке широких масс вышли на сцену лишь в Центральной Европе и странах Балтии, где преемственность правящих элит была не столь сильна. Там действительно произошли революции, и, к счастью, они не сопровождались насилием. Из всех рассматриваемых случаев лишь действия польской партии «Солидарность» были примером массового повстанческого движения рабочего класса, хотя это и не были действия насильственного характера. Лишь в Румынии имели место случаи насильственных действий толпы во время свержения коммунистического режима, когда погибло несколько сотен человек. Остальные революции были ненасильственными, «бархатными». В ходе анализа большинства революций XX в. я особенно подчеркивал роль военной власти, но в данном случае ее не было. Режимы едва сопротивлялись стремлению свергнуть их, и мощные вооруженные силы были не в состоянии оказать эффективного сопротивления. На Востоке часть существовавших элит использовала ряд идеологических приемов, чтобы удержать власть и избежать настоящей революции. Отличием всего советского блока было то, что им управлял глубоко идеологический режим, который к моменту распада стал сам идеологически разрушаться изнутри. Его элита больше не имела морального права вмешиваться, к тому же многие представители предпочли воспользоваться развалом страны для личного обогащения.

Развал СССР предполагал отчуждение населения от государственного социализма. Но во многом именно элиты предопределили предстоящий крах. В знаменитой демонстрации в поддержку Ельцина перед Белым домом участвовало, по разным оценкам, от 20 до 40 тыс. человек, что было меньше числа

участников предшествовавших ей демонстраций. Те, кого Лейн называет классом приобретателей, а Хью — буржуазией, представляли собой значительную социальную базу, но не все население в целом и были движимы расчетом больше, чем это обычно происходит во время революций. Большинство граждан хотели реформ, которые позволили бы повысить уровень жизни и обеспечить больше политических свобод. Это было важной платформой, опираясь на которую реформаторы могли действовать. Но ничего не указывало на то, что массы хотят капитализма или ликвидации Советского Союза, и они ничего не делали для этого. Однако поддержкой масс пользовались политики, склонные двигаться именно в этом направлении. Ельцин выступал за демократию и сумел найти общий язык с людьми. Но в то же время он был оппортунистом, который хотел использовать настрой народа против элит, русский национализм и пообещать доступное всем рыночное изобилие. Ему даже прощались публичные выходки в нетрезвом виде. К власти он пришел в основном в результате свободных выборов. Однако в ходе предвыборной кампании он ни разу не высказался открыто за рыночную экономику и не произнес слова «капитализм». И это было разумно. Опрос, проведенный «Европейской Россией» в мае 1991 г., показал, что 54% опрошенных хотели бы и впредь жить при социализме. Большинство высказалось за более демократичную форму существующего социализма, а еще 23% отдали предпочтение шведской модели социальной демократии. 81% хотел государственного обеспечения продуктами питания и жильем для всех. В ходе референдума, проведенного почти на всей территории Советского Союза в марте 1991 г., 76% участников референдума высказались за сохранение Советского Союза, демонтаж которого уже начался. Они хотели покончить с коммунизмом, но не с СССР, начать реформы, а не переходить к капитализму.

Правда, результаты этих опросов не следует принимать всерьез. Проводивший опрос Левада (Levada 1992) указывает на непостоянный характер общественного мнения, резко изменявшегося с ухудшением положения в стране и по мере того, как сверху предлагались новые панацеи для его улучшения. Массы в основном следовали за событиями, реагируя на выборах и в ходе опросов на последние инициативы, не жертвуя ничем для достижения той или иной цели. Поэтому распад СССР начался как революция сверху и оставался таковым за пределами европейской части советского блока. Поэтому, к счастью, события развивались практически без кровопролития, за исключением нескольких республик, которые охватили этнически обусловленные гражданские войны.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобно человеческим обществам в целом, революции объединяют три компонента — всеобщий, частный и развивающийся. Я выделил ряд общих характеристик революций модерна, наряду с которыми существуют особенности, присущие каждой отдельно взятой стране, а также широкий процесс всемирно-исторического развития и краткосрочные процессы взаимодействия между режимами, повстанцами и аутсайдерами. Сюда же следует добавить ошибки, непреднамеренные последствия и неопределенности исхода революции. На протяжении XX в. мы наблюдаем процесс обучения, в ходе которого повстанцы извлекают уроки из прежних революционных попыток и соответствующим образом меняют свои стратегии. С другой стороны, происходит обучение и трансформация стратегий контрреволюционеров, причем военная власть Америки играет ключевую роль в том, чтобы сделать революцию целью, которой никто не захочет желать. Участники революции всегда ведут споры вокруг стратегических и тактических вопросов, реагируют на угрозы, которые им видятся в тактике противоположной стороны, задумываются о том, каким образом они смогут заручиться дополнительной поддержкой (или оружием) со стороны других классов, умеренных и аутсайдеров. Общая теория всего этого процесса не может быть слишком точной. Социальные науки не терпят законов, но некоторые широкие обобщения относительно большинства революций XX в. все же возможны.

Наиболее удачными представляются три таких обобщения. Первое: большинство революций стало результатом классовой борьбы, связанной с поражением авторитарных режимов в войнах. Второе: большинство революций связаны с совпадением ряда неблагоприятных событий. Революционеры используют возможности, возникшие как следствие неожиданных разногласий во власти, и ставят перед собой задачу проведения утопических преобразований, не отвечающих чаяниям ни широких масс населения, ни целям наиболее могущественных акторов, внутренних или внешних. Затем в ожесточенной борьбе с контрреволюционерами они либо терпят поражение (что происходит в большинстве случаев), либо побеждают, доводя принуждение населения до такого уровня, что любой вариант развития событий приводит к множеству страданий и не позволяет революционерам достичь своих целей. Исключением являются достижения в экономической сфере, где революционеры-коммунисты сумели добиться определенных успехов, способствующих экономическому росту. Я говорю об этом вовсе

не для того, чтобы огульно осудить революционеров. Я подчеркиваю, что бедствия становятся результатом противостояния революционеров и контрреволюционеров. Когда диссиденты убеждены, подобно Троцкому, что другого пути нет в том смысле, что страдания и так уже чрезвычайно велики, а режим лишь усугубит их, они должны прибегнуть к революционным средствам. Но им все равно придется искать формы структурных реформ, которые не требуют жесткого принуждения населения.

Третье: как бы там ни было, революции не случаются в демократических обществах, где институциональный приоритет отдается реформам и компромиссам и где инфраструктуры действующих в обычном порядке и подотчетных органов управления действительно позволяют распространять реформы по всей стране. С распространением демократии по всему миру накал революционного движения снизился. Если не считать глубоких кризисов, которые, как мы увидим, могут быть вызваны изменениями климата, то революции утратили былую частоту и размах. Вероятно, пик революций пришелся на XX в.

## ГЛАВА 10

# Американская империя накануне XXI века

**В** ФЕВРАЛЕ 1941 г. Генри Люс объявил о начале «американского века». Америка, утверждал он, должна теперь «всем сердцем принять свой долг и представившуюся ей возможность в качестве сильнейшей и важнейшей страны мира... в полной мере оказать на мир свое влияние во имя достижение целей, которые мы считаем нужными... Теперь мы должны стать добрым самаритянином для всего мира...» Это был случай глобального империализма с благими намерениями. Как мы видели в главе 5, после Второй мировой войны американский империализм имел разный характер в различных регионах. В Европе он превратился в гегемона, даже легитимного гегемона. В Восточной Азии имела место смесь косвенной и неформальной империи, прибегающей к военному вмешательству, однако впоследствии господство стало носить более мягкие формы, а к настоящему времени там преобладает легитимная гегемония. Латинская Америка и Ближний Восток были теми регионами, в которых американский империализм через военное вмешательство и ставленников набирал обороты. Хотя в последнее время в Латинской Америке это проявляется не столь явно, чего нельзя сказать о Ближнем Востоке — там неформальный империализм нарастает. На протяжении всего этого периода у США не было колоний, и они чаще использовали более мягкие формы господства. Однако, как утверждает Чалмерс Джонсон (Johnson 2000, 2005), масштабы и размах сети военных баз США создают новый тип глобальной империи, призванный обеспечить принуждение без формальной оккупации.

В этой главе рассматривается два последних примера кристаллизации американского империализма: экономического империализма на основе доходов от эмиссии доллара, сложившегося с начала 1970-х гг., и военного империализма, активизировавшегося в 1990-х и 2000-х гг. Я пытаюсь объяснить эти два явления и задаю вопрос, являются ли они действительно



самостоятельным или же превратились в единую глобальную имперскую стратегию, как утверждают теоретики мировых систем. Я также задаюсь вопросом, насколько успешными были действия в этих двух направлениях и не стали ли они разворотом от пути смягчения форм американского империализма, по которому прежде Америка непроизвольно шла. Поскольку некоторые аспекты экономической интенсификации уже обсуждались в главе 6, в этой главе я сосредоточусь в основном на отношениях военной власти, в частности на двух главных на настоящий момент войнах XXI в. — в Ираке и Афганистане. Начну с экономики.

### НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ: ДОХОДЫ ОТ ЭМИССИИ ДОЛЛАРА, 1970–1975 ГОДЫ

Гегемония США, установивших свои правила, пошла на пользу послевоенной мировой экономике. Она испытала настоящий бум в 1950–60-х гг., который начался с роста американской, а затем и европейской и японской экономик. Доллар выступал в качестве резервной валюты, он был обеспечен золотом, а режим сниженных тарифов способствовал росту торговли. В той или иной степени рост наблюдался на всех континентах. Бреттон-Вудская система предоставляла Соединенным Штатам привилегии, она управлялась многосторонними соглашениями между национальными государствами и позволяла им осуществлять собственные планы и сдерживать международные потоки капитала. Это была скорее не империя, а гегемония США. Но затем разразился кризис, как мы видели в главе 6. В конце 1960-х гг. замедление роста экономики переросло в стагфляцию, которая, похоже, была усугублена кейнсианской контрциклической политикой. Цены на экспортные сырьевые товары, от которых зависели бедные страны, упали, что привело к проблемам с платежным балансом, которые не удавалось решить за счет программ импортозамещения. Резкий скачок цен на нефть в 1973 г. еще больше осложнил ситуацию, в которой эти страны оказались.

Распад Бреттон-Вудской финансовой системы пришелся на 1968–1971 гг. Замедление роста плюс дефицит, возникший в США из-за расходов во Вьетнаме, а также возросшая финансовая волатильность делали оказание финансового давления затруднительным. США импортировали и расходовали за рубежом значительно больше, чем экспортировали, и к концу 1960-х гг. это привело к истощению золотых запасов стра-

ны. Форт Нокс пустовал. Это, как представлялось, создавало угрозу Америке. Могло случиться так, что Соединенным Штатам вскоре пришлось бы распродавать свои заграничные инвестиции, чтобы оплатить зарубежные военные операции. Иностранцы тоже могли воспользоваться излишком имевшихся у них долларов, чтобы начать скупать некоторые отрасли американской промышленности, подобно тому как это раньше делали сами американцы в Британии. Но тут американские дипломаты продемонстрировали свое умение выкручивать руки, и главные центральные банки согласились в качестве временной меры прекратить конвертацию имевшихся у них долларов в золото, пожертвовав тем самым своими сиюминутными интересами во имя общественного блага, которое обеспечивалось глобальными обязанностями США. В то время ни банки, ни администрация США не представляли, насколько высокой окажется цена этого решения. Такое неформальное взаимное сдерживание длилось до августа 1971 г., пока президент Никсон, спасая войну, свою экспансионистскую экономическую политику и свои шансы на переизбрание, не объявил об отказе от золотого стандарта (Kunz 1997: 192–222). Причины такого решения имели внутриполитический характер, а также были связаны с войной во Вьетнаме, а не преднамеренным шагом к экономическому империализму. Последний стал непреднамеренным последствием, хотя некоторые с этим не согласны (например, Gowan 1999).

Доллар продолжал оставаться резервной валютой. Единственное, что можно было сделать с имевшимися за границей лишними долларами США, это инвестировать их в Соединенных Штатах. Поскольку большая часть долларов находилась в центральных банках, они массово закупили на них казначейские облигации США (так называемые *трежерис*), что привело к снижению выплат по этим ценным бумагам. Теперь американские зарубежные авантюры оплачивались иностранцами и, несмотря на текущий дефицит на американских счетах, под очень невысокий процент. Иностранцы чувствовали, что альтернатива была еще хуже: развал мировой валютной системы, снижение готовности США защищать их, притом что падение стоимости доллара привело бы к удешевлению американского экспорта по сравнению с их собственным. Теперь американское правительство было свободно от связанных с платежным балансом ограничений, с которыми сталкивались другие страны. При необходимости Федеральный резерв мог просто напечатать побольше долларов, что отныне вежливо именовалось количественным смягчением (QE). Американцы одновременно могли больше тратить на социальные нужды, войну во Вьетнаме и на потребление. Такое положение отсрочило вызов со сто-

роны Европы в реальной экономике и сдерживало вызов со стороны японского капитализма, которые так сильно беспокоили американских политиков в 1970-х гг. Передовой фронт власти еще не начал смещения в Азию. Не важно, было ли это преднамеренным шагом или осознание пришло позже, США восприняли сложившуюся ситуацию не как кризис, а как возможность распространить свой эмиссионный доход на всю мировую экономику. Это не требовало применения военной силы, достаточно было воспользоваться уже имеющимся доходом от эмиссии доллара. Отсутствие финансового давления добавило волатильности мировой экономике, но остальные страны были вынуждены увеличивать свои запасы долларов, усиливая тем самым свою зависимость от Соединенных Штатов. Альтернативная стратегия ухода от доллара как от резервной валюты до сих пор представляется игрокам более рискованным шагом. Поэтому такое положение воспринимается как отчасти легитимный гибрид экономического империализма/гегемонии.

Теория мировых систем (и некоторые другие теории) рассматривает этот переход к господству путем использования финансов как признак ослабления Америки. Но других признаков общего ослабления американской экономики по отношению к экономикам других стран не наблюдалось. В 1940-х гг. в результате Второй мировой войны американская экономика заняла необычно доминирующее положение. Доля США в мировом ВВП, измеренная по паритету покупательной способности, во время войны составляла целых 35%, что было обусловлено особыми условиями военного времени. И даже в 1950 г. она все еще составляла 27%. Затем, к 1973 г., по мере восстановления экономики стран Европы и Восточной Азии этот показатель снизился до 21%. Однако после 1973 г., согласно двум альтернативным оценкам, доля США либо колебалась вокруг уровня 21% на протяжении всего периода вплоть до 2005 г., либо незначительно возросла до 24% к 2010 г. и стабилизировалась на этом уровне (IMF 2010; Maddison 2001: Table 1-3; Chase-Dunn et al. 2003). Некоторые (например, Boswell 2004: 518–520) утверждают, что спад в Америке подтверждается тем фактом, что в настоящее время ее ВВП не превышает ВВП Европейского союза, правда, число стран, входящих в Евросоюз, все увеличивается. Хотя у Европейского союза общий рынок, его не поддерживает единое государство или казначейство и скорость его развития ограничена скоростью развития самой медленно растущей страны. Проблема ЕС как возможного экономического гегемона состоит в том, что его редко удается ориентировать в едином направлении, не говоря уже об установлении правил еще для кого-то.

Более того, в 1990-х и начале 2000-х гг. показатели уровня производства и производительности в США в значительной степени превосходили аналогичные показатели Европы и Японии, чему способствовали иностранные инвестиции в США (Schwartz 2009: глава 5; Dooley 2003). Теоретики мировых систем утверждают, что сегодня Соединенные Штаты идут по тому же пути, что и Британия в конце XIX в.: переход от производства к финансам и услугам обеспечивает спад производства. Но если в XIX в. британские промышленные корпорации отставали от своих американских и германских соперников в технологии, управлении и производительности, то этого нельзя сказать сегодня об американских корпорациях. Доля долларовых валютных резервов значительно выросла в 1990-х гг., позволив американским корпорациям занимать и вкладывать средства под небольшой процент. Благодаря самой лучшей в мире системе образования для высших слоев среднего класса, а также технологиям и системе управления в 1990-х гг. выросла производительность, которая по-прежнему на 2% в год превосходит производительность соперников. Шварц считает, что жесткое разделение, которое теоретики мировых систем проводят между производством и финансами, не учитывает природу современного капитализма. Для экономической мощи важно управление мировыми производственными цепочками, циркуляция капитала между производственными звеньями, и здесь участие и масштаб финансовых институтов играют решающую роль. Большая часть иностранных инвестиций в Соединенных Штатах представляет собой депозиты в виде казначейских и ипотечных ценных бумаг, по которым выплачиваются незначительные проценты. Они создают в США дополнительный совокупный спрос на жилье. Это увеличивает доходы США и позволяет американцам заниматься скупкой ценных бумаг, в результате чего большая часть американских инвестиций за рубежом представляет собой вложения в активные высокодоходные фондовые акции и прямые иностранные инвестиции. При покупке ценных бумаг средства занимают под низкий процент, а кредиты выдаются под высокий процент, а именно такими операциями занимались в Британии примерно в 1900 г. Теперь эта практика гарантирует доминирование США в мировой экономике. Конечно, как я отмечал в главе 6, большинство рядовых американцев не получают от этого почти ничего, в то время как Великая рецессия 2008 г. в конечном счете негативно отразилась на долгосрочной гегемонии США.

Как мы видели в главе 6, теория мировых систем оказалась правильной в том, что эта интенсификация экономического империализма включала в себя и переход власти от стран, отлич-

ных от США, к транснациональному финансовому капиталу, что проявилось после 1970 г. в программах структурных реформ. Такие интервенции в южных странах оказались столь сильны, что породили империализм. Глобальность этого процесса проявлялась и в том, что различные страны одна за другой были вынуждены уступить управление потоками капитала международному финансовому капиталу. Таким образом, в экономике стали *доминировать* США, что привело к смещению части власти с межгосударственного уровня на уровень транснациональных рынков, а это уже была тенденция к разъединению. Государственный кредит теперь в меньшей степени зависел от соглашений между центральными банками и МВФ, чем от частных финансовых рынков, действующих на основе неолиберальных принципов. Согласно теории мировых систем этот растущий транснациональный капитал выходит из-под ослабевающего контроля США как гегемона. (Arrighi and Silver 1999: глава 2). Но сохранялась и действительная тесная координация действий между правительством США и частными финансами. Гован (Gowan 1999: глава 3, 2004; ср. Soederberg 2004) называет это режимом доллара и Уолл-стрит, потому что в результате правительство США и финансисты получили гораздо большую власть над мировыми валютно-финансовыми отношениями, чем имели при Бреттон-Вудской системе. Это относилось также к европейскому и японскому финансовому капиталу. Таким образом, это был своего рода дуалистический империализм Соединенных Штатов и транснационального финансового капитала, действовавший за счет остальных государств-наций, хотя в главе 6 мы видели, что в новом тысячелетии такой империализм встречает сопротивление.

В послевоенный период США стремились открыть для себя мировые рынки. В ходе большинства переговоров в рамках МВФ по вопросам экономического кризиса в различных странах США проводили крайне неолиберальную линию. Во время азиатского кризиса 1997 г. они сорвали попытку Японии возглавить восточноазиатский финансовый консорциум, созданный для преодоления кризиса (Blustein 2001: 143–145, 164–170). Империи не любят, когда на периферии появляются коллективные организации. Однако это наступление захлебнулось, когда экономики стран Восточной Азии сумели найти новые способы препятствовать проникновению капитала и сократить иностранные заимствования, а возрождавшиеся в странах Латинской Америки левые воспрепятствовали планам США по созданию зоны свободной торговли в американском полушарии. Великая неолиберальная рецессия в еще большей степени изменила соотношение сил не в пользу американского и северного капитализма.

При этом новому экономическому империализму все же удалось приостановить относительный экономический упадок Америки на три десятилетия. Продолжавшийся рост Китая, Индии и других стран в конце концов положил конец этой фазе развития, однако доллар продолжал играть роль основной валюты на мировых финансовых рынках. В 2009 г. лишь немногим менее 90% ежедневных валютных операций на сумму 3 трлн долл. совершались в долларах США. На долю площадок Уолл-стрит и Nasdaq приходилось 6% всех проводимых в мире биржевых операций, а государственные облигации США составляли около 40% всех государственных облигаций в мире. Такая ситуация была необходима Соединенным Штатам для того, чтобы продолжать финансирование постоянно растущего торгового и бюджетного дефицита. В 2009 г. общая задолженность американцев составила около 3,8 трлн долл., что равнялось более одной четверти ВВП страны, а долги правительства США составляли 85% ВВП, и здесь правительство США уступает лишь правительствам Японии (внутренняя задолженность которого составляет 90% ВВП), Ирландии и Греции. Соединенные Штаты зависят от массового притока иностранного капитала. Поэтому им приходится держать рынки капитала открытыми и не допускать попыток возврата к политике национального развития, подразумевающей контроль за капиталом. Поэтому США продолжают продвигать идеи финансового неолиберализма (Soederberg 2004: 125; *New York Times*, February 7, 2010).

Иностранцы должны инвестировать свои деньги в первую очередь в США. Несмотря на нарастающие протесты, это продолжается. У некоторых экспортно ориентированных экономик, таких как Германия, нефтедобывающие страны или Япония, нет иного выбора, поскольку их собственная экономика не в состоянии увеличить спрос внутри страны, поэтому США остаются самой «тихой гаванью» для их излишков капитала. Китайцы стремятся сохранить объем экспорта, что позволяет, как полагают в Китае, увеличить занятость и обеспечить социальную стабильность в стране. Китайские экономисты были убеждены, что если экономика США сократится на 1%, то же самое произойдет и с экономикой Китая. Существуют признаки того, что если китайская промышленность перейдет на выпуск более высокотехнологичной продукции, то количество создаваемых рабочих мест уменьшится. Однако все страны с долларовыми прибылями понесут значительные потери капитала, если откажутся держать весомую часть этих прибылей в долларах. Для таких стран не существует стратегии немедленного отказа от доллара. Правящие классы США и Китая выиг-

рывают от такой ситуации за счет народов собственных стран, а решение там принимают именно правящие классы (Schwartz 2009: глава 6). Возникновение в последнее время фондов национального благосостояния, представляющих собой пример прямого присутствия государства на финансовых рынках, может привести к тому, что будет приобретаться больше американских акций, а не облигаций, что положит конец глобальной скупке ценных бумаг США. Это не уменьшило бы взаимосвязь этих стран с американской экономикой, но в пределах такого рода отношений часть власти перешла бы к другим странам. Таким образом, могло быть положено начало прекращению гегемонии США в шадящем режиме.

В конечном счете Китай опередит США по показателю ВВП. Согласно текущим оценкам, при расчете ВВП в долларах и конвертации по рыночному курсу это случится в 2019 г. (Economist.com/chinavusa), хотя МВФ недавно подсчитал, что власть доллара закончится в 2025 г., когда на смену доллару придет корзина из трех валют — доллара, евро и юаня. Но все эти прогнозы могут не сбыться из-за политических волнений, экологических катастроф, нехватки воды или топлива, которые затронут Китай в большей степени, чем США. Если Китай решит вступить в военное соперничество, это также может задержать его экономический рост. Экономика Индии также будет расти с той же скоростью, что и экономика Китая. Но по своему уровню развития она отстает от китайской на 15 лет. Бразилия и Россия будут где-то после Индии. Европа может и не опередить США. Она играет позитивную роль на периферии, в частности поощряя развитие демократии в соседних странах, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу. Демократизация выступает лишь формальным требованием при вступлении в ЕС, которое на практике иногда не соблюдается (например, Кипр был принят в ЕС, а Македония нет). Действительно, существуют условия для приема в ЕС, одним из которых и является демократизация, но большое внимание по понятным причинам уделяется экономическим инициативам этих стран. К тому же Европейский союз до сих пор не проявляет единства в финансовых, военных и геополитических отношениях, а большинство референдумов, проведенных за последние два десятилетия, со всей очевидностью показали, что граждане стран — участниц ЕС не желают дальнейшей евроинтеграции. Все это делает более вероятным то, что в первой половине XXI в. США сохранят за собой статус ведущей державы в эволюционирующем многостороннем мировом экономическом порядке.

## НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ПУТЕМ ВОЕННЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, 1990–2011 ГОДЫ

В военном отношении США в настоящее время проявляют особую активность. Военные расходы (в постоянных ценах, то есть в долларах 2008 г.) достигли самой высокой отметки начиная с 1945 г. В период между 2001 и 2009 гг. расходы на оборону выросли с 412 до 699 млрд долл., то есть на 70%, что больше, чем в течение любого девятилетнего периода со времен Корейской войны. С учетом дополнительных расходов в Ираке и Афганистане мы расходуем на военные нужды на 250 млрд долл. больше, чем тратили в среднем на оборону в период холодной войны, когда потенциальными противниками Соединенных Штатов были Советы, Китай и страны Восточной Европы. В 2000-х гг. у США не было серьезных противников, но при этом расходы на оборону увеличились примерно с одной трети до половины расходов на оборону во всем мире. И дело не только в расходах на войну в Ираке и Афганистане, значительно выросли и обычные расходы. Сегодня на долю США приходится около половины всех военных расходов в мире! Ни одна другая страна не располагала тем, что Пентагон называет полным спектром господства, то есть господством на земле, в воздухе, на море и в космосе, позволяющим победить любого противника на поле боя и контролировать любую ситуацию, возникающую в ходе военных операций (Vasevich 2002). В XIX в. британский флот строился по двухдержавному стандарту так, чтобы его мощь была равна совокупной мощи двух флотов, уступающих британскому, в то время как армия Британии уступала армиям некоторых ее соперников. Американское военное доминирование не знает аналогов в истории. Бросается в глаза и отсутствие действительной военной угрозы Соединенным Штатам в сравнении с другими империями. Для чего же нужна вся эта военная мощь?

На самом деле войны, которые сегодня ведет Америка, полностью зависят от ее желания. Ни одна страна не представляет угрозы Соединенным Штатам. Война стала обычной формой для американской дипломатии, как это было с дипломатией европейских стран на протяжении предыдущих столетий. В период с 1989 по 2001 г. США в среднем осуществляли по одному полномасштабному военному вторжению каждые полтора года, что больше, чем за все предыдущие периоды, за исключением промежутка между 1899 и 1914 гг. (этот вопрос рассматривается в главе 3 тома 3). С 2001 г. война ведется непрерывно. 2012 г. стал двенадцатым годом войны, которую США ведут в Афгани-



стане, и десятым годом войны в Ираке — это самый длительный период ведения непрерывных военных действий в американской истории. В 2011 г. произошло не столь масштабное вторжение в Ливию, в котором приняли участие и другие страны и которым несколько скрытно руководили Соединенные Штаты. В 2001 г. администрация президента Буша намеревалась развязать еще несколько войн. Официальные лица США в открытую угрожали военными действиями против Сирии, Северной Кореи и Ирана. Запланированное Бушем размещение средств ПРО в Восточной Европе было направлено против России и Ирана. Для русских, если бы американские ракеты действительно могли перехватывать их ракеты, это был бы первый случай начиная с 1940-х гг., когда Россия была бы лишена возможности противодействовать первому ядерному удару. Неудивительно, что это беспокоило их. По сравнению с другими странами Израиль получил намного больше экономической и военной помощи и мог свободно вторгнуться в Ливан в 2006 г. и сектор Газа в 2008 г. Сегодня военные действия ведут лишь США и их союзники. До сих пор в XXI в. не было других международных войн. Президент Обама несколько сбавил темп и, прибегая к более спокойному дипломатическому языку, заявил о своем желании вступить с Ираном в переговоры относительно его ядерной программы. Он вывел большую часть войск из Ирака. Но зато увеличил численность контингента в Афганистане и интенсивность атак с применением беспилотных летательных аппаратов *Predator* в Пакистане и Йемене. Несмотря на обеспокоенность администрации тем, что правительство Израиля поощряет захват земель под еврейские поселения, США не делают ничего, чтобы сдержать Израиль, чем усугубляют конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, Соединенные Штаты спокойно увеличили свое военное присутствие в Латинской Америке, особенно в Колумбии, где в тандеме с местным правительством добились определенных успехов в борьбе с повстанцами ФАРК. Как же мы пришли к ситуации, когда военная власть нарастает в условиях мирной международной системы?

## КРАДУЩАЯСЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ 1990-Х ГОДОВ

Крах Советского Союза оставил после себя подавляющее военное превосходство США в мире. Бывший советский блок сократил военные расходы; Европа, Япония и Китай по-прежнему были сосредоточены на обеспечении экономического роста. Еще в 1990-х гг. военный бюджет США составлял почти 40%

всех военных расходов в мире. В 1990-х гг. произошло то, что получило название революции в военном деле: были созданы высокоточные самонаводящиеся ракеты и современные системы связи. Америка настолько превосходила своих противников в военном отношении, что оружие, созданное во время этой революции, ей даже не требовалось. Но оно позволяло вести боевые действия дистанционно, не подвергая опасности жизни американцев. Мартин Шоу (Shaw 2006) назвал это войной с перекладыванием рисков, когда потери перекладываются с американских сил на силы противника, включая и его гражданское население. Теперь для ведения войны уже не нужна была массовая мобилизация, требующая покупать согласие населения. Казалось, все стало проще. Соблазн прибегнуть к военной агрессии был особенно силен в разгар наивного триумфализма, охватившего Америку в 1990-х гг.

Казалось, что Соединенным Штатам ничего не угрожает, и такое военное превосходство заставило госсекретаря Мадлен Олбрайт задать в 1995 г. свой знаменитый вопрос председателю объединенного комитета начальников штабов Колину Пауэллу: «Зачем ты содержишь всю эту замечательную армию, Колин, если нам нигде ее применить?» (Albright 2003: 182). На этот вопрос могло быть два ответа: сократить вооружения или использовать их. И США стали использовать вооружения все чаще. На определенном уровне нет необходимости искать сложные объяснения такому положению. Так поступают все империи, достигая пресыщения. США еще не чувствовали его. Я уже отмечал в настоящем томе, соглашаясь с классиками политического реализма в международных отношениях, что великие державы будут держать курс на экспансию, если считают, что они к ней способны. Слабые страны для того и существуют, чтобы их захватывали более сильные при условии, что у последних для этого достаточно военной мощи, естественно сопровождающей захват высокопарной риторикой об улучшении мира. Именно так поступали в прошлом Ассирия, Рим, Испания, Британия, Франция и др. В конце концов они насытились: Рим начал отгораживаться от внешнего мира, Британия и Франция почувствовали, что разрослись сверх меры. Но Соединенные Штаты, оказавшись свидетелями краха своего главного соперника, стали доминировать, пользуясь передачей военных рисков, позволявших уменьшить потери среди американцев. США вовсе не чувствовали пресыщения, наоборот, некоторые считали, что эпоха величайшей империи только начинается. США отличались от большинства прежних империй тем, что не стремились создать колониальную империю, правящую напрямую, они желали стать неформальной империей с государствами-сателлитами.

Поэтому Буш-старший и Клинтон расширили НАТО вплоть до границ России, воспользовавшись страхом Восточной Европы перед Россией и ее желанием получать американскую помощь. Американцы утверждали, что цель расширения НАТО состояла в стабилизации демократии и рыночных реформ в Восточной Европе (на это купился Ikenbergу 2001: 234–239), хотя для этой цели было достаточно мирного Европейского союза. Главная задача расширения НАТО заключалась в том, чтобы расширить зону влияния США и запугать Россию. При Буше-старшем и Клинтоне США вторглись в так называемые страны-изгои. В 1989 г. по приказу Буша-старшего было осуществлено вторжение в крошечную Панаму. Панамский диктатор Мануэль Норьега, бывший сотрудник ЦРУ, вел себя вызывающе, чем вызывал недовольство и большинства панамцев, и США. В стране действовали различные оппозиционные силы, из которых США могли сформировать более популярный режим. Стремительное вторжение США быстро создало такой режим. Военный урок состоял в том, что для достижения успеха необходима подавляющая сила, и Соединенные Штаты такой силой располагали. Надо не затягивать операцию, как это было во Вьетнаме, а сразу же задействовать максимальную силу. Это стало доктриной Пауэрса, хотя он не забывал подкреплять ее стратегией полного вывода войск. Политическая стратегия, заключавшаяся в том, чтобы иметь наготове запасной режим, впоследствии осталась невостребованной.

Этот военный урок наглядно проявился в ходе начатой Бушем-старшим первой войны в Персидском заливе в 1990–1991 гг., когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт. В отличие от вторжения в Панаму, которое осудила ООН, эта война встретила поддержку и ООН, и арабских стран, поскольку, вторгшись в Кувейт, Саддам нарушил международное право и другие страны Персидского залива стали его опасаться. Контингент численностью почти 400 тыс. человек под командованием США быстро освободил Кувейт и двинулся в Южный Ирак, чтобы разгромить иракские войска, дислоцированные в пустынной местности. Была зарегистрирована лишь гибель 293 американских военнослужащих. Затем американские войска покинули страну, оставив потрясенного и подавленного Саддама дожидаться, как предполагалось, военного переворота. Тем не менее Саддам выжил, и тогда Соединенные Штаты и Британия приступили к периодическим бомбардировкам, создав бесполетную зону на севере страны, что позволило курдам сформировать собственное региональное правительство.

Президент Клинтон также санкционировал бомбардировку территории Югославии, чтобы освободить от сербов терри-

торию для боснийских мусульман, хорватов и косовских албанцев. В этих акциях, которые можно было считать операциями по защите и спасению людей от агрессии, американцы не понесли потерь. Внешне эти действия никак нельзя было назвать имперскими. Американские бомбардировки заставили сербского президента Милошевича отступить, что предопределило его уход после того, как Россия оставила его, правда, неохотно, так как считала Сербию сферой своих интересов. На самом деле никаких сфер интересов у России уже не было.

Успех США в Югославии был достигнут в тандеме с местными силами, действовавшими на земле. Хорваты, боснийцы и косовские албанцы смогли воспользоваться замешательством сербов и вернуть себе утраченные земли. Соединенные Штаты помогли найти решение, которое можно считать достойным сожаления и которое привело к созданию ряда этнически вычищенных государств на территории бывшей Югославии. Этот проект все еще продолжается в Косово. Возможно, это было лучшим решением из имевшихся в условиях, когда на первое место у большинства людей выходила этническая принадлежность, а представители других этносов считались врагами (см. Манн 2005: глава 13). Может быть, США сумели найти наилучшее решение из худших, пойдя на ограниченное применение военной силы. В 1994 г. Клинтон угрожал и военной хунте на Гаити, которая после свержения в 1991 г. избранного правительства Жан-Бертрана Аристиды отказалась уступить власть. Мотивы, двигавшие Клинтоном, были неоднозначны, так как кроме всего прочего он хотел перекрыть поток беженцев из Гаити на территорию Соединенных Штатов. Он послал на Гаити отряд морских пехотинцев, но те еще не успели добраться до острова, как гаитянские военные уступили и Аристид вернулся на свой пост. Конечно, на этом беды Гаити не закончились. Но эти вторжения воспринимались как успех и вселяли уверенность в том, что у Америки есть военное решение мировых проблем. Кроме того, вторжения имели ограниченный характер, проводились при участии союзников на местах или в основном в ответ на агрессию со стороны других сил. В отличие от этих успешных операций небольшая операция в Сомали, проведенная администрацией Клинтона, привела к гибели 18 американских рейнджеров. Правда, в ней участвовало лишь несколько американских отрядов, цели операции были не до конца понятны, а ситуация на месте была очень непростой.

Эти операции сопровождались риторикой, подразумевавшей право Америки на самостоятельное принятие решений об оправданности вмешательства, хотя вторжение в Ирак проводилось под прикрытием решения, принятого ООН, а опера-

ция в Югославии — под эгидой НАТО. В ходе своей предвыборной кампании 1996 г. Клинтон заявил, что Америка является «незаменимой страной», а его сотрудники ввели в оборот фразу «с участием других, если это возможно, но в одиночку — если необходимо». Госсекретарь Олбрайт сделала абсурдное заявление: «Если нам приходится применять силу, то это потому, что мы — Америка. Мы — незаменимая страна. Мы уверены в себе. И мы смотрим еще дальше в будущее» (ср. Gelb 2009). Она и другие демократы делали ставку на гуманитарный интервенционизм, военное вторжение в гуманитарных целях. За него выступали либеральные интеллектуалы, такие как эксперт по вопросам безопасности и советник Клинтона Кеннет Поллак, главный либеральный «ястреб» Пол Берман, Майкл Игнатъев, который позже возглавит Канадскую либеральную партию, и Филипп Боббитт, специалист по вопросам конституционного права и советник Буша-старшего и Клинтона.

В своей объемной книге Боббитт (Bobbitt 2001) делает вывод, что если государство не является демократическим и не защищает права человека, то его «покров суверенитета» не должен быть препятствием на пути военной интервенции. Кто же решает, нарушаются ли в таком государстве демократия и права человека? Боббитт утверждает, что ООН не в состоянии сделать это, потому что ее члены заинтересованы в защите государственного суверенитета. Единственным претендентом остаются Соединенные Штаты. Чрезвычайно мощная, но демократическая и последовательно выступающая в защиту прав человека страна является *единственной* державой, которая одновременно обладает и возможностями, и правом нападать на страны, отклоняющиеся от норм. И в случае таких атак Соединенные Штаты должны иметь иммунитет в отношении норм международного права. Соединенные Штаты — это тот самый суверен Томаса Гоббса, единственная сила, способная сдерживать мировую анархию. А раз в более чем половине стран нет подлинной демократии и должного уважения к правам человека, то согласно теории Боббитта значительная часть мира рискует стать целью американского вторжения, особенно если она не подчиняется Соединенным Штатам, или если там имеется нечто необходимое Соединенным Штатам, или если Соединенным Штатам понадобилось занять стратегически выгодное место. Вот так либерал становится совершенно неотличим от неоконсерватора.

Демократы возражали, что в Сомали и на Гаити «восстановление демократически избранных правительств с применением, если это необходимо, военной силы было верным с моральной точки зрения». Распространение демократии стало идеальным

предлогом. В изложенной Клинтонем в 1996 г. Стратегии национальной безопасности слова «демократия» и «демократический» использовались более 130 раз (Chollet and Goldgeier 2008: 98, 318–319). Республиканцы смотрели на вещи чуть более реалистично и, оправдывая вторжения, чаще говорили о национальных интересах, но они не выступали против самой политики. Никто не считал ее политикой агрессивного национализма. О национализме не говорилось прямо, он чаще подразумевался, а агрессия была направлена лишь против деспотов и их приспешников, во всяком случае так утверждалось. Это было связано, как считали американские лидеры, с ответственностью, которую Америка несет перед миром. Мир, похоже, не возражал. ООН согласилась с американским лидерством в этих начинаниях. Россия и Китай едва возражали и не проявляли интереса к тому, чтобы выступить в качестве противовеса американской силе, поскольку они были не в состоянии сделать это. Европейцы тоже не могли. Никогда прежде не существовало единственной мировой империи.

На самого Клинтона приходилось нажимать, чтобы он мог решиться на такие вторжения. Внешняя политика его несильно интересовала, за исключением мировой торговли. Точнее выражаясь, он терпеть не мог войну и пытался уменьшить связанные с ней потери. Ему особенно хорошо удавалось бомбить заранее намеченные цели с безопасного расстояния в Югославии и Ираке, а вершиной его жесткой внешнеполитической линии стало продвижение идеи нанести удар ракетами «Томагавк» где-нибудь поближе к бен Ладену или Саддаму Хусейну (Chollet and Goldgeier 2008; Nyland 1999; Cohen 2005). Это было куда лучше, чем просто война, и не важно, что иногда под удар попадают гражданские лица и фармацевтические фабрики. Если бы теракты 11 сентября (9/11) произошли при Клинтоне, он, скорее всего, решил бы на захват Афганистана, а может быть, даже и на войну с Саддамом Хусейном, правда, только после окончания войны в Афганистане (по словам Indyk 2008). Столкнувшись с нарастающей опасностью распространения оружия массового поражения (ОМП) и государственной поддержки терроризма, Клинтон использовал тактику кнута (санкции и угрозу войны) и пряника (экономическая помощь) в отношениях с Ираном и Северной Кореей. Когда в 1997 г. президентом Ирана был избран умеренный Хатами, Клинтон решил чаще использовать стратегию пряника в отношении Европы и России. Кажется, сделка в международных отношениях с ними уже не за горами. С Северной Кореей и Ираком было больше проблем, которые были вызваны множеством взаимных подозрений. Давление республиканцев заставило Клинтона пойти

на более жесткие меры. Поэтому, когда при Буше-младшем началась эскалация, оказалось, что демократы были плохо подготовлены к тому, чтобы противостоять интервенциям, рядящимся в моральную миссию нести демократию в мир.

## УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НЕОКОНСЕРВАТОРОВ ПРИ БУШЕ-МЛАДШЕМ

Установив в 1994 г. свой контроль в Конгрессе, республиканцы потребовали проведения более жесткой внешней политики. На протяжении 1990-х гг. республиканцы присоединились к «ястребам» из демократов разряда Скупа Джексона и превратились в доморощенных неоконсерваторов, требовавших увеличения военного бюджета и проведения дальнейших силовых операций, чтобы выполнить свою глобальную миссию по распространению демократии во всем мире. Они не называли это империализмом, за исключением аллюзий, когда в открытках, которые Чейни разослал своим знакомым на Рождество в 2003 г., использовалось высказывание Бенджамина Франклина: «Если воробей не упадет на землю, чтобы Господь этого не заметил, возможно ли возникновение империи без Его помощи?» Напор неоконсерваторов в условиях, когда санкции и бомбардировки, призванные поднять иракцев на антисаддамовское восстание, не принесли результата, закончились тем, что в 1998 г. Конгресс принял решение свергнуть Саддама, используя находившуюся вне Ирака оппозицию, предоставив ей финансовую помощь. Теперь в ловушку попадали демократы. Они усилили давление на Саддама, пытаясь свергнуть его, но так ничего и не добились. На самом деле им удалось сдерживать Саддама больше, чем они предполагали, потому что ему пришлось отказаться от применения оружия массового поражения (ОМП). Но аргументы реалистов в связи со сдерживанием и зарубежным балансированием устраивали знатоков внешней политики, но не годились для средств массовой информации и общественности, которые все чаще соглашались с мнением республиканцев о Клинтоне как о слабаке (Cohen 2005: глава 5).

Неоконсерваторы могли действовать и в более широких границах мифа, который республиканцы распространяли среди избирателей и согласно которому Рейган разрушил империю зла. В главе 7 я утверждал, что Советский Союз разрушили не американцы, а граждане стран советского блока, при этом сам Рейган приложил к этому руку лишь после того, как перешел к политике разрядки. Но рейгановский миф наивного триумфализма затмевал старые воспоминания о спесивых военных

во Вьетнаме. Когда президентом стал Буш-младший, из влиятельных политиков, воевавших во Вьетнаме, оставались лишь стоявший на умеренных позициях госсекретарь Колин Пауэлл и его столь же умеренный заместитель Ричард Армитидж. Наиболее же ярые «ястребы» в администрации в свое время уклонились от призыва во Вьетнам, в том числе президент и вице-президент. Получить прямого ответа от Буша о том, как ему удалось избежать призыва, не представлялось возможным, но более бесцеремонный Чейни заявил: «В 60-х у меня были другие приоритеты, помимо службы в армии». Джон Болтон, посол Буша в ООН, был еще более откровенен: «Признаюсь, у меня не было никакого желания умирать на рисовых плантациях в Южной Азии» (цитата по Parker 2005: 26). Таким трусливыми «цыплятами» были тогда эти доморощенные «ястребы».

Хотя у неоконсерваторов были свои соображения по поводу внутренней политики, они сосредоточились на внешней. Консерваторы жаждали возрождения патриотизма, решительной военной и экспансионистской внешней политики, которая давала бы возможность упредить возникновение внешней угрозы, используя агрессию. Это был империализм, хотя лишь немногие писали его с большой буквы И. Они даже не считали это агрессией. Кристол, Пол Вулфовиц, Дуглас Фейт и другие провозгласили миссию распространения свободы путем военной экспансии — сила во имя морали. Идею этой миссии особенно лелеяли интеллектуалы, не занимавшие административных постов, такие как сотрудники журнала *The Weekly Standard* и Американского института предпринимательства. Но в центре их внимания был Ирак — третьеразрядная ближневосточная страна с немногочисленным населением, где какой-то мелкий диктатор давно уже противился США.

Никакой необходимой причины для того, чтобы подобные люди вдруг стали задавать тон в американской внешней политике, не существовало. Но «ястребам» повезло трижды — более чем достаточно для любого политика. В первый раз, когда Эл Гор, возможно, одержал победу на президентских выборах 2000 г., но Верховный суд проголосовал в соответствии с линией партии и отдал пост президента Бушу-младшему. Думаю, Гор не стал бы вторгаться в Ирак. Во второй раз, когда Буш, признавая свое невежество во внешней политике, попросил опытного кандидата на пост вице-президента Ричарда Чейни, занимавшего ранее пост министра обороны, подобрать людей, которые занялись бы внешней политикой и обороной. К тому времени Чейни уже был «ястребом» и сожалел о том, что в 1991 г. поддержал решение отказаться от атаки на Багдад. Чаще всего он подбирал людей с подобными взглядами. Ни Чейни, ни министр



обороны Дональд Рамсфелд, ни советник по вопросам национальной безопасности Кондолиза Райс не были настоящими неоконсерваторами. Они были не столько идеологами, сколько прожженными реалистами. Свою главную задачу они видели в усилении позиций Америки во всем мире, хотя (подобно всем империалистам) считали, что применение силы оправдывается добрыми намерениями. Как говорят Далдер и Линдсей (Daalder and Lindsay 2003), они, как и сам Буш, были убеждены в четырех вещах: Америку не должны сдерживать альянсы, традиции или дружба; Америке следует использовать имеющуюся у нее мощь в собственных интересах, ведь это отвечает интересам мира; недопустимо появление силы, которая оказалась бы стратегически равной или конкурирующей с Америкой; лучший способ защитить Америку от опасности — нанести упреждающий удар.

Непросто отнести к той или иной категории и самого президента Буша — нелюбознательного человека, редко читавшего официальные отчеты, игнорировавшего советы, подготовленные на основе серьезного изучения фактов, и предпочитавшего прислушиваться к простым советам приближенных лиц в Белом доме и «ястребов» из Пентагона. Свои действия он часто комментировал так: «Я действовал инстинктивно». Министр финансов в администрации Буша Пол О'Нил полагал, что эти качества свидетельствуют о человеке как об идеологе, потому что «идеология намного проще, здесь не надо что-то знать или к чему-то стремиться. Вам заранее известен ответ на любой вопрос. Идеология непроницаема для фактов. Она — абсолют» (Suskind 2004: 165, 292). Белый дом захватили идеологи.

Они могли рассчитывать на поддержку консервативных религиозных деятелей, ведущих культурные войны внутри страны. Лишь немногие американцы верили в то, что евреи должны занять Храмовую гору, чтобы подготовить второе пришествие Христа. Подавляющее большинство американцев просто предпочитали иудаизм исламу. Сомневаюсь, чтобы сам Буш верил в сюжет, взятый непосредственно из Книги Откровения, но ему были нужны голоса избирателей, проживавших на территории Библейского пояса, да и сам он укрепился в вере, проводя предвыборную кампанию своего отца в тexasских городках. Вряд ли религиозные правые оказывали влияние на внешнюю политику. В воспоминаниях тех, кто работал в администрации, об этом ничего не говорится. Но в президентском лексиконе к империализму добавился миллениаризм: добро должно восторжествовать над злом, Бог восторжествует над дьяволом. В свою очередь, это затрагивало электорат республиканцев, многие из которых ставили мораль выше материи, но это я попытаюсь объяснить в главе 11. И хотя немногие рассматривали внешнюю политику

как основной приоритет, все же они поддерживали идею о том, что американский национализм должен определять мораль в мире, отдавая при этом предпочтение Ветхому Завету перед Новым Заветом, мстительному Иегове перед миротворцем Христом, что было зеркальным отражением исламского джихада. На протяжении 1980–90-х гг. в вопросах морали в республиканской партии тон задавали религиозные правые, в вопросах экономики — консерваторы из крупного бизнеса, в вопросах внешней политики — «ястребы». Это с очевидностью были разные политические кристаллизации, но Буш-младший поддерживал их взгляды, возможно единственный, кто так поступал, поэтому каждый был волен действовать на своем участке так, как сочтет нужным. В этом полиморфизме царило полное единство. Учитывая наличие различных фракций и неразбериху с ярлыками, я, когда пишу о них в целом, предпочитаю называть их «ястребами», а не неоконсерваторами, вулканами (James Mann 2004) или агрессивными националистами. Они были всего лишь неопределившимися националистами, хотя это и был империализм, правда не решавшийся произнести свое имя.

Ближневосточный регион вызывал наибольшую обеспокоенность, и тут «ястребы» могли выстраивать традиционную американскую политику. Как мы видели в главе 5, предыдущие администрации, начиная с Эйзенхауэра, угрожали военными действиями любому, кто мог представлять угрозу свободному движению нефти на Запад. Саддам Хусейн блокировал американские интересы на протяжении столь длительного времени, что в правящих кругах против войны никто вслух не возражал. Brent Скоукрофт, Збигнев Бжезинский и им подобные возражали лишь против способа вторжения. То, что при Буше-старшем и Клинтоне сдерживание Ирака обходилось США весьма недорого, никак не сказывалось на почти всеобщем желании свергнуть Саддама и на уверенности в военном и моральном превосходстве Америки.

Лишь немногие американцы понимали, что ближневосточные государства теперь представляли меньшую опасность, чем террористы, не принадлежащие ни к одному государству. Суннитский радикализм породил террористов-джихадистов, которых, по иронии, годами вскармливала Соединенные Штаты, считая их союзниками в борьбе с коммунистами. Они могли представлять значительную угрозу светским ближневосточным режимам в Египте и Алжире в начале 1990-х гг., но этим режимам удалось успешно подавить их. Боевики бежали в более отдаленные исламские страны, например в Афганистан, Судан, Йемен, а также в Западную Европу. А уже находясь там, они переходили от национального террора, направленного против

правлящего режима собственных стран, к международному терроризму, целью которого стали Соединенные Штаты и их западные союзники, поддерживающие Израиль и светские веротступнические исламские режимы. Бен Ладен был вынужден покинуть Судан и перебраться в Афганистан. Правительство талибов не высылало его, но старалось ограничить его деятельность до тех пор, пока Клинтон не направил в Афганистан крылатые ракеты (Ensalaco 2008: 265).

И все же империалисты были нацелены на государства, а не на террористов без определенного гражданства. Новая администрация президента Буша сразу же приступила к планированию вторжения в Ирак. Клинтон понимал опасность, которую представляет собой не связанный с каким-либо государством терроризм, и предпринял определенные шаги против «Аль-Каиды», но полноценной политики ему выработать не удалось. Пришедшая в Белый дом команда Буша с презрением называла терроризм проблемой Клинтона. Ричард Кларк (Clarke 2004), бывший в то время в Белом доме координатором по вопросам антитерроризма, отмечает, что Чейни, Райс, Рамсфелд и особенно Вулфовиц фокусировались в основном на Ираке. От его замечаний об опасности терроризма просто отмахивались, и если к Клинтону он имел прямой доступ, то с Бушем он не встретился ни разу. Его принимала советник по вопросам национальной безопасности Кондолиза Райс, но, по его словам, она игнорировала его предупреждения. Министр финансов О'Нил вспоминает, что на первом заседании Совета национальной безопасности, состоявшемся через десять дней после того, как администрация приступила к работе, все обсуждение было посвящено Ираку и возможному вторжению (Tenet 2007: 225–238; Suskind 2004: 75, 129; ср. Ensalaco 2008: 242–260; Chollet and Goldgeier 2008: 310; Gordon and Trainor 2006: 14–16; Packer 2005: 39–40; Suskind 2006: 1–2). Но все это держали в тайне, и до терактов 9/11 команда Буша сомневалась в том, что свержение правительства в далекой стране будет пользоваться популярностью у американцев. В ходе предвыборных кампаний 1992, 1996 и 2000 гг. на вопросы внешней политики не обращали особого внимания. В 2000 г. Буш выступал против того, чтобы заниматься государственным строительством за пределами страны. Действия за рубежом могли быть вызваны лишь провокациями злонамеренных иностранцев.

В третий раз «ястребам» повезло с терактами 9/11. В своем дневнике Буш записал: «Сегодня случился Перл-Харбор 21-го века» (Woodward 2004: 24). Как и Перл-Харбор, это событие могло развязать руки американской империи. Пришло время пожинать плоды: ведь именно американская внешняя политика, а не американские или западные ценности спровоцировали

исламистских террористов, занимавшихся до этого своими внутренними делами, нанести удар США. Усама бен Ладен (2005), номинальный лидер террористической сети «Аль-Каида», выдвинул перед США три требования: вывести американские войска из священных мест (в Саудовской Аравии), прекратить массовое убийство иракских детей (в результате санкций и бомбежек) и поддержку сионистской экспансии и создания еврейских поселений в Палестине. В других своих выступлениях он говорил о поддержке Америкой вероотступнических мусульманских режимов и ее жажде арабской нефти. Остальные террористы повторяли тот же репертуар (Epsalaco 2008: глава 9; Bergен 2011).

Исламистский терроризм начался с местных неурядиц. Неудачи светских арабских социалистов и военных режимов позволили исламистам атаковать этих светских, коррумпированных и авторитарных правителей, которых они называли почти врагами. Говоря о возрождении Ближнего Востока, которое несет в себе шариат, они начали действовать на местах в 1990-х гг. Но Саддам, Мубарак и алжирские военные оказались слишком сильны для них, и ряды террористов сильно поредели в результате репрессий. Те, кому удалось выжить, скрылись за границей. Теперь некоторые из них выступали уже за то, чтобы нанести удар по дальнему врагу — Соединенным Штатам и Западу, сосредоточенность которых на ближневосточных проблемах они рассматривали как слабость. Если заставить США уйти, это подорвет позиции ближнего врага и можно будет приступить к созданию исламистских государств. Таковы были взгляды египтянина по имени Завахири, под влиянием которого бен Ладен и создал Аль-Каиду. Терроризм приобрел глобальный характер, хотя джихадисты, сосредоточенные на ближнем враге, всегда выступали против глобальной стратегии (Gerges 2005). Но теперь джихадисты могли сосредоточить свои силы на дальнем враге, используя получившую распространение враждебность в отношении США, достаточную, чтобы заручиться значительной поддержкой со стороны мусульман в пользу атаки 9/11. Бен Ладен сильно ошибся в своей оценке последующей реакции США. В 1997 г. в интервью Питеру Бергену на канале CNN он высмеивал США, которые вывели свои войска из Ливана и Сомали, после того как потеряли там убитыми всего 220 солдат. Он предполагал, что атака 9/11 заставит США уйти с Ближнего Востока (Bergен 2011). Все ожидания оказались в корне ошибочными.

События 11 сентября были беспрецедентными в американской истории. В результате чрезвычайно удачной атаки с использованием террористами-смертниками гражданских самолетов, уничтоживших здания, символизирующие мощь Америки в Нью-Йорке и Вашингтоне, погибли 3000 человек. В Амери-

ке и за границей прокатилась вполне понятная волна негодования. Преобладающей народной эмоцией стала жажда мести. Буш говорил: «Моей первой реакцией была ярость. Кто-то посмел напасть на Америку. Им придется заплатить за это» (Bush 2010: 127). Терракты 9/11 заставили отказаться от агрессивной политики на Ближнем Востоке, в пользу чего выступали демократы. Война в Афганистане и Ираке получила поддержку подавляющего большинства в палате представителей и сенате, что позволило увеличить военные бюджеты. Совместная резолюция о терактах 9/11, принятая обеими палатами, не только предоставляла президенту полномочия «применять всю необходимую и соразмерную силу против стран, организаций или лиц», совершивших преступление 11 сентября, но и наделяла его полномочиями «предотвращать любые последующие акты международного террора против Соединенных Штатов». Это был настоящий карт-бланш. В ходе предвыборных кампаний демократов Керри и Обамы 2004 и 2008 гг. критике внешнеполитической и военной деятельности республиканцев уделялось небольшое внимание. Демократы уже давно предпочитали концентрироваться на том, в чем они, по их собственному мнению, были сильны, — на экономике, здравоохранении, образовании и окружающей среде, тогда как трудные геополитические вопросы оставались на откуп республиканцам.

В самой Америке широко поддерживалась идея об ответственности за теракты 9/11 Усамы бен Ладена и нанесении по талибам ответного удара. В «Некогерентной империи» (Март 2003: 124) я писал, что было бы лучше, если бы США с самого начала поддержали бы предложение о передачи талибами бен Ладена Пакистану для проведения судебного процесса по обвинению в террористической деятельности. Такое предложение усилило бы поддержку США со стороны мусульман независимо от того, приняли бы такое решение талибы или нет. Однако неудивительно, что переполненный негодованием американский истеблишмент отверг это предложение и начал войну. Сомневаюсь, что президент Гор поступил бы иначе. Мы — люди, а не просто вычислительные машины, у нас есть эмоции.

Тем временем внутри Белого дома назревало нечто большее. Пол Вулфовиц несколько минут спустя после бегства из своего офиса в Пентагоне заявил своим помощникам, что подозревает в атаке 9/11 и Ирак. Джордж Тенет, занимавший в то время пост директора ЦРУ, вспоминает, как на следующий день после терактов 9/11 он встретил у Белого дома неоконсерватора Ричарда Перла, возглавлявшего Совет по оборонной политике, и Перл сказал ему: «Ирак должен заплатить за то, что произошло вчера. Они несут ответственность за это». И это, отмечает Тенет, не-

смотря на то что «разведка ни тогда, ни сейчас не смогла подтвердить причастность Ирака» к атаке 9/11 (Tenet, 2007: xix). Ричард Кларк вспоминает, как Буш поручил ему «найти связь» этих событий с Ираком. Через шесть дней после атаки Буш заявил военному совету: «Я уверен, что в этом замешан Ирак», а Вулфовиц настаивал на том, что теперь появилась возможность нанести удар по Ираку. По словам Боба Вудворда, вице-президент был «одержим не знающей преград силой» и требовал военного вторжения в Ирак. Чейни во время этих встреч в основном молчал (Packer 2005: 40–44), потому что понимал, что для отмщения сначала надо ударить по Афганистану. Правительства большинства стран мира поддерживали вторжение в Афганистан, но были против операции в Ираке. Пауэлл также настойчиво возражал против любых действий в Ираке. Предложение Вулфовица было отклонено. «Сейчас нам Ирак не нужен, — заключил президент, — Ирак мы отложим. Но рано или поздно нам придется вернуться к этому вопросу». Не прошло и трех месяцев, как Буш поручил Рамсфелду приступить к разработке плана войны в Ираке. «Начнем над этим работать, — вспоминает Буш. — И пусть Томми Фрэнкс подумает, что надо будет сделать, чтобы защитить Америку в случае, если нам придется убрать Саддама Хусейна». О ходе работы Рамсфелд докладывал Бушу ежемесячно (Woodward 2004: 26).

Атака 9/11 и война с терроризмом стали для «ястребов» подарком свыше. Теперь они могли культивировать менталитет непрерывной войны, который станет опорой для их амбициозного проекта. Рамсфелд сравнивал войну с терроризмом с «плюс-минус 50 годами» холодной войны. Госсекретарь Пауэлл предостерегал, что эта война «может не закончиться никогда, а если и закончится, то не при нашей жизни». Министр внутренней безопасности Том Ридж предупреждал, что угроза терроризма станет «постоянной и нашей стране придется свыкнуться к ней навсегда». Подобная обстановка давала империалистам возможность представить военное вмешательство как защиту от террора. Лучше воевать с ними там, а не здесь, говорил президент. Некоторые проводили аналогии с 1898 и 1945 гг.: временные колонии были необходимы для того, чтобы создать клиентские, демократические режимы и положить конец диктатуре и терроризму (Boot 2002).

## ЦЕЛИ ВТОРЖЕНИЯ

В Афганистане цель была простой: захватить бен Ладена и свергнуть режим, предоставивший ему убежище. Режим свергли быстро, и это, похоже, лишь добавило решимости ударить по Ираку. Поэтому в феврале 2002 г. Буш отдал приказ генералу Фран-

ку о передислокации сил из Афганистана в Персидский залив. В следующем месяце он прервал встречу с Кондолизой Райс, советником по вопросам национальной безопасности, и тремя сенаторами словами: «Гребаный Саддам. Мы его достанем» (Rasker 2005: 45). Командующий силами специального назначения Британии вспоминает, что в феврале 2002 г. британским военным был отдан приказ начать разработку плана операции в Ираке (Gilligan 2009). Блэр и Буш 6–7 апреля обсудили этот план на ранчо Буша в Техасе, и Блэр обещал поддержку со стороны Британии, хотя хотел заручиться еще и поддержкой ООН. Все решения были приняты намного раньше, чем об этом заявляли правительства США и Британии. Хотя обман является нормой во внешней политике.

Оппозиция внутри самой администрации президента испарилась сразу, как только Колин Пауэлл демонстративно заявил о том, что он снимает свои возражения против войны в Ираке. 5 февраля 2003 г., понимая, что эта война в любом случае неизбежна, он представил явно сфабрикованные доказательства наличия у Саддама ОМП. Он просил нас верить ему, что показанные на слайдах крытые грузовики перевозят по территории Ирака химическое оружие. Но при езде грузовики должны были бы поднимать тучи песка, который делает химическое оружие непригодным к использованию! Иракцы утверждали, что на грузовиках перевозили метеорологические зонды. Тем не менее, несмотря на все насмешки и издевки, с которыми Генеральная Ассамблея встретила заявление Пауэлла, оно было со всей серьезностью подано аудитории в Америке, которая столь же серьезно приняла его. Несмотря на то что в американских городах проходили достаточно масштабные антивоенные демонстрации, 70% американцев считали «вторжение в Ирак оправданным». Примерно столько же американцев верили, что Саддам Хусейн тесно связан с Аль-Каидой, что у него есть ОМП, которое он может направить против США, и что он был замешан в планировании атаки 9/11.

В таком контексте не следовало ожидать массовых протестов. Обычно общественность остается безразличной к зарождению мировых кризисов, а внешнюю политику определяют политические элиты и заинтересованные группы влияния (Mann, 1988b). Основную роль в определении политики США на Ближнем Востоке играют американские евреи и нефтяные компании. О нефти я буду говорить далее. Евреи сыграли свою роль в поддержке израильской борьбы с палестинцами и в создании негативного образа арабов в целом и Саддама, который выделял средства на оказание помощи семьям террористов-смертников, в частности. Близкие к администрации Ричард Перл, Дуг-

лас Фейт и особенно Эллиот Абрамс, похоже, выступали за свержение Саддама, потому что это шло на пользу Израилю (Раске 2005: 32). Но когда правительство объявляет об уже наступившем кризисе, происходит массовый всплеск националистических эмоций. Политическое руководство рядится в цвета национального флага, особо отмечая опасность, грозящую стране, и манипулирует потоками информации, нацеленной на неискушенный электорат. Администрация понимает пользу единства электората во время благой войны — его легко привлечь на свою сторону. При этом обычно используются такие преувеличенные стереотипы, как враждебные иностранцы, пользующиеся своей монополией на средства местных коммуникаций, когда речь идет об отдаленных странах. В 1939 г. Гитлер выдумал нападение поляков на немцев на границе; в 1964 г. США придумали второй инцидент в Тонкинском заливе, чтобы оправдать начало войны во Вьетнаме; японское правительство объясняло события в Перл-Харборе реакцией Японии на попытку Америки удуть ее введением торгового и нефтяного эмбарго; Буш-младший придумал связь между Аль-Каидой, Саддамом Хусейном и Ираном, а также сильно преувеличил количество ОМП, которым Саддам мог располагать.

Саддам Хусейн действительно был жестоким диктатором, он также, возможно, располагал каким-то количеством ОМП. Но он не был связан с террористами, и лишь немногим американцам было известно, что он выступал за светский арабский национализм, за что был ненавидим Аль-Каидой и др. Шиитские аятолы в Иране, в свою очередь, с презрением относились к суннитской Аль-Каиде и талибам. Было совершенно невероятно, чтобы шииты Хомейни, баасистские арабские националисты и сунниты из Аль-Каиды пошли бы на сотрудничество и делились бы друг с другом смертоносными технологиями. Администрация США особенно преувеличивала угрозу, которую Саддам представлял всему миру, в то время как скептиков (таких как и я) обвиняли в отсутствии патриотизма и антисемитизме<sup>1</sup>. Саддам во многом сам содействовал собственному падению, когда блефуя, заявлял том, что у него нет ОМП, и это было его очень большой ошибкой. Здравый смысл не отличал ни одну из сторон.

В основе реакции администрации, да и всей Америки в целом лежала чрезмерная самоуверенность. Американские патриоты в Конгрессе и в барах привычно говорили о величии США, подразумевая, что великая страна всегда сильна и права. Память

---

1. Свое мнение о вероятной катастрофе, которая может последовать за событиями в Ираке и Афганистане, я высказывал еще в начале 2003 г. в «Некогерентной империи».



о Вьетнамской войне затмевалась победой, одержанной над Советским Союзом и менее значительными врагами в 1990-х гг., а также последовавшим за ним успехом в Афганистане, где на самом деле до успеха было далеко. Лишь немногие полагали, что война в Ираке будет трудной. Они и не думали, что война может затянуться и потребовать именно от них значительных жертв. Они были пропитаны тем, что я как-то назвал милитаризмом спортивных болельщиков, которые подбадривают свои команды, находясь за пределами поля, и ничем при этом не жертвуют (Mann 1988b).

Когда противник отступает и война заканчивается быстрой победой, то легитимность режима усиливается и выиграть на выборах становится проще, что и доказала госпожа Тэтчер войной на Фольклендах/Мальвинах. При затяжной войне эмоциональная вовлеченность постепенно ослабевает. Когда же война идет неудачно, реакция на это может быть различной и зависит от того, воспринимается ли она как война в защиту отечества или как война по выбору, которую можно прекратить без тяжелых последствий. Так, во Второй мировой войне британцы, русские, немцы и японцы сохраняли боевой дух даже тогда, когда дела шли совсем плохо. Тогда как британцы на протяжении нескольких веков и американцы в 1898–1902 гг. могли выбирать, когда им начинать и заканчивать колониальные войны. США тоже могли отказаться от войны во Вьетнаме и в Ираке.

Администрация Буша провела чистку среди военных, в Госдепартаменте и ЦРУ, уволив или отодвинув на вторые роли тех, кто выступал с критикой или даже составлял объективные отчеты, свидетельствовавшие о предстоящих трудностях. Таких называли пораженцами. Враги мерещились повсюду: в самой администрации, среди либералов, в мусульманском мире. В книге, написанной неоконсерваторами Ричардом Перлом и Дэвидом Фруммом (которым принадлежит выражение «ось зла»), мусульманские страны представлены как враждебные. Но такими же изображены Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент. Они рекомендовали провести общую чистку (Perle and Frum 2003: 194–228). «Ястребы» быстро нашли им подходящую замену (Gordon and Trainor 2006; Tenet 2007). Они игнорировали скептицизм Госдепартамента. ЦРУ было им отвратительно, и они создали собственное разведывательное агентство, получившее название отдела специальных планов в составе ведомства Чейни и под руководством Дугласа Фейта. Именно Фейт представлял разведанные, подтверждая их идеологическую надежность. Пауэлл называл этот отдел «гестапо Фейта» (Woodward 2004: 292; Packer 2005: глава 4). Это был заговор, когда несколько ключевых игроков, действуя в обстановке секретности, фальси-

фицировали разведданные, скрывали истинные мотивы и потчевали американцев лживой информацией.

Трудно понять, было ли обоснование вторжения в Ирак результатом ошибок идеологического характера, стремлением исполнить желаемое или ложью, рационализирующей, что цель оправдывает средства. То, что обвинения в адрес Саддама относительно имевшегося у него ОМП были в значительной мере преувеличены, хорошо знали в ЦРУ, в том числе и его директор Тенет (Tenet 2007: 321). Вулфовиц согласился с тем, что «по причинам, во многом связанным с бюрократией в американском правительстве, мы сошлись на том, с чем все были готовы согласиться, — на наличии оружия массового уничтожения» (Packer 2005: 60). В 2002 г., когда я много читал, работая над книгой «Некогерентная империя» (Mann 2003), я выяснил, что большинство экспертов подозревали, что Саддам мог располагать несколькими ракетами малой дальности и несколькими бочками химического оружия, которое к тому времени скорее всего уже разложилось и не годилось к применению. Сторонники вторжения, например сам Буш (Bush 2010: 262, 268–269; James 2006: 108–109), утверждают, что наиболее осведомленные американцы были убеждены в серьезной опасности того, что Саддам применит ОМП. Это было неправдой. На протяжении нескольких лет инспекторы ООН по вооружениям вели тщательные поиски и почти ничего не обнаружили. США искали оружие уже после вторжения и тоже ничего не нашли. Утверждения о связи Саддама с Аль-Каидой и терактами 9/11 были просто абсурдом. Они могли быть ложью, хотя скорее империалистам было настолько необходимо это вторжение, что они хватались за каждую соломинку, лишь бы удовлетворить свое желание.

По всей видимости, это было особенно верно применительно к Бушу, который читал только то, что позволяли ему читать «ястребы». В своих мемуарах (Bush 2010) он пишет: «В одной разведывательной сводке делались краткие выводы по проблеме: „За время, прошедшее после инспекционных поездок в 1998 году, Саддам продолжил производство химического оружия и ракет, увеличил инвестиции в создание биологического оружия и начал попытки заполучить ядерное оружие“» (Bush 2010: 229). Похоже, это показывает, что президент получал лишь фальсифицированные отчеты. Единственное доказательство, которое Буш представил в подтверждение связи наличия ОМП у Ирака и деятельностью Аль-Каиды, было основано на показаниях, полученных в ходе допроса ливийского боевика, хотя Разведывательное управление Министерства обороны и ЦРУ пришли к выводу, что и оно было сфабриковано задолго до того, как президент озвучил его на публике (Bergen 2011). Позднее, когда никакого оружия

так и не было найдено, Буш обвинил разведку в том, что она давала ему ложную информацию. Если бы он потрудились ознакомиться хотя бы с документами, имевшимися в открытом доступе, он избежал бы столь глубоких заблуждений. Комментарий Буша жалок: «Никто не был столь шокирован и зол, как я сам, когда оружия обнаружить не удалось. До сих пор, стоит мне вспомнить об этом, мне становится не по себе» (Bush 2010: 262).

Тенет сохраняет верность президенту и вежливый тон в отношении вице-президента, когда говорит о том, что воинственные речи о Саддаме «не соответствовали имевшимся разведывательным данным». Правда, говоря о Вулфовице, Фейте и их аппарате, которые, по его словам, распространяли псевдоразведывательные отчеты, он уже не столь вежлив: «аналитика на основе данных Фейта» противоречила данным профессионалов (Tenet 2007: 348). В сводках разведывательных агентств отвергались утверждения о встречах главаря угонщиков самолетов, использованных для терактов 9/11, Мохаммеда Атты с иракским агентом в Праге и предположения о том, что Саддам пытался купить уран и трубы для ядерной центрифуги в Нигере. Но президент, вице-президент и другие просто игнорировали сообщения агентств и продолжали делать заявления. Примечательную фразу произнес вице-президент: «Дело не в нашей аналитике и не в том, чтобы найти веские доказательства. Дело в том, как мы будем реагировать» (Suskind 2006: 308). Кондолиза Райс солгала по меньшей мере дважды. Она свидетельствовала, что Белый дом был приведен в режим повышенной антитеррористической готовности еще до атаки 9/11, и уверяла нас, что «США никого не отправляли и не будут отправлять в страну, где он будет подвергнут пыткам». Оба заявления представляют собой «явную ложь», утверждает Берген (Bergen 2011).

Абу Зубейда, психически неуравновешенный малозначачий пособник Аль-Каиды, был назван президентом руководителем операции. Он неоднократно подвергался пыткам и был вынужден раскрыть многие существовавшие лишь в его воображении планы. В тюрьме он вел дневник, в котором явно прослеживались три разных шизофренических голоса. Это привело к тому, что отвечавший в ЦРУ за Аль-Каиду сотрудник сказал своему коллеге: «Этот человек безумен, а может и невменяем. У него раздвоение личности». Этот разговор стал известен, и президент обратился к директору ЦРУ: «Я же говорил, что он для меня важен. Мне ведь не придется терять из-за тебя лицо?» «Нет, сэр, господин президент», — покорно ответил Тенет, которого президент оставил работать даже после терактов 9/11 (Suskind 2006: 99–100). Опасение потерять лицо, как мы видели, играет непреходящую роль в геополитике.

После того как война закончилась и не было обнаружено ни оружия, ни связей с Аль-Каидой, ее необходимость стали объяснять важностью демократии для Ирака, хотя для некоторых неоконсерваторов это всегда служило важным мотивом. Но шансы на установление в Ираке демократии были невелики. Количественный анализ попыток силового экспорта демократии дает не очень обнадеживающие результаты. Во всех вторжениях, предпринятых США на протяжении XX и XXI вв., доля неудачных попыток установить даже самый умеренный уровень демократии (соответствующий индексу *Polity* +4, который был принят политологами в качестве оценки положения, например, в Иране до 2011 г.) составляла 60–70%, то есть шансы на успех и провал даже не были равными. Наиболее успешные попытки имели место сразу после 1945 г. в странах, где уже существовали демократические традиции, например в Германии, Италии или в странах Центральной Америки в 1990-х гг., где и без того наблюдалась мощная волна движения за демократизацию. В странах, подобных Ираку и Афганистану, где демократические традиции отсутствовали, вероятность успеха была близка к нулю, особенно если вспомнить опыт Сомали или Гаити (Coyne 2007). Тусклый луч надежды пробивается в результатах анализа конкретных примеров вторжения, предлагаемых Песени (Pesceny 1999). Когда США вторгаются с целью содействовать началу либеральных реформ, то определенная либерализация возможна лишь при наличии дополнительных благоприятных условий. К числу таких условий не относится наличие этнического/религиозного конфликта, который имел место в Ираке и Афганистане. Если же задачей была демократизация всего Ближнего Востока, то начать следовало с Египта, Иордании или малых государств Персидского залива, в которых уже действовала оппозиция в лице среднего класса и существовали пусть и ограниченные, но выборы. В любом случае в Ираке разговоры о демократии даже не были подкреплены хоть каким-то планом ее установления.

Понятно, что ни один из этих трех доводов не имел значения. Саддам был избран в качестве первой жертвы по другим трем причинам:

- 1) потому что он уже бросил вызов США и предположительно унизил их, и за это его очерняли в глазах американского народа на протяжении десяти лет. Мести жаждали и администрация Буша, и многие американцы, желавшие восстановить свой имперский статус;
- 2) он не был силен и опасен, напротив, он был слаб, изнурен войной 1991 г. в Персидском заливе, а затем ослаблен в результате направленных против него санкций и бомбардировок.

ровок. Он представлял собой ненавистную и к тому же легкую цель, хороший пример, чтобы показать всем врагам, что происходит с теми, кто бросает вызов Соединенным Штатам. Вулфовиц говорил об этом в открытую — именно поэтому он считал Ирак более подходящим, чем Афганистан (Woodward 2004: 21; Suskind 2004: 187–188). То, что Саддам бросил вызов Соединенным Штатам столь явным образом, воспринималось как унижение. «Ястребы» считали, что его следует уничтожить для того, чтобы сохранить престиж США как супердержавы. Ведь статус многое значит в геополитике. Для того чтобы уничтожить Саддама, оставался только один способ. Все остальные попытки закончились неудачей;

- 3) в обстановке, когда США оказывали Израилю особую поддержку и вели войну против терроризма, «ястребы» были недовольны своими союзниками-саудитами. Им не нравился ислам ваххабитского толка, которому следовали саудиты, финансировавшие медресе — школы, в которых велось преподавание Корана. Эти школы считались рассадниками терроризма. Такие опасения были преувеличены. Саудиты ненавидели и шиитский Иран, и радикальные суннитские движения, подобные Аль-Каиде, которые угрожали им не меньше, чем Соединенным Штатам. Однако стратегия замены саудовской нефти на иракскую была слишком рискованной. В Ираке нефти было меньше, на разработку месторождений потребовалось бы лет десять, к тому же иракцы могут оказаться не столь гибкими в вопросе цен на нефть в отличие от саудитов, которые манипулировали ценами в интересах Соединенных Штатов.

К тому же неоконсерваторы были абсолютно уверены в том, что ход истории и американская военная мощь делают их неуязвимыми, а говоря о слабости демократов, республиканцы практически вынуждали пойти на вторжение, чтобы сохранить имперский статус США. Эта война была во многом обусловлена заботой о сохранении имперского статуса, которая дополнялась верой в военную власть США. Материальные вопросы, касающиеся нефти, проявляются только через эту призму.

## КАК НАША НЕФТЬ ОКАЗАЛАСЬ ПОД ИХ ПЕСКОМ

Однако нефть также сыграла свою роль. Война в Ираке 1991 г. началась после того, как Саддам вторгся в Кувейт, суверенную страну, и получил значительные запасы нефти. По своей сути это была война за нефть. Ирак обладает вторыми после Саудов-

ской Аравии запасами нефти. В 1991 г. Саддам пошел на вторжение, разозлившись, что Кувейт превысил согласованные квоты на добычу. Это привело к снижению цены, которую Саддам мог получить за свою нефть. Именно тогда Буш-старший открыто заявил: «Мы не можем позволить, чтобы ресурсами, имеющими жизненно важное значение, распоряжался столь жестокий человек» (Ensalaco 2008: 188). В отчете за 2001 г. возглавляемой вице-президентом Чейни целевой группы по энергетике о Саддаме Хусейне говорится как о человеке, который «оказывает дестабилизирующее воздействие на союзников США на Ближнем Востоке, а также на порядок в регионе и во всем мире и на поступление нефти на мировые рынки». В числе политических рекомендаций, предложенных отчетом, была и «необходимость военного вмешательства». В настоящее время пятый флот США, дислоцирующийся в Бахрейне, большую часть времени патрулирует Ормузский пролив, обеспечивая жизнеспособность линии свободной транспортировки нефти. Буш также увеличил численность военных советников в Грузии и групп сил быстрого реагирования в Казахстане в целях защиты запасов нефти и природного газа на Кавказе и в Каспийском море (Klage 2004: глава 3, 4).

В команде Буша велись частные дискуссии вокруг нефти. Если бы у Ирака не было нефти, ему, возможно, удалось бы избежать вторжения, хотя в Афганистан войска были введены несмотря на то, что там не было ни нефти, ни чего-либо другого, представляющего ценность, пока США не последовали примеру Британии и не начали там массового производства опиума. США вторглись в Афганистан потому, что там был бен Ладен и талибы, а руководство США желало отомстить им, восстановив тем самым свой имперский статус. Война в Ираке началась потому, что там была нефть и там был Саддам Хусейн — олицетворение зла, человек, который осмелился бросить вызов США и тем самым унижил американское руководство, которого при всем этом было легко убраться и превратить Ирак в клиентелистское государство.

Но у нефти как экономического ресурса есть своя цена. Здесь уместен рациональный расчет. Наиболее рациональный способ заполучить нефть — сделать Саддама своим другом или по меньшей мере не позволять идеологическим разногласиям мешать рыночным отношениям. Бросается в глаза разительное отличие от Венесуэлы. США являются главным импортером венесуэльской нефти, несмотря на враждебную риторику обеих стран. У Саддама, как и у венесуэльского президента Уго Чавеса, были все основания продавать нефть, а у американцев — покупать ее. Но Саддам захватил Кувейт, а США в течение десяти лет осуществляли санкции против Саддама и бомбили его.

Любому американцу было бы трудно закрывать глаза на недостатки Саддама, решишь он покупать у него нефть. Империям, которые на весь мир трубят о своей благородной миссии, особенно сложно сознаться в том, что политический реализм сильнее морали. Но это будет означать, что подобная мотивация оказывается важнее нефти.

На Ближнем Востоке США получают лишь 10% необходимой нефти. От ближневосточной нефти они зависят гораздо меньше, чем Европа, Китай или Япония, обеспечившие себе доступ к ближневосточной нефти за счет мирных двусторонних соглашений со странами-производителями. Разумеется, у них просто отсутствует необходимая военная сила, чтобы действовать по-другому. Некоторые считают, что ставился вопрос о том, чтобы лишить экономических соперников Америки доступа к нефти. Как говорит Харви, «тот, кто управляет Ближним Востоком, управляет мировой нефтяной трубой, а тот, кто управляет мировой нефтяной трубой, управляет мировой экономикой». Говоря об усилении глобальной конкуренции, он отмечает: «Что может быть лучше для США, чтобы избавиться от этой конкуренции и обеспечить свое положение гегемона, чем установить контроль над ценами, условиями и распределением основного экономического ресурса, от которого зависят конкуренты?» (Harvey 2003: 19, 25). Но это неправдоподобно. Вспомним, что произошло в 1940 г., когда США отрезали Японию от мировой трубы. Прямым следствием этого стало банкротство Японии и ее вступление в войну. В нынешних условиях такой шаг со стороны США будет фактически означать акт объявления войны. Он приведет к расколу НАТО и вынудит Китай гораздо активнее искать доступ к нефти. Он будет означать отход от традиционной политики открытых рынков, которую проповедует Америка. Но даже если мотивация была именно такой, то и в этом случае у США не было никакой необходимости вторгаться в Ирак. Трубу можно легко перекрыть военными средствами с воздуха и с моря без сухопутного вторжения (Brenner 2006b).

Правда заключается в том, что политика США в отношении ближневосточной нефти никогда не проводилась строго по рыночным соображениям. Теперь вопрос обеспечения нефтяной безопасности стал традиционным, а национальная безопасность для США по умолчанию означает силовое вмешательство как средство дипломатии. На протяжении многих лет США шли на сделки со странами — производителями нефти, чтобы противостоять Советам. Потом они пошли на создание альянса с Саддамом, стремясь превратить Ирак в противовес Ирану, еще одному крупному производителю нефти. Теперь же из союзников, которых можно было бы противопоставить Ираку и Ирану,

у США осталась только Саудовская Аравия, которую недолюбливали неоконсерваторы и небольшие страны Персидского залива, в которых существовала возможность антииранских и антииракских выступлений. Такое офшорное балансирование могло представляться не совсем ненадежным. В данном томе, как и в томе 2 (Март 1993: 33), я провожу различие между рыночными и территориальными концепциями прибыли. Прибыль можно получать за счет рыночных преимуществ, или за счет авторитарного контроля над территорией, или в крайних случаях за счет войны либо использования имперского положения. Последнее мы наблюдали в случае с Британией, Японией и даже Америкой в предшествующие периоды. Неужели они опять решаться на это? Возможно, план состоял в том, чтобы завоевать Ирак и превратить его в своего стратегического союзника ради нефти. Но если помнить о значении национальной безопасности и геополитических факторов, необходимо добавить и другую мотивацию: более надежная защита Израиля, унижение России и Китая, благодарность союзников за гарантии обеспечения нефтью и передислокация ближневосточных военных баз США на Ближний Восток из Саудовской Аравии, будущее которой представлялось неопределенным, в новую страну-сателлит — Ирак. Многие «ястребы» преувеличивали поддержку саудитами террористов (через финансирование школ-медресе) и хотели избавиться от Саудовской Аравии. В этом сценарии материалистическое желание заполучить нефть играет определенную роль, но оно дополняется стратегическими и имперскими мотивами. Похоже, что именно так дело и обстоит.

Правда, вице-президент Чейни не долго раздумывал об иракской нефти. В его целевой группе по вопросам энергии составлялись карты нефтяных полей в Ираке, на которых было обозначено, какие именно компании их контролируют. Состоялось несколько встреч членов этой группы с капитанами американской и британской нефтяной отрасли. Американцы отрицали сам факт проведения таких встреч, но утечка секретных документов свидетельствовала о том, что они имели место, а бывший руководитель «Конко» подтвердил свое участие в них. Некоторые критики приходят к выводу, что на этих встречах и состоялся стговор администрации и нефтяников о вторжении в Ирак (Juhazs 2006). Но данные указывают в пользу другой, более сложной картины конкуренции двух планов: один поддерживают империалистические «ястребы» и неолибералы, другой — нефтяные магнаты.

Первая политическая линия была изложена в документе под названием «Экономика Ирака — от восстановления к устойчивому росту», подготовленном Министерством финансов при



участии Агентства международного развития. В 2003 г. этот документ был переработан одной американской консалтинговой фирмой и стал неолиберальной программой структурных реформ, похожей на те, которые обсуждалась в главе 6. Пол Бремер во многом использовал эту программу при подготовке проекта указов, которые в Ираке играли роль законов во время его работы в качестве «проконсула» (главы Временной коалиционной администрации). Проект предусматривал приватизацию всех принадлежащих государству промышленных предприятий, за исключением нефтяных. Иностранцы могли быть 100%-ми владельцами любых предприятий и свободно переводить всю прибыль за границу. Были снижены налоги на предпринимательскую деятельность, а права профессиональных союзов — урезаны. Рынок укреплялся, а иностранцы получили иммунитет от преследований за правонарушения, совершенные на территории Ирака. Сам Бремер считал, что политические и рыночные свободы присущи неолибералам (Juhász 2006: глава 6; Bremer 2006). Некоторые из этих указов были внесены в конституцию Ирака, но враждебно настроенные иракские законодатели заблокировали их выполнение. В конце 2009 г. в Ираке все еще действовало 240 государственных предприятий, на каждом из которых работало от 100 до 4000 рабочих, а министр промышленности и природных ресурсов заявил, что никакой приватизации раньше 2012 г. проводиться не будет, а вода, производство электроэнергии и такие отрасли, как производство сигарет, вообще не будут приватизированы. Он отдавал предпочтение совместным предприятиям с участием иракских государственных предприятий и частного иностранного бизнеса. Большинство таких сделок было заключено не с американскими фирмами (Reuters July 28, 2009). Как и значительная часть оккупационных мероприятий, попытки неолибералов найти золотую жилу привели лишь к разочарованию.

Тем не менее еще до начала вторжения «агстрембы» ожидали, что после победы иностранные нефтяные компании смогут добыть достаточно нефти, чтобы заплатить за оккупацию. Ожидалось также, что это приведет к падению мировых цен на нефть, ослаблению ОПЕК, а также Ирана и Саудовской Аравии. Правящие режимы падут, а на их месте можно будет установить другие, представляющие собой смесь американского доминирования и демократии (Perle and Frum 2003). Но большинство нефтяных компаний было в ужасе от этого плана. Любое резкое снижение цен неминуемо вело к сокращению их прибылей, а также компании пугала мысль о том, что США могут дестабилизировать ОПЕК. Вся стратегия их бизнеса строилась на том, чтобы делить барыши со странами — производителями нефти, а не ослаб-

лять их. Они даже были не против того, чтобы оставить иракскую нефть в земле на будущее. Оккупация провалилась, насилие нарастало, поставки нефти так и не возобновились, а спрос на нефть и прибыли росли. Очевидно, что в планах нефтяных компаний этого предусмотрено не было. Но они остановили выполнение бремеровской программы приватизации, назначив бывшего главу отделения компании «Шелл» в США Филипа Кэрролла ответственным за все нефтяные месторождения в Ираке. Позже он скажет на радио Би-би-си: «Пока я был там, не могло быть и речи о приватизации иракских запасов нефти или нефтедобывающей структуры». Приватизацию он считал чистой идеологией. Альтернативный план нефтепромышленников, выполнением которого руководил Кэрролл, заключался в том, чтобы создать единую национализированную Иракскую нефтяную компанию, которая впоследствии будет действовать как полноправный член ОПЕК. Этот план сталкивал между собой интересы неолибералов и империалистов, жаждущих радикальных перемен, и интересы промышленников и консерваторов, которые хотели, чтобы все оставалось по-прежнему (Greg Palast, *BBC Newsnight Report* March 17, 2005).

Патовая ситуация в отношениях между нефтяными магнатами и неолибералами/империалистами позволила новому правительству Ирака настоять на том, чтобы нефтяные месторождения оставались в государственной собственности. Впервые в политике новое правительство показало, что оно не является просто марионеткой США. Нефть становится собственностью Иракской государственной нефтяной компании, а добычей нефти и разработкой новых месторождений занимаются нефтяные компании, выплачивающие правительству гонорар в размере двух долларов США за каждый проданный баррель нефти. Аукцион по продаже прав на разработку нефтяных месторождений начался в декабре 2009 г. Первыми покупателями были в основном европейские, китайские и русские, но не американские нефтяные компании. До сих пор не урегулированы споры о праве на нефть между шиитскими, суннитскими и курдскими общинами Ирака. В этом вопросе сохраняются глубокие противоречия.

Вторжение строилось не на желании получить сиюминутную прибыль от добычи нефти, а на общем стратегическом плане действий в регионе. Нефть, безусловно, присутствовала в этом плане, но ей отводилась роль, предусмотренная «ястребами», а не нефтяниками, выступавшими в пользу преемственности и стабильности. «Ястребы» считали, что остальные страны-изгои, убедившись на примере Ирака в мощи сверхдержавы, отступят, а если нет, то на них тоже можно будет надавить. Рамсфелд особенно подчеркивал, что Ирак представля-

ет собой показательный пример (Gordon and Trainor 2006: 4, 19, 131; Suskind 2004: 85–86, 187). Президент назвал странами оси зла Ирак, Иран и Северную Корею, но предостережение прозвучало и в адрес Сирии, Ливии и Кубы. Генерал Уэсли Кларк (Clark 2007) рассказал, как менее чем через две недели после терактов 9/11 вышестоящий генерал сообщил ему, что администрация приняла решение о нападении на Ирак. Через полтора месяца при встрече с тем же генералом он спросил, остается ли в силе план действий в Ираке. Тот ответил: «Хуже того... Вот бумага от министра обороны, в которой изложена стратегия. За пять лет мы войдем в семь стран». И он назвал их, начав с Ирака и Сирии и закончив Ираном. Позже в ответ на мой вопрос генерал Кларк сказал, что речь шла еще о четырех странах: Ливане, Ливии, Сомали и Судане. Будет проведена карательная реструктуризация Ближнего Востока, за которой последует его возрождение, при котором под попечительством США возникнут миролюбивые, демократические, толерантные в отношении Израиля мусульманские страны. В 2011 г. министр обороны Гейтс дал понять, что тайно поддерживает эти претензии, намекнув, что ему удалось удержать Буша от более агрессивной политики в отношении Ирана.

Это уже был империализм беспрецедентного размаха. Вторжение в Афганистан и Ирак продемонстрировало, что США разворачивают вспять свое прошлое произвольное движение по направлению к более мягким формам господства. Теперь Соединенные Штаты вновь восстанавливали иерархию господства от неформального империализма к действиям через ставленников и к полноценной военной интервенции. Для вторжения в Ирак были собраны силы численностью 300 тыс. человек, 150 тыс. держали страну под оккупацией в течение шести лет. Войска оставались там так долго, что Ирак и Афганистан были фактически превращены во временные колонии. О'Рейли (O'Reilly 2008) и Портер (Porter 2006) утверждают, что это была самая настоящая прямая империя, хотя изначально планировалось как можно скорее покинуть страну, оставив на месте дружественный режим-сателлит.

## ВТОРЖЕНИЕ И ОККУПАЦИЯ ИРАКА

Беспрецедентным было и само вторжение в Ирак. Его отличительная черта — унилатерализм. Во-первых, в операции практически не участвовали иностранные союзники. Хотя формально участие принимали несколько стран, только Британия определила правила применения силы для своих войск во всех бое-

вых ситуациях. И хотя большинство ближневосточных стран были рады тому, что Саддама Хусейна уберут, они не предложили никакой заметной поддержки. Американцы и британцы были сами по себе. Бушу нравился Блэр, о чем он как-то сказал главному советнику английского премьер-министра: «У твоего шефа есть яйца» (совсем как маленькие мальчишки на игровой площадке). Ряд формальных союзников, таких как Франция, Германия, а позднее и Испания, не поддержали вторжения. В случаях, когда американцы вели себя совсем уж непристойно в Фаллудже, в заливе Гуантанамо, в Абу-Грейб: пытали заключенных по всему миру, а незаконным образом захватывали людей и бросали их в тюрьму, они все больше теряли легитимность еще и потому, что все эти места, за исключением Абу-Грейб, находились под защитой администрации самого высокого уровня. Можно возразить, что империю должны бояться, а не любить. Но, как мы видели, гегемония Америки часто пользовалась легитимным характером. На этот раз она была идеологически ослаблена в результате действий, после которых заниматься марализаторством было сложно. Как можно доверить дело продвижения демократии администрации, которая практикует пытки и нарушает Женевскую конвенцию? Развитые страны не в силах оспаривать лидерство США, и их недовольство не имеет особого значения. Более серьезным было падение престижа США в мусульманском мире, что позволяло террористам считать, что моральное превосходство на их стороне. Америке не хватало настоящей идеологической власти.

Во-вторых, унилатерализм имел более отрицательные последствия: у США не было значимых союзников, за исключением курдов на севере страны. Некоторые американские генералы надеялись, что все части иракской армии перейдут на их сторону и будут сражаться вместо американцев, но они не заручились поддержкой ни одного иракского офицера и этого не произошло. Надежды на тысячную армию, состоявшую из борцов за свободу Ирака из числа иракцев, проживавших в изгнании, также развеялись еще до того, как вторжение началось. Подготовку к участию в операции прошли лишь 73 человека из числа находившихся в изгнании иракцев (Gordon and Trainor 2006: 105–106). Во время всех предыдущих вторжений, имевших место после Второй мировой войны, за исключением фиаско в заливе Свиней и в Сомали, американцы рассчитывали на значительные силы местных союзников. Как мы видели в предыдущих главах, обычно это были военные и представители либо высших слоев, либо определенных этнических групп. В бывшей Югославии союзниками были хорваты, боснийцы и косовские албанцы, которые затем и получили землю, за которую воева-

ли. Даже в Афганистане были союзники из Северного альянса и недовольные режимом вожди племен. Здесь у американцев было лишь несколько иракских лидеров из числа проживавших в изгнании, при этом ставка на одного из них — Ахмеда Чалаби, достаточно сомнительную личность, выглядела весьма жалко. Директор ЦРУ Тенет отмечал: «Создавалось впечатление, что где-то в аппарате вице-президента и в Министерстве обороны имя Чалаби писали в блокнотах снова и снова, как это делают старшеклассницы после первого свидания» (Chalabi 2007: 440). Чалаби воспользовался этим и передавал фальшивые разведданные непосредственно своим друзьям в Пентагоне и Белом доме, минуя профессиональных разведчиков (Bergen 2011).

Нельзя назвать это некомпетентностью при выборе союзников, потому что союзников просто не было, если не считать курдов. Находить союзников из числа местных становилось все труднее на всем протяжении XX в., по мере того как национализм становился легитимным принципом политической власти. Быть предателем своего народа или в данном случае предателем ислама — чувство, не получившее распространение в XIX в., теперь во многом не позволяло недовольным местным элитам присоединяться к империалистам. Империи приходилось все труднее. Как мы видели в главе 3 тома 3 и в главе 5 настоящего тома, в Азии и Латинской Америке преобладали классовые союзники. Но к Ираку, где не было ни военных, ни представителей класса капиталистов, которые не зависели бы от Саддама, ни массового повстанческого движения, это отношения не имело. Союзники могли появиться лишь в результате этнических или религиозных конфликтов, но и в этом случае создание союза с одной группой, направленного против другой, вряд ли могло способствовать установлению в обществе мира после окончания интервенции. В этом смысле Ирак представлял собой хороший пример. Курдские националисты были готовы к союзу с США, потому что совершенно справедливо видели в нем возможность создать собственное государство. Религиозное разделение на шиитов и суннитов могло дать шиитам шанс забрать контроль над страной у суннитского режима Саддама. Правда, в самом начале вторжения ни шииты, ни американцы не мыслили такими категориями. Шииты опасались, что в случае утечки информации о таких переговорах Саддам начнет против них репрессии, а американцы понимали, что для переговоров с шиитами им придется обращаться к Ирану, в котором они видели врага. После начала вторжения между шиитами и американцами произошло постепенное сближение, но это только добавило масла в огонь повстанческого движения суннитов. И без того непростая ситуация ослож-

нялась возникновением нескольких ответвлений антиимпериалистических сил — иракского национализма, носившего вполне светский характер, панарабской солидарности и еще более сильной солидарности мусульман. Как и в раннем движении против колониализма, национализм фактически не был основной движущей силой. Но было совершенно ясно, что США не хватает идеологических и политических сил для завершения начатой имперской авантюры.

Шаид (Shadid 2005: 280–288) провел опрос среди участвовавших в боевых действиях иракцев, как повстанцев, сражавшихся против Соединенных Штатов, так и иракцев, воевавших на стороне США. К тому моменту большинство сражалось уже против Америки, руководствуясь чувством национальной гордости и чести, подкрепленным недоверием к колониализму Запада и неизменной американской поддержкой Израиля. Эти различные чувства можно было свести к исламу: «мы» — мусульмане, «они» — неверные империалисты. Но если повстанцы говорили о каком-то идеологическом обосновании своей борьбы, то те, кто помогал американцам, делали это просто за деньги: «Что же мне оставаться без куска хлеба и не работать с американцами? Нет. Я буду работать с американцами и зарабатывать себе на хлеб». На обвинения в неверности со стороны местного духовенства они с усмешкой отвечали: «Пусть нам заплатят, и мы не будем работать с американцами». Они опасались мести своих общин. Преданными союзниками были только курды. С точки зрения реальной власти американцам в первую очередь именно поэтому не следовало вторгаться в Ирак.

Это было и основной причиной малочисленности американских оккупационных сил. Чейни, Рамсфелд, Вулфовиц и Фейт считали, что сил 120-тысячного контингента будет вполне достаточно. Они были правы: этого вполне хватило для того, чтобы разгромить иракскую армию. Но для последующей оккупации, наведения порядка и восстановления в условиях, когда союзников не было, требовалось намного больше людей. Посол Бремер, глава временной коалиционной администрации Ирака с мая 2003 по май 2004 г., пишет в своих мемуарах, что просил прислать больше людей, но его просьбу не услышали. На какое-то время могло бы хватить оккупационных сил численностью 250 тыс. человек (как предлагали генералы, из числа несогласных с происходившим). А в докладе «Рэнд корпорейшн» говорится уже о 500 тыс. человек, что потребовало бы возобновления всеобщего призыва на воинскую службу и было бы крайне непопулярным решением, способным повлечь за собой провал всей операции. К тому же это возложило бы на вооруженные силы непривычный груз политической ответственности.

Как бы там ни было, администрация практически не строила плана действий после вторжения. Британские офицеры жаловались на отсутствие планирования у американцев (Gilligan 2009). Опрошенные Фергюсоном (Ferguson 2008) американские чиновники в оккупированном Ираке заявили, что никакого плана не было, а все их попытки разработать план действий пресекали идеологи в Вашингтоне (позже мы увидим, что имелся план относительно нефти). На самом деле планы с опозданием разрабатывали в Пентагоне. Подготовка к вторжению заняла полтора года. Работа над планом действий после окончания войны была начата лишь за два месяца до вторжения. Госдепартамент — единственное место, в котором служили специалисты с опытом работы на Ближнем Востоке, был отодвинут на второй план, а офицеры Пентагона, занимавшиеся планированием, были крайне ограничены в ресурсах и не имели влияния в Белом доме. У Рамсфелда была собственная команда, занимавшаяся политическими вопросами. Один офицер объединенного комитета начальников штабов презрительно назвал ее «черной дырой». Как говорил отставной генерал Джей Гарнер, которого в последний момент назначили главой оккупационной администрации, «мы поймем, что надо делать, когда окажемся на месте» (Gordon and Trainor 2006: глава 8, цитата по с. 142, 152, 157). Армия исходила из того, что управление будет сразу передано иракцам (Wright and Reese 2008: 25–28). Военным приказали планировать сокращение численности личного состава через несколько месяцев после свержения Саддама.

В администрации Буша думали, что иракцы встретят их с распростертыми объятиями, а вопросы безопасности будут переданы дружественным иракским полицейским и армейским подразделениям, что государственные учреждения останутся нетронутыми и можно будет сразу формировать дружественное правительство. Возможно, за образец брали Восточную Европу 1989 г.: «Лидера — свергнуть, его статуя — снести, а обо всем остальном позаботится гражданское общество» (Kopstein 2006: 88). Помощник министра обороны Пол Вулфовиц в своих показаниях Конгрессу заявил, что расходы на оккупацию будут покрыты за счет доходов от нефти. Барбара Бодин, заместитель Гарнера, вспоминает, как ей говорили: «Мы уйдем оттуда через пару месяцев». Затем срок пребывания продлили до конца августа, то есть на четыре с половиной месяца после падения Багдада. Представитель Рамсфелда повторил: «Мы уйдем оттуда через три-четыре месяца» (Ferguson 2008: 88; Packer 2005: 132–133; Gordon and Trainor 2006: 162, 463–464). План заключался в том, чтобы быстро уйти.

Политолог Ларри Даймонд работал в гражданской администрации. По его наблюдениям, первым уроком построения демократии в Ираке было то, «что нельзя сразу перейти к Джефферсону и Мэдисону, не пройдя сначала Томаса Гоббса. Нельзя построить демократическое государство, не имея для начала самого государства, а главное, что требуется для создания государства, — это эффективная монополия на средства насилия» (Diamond 2005: 305). Саддам был скорее «плохим» гоббсовским сувереном, а Соединенные Штаты свергли его, не поставив никого на его место. Коммуникации, электро- и водоснабжение были разрушены, министерства и полицейские участки пустовали. Гарнер даже не мог связаться со своими сотрудниками, находившимися на другом конце города, а о поддержании общественного порядка и говорить было нечего.

Настоящий разгул грабежей охватил города, а американским военным оставалось только наблюдать со стороны, делая вид, что они заняты охраной министерства нефти и сотрудников Гарнера. Тысячи высокопрофессиональных грабителей вышли на улицы Багдада 9 апреля 2003 г., в день, когда режим Саддама прекратил свое существование. По меньшей мере 16 из 23 министерств были разграблены дочиستا, равно как и полицейские участки, больницы, школы и пункты распределения продовольствия. С электростанций вывозилось оборудование, что задерживало восстановление электроснабжения Багдада. Американские оккупационные власти оценили сумму разграбленного в 12 млрд долл., что соответствовало ожидаемым доходам от иракской нефти в первый год после окончания войны (Packer 2005: 139). Идею о возмещении расходов на вторжение за счет доходов от нефти пришлось на время отложить. На самом деле прибыли от нефти, полученной после войны, так и не хватило для компенсации расходов.

Большинство чиновников и многие армейские офицеры в Ираке считают, что армия должна была остановить грабежи. Остается неясным, почему они даже не попытались это сделать. Высокотехнологичное оружие плохо подходило для выполнения полицейских функций, но, добавляет Барбара Бодин, «потребности среднего иракца просто не были включены в наш список приоритетных задач. Именно тогда... их настороженное к нам отношение превратилось в скептицизм по поводу наших обязательств перед ними» (Ferguson 2008: 138). Реакция Рамсфелда лишь усугубляла положение. «Свобода не любит порядка, — заявлял он, — свободные люди свободны допускать ошибки, совершать преступления и плохие поступки. Они также свободны жить своей жизнью и делать прекрасные вещи. Именно так здесь и будет». «Всякое случается», — добавил он в утешение.



Пэкер (Packer 2005: 136–137) комментировал это так: «Министр обороны смотрел на анархию и видел в ней начальную стадию демократии. В его глазах и в глазах других сотрудников администрации свобода означала отсутствие ограничений. Свобода существовала в богоданной человеческой натуре, а не в созданных человеком институтах и законах. Уберите 35-летнюю тиранию, и на ее месте вырастет демократия». Такова неолиберальная теория жизни государства — просто уберите деспотизм, и все снова зацветет. Ни один социолог с этим не согласится.

В мае 2003 г. Бремер еще более усугубил проблему, приняв два решения: одно — политическое, другое — военное. В стране проводилась кампания по очистке четырех верхних уровней органов управления от членов партии БААС. Число баасистов составляло от 30 до 50 ты. человек. Все баасисты нижнего звена должны были пройти строгую процедуру проверки, что требовало немалого времени и сказалось на эффективности работы административных органов. Многие уволенные чиновники присоединялись к повстанцам, как и сунниты, которые считали, что такая политика создает преимущества для шиитов и курдов. Генерал Гарнер говорил Фергюсону, что целью его политики было очистить два верхних уровня управления (около 6 тыс. человек), а Бодин указывала на то, что их в большей степени тревожила коррупция и некомпетентность чиновников, чем баасисты. В Вашингтоне Дуглас Фейт при поддержке Рамсфелда, Вулфовица и Чейни написал порядок проведения дебаасизации. Этот документ был поддержан и президентом, после того как тот узнал о нем от Бремера (позже, когда Буш пытался отрицать это, разъяренный Бремер предъявил эти письма). При этом не проводилось никаких консультаций с Пауэллом, Райс, руководителями Совета национальной безопасности или генералами. Находившиеся в Ираке Гарнер, сотрудники ЦРУ и большинство генералов были вне себя от этого предложения, некоторые называли его безумным. Чалаби, занимавшийся выполнением политических решений в Ираке, был заинтересован в проведении массовых чисток (Gordon and Trainor 2006: 475–485; Tenet 2007: 426–430; Ferguson 2008: глава 5; Bremer 2006: 39–42, 53–59). Нехватка политической власти США усугублялась.

Вторым непродуманным решением стало расформирование иракской армии. Более полмиллиона человек, что составляло более 7% всего трудоспособного населения страны, потеряли работу, но не оружие. Многие примкнули к повстанцам. Большинство американских чиновников и большая часть иракцев желали ликвидации наводивших ужас секретной полиции и республиканской гвардии, но не регулярной армии. Они знали, что солдатам приходилось выполнять приказы Саддама

под угрозой расстрела. Похоже, решение о расформировании армии принималось тремя людьми: Бремером, его главным советником по безопасности Уолтером Слокомбом и Рамсфелдом, хотя Буш сразу одобрил это решение, правда, как-то невнятно. Все остальные были удивлены и большей частью потрясены. Они ожидали, что значительная часть иракской армии будет сохранена, был даже подготовлен список из более чем 100 тыс. солдат, которые считались годными для продолжения службы (Ferguson 2008: глава 6). На подготовку новой армии потребовалось бы несколько лет, поэтому уйти из страны через три-четыре месяца никак не получалось. Для создания новой армии требовалось еще больше времени. Позже Буш признал, что это было ошибкой (Bush 2010: 259).

Многих поразила некомпетентность администрации Буша, продемонстрированная этими двумя решениями политического и военного характера, означавшими, что справиться придется без иракской армии и без баасистских управленцев. Но это были не просто отдельные ошибки. Они составляли одно целое с неспособностью найти союзников на местах. Все это свидетельствовало об огромном имперском высокомерии. Во-первых, было решено, что американские вооруженные силы смогут покорить, умиротворить и создать *tabula rasa*, государство с чистого листа, из которого в стране с очень разнообразной культурой тут же вырастут хорошие институты. Во-вторых, считалось, что американские ценности свободы и демократии каким-то образом перевесят в умах иракцев все ужасы иностранного вторжения и оккупации. Это свидетельствовало о полном непонимании условий, необходимых для демократии, включая обеспечение общественного порядка, а также о неспособности эмпатически понять людей, потерпевших поражение. Большинство сотрудников оккупационной администрации понятия не имели о стране, которую они оккупировали. Это были бывшие вашингтонские лоббисты, сотрудники аппарата Конгресса, специалисты по связям с общественностью — полные энтузиазма республиканцы, понятия не имевшие о том, что такое Ирак или ислам. Они были авантюристами, а не поселенцами. В очередной раз в Америке не оказалось американцев, желающих осесть в подобных местах. Империи без поселенцев необходимо дружеское расположение значительной части местного населения. А добиться этого было невозможно. Прибывшие в Ирак американцы редко выходили за пределы «зеленой зоны» — американской крепости в Багдаде. Американцы в глазах большинства иракцев были или до зубов вооруженными солдатами, или наемниками. А такие люди не могли завоевать ни сердец, ни умов иракцев (Shadid 2005: 260–261). У Соединенных Штатов не хва-

тало ни идеологической, ни политической силы, необходимой для проведения того, что планировалось как мягкая имперская политика, поэтому пришлось использовать значительно более жесткие меры. Но поскольку военная власть способна разрушать, она редко созидает.

## ИЗДЕРЖКИ И ВЫГОДЫ ВТОРЖЕНИЯ

Жертвы были огромны. Увеличивавшийся технологический разрыв между США и их врагами порождал «милитаризм с перекладыванием рисков», когда США перекладывали риски ведения войны со своих солдат на силы противника и гражданское население. В результате американских бомбардировок в Афганистане погибло, наверное, около 3 тыс. гражданских лиц, хотя в колониальных войнах прошлого потери местного населения даже не принимались в расчет. В Ираке вызывающие у местного населения шок и трепет бомбардировки приводили к периодически подавлявшимся восстаниям, случаям подрывов с участием террористов-смертников и перестрелкам, которые начинали нервные и запуганные американские и британские солдаты.

Точной цифры погибших не знает никто. США ни разу не публиковали данных о потерях в Ираке, а традиция погребения мусульманина в течение суток после смерти означает, что многие случаи со смертельным исходом так и остались незарегистрированными. Министерство здравоохранения Ирака оценило число погибших в 150 тыс. человек, но это лишь с учетом тех, кто поступал в больницы и морги. Неправительственная организация *Iraq Body Count* подсчитала число погибших на основании сообщений в англоязычной прессе, насчитав около 100 тыс. человек, но, учитывая, что английский язык в Ираке не используется, эта цифра представляется сильно заниженной. В 2010 г. Викиликс опубликовала 400 тыс. секретных донесений американских военных о событиях в Ираке за период с января 2004 по январь 2010 г. Согласно этим данным, число смертей, засвидетельствованных американскими военными, составляет 109 тыс., из которых 65% приходится на гражданских лиц. Но и эти данные нельзя считать полными, так как американские военные не могли видеть всего. Общая оценка числа погибших около 100 тыс. человек большинству журналистов показалась убедительной. Но она определенно сильно занижена.

Группа эпидемиологов провела обследование домашних хозяйств в Ираке, чтобы выявить случаи смерти, связанные с военными действиями, включая те, которые произошли в результате нарастающего беззакония, нарушения инфраструктуры

и ухудшения здравоохранения. Результаты обследования были опубликованы в журнале *Lancet*. Решать, была ли смерть связана с военными действиями, предоставлялось каждой семье. В результате насчитали 650 тыс. погибших за период до июня 2006 г. (Burnham et al. 2006). В 92% случаев члены семей могли в ответ на просьбу предъявить свидетельство о смерти. Другая цифра — миллион погибших в период до января 2008 г. — была представлена в результате обследования, проведенного *Opinion Research Business Survey* (2008), однако методы этого обследования представляются сомнительными. Взрывоопасность материалов, опубликованных в *Lancet*, стала причиной попыток дискредитировать издание. Однако эпидемиологи и исследователи, участвовавшие в этом проекте, подтвердили, что в своей работе использовали самый передовой опыт проведения обследований, правда, добавили, что проведение таких обследований в странах с неразвитой инфраструктурой сильно затруднено. Это можно считать лишь приблизительной оценкой. Тем не менее она наиболее точная из всех имеющихся, хотя я думаю, что следует несколько уменьшить предлагаемую цифру, учитывая погрешность оценки самими членами семей в связи с военными действиями. В результате получим приблизительную цифру — 500 тыс. человек. Должен добавить, что большинство из них не были убиты американскими солдатами. В документах, опубликованных Викиликс, засвидетельствованы многочисленные случаи убийств, совершенных иракскими военными, полицейскими и членами военизированных формирований. Указанное число представляет общее число погибших в результате вторжения и оккупации.

Согласно дополнительным оценкам ООН, по меньшей мере 2,5 млн иракцев покинули страну и стали беженцами, а еще 2,5 млн сменили место жительства внутри страны — это при общей численности населения порядка 30 млн. Число пострадавших оказалось очень велико. Каждая смерть означала разрушенную семью. То же относится и к семьям беженцев. В сравнении с этими цифрами потери коалиции представлялись ничтожными: 4,5 тыс. американских солдат, 2 тыс. солдат армий других стран и 1,3 тыс. наемников. Ранение получили около 30 тыс. американских солдат. Смерти и ранения принесли определенные страдания и в американские семьи. Расходы на войну сегодня превышают 2 трлн долл. (некоторые говорят даже о 3 трлн долл.). Насилие продолжается. Его уровень снизился в 2009 и 2010 гг., но вновь возрос в 2011 г. В Афганистане и Ираке соотношение потерь американских солдат и местного гражданского населения составляет порядка 1:50 — таков эффект милитаризма с передачей рисков. Ведение неупорядоченного огня с даль-

них дистанций неизбежно вело к массовой гибели гражданского населения. В век господства антиимпериалистических настроений эта тактика не позволяет достичь желаемых результатов, вызывает гнев и возмущение среди пострадавшего от обстрелов населения и приводит к тому, что на сторону террористов переходит все больше людей, а значит, растет число убитых с обеих сторон. Никто не был привлечен к ответственности за непропорционально большое (избыточное) применение огневой мощи или бомбардировок.

Можно ли оправдать все это желанием обеспечить Ираку лучшее будущее? Положительным стало то, что был свергнут и казнен ужасный диктатор и проведены выборы. Саддам и вправду был ужасен. Он убил многих, хотя убивал не бездумно, а руководствуясь стратегическими соображениями и реагируя на два восстания. Первое случилось в 1988 г. во время войны с Ираном, когда было уничтожено более 100 тыс. шиитов и курдов. Некоторых курдов обвиняли в пособничестве иранцам. Это злодеяние было совершено еще тогда, когда США поддерживали Саддама, а Дональд Рамсфелд занимался поставками оружия для него. Тогда, в 1991 г., Саддам потерпел поражение из-за того, что американцы поддержали восстания на населенном курдами севере и на юге страны, где проживали в основном шииты. Саддам вновь ответил жесткостью: было убито, вероятно, 100 тыс. курдов и шиитов. Не столь масштабные репрессии, которые могли стоить жизни от 50 до 100 тыс. человек, были направлены против болотных арабов (мааданов). Малейшее подозрение в принадлежности к антисаддамовской оппозиции могло закончиться пытками, а возможно, и смертью. В целом получается от 300 до 400 тыс. человек, хотя некоторые говорят о 800 тыс. человек, правда, эти цифры ничем не подтверждаются. Опять-таки это лишь очень приблизительные оценки.

По всей вероятности, можно сказать лишь, что количество жертв американского вторжения и жертв режима Саддама выражается цифрами примерно одного порядка. Но если жертвы режима были результатом осознанных действий, то вряд ли можно сказать то же самое о действиях американцев. Остается лишь догадываться о том, сколько еще человек погубил бы Саддам, если бы не вторжение. Это зависело от того, грозило ли ему еще одно восстание, и от того, сколь долго он еще прожил бы. Наверное, самым лучшим решением был бы успешный антисаддамовский переворот. Оба режима привнесли в Ирак культуру насилия. Жестокость Саддама подтверждается ужасающими показаниями выживших в тюрьмах, а происходящее при режиме, установленном после американского вторжения, подтверждают не менее ужасающие свидетельства американских солдат, опубли-

кованные в военных отчетах Викиликс, в которых рассказывается о жестокости повстанцев, боевых товарищей и иракских союзников. Убийства, совершенные Саддамом, в целом были более предсказуемы. Любой находившийся в оппозиции к нему был в опасности. Ныне действующий в стране режим также убивает и пытается своих врагов, правда, действия террористов опасны сегодня и для простых прохожих. При Саддаме повседневную и общественную жизнь можно было считать более или менее нормальной, чего нельзя сказать о происходящем сегодня (Rosen 2010: 9).

Соединенные Штаты действительно поощряли демократию, но в то же время (непреднамеренно) содействовали росту межконфессиональных разногласий, когда, ошибочно считая режим Саддама исключительно суннитским, передали власть в стране организованным группам, состоявшим преимущественно из шиитов или курдов. В результате на первых выборах в 2005 г. явка оказалась вполне удовлетворительной, но 95% участвовавших в выборах голосовали за партии своей этнической или религиозной группы. Это была скорее этнократия, когда большинство подавляет меньшинство, а не демократия. В тот раз у власти в обществе, где большинство составляли сунниты, оказалась непростая коалиция шиитов и курдов. Курдские партии опирались только на курдов, а в некоторых шиитских и суннитских партиях за последнее время наблюдалась тенденция более светского национального характера. Появлялись признаки того, что люди начали уставать от межконфессиональных распрей. Но сегодня они физически разделены еще в большей степени из-за того, что мультиэтнические поселения перестали существовать в результате террора, развязанного против меньшинства, вынужденного бежать (Rosen 2010: 17–18, 45–49, 64–65, 549–550). Произошло то, что происходило в ходе других конфессиональных чисток в Северной Ирландии и в бывших республиках Югославии. Баасистские режимы на Ближнем Востоке, включая режим Саддама, оказались более светскими и более толерантными по отношению к этническим и религиозным меньшинствам, за исключением евреев, и обеспечивающими женщинам больше прав, чем арабские страны, относящиеся к числу союзников США. Сегодня в Ираке большинство конституционных вопросов решается на этнической основе, определяя, какая этническая группа будет доминировать в той или иной провинции и в стране в целом. На практике это означает, кто именно возглавит местные администрации и сможет распределять правительственные должности и доходы между своими друзьями и родственниками. По сообщениям американских дипломатов, телеграммы которых оказались в распоряжении Викиликс и были опубликованы в ливанской газете «Аль-ахбар», в 2010 г.

под прикрытием дебаасификации страны премьер-министр Малики уволил опытных и компетентных сотрудников органов разведки и безопасности, назначив на их места верных членов партии.

Если три соперничающих друг с другом этнических или религиозных сообщества смогут прийти к компромиссу путем дополнительных представительских процедур, то это можно будет считать политическим прогрессом в сравнении с периодом правления Саддама. Хотя подобный результат мог бы быть получен и в результате антисаддамовского переворота внутри страны. Генерал Рэй Одиерно, командующий американскими войсками в Ираке, отвечая на вопрос журналиста о том, не осложнили ли США этнический конфликт в стране, честно ответил: «Я не знаю. Мы ничего не понимали в вопросах, которыми нам приходилось заниматься. Стало ли от этого хуже? Может быть» (*New York Time*, February 6, 2011). Человек, занимавший такой пост, вполне определенно высказал свое пессимистическое отношение.

США, наконец, научились приобретать союзников. Теперь они оказывали поддержку не только курдам, но и шиитам, а в 2006 г. поставили оружие вождям суннитских племен, воевавшим против суннитских повстанцев. Их успех был важен для операции «Большая волна», проводившейся в начале 2007 г., когда численность американского контингента была увеличена еще на 21 тыс. человек. В своих мемуарах Буш (Bush 2010) утверждает, что его командиры на местах и Рамсфелд возражали против этой операции, но он поступил так, как ему советовали четверо неоконсерваторов: «Фред Каган, ученый, занимавшийся военными вопросами в Американском институте предпринимательства, спросил, достаточно ли у нас сил, чтобы противостоять насилию. Роберт Каплан, известный журналист, рекомендовал более агрессивную стратегию в отношении повстанцев. Майкл Викерс, бывший оперативный сотрудник ЦРУ, помогавший вооружать афганских моджахедов в 1980-х годах, говорил об особом значении специальных операций. Элиот Коэн... сказал, что мне следует требовать результатов от своих командиров». Рамсфелда отстранили от должности, и операция началась. В ней участвовали и иракцы: на содержание 100 тыс. суннитских ополченцев выделялось 30 млн долл. в месяц, и это позволило премьер-министру Малики внезапно атаковать формирования шиитских боевиков Садра, многие из которых уже превратились в шайки уголовников.

В 2008 г. совместными усилиями иракских и американских военных удалось, наконец, разоружить боевиков Садра и положить конец межконфессиональной гражданской войне (Rosen

2010: 363–375). После этого началось постепенное сокращение численности войск, которая к сентябрю 2012 г. была доведена до 15 тыс. человек. Операция «Большая волна» оказалась успешной. В ноябре 2008 г. было подписано соглашение о статусе американских войск, в котором дата их вывода была назначена на октябрь 2011 г. Соглашение означало предоставление Ираку полного суверенитета и подтверждение его права владеть всеми отраслями промышленности, включая нефтяную, всеми бывшими американскими военными базами и центрами, а также перевод всех субподрядчиков под иракскую юрисдикцию. В настоящее время в Ираке больше военных наемников, чем американских солдат. Более двух третей этих наемников являются иностранными гражданами, из них треть вооружены, и на них возложены функции обеспечения безопасности — это еще одна попытка переложить риск с американских солдат. Обстановка в Ираке остается напряженной, убийства продолжаются. По данным иракских министерств, число убитых несколько увеличилось: с 3481 человека в 2009 г. до 3605 человек в 2010 г. В 2011 г. число убитых было примерно таким же. При этом новый иракский режим нельзя назвать надежным союзником США. Это шиитский режим, поддерживающий Иран и «Хезболлу» и отказывающийся признавать Израиль. Американское вторжение привело к усилению Ирана. Как и до вторжения, США полагаются на Саудовскую Аравию и Израиль.

Ни одна из первоначальных целей США, не считая убийства Саддама Хусейна, не была достигнута. Саддам Хусейн, возможно, и был сукиным сыном, но он правил Ираком. Он был их сукиным сыном. Он обеспечивал больше порядка, чем американцы. Эта военная интервенция оказалась почти бесцельной и крайне затратной.

## АФГАНСКОЕ БОЛОТО

Причина вторжения в Афганистан была более очевидной, поскольку предполагаемый виновник терактов 9/11 скрывался здесь в тренировочных лагерях. Никаких других более высоких мотивов не существовало, поскольку в Афганистане не было ничего, что могло бы служить интересам США. Поначалу все шло прекрасно. Правительство талибов было сметено, уступив американской огневой мощи и напору местных союзников США. При поддержке местных сил на земле американцам, для того чтобы захватить Кабул, хватило 300 военных, из которых половину составляли наводчики с GPS-телефонами, а вторую половину — оперативные сотрудники ЦРУ с чемоданами долла-



ров для дружественных полевых командиров. Дальше было сложнее. Остается неясным, почему в ноябре 2001 г. Белый дом и Пентагон отклонили просьбу военных направить еще одну шеститысячную группировку рейнджеров в горы Тора-Бора, где, по сведениям ЦРУ, скрывался Усама. Многие, как утверждает Энсалко (Ensalaco 2008: 227; ср. Bergen 2011), считают, что «администрация Буша, занятая планированием грядущей войны в Ираке, отбросила попытки уничтожить бен Ладена». Генерал Томми Фрэнкс — человек, который принимал окончательное решение относительно операции в горах Тора-Бора, был неожиданно переведен на другую работу, связанную с подготовкой плана войны в Ираке. А теперь США увязли в Афганистане, который большинство членов Аль-Каиды уже покинули.

К 2011 г. было не ясно, что США и их союзники по НАТО делают в Афганистане, помимо того что занимают то одну, то другую сторону, участвующую в гражданское войне, которая полыхает здесь уже на протяжении 35 лет, натравливая образованных и в большинстве своем нерелигиозных жителей городов, расположенных на севере страны, на придерживающихся традиционного образа жизни крестьян-пуштунов. Талибы перегруппировались, нашли себе союзников в Пакистане и сумели встать во главе многих пуштунских кланов. Хотя Карзай сам пуштун, но во власти пуштуны представлены явно непропорционально мало. Доля пуштунов в населении страны составляет более 40%, поэтому подавить их нелегко, особенно там, где рельеф местности способствует ведению партизанской войны, тем более при поддержке со стороны Пакистана и, возможно, Ирана. Численность афганской армии достигла 134 тыс. человек, но ее боеспособность сомнительна, учитывая, что доля уволившихся достигает 24% в год, а действовать самостоятельно независимо от сил НАТО она не в состоянии. Лучшим выходом могло стать соглашение между талибами и режимом Карзая, которое соблюдалось бы достаточно долго для того, чтобы дать возможность силам НАТО поскорее уйти из Афганистана, не потеряв лица. Сам Карзай, похоже, хочет такого соглашения, но узбеки и таджики, составляющие часть его режима, выступают против любой договоренности, а независимые доходы, получаемые от торговли наркотиками, позволяют им действовать вполне самостоятельно, не оглядываясь на Карзая. Считается, что некоторые лидеры талибов выступают за проведение переговоров, но значительные потери привели к тому, что пришло более молодое и радикально настроенное поколение талибов, не очень заинтересованных в переговорах и считающих, что у них окажется больше терпения, чем у США. Талибы «безупречно вписались в жизнь общин» и были больше привержены

идеологии, чем режим Карзая с его коррупцией и жестокими полевыми командирами. В стране, где доминирующей идеологией является исламский национализм, сотрудничество с неверными американцами автоматически вызывает чувство ненависти (Rosen 2010: глава 11, цитата по с. 491).

Это была тяжелая война против партизан, чувствовавших себя, как рыбы в море межплеменных отношений. До середины 2011 г. погибло почти 2500 военнослужащих НАТО. 100 тыс. американских и 40 тыс. военных из стран НАТО могут вытеснить талибов из городов, но контролировать сельскую и гористую местность они могли лишь в течение недолгого времени. Союзники изгоняли отряды талибов и уходили, а те возвращались вновь. Если повторить расчеты, которые американские генералы и сотрудники «Рэнд корпорейшн» выполнили для Ирака, то в Афганистане требовался контингент численностью от 250 до 500 тыс. человек. Никто не решался предложить столь «Большую волну». Потери росли вплоть до 2011 г., после чего несколько снизились. Согласно оценкам ООН, более 3 млн афганцев покинули страну. Попытки покончить с талибами приводили к потерям и среди гражданского населения. По оценкам ООН, в период с 2006 по 2010 г. убитые среди гражданского населения составили почти 10 тыс., более двух третей численности объединенных сил талибов и менее одной трети численности сил коалиции и правительственных сил. Поэтому представляется сомнительным, чтобы какая-либо из сторон могла привлечь на свою сторону умы и сердца жителей всей страны. В еще меньшей степени на это способно большинство других местных полевых командиров, действующих на всей территории страны. Афганистан заслужил звание могилы империй, сокрушив британскую и советскую империи. Теперь к их числу можно добавить и американскую империю. Сомнительно, что до вывода американских войск, начало которого Обама назначил на июль 2011 г., а окончание — на 2014 г., удастся добиться сколь-либо значимой победы. Принимая на себя обязательства в этой войне, Обама не проявил ни чистосердечия, ни искренности, это было вызвано его оппортунизмом, проявленным в ходе избирательной кампании, когда ему было необходимо противопоставить что-то уходу из Ирака. Он выбирает стратегию выхода и из этой войны, подстрекаемый вице-президентом Байденом и другими демократами, в то время как генералы требуют от него противоположного — наращивания численности войск и продления срока их пребывания в Афганистане. Обама прекрасно понимал, что это могло стать его Вьетнамом.

И снова США ошибочно сочли, что демократию можно установить с помощью военной силы. Но общество там так и оста-

лось племенным, когда каждая деревня, каждая провинция находится под контролем местных авторитетов и небольших отрядов боевиков, хотя существуют сомнения в том, что эти силы могут контролировать хотя бы прилегающие окрестности. Бюллетени во время выборов подделываются, а избиратели голосуют по команде стоящих во главе племени полевых командиров, которые занимаются единственным видом торговли, приносящей доход, — опиумным маком. И здесь, как и в Ираке, проявляется недостаток мажоритарной демократии в условиях этнически или религиозно разделенной страны: люди голосуют за партии, представляющие их собственные этнические или религиозные группы, что ведет к еще большему росту напряженности в межэтнических отношениях. Как показали миру украинские выборы 2009 и 2010 гг., режим, возглавляемый Карзаем, пронизан коррупцией. Об озабоченности США этой проблемой свидетельствуют документы Госдепартамента, которые выложены на сайте Викиликс и на которые ссылается в своей публикации *New York Times* (3 декабря 2010 г.). В октябре 2009 г. американский посол Айкенберри после встречи с братом президента Карзая отправил в Вашингтон телеграмму, в которой выразил свое отчаяние относительно того, «каким образом можно бороться с коррупцией и обеспечивать связь народа с правительством, когда ключевые члены этого правительства коррумпированы». В указанных документах представлены доказательства. Первый вице-президент попался на незаконном ввозе 52 млн долл. в ОАЭ; министерство транспорта получило от сборов с водителей грузовых автомобилей 200 млн долл., но отчиталось перед правительством лишь за 30 млн долл.; министр здравоохранения заявил американским дипломатам, что депутаты парламента запросили с него по тысяче долларов за каждый голос в поддержку его назначения на пост. Подобных примеров множество. Большинство иностранных дипломатов и сотрудников неправительственных организаций, опрошенных Розеном (Rosen 2010: глава 11: особенно на с. 462–463), с пессимизмом оценили конечный результат, полагая, что «стратегия борьбы с повстанческим движением» (COIN) мало что изменит. Большинство опрошенных афганцев были уверены, что после того как американцы уйдут, Карзай сбежит за границу, а «Талибан» сформирует коалиционное правительство с участием других оппозиционных групп. Мне это представляется несколько пессимистичным. Правительство Карзая, возможно, контролирует большинство городов и основных дорог благодаря укреплению сил безопасности, а также тому, что большинство городских жителей Афганистана не симпатизируют талибам. Правда, возможно, что талибам и их союзникам удастся установить кон-

троль в сельской местности, особенно на востоке страны. Обещанные на 2014 г. выборы могут привести к дальнейшему разделению афганцев по принадлежности к тому или иному этносу или племени. Как в Афганистане не было порядка, так его и нет.

Однако хуже то, что беспорядок в Афганистане привел к дестабилизации ситуации в Пакистане с его ядерным оружием, которое может оказаться недостаточно защищенным от кражи или продажи. Согласно информации Центра мониторинга конфликтов, в 2011 г. ЦРУ осуществило 132 атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов в районах проживания племен на территории Пакистана, приведшие к гибели 938 человек в основном среди гражданского населения. Это было больше, чем общее число атак, совершенных за все время деятельности администрации Буша. США меняют свою политику, отказываясь от новых вторжений в пользу применения беспилотных летательных аппаратов не только в Пакистане, но и в Йемене и Сомали. Беспилотные летательные аппараты делают возможным нанесение точных бомбовых ударов по выбранным целям, что позволяет снизить потери среди гражданского населения по сравнению с потерями при вторжении и свести к нулю потери среди американцев. Однако точность таких ударов зависит от достоверности разведывательных данных. В сочетании с многочисленными тайными наземными военными операциями американских войск в Пакистане это вызывает ответную реакцию особенно среди племен, проживающих на северо-востоке Пакистана. Политика США привела к результатам, которые оказались прямо противоположными ожидавшимся: усилению позиций джихадистов на всей территории Пакистана и ослаблению пакистанского правительства. Людей, совершивших убийство представителей умеренных, с энтузиазмом приветствовала многочисленная толпа.

Определенный успех был достигнут 2 мая 2011 г., когда американцы в ходе операции, проведенной в доме, расположенном неподалеку от столицы Пакистана Исламабада, обнаружили и уничтожили Усаму бен Ладена. Усама к тому времени был вынужден отказаться от активной деятельности и жил в условиях строгой конспирации. Документы, захваченные в доме американскими военными и опубликованные в мае 2012 г., свидетельствуют о том, что он был недоволен происходившим, считая, что «Аль-Каиду» захватили последователи стратегии «врага, находящегося рядом», и осуждал террористов, совершавших нападения на братьев-мусульман. Скорее всего его смерть не нанесла особого ущерба международному терроризму, который гораздо в большей степени зависит от происходящих в настоящее время восстаний в арабских странах против деспотических режи-

мов. Если они окажутся успешными, террористы будут дискредитированы, однако в случае неудачи этих восстаний ответная реакция террористов может усилиться. Смерть бен Ладена открывает Соединенным Штатам быстрый и «грязный» выход из Афганистана. Уничтожение бен Ладена было основной целью американского вторжения, она была достигнута, поэтому США могут покинуть страну, оставив Карзая с его проблемами. Именно это вскоре и произойдет, потому что внутри США война уже не пользуется поддержкой. Внешне вывод войск из Афганистана позволит американцам спасти лицо, как это уже было во Вьетнаме, хотя лишь немногие американские политики, понимая всю унижительность такого шага, поддерживают это решение. Американцам полезно вспомнить слова капеллана британской армии преподобного Г. Х. Глейга, одного из немногих выживших в кошмарной первой англо-афганской войне. В своих мемуарах о 1843 г. он писал:

С самого начала у этой войны не было ясной цели, она велась странным образом, в котором опрометчивость сочеталась с нерешительностью. Она прекратилась после многих страданий и трагедий, не принесла особой славы ни правительству, начавшему эту войну, ни многочисленным солдатам, участвовавшим в ней. Она никому не принесла ни политического, ни военного выигрыша. Наша окончательная эвакуация из страны напоминала отступление армии, потерпевшей поражение.

## ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

Основные отрицательные последствия вторжения и оккупации Ирака и Афганистана не только затронули эти страны, но и имели ответную реакцию во всем мире. До американского вторжения в Афганистане скрывались лишь несколько террористов международного масштаба, а в Ираке — почти ни одного. В результате вторжения террористы появились во многих мусульманских странах. Даже Буш (Bush 2010) это признает: «Когда „Аль-Каиде“ пришлось покинуть афганский рай, террористы приступили к поискам нового. После того как мы убрали Саддама в 2003 году, бен Ладен убедил своих боевиков поддерживать джихад в Ираке. Ирак во многих отношениях представлял для них больший интерес, чем Афганистан. Он богат нефтью, и у него арабские корни. Со временем число связанных с „Аль-Каидой“ экстремистов в Афганистане снизилось до нескольких сотен, тогда как в Ираке она достигала десятков тысяч». Вторжения в Ирак и Афганистан привели к тому, что «Аль-Каида» развила свою активность в Ираке, Иордании, Ливане, Йемене,

Сомали, Западной Европе и во многих других странах. В 2006 г. Совет национальной безопасности США признал, что «иракский конфликт стал *cause célèbre* для джихадистов, глубоко возмущенных вторжением США в мусульманский мир и занимающихся подготовкой сторонников мирового джихадистского движения» (Ensalaco 2008: 273). Противовесом улучшению ситуации в Ираке, которое может быть в конце концов и наступит, стало усиление позиций террористов во всем мире и расширение войны против него. Джихадисты сохранили свои позиции в мире и, как отмечает Розен (Rosen 2010), «США приняли взгляд „Аль-Каиды“ на мир, что также способствовало превращению всего земного шара в поле битвы». Гергес (Gerges 2005) считает это большой ошибкой, допущенной обеими сторонами. Среди джихадистов многие не согласны с нанесением удара по дальнему врагу, однако агрессия со стороны дальнего врага ведет к ослаблению позиций врага ближнего. В этом столкновении ни США, ни террористы не смогут добиться победы. Единственное, что им удастся сделать, так это создать хаос в некоторых и крупные неприятности во многих местах.

От ответной реакции террористов США защищают океанские просторы, а мусульманские общины Америки малочисленны, разрозненны и консервативны. В Британии доля проживающих мусульман заметно больше в основном из Пакистана, где сегодня обстановка теряет стабильность в результате политики, проводимой правительствами США и Британии. Из 119 человек, осужденных в Британии за террористические акты в период с 1999 по 2009 г., 69% составляли этнические пакистанцы, родившиеся в Соединенном Королевстве и имевшие британские паспорта. Все, кто был задержан по обвинению в попытке совершить подрыв или в планировании взрывов, в качестве основной причины своих действий указывали внешнюю политику, проводимую Британией (из отчета Центра социального сплочения от 5 июля 2010 г.). Подавляющее число пакистанцев, проживающих в Британии, являются законопослушными гражданами. Но многих возмущает причастность Британии к убийству значительного числа мусульман в Афганистане и Ираке и ее неспособность разрешить израильско-палестинский конфликт. Опрос, проведенный газетой *Guardian*, показал, что 13% живущих в Британии пакистанцев оправдывают взрывы, совершенные террористами-смертниками. Целых 47% опрошенных дали утвердительный ответ на вопрос о том, могли бы они стать террористами-смертниками, если бы оказались в положении палестинцев (*Guardian*, March 15, 2004; ср. UK Foreign and Commonwealth Office/Home Office “Draft Report on Young Muslims and Extremism,” April 2004). Бывший директор МИ-5,

главного разведывательного управления Британии, в ходе официальных слушаний признала, что после вторжения в Ирак резко увеличившееся число сообщений об опасности террористических актов в самой Британии привело к тому, что бюджет МИ-5 был увеличен на 100%. Она сказала: «Наше вторжение в Ирак... привело к радикализации целого поколения молодых людей — лишь немногих представителей поколения, увидевших в нашем вторжении в Ирак и Афганистан атаку на ислам. Возможно, мы дали Усаме бен Ладену возможность развернуть джихад в Ираке в таких масштабах, в каких он не был способен раньше» (*The Independent*, July 21, 2010). В одном из сообщений американских дипломатов, опубликованном Викиликс, указывается, что в 2007 г. видные представители британских мусульман, включая двух членов парламента, предупреждали британское правительство об ответной реакции общины британских мусульман на «позорный провал в Ираке» и вторжение Израиля в Ливан. Американскому дипломату не нравилось то, что он назвал рефлекторной реакцией. Он писал, что «мусульманская община является не единственной в Британии, кто осуждает британскую внешнюю политику за провоцирование радикальных элементов... и даже в ведущих средствах массовой информации высказывалось мнение, по некоторым данным довольно распространенное, о том, что терроризм внутри страны стал неизбежной реакцией на британское вмешательство в Ираке и нежелание Британии призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке» (*The Guardian*, December 13, 2010). Он не добавил, что они правы.

В Испании единственный террористический акт произошел 11 марта 2004 г., за которым через месяц последовала еще одна неудачная попытка, совпавшая по времени с периодом, когда правительство консерваторов Испании поддерживало политику США в Ираке. В результате этого ужасного инцидента погиб 191 человек. После того как правительство социалистов приняло решение уйти из Ирака, джихадисты своих акций в Испании не проводили.

Роберт Пэйп проанализировал все случаи терактов, совершенных террористами-смертниками в период между 1980 и 2005 гг. (315 случаев), и пришел к выводу, что «между действиями террористов-смертников и исламским фундаментализмом или какой-либо другой мировой религией... наблюдается мало связи. Скорее почти все теракты, совершенные террористами-смертниками, имеют одну конкретную секулярную стратегическую цель — принудить современные демократические государства вывести свои войска с территорий, которые они считают своей родиной». В основе действий террористов-

смертников лежит национализм. Он представляет собой «крайнее выражение стратегии национального освобождения» (Раре 2005: 4, 79–80). Пэйп (Раре 2010) недавно продолжил свой анализ, рассмотрев 2200 терактов, совершенных в период с 1980 по 2010 г. Начиная с 2002 г. каждый месяц террористы совершали больше покушений на убийство американцев и их союзников в мусульманских странах, чем их произошло на протяжении всего времени до 2001 г. С 1980 по 2003 г. в мире было совершено 343 теракта с участием террористов-смертников, из которых против американцев было направлено не более 10%. Однако после того как США оккупировали Афганистан и Ирак, общее число таких терактов во всем мире резко увеличилось: примерно с 300 в 1980–2003 гг. до 1800 в 2004–2009 гг. Правда, число совершенных терактов, достигнув пика, стало снижаться, и теперь такие теракты совершаются преимущественно местными жителями и направлены против них в зонах военного конфликта в Афганистане, Ираке, Пакистане и Сомали. В 2010 г. из 13 тыс. убитых в результате террористических актов лишь 15 были американцами.

Для нас опасность уменьшилась. Число терактов, совершаемых мусульманами и направленных против американцев, стало незначительным, что в основном объясняется не американской внешней политикой, а тем, что среди террористов преобладают группировки, предпочитающие действовать против ближнего врага, а также усилением мер обеспечения внутренней безопасности. Количество терактов достигло своего пика в ответ на нашу давнюю, но получившую в последнее время новый импульс агрессивную внешнюю политику в исламском мире, а также на возросшую агрессию нашего союзника — Израиля. Именно на этом делается акцент сами террористы-смертники, именно об этом заявляет сама «Аль-Каида». Если мы ответим на жестокость террористов агрессией в исламском мире, жестокими действиями против мусульман, мы просто увеличим число террористов, действующих против нас. И последствия этого окажутся даже хуже, чем можно предположить. В своих попытках отрицать то, что именно проводимая ими политика привела к возникновению угрозы терроризма, правительства США и Британии возвращаются к аргументации, касающейся цивилизации, культуры и ценностей. Президент Буш назвал террористов «угрозой цивилизации и нашему образу жизни», отметив их «ущербную логику фанатиков», что требует от нас выступить против них «с крестовым походом». Премьер-министр Блэр предвидел «атаки на наши ценности». Остальные считают это борьбой между западной цивилизацией и исламским терроризмом, корни которого уходят в примитивную, от-



сталую и даже дику мусульманскую цивилизацию. Политический курс можно изменить быстро. Культура, к сожалению, меняется значительно медленнее. Культуралистические взгляды обрекают США на длительную войну (Jacoby 2010).

Эти взгляды также приводят к зверствам. Большинство сотрудников ЦРУ сомневаются в эффективности пыток. Халид Шейх Мохаммед, который, без сомнений, был разработчиком плана атаки 9/11, был подвергнут пытке, имитирующей утопление, 183 раза, но не сказал ничего нового по сравнению с тем, что он добровольно рассказал журналисту канала «Аль-Джазира» двумя годами раньше (Bergen 2011). Условия содержания заключенных в Гуантанамо и случаи экстрадиции лишили США морального превосходства. Эта жестокость, а также нападения на мусульман и мечети на Западе в еще большей мере провоцировали реакцию экстремистов из числа мусульман. Как это всегда происходит в сложных конфликтных ситуациях, противоборствующие группы экстремистов соревнуются друг с другом в преувеличении действий противоположной стороны. Исламский фундаментализм по своей природе не получил широкого распространения на Ближнем Востоке. Ни суннитам, ни шиитам, то есть иранским аятоллам, не удалось сделать для социального развития больше, чем сделали предшествовавшие им движения более светского характера. «Аль-Каида», в частности, не предлагает никаких позитивных концепций построения более совершенного общества. Ей нечего сказать в отношении образования, здравоохранения и создания рабочих мест. Она убивает без разбора, в том числе и многих мирных жителей-мусульман, а ее фундаменталистские ценности разделяют очень немногие. Те, кто бомбит мирное население, поступают вопреки и ценностям Просвещения, и ценностям ислама. Государственный терроризм и воздушные бомбардировки также противоречат этим ценностям. Террористы жестоки и не пользуются популярностью, поэтому мы должны суметь занять более высокое положение в глазах большей части мировой общественности. Но мы этого не делаем. Мы утратили свою идеологическую власть.

Вторая ответная реакция проявила себя в сфере распространения ядерного оружия. Одно направление политики США достойно восхищения — это попытки американских дипломатов и политиков обеспечить недоступность (при сотрудничестве с Россией) материалов, оставшихся от советской ядерной программы. Такая работа была начата в 1990-х гг., и президент Обама обещал завершить ее, обеспечив неприкосновенность этих материалов в течение четырех лет. Задача осложнилась после того, как Конгресс отказался утвердить финансирование данно-

го проекта, а документы, опубликованные Викиликс (*The Guardian*, 19 декабря 2010 г.), свидетельствовали о том, что американские дипломаты пристально следят за возможными случаями контрабанды ядерных материалов по всему миру. Мы должны быть благодарными им за это.

Администрация Буша говорит о еще одном своем достижении, утверждая, что вторжение в Ирак остановило разработку Ливией ядерного оружия. Более того, Мухаммад Каддафи уже через три дня после падения Багдада заявил о прекращении работы над своей программой вооружения в обмен на дальнейшее сотрудничество в области экономики, вооружения и безопасности с США и другими западными странами. Повлияло ли на него американское вторжение? Возможно, оно оказало какое-то воздействие, хотя сам Каддафи вел переговоры с британцами и американцами на протяжении многих лет, и в них наблюдался прогресс. Каддафи в первую очередь двигало стремление выйти из международной изоляции и добиться снятия экономических санкций, чтобы его сыновья не стали наследниками страны-изгоя, — какая ирония судьбы! Тем не менее события в Ливии вряд ли говорят в пользу претензий Буша.

Примеры Ирана, Кореи и Пакистана тоже не назовешь удачными. Еще до того как стало понятно, что оккупация Ирака провалилась, ожидаемый демонстрационный эффект обернулся своей противоположностью. Иранский президент-реформист Хатами предлагал начать переговоры с США, которые он называл диалогом двух цивилизаций. Под его руководством Иран выступил с осуждением атак 9/11, изолировал связанных «Аль-Каиды» и содействовал США в Афганистане. Однако враждебность Буша свела усилия Хатами на нет и привела к усилению позиций консервативных клерикалов, а также к тому, что Иран стал более активно стремиться к созданию ядерного оружия, чтобы использовать его в качестве средства запугивания. В 2005 г. на смену Хатами пришел Ахмадинежад, известный тем, что отрицал холокост. Северная Корея также быстро двигалась по направлению к созданию ядерного оружия. После того как Саддам и его коллеги были убиты, демонстрационный эффект по вполне понятным причинам вызывал страх в правящих кругах этих двух стран. Но он также усиливал их стремление к ядерному оружию, которое они могли использовать для самозащиты. После провала оккупации Ирака ничто не могло остановить правительства Кореи и Ирана, и тогда администрация Буша решила не обращать на них особого внимания, предоставив политические решения на усмотрение европейцев, русских и китайцев (Cohen 2005: 135–139, 184–186). Это на самом деле позволило предостеречь США от следования со-

вету короля Саудовской Аравии Абдуллы, предлагавшего «отрубить змее голову», то есть разбомбить иранские ядерные центры (документы Госдепартамента, опубликованные Викиликс (*New York Times*, 28 ноября 2010 г.)! Реакция в ответ на вторжение США и Израиля в Ирак, Афганистан и Ливан также вызвала укрепление позиций Ирана как региональной державы — довольно неожиданный поворот событий, если учесть, что прежде США с успехом использовали Ирак, которым правил Саддам Хусейн, чтобы противостоять Ирану. Если Ирану удастся получить ядерное оружие, хотя службы разведки начали сомневаться в этом в середине 2011 г., будет сложно удержать Израиль от нанесения упреждающих ударов, включая удары с использованием ядерного оружия. Усиление Ирана также побуждает его региональных соперников — Ирак, Саудовскую Аравию и Турцию — стремиться заполучить ядерное оружие. В свете событий, развивающихся на Ближнем Востоке и в Пакистане, появление технологии, позволяющей разместить ядерный заряд в чемодане, позволит говорить о возможности ее использования террористами-смертниками. В конце концов идеологически мотивированные террористы-смертники уже стали обычным делом. Опасность гарантированного взаимного уничтожения их не беспокоит, поскольку они с радостью идут на смерть, ожидая награды после смерти.

В других исламских странах мира США придерживались более традиционной политики без крупномасштабных вторжений и угроз, при этом предпочтение отдавалось скорее пусть и деспотическим, но дружественным режимам, чем склонным к большому риску прогрессистам. Содействовав ранее дестабилизации социалистических режимов в арабских странах, США теперь считали исламистов своими главными врагами из числа популистов. Все вместе это вело к хаосу. Правительства в Ливане, Йемене и Сомали были недееспособны, Пакистан стоял на грани катастрофы. В начале 2011 г. в Египте и Тунисе были свергнуты поддерживаемые Америкой диктаторы, причем без какого-либо участия со стороны США. Сообщения из Туниса, опубликованные на Викиликс (*New York Times*, 16 января 2011 г.), демонстрируют, что на протяжении нескольких лет американские дипломаты называли правящий режим коррумпированным, авторитарным, управляемым одной семьей в мафиозном стиле, но при этом хвалили диктатора Бен Али за обеспечение стабильности и подавление исламистов. Когда массовые демонстрации «арабской весны» 2011 г. перекинулись на Бахрейн, где базировался 5-й американский флот, администрация Обамы призвала короля Бахрейна к умеренности. Король, не обращая внимание на этот призыв, с помощью войск, присланных из со-

юзной соседней Саудовской Аравии, разогнал демонстрантов. США не препятствовали проведению репрессий, хотя и ощущали некоторую неловкость. Американские средства массовой информации называют это ходьбой по канату, протянутому между стабильностью и демократией, хотя эту метафору нельзя считать подходящей, если учитывать, что США с этого каната постоянно сваливаются в сторону деспотии. В декабре 1991 г. в Алжире на выборах победил Исламский фронт спасения, однако результаты выборов были сразу же отменены в результате военного переворота, осуществленного при поддержке Соединенных Штатов. США отказались признать триумфальную победу ХАМАС на выборах в Палестине в 2006 г., равно как и успех движения «Хезболла» на выборах в Ливане в 2009 г. Демократия является целью американской политики лишь в случаях, когда она способствует приходу к власти друзей Америки. Ирония состоит в том, что в единственной мусульманской стране региона, где действовала настоящая демократия, теперь правит исламистская Партия справедливости и развития.

Лишь в 2011 г. США вмешались в ход событий в Ливии, чтобы способствовать свержению диктатора, но Каддафи никогда и не был союзником Соединенных Штатов. В Ливии тоже есть нефть, что, очевидно, представляет достаточным основанием для вмешательства в ее дела американского и европейских правительств, хотя желание избавить повстанцев от смертоносного режима тоже было подлинным, к тому же на этот раз было получено согласие ООН и даже Лиги арабских государств, большинство членов которой отрицательно относились к сумасбродствам Каддафи. Вторжение не было односторонним (унилатеральным), а представляло собой совместную операцию сил НАТО при существенном участии Британии и Франции и серьезной поддержке американской авиации, масштабы которой Обама пытался приуменьшить в глазах общественности. Воздушные налеты разрушили военную инфраструктуру Каддафи столь основательно, что повстанцам удалось одержать победу на земле. Вопрос о том, насколько повстанческим силам удастся обеспечить стабильную и представительную политическую власть, вызывает сомнения. Демократия не дается легко, а политический хаос неизбежно ведет назад к деспотии. Потери в ходе интервенции, по оценке нового ливийского правительства, составили 30 тыс. человек, что может считаться сравнимым с возможными потерями в случае, если бы восстание было подавлено силами, верными Каддафи. До сих пор невозможно с уверенностью сказать, насколько была оправданна эта интервенция. Возможно, это был оправданный риск. Хотя в конечном счете я считаю, что внутривнутриполитическая борьба откроет

перед арабскими странами лучшее будущее, чем то, что им принесла «арабская весна».

В целом проводимый Америкой политический курс привел к усилению нестабильности в регионе и расширению деятельности террористов во всем мире, что в корне противоречит действиям, которые надлежит предпринимать империи. Ответная реакция на этот политический курс с очевидностью указывает на необходимость отказаться от вторжения в другие страны. Пэйп предлагает следовать концепции заморского балансирования. Я бы добавил к этому необходимость оказывать больше давления на Израиль и направлять в мусульманские страны больше экономической и меньше военной помощи — это обойдется значительно дешевле, чем вторжение. Сталкиваясь с иностранным империализмом, будь то британским, французским, советским или американским, ислам оставался нестигаемым. Террористы черпают идеологическую власть из использования языка ислама для обеспечения массовой поддержки. Поэтому порой исламский фундаментализм представляется нам врагом. Такое представление и приводит к выводам о необходимости завоевать мусульманские страны и навязать существующей в них культуре западные ценности. Это ошибочные выводы. Верно обратное. Основные политические партии в США и Британии заявляют, что главной причиной, вынуждающей нас держать войска в мусульманских странах, является терроризм. Как раз наоборот, именно терроризм является основной причиной для того, чтобы наши войска ушли оттуда. Пока Запад будет угрожать мусульманским странам и вторгаться в них, тем больше терроризма это будет порождать. Наша политика не только терпит поражение в завоеванных странах, но она вызывает именно такую ответную реакцию, против которой мы и пытаемся сражаться в первую очередь. Но этот урок до сих пор остается неувоенным. Прежде заморское балансирование считалось неэффективным. Но в ретроспективе оно оказывается вполне подходящим.

## ДВА ИМПЕРИАЛИЗМА ИЛИ ОДИН?

Были ли эти две империалистические кристаллизации, экономическая и военная, тесно между собой связаны? В трех смыслах, да. Во-первых, особое значение в связи с крайне амбициозной геополитической стратегией имела нефть. Во-вторых, экономическое господство позволяло США выделять огромные средства на военные расходы, не обременяя американцев высокими налогами. Эти расходы оплачивали иностранцы через

долларовую эмиссию. В-третьих, эти два империализма вполне отвечали американской традиции приравнивать свободу политическую к экономической свободе предпринимателя. Проект «За новый американский век» стал основным проектом, за которым в конце 1990-х гг. стояло консервативное лобби. В его основополагающем документе содержится призыв к «проведению рейгановской политики военной силы и моральной чистоты... во имя продвижения дела политической и экономической свободы за рубежом». Все три аспекта этой связи определяли интенсификацию как экономического империализма, так и в меньшей степени империализма военного. Но были ли эти два направления частью одной и той же имперской стратегии?

Сторонники теории мировых систем утверждают утвердительно. Они считают, что США избрали военную агрессию для того, чтобы повернуть вспять процесс относительного экономического спада, как это делали, по их словам, предшествовавшие США гегемоны, потерпевшие неудачу (Harvey 2003; Wallerstein 2003). Харви различает два вида логики власти: территориальную и капиталистическую (я поступал также), но он пытается редуцировать первую ко второй. Он утверждает, что ослабление экономики, о котором свидетельствуют деиндустриализация и поворот к финансовому капиталу, торговый дефицит и постоянно растущие потребительские долги, вынудило администрацию Буша пойти на военную агрессию, чтобы повернуть вспять процесс ослабления экономики и установить контроль над ближневосточной нефтью. Сторонники теории мировых систем добавляют сюда аналогию с Британской империей: ослабевающий гегемон становится более агрессивным, пытаясь сохранить империю с помощью военной силы. Это ошибочная аналогия, потому что, как мы видели, Британия становилась все менее агрессивной по мере того, как ее силы истощались, заявляя, что она вполне удовлетворена тем, что имеет, и заинтересована лишь в том, чтобы защитить свои владения. Так ли это в случае с Америкой?

Начиная с 1991 г. все войны (в Персидском заливе, в Боснии и Косово, в Афганистане и в Ираке в 2003 г.) приводили к тому, что американские базы окружали нефтяные и газовые месторождения на Ближнем Востоке и на Кавказе. Что это — необходимый элемент нового империализма? Если США уже не в состоянии полагаться на принуждение на экономических рынках, возможно, они прибегают к военной силе, чтобы обеспечить свои потребности в источниках энергии. Некоторые в Вашингтоне думают именно так. Однако увеличение военных баз не дает больше нефти или газа, потому что военные базы не ведут к созданию государств-клиентов. Когда США попытались

убедить президента Узбекистана Каримова уменьшить репрессии, он отказался. Более того, он попросил американцев вывести свои войска из страны и начал переговоры о сотрудничестве с Россией, правда, делалось это для того, чтобы заключить более выгодную сделку с американцами. Саудиты попросили американцев закрыть свои базы в Саудовской Аравии, полагая, что американское присутствие ослабляет их позиции в собственной стране. И США подчинились. Наличие базы не дает дополнительных средств принуждения на местах.

Как я уже указывал выше, Америка не растеряла своей экономической мощи в период с 1970 по 2000 г. Более того, интенсивные структурные изменения, эмиссия доллара в сочетании со стремительным развитием технологий в 1990-х гг. привели к *усилению* американского экономического империализма. Харви согласен с теорией Арриги в том, что гегемоны утрачивают свои позиции при переходе от производства к финансам. В главе 6 я выразил сомнение, что это верно для Соединенных Штатов. Однако ничто не указывает на то, что «ястребы» вообще знали о существовании подобной теории, не говоря уже о том, чтобы поверить в нее. Похоже, они были абсолютно уверены в экономической, идеологической, военной и политической мощи Америки. Самонадеянность их и сгубила. Американская стратегия состояла не в том, чтобы военными средствами сдерживать экономический спад, как в теории мировых систем, а в том, чтобы *усилить* глобальное господство, используя экономические и военные средства. Именно в этом и состояли намерения вице-президента Чейни, министра обороны Рамсфелда и заместителя министра обороны Вулфовица. Они стремились к тому, чтобы распространить влияние Америки по всему миру, руководствуясь ошибочным ощущением силы, а не слабости.

Правда, зачастую разработкой экономической и военной стратегий занимались разные акторы. Государства мирового Севера занимались интенсификацией экономики, а в более широком смысле — финансовым и корпоративным капиталом, тогда как политика военного империализма была уделом только Вашингтона (если не считать Тони Блэра). Администрация Клинтона при поддержке ведущих капиталистов занималась в основном мировой торговлей и финансами. Клинтон свято верил в глобализацию как в свободную торговлю. Он был убежден, что глобализация отвечает интересам всех стран, и это во многом отличало его от неоконсерваторов с их концепцией нулевого роста во внешней политике — мы против них. Клинтон был противником протекционизма, который в его собственной партии был важен, и пользовался поддержкой предпринимателей-республиканцев, но не неоконсерваторов. Ему удалось достичь

большинства своих целей: создания североамериканской зоны свободной торговли NAFTA, спасения мексиканского песо, преобразования волюнтаристских тарифов ГАТТ в тарифы, поддерживаемые ВТО, и принятия в ВТО Китая (Chollet and Goldgeier 2008: 148–169, 326). В противоположность этому милитаризм все в большей степени доминировал в работах интеллектуалов-неоконсерваторов, в то время как вопросы мировой экономики интересовали их в гораздо меньшей степени. В сборнике эссе, выпущенном под редакцией Кагана и Кристола — зубров журнала *Weekly Standart* (Kagan and Kristol 2000), — содержалась единственная рекомендация в сфере экономики: удвоить военный бюджет. В книге, вышедшей под редакцией председателя Республиканской партии Хейли Барбура (Barbour 1996), преимуществам свободной торговли посвящена целая глава. Правда, она заняла всего 24 страницы, уступив теме жесткой внешней политики и военных действий, которым посвящено 92 страницы. Ричард Перл не уделял особого внимания вопросам торговли или экономики (как сказано в его биографии, опубликованной Вейсманом в 2007 г.). Кристол лишь дважды высказался в поддержку капитализма, отметив, что, хотя капитализм и обеспечивает свободу и богатство для большинства людей, ему не хватает нравственности. Подобно остальным неоконсерваторам, Кристол выступает за значительно более сильное государство, чем неолибералы. Политики-«ястребы», такие как Чейни, Рамсфелд и другие, не проявляли особого интереса к экономическому империализму в целом, за одним важным исключением — нефти.

Это не было полным отмежеванием, ведь существовала еще общая заинтересованность в свержении Саддама Хусейна и противостоянии американскому изоляционизму, а также была предпринята короткая попытка насадить неолиберализм в Ираке. Однако после того как Клинтона сменил Буш, произошла смена власти и в департаментах. Пентагон стал сильнее, чем Госдепартамент и Министерство финансов, а при Чейни выросла роль вице-президента. Столкновения между Министерством обороны и Госдепартаментом стали легендарными, но в условиях приготовления к войне Пентагону отводилась ведущая роль. Министерства финансов и торговли продолжали начатую Клинтонем торговую политику, спокойно применяя практику двусторонних соглашений о свободной торговле, но эта линия была отделена от более жесткой внешней политики. Гражданские, управлявшие Пентагоном, доминировали и во внешней политике, правда, неявным образом. Столь отличные друг от друга части государственного механизма были задействованы в этих двух процессах, но действовали различными методами. Речь шла не о двух видах империализма — ме-



жду ними не было тесной связи, они не составляли единой большой схемы.

Любители конспирологической интерпретации капиталистического вторжения указывают на тесные связи администрации с такими ремонтными и строительными корпорациями, как *Haliburton, Bechtel and Parsons*. Юхас (Juhasz 2006) отмечает, что 150 американских корпораций получили прибыль в размере 50 млрд долл. за три года, в течение которых занимались в Ираке строительно-восстановительными работами, при этом *Haliburton* оказалась самым крупным бенефициаром с прибылью в 12 млрд долл. Еще большую прибыль получили ведущие нефтяные корпорации. Вероятно, что связи Чейни с *Haliburton* или связи Джорджа Шульца с *Bechtel* способствовали получению контрактов именно этими корпорациями, хотя не похоже, чтобы связи Кондолизы Райс с компанией «Шеврон» обернулись какими-то выплатами. Остается надеется, что администрация на самом деле на определенном этапе проводила консультации со строительными компаниями по вопросу стоимости восстановительных работ, особенно если учитывать масштабы американских бомбардировок. Но неужели хоть одна война была начата из-за стремления строительных фирм заработать на послевоенной разрухе? Это было бы крайне иррациональным подчинением национальных интересов Америки незначительной части капитала, обладающего политическими связями. Нет, войной руководила сама администрация, а не интересы влиятельных внешних групп давления, за исключением, как всегда, произраильского лобби.

Разумеется, американская экономическая мощь позволяет обеспечивать своих военных, в то время как военное положение Америки после Второй мировой войны гарантирует ее экономическую мощь. Между двумя этими направлениями существовала связь во время недолгой попытки проведения структурных преобразований в Ираке, правда, эта связь не затрагивала нефти и была обусловлена не столько экономическими принципами, сколько тем, что я называю миссией «урезать — сжечь — возродить», которая предана анафеме большинством экономистов. Пока у власти были республиканцы (вплоть до 2008 г.), эта связь была не столь сильной: две консервативные группы интересов договорились об обмене: вы занимаетесь своей политикой, а мы — своей. Но эти группы не были заинтересованы в политике друг друга, поэтому экономические империалисты чувствовали себя лучше при Клинтоне.

В целом и экономический, и военный империализм были скорее отдельными кристаллизациями власти. Экономический империализм поддерживал Америку на протяжении более трех

десятилетий, тогда как военный империализм потерпел неудачу. Первый нарастал постепенно, шаг за шагом, пока американцы не осознали, какую новую силу они обрели, чтобы защищать интересы США в том виде, в каком их представляют себе американские финансовые и корпоративные капиталисты. В противоположность этому наращивание военной мощи было идеологически окрашено и сопровождалось распространением чрезмерной уверенности в военной силе страны. Этому сопутствовал и невероятно упрощенный взгляд на современную историю и строящееся на применении грубой силы отношение к глобальным и региональным реалиям. Провал военного империализма определенным образом снижает степень универсальной глобализации. Тезис Хантингтона (Huntington 1996) о столкновении цивилизаций не соответствовал происходящему на момент написания книги, но сама ее суть — столкновение между христианской и мусульманской цивилизациями — обрела еще большую правдивость с тех пор, как он написал об этом, благодаря совместным усилиям администраций нескольких американских президентов и террористов. Их стараниями разделение по религиозному признаку обрело политический и геополитический характер, хотя они, по всей видимости, также усилили раскол внутри христианской и особенно мусульманской цивилизаций.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При Буше-младшем вера в идеологическую миссию Америки и ее военную власть одержала верх над чувством реальности. Империалисты предложили огнем и мечом проложить путь через мусульманский мир, чтобы возродить его по американскому образцу. Они верили, что у США для этого достаточно сил. Советник по вопросам национальной безопасности Кондолиза Райс объявила: «Американские ценности универсальны», а Соединенные Штаты стоят «на правильной стороне истории». Однако ценности оказались более разнообразными, а история — более сложной, и чтобы завершить свою миссию, Соединенным Штатам не хватило ни политической, ни идеологической власти. Это стало примером веберовской ценностной рациональности, в которой верность идеологическим задачам преобладает над инструментальными рациональными расчетами относительно средств, необходимых для достижения цели. Ответ на знаменитый вопрос Мадлен Олбрайт состоит в том, что для обеспечения американских интересов или улучшения мира недостаточно взять на себя почти половину всех мировых воен-

ных расходов. Вооруженные силы такого масштаба так и не со служили сколь-либо отчетливой службы.

Американская и британская общественность тоже осознала это. Американское правительство пыталось поставить под свой контроль информационный поток и создать атмосферу страха, действуя точно так же, как и во время предшествовавших войн. Инакомыслящие репортеры увольнялись, а военные корреспонденты были направлены непосредственно в американские военные части, публикация сообщений о возвращении в Америку гробов и о похоронах была запрещена. США отказались публиковать данные о потерях в Афганистане и Ираке. Они также отказались от призыва в вооруженные силы, понимая, что американцы не отдадут свои жизни во имя столь отдаленных целей, и предпочли положиться на милитаризм, перекладывающий риски, чтобы избежать политического торга за поддержку обычных американцев. Несмотря на все эти предосторожности, общественное мнение складывалось неблагоприятно. Поддержка войны в Ираке сократилась наполовину, упав к концу 2006 г. примерно до 30% и в США, и в Британии, а заявление Обамы о намерении прекратить военные действия было встречено с одобрением. К концу 2010 г. большинство британцев и американцев считали войну в Афганистане проигранной. Этих войн можно было избежать, и теперь большинство выступало за то, чтобы их прекратить. По мнению общественности, как и по мнению администрации Буша, наращивание военных действий было не проявлением слабости или кризиса, как это представляют теории мировых систем, а демонстрацией гордости своей силой. Однако общественность осознала эту ошибку раньше, как и министр обороны Роберт Гейтс, который возглавлял эти две оккупационные операции с декабря 2006 г., а до этого на протяжении 26 лет работал в ЦРУ и Совете национальной безопасности. В своей речи перед кадетами военной академии в Уэст-Пойнт, о которой 26 февраля 2011 г. написала *New York Times*, он заявил следующее: «Я считаю, что любого министра обороны, который в будущем вновь посоветует президенту отправить большой контингент американских сухопутных войск в Азию, на Ближний Восток или в Африку, следует „проверить на голову“, как это осторожно формулировал генерал Макартур». Гейтс имел в виду, что в будущем при вторжении следует использовать военно-морские и военно-воздушные силы — своего рода неформальную империю с канонерками. Американцы, включая таких республиканцев, как Гейтс, похоже, начинают уставать от боевых действий.

Очевидно, что политика упреждающих военных интервенций провалилась. Я и другие ученые предсказывали это за-

ранее. Когда политический провал только начинался, империалисты требовали все новых атак, все более решительных военных действий. Это характерно для идеологов, политика которых терпит крах. Отступление означает для них признание собственной неудачи и конец политического влияния. Таких же взглядов придерживались японские милитаристы в конце 1930-х гг. Тогда большинство военных стратегов советовали прекратить экспансию исходя из того, что сколько бы колоний Япония ни завоевала, она все равно сохранит критическую зависимость от рынков, контролируемых США и Британией. Токійские власти либо игнорировали их, либо отправляли в отставку. Американские империалисты действовали точно так же, но Америка, к счастью, демократическая страна, поэтому в отставку пришлось уйти им самим.

Но мы не можем утешать себя подобно тому, как это делает Айкенберри (Ikenberry 2006: глава 10), заявив о «конце неоконсервативного этапа», потому что этот этап стал «самосбывающимся пророчеством». Администрация Обамы продолжила политический курс, который по сути своей является неоконсервативным и милитаристским. Несмотря на более умеренную риторику и нелепо присужденную ему Нобелевскую премию мира, Обама развил наступление в Афганистане, вторгшись за линию пакистанской границы, где применил беспилотные летательные аппараты. Он все еще участвует в конфликтах в пяти мусульманских странах: Афганистане, Пакистане, Ираке, Сомали и Йемене. Он не закрыл базу Гуантанамо, не прекратил практику экстрадиции и стал первым американским президентом, отдавшим распоряжение убить американского гражданина. Буш-младший должен гордиться им.

Благодаря такой империалистической политике террористов стало намного больше. Они мобильны, их трудно обнаружить, они специализируются на убийствах жителей западных стран, в особенности американцев и британцев, к тому же они готовы пожертвовать своей жизнью. Они представляют собой еще один пример «интерстициального возникновения», когда трансформации сетей власти выливаются в неожиданные проблемы для общества. Горстка боевиков, пользующихся сочувствием значительно более широких групп людей, появилась внезапно, создав угрозу, которая не идет ни в какое сравнение с их численностью. Спровоцированные «ястребами» из Вашингтона и Лондона, они положили начало войне против террора, которая затронула жизнь каждого из нас. Атака 9/11 унесла жизни 3 тыс. американских граждан — кошмарный акт злодейства. Ответ обошелся США в 3 трлн долл., но эта огромная сумма позволила достичь лишь очень незначительных результатов.

Теперь почти не осталось террористов, атакующих цели, расположенные за пределами собственной страны. Но это стало результатом международных полицейских операций, а не заслугой военных. Немногие оставшиеся террористы, готовые нападения на нас, действительно существуют, и мы должны обратиться до них раньше, чем они доберутся до нас, но только не путем бомбардировки с воздуха. Необходимо объявить конец этой войне с терроризмом, прекратить всеобщую истерию и отменить начавшиеся в связи с этой войной ограничения гражданских свобод. Я прощаю Бушу его эмоционально понятный всплеск, когда он требовал «взять их живыми или мертвыми», но не могу простить ему в первую очередь ни его роли в распространении терроризма, ни его дальнейших действий, вызвавших истерический страх перед террористами и давших повод ограничить наши гражданские права. Я не могу простить Обаму за то, что он продолжил это дело.

Ценности эпохи Просвещения — демократия, свобода и толерантность — требуют защиты не только от джихадистов и прочих террористов, но также и от наших собственных государств, занятых обеспечением безопасности. Тюрьма Гуантанамо, экстрадиции и воздушные бомбардировки подрывают эти ценности. Принятый в 2001 г. в Америке «Патриотический акт» с поправками 2006 г. предоставил государству новые полномочия на прослушивание телефонных разговоров, просмотр электронной почты, медицинских, финансовых и даже библиотечных записей; он упростил введение ограничений на сбор иностранными разведками информации на территории США; расширил полномочия государства на запрет финансовых транзакций, в особенности для иностранцев, и полномочия государства при задержании (в необходимых случаях без ограничения срока) или депортации иммигрантов, заподозренных в совершении действий или намерениях, связанных с терроризмом. Стоун (Stone 2004: 528) пишет: «У США длинная и грустная история преувеличенной реакции на угрозы военного времени. Вновь и вновь американцы позволяют запугивать себя». Он констатирует, что это происходит в очередной раз. Другая страна, участвовавшая во вторжении в Ирак, Соединенное Королевство, ввела в 2006 г. аналогичные ограничения, приняв закон о терроризме. В остальных странах были приняты не столь жесткие меры усиления безопасности. Неприкосновенность личности, за которую так долго боролись наши предки, оказалась под угрозой. Агамбен (Agamben 2005: 2–4, 14, 22) обнаружил «во всех западных демократиях стойкую тенденцию постепенной замены введения особого положения беспрецедентным обобщением парадигмы безопасности как нормального приема, к кото-

рому прибегает правительство». Он утверждает, что Буш-младший «пытался создать ситуацию, при которой чрезвычайное положение превращается в правило, а определить саму грань между миром и войной... становится невозможно». Чрезвычайное положение превращается в правило. Истеблишмент размыкает универсальные ценности эпохи Просвещения.

Можно проклинать безумцев, втянувших нас в это, но им удалось целиком вовлечь нас в свое безумство. Администрация Обамы увязла в наследии неоконсерваторов, отчасти угодив в ловушку Конгресса. Она не в состоянии заставить Израиль прекратить разворовывать палестинские земли и душить палестинское государство. Израиль заявил американским дипломатам, что намеренно удерживает экономику в полосе Газы «на грани коллапса», не давая ей «перейти эту грань», как об этом сообщалось в дипломатической телеграмме, переданной в 2008 г. (телеграмма Викиликс, опубликованная норвежской ежедневной газетой «Афтенпостен» 5 января 2011 г.). Израильская группа правозащитников «Б'Целем» сообщает, что к 20 июля 2010 г. советы еврейских поселенцев заняли 42% палестинского Западного берега — совершенно невероятная пропорция, противоречащая международному праву. И это включая 21% территорий, которые само израильское государство признало собственностью палестинцев, что противоречит закону Израиля. Израильское государство продолжает поддерживать захваты земель, а США на словах выражают протесты, но ничего не предпринимают. Идея США оказать на Израиль давление в ноябре 2010 г. вылилась в передачу Израилю 20 реактивных истребителей стоимостью 3 млрд долл. в обмен всего лишь на трехмесячный мораторий на проведение строительных работ на территории поселений! Но Израиль не согласился даже на это. Израиль получил 20% всей иностранной финансовой, а вместе с тем и военной помощи, оказанной США; на его долю приходится сумма, составившая в общей сложности начиная с 2000 г. порядка 27 млрд долл. Выживание Израиля зависит от помощи, оказываемой ему Америкой, что *с необходимостью должно* давать США рычаги воздействия, которыми они никогда не пользуются. Бедное палестинское государство в еще большей степени зависит от помощи, которую Америка предоставляет ему в значительно меньших размерах. В 2011 г. США потерпели поражение, защищая Израиль, когда наложили вето на просьбу палестинского государства о вступлении в ООН. Это нанесло огромный ущерб международному престижу США и их претензиям на роль миротворца на Ближнем Востоке.

После провала саммита в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. президент Клинтон сам определил параметры мира. Израиль и Палестина

должны признать друг друга, граница между двумя государствами пройдет по линии, существовавшей до 1967 г., но с учетом приграничных еврейских поселений, за которые палестинцы получают компенсацию в виде других участков земли. Иерусалим превратится в общую столицу, а беженцы смогут вернуться на места своего проживания или получить компенсацию, но право на возвращение не будет предоставлено автоматически. В сентябре 2008 г. эти условия были почти согласованы израильским премьер-министром Ольмертом и палестинским премьер-министром Аббасом и считались очевидной основой для заключения мирного соглашения. США, и только США, оказались в состоянии убедить обе стороны подписать такое соглашение. Этот единственный шаг позволил бы США стать другом всему Ближнему Востоку и прекратить разгул терроризма. Однако произраильское лобби в правительстве США не допустило подписания такого соглашения, убедив обе партии в том, что произраильская политика может нарушить баланс за счет полудюжины мест в палате представителей и, возможно, целых двух мест в Сенате (от Флориды и Нью-Йорка).

Значительная часть внешнеполитического истеблишмента как среди республиканцев, так и среди демократов до сих пор убеждена в том, что для того, чтобы нанести поражение террористам, необходимы военные действия, и считает, что Америка несет ответственность за порядок во всем мире (например, Gelb 2009; Kagan 2012; Brzezinski 2012). Теперь видным американским политикам сложно выступать с публичными призывами к выходу из подобных начинаний. Они не хотят, чтобы в Ираке или Афганистане повторились отчаянные сцены, которые разыгрывались у американского посольства в Сайгоне 30 апреля 1975 г., когда американские вертолеты кружили над посольством, забирая последних американцев, в то время как их вьетнамские друзья, отталкивая друг друга, отчаянно и безрезультатно умоляли забрать их с собой. Как может величайшая держава мира смириться с поражением в войне с такими мало значащими противниками, как иракцы или афганцы? Как нам уйти отсюда, не потеряв лица? Этого нам не удастся, а потеря лица — не самая страшная потеря.

Теперь США уже не несут порядок миру. События последнего десятилетия подтверждают обратное: США изменяют баланс в пользу беспорядка, во всяком случае именно это происходит на Ближнем Востоке и несколько иначе в Мексике и Колумбии, охваченных кровавыми войнами за наркотики, которые поставляются в США. Американцам трудно принять это. Каган и Бжезинский уже не столь уверенно говорят о том, что мир при американском господстве лучше, чем мир при господ-

стве Москвы или Пекина. Эрнест Геллнер всегда говорил именно об этом. Но в ближайшей перспективе эта альтернатива уже не представляется реалистичной. Сами Каган и Бжезинский утверждают, что мощь Китая значительно меньше мощи США и что Китай вряд ли станет гегемоном, окруженным не вызывающими доверия соседями. Рано или поздно многополярный мир возвратится, и в нем не будет места доминированию одной или двух держав. И это не будет угрожать демократии (там, где она есть) или свободной торговле (в том виде, в каком она есть), которые представляют собой два бастиона, воздвигнутые предположительно Соединенными Штатами. Более того, в многополярном мире, возможно, появится больше возможностей противостоять изменению климата, самой главной угрозе для всего мира, чем в условиях доминирования Америки (как мы увидим в главе 12).

Хотя я не очень верю, что возобладает именно такая картина, если учесть, насколько глубоко империализм укоренился в современной американской идеологии и политике, и что многие американские политические деятели уверены, что им удастся переизбраться, только если они не будут выступать против израильского лобби в правительстве. Эта война с терроризмом еще продлится какое-то время. США располагают военной властью, способной разрушать, но политическая и идеологическая власть, необходимая для того, чтобы строить заново, у них отсутствует. Правда, с этим согласятся лишь немногие интеллектуалы из вашингтонского мозгового центра, но почти ни один из американских политиков. Этому мешает чувство ответственности за мировой порядок в сочетании с потерей лица, неизбежной при выводе войск. Соображения статуса в геополитике по-прежнему важны, и это заставляет лидеров предпочесть войну отступлению. В этом смысле Афганистан может оказаться для Обамы тем же, чем стал Вьетнам для Линдона Джонсона, а Ирак — для Буша-младшего.

Но эти войны не главное. Со временем они могут потерять свое глобальное значение. Для имперской власти такое количество убитых и раненых военных представляется нормальными потерями, к тому же США постоянно работают над новыми схемами передачи рисков, позволяющими защитить жизнь своих солдат. Иракцы, афганцы, пакистанцы, иностранные наемники принимают на себя основной удар. Финансовые затраты в размере около 3,5 трлн долл. огромны, но подъемны для экономики, которая стоит 14 трлн. Неудобства, связанные с мерами безопасности на воздушном транспорте, раздражают; чрезвычайное положение, которое, похоже, становится постоянным, может тревожить, так как означает ограничение гражданских



прав. Однако эти войны не сильно мешают привилегированному западному образу жизни, который мы ведем на Западе. Для немногочисленных критиков и подозреваемых прослушивание телефонов, обыски и аресты без ордера, бессрочное содержание под стражей без решения суда, экстрадиции и пытки представляются кошмарными отдельными случаями, подрывающими универсальные ценности, олицетворением которых США пытаются себя представить. Американская военная власть не только не подходит для решения стоящих задач, США утратили часть своего морального авторитета, своей идеологической власти.

Эти неудачи Америки не говорят о ее упадке, во всяком случае пока. США умели побеждать в прошлом, пока на это хватало сил. Но в войне против партизан во Вьетнаме, настроенных так же решительно, как и афганские партизаны, США потерпели поражение. И после Второй мировой войны США *никогда* не пытались завоевать страну, если не имели существенной поддержки союзников внутри самой страны, как это было в Ираке. В послевоенный период США никогда не смогли бы одержать победу в такой большой стране, как Ирак, без таких союзников, а американской администрации хватило здравого смысла, чтобы не пытаться сделать это. Тогда Америке не приходилось перенапрягаться, но затем пришлось, потому что распад Советского Союза создал у США иллюзию величия. В терминах военной мощи США в состоянии сохранить за собой определенную долю глобального господства, если они не будут ставить перед собой абсурдно амбициозные задачи.

По меньшей мере опыт Ирака, похоже, стал для Америки уроком. Во время вторжения в Ливию в 2011 г. у Америки были союзники и в самой Ливии, и в других странах. Самолеты летали, но ноги американских солдат так и не коснулись ее земли. Будем надеяться, что этот урок усвоен надолго. США должны вторгаться лишь тогда, когда их поддерживают соседние страны и местные жители, которые могут вести военные действия внутри страны, а впоследствии сумеют сформировать достойное доверия народное правительство. В наш век национализма такие условия встречаются нечасто. Они существовали в Гренаде и в Панаме (крошечные страны, конечно). Сложнее эти условия складывались в бывшей Югославии. Возможно, они присутствуют в Ливии. Необходимые условия имелись, но не были использованы в Руанде. Но подобных условий не было в Сомали, Ираке или Афганистане, и вряд ли они сложатся еще в ряде стран. В их отсутствие отказ от вторжения будет лучшей политикой. Какие бы чувства ни возникали при упоминании о репрессиях, которые диктаторы разворачивают против собственного народа, пора уже понять, что военное вторжение часто

ведет лишь к еще большему осложнению ситуации. Даже если убеждения некоторых исламистов вызывают у нас беспокойство, они не должны нас касаться, если только они не направлены против нас. Вместо того чтобы настаивать на своем праве вторжения в любую страну, США должны уделять больше внимания выполнению своих обещаний обеспечить безопасность таких стран, как Южная Корея, Тайвань и Израиль, принуждая их вести себя хорошо. США следует сохранять свою военную мощь не для того, чтобы ошеломить или подавить потенциального врага, но для того, чтобы сдерживать его. Это позволит снизить военные расходы США на 25–50%, что сделает мир более безопасным. В первую очередь Соединенным Штатам следует усвоить урок, который усвоили другие империи: мусульмане с трудом принимают иностранную империю. С этим трудно смириться, если учесть, что все страны, которые американская администрация сегодня считает враждебными, являются мусульманскими.

Проблемы возникали из-за глупости, а не слабости, США остаются сильными. Доллар все еще правит. Более 60% мировых резервов хранятся в долларах (в евро — только 27%), примерно половина всех мировых валют ориентируется на доллар. Непревзойденная система высшего образования все еще производит нобелевских лауреатов и технологические инновации. В сочетании с гибкой иммиграционной политикой это создает поток специалистов в естественных и гуманитарных областях науки и инженеров. В 2006 г. 37% специалистов с ученой степенью в области естественных наук и 20% инженеров составляли американцы азиатского происхождения (*Statistical Abstract of the United States 2009: 761*).

Тем не менее ощущение упадка Америки витает в воздухе. Несостоявшийся империализм принес в регион еще более сложные политические проблемы, а несостоявшийся неолиберализм стал причиной возникновения экономических трудностей в большинстве стран. Кажется, Америка оказалась не в состоянии решить вопросы с государственным долгом, изменением климата, неработающей системой здравоохранения, деградирующим средним образованием, разбитыми дорогами, классовым неравенством, подрывающим универсальное социальное гражданство, которое кропотливо создавалось на протяжении более полувека. Одна из основных политических партий отвергает достижения естественных и гуманитарных наук, включая эволюцию, изменение климата и способность правительства создавать рабочие места. Другая партия робка, нерешительна и разобщена и в принципе хотела бы заниматься решением этих проблем, но на практике не способна на это. Такое сочетание

в условиях растущей пропасти в разделении между властями ведет к патовой ситуации в политической системе, пронизанной коррупцией крупного бизнеса, и в неподобающим образом легитимированной судебной власти. Примерно в 40-м году до н.э. Цицерон перечислил некоторые бедствия, охватившие Римскую республику после того, как она стала империей, закончив свое перечисление словами: «...теперь понятно, что все в конце концов продается». Сам собой напрашивается вывод о том, что сочетание капиталистической коррумпированности, построенной на фантазиях идеологии, и политической некомпетентности указывает на то, что конец этой империи/гегемонии наступит скорее, чем мы можем представить.

Относительный упадок американской экономики уже на подходе. Доля США в мировом ВВП, измеряемая паритетом покупательной способности, равна доле Европейского союза и немногим уступает доле четырех стран БРИК, вместе взятых. Но эта доля сокращается. Соединенные Штаты все еще превосходят любую отдельно взятую государство-нацию, и это крайне важно для доллара как резервной валюты. Эйхенгрин (Eichengreen 2009) считает, что доллар будет оставаться «принципиальной формой международного резерва еще на протяжении долгого времени». Он предсказывает, что евро получит свою долю рынка, а китайский юань в конечном счете присоединится к доллару и евро, но «насколько можно заглянуть в будущее, доллар останется первым среди равных». МВФ не столь оптимистичен в своих взглядах на перспективы правления доллара после 2025 г.

И хотя рецессия навредила экономическому престижу Америки, позиции евро неустойчивы, к тому же за ним не стоит единого государства. ЕС расходует менее одного процента всего ВВП Европы, что указывает на его незначительный размер и скромные силы. Конституция ЕС была разработана таким образом, чтобы политический процесс продвигался со скоростью самой медленной страны. Юань, в свою очередь, контролируется государством, эта валюта не является свободно конвертируемой. Ни юань, ни евро все еще не готовы к тому, чтобы выступать в качестве резервной валюты. Наиболее нормальной международной единицей резерва в прошлом была корзина валют, и, возможно, она вновь появится в будущем. Страны БРИК преодолели рецессию быстрее, чем США, и это сказалось на ослаблении экономической мощи Запада. Кредиторы в Китае, Японии и нефтедобывающих странах постепенно диверсифицируют свои иностранные инвестиции, что приведет к нарушению гегемонии США. В какой-то точке скольжения вниз по этой траектории медленного упадка текущий уровень воен-

ных расходов США приведет к политической нестабильности, потому что если доллар перестанет быть резервной валютой, то потребуются увеличить налоги. Более того, дефицит американского бюджета привел к тому, что в 2011 г. Вашингтон согласился с тем, что рост военных расходов должен быть замедлен, а начиная с 2017 г. его следует постепенно снижать. Но вероятно и желательны еще более значительные сокращения расходов. Изначально американская экономика и американский империализм были тесно связаны, их упадок также будет совместным. Это будет уже не тот «американский век», предсказанный Генри Люсом в 1941 г. Но этот век еще не на исходе.

Американские специалисты в области международных отношений разделились во мнениях, грозит ли подъем Китая войной. В посткоммунистическом Китае особое внимание уделяется экономическому росту и геополитике сотрудничества. Китай стал членом ряда международных организаций и мирным образом урегулировал большинство территориальных споров. Начиная с 1992 г. в состав действующего Политбюро не входил ни один китайский военачальник. Но у знаменитой рекомендации Дэн Сяопина нет ясно сформулированного завершения: «Наблюдайте хладнокровно; берегите наше положение; спокойно занимайтесь делами; не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента; будьте способны довести дело до конца». А что дальше? Некоторых беспокоит активность Китая в Африке, геополитические претензии к Японии, установка ракет в противовес доминированию США в Южно-Китайском море, территориальные претензии на острова там же. Китай не потерпит вмешательства в Тибете и Синьцзяне, при этом Тайвань потенциально остается горячей точкой. Национализм становится все более массовым, военные расходы растут, хотя, по данным СИПРИ, в 2009 г. они составляли лишь одну шестую часть американских военных расходов. Похоже, руководство Китая решило поддерживать свой геополитический статус соразмерно экономической власти. Тем не менее, не считая Японию, Китай установил хорошие отношения со странами Юго-Восточной Азии, сохранив при этом зависимость от китайской капиталистической диаспоры. Если бы Китай повел себя более агрессивно, то остальные страны Восточной и Южной Азии, включая такие центры влияния, как Япония и Индия, объединились в своем противостоянии, и это останавливает Китай. Более того, Китай глубоко интегрирован в экономику США и наоборот. Такая взаимозависимость делает маловероятной войну между США и Китаем. Некоторые вспоминают, что Первая мировая война началась несмотря на рост взаимозависимости соперничавших держав, но уровень взаим-

ного переплетения американской и китайской экономик сейчас гораздо более высок, чем прежде. Если в результате войны торговля с врагом прекратится, то обе экономики рухнут. Кроме того, Арриги (Argighi 2007) считает, что возрождение Азии, которое возглавит Китай, если вспомнить их историю, скорее всего будет носить мирный характер (что я подтверждаю в главе 2 тома 3, когда провожу сравнение с историей Европы). Сыграет свою роль и «островной» характер экономики Восточной Азии, во многом зависящий от международных связей проживающих за границей китайцев. Другой центр влияния, Европейский союз, настроен очень мирно и в настоящее время достаточно хрупок. По известному выражению бывшего министра иностранных дел Бельгии, Европа представляет собой «экономического гиганта, политического карлика и военного червя». В вопросах войны и мира имеются значительные основания для оптимизма.

В настоящем томе я проследил упадок империализма во всем мире, в котором до сих пор сохранилась лишь одна настоящая империя, да и та испытывает трудности. На протяжении десятилетий после Второй мировой войны американская империя была третьим столпом, на котором строились полиморфные глобализации, но в последнее время ей приходится держать на себе слишком большой груз, поэтому она пошатывается. Похоже, мир на планете во многом зависит от того, насколько достойно будет приходить в упадок Америка. Хотя долгосрочное будущее может оказаться более радужным, новый американский милитаризм, описанный здесь, можно считать каким угодно, но только не достойным.

## ГЛАВА 11

# Глобальный кризис: Великая неолиберальная рецессия

**В** ГЛАВЕ 6 был описан подъем неолиберализма и его спад в начале XXI в. Однако процесс дерегуляции и роста финансового сектора, особенно в странах глобального Севера, продолжался в прежнем темпе. Как многие заметили, на мировую экономику периодически (по крайней мере начиная с XIV в.) накатывают волны финансиализации, обычно приводящие к серьезным финансовым кризисам, таким как Великая депрессия или лопнувший «Пузырь Южного моря». Причиной этому служит перенакопление капитала, которого становится так много, что его невозможно инвестировать в реальную производственную деятельность. Тогда инвесторы переключаются на вложения в финансовые инструменты, менее связанные с реальными материальными ресурсами. Этой тенденцией был обеспокоен еще Кейнс, который в «Общей теории занятости, процента и денег» (Keyns 1973: 159–161) писал: «До тех пор пока для индивидуума существует возможность использовать богатство в форме тезаврации или ссуды денег, альтернатива, заключающаяся в покупке реальных капитальных активов, не может стать для него слишком уж притягательной... если не будет организованных рынков инвестиций, где соответствующие активы можно легко превратить в деньги»<sup>1</sup>. Такая финансиализация может углубляться и опираться на все возрастающий кредитный рычаг, и Кейнс опасался ситуации, когда «предпринимательство превращается в пузырь в водовороте спекуляции... Когда расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома, трудно ожидать хороших результатов»<sup>2</sup>.

---

1. Кейнс, Дж. М. (2007). Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо. С. 167.

2. Ibid.

Позднее эти соображения Кейнса развил Хайман Мински<sup>3</sup> (Minsky 1982), построивший на их основе свою гипотезу финансовой нестабильности, согласно которой развитые капиталистические экономики переключились на менее прочные, не опирающиеся на процесс накопления финансовые структуры, породив тем самым кризисы. Эти изменения произошли в три этапа, полагает Мински. На первом этапе «застрахованные (захеджированные) финансы» (hedge finance) оставались здоровыми, поскольку ожидалось, что будущие доходы от инвестиций превысят производственные затраты, а выплаты долга и процентов отвечали принятым стандартам бухгалтерского учета. На втором этапе возникли более рискованные «спекулятивные финансы» (speculative finance), в рамках которых погашение долга и процентов приходилось осуществлять либо путем продажи активов, либо путем дальнейших заимствований. На третьем, катастрофическом этапе, когда появляется финансовая пирамида или «финансы в стиле Понци»<sup>4</sup> (Ponzi finance), долг и процентные платежи возможно погашать только лишь за счет продажи активов. Последняя продолжается до тех пор, пока финансы не оторвутся от реальной экономики настолько, что вся система обрушится. Хотя никакого объяснения этой последовательности Мински не предлагает, его описание соответствует реальным событиям последних трех десятилетий, причем в глобальном масштабе. Я попытаюсь объяснить причины и следствия этих событий. Очевидно, в данной главе речь в основном пойдет об отношениях экономической власти, хотя в стороне не останутся и отношения идеологический и политический власти.

В главе 6 я описал продолжающуюся (примерно с 1970-х гг.) стагнацию экономики глобального Севера. С тех пор было предпринято несколько попыток ее прекратить. Неокейнсианские усилия в этом направлении выдохлись в 1970-е гг., когда перестала работать политика стимулирования роста экономики, предполагавшая мягкую инфляцию. Производительность оставалась на прежнем уровне, а безработица и инфляция внезапно выросли, причем одновременно. В течение некоторого времени правительства мирились с высокой инфляцией, но когда она достигла неприемлемого уровня, прибегли к дефляционным мерам, хотя и без сокращения государственных расходов. Это привело к неприемлемо высоким уровням бюджетного дефицита. Поскольку политики желали переизбрания на следую-

---

3. Мински, Х. (2017). Стабилизируя нестабильную экономику. М., СПб.

4. Названная по имени Чарльза Понци, известного американского мошенника начала 1920-х гг.

щий срок, на повышение налогов они не пошли. Вместо этого они пытались сократить государственные расходы, что им в итоге и удалось, однако ценой стагнации заработной платы, роста неравенства и увеличения бедности. Основной причиной этого стало ослабление капитализма в странах глобального Севера. Промышленное производство все активнее перемещалось в страны глобального Юга, где издержки (особенно на оплату труда) были гораздо ниже. Капитализму требовалась очередная доза «созидательного разрушения». Разумеется, свою дозу «разрушения» (разрушения промышленности) он получил, равно как и дозу «созидания» (новых отраслей — микроэлектроники, доткомов и биотехнологий). Однако для того чтобы восстановить норму прибыли или полную занятость, этого оказалось недостаточно, на что последовали две принципиальные реакции. Со стороны капитала: предприниматели стали меньше инвестировать в отрасли, где создавались материальные блага, и больше — в финансовые инструменты, которые становились все сложнее для понимания и все дальше отрывались от реальной производственной базы. Со стороны трудящихся: были приняты решения, призванные сохранить уровень спроса и сдержать социальный протест, для чего следовало облегчить населению доступ к финансовым кредитам. В совокупности этим факторам было суждено привести к кредитному кризису, но не кризису государственного кредита, а частного кредита сверху донизу. Именно об этом я и расскажу в настоящей главе.

Как мы видели в главе 6, Соединенные Штаты, которым суждено было стать эпицентром грядущего шторма, осуществили значительное перераспределение благ — от труда к капиталу, от простых американцев к богачам. Принадлежащая капиталу доля доналоговой прибыли и процентных выплат в национальном доходе возросла с 12% в 1930–40-е гг. до 17% в 2000-е гг. Эффективная ставка налога на прибыль корпораций снизилась с 55% в 1940-е гг. до менее 30% в 2000-е гг., зато резко вырос такой показатель, как корпоративные прибыли после уплаты налогов. Все это привело к повышению котировок фондового рынка. Инвесторы рассчитывали на дальнейшее увеличение чистой прибыли, поэтому капитализация фондового рынка росла в четыре раза быстрее, чем валовой национальный доход. Однако для подтверждения столь оптимистичных ожиданий был необходим значительный рост экономики. В действительности же темпы роста ВВП США снизились с 3,6% (между 1950 и 1975 гг.) до 3,1% за последующий период, тогда как среднегодовой прирост мирового ВВП замедлился с 4,7 до 3,5%.

До 1980-х гг. американский сектор финансовых услуг строго регулировался государством. Затем президент Рейган иници-



ровал процесс его дерегулирования (Prasad 2006). Тем не менее оставался в силе закон Гласса — Стиголла, которым в 1933 г. было введено разграничение между коммерческими и инвестиционными банками. Коммерческие банки — это обычные кредитно-финансовые учреждения (обобщенное название «банки с главной/центральной улицы»), которые принимают вклады под низкий процент и выдают займы под более высокий процент, имея на разнице небольшой, но постоянный доход. Коммерческие банки принимают реальные деньги и создают реальные деньги, предоставляя кредит. В отличие от них инвестиционные банки принимают деньги для вложения в акции и сырье. Принимая или выдавая кредиты, они обязаны проводить эти сделки через депозитные счета в коммерческих банках. В отличие от них инвестиционные банки не могут создавать деньги. Их бизнес — предприятие с высоким уровнем риска, однако данная инвестиционная деятельность подчинялась правилам коммерческих банков. В случае же слияния банков двух типов инвестиционное крыло нового банка получает доступ к реальным деньгам, а также возможность создавать деньги, поэтому деятельность такого банка встречает меньше ограничений. Впрочем, такого разграничения, как в США, в большинстве стран мира не было вообще, так что их банки продолжали действовать консервативно.

В 1980-е гг. американские коммерческие банки начали использовать лазейки в законе Гласса — Стиголла, чтобы выходить на рынки ценных бумаг. Они настаивали на полной отмене этого закона и в 1999 г. добились своего. Это была законодательная инициатива республиканцев, но она получила поддержку обеих партий, после чего закон был подписан президентом Клинтонем. Поскольку подобный закон существовал лишь в США, его отмена не казалась опасной. Однако Соединенные Штаты отличали две вещи. Во-первых, американцы — как обычные граждане, так и правительство — жили в долг в гораздо большей мере, чем граждане и правительства в других странах, поэтому их долги требовали большего контроля. Во-вторых, основными функциями крупных банков в таких странах, как Германия, Япония или Швеция, оставались инвестиции в обрабатывающую промышленность. Тесные связи между финансовым и промышленным секторами оставляли меньше места для спекуляций в банковской сфере.

Отмена закона Гласса — Стиголла не была единственной мерой дерегулирования. Были отменены ограничения на допустимый размер процентных ставок, снижены требования к уровню капитала для ссудно-сберегательных учреждений, широкое рас-

пространение получили ипотека с плавающей ставкой и фонды краткосрочных инвестиций. Отныне регулирование вообще признавалось явлением негативным. Постепенно ФРС под руководством Гринспена отказалась от любых попыток управлять экономикой и вводить ограничения на процентные ставки, которые банки могли предлагать инвесторам. Вместо этого после серии шагов ФРС начала просто «следовать за рынком» (Krippner 2011: главы 3, 5). Опираясь на влиятельных лоббистов с Уолл-стрит и банкиров в администрации президента, глава ФРС Алан Гринспен, министр финансов Роберт Рубин и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Артур Левитт выступали против регулирования деривативов (производных финансовых инструментов). Поставщиком многочисленных кадров для аппарата Белого дома и Казначейства был один из ведущих инвестиционных банков — Goldman Sachs. Первая десятка американских банков контролирует свыше 60% всех финансовых активов, а их ведущие специалисты занимают наиболее важные консультативные посты в правительстве. Как отмечает Джонсон (Johnson 2009), это напоминает клановый капитализм банановых республик. Такой уровень концентрации корпоративной мощи угрожает демократии, поскольку она — эта мощь — имеет сильный крен в пользу интересов богатых.

## ПРИЧИНЫ ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ

Росту значимости финансового сектора способствовали многие факторы: роль и колебания курса американского доллара как мировой резервной валюты; политика ОПЕК; отмена контроля за движением капитала; слияние коммерческих и инвестиционных банков; наличие интернета, позволяющего мгновенно осуществлять финансовые операции по всему миру; волатильные процентные ставки. Однако в основе лежала относительная стагнация реальной экономики, особенно промышленности. Среднегодовой рост производительности труда в США (как доля ВВП, создаваемая в течение часа) в период 1973–2000 гг. составлял менее 1%, то есть не превышал трети среднего значения за предыдущее столетие. Рост реальной заработной платы был в этот период ниже, чем в любой другой период истории Америки. В 1997 г. реальная почасовая зарплата рабочих в промышленности была примерно такой же, как в 1965 г. Несмотря на это, доходность инвестированного капитала снизилась. Причиной снижения прибылей в промышленности США стало наличие избыточных мощностей и перепроизводство, что явилось, в свою очередь, следствием роста международной кон-

курении, и эта проблема постепенно распространилась на развитые страны в целом. Уже в конце 1960-х гг. Америке бросили вызов конкуренты, позже вышедшие на мировой рынок производители более дешевых товаров из Германии и Японии. Затем в 1970-е гг. уже Германия и Япония пострадали от повышения курса своих валют относительно [доллара США] вследствие международного валютного кризиса и краха Бреттон-Вудской финансовой системы. Вскоре на мировом рынке появились страны Восточной Азии, производившие товары дешевле, чем США, Европа и Япония. Избыточные мощности, перепроизводство, падение прибыли стали всеобщим явлением, но капиталистические корпорации не видели новых крупных отраслей, способных компенсировать им потери. Капитал начал перетекать из производства в финансовый сектор. Последовавший за этим финансовый кризис был обусловлен в конечном счете слабостью промышленного производства во многих странах, особенно в США и Великобритании (Brenner 2002).

Уже тогда в бурно развивавшемся финансовом секторе присутствовали три непосредственные причины кризиса 2008 г.: проблема долгов, глобальные дисбалансы и нерегулируемые теневые банки. В 1990-х и 2000-х гг. резко выросла прибыль инвестиционных банков к зависти коммерческих банков, традиционный бизнес по обслуживанию сберегательных и депозитных счетов которых перехватывали пенсионные фонды и страховые компании. Менее прибыльным, чем раньше, стал бизнес и в сфере корпоративных финансов. Поэтому ряд коммерческих банков отказался от былого консерватизма и вышел на прибыльный (в среднем порядка 12%) рынок деривативов (производных финансовых инструментов). В своих рискованных предприятиях они использовали сбережения многомиллионной клиентуры (причем без ее ведома). Ими было изобретено множество производных финансовых инструментов — продукты секьюритизации, свопы по процентным ставкам и кредитные дефолтные свопы, которые, по их мнению, являлись страховкой от рисков, за исключением рисков с крайне низкой вероятностью реализации. Например, объявить дефолт по своим кредитам могут держатели ипотек, но подобный дефолт, как правило, является большой редкостью и малопредсказуем. Если собрать все займы в единый пакет, то такая секьюритизация, как полагали, сделает инструмент более надежным. В этом случае несколько плохих кредитов будут компенсированы многими другими, более надежными финансовыми обязательствами.

Обеспечить хеджирование от риска может производный финансовый инструмент. Если банк А обеспокоен возвратом выданного им кредита, то он заключает деривативную сделку

и платит банку Б комиссию за его обещание компенсировать банку А потери в случае невозврата кредита. Банк А страхуется от некоторой доли неопределенности, связанной с его кредитом, после чего готов предоставлять новые займы. Банк Б берет на себя часть риска, но получает за это комиссионное вознаграждение. Это беспроигрышная игра, говорили банки друг другу. Затем они объединяли деривативы и инструменты секьюритизации: кредиторы продавали свои долги инвестиционному банку, который, упаковав кредиты в единый пакет, частями продавал его пенсионным фондам и другим инвесторам. Изначальные кредиторы, сбыв свои долги, могли выдавать новые кредиты. Что до инвесторов, то они приобретали часть кредитного пакета и его процентного дохода, не утруждая себя оценкой надежности заемщиков. Затем они прибегли к секьюритизации не только кредитов, но и кредитных деривативов, продавая долги, оформленные в виде ликвидных ценных бумаг, то есть секьюритизованные долги. Появилась возможность покупать и продавать не сам актив, а изменение его цены или же риск неплатежа по кредиту, даже если речь шла о целой стране, как в 2010 г. показала Греция. В этом процессе, отмечает Крауч (Crouch 2011: глава 5), стоимость любого производного инструмента все больше отделяется от реальности изначального актива. Об этом активе покупатели и продавцы не знают ничего, кроме его рыночной стоимости. Это крайний вариант такого понятия, как акционерная стоимость, то есть ценность актива для акционеров, когда оцениваются не активы, а лишь их биржевые котировки. В этой игре, состоящей в передаче пакета, стоимость создается самим актом такой передачи, поэтому возрастает и ее скорость. Итак, по шкале рисков, которую предложил Мински, финансовые услуги поднялись на ступень выше.

Использование кредитного плеча, маржи (*leveraging*) — это акт заимствования под некоторую долю стоимости актива, лежащего в основе долгового инструмента. Перечисленные выше финансовые инструменты помогали банкам увеличить их кредитное плечо. В XIX в. кредитное плечо банков было порядка двух, то есть заимствовали вдвое больше величины собственного капитала. Это означало, что банкротство такого банка наступало, если «токсичной» оказывалась половина его активов. Однако в 2000-е гг. плечо во многих банках достигло 20–30. Имея двадцатикратное кредитное плечо, банк обанкротится, если потеряет всего 5% своих активов. Итак, риски возрастали в геометрической прогрессии (Haldane 2012).

Тем не менее банкиры были в восторге. Ради извлечения прибыли они могли не только использовать деньги своих клиентов без их согласия, но и увеличить число сделок, за которые

банки взимают авансовые платежи и комиссионные. Большинство трейдеров и банковских управляющих никаких личных рисков на себя не брали. Они могли записывать на свой счет прибыли от сделок и накапливать бонусы по итогам финансового года, которые значили для них больше, чем долгосрочное здоровье фирмы. Чем быстрее они покупали и продавали, тем выше были их бонусы. Они не боялись риска, сегодня порождающего высокие доходы, а завтра грозящего возможным банкротством, поскольку торговали в долг. Таким образом, прибыли банковского сектора продолжали расти. В США доля финансового сектора в прибылях американских корпораций в период 1973–1985 гг. составляла не более 16%. Однако к 2000-м гг. эта доля выросла до 4%. Вырос и уровень зарплат в финансовом секторе. До 1982 г. он в среднем не превышал 108% заработной платы рабочих на частных предприятиях. К 2007 г. средняя зарплата в финансовом секторе достигла 181% от указанного уровня (Johnson 2009). Щедрое увеличение оплаты труда было инициативой самих банкиров, казалось бы ничем при этом не рисковавших. Мало того, самые сообразительные из них поняли, что теперь они стали слишком крупными финансовыми игроками, чтобы власти позволили им обанкротиться (*too big to fail*). В крайнем случае на выручку им придет государство. Таким образом, прибыли были приватизированы, а убытки — социализированы.

В результате неизбежными стали некоторые преступные деяния. Алчность — неотъемлемая черта капитализма. Как выразился Штрик (Streeck, 2009), жажда наживы — «сомнительная добродетель». Типичный капиталист, пишет он, это «расчетливый и прагматичный комбинатор, занятый поисками щелей в законе» — характеристика, которая в нашей культуре даже приветствуется. Как показывает одно исследование, благодаря предпринятому в 1986–2000 гг. неолиберальному дерегулированию корпоративный менеджмент получил широкие возможности для совершения финансовых преступлений (Prechel and Morris 2010). Узаконенная с 1986 г. многоуровневая структура корпораций (с многочисленными дочерними фирмами) позволила им совершать трансферт капитала между филиалами (формально независимыми юридическими лицами) скрыто от глаз регулятора и инвестиционного сообщества, дав возможность мошенничать, а также скрывать мошенничество. Усиленное использование опционов дало менеджерам стимулы к тому, чтобы искажать и завышать финансовую отчетность корпораций. Легальное создание забалансовых юридических лиц позволило размещать активы и деньги в структурах, не отражавшихся в финансовой отчетности материнской компании. Все это

вместе с внебиржевыми рынками деривативов позволяло менеджерам проводить скрытый и нерегулируемый трансферт капитала, что давало им информационное преимущество перед сторонними инвесторами. Четкой правовой границы между такой информационной асимметрией и инсайдерской торговлей не существует. Одним из правовых положений, позволивших менеджерам с помощью крайне сложных финансовых инструментов перекладывать риск на плечи ничего не подозревающих инвесторов, стал закон о модернизации торговли фьючерсами на сырье от 2000 г. (*The 2000 Commodities Futures Modernization Act*). Эта информационная асимметрия означала, что истинных масштабов творившегося мошенничества не знал никто. Однако, учитывая алчность капиталистов и мощь стимулов, толкающих банкиров на нарушение фидуциарных норм, кажется маловероятным, чтобы виновниками финансовых преступлений были несколько «паршивых овец». Напротив, финансовые преступления стали нормой жизни. Грег Смит, в прошлом исполнительный директор Goldman Sachs, с горечью отзываясь о бывших коллегах: «На заседаниях, посвященных торговле деривативами, ни минуты не уделялось вопросу о том, чем мы можем помочь клиентам. Речь шла исключительно о том, как бы „наварить“ на них больше денег... Меня поражали циничные разговоры этих людей о способах обирания клиентов» (*New York Times*, 14 марта 2012 г.). Справиться с этим недугом могло бы ужесточение норм регулирования и усиление уголовной ответственности, но ничего этого предпринято не было.

Дальнейшему развитию процесса содействовала вторая причина кризиса — наличие глобальных дисбалансов. Они демонстрируют, что национальные государства и макрорегионы остаются важными факторами мировой экономики. После войны Соединенные Штаты первоначально имели торговый профицит и экспорт капитала, но уже вскоре получили торговый дефицит и импорт капитала, масштабы которого в середине 1980-х гг. сильно увеличились, а после 2000 г. выросли еще больше. США накапливали громадный дефицит счета текущих операций, а экспортеры, такие как Япония, Китай и нефтедобывающие страны, имели крупные профициты. Высокие нормы сбережений в Китае подпитывали глобальный бум ликвидности, в ходе которого цены активов росли, а процентные ставки снижались. Деньги были так дешевы, что заимствовать их мог любой желающий. До тех пор пока иностранные кредиторы оставались держателями активов, номинированных в валютах стран-должников, дисбалансы казались управляемыми. После того как пузырь доткомов лопнул, на смену частным зарубежным инвесторам пришли в основном инвесторы, представляв-

шие центробанки и суверенные фонды особенно Японии и Китая. Эти государственные учреждения были заинтересованы в подобных сделках, поскольку последние способствовали расширению отечественного экспорта на Запад. В случае с Китаем эти инвестиции обеспечивали также быстрый экономический рост и социальную стабильность внутри страны. Для Китая и всего мира было бы лучше, если бы [правлящий] режим увеличил внутренний спрос, повысив уровень заработных плат и уменьшив степень неравенства. В таком случае Китай экспортировал бы меньше, а США и Европа могли бы вывозить в Китай больше товаров, что сократило бы глобальные дисбалансы. Страны-кредиторы больше опасались сжатия мировой экономики, которое наступило бы, если бы США, стремясь снизить уровень задолженности, решились на меры жесткой экономии. Однако США больше выигрывали за счет того, что брали займы под низкие проценты, а деньги вкладывали в предприятия с высокой нормой прибыли. Таким образом, в 1990-е гг. США переживали экономический бум, а темпы роста у них были выше, чем в Европе или Японии.

Некоторые считают, что отсутствие сбалансированности мирового хозяйства указывает не на слабость, а на силу американской экономики (Schwartz 2009). Как показал анализ экономической истории 14 развитых стран за последние 140 лет, точным предвестником финансовой нестабильности являлся рост кредитования, тогда как дисбалансы играли здесь меньшую роль. Однако с крахом Бреттон-Вудской финансовой системы ситуация серьезно изменилась. Пока система сохранялась, финансовых кризисов не происходило; после ее краха их было довольно много. Кроме того, возникла корреляция между бумами кредитования и дисбалансами в счетах текущих операций (Jorda et al. 2010).

Кроме того, здание глобальной экономики, очевидно, покоилось на зыбком фундаменте — стремительном росте задолженности домохозяйств Запада. Именно эти долги, а не дисбалансы мирового хозяйства послужили причиной Великой неоллиберальной рецессии. При капитализме задолженность, то есть всего лишь инвестиция, рассматриваемая под другим углом, является нормой. Шумпетер назвал капитализм «такой формой частной собственности, при которой инновации осуществляются на заемные средства». При этом главным инициатором «созидательного разрушения» он считал предпринимателя, тогда как банкира — лишь посредником (Schumpeter 1982, orig. 1939: 92–94, 179; 1961, orig. 1911: 107, 117, 405–406). Однако на сей раз истинными создателями стоимости банкиры посчитали себя, а долги, которыми они распоряжались, стали ключевым фактором мировой

экономики. В 2008 г. общая мировая задолженность оценивалась в 160 трлн долл. — эквивалент трех глобальных ВВП, а стоимость всех деривативов составила 680 трлн долл. — поразительная сумма, равная шестнадцати мировым ВВП. Еще в 1920-е гг. вся глобальная задолженность составляла около 150% мирового ВВП. В годы Великой депрессии она быстро достигла 250%, но в 1940–1980 гг. откатилась назад к 150%. Позднее долги продолжали расти и к 2007 г. достигли 350% мирового ВВП. Долги тяжким бременем лежали на плечах миллионов людей, особенно в США, где в 1980-х гг. задолженность семей приближалась к 64% располагаемого дохода. В 1990-х гг. долги домохозяйств возросли до 77%, а к 2008 г. достигли 121%. За тот же период доля сбережений в стране сократилась с 9,8 до 2,7%. Задолженность беднейших домохозяйств была пропорционально большей. В основе всего этого лежала слабость совокупного спроса. С тех пор как в 1970-х гг. произошел экономический спад, политические власти пытались решить проблему недостаточности спроса при помощи заимствований. Чтобы сделать заимствования доступными всему населению, пришлось — в отсутствие роста рентабельности — снижать процентные ставки. Поскольку неолиберальное наступление привело к сокращению зарплат, социальных выплат и прочих государственных расходов, спрос и инвестиции сократились, так что средством восстановления рентабельности экономики теперь представлялось наращивание частной задолженности (Brenner 2002).

Однако задолженность не регулировалась. К 2005 г. в США теневыми, то есть нерегулируемыми, банковскими структурами осуществлялось 75% кредитования. Их основной формой были хедж-фонды, но имелись и другие финансовые изобретения: системы обращения корпоративных долгов, обеспеченных активами (asset-backed commercial paper conduits); структурированные инвестиционные инструменты; привилегированные акции с аукционной ставкой дивиденда (auction-rate preferred securities); облигации с правом досрочного погашения по цене, определяемой в ходе конкурса (tender option bonds); краткосрочные долговые обязательства с плавающей купонной ставкой (variable rate demand notes) — все менее понятные инвестиционные продукты. Как правило, хедж-фонды (и их теневые аналоги) ускользают от регулирования, организовывая себе «юридическую крышу» в крошечных офшорах, таких как Бермудские или Каймановы острова, где никто не станет их регулировать, поскольку они вносят значительный вклад в местную экономику. Отрегулировать количество и качество долгов инвестиционных банков могла бы *Комиссия по ценным бумагам и биржам*, но сделать этого не удалось. Мало того, в 2004 г. банкам разрешили



увеличить кредитное плечо, и к 2008 году объем их заимствований превысил величину их резервного капитала в 30 раз. Коммерческие банки тоже выпускали новые структурированные инвестиционные инструменты и проводили забалансовые сделки. Внебиржевой, внутренний (in-house) рынок деривативов также никем не регулировался. Словам о «созидательном разрушении» банкиры придали новый смысл: изощренными способами они разрушали экономику!

Задолженность была велика в англосаксонских странах, особенно в США. Сведенные к минимуму социальные программы этих стран толкали граждан на путь заимствований, с их помощью они оплачивали образование детей, лечение и собственные пенсии, которые в других странах финансировались за счет общего налогообложения. Таким образом, в этих странах имела корреляция между долей частного здравоохранения и долей кредитования в объеме ВВП (Prasad 2006). Более популярной, чем у других народов, у англосаксов была и политическая идея «демократии собственников», а их правительства — как правые, так и левые — были вовлечены в субсидирование жилищных ипотек, ставших главной статьей потребительской задолженности. В большинстве других стран была распространена аренда жилья (Schwartz 2009), и в более щедрых государствах всеобщего благоденствия субсидировалась именно арендная плата.

Как мы знаем из глав 2 и 3, послевоенный рост экономики США был обеспечен комбинацией рыночных сил и государственного макроэкономического планирования. В комплексе эти факторы породили общество массового потребления, в основе которого лежала покупка дома, автомобиля и других потребительских товаров длительного пользования. В течение более чем двух десятилетий объем ВВП и доходы семей увеличивались параллельно. Однако с 1970-х гг. доходы семей начали стагнировать, а неравенство увеличилось, что оказывало угнетающее воздействие на массовое потребление, которое теперь финансировалось лишь за счет роста задолженности. Как я отмечал в главе 7 тома 3, это послужило в свое время одной из причин Великой депрессии.

К тому моменту семьи простых американцев уже опробовали два способа решения своих проблем. Первым из них был массовый выход на работу женщин — не только ради денег, но и по другим причинам, включая снижение рождаемости, улучшение качества образования и распространение идей феминизма. В период 1973–2003 гг. доля работающих женщин выросла с 44 до 60%, а средний личный доход женщин почти удвоился. Однако их заработная плата была ниже, чем у мужчин, к тому же выросшее предложение рабочей силы привело к паде-

нию заработков у мужской части населения. Хотя в этот период заработная плата женщин по сравнению с мужчинами возростала, трудовые доходы женщин, взятые в абсолютных цифрах, увеличились незначительно, за исключением самых высокооплачиваемых профессий. Таким образом, общий доход домохозяйств в среднем почти не изменился, зато неравенство между домохозяйствами быстро возростало (Massey 2007: 42–44).

Вторым способом сохранения уровня доходов было увеличение продолжительности рабочего времени. Однако этот способ был гораздо выгоднее тем женщинам, которые были лучше образованы и (или) имели более высокую квалификацию (Hout and Fischer 2006: 122–124). Рост женской занятости гарантировал исполнение американской мечты для верхнего слоя среднего класса. Что касается рабочего класса, то даже при трудоустройстве женщин эти семьи едва сводили концы с концами. Тем не менее они стремились сохранить свой уровень потребления.

Таким образом, правительства и домохозяйства выработали третий способ — научиться жить в кредит. Это стало возможным благодаря двум взаимосвязанным стратегиям. Во-первых, наращивание государственного долга и глобальных дисбалансов позволило наладить массовый импорт дешевых китайских и других азиатских товаров, которые через сети розничных продаж (такие как Walmart и Target) доходили до простых американских семей. Тот факт, что многие потребительские товары подешевели, позволил скрытому американскому долговому пузырю раздуться еще какое-то время. Вторая стратегия — увеличение задолженности домохозяйств, которое в послевоенный период было постепенным, а после 1995 г. стало экспоненциальным из-за увеличения ипотек (Massey 2007: 178). Приток иностранного капитала привел к снижению процентных ставок и повышению цен на недвижимость, что позволило дешево перекладывать жильё. Это, казалось, было идеальным способом минимизировать социальное неравенство, которое могло возникнуть из-за растущего неравенства. Люди поддерживали уровень потребления и качество жизни, увеличивая свою задолженность, которая была обеспечена ростом стоимости их домовладений. Это стало решающим фактором, позволившим Соединенным Штатам с конца 1990-х до середины 2000-х гг. сохранять потребительский спрос, поддерживая бум своей экономики и более быстрый рост, чем в любой другой стране. Крауч (Crouch 2009) называет эту политику «приватизированным кейнсианством», чем она в реальности, разумеется, не являлась (ср. Schwartz 2009: глава 4).

В этот период ипотечные рынки пережили два кратких бума. Первый бум в конце 1990-х гг. охватил в основном рефинанси-

рование закладных на дома, особенно в «цветных» районах. Поскольку цены на недвижимость неуклонно росли, потребители считали, что могут заимствовать, используя в качестве залога свое жилище. Стремясь обеспечить «американский образ жизни», они относились к своим домам, как к банкоматам. Второй бум наступил после 2002 г., когда процентные ставки упали, крупные капиталы не находили объектов приложения, а многие небогатые граждане соблазнились новыми (легализованными администрацией Рейгана) ипотеками с плавающей ставкой, начальный уровень которой был чрезвычайно низким. Возникла даже особая профессия — ипотечный брокер, — отобравший ряд функций у эксперта по кредитованию в банковских и ссудно-сберегательных учреждениях. Брокеры получали комиссионные с учетом стоимости каждой реализованной ипотеки и были заинтересованы в заключении сделки независимо от финансовых возможностей своего клиента, тоже подчас сфальсифицированных. Кроме того, стремясь увеличить свое вознаграждение, брокеры зачастую навязывали клиенту дорогостоящую ипотеку по завышенной ставке. Банки, приобретающие такие закладные, подстраховывались путем перепродажи инвесторам высокорисковых ипотек, «упакованных» в секьюритизованные пакеты. Рынки были структурированы так, что брокеры и эмитенты секьюритизованных бумаг, фактически повышавшие риск дефолта, перекладывали этот риск на других инвесторов (Immergluck 2009: главы 3, 4). Это сочетание порочных стимулов и нечестности финансистов поддерживало уровень жизни рабочего класса, пока процентные ставки оставались низкими. Однако заметим, что основой этого вредного сочетания и в конечном счете главной причиной Великой рецессии было повышение уровня неравенства и бедности в самих США. Эта страна была бы в лучшем положении, если бы ее национальный доход распределялся равномернее и доставался представителям рабочего и среднего классов, которые тратили бы его на реальные потребности, создающие реальные рабочие места. Почему же этого не произошло? Во-первых, необходимо обозначить степень существовавшего неравенства.

### ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО: ВОЗНИКНОВЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

В главах, посвященных предшествующим периодам, я критиковал представления об американской исключительности. С середины 1890-х гг. до 1929 г. США отставали от других

стран по силе профсоюзов и социальному гражданству, хотя и не в сфере прав женщин и не в вопросах образования. Американский расизм был очевидным, но лишь потому, что проявлялся в основном внутри страны. Великобритания практиковала расизм вне собственных границ, в заморских владениях империи, где 90% подданных не обладали значимыми гражданскими правами, тогда как в США это касалось лишь 10% населения. Позднее, в годы Великой депрессии, «нового курса» и Второй мировой войны, Соединенные Штаты наряду с другими англосаксонскими странами впервые ввели систему прогрессивного налогообложения, а также разработали собственные социальные программы. Кроме того, США наверстывали упущенное по части власти профсоюзов. С тех пор и до конца 1970-х гг. Соединенные Штаты пережили неоднозначный период, вновь допустив небольшое отставание в области социальных прав и удручающее огромное отставание — в силе профсоюзов, но сохраняя систему прогрессивного налогообложения, наделив чернокожее население избирательными правами и полностью распространив растущие гражданские права на женщин и другие социальные группы, борющиеся за идентичность. Однако с 1970-х гг. неуклонно усилилась тенденция к регрессивному налогообложению, отставанию в сфере социальных прав и увеличению неравенства граждан в уровне доходов.

В начале XXI в. среди наиболее развитых стран мира Соединенные Штаты заняли исключительное место по степени имущественного неравенства, особенно в верхней части шкалы доходов. В 2005 г. среди 24 стран, входивших в ОЭСР, более высокие показатели неравенства и бедности были только у Мексики и Турции — наименее развитых странах в данной группе (OECD 2008; Piketty and Saez 2003; Saez 2009; Massey 2007: 35–36, 166–168; Hacker and Pierson 2010: 155–159; Brandolini 2010: 213–216). Доля совокупных доходов, достоящаяся 10% богатейших американцев, неуклонно возрастала с 33% в 1980 г. до почти 50% в 2007 г. — максимальная цифра за всю историю. С 1974 по 2007 г. существовала такая закономерность: чем больше доход, тем выше темпы его роста. Это верно для каждого дециля доходов. Максимальный выигрыш получили супербогатые на самом вершине шкалы доходов. Доля национального дохода, достоящаяся 1% богатейших американцев, почти утроилась, доля верхнего 0,1% (около 150 тыс. семей) выросла более чем в четыре раза, а доля верхнего промилле, то есть 0,001% населения (15 тыс. семей), увеличилась шестикратно. Эти малочисленные группы, составляющие ядро капиталистического класса, показывают максимальное увеличение своих доходов в абсолютных цифрах.

И наоборот, децили в средней части шкалы доходов — в основном представители управленческих, технических и профессиональных сфер деятельности — имели весьма небольшой рост доходов. Мало того, домохозяйства в низших децилях, включающих рабочий класс и нижний слой среднего класса, переживали стагнацию доходов. Что касается самых бедных, то поправки в федеральный закон о минимальной заработной плате стали более редкими и менее щедрыми, так что к 2006 г. ее реальная величина сократилась на 45% по сравнению с максимальным значением 1968 г. Признаков изменения этих тенденций почти не просматривается. Из итогов переписи США явствует, что в 2010 г. средний доход американской семьи откатился к уровню 1996 г., при этом 15% граждан находились ниже уровня бедности — худший показатель с 1993 г. Среднегодовой доход американца, занятого полный рабочий день, в 2010 г. составлял 47 715 долл., что несколько меньше, чем в 1973 г. США постоянно снижают инвестиции в программы, создающие рабочие места для квалифицированных специалистов, претендующих на относительно высокую зарплату. В 2010 г. 48 млн американцев в возрасте от 18 до 64 лет не проработали даже одной недели, а медицинской страховки не было почти у 50 млн человек — обе цифры оказались выше показателей любого года за последние десятилетия. В наибольшей степени от этого пострадали этнические меньшинства и молодежь. И облегчения не предвидится, поскольку расходы на НИОКР, профессиональное обучение и развитие инфраструктуры сокращены, а в новом тысячелетии на эти статьи выделено менее 10% федерального бюджета.

Среди 20 наиболее развитых стран максимальный рост неравенства допустили Соединенные Штаты, однако с середины 1980-х гг. крутой восходящий тренд в том же направлении продемонстрировали Великобритания и Канада. С 1980-х по 1990-е гг. коэффициент Джини вырос (хотя и не столь значительно) еще в 14 странах этой группы. Впрочем, в 2000-е гг. тенденция стала не столь однозначной. В половине стран коэффициент Джини оставался без изменения, еще в четверти стран, включая Великобританию, он понизился, а в остальных странах, особенно в США, продолжал расти. Значительно вырос коэффициент Джини также в России, Китае (см. главы 7, 8) и в Индии, однако по этим странам у меня нет сопоставимых данных, касающихся децилей и супербогатых граждан. В отличие от этого имущественная доля богатейших групп населения в Японии и основных странах континентальной Европы за последние десятилетия практически не изменилась. В 2005 г. коэффициент Джини в США был заметно выше, чем в любой другой западной стране, и вдвое выше, чем в нескольких скандинавских

странах, — примечательное несоответствие! (OECD 2008; Atkinson et al. 2009; Mann and Riley 2007).

Этот примечательный рост неравенства, продолжавшийся более трех десятилетий и повлиявший на все слои американского общества, но больше всего обогативший и без того сверхбогатое меньшинство, вызвал острые дискуссии. Большинство ученых объявили его примером «американской исключительности», объясняя исключительно внутренними причинами. Тем не менее это суждение ошибочно, поскольку аналогичные тенденции наблюдались и в других англосаксонских странах. Одни ученые преуменьшают этот факт или объясняют его господствующей ролью американского бизнеса в англоязычных странах (Hacker and Pierson 2010: 160–161), другие настаивают на необходимости дальнейших исследований (Brandolini 2010: 216). Мы же выделяем три основные причины роста неравенства. Первая причина — давление, ощущаемое по всему миру (хотя некоторые страны сопротивлялись ему более стойко, чем другие) и редко затрагивающее вершину шкалы распределения доходов. Вторая причина — давление, общее для англосаксонских стран и частично повлиявшее на категорию супербогатых. Третья причина — американские особенности, усилившие этот тренд в США, хотя они, возможно, были лишь преувеличенными следствиями причин, общих для всех англосаксонских стран или даже для некоторых других стран.

Здесь имеет смысл резюмировать компаративистские выводы, сделанные мною ранее в главах 6, 9 тома 3. Общее давление, ощутимое во всех развитых странах, хотя и переплеталось с демографией, но было экономическим. Это был период относительной стагнации либо очень низких темпов роста экономики, а также вывода за рубеж предприятий обрабатывающей промышленности, перемежавшийся рецессиями, когда работодатели сокращали расходы на оплату труда и когда росла безработица (особенно в Европе) и/или нерегулярная занятость (особенно в США). Уменьшению доли требовавших высокой квалификации и предположительно надежных рабочих мест «синих воротничков» способствовали деиндустриализация Америки и вывоз производства в бедные страны. Увеличение сроков получения высшего образования, расширение социальных программ и старение населения возложили на государственные финансы дополнительное бремя поддержки молодых и пожилых американцев. Трансформация моделей брачности и разводов заметно сказалась на положении женщин, увеличив неравенство и потребовав дополнительной поддержки лиц с минимальными доходами, особенно матерей-одиночек. Увеличение нагрузки на бюджет и уменьшение налоговых поступлений

не могло не вызвать некоторых сокращений государственных расходов во всех странах. Тем не менее скандинавские страны и ряд стран континентальной Европы справлялись с проблемой без роста неравенства. Причина в том, что в этих странах государство всеобщего благосостояния имело поддержку не только у рабочих, но и у среднего класса. Кроме того, сочетание корпоративного духа и значительной численности профсоюзов (или их активизма, как во Франции) защищало трудящихся от произвола рыночных сил. Наличие там бесплатных яслей и детских садов позволяло женщинам с детьми, особенно матерям-одиночкам, трудиться полный рабочий день.

Однако другие англосаксонские страны были склонны по ряду причин копировать Соединенные Штаты. Во-первых, дух волюнтаризма, преобладавший над духом корпоративизма во всех англосаксонских странах. Во-вторых, сокращение численности профсоюзов и размежевание в рядах рабочего класса, где квалифицированные, не опасавшиеся увольнений рабочие отвергали социальное обеспечение, которое они считали формой субсидирования лодырей за счет трудолюбивых. В-третьих, профессиональный успех женщин на высоких позициях в отличие от положения женщин из малоимущих семей, чаще становившихся матерями-одиночками, перебивавшимися низкими или случайными заработками и вынужденными оплачивать уход за детьми. В 2005 г. среди англосаксонских стран лишь Австралия (слегка) выделялась из общей картины неравенства в ОЭСР, а единственным отступлением от среднего уровня бедности представляла собой Великобритания (OECD 2008). Особенно вялым сопротивлением рыночным силам оставалось в США, где недовольство рабочего класса было усугублено его расовыми предрассудками. Таковы основные причины, по которым общий уровень неравенства в большинстве развитых стран вырос лишь незначительно, а в Соединенных Штатах вырос больше, чем в других англосаксонских странах.

Однако ни один из этих факторов давления не объясняет необыкновенное увеличение неравенства в верхней части шкалы доходов. Многие экономисты утверждают, что это неравенство возросло в результате технологических изменений. Они часто сравнивают гендиректоров корпораций со звездами баскетбола или футбола, баснословные доходы которых отражают их выдающиеся спортивные качества и богатства которых поэтому воспринимаются их поклонниками как вполне заслуженные. По этой логике директора корпораций должны получать гораздо больше, чем кто-либо другой, потому что их навыки чрезвычайно редки. Этот тезис проверили двое ученых Дью-Беккер и Гордон (Dew-Becker and Gordon 2005), изучавшие

производительность труда и рост доходов на протяжении 1966–2001 гг. Сначала они отметили, что лишь 10% самых богатых имели рост доходов, соизмеримый с повышением производительности труда в США, а наибольший выигрыш с точки зрения доходов достался 1% самых богатых, особенно — 0,1% богатейших. Однако эти бенефициары составляют «слишком узкую группу, чтобы ее финансовый выигрыш объяснялся результатом технологических изменений», последствия которых (в смысле роста потребности в уникальных квалификациях) чрезмерно для этого широки. В сфере высоких технологий заработки профессионалов увеличились незначительно (или даже уменьшились), тогда как доходы директоров компаний более чем удвоились. Можно возразить, что высший менеджмент корпораций принимает решения, от которых зависят прибыли или убытки компании, исчисляемые миллионами долларов. Возможно, талант к принятию таких решений столь редок, что его носители действительно заслуживают миллионных зарплат.

Тем не менее с наступлением Великой неолиберальной рецессии этот довод был поставлен под сомнение, когда стало очевидным, что руководители корпораций получали огромные зарплаты независимо от финансовой эффективности возглавляемых ими структур. Кроме того, между звездами спорта и корпоративными лидерами есть существенное различие: последние сами определяют размер своего вознаграждения. В главе 7 мы видели, что произошло в СССР, когда на излете советской власти рабочим позволили самим определять размер своих зарплат. В итоге заработная плата была повышена без увеличения производительности труда. Дью-Беккер и Гордон отмечают еще один факт, неудобный для аргументации с позиции SBTC (Skill-biased technical change — технологические изменения с выгодой для наиболее квалифицированных специалистов): в Европе произошли такие же технологические и корпоративные преобразования, однако неравенство не выросло, а рост заработной платы высшего менеджмента был довольно скромным. Между тем эффективность европейских предприятий не ниже американских. И хотя в Европе две страны — Великобритания и Ирландия — опробовали американскую систему вознаграждений, корреляции между увеличением неравенства на вершине карьерной пирамиды и ростом экономической эффективности компаний зафиксировано не было.

Более половины роста жалования высших менеджеров составляют опционы на акции, на которые те могут претендовать, когда биржевые котировки акций их компаний растут (Fligstein 2010: 237–238). Поскольку в 1980–90-х гг. рос весь фондовый рынок, то росли и заработки большинства руководителей



компаний независимо от того, насколько эффективны они были по сравнению с конкурентами. Доминирующей стратегией бизнеса стала максимизация стоимости акций компании. Из-за рецессии 1970-х гг. многие корпорации оказались недооцененными, то есть котируются ниже стоимости своих активов. Это спровоцировало волну слияний и поглощений, которую стимулировала программа дерегулирования, проведенная администрацией президента Рейгана. Чтобы защитить от поглощения свои компании (и собственные позиции в них), руководители прибегали к заимствованиям, распродавали недооцененные активы, увольняли рядовых работников и менеджеров нижнего звена, а также всячески наращивали краткосрочные прибыли и цены акций. Результатом этого стала идея о том, что личную эффективность менеджеров можно и нужно оценивать в соответствии с краткосрочным курсом акций их корпорации. Это позволяло согласовать между собой интересы акционеров и менеджеров, так что существенное повышение заработной платы последних не задевало (краткосрочных) интересов акционеров. Поскольку одним из способов повысить цену акций компании было закрытие или вывод производства за рубеж либо увольнение работников (что расценивалось рынками как признак повышения эффективности), это привело не только к росту цен на акции и повышению зарплат руководства, но и к некоторому перераспределению от труда к капиталу. В итоге неравенство в верхней части шкалы доходов значительно выросло.

В других странах опционы на акции использовались реже. В странах континентальной Европы и скандинавских странах корпорации были в меньшей степени ориентированы на фондовый рынок. Большая концентрация собственности, препятствия на участие в акционерном капитале, большая доля банковского финансирования привели к уменьшению относительной значимости краткосрочных биржевых котировок и опционов на акции. По данным за 2001 г., в Австрии, Бельгии, Германии и Италии среди владельцев половины котируемых компаний нефинансового сектора присутствовал один держатель ценных бумаг, контролировавший свыше половины всех голосующих акций. Таким крупным держателем зачастую был банк или состоятельный семейный клан, защищавший свою компанию от краткосрочных сюрпризов на фондовом рынке. Традиционный высший класс не лишен известных добродетелей! Особняком стояли англосаксонские страны из-за более дисперсного характера владения акциями. В Великобритании владелец крупнейшего пакета контролировал в среднем лишь 10% голосующих акций, а в США — лишь 5%. В 1990-е гг. в Европе отмечалось движение к опционам на акции, но отличие

от англосаксонских стран все равно сохранялось (Ferrarini et al. 2003; Schwartz 2009: 156). Сказывается и разница между макро-регионами. В США доходы менеджеров от опционов на акции, а также все доходы управляющих хедж-фондами облагаются не подоходным налогом, а налогом на увеличение рыночной стоимости капитала, ставки которого ниже. То же справедливо для некоторых британских хедж-фондов. Налоговая политика способствовала росту наиболее высоких доходов как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах.

Непропорционально быстрый рост доходов самых богатых классов в двух крупнейших англосаксонских странах объясняется в основном тем, что размеры своего вознаграждения директора компаний определяли сами, хотя и с согласия акционеров. Причиной тому служил особый характер акционерной собственности у англосаксов. Это было проявлением дистрибутивной, а не коллективной экономической власти, что наносило ущерб капитализму в долгосрочной перспективе, а также краткосрочный ущерб прочим классам, поскольку подрывало основы экономики с высокими темпами роста и потребительского спроса, которую удалось создать усилиями капитализма при содействии государства. Тому же способствовала неолиберальная идеология, более распространенная в англосаксонских странах. Если бизнес желал оплачивать труд своих капитанов выше, то это не должно касаться государства. Политики воспевали экономические достоинства системы, создававшей стимулы для богатых, и соответствующим образом перестраивали налоговую практику<sup>1</sup>.

## ЗАГАДКА НЕРАВЕНСТВА В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Начиная с 1980-х гг. республиканские администрации, особенно Рейгана и Буша-младшего, урезали расходы на социальные программы, замораживали минимальный размер заработной платы, выхолащивали прогрессивную компоненту налоговой системы. В рамках предложенных Бушем-младшим налоговых льгот 1% богатейших американцев получил ошеломляющий 25%-й налоговый вычет по сравнению с 5%-м вычетом, доступным большинству налогоплательщиков (Massey 2007: 5). Демократические администрации не слишком отклонились от ранее сформировавшейся линии. Президент Клинтон немного увели-

---

1. У меня почти нет данных по Австралии и Новой Зеландии и очень мало по Канаде, поэтому не ясно, относится ли сказанное также и к этим странам.

чил среднюю ставку налога на богатые домохозяйства, оставив другие ставки без изменения. Некоторое облегчение работающим беднякам принес его налоговый зачет за заработанный доход (EITC). Однако проведенная Клинтоном реформа социального обеспечения на пользу бедным не пошла. Ранее мы видели, что на подобный путь возврата к регрессивной налоговой политике встали лейбористы Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Анализ перераспределения доходов после уплаты налогов с учетом социальных выплат показывает, что дальше всех назад от завоеваний прогрессивного налогообложения начала 1980-х гг. ушли американские политики. В то же время Канада и Великобритания оставались где-то на позициях 1990-х гг. (Kenworthy 2010: 218–219). Теперь придется объяснить, почему левоцентристские партии не оказали в англосаксонских странах более упорного сопротивления регрессивной финансовой и социальной политике.

Особенно озадачивает исследователей тот факт, что лишь немногие американцы выступали против резкого углубления неравенства. Если Америка — это демократия, то почему нет ответной реакции избирателей? Опросы показывают, что в большинстве своем американцы осознают существенный рост неравенства и полагают, что богатые должны платить больше налогов. Но американцы придерживаются ряда абстрактных консервативных принципов, верят в личную ответственность, свободу предпринимательства и американскую мечту. В то же время они одобряют правительственные программы поощрения равенства, в частности обеспечивающие социальную защиту и возможность получения образования для всех. Большинство американцев, за кого бы они ни голосовали — демократов или республиканцев, одобряют государственное вмешательство в сферы здравоохранения, образования и обеспечения занятости и заявляют о своей готовности платить ради этого более высокие налоги. В этом они не сильно отличаются от граждан других развитых стран (Osberg and Smeeding 2006; Page and Jacobs 2009). Кроме того, американцы полагают, что если уж сокращать затраты, то в первую очередь следует ограничивать военные расходы, а не социальные программы. Тем не менее эти настроения не воплощаются в политические действия. Почему так происходит?

Поскольку Америка — либеральная демократия, постольку политика партий и результаты выборов должны отражать предпочтения граждан. В последние десятилетия Республиканская партия в своей риторике становится решительно неолиберальной, высказываясь за предоставление рыночным силам полной свободы. Если свобода означает большее неравенство, то так

тому и быть. Мало того, республиканцы пошли дальше, поощряя, по сути, рост неравенства, потому что тогда, заявляют они, предприниматели будут больше инвестировать в производство и создадут больше рабочих мест. Республиканской партии близки интересы богачей и крупного бизнеса. Поэтому нам придется помимо прочего ответить на вопрос: почему за такую Республиканскую партию голосуют простые американцы? Кроме того, актуален и другой вопрос: почему в своих попытках переломить тенденцию к усилению неравенства Демократическая партия проявляет робость и даже малодушие?

Может быть, снизилась доля лиц, голосующих по принципу классовой принадлежности? Но это не так, потому что с 1970-х гг. корреляция между классовой и партийной (электоральной) позицией в действительности возросла. Республиканцы получали больше голосов богатых, демократы — больше голосов бедных избирателей. Однако есть разница в том, кто приходит к избирательным урнам. Низкая явка среди бедняков и иммигрантов вредит демократам и исключает какое-либо перераспределение голосов в пользу малоимущих. В период между 1970-ми и 2000-ми гг. иммиграция в США увеличилась почти вдвое, причем в основном за счет выходцев из бедных стран, обладающих меньшими профессиональными навыками. Поскольку большинство из них не являются гражданами, они не могут голосовать. Предполагается, что если бы они могли, то проголосовали бы за демократов. В итоге получается, что доходы среднего *избирателя* упали незначительно и потому его не слишком заботит проблема неравенства (McCarty et al. 2006). Такое сочетание абсентеизма и иммиграции в Америке более значимо, чем в Европе, включая Великобританию. Это одна часть нашего объяснения.

Структурные, особенно классовые сдвиги в составе электората, как представляется, составляют вторую часть объяснения. Однако эти изменения, как правило, взаимно компенсируются, не давая преимуществ ни одной из партий. Группы профессионалов и «белые воротнички», не входящие в класс управленцев, стали в большей мере поддерживать демократов. Тем не менее эта тенденция объяснялась не столько экономическим либерализмом, сколько политикой борьбы за идентичность и уравновешивалась тем, что самозанятые и управленцы в большей мере голосовали за республиканцев в основном по экономическим причинам. В женской половине электората произошел сдвиг в пользу демократов, причем важными начиная с 1990-х гг. становятся вопросы феминизма. Афроамериканцы в подавляющем большинстве голосовали за демократов; латиноамериканцы, в 2000-е гг. активно участвовавшие в выборах, также поддержи-

вали преимущественно демократов. Начиная с 1990-х гг. религиозный фактор благоприятствовал республиканцам, поскольку протестанты в значительной части голосовали именно за них, а те, кто регулярно посещал церковь, поддерживали республиканцев в два раза чаще, чем демократов. Поэтому в целом особой выгоды от этих сдвигов ни та ни другая партия не получила (Hout et al. 1995; Manza and Brooks 1997, 1998; Brooks and Manza 1997; Olson 2006).

Возможно, теперь экономические вопросы имеют меньшее значение, чем раньше. Хаутман с соавторами (Houtman et al. 2008) полагают, что в США эти вопросы остаются важными, а избиратели из рабочих по-прежнему выступают за перераспределение. Однако для многих рабочих и не только для них эти ценности все чаще отходят на второй план по сравнению с моральными проблемами, такими как аборт, христианская семья, закон и порядок, а также предполагаемый распад традиционных ценностей перед лицом морально несостоятельного либерализма. Это может быть косвенной реакцией на засыле капиталистического консьюмеризма, который повсюду воспринимается как фактор разрушения нравственных и семейных ценностей. Или же это более общее чувство обеспокоенности у нации, ощущающей несправедливость и/или собственный упадок, но не имеющей отчетливого экономического представления о том, кто в этом виноват.

Параллели этому встречались и в Европе, но в США реакция была более острой и политически организованной. Там она достигла масштабов нового «Великого пробуждения», захлестнувшего старый Библейский пояс южных штатов, а затем распространившегося на Америку сельских поселений, маленьких городков и ряда пригородных районов, где главным социальным институтом остается церковь. Возрождение религии усилило консерватизм и неприятие материалистических ценностей, перенаправив экономический радикализм в русло консервативного популизма. Все чаще белые рабочие прислушивались к речам политиков, возлагавших вину за экономическую стагнацию на «большое правительство», высокие налоги и государство всеобщего благосостояния. Последнее, как они полагали, идет на пользу лишь бессовестным дармоедам, содержанкам, иммигрантам и чернокожим бездельникам. Поскольку расизм приобрел скрытый характер, социальные опросы не могут отразить его с достаточной точностью, однако республиканцы прибегли к завуалированной расовой риторике, которая оказалась успешной среди белых рабочих в южных штатах и уменьшила популярность социальных программ в глазах белого населения. Вероятно, из всех моральных проблем расовый вопрос оказал

ся сильнейшим фактором, отклонившим симпатии рабочего избирателя вправо и заставившим его голосовать против своих классовых интересов. С другой стороны, высший менеджмент и успешные профессионалы также все чаще голосовали против экономических интересов своего класса, предпочитая корыстному материализму либеральный идеализм. В последнее время расизм укрепился и в Европе, где он порождает ультраправые партии и смещает традиционные консервативные партии вправо, но его потенциальная угроза государству всеобщего благосостояния пока не ощущается там во всей актуальности.

Изучая общественные настроения в штате Канзас, Франк (Frank 2004) обнаружил преобладание моральной проблематики. Здесь республиканцы, стремясь убедить рабочих голосовать вопреки их собственным экономическим интересам, использовали в своей агитации актуальные нравственные темы (проблеме абортов, моральный упадок, контроль над продажей огнестрельного оружия и т. п.). Контроль над местными ячейками Республиканской партии перешел из рук воротил бизнеса к набожным белым представителям среднего класса, в своей риторике переплавляющим вопросы экономики и морали в народный протест против «большого правительства» и либеральных элит. Это была настоящая идеология, исполненная подлинной любви и ненависти. С этим тезисом не согласен Бартелс (Bartels 2008), утверждающий, что моральные вопросы повлияли лишь на обеспеченных белых избирателей, а не на белых рабочих, по-прежнему считающих главными вопросы экономики и выступающих за перераспределение. Очевидно, предметом этих двух исследований были разные выборки. Франк анализировал настроения в сельских поселениях и малых городах штата Канзас, однако эта часть Америки гораздо реже (по ряду практических причин) фигурирует в национальных опросах, на которые в своем исследовании ссылается Бартелс. Таким образом, Франк изучал «электоральный бастион» Республиканской партии. Америка сельских поселений и маленьких городков намного чаще, чем остальная нация, голосует за республиканцев. После двухсотлетней истории демократических выборов в США сформировался, наконец, не региональный, а общенациональный политический электорат, но теперь он разделился на городской и сельский. Данные выборов 2004 г. «указывают на разрыв в 20 пунктов... между электоратом округов с населением свыше миллиона человек и... тех округов, где проживает менее 25 000 человек». Он увеличился настолько, что стал шире классового или гендерного разрыва (Gimpel and Karnes 2006). Для Соединенных Штатов величина этого разрыва является уникальной.

В 2004 г. сельские избиратели помимо того, что чаще голосовали за республиканцев, были гораздо чаще пожилыми, белыми, протестантами и активными прихожанами и менее образованными и обеспеченными, чем избиратели в городах и пригородах. Они владели большим количеством оружия, чаще выступали категорически против абортот и жили преимущественно в традиционных семьях. Они являлись владельцами собственного дома и зарабатывали на хлеб в условиях самозанятости. Согласно многочисленным исследованиям, они также были удовлетворены своей жизнью и работой. Кроме того, многочисленные исследования демонстрируют большее равенство доходов в Америке сельских поселений и малых городов. В итоге, пишут Гимпель и Карнес (Gimpel and Karnes), «многие сельские избиратели охотно голосуют за республиканцев, поскольку ощущают себя не жертвами почасового „наемного рабства“, а независимыми предпринимателями. Для их самоопределения (в качестве хозяйствующих субъектов) реальный денежный доход означает гораздо меньше, чем личное восприятие своего экономического статуса».

Таким образом, в Америке сельский избиратель в идеологическом и экономическом обосновании собственной электоральной позиции оказывается более консервативным, чем избиратель в пригороде, чаще меняющий свои симпатии от выборов к выборам, и гораздо более консервативным, чем горожанин, голосующий за демократов. Сельские избиратели равнодушны к вопросам неравенства, и их равнодушие окрашено моральными обертонами. Они воспринимают мегаполисы и прибрежные штаты либо как царство греха и беззакония (действительно, там есть и стиль жизни, и этническая преступность), либо как вотчину ненавистного им «большого правительства» и крупных корпораций. Сельские общины и общины небольших городов считают себя более сплоченными и добродетельными, чем городские и пригородные общины, кажушиеся им материалистическими. В отличие от них городские сообщества не скрывают разнообразие и признают конфликт. Этим может объясняться и тот факт, что республиканцы являются идеологически более сплоченными и более влиятельными в Конгрессе, тогда как демократы остаются более разобщенными, что типично для традиционных американских партий. Идеологическая власть в Америке носит асимметричный характер: она мощнее справа, чем слева. И, наконец, американская глубинка представлена непропорционально большим числом голосов в сенате. Штат Вайоминг, где проживает полмиллиона человек, представлен двумя сенаторами, так же как и Калифорния с населени-

ем 34 млн. На Капитолийском холме политики мыслят консервативнее, чем нация в целом. Это несовершенная демократия.

Одним из традиционных аспектов американской идеологии считается преуменьшение важности экономического перераспределения. Как показывают опросы общественного мнения, американцы считают, что простому человеку независимо от его происхождения легче добиться успеха в Соединенных Штатах, чем в других развитых странах<sup>1</sup>. Предполагается, что высокая социальная мобильность смягчает издержки глубокого неравенства. Однако это предположение ошибочно. Силами ОЭСР (ОЕСД 2010: глава 5) в 12 странах были проведены исследования взаимосвязи богатства отцов и сыновей, которая в США оказалась гораздо сильнее, чем в Дании, Австралии, Норвегии, Финляндии, Канаде, Швеции, Германии и Испании, а немного сильнее, чем во Франции. Лишь в Италии и Великобритании социальная мобильность была немного ниже, чем в Соединенных Штатах. В США преимущества, связанные с высоким экономическим статусом родителей, наследуются детьми не менее чем в 47% случаев против 17% в Австралии и 19% — в Канаде. Последние две страны занимаются тем, что американцы приписывают Соединенным Штатам: компенсируют имущественное неравенство высокой социальной мобильностью. В действительности США поступают наоборот: они усиливают неравенство, делая его наполовину наследуемым. Разумеется, это больше относится к мужчинам. Учитывая важность гендерного равенства на американском рынке труда (что отмечалось в главе 5), женщины в США имеют более высокую социальную мобильность, но при этом голосуют за демократов чаще, чем мужчины. Тем не менее в политике идеология может значить больше, чем реальность. В данном случае, если мужчины из рабочего класса откажутся от идеологических клише, у них может развиться комплекс неудачника, с которым трудно будет справиться.

Итак, Бартелс утверждает, как некогда полагал и я (Манн 1970), что общественные установки зачастую бывают ложными и противоречивыми. В социологических опросах большинство американцев заявляли, что неравенство в обществе является чрезмерным, и в то же время большинство поддержало Буша-младшего в его политике снижения налогов, хотя она была на руку преимущественно богатым. Основная причина в том, что налоговые льготы Буша-младшего были тщательно продуманы: обычные налогоплательщики получили 10%-ю скидку, что заставило их забыть о 25%-й скидке, предоставленной богатым. Республиканцы подчеркивали 10%-ю скидку и устрани-

---

1. [www.economicmobility.org](http://www.economicmobility.org).



ние налога для беднейшей категории налогоплательщиков, как это делает Буш в своих мемуарах (2010: 442–443). Кроме того, в США имеется проблема с терминологией. Сам термин *welfare* (в данном случае «обеспечение», «содержание») является непопулярным, и даже те, кто действительно живет на социальное пособие и кого государство содержит, часто это отрицают. Почти половина тех, кто получает социальное пособие, пособие по безработице или выплату по медицинской страховке, утверждают, что не пользуются государственной помощью (Mettler 2010: 829). Это также демонстрирует отсутствие в американцах чувства солидарности. Получение социального обеспечения ассоциируется у них с чем-то недостойным, что бывает «с другими, но только не со мной».

Кроме того, люди имеют слабое представление о степени неравенства. Классическое исследование Рансимена (Runciman 1966) об относительной депривации показало, что английские рабочие сравнивали свое положение не с жизнью богатых, о которых они знали мало, а с жизнью тех, кто находился с ними на одной классовой ступени. Они считали себя обделенными, только если их социальный статус был ниже, чем у ближайших соседей. Пейдж и Джейкобс (Page and Jacobs 2009: 37–42) показывают, что большинство американцев довольно точно оценивают доходы тех, кого они знают лично. Однако их представления о жизни богатых довольно туманны. В ходе опроса в 2007 г. респонденты оценили среднегодовой доход директора американской корпорации в 500 тыс. долл., то есть в 12 раз больше заработка квалифицированного заводского рабочего, доход которого они оценили весьма точно. При этом они полагали, что справедливой была бы разница лишь в пять раз, то есть идеальным среднегодовым доходом директора были бы 200 тыс. долл. В реальности же исполнительный директор американской корпорации получал в среднем 14 млн долл. в год, то есть в 350 раз больше заработка квалифицированного рабочего! Возможно, подобная неосведомленность усугубляется еще и тем, что в такой обширной стране, как США, между богатыми и бедными возникает изрядная географическая дистанция (Massey 2007: 192–195). На общенациональном уровне неравенство не имеет большого политического резонанса. Даже в период Великой депрессии американцы выходили на демонстрации не против неравенства, а лишь против безработицы и нищеты.

Как известно, у избирателя короткая память. Хотя демократам удавалось, как правило, улучшить жизнь простых американцев, а республиканцы делали ровно наоборот, последние проявляли в своей электоральной политике большую ловкость. И если республиканцы умели вызвать легкий экономический

подъем непосредственно перед выборами, то демократы приступали к этому загодя, но об их успехах рядовой избиратель к моменту голосования уже забывал. Поэтому он вопреки своим экономическим интересам чаще поддерживал Республиканскую партию. В ходе опроса, проведенного *CBS/New York Times* в январе 2010 г., о том, что после прихода к власти президент Обама снизил налоги, заявили лишь 12% респондентов, хотя годом раньше он сделал это для 95% американцев. Теперь все об этом забыли. Степень осведомленности зависит также от классовой принадлежности: бедные разбираются в экономике меньше, чем богатые, имеющие больший доступ к СМИ.

Бартелс обнаружил, что сенаторы зачастую игнорировали пожелания рядовых избирателей. То, как они голосовали в сенате, гораздо больше отвечало их собственным взглядам, чем взглядам электората. Порой они прислушивались к мнению богатых, но полностью игнорировали точку зрения беднейшей трети населения. Это особенно верно в отношении сенаторов-республиканцев. Глобально, как показали исследователи Брукс и Манза (Brooks and Manza 2006), внимательнее к общественному мнению по вопросам социального обеспечения относились политики в странах континентальной Европы и в скандинавских странах, нежели в англосаксонских. И вновь американская демократия продемонстрировала свое несовершенство.

Политика перераспределения требует социальной мобилизации. Основной традиционной силой, выступавшей за большее равенство, были профсоюзы, но к 2008 г. уровень членства в профсоюзах во всех несельскохозяйственных секторах экономики упал до 12,4%, а в частном секторе — до жалких 7,6%. Как мы видели в главе 6, это объяснялось несколькими причинами: структурными изменениями в экономике, серией наступлений работодателей на труд, борьбой за идентичность вместо классовых интересов, а также нерешительностью самих профсоюзов. Я полагаю, что многое в США объясняется снижением роли профсоюзов, поскольку без них классовая теория неравенства имеет мало защитников. Кроме того, социальная мобилизация по призыву профсоюзов уменьшилась, тогда как мобилизация по призыву церкви увеличилась, переключив внимание американцев с экономических проблем на моральные. В демократическом лагере снижение роли профсоюзов и активизация «политики идентичности» — будь то раса, пол или сексуальная ориентация — затушевывали остроту классовых проблем и заставили демократов взять на себя защиту прав меньшинств, порой не самых популярных. И хотя новые постматериалистические движения обладали большим эмоциональным зарядом, их возглавляли образованные профессионалы, мало озабоченные эко-

номическим положением трудящихся. Поэтому вопросам экономического равенства Демократическая партия США уделяет меньше внимания, чем большинство левоцентристских партий. Начиная с 1960-х гг. в Демократической партии заправляют состоятельные участники движения и либеральные деньги идут в основном в сферу борьбы за гражданские права, права женщин и сексуальных меньшинств, а также на защиту окружающей среды (Hacker and Pierson 2010: 180). Все эти направления, за исключением феминизма, не сулят роста электоральной поддержки.

Сами выборы также подорожали, что дало импульс финансированию партий бизнесом. На протяжении большей части столетия до 1972 г. расходы кандидатов в президенты от обеих партий неуклонно росли, затем рост прекратился, и до 1988 г. расходы колебались в диапазоне от 50 до 100 млн долл. Это был период сравнительно эффективных законов, регламентировавших порядок финансирования избирательных кампаний. Затем расходы вновь пошли вверх и продолжали расти, достигнув в 1996 г. 450 млн, в 2004 г. — 1 млрд, в 2008 г. — 2,4 млрд долл. С 1988 по 2010 г. место в палате представителей подорожало вдвое, а кресло в сенате — на 30% (все цифры даны в фиксированных ценах)<sup>1</sup>. Впрочем, тенденция к подорожанию может быть преувеличенной. Если учесть рост численности электората, то это объясняет большую часть дополнительного финансирования вплоть до первого десятилетия XXI в. До этого средняя величина расходов на одного избирателя колебалась в пределах общего диапазона. Мало того, с 1972 по 2000 г. расходы на проведение выборов (как доля в ВВП) на самом деле сократились. Затем они резко выросли, но лишь до уровня, наблюдавшегося на протяжении большей части XX в. На самом деле максимум расходов (как доля от ВВП) пришелся на успешную кампанию президента Никсона в 1968 г. Похоже, что все выборы неожиданно подорожали, и большинство расходов взял на себя бизнес. Начиная с 2000 г. бизнес вносит в предвыборную кассу свыше 70% всех пожертвований, а профсоюзы — менее 7%. И тенденция в данном случае задается не столько ростом доли бизнеса, сколько сокращением доли профсоюзов. Большую часть финансирования на всех выборах получали республиканцы, за исключением кампании Барака Обамы в 2008 г., когда бизнес почувствовал, что тот выиграет. Главным мотивом действий большинства политиков является переизбрание

---

1. Источник исторических данных: Alexander 1980; источник более свежих данных: Federal Election Commission Data и сетевые публикации: Dave Gilson (*Mother Jones* online, February 20, 2012) and Erik Rising (Blogspot February 23, 2012).

на следующий срок, что заставляет их идти на поклон к бизнесу и по экономическим вопросам смещаться вправо. Для США покупка голосов корпорациями является традицией. В Америке так было всегда, поэтому сомнительно, чтобы этим можно было объяснить рост неравенства (по крайней мере в период 1970–2000-х гг.). Основной его причиной является последовательное ослабление труда, которое с очевидностью частично ответственно за этот процесс.

Хакер и Пирсон (Hacker and Pierson 2010) полагают, что гораздо важнее положений о финансировании выборов является предварительная политическая повестка. С этим произошли перемены. В прошлом главными лоббистами на федеральном уровне выступали ассоциации бизнеса, теперь — отдельные отрасли и корпорации. Таким образом, число корпоративных лоббистских офисов в Вашингтоне увеличилось с единственного представительства компании US Steel в 1920 г. до 175 офисов в 1968 г. и более 600 офисов в 2005 г., а их расходы в период 1998–2008 гг. выросли с 1,4 до 3,4 млрд долл., то есть гораздо больше, чем за эти годы вырос ВВП. Три четверти всех расходов на лоббистскую деятельность пришлось на бизнес (цифры даны в постоянных ценах, см. [www.opensecrets.org](http://www.opensecrets.org)). Значительная часть усилий лоббистов призвана обеспечить бизнесу федеральные субсидии либо освобождение от налогов или норм регулирования, что является тем же увеличением неравенства, только привносимым через черный ход, незаметно для избирателей. Поскольку подотчетности здесь мало, мы не можем сказать, насколько эффективны денежные пожертвования и лоббистская политика (Repetto 2007). Но предположить, что деньги и лоббирование не дают нужного эффекта — значит признать бизнесменов глупцами, бросающими огромные суммы на ветер. Здесь уместно привести вопиющий случай с внесенным в 2009 г. администрацией Обамы законопроект о реформе системы здравоохранения. Чтобы провалить законопроект о создании общенационального страхового фонда, корпорации, представлявшие фармацевтическую промышленность, медицинское страхование и платные клиники, приставили к каждому конгрессмену по шесть лоббистов и в целом потратили 380 млн долл. Наибольшая сумма (в размере 1,5 млн долл.) пошла сенатору-демократу, возглавлявшему комиссию по подготовке законопроекта (*Guardian*, 1 октября 2009 г.). Эти деньги себя оправдали, поскольку после внесения поправок в законопроект там появилась статья о государственном субсидировании прибылей, причитающихся корпорациям в сегменте здравоохранения. Таким образом, часть вины за рост неравенства следует возложить на лоббистов.

Лоббизм и коррупция не исключительно американское явление. То, какую практику во многих странах можно считать обычной, показал разразившийся в 2011 г. в Великобритании скандал вокруг публикации конфиденциальных телефонных переговоров. Как известно, крупнейшую в мире и чрезвычайно важную для Великобритании медиаимперию контролируют Руперт Мердок и его семья. В ходе скандала вокруг газеты, принадлежавшей магнату, вскрылось, что за первые 15 месяцев своего правления премьер-министр Кэмерон в частном порядке встречался с семейством Мердок (или с их доверенными лицами) 26 раз, а его министры — не менее 60 раз. В ответ на критику со стороны общественности консерваторы заявили, что предыдущая лейбористская администрация поступала точно так же. Здесь надо отметить, что в Европе законы о выборах носят более четкий характер. Европейцы строго лимитируют предвыборные расходы политических партий и предоставляют им бесплатное эфирное время на радио и телевидении, с тем чтобы дорогостоящая кампания в СМИ не поглощала большую часть партийных финансов. Время от времени скандалы вокруг проведения выборов и финансирования партий случаются и в Европе, но по американским меркам все это мелочи, не заслуживающие особого внимания.

Специфика США в том, что там уклон в пользу господства бизнеса в политике поддерживается Верховным судом. В серии решений, достигших кульминации в январе 2010 г., Верховный суд отменил часть законодательства 2002 г. о реформе норм финансирования предвыборных кампаний, которым ограничивался объем денежных пожертвований. Верховный суд постановил, что закон, препятствующий корпорациям участвовать в публичных дискуссиях по вопросам политики, нарушает свободу слова. В мотивировочной части судебного решения было выражено мнение большинства членов суда, признавших за корпорациями те же права, которые Конституция США гарантирует американским гражданам. «Правительство не вправе ограничивать свободу политического высказывания в связи с принадлежностью его автора к той или иной корпорации», — заявил главный судья Робертс. Это трудно примирить с теорией демократии, подчеркивающей необходимость равенства политических прав *граждан*. Сегодня американская демократия — это не столько «один человек — один голос», сколько «один доллар — один голос». Вторгшись в сферу политической и юридической власти, неравенство во власти экономической породило весьма несовершенную демократию. Если не брать период борьбы за гражданские права, Верховный суд США всегда занимал

прокапиталистическую и явно консервативную позицию. Почему это так, я не знаю.

Мое объяснение того, почему американцы не выступают против растущего неравенства, носит комплексный характер. Экономический статус избирателей выше, чем положение тех, кто не голосует; сознание малоимущих затуманено расизмом; простые белые избиратели (особенно белые мужчины) в сельских округах и на юге страны чаще голосуют за республиканцев и больше озабочены моральными ценностями консерватизма, чем вопросами экономики. Будучи политически близорукими и неосведомленными, американцы имеют ложные представления о социальной мобильности. Республиканцы успешнее используют все это в своей пропаганде, а демократы, будучи разделенными, с трудом отыскивают простую, вызывающую отклик риторику. Правые обладают идеологической властью, левые — только знанием общественных наук, чего им явно недостаточно. Американские профсоюзы отошли на второй план, а с ними и классовая борьба, отчасти сменившаяся борьбой за идентичность и нравственность. Политики оказываются консервативнее электората, что отчасти объясняется их коррупционными связями с крупным бизнесом, и эта коррупция узаконена Верховным судом.

Наконец, следует отдать должное навыкам республиканских лидеров. Эффективная политика предполагает донесение сложных понятий через простые доходчивые лозунги. Именно этим и заняты республиканцы, выступая против «большого правительства», «грабительских налогов» и «государственной медицины», тогда как демократы настаивают на подробном обсуждении политических проблем. Малообеспеченных избирателей Республиканской партии так и хочется назвать тупыми, однако еще тупее выглядят политики Демократической партии. Почему бы им также не сосредоточиться на лозунгах, отложив экономические стимулы на период перед выборами? Ведь высокоинтеллектуальная дискуссия и массовая демократия не очень-то хорошо сочетаются. Республиканцам, в отличие от демократов, удастся привлечь на свою сторону два важных электоральных сегмента, не имеющих друг с другом ничего общего: крупный бизнес, требующий больше власти и богатства, и мелкие городки, не доверяющие ни политикам в Вашингтоне, ни банкирам с Уолл-стрит, озабоченные падением морали и опасющиеся проклятия, исходящего от мегаполисов и чуждых рас. Способность политической партии удерживать лояльность таких избирателей вопреки их материальным интересам весьма примечательна и требует воздать хвалу талантливым партийным пропагандистам.

Какие-то причины из этого длинного списка мы находим, хотя и в меньшей степени, в других развитых странах, особенно в англосаксонских. Однако в полной мере эти причины раскрываются лишь в Америке. Таким образом, в конце XX в., *впервые* в своей истории Соединенные Штаты стали действительно исключительной нацией, менее равной, но более равнодушной к неравенству. Причиной этого не являются ни фундаментальные культурно-политические институты США, ни наличие либеральной и отсутствие социалистической традиции, ни предпочтение демократии перед бюрократией, ни присутствие сдержек и противовесов в системе правления, ни прочие варианты типичных объяснений американской исключительности. Хотя в Америке имеются давние традиции поддержки относительно нестесненных прав собственности, она всегда испытывала противоречивое воздействие со стороны внутренних и внешних сил. Как я уже продемонстрировал в главах 3 и 6, если получше приглядеться, то долгосрочной американской парадигмой была комбинация из ряда краткосрочных всплесков консерватизма, порой сопровождаемых неолиберальной риторикой. Разумеется, это не был подлинно рыночный фундаментализм. На всем протяжении рассматриваемого периода правительство субсидировало сельское хозяйство, сохраняло гигантские вооруженные силы, расширяло пенитенциарные учреждения и вливало деньги в высокотехнологические проекты — источник будущих прибылей частного сектора. Неолиберальную линию гнули не в отношении богатей, а против интересов малоимущих. Неравенство в США продолжало увеличиваться, и последствия этого не заставили себя долго ждать.

## РЕЦЕССИЯ 2008 ГОДА

После того как в 1990-х гг. ФРС снизила процентные ставки, последовал рост объемов кредитования и бум на фондовом рынке. Два надувшихся в результате этого пузыря сначала казались признаками оживления экономики. В 1998–2000 гг. лопнул первый из них — «пузырь доткомов», что объяснялось резким дисбалансом между расчетами финансового капитала и реальными итогами деятельности интернет-компаний. Опасения, что этот пузырь вызовет рецессию, привели к дальнейшему снижению процентных ставок. С декабря 2000 г. по июнь 2004 г. ФРС под руководством А. Гринспена последовательно снизила процентную ставку с 6,5 до 1%. В сочетании с увеличением притока иностранного (особенно китайского) капитала в казначейские облигации США это произвело спекулятивный бум на рынке

недвижимости, по масштабам гораздо превосходящий предыдущий пузырь на рынке технологических компаний. И вновь это показалось признаком экономического здоровья, хотя в его основе лежал рост задолженности домохозяйств и корпоративной задолженности (Вегнер 2006). В 1346–1349 гг., когда Европу поразила черная смерть, на лицах смертельно больных появлялся обманчивый румянец. Теперь то же произошло с американскими потребителями.

Пузырь лопнул на американском рынке субстандартной ипотеки, которая позволяла покупать дома довольно бедным людям, особенно пожилым, чернокожим и латиносам. Этот вирус быстро перекинулся на другие страны, которые Шварц (Schwartz 2009) назвал «американизированно богатыми» (Americanized rich), — это другие англосаксонские страны, Нидерланды и некоторые из скандинавских стран. Семь стран с максимальными ипотечными долгами по отношению к их ВВП — Швейцария, Нидерланды и Дания, в которых нет субстандартных ипотек, плюс США, Великобритания, Австралия и Ирландия, где такие ипотeki есть (Sassen 2010). В общем и целом среди них преобладают англосаксы. В период необычайно низких процентных ставок малообеспеченным заемщикам были предложены ипотечные кредиты с плавающей ставкой. Однако процентные ставки рано или поздно должны были вырасти, угрожая заемщикам утратой платежеспособности, что означало бы для них потерю сбережений и домов. В этом случае риск перестал бы быть проблемой отдельных лиц и стал бы заботой целого класса собственников. Дефолт по субстандартной ипотеке разрушил бы доверие к ряду производных финансовых инструментов. Неолибералы критиковали субсидирование субстандартных ипотек как приводящее к рыночным диспропорциям. Предоставлять ипотечные кредиты таким категориям заемщиков было крайне непредусмотрительно, говорили они. И были правы. Тем не менее ипотечные брокеры и менеджеры регистрировали прибыли от сделок, а политики ради своей победы на выборах превозносили демократию собственников. Неолибералы не могут контролировать акторов экономической и политической власти, проводящих собственную политику. Тем не менее стратегия политиков во многом определялась идеологической атмосферой неолиберализма.

Если в 1998 г. субстандартные кредиты составляли 5% рынка ипотечного кредитования США, то к 2008 г. на их долю уже приходилось до 30%. Рискованные ипотечные займы были скрыты и перепроданы в виде деривативов (производных инструментов), таких как *облигации, обеспеченные пулом закладных на недвижимость* (Collateralized Mortgage Obligations — CMO),



и *кредитные дефолтные свопы* (Credit Default Swaps — CDS). Затем многие из них были повторно переупакованы и реализованы в виде *облигаций, обеспеченных пулом долговых инструментов* (Collateralized Debt Obligations — CDO), стоимость которых выросла с 52 млрд в 1999 г. до 388 млрд долл. в 2006 г. Поскольку плохие долги сбывались в комплекте с относительно надежными долгами, продавец финансового продукта — первоначальный кредитор — не был особенно заинтересован возвратом долга. (Кстати, с 2007 по начало 2010 г. закладная на дом, в котором я живу, переходила из рук в руки трижды.) Разработанные вундеркиндами сложные математические модели обнадеживали банкиров, но принимались ими на веру, поскольку директора банков не могли их понять. Авторы моделей, лежавших за пределами человеческого понимания, обретали магическую власть, подобно жрецам или колдунам, умеющим общаться с духами. На самом же деле результат зависел от переменных, закладываемых в математические уравнения. Модели, служившие для прогнозирования убытков по ценным бумагам, обеспеченным ипотечными закладными, оперировали данными, охватывавшими лишь период после 1998 г., когда цены на жилье только росли! Банки не знали реальной стоимости активов, которыми торговали. Активы напоминали иракское оружие массового поражения — токсичное, но никем не обнаруженное (впрочем, в отличие от последнего токсичная ипотека действительно существовала).

Регуляторами первого порядка были частные рейтинговые агентства, такие как Moody's и Standard and Poor's. От подтверждения ими кредитных рейтингов в значительной мере зависел сектор финансовых услуг. Тем не менее многим «токсичным» субстандартным ипотечным CDO они присвоили свой наивысший рейтинг AAA. Вероятно, главным объяснением их неспособности точно оценивать надежность [финансовых инструментов] было фактическое отсутствие независимости. Свои комиссионные за оценку финансовых продуктов эти агентства получали от инвестиционных банков и теневых банковских структур, то есть от продавцов CDO, а не от их покупателей. А ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Если клиентам выгодны высокие рейтинги, то агентства всегда готовы им угодить. К сожалению, эти клиенты заинтересованы лишь в количестве кредитов, а не в их качестве. Вместе с тем растущее количество и сложность этих сделок требовали от рейтинговых агентств все большего напряжения, особенно после того, как их лучших экспертов перекупили банкиры (Immergluck 2009: 118). Регулирующие рейтинговые агентства сами нуждаются в регулировании.

Как подчеркивает Дэвис (Davis 2009: 106), понятия рыночной эффективности и акционерной стоимости уменьшили роль

корпораций и увеличили разнообразие субъектов, участвующих в предоставлении финансовых услуг. Хотя банкиры с Уолл-стрит стали еще более могущественными, а крупнейшие банки стали еще крупнее, они уже не контролировали финансовые рынки. Как заметил в 1996 г. бывший глава SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам), если в большинстве стран инвестиционные решения принимались лишь парой десятков «лиц, контролирующих вход в международную финансовую систему» (gatekeepers), то «децентрализованные американские рынки капитала насчитывали сотни таких лиц». При этом они оставались в тени, из-за чего принятие обоснованных решений становилось для финансистов все более затруднительным, а желание незаконного обогащения — все более непреодолимым.

Тем временем главные регуляторы оставались в блаженном неведении. В 2004 г. председатель ФРС А. Гринспен полагал, что повышение цен на жилье, «на наш взгляд, не столь велико, чтобы вызывать беспокойство». В 2005 г. его преемник Бен Бернанке заявил, что пузырь в секторе жилой недвижимости «весьма маловероятен». В 2007 г. он сказал: «Не стоит ждать существенного влияния рынка субстандартных ипотек на остальную часть экономики», поскольку для нее настала новая эпоха стабильности, которую он назвал «великим успокоением» (great moderation) (Leonhard 2010). Они не поняли, что финансиализация повышает волатильность, которая безотнositельно к фундаментальным законам экономики все же способна ее обрушить. В эту новую эпоху стабильности уверовали даже основные экономические советники президента Обамы. Министр финансов Тимоти Гайтнер, глава *Департамента управления и бюджета* Питер Орзаг, экономический советник Белого дома Лоуренс Саммерс были протееже Роберта Рубина, бывшего главы *Goldman Sachs* и крупного трейдера на рынке деривативов. Саммерс — неолиберал (как мы убедились в главе 7). В своих научных публикациях он утверждает, что налоги на прибыль корпораций и на реализованный прирост капитала душат экономический рост, а социальное страхование и выплата пособий по безработице подрывают занятость — типичный пример классовой предвзятости в духе неолиберализма. Выступят ли такие советники против банкиров? Между тем видные экономисты, предлагавшие активизацию реформ, такие как Пол Кругман, Джозеф Стиглиц и Саймон Джонсон, были отстранены от тех позиций, на которых они могли бы влиять на принятие властных решений.

Добавление субстандартных ипотечных кредитов с плавающей ставкой означало наступление третьей фазы (по классификации Мински) — «финансов в стиле Понци», обещающей инве-

сторам высокие доходы, но не из чистой выручки от реального бизнеса, а за счет средств, вносимых последующими инвесторами. Для того чтобы финансовая пирамида поднималась, требуется рост стоимости активов, лежащих в ее основе (в данном случае рынок недвижимости). Однако как только в период с июня 2004 г. по сентябрь 2007 г. в экономике США возникли небольшие затруднения, ставку процента вновь стали последовательно повышать с 1 до 5,25%. Число тех, кто мог позволить себе покупку дома, уменьшилось, и многие из держателей ипотек с плавающей ставкой оказались не в состоянии платить по кредитам, особенно те, кого в это дело втянули брокеры (Immergluck 2009: 103). Цены на недвижимость упали, деривативы и ценные бумаги как средства секьютеризации, привязанные к субстандартным ипотечным кредитам с плавающей ставкой, резко подешевели. Поскольку никто точно не знал, где именно они находятся, это повлияло на весь рынок производных инструментов. В 2008 г. это привело к краху всей финансовой пирамиды. Реализовался риск, вероятность которого считалась низкой, и от финансовых потерь теперь не был застрахован никто.

Модели, которыми пользовались банкиры с Уолл-стрит, не предусматривали краха рынка недвижимости. То, что казалось простой дисперсией риска, стало вирусом, поразившим большинство крупных банков. В данном случае неприменим и сам термин «риск». Он используется в ситуациях, когда вероятность случайных исходов поддается определению, как в покере и рулетке. Однако Кейнс (Keynes 1936: глава 12; 1937) проводит различие между риском и неопределенностью — ситуацией, для которой вероятность рассчитать невозможно. В конечном счете, замечает Кейнс, результаты деятельности капиталистических экономик являются неопределенными, подобно перспективам войны, и степень ожиданий и уверенности в обоих случаях вызывает огромные сомнения. Предсказать результаты не способны никакие математические расчеты, однако головастые ребята — сторонники математизации экономической науки продолжали гипнотизировать боссов своими непостижимыми формулами. В 2008 г. банкиры уже не понимали, сколько токсичных активов у кого на руках, поэтому никто никого не хотел кредитовать. Каждый старался перекинуть другому [токсичные] активы, словно горячую картофелину, а некоторые даже выходили при этом за рамки закона. В конечном счете банкиры хорошо понимали, с чем играют, поскольку стоило рухнуть одному сегменту рынка производных, как желающих продолжать эту игру не оказалось. Инвесторы запаниковали, и фондовые рынки обрушились. Первыми катастрофу испытали Соединенные Штаты и Великобритания, но кризис ипотечных кредитов

и жилищного строительства пережили также Ирландия и Испания, а большинство европейских банков остались держателями токсичных активов. Их объем, по оценке МВФ, составил 75% от американского уровня.

Результатом стала Великая рецессия 2008 г., самая продолжительная со времен Великой депрессии. Поскольку финансовый кризис был обусловлен дерегуляцией рынков и экономическим неравенством, я называю его Великой неолиберальной рецессией. Из-за банкротства финансовых учреждений иссяк кредит, от которого еженедельно зависели промышленные компании и сфера услуг. В 2008–2009 гг. объем мировой торговли по отношению к ВВП рухнул на 30%, что тут же сказалось на положении простых людей. Как показывают исследования, в тот или иной момент с ноября 2008 г. по апрель 2010 г. почти 40% американских семей стали жертвами безработицы (когда работы лишился один из супругов), или стоимости их домов опустилась ниже залоговой, или ипотечные платежи были просрочены более чем на два месяца. Для людей, потерявших работу, нормой стало снижение расходов (Hurd and Rohwedder 2010). Поскольку население пыталось уменьшить задолженность, оно не тратило деньги, а ведь потребительские расходы — главный драйвер совокупного спроса. В конце 2009 г. официальный уровень безработицы в США достиг почти 10%, однако если учесть тех, кто работал неполный день, или хотел бы работать полный день, или перестал искать работу, то реальная безработица составила бы 16%. Аналогичные показатели для Великобритании приближались к 14–15%, а для Европейского союза — примерно к 12–13%. Долгосрочная безработица росла, и общий уровень безработицы к 2012 г. снизился лишь незначительно. Легче отделалась Япония, безработица в которой находилась в пределах 5%. Пострадали и основные страны-экспортеры, такие как Китай и Германия, хотя в финансовом крахе они не были виноваты и восстановились быстрее других. Когда кризис поразил Китай, его банки инстинктивно отреагировали на него подобно западным банкам, радикально сократив кредитование компаний, желавших расширяться. Однако в Китае по-прежнему правила Коммунистическая партия, и люди, отвечавшие в ее руководстве за финансовую политику (о чем мы говорили в главе 8), приказали банкам продолжить кредитование в порядке масштабного стимулирования экономики, что восстановило ее рост (McGregor 2010). Однако последовать их примеру либеральные демократии не могли.

Можно было бы предположить, что после такого провала неолиберализм сойдет на нет. Некоторое время так казалось, поскольку большинство стран увлеклось кейнсианскими про-

граммами стимулирования экономики. Однако политическое влияние банков сохранилось, а Уолл-стрит и Республиканская партия в значительной своей части, как ни странно, увидели причину кризиса не в отсутствии регулирования, а в политическом вмешательстве в работу рынков. В частности, обвинения в провоцировании кризиса были выдвинуты против *Freddie Mac* и *Fanny Mae* — ипотечных компаний, спонсируемых правительством США. Все это выглядело неправдоподобно, так как они, выйдя на ипотечный рынок позже других игроков, были ответственны не более чем за шестую часть всех субстандартных ипотек, а доля предоставленных ими проблемных кредитов была намного ниже, чем у банков (Schwartz 2009: 183–185). Республиканцы усматривали решение проблемы не в правительственной накачке экономики [деньгами], а в снижении налогов и уменьшении роли государства на всех уровнях, что, на их взгляд, позволило бы сбалансировать бюджет. Однако в условиях рецессии подобные меры лишь ухудшают ситуацию, сокращая спрос и увеличивая безработицу. Бизнес не желает инвестировать, так как нет потребителей, а из-за серьезного сокращения расходов сокращается производство. Республиканцы полагают, что, выступая за снижение налогов и минимизацию роли государства, они становятся популярными у избирателя, поэтому в их картине мира идеологический козырь бьет экономическую теорию. В этом случае доверие бизнеса ослабевает: промышленность нуждается в программе стимулирования, финансовый сектор жаждет государственной помощи. Продиктованная этими соображениями накачка экономики деньгами не является кейнсианской, так как ориентирована на помощь банкам. Банки были обеспечены дешевыми деньгами и освобождены от плохих активов — образец «кейнсианства для банкиров». И хотя банки в конечном счете все же погасили взятые у государства кредиты, дополнительных требований регуляторы им не предъявляли — никаких структурных реформ по отношению к богатым! Как только с государственной помощью банки восстановились, они принялись вновь проповедовать ценности эффективного рынка и акционерной стоимости, а банкиры сами выписывали себе вознаграждения не меньшие, чем до кризиса.

В конечном счете по иронии судьбы неолибералы получили громадные правительственные субсидии за счет налогоплательщиков. Банки восстановились благодаря прямому финансовому трансферту из государственной казны. Их посчитали слишком большими, чтобы дать им обанкротиться (а не слишком большими, подобно монополиям, чтобы существовать на рынке), и они в ответ стали еще больше. Для покупки рухнувших *Merrill Lynch* и *Bear Stearns* два самых крупных банка — *Bank of*

*America* и *J. P. Morgan Chase* — получили правительственную помощь. Против выступили некоторые неолибералы, посчитавшие, что банки независимо от их величины заслуживают своей участи и должны быть признаны банкротами. Чтобы исправить ситуацию и обеспечить инвестиционные фонды, говорили они, финансовые рынки сами проявят инициативу. Не вполне разделяя их оптимизм, кейнсианцы не спешат заходить столь далеко. Они считают спасение банков правильным решением, но только не за счет долгосрочных интересов налогоплательщиков и лишь при условии дополнительных мер регулирования (Krugman 2008). Чтобы отделить традиционные функции банков от их рискованных операций, необходимо вернуться к закону Гласса — Стиголла. Зарплаты должны поступать на депозит, малый бизнес — получать сезонные кредиты, дальнобойщики — иметь возможность купить топливо в кредит, дебетовые и кредитные карты — функционировать и т. д. Нельзя, чтобы подобные виды банковской деятельности исчезли. Однако многомиллионные валютные сделки, кредитные дефолтные свопы, а также высокорисковые CDO субсидироваться не должны. Напротив, их следует тщательнее регулировать.

Впрочем, эти требования выполнены не были. Ради восстановления доверия инвесторов решено было пожертвовать всем. Пусть так, восстановите их доверие с помощью экстренных субсидий, но только в обмен на ужесточение регулирования, повышение требований к банковским резервам и повышение налогов. Доверие инвесторов не должно упразднять государственное регулирование капиталистических отношений. Однако в условиях упадка левых партий, в отсутствие давления снизу на пространство политической экономии в очередной раз возобладали интересы и идеология правящего класса, установившего ограничения на вмешательство государств.

Второй этап Великой рецессии наступил, когда основное бремя долгов было переложено с частного сектора на государственный. Как показывает пример большинства средиземноморских стран и Ирландии, бум кредитования, если называть его источником проблемы, произошел не в самых расточительных государствах. Он произошел в частном секторе, особенно в сфере финансирования неустойчивого подъема на рынке жилья, как это было в англосаксонских странах. Однако с началом кризиса и прекращением кредитования на первых порах проводилась накачка экономики деньгами, чтобы спасти банки от банкротства и поддержать уровень государственных расходов на фоне падения налоговых поступлений. Этим предполагалось компенсировать спад потребления домохозяйств, а также коллапс частных инвестиций. В итоге в США, Великобрита-

нии и странах Средиземноморья дефицит правительств достиг 10% ВВП. Эта переброска долгов лишь отсрочила час расплаты, поскольку никто не может бесконечно расходовать больше, чем получает. Как только финансовый сектор вернул себе былую уверенность, инвесторы стали устраивать спекулятивные атаки на государства, накачивающие свои экономики деньгами, устраивая «бегство из валют» тех стран, бюджетные дефициты которых они считали чрезмерно высокими. То, что изначально было сочетанием глобальных дисбалансов, кризиса ипотечных долгов и игры нерегулируемого и не всегда законопослушного финансового сектора, превратилось в кризис суверенных долгов, повлиявший прежде всего на государства Южной Европы, особенно на Грецию, Италию, Испанию и Португалию, а также Ирландию. Высокий уровень государственной задолженности сделал эти страны уязвимыми для спекулятивных атак на национальную валюту, заставляя их ради восстановления доверия инвесторов предлагать последним высокую доходность по государственным облигациям, проводить дефляционную политику и сокращать государственные расходы. И вновь за Великую неолиберальную рецессию заплатили простые налогоплательщики, особенно бедные получатели социальных пособий, которые их лишились. Единственной альтернативой могло быть повышение налогов (особенно на богатых), но инвесторам это бы не понравилось. Европейское государство всеобщего благоденствия, по Эспинг-Андерсену, разделилось надвое, при этом Ирландия и Великобритания пошли по стопам США, формируя с ними единый блок англосаксонских стран. Неолиберализм вновь стал причиной усиления неравенства теперь на международном уровне, причем на этот раз из-за его собственных провалов.

Хотя дно первого этапа кризиса удалось миновать в 2010 г., начавшееся восстановление проходило без роста занятости. Рост неравенства продолжался. Прибыли банков снова росли. Более медленным темпом восстанавливалась промышленность в основном за счет сокращения постоянного контингента рабочей силы и найма временных работников и лиц, готовых трудиться за меньшую зарплату. Правительства были озабочены не созданием новых рабочих мест, а оздоровлением финансов. Кругман называет это «возвращение экономики времен Великой депрессии» (Krugman 2008). Простые люди не смогли вернуть себе свои дома, свои рабочие места или размер своих пенсий. Доля общественного богатства, принадлежащая 10% богатейших американских семей, вновь выросла с 49% в 2005 г. до 56% в 2009 г., тогда как бедные, особенно представители меньшинств, стали еще беднее.

Вопреки неолиберальным объяснениям страны с более регулируемыми рынками труда, такие как Германия и скандинавские страны, имели лучшие экономические показатели, чем страны с более гибкими рынками, такие как США и Великобритания. Хотя обремененные долгами государства, за исключением США, были вынуждены, как обычно, подчиниться власти доверия бизнеса, большинство государств ОЭСР пребывали в лучшей форме. Все основные страны, входящие в ОЭСР, имели возможность делать долгосрочные займы по ставке менее 3%, свидетельствуя о том, что игроки рынка облигаций не опасались того, что возникшие дефициты бюджетов этих стран подорвут их долгосрочную финансовую устойчивость. Кроме того, страны с профицитом бюджета показывали рост суверенных фондов. Если прежде они скупали в основном казначейские облигации США, то в наступившем веке их задачей стала диверсификация вложений за счет увеличения доли портфельных инвестиций. Им удалось приобрести значительные сегменты попавших в затруднение американских банковских групп, таких как Morgan Stanley, Merrill Lynch и Citigroup. Рост суверенных фондов явился еще одним индикатором перемещения центра экономической мощи из Америки в Азию (Davis 2009: 182–183). Это стало также признаком устойчивости более сплоченных и экономически окрепших национальных государств на фоне предполагаемого роста ограничений, налагаемых транснациональным капитализмом.

Глобальное распространение рецессии происходило и по торговым, и по финансовым каналам. Большинство развивающихся стран почти не имели токсичных банковских активов, но страдали из-за сокращения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и денежных переводов от граждан, работающих за рубежом. Те развивающиеся страны, которые обладали резервами, реагировали на рецессию учреждением суверенных фондов, призванных увеличить инвестиции и профинансировать эффективные программы стимулирования экономики. Однако в 2008–2009 гг. объем мировой торговли по отношению к глобальному ВВП упал на 30%. Сильнее всего от этого пострадали страны с наиболее открытой экономикой и слабо диверсифицированным экспортом, который составляли в большей степени промышленные, а не простые сырьевые товары. Среди пострадавших были и экономики, экспортировавшие продукцию в наиболее затронутые рецессией развитые страны (подобно Мексике, сильно зависящей от торговли с США). Цены большинства биржевых товаров упали, причем рост волатильности цен усилил неопределенность в отношении будущих доходов, усложнив правительствам процесс планирова-



ния экономики и инвестирования в основной капитал. Вместе с тем выросли цены на продукты питания, из-за чего беднейшие страны испытывали нехватку продовольствия. Отчасти в результате улучшения ситуации в Китае количество людей, живущих за чертой бедности с 1980-х по 2008 г., заметно сократилось. Тому же послужило быстрое восстановление китайской экономики после пережитой рецессии. В целом же сокращение ВВП оказалось наибольшим в богатых странах и наименьшим — в бедных, хотя среди последних ситуация была весьма разнородной (Nabli et al. 2010). Великая неолиберальная рецессия увеличила разрыв между передовыми и отсталыми экономиками развивающихся стран: с одной стороны — Китаем, Индией, Вьетнамом, Польшей, Турцией и Бразилией; с другой — большинством стран Африки и Центральной Азии. Это делает деление мира на богатый Север и бедный Юг все более устаревшим.

В богатых, особенно англоговорящих, странах неолибералы реагировали на крах своего курса утверждением о том, что он проводился в жизнь недостаточно энергично — традиционный ответ идеологов. В Соединенных Штатах и Великобритании, где неолиберальная идеология была сильнее, она проделала особый путь. Великобритания имела, безусловно, самый крупный в пропорциональном отношении финансовый сектор, обеспечивавший 40% валютной выручки, но вместе с тем и высокий уровень задолженности (11% ВВП) — чуть выше, чем у США, и вдвое выше, чем у Германии. Тем не менее Великобритания пользовалась доверием кредиторов, поскольку большая часть ее задолженности была долгосрочной и оформленной под низкий процент. Таким образом, особенно экономически уязвимой Великобритания не была. Однако пришедшее к власти правительство консерваторов в 2010 г. объявило о сокращении бюджетных расходов на 19%, об увольнении 490 тыс. работников государственного сектора и о фактической приватизации сферы высшего образования. Столь резкое сокращение расходов и занятости в разгар Великой рецессии полностью игнорировало опыт Великой депрессии. И это грозило обернуться ее повторением. На самом деле консерваторы воспользовались рецессией, чтобы реализовать свое давнее идеологическое устремление — сократить роль государства в экономике. Необходимость снижения государственных расходов, небольшого и постепенного, признавалась всеми, и такая мера была предложена еще лейбористским правительством, однако резкие сокращения консерваторов лишь усугубили кризис.

Этому примеру в августе 2011 г. последовали Соединенные Штаты, когда президент Обама и руководство демократов

успели в последний момент прийти к соглашению с республиканцами, на которых давили радикалы из «партии чаепития» (Tea Party), позволившие правительству США избежать дефолта по своим долгам. Обама отказался от программы стимулирования экономики и согласился в условиях рецессии сократить государственные расходы — совсем как англичане. Процентные ставки находились на исторических минимумах, поэтому правительствам для стимулирования экономики приходилось прибегать к заимствованиям. Но теперь они уже сокращали эти программы стимулов. В США крупные сокращения расходов на уровне штатов и местных органов власти были особенно разрушительными для сфер занятости и уровня потребления. Англосаксонские страны вместе скользили в пропасть. Менее отчетливы результаты в других странах, где большинство политиков не решались доводить идеи неолиберализма до последней черты. Франция и Германия проявляли больше осторожности и восстанавливались быстрее других. В то же время европейские правительства сообща навязали Греции столь жесткую программу экономии, что уже нельзя было исключить дефолт по греческим кредитам с вытекающими отсюда последствиями для других стран Средиземноморья. При этом ради укрепления доверия бизнеса ЕЦБ продолжал настаивать на режиме строгой экономии. Однако в краткосрочной перспективе программы жесткой бюджетной экономии приводят к росту безработицы и усилению налоговой нагрузки на производство и потребление. Они не помогут восстановить хозяйственный рост, погасить национальный долг или вернуть доверие международных инвесторов. Осознав это, МВФ изменил позицию и теперь рекомендует проблемным странам применять стимулирующие программы.

Следствием Великой рецессии было то, что в ряде стран, особенно англосаксонских и средиземноморских, помощь бедным сократилась, рабочее движение не проявлялось, а средний класс должен был благодарить власть за мелкие подачки. То, что было перераспределено от этих классов в пользу богатых, помогло им стать еще богаче, хотя именно они были главными виновниками кризиса! Трудно ожидать роста экономики от сокращений, которые в 2011 г. провели в Греции, Великобритании и Соединенных Штатах. В двух последних странах эти сокращения продиктованы не столько экономической теорией, сколько классовой идеологией, оправдывающей привилегии для богатых (особенно для банков, но не для промышленности) за счет большинства населения.

Чтобы заново встроить экономику в социальные структуры гражданского общества, которому она предположительно должна служить, необходимо усилить регулирование финансовых и транснациональных корпораций. Это требует не только активизации самих национальных государств, но и глобального, многостороннего сотрудничества между ними. В свою очередь, для этого необходимо, чтобы международные институты, такие как МВФ и Всемирный банк, реформировали свои структуры принятия решений таким образом, чтобы в них пропорциональнее отражались интересы всех стран мира, а не только его развитой части (Abdelal and Ruggie 2009). С требованием аналогичных трансформаций мы столкнемся в следующей главе, где речь пойдет о климатических изменениях.

Однако до сих пор было сделано очень мало. Государства действительно пытались поднять банкам резервные требования и регулировать некоторые типы торговых операций. В соответствии с достигнутым в 2010 г. многосторонним соглашением «Базель III» минимальные требования к достаточности капитала были подняты с 2 до почти 10% (для крупнейших банков). Однако и этого было недостаточно, поскольку в случае потери лишь 4% собственного капитала банк становился неплатежеспособным. Администрация Обамы выступала за усиление регулирующих органов, за перенос торговли внебиржевыми деривативами на биржи или в клиринговые палаты, за ведение ограничений на деятельность коммерческих банков (и организаций, владеющих банками), связанную с учреждением и финансированием хедж-фондов и фондов прямых частных инвестиций. Кроме того, предполагалось ввести ограничение на торговые сделки, осуществляемые с использованием внутренних счетов. Однако принятое в июле 2010 г. законодательство оказалось слабее [чем ожидалось]: оно лишь учреждало новые регулирующие органы, призванные решать, какие деривативы подлежат регулированию и какие сделки должны будут раскрываться. Будут ли новые органы достаточно жесткими? До сих пор регуляторы не были особо эффективными, и нынешние их достижения по части реализации новых законов пока что невелики. Большинство финансовых учреждений выступают против ужесточения норм регулирования. И если их так и будут спасать за счет налогоплательщика всякий раз по окончании периодов процветания и огромных бонусов, то для решения их проблем уже есть идеальное средство. Это уже не риск недобросовестности, а гарантированная бессовестность.

Хотя каждая страна желает защитить собственные банки, международного консенсуса по таким вопросам, как налог Тобина (на краткосрочные финансовые операции) или firewalls (разграничение видов банковской деятельности, а также денег клиента и самого банка во избежание конфликта интересов), не удается достичь. Банкиры путем лоббирования противятся любому дополнительному регулированию, утверждая, что в случае его принятия им придется переехать вместе со своим бизнесом в более гостеприимные страны. В отличие от промышленников банкиры не привязаны к своему отечеству крупными капитальными активами. Большинство европейцев обвиняли англосаксов в провоцировании кризиса, однако их собственное желание радикальных реформ было ослаблено чрезмерно щедрыми государствами всеобщего благоденствия, не позволявшими снизить потребительский спрос до англосаксонского уровня. Не затронутой этой дилеммой остается Канада, сохранившая жесткое финансовое регулирование и не особенно пострадавшая от рецессии. Еще менее обеспокоены и быстрее восстанавливаются страны БРИК, особенно Индия со своей довольно изолированной экономикой и Китай с его громадным уровнем внутренних сбережений. Китайский импорт товаров из Японии и Австралии помог и этим странам добиться экономического роста. Это — символ надежды для мирового хозяйства и признак укрепления развивающихся экономик, а также экономик, которые в большей мере регулируются государством.

Европейский союз был занят собственными проблемами. Введение евро объединило очень разные экономики и вызвало крупные инвестиции в менее развитые национальные экономики, поскольку инвесторы решили, что единая валюта сделала греческие и испанские долги такими же надежными, как долги германские или французские. Как показал кризис, это было ошибкой. Средиземноморские страны в рамках Европейского союза не способны конкурировать с более динамичными экономиками, особенно с Германией. Связанные общей валютой, они не могут с помощью девальвации повысить конкурентоспособность своего экспорта. Фундаментальной слабостью ЕС является не экономика, а политика, поскольку для проведения эффективных экономических мер у ЕС нет политического механизма. Существует Европейский Центральный банк, но нет единого казначейства (министерства финансов), чтобы блюсти финансовую и монетарную дисциплину и осуществлять бюджетные трансферты в депрессивные регионы, как делают национальные государства. Создание единого казначейства помогло бы Европе пережить будущие кризисы, но это потребует дальнейшего развития федеральных структур, а в последние 20 лет мы на-

блюдаем ожесточенное сопротивление общественности углублению евроинтеграции. Любое правительство, если оно предлагает усилить финансовую интеграцию, сталкивается с риском утраты власти, что является для политиков мощным сдерживающим фактором. Европа — макрорегион, где развитие международных институтов продвинулось дальше всего, но только за спиной простых людей. Теперь Европейскому союзу приходится за это расплачиваться.

В мире достигнут консенсус о том, что регулирование банков необходимо усилить, а между тем в глобальной экономике есть множество правил и регуляторов. В США это закон Додда — Франка, в Великобритании — комиссия Виккерса, в Европейском союзе — Директива IV о достаточности капитала, а в Европейском страховом секторе — правила платежеспособности II. Все эти законы и правила служат обеспечению необходимых банковских резервов. На мировом уровне соглашение «Базель III» обязывает страны постепенно увеличивать коэффициент резервирования (*liquidity coverage ratio*) и требует, чтобы банки располагали легко реализуемыми активами, позволяющими выдерживать 30-дневный набег вкладчиков. Однако вплоть до 2015 г. эта схема была добровольной и остается политически спорной. Банки утверждают, что она уменьшит не только их прибыль, но и потенциал кредитования, они также добавляют, что в итоге может возрасти прибыль менее регулируемых теневых банковских структур. Под их давлением правила «Базеля III» могут быть смягчены. Такое регулирование кажется слабым, но это лишь начало, демонстрирующее более тесное международное сотрудничество, чем в годы Великой депрессии, когда страны в порядке конкуренции проводили девальвацию и вводили торговые барьеры, лишь усугубляя кризис. Сегодня благодаря таким институтам, как ЕС, G20, Базельские соглашения, МВФ и Всемирный банк, ни один из которых в 1930-е гг. не существовал, наличествует потенциал многостороннего глобального регулирования. Его можно было бы еще усилить, ужесточив банковские правила, разукрупнив гигантские банки и введя налог Тобина на краткосрочный капитал. На самом деле в 2011 г. Европейский союз предложил ввести налог Тобина (в размере 0,1% от суммы сделки), но этот проект заблокировала Великобритания, где осуществляется 80% такого рода финансовых операций Европы.

Подлинное решение проблем экономики требует большего, чем ее простое регулирование. Как мы знаем, в их основе было два кризиса — кризис, вызванный глобальными дисбалансами, и кризис, связанный с экономическим неравенством прежде всего в Соединенных Штатах. Оба кризиса приводят к увеличению

долгов. Глобальные дисбалансы привели к тому, что к концу 2010 г. доля потребления в США приблизилась к 70% ВВП, что почти вдвое больше, чем в Китае. В долгосрочной перспективе обе цифры являются неустойчивыми, одна — слишком большая, другая — слишком маленькая. Они указывают на одну и ту же коренную проблему — отсутствие адекватного спроса в обеих странах, что угнетает их экономику. Помочь этому можно путем перераспределения спроса в обеих странах. Соединенным Штатам следует найти дополнительные средства для стимулирования инвестиций в такие сферы, как образование и инфраструктура, а Китаю следует расширить внутренний рынок и повысить обменный курс юаня. Однако допустят ли Китай и Япония укрепление своих валют, которое приведет к удорожанию их экспорта? Со своей стороны лидеры США отказались от таких методов, как повышение налогов и дальнейшее стимулирование экономики. На встрече G20 в ноябре 2010 г. никакого соглашения о мерах по исправлению глобальных дисбалансов выработано не было.

Для стабилизации рынка жилья в США требуется не только разумное предложение домов и ипотек. Этому рынку нужны потребители, способные купить или хотя бы арендовать жилье без опасности дефолта (Coates 2010; Immergluck 2009). Для этого требуется серьезное перераспределение благ от богатых американцев к бедным. Как мы убедились, неолиберально-консервативный альянс в США в распределении результатов экономического роста принес перекося в пользу богатых, подрывающий уровень потребления широких народных масс, если только они не потребляют в долг. Эту тенденцию следует обратить вспять, но на данном этапе расклад политических сил этого не допускает. Гамбл (Gamble 2010) выступает за радикальную программу по типу «нового курса», предусматривающую регулирование финансовых услуг, перераспределение доходов и активов, вложение в инфраструктурные проекты, новые технологии и образование и переподготовку. Все оплачивать предлагается за счет строгой экономии и сокращения потребления, что позволит уменьшить долг и высвободить ресурсы для инвестиций. Такое могло бы сработать, но это — «журавль в небе». В отличие от 1930-х гг. народ ничего такого не требует. Сегодня классовая борьба и идейное размежевание практически отсутствуют. Хотя в менее благополучных странах, таких как Греция, Ирландия и Испания, происходят крупные забастовки и демонстрации, они объединяют граждан не только против их собственных правительств, но и против Германии, которая не в восторге от необходимости спасти Грецию от дефолта. Беспорядки в Великобритании проходят на фоне расизма, высокой безра-

ботицы среди молодежи и крупных сокращений государственного сектора, но они скорее аполитичны. В городах США проходят небольшие демонстрации против банкиров с Уолл-стрит. Однако во всем этом практически не видно признаков альтернативной идеологии, сопоставимой с социал-демократией и кейнсианством 1930–40-х гг. Нет крупных социальных движений, которые потребовали бы радикальных изменений, но сбрасывать со счетов такую возможность не следует, так как кризис скорее всего продлится еще какое-то время. Впрочем, пока что протестов гораздо меньше, чем было во время Великой депрессии. Рабочий класс и левые переживают упадок, а класс предпринимателей и правые силы процветают. Против такого соотношения сил беспомощны любые эксперты. Представляется, что всем очевидно, какую политику необходимо проводить, чтобы спасти экономику развитых стран, но сегодня перспективы ее реализации ничтожно малы. В данном случае политика государств определяется не столько капитализмом и доверием бизнеса в целом, сколько отдельной группой капиталистов, интересы которых отображаются в индексе доверия инвесторов.

В США противостояние Мэйн-стрит и Уолл-стрит приводит к соперничеству между популизмом левого крыла демократов и популизмом правого крыла республиканцев. Крайним выражение последнего является Партия чаепития, равно ненавидящая Вашингтон, Уолл-стрит и истеблишмент Восточного побережья. На деле же правый популизм противостоит не столько крупному капиталу, сколько «большому правительству». Учитывая важность большого бизнеса для Республиканской партии, она не поддержит дополнительного регулирования финансового капитала, к какой бы популистской риторике ни прибегали ее традиционные приверженцы.

Вызывает удивление деградация Республиканской партии, стремящейся к еще большему перераспределению материальных благ в пользу богатых, склонной замыкаться в американской проблематике и не интересующейся окружающим миром. Она проникнута ретроградством и империалистическими настроениями, в пике американской действительности воспекает рыночный фундаментализм, обвиняет в социализме любую реформу, полезную населению в какой бы то ни было сфере — от трудовых отношений до здравоохранения, от регулирования банков до сохранения климата. Не меньше тревожат разброд и малодушие в Демократической партии, которые делают партию в целом неспособной потребовать необходимых реформ. Главными спонсорами обеих партий в ходе предвыборной кампании 2008 г. были корпорации финансовых услуг. В своих действиях обе партии стеснены вторжением экономи-

ческих акторов в пространство политики. Проведению политической реформы препятствуют республиканцы и консервативно настроенные демократы. Раздел полномочий между партиями создал патовую ситуацию, поскольку поляризация электората, гарантирующая победу в своих избирательных округах, плюс высокая сплоченность и идеологизированность Республиканской партии заблокировали в Конгрессе любые процедурные изменения. Речь идет о таких вещах, как контроль партий над комитетами Конгресса, перемены в распределении фондов на избирательные кампании, деятельность обструкционистов, всевластие сенатского большинства в 60 голосов при обсуждении уже не только основных, но и почти всех законопроектов (Zelize 2009). Все это тормозит проведение реформ, в том числе принятие программ финансового регулирования и стимулирования экономики.

Великая неолиберальная рецессия была следствием растущей мощи дерегулированного финансового капитала. В условиях глобальных дисбалансов и усилившегося неравенства (к радости неолибералов) потребление поддерживалось лишь за счет недопустимого увеличения задолженности. Финансовый капитал и обслуживающие его управленцы желали получить (и получили) ту свободу, которую им обещал неолиберализм, возобладавший в финансовом секторе большинства стран. Однако свобода жадных банкиров обернулась ущербом для экономики и населения в целом. Более чем любой другой в регулировании нуждается финансовый бизнес как наиболее волатильный и опасный сектор капитализма. Однако этому мешает расклад экономической и политической власти, который, возможно, сохранится еще в течение какого-то времени. Мы еще увидим немало финансовых кризисов, которые, вероятно, затронут экономику глобального Севера сильнее, чем экономикой глобального Юга, и тем самым поспособствуют перераспределению власти в мире.

По иронии судьбы в главных англосаксонских странах кризис 2008 г. помог возрождению неолиберализма. В периоды кризисов особенно возрастает могущество спекулянтов, как это было в 1920-х гг. Тот, кто был виновником кризиса, стал еще сильнее и богаче. Если против этого не поднимется мощная волна народного протеста, то и в данном томе нам придется констатировать, что человеческими обществами не управляют ни коллективные интересы, ни рациональность. Однажды Алан Гринспен, будучи главой ФРС США, обвинил фондовые рынки в иррациональном энтузиазме (*irrational exuberance*); но нынешний кризис демонстрирует в рынках иррациональную злонамеренность (*irrational malignance*). Если Великая рецессия пойдет по пути Великой депрессии, то почти все правительства, при е



зарождении бывшие у власти, закончат вынужденной отставкой. В 2006 и 2008 гг. так случилось в США, а в 2010 г. — в Великобритании. В этих странах первым шагом властей было движение вправо, но поскольку и новые режимы скорее всего окажутся экономически несостоятельными, то рискуют падением и они. В Европе может пасть ряд консервативных кабинетов, на смену которым придут левоцентристские правительства. Первым таким примером стали в 2012 г. выборы во Франции, однако мы еще посмотрим, как далеко сможет зайти президент Франсуа Олланд, не утратив при этом доверия инвесторов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как мы узнали из главы 6, неолиберализм не смог возобладать в мировом масштабе и не привел к уменьшению роли большинства государств. И хотя доля государственного сектора в ВВП перестала расти, она оставалась, как правило, на уровне, достигнутом до неолиберального наступления. Кроме того, в конце XX в. влияние неолиберализма пошло на спад. Он не смог обеспечить заметного подъема экономики ни на глобальном Юге, ни на глобальном Севере, а в странах, максимально проникнувшихся его идеологией, спровоцировал резкий рост неравенства. Узаконенный в США актом Верховного суда, неолиберализм позволил экономическим силам извратить ценности политической демократии и ослабить социальное гражданство — эти два ярчайших достижения XX в. Усилиями неолибералов значительно увеличена мощь финансового сектора, особенно в англосаксонских странах и странах, накопивших задолженность перед иностранцами. Сильнее всего неравенство выросло, а социальное гражданство сократилось в ведущей англосаксонской стране — США, хотя на первых порах это не коснулось массового потребления, поскольку в Америке уже сложилось общество массовой задолженности. Это ускорило наступление Великой неолиберальной рецессии, а в ближайшее время, похоже, вызовет еще одну. Можно ли поверить в магию рынка после того, как Чикагская школа с ее моделями рациональных ожиданий так грубо просчиталась с оценкой рисков и определением стоимости всем хорошо знакомых активов? Негативным было воздействие неолиберализма и на экономики постсоветских государств, о чем мы узнали из главы 7. В общем, если оценивать неолиберализм по уровню эффективности и созидательного потенциала, он себя не оправдал и от него следует отказаться.

Однако неолиберализм продолжает процветать в финансовом секторе за счет своей дистрибутивной власти, поскольку он

благоприятствует наиболее влиятельным классам и нациям, сохраняющим способность навязывать свои интересы большинству человечества. Передовым фронтом власти неолиберализма выступают финансовые спекулянты, способные атаковать валюты стран, сопротивляющихся его политике. В условиях, когда государство всеобщего благосостояния ощущает растущее налоговое давление (в основном по неэкономическим причинам, таким как старение населения или увеличение сроков получения высшего образования), неолиберализм находит себе политический отклик. В ряде стран он укрепил собственные политические позиции, заключив альянс с такими консерваторами, как Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. Наиболее восприимчивыми к неолиберальной идеологии были и остаются либеральные англосаксонские страны. Гораздо критичнее к ней всегда относились страны мирового Севера с сильным корпоративизмом и развивающиеся страны Юга с более активной ролью государства. Здесь потенциальные жертвы неолиберализма, закрепившиеся политически, обладали большей способностью к сопротивлению. В странах глобального Юга неолиберализм был сильнее там, где выше была международная задолженность. Однако более успешные развивающиеся страны научились противостоять неолиберальному давлению, создавая финансовые резервы, а в бедных странах международные банки стали отказываться от курса на свертывание роли государства. Возродился спрос на эффективное управление. Неолибералы не думают, что выиграли политическую битву, поскольку государства глобального Севера продолжают распределять 30–50% ВВП, то есть примерно столько же, сколько в 1980 г. С этими сомнениями неолибералов связана и их потребность в формировании альянсов с консерваторами, поскольку этатизм укоренился как на правом, так и на левом политическом фланге. Значимого сокращения роли государства не произошло. Минимального государства не возникло и не возникнет, если не рассматривать катастрофических сценариев.

В мировом масштабе сохраняется огромное многообразие. Глобальная победа капитализма является почти абсолютной, однако он остается волатильным во времени и вариативным в пространстве. Капитализм приспосабливается к кризисам посредством идеологий и институтов, имеющих национальные и региональные особенности. Мощным регулятором остается национальное государство, которое в поисках наилучших практик обращается к родственным себе культурам и региональным соседям. Сдерживающим фактором в отношении капитализма, в частности не позволяющим доверию бизнесу подчинить своим интересам весь мир, служат институционализированные

центристские идеологии. Институты гражданского общества, сумевшие разрешить противоречия первой половины XX в., сохраняются, и никакая экспансия капитализма, никакая идеология и никакой кризис (сколь бы глубок он ни был) не смогли подорвать эти институты на большей части планеты. Тем не менее защита социальных прав — это всегда борьба. Мы видим, что социальное гражданство было сокращено в США, Великобритании, Ирландии и ряде стран Средиземноморья. В других странах глобального Севера социальные права граждан сохраняются. Однако в настоящий момент инициатива перешла к усиливающимся странам бывшего глобального Юга, где экономический прогноз более оптимистичен. Будут ли плоды экономического роста распределены в пользу большинства граждан, по-прежнему зависит от того, смогут ли они за это бороться. Капитализм не навязывает миру столь жестких ограничений, в существовании которых убеждены неоллибералы и пессимистически настроенные марксисты. Человек способен выбирать, хотя его выбор может оказаться ошибочным.

Не является ли происходящее очередной фазой колебания (по Поланьи) внутри капитализма: между саморегулирующимся рынком, с одной стороны, и требованием социальной самозащиты от этого рынка — с другой? В пользу подобной циклической модели, созвучной идеям Поланьи, высказывается Штрик (Streeck 2009), утверждающий, что рыночный капитализм стремится к освобождению от охватывающих его «неоформленных в виде контракта договоренностей», но одновременно порождает тенденцию к восстановлению «неформальных обязательств». Если первые успехи неокейнсианской доктрины увеличили власть финансового капитала, то последующие ее неудачи привели к неоллиберальным требованиям рыночного саморегулирования. Хотя добиться этого удалась не во всех сферах экономики (государство не утратило прежней роли), эксцессы в финансовой сфере вскоре возродили требование социальной самозащиты путем возврата к регулированию и создания институтов, ограждающих общество от разрушительных сил рыночной экспансии. Однако поначалу эти требования были проигнорированы, и чтобы провести их в жизнь, потенциальным реформаторам (таким как Ф. Олланд), возможно, не хватает политической воли. Слишком уж амбициозной представляется попытка смоделировать экономическое развитие на основе двух с половиной исторических эпизодов, первый из которых — расцвет классического либерализма, второй — расцвет кейнсианства и социал-демократии, половинка эпизода — доминирование неоллиберализма в финансовом секторе капиталистической экономики. Не слишком обнадеживает и модель Поланьи, стра-

дающая чрезмерным функционализмом и рационализмом. Ее функционализм выражен в том, что развитие — это процесс, имманентно присущий капиталистическому способу производства. Однако, как мы убедились, значительное воздействие на развитие капитализма оказывают идеология, война и государственная политика. Рационализм этой модели выражен в том, что она считает человека способным рационально справиться с нарушениями существующего порядка. Однако эти нарушения являются схватками за власть в условиях жесткого соперничества, приводящими в разных странах к неодинаковым результатам. И хотя я утверждал, что капитализм и капиталисты нуждаются в дополнительном регулировании, у меня нет уверенности в том, что это произойдет. Указанные циклы не являются ни регулярными, ни единообразными, ни исторически неизбежными, поэтому циклами в полном смысле этого слова их назвать нельзя.

Что же нам теперь делать с «созидательным разрушением» по Шумпетеру? В одной из своих поздних работ он предрекал, что забюрократизированный капитализм гигантских корпораций, придавив созидательный потенциал предпринимательства, приведет к социализму (Schumpeter 1942: 134). Сегодняшние гигантские корпорации не столь уж забюрократизированы, поскольку они научились использовать субподряд и освобождаться от бесполезных активов, работать в глобальном масштабе, но становиться при этом компактнее и зубастее. Но, подчинившись банкирам, корпорации придали «созидательному разрушению» совершенно новый смысл: все эти деривативы, секьюритизации и прочие новации дестабилизируют капитализм и рискуют принести в жертву те самые высокие уровни потребления и занятости, которые были источником их (корпораций) первоначального обогащения.

Здесь вновь раскрывается фундаментальное противоречие капитализма. Погоня капиталистов за сиюминутной прибылью способна разрушить экономику, из которой они эту прибыль извлекают. В этой погоне за прибылью они ограничили рост заработной платы и деятельность профсоюзов, захватили государственный аппарат и урезали расходы на социальное обеспечение; наконец, они прибегли к финансиализации. Все это — грубый, недалновидный, эгоистичный интерес, прикрытый идеологическим покровом неолиберализма и неоклассической экономической теории. Однако эти «успехи» подорвали экономику высокого спроса, на которой в конечном счете и основывалось их богатство. Это в значительной степени верно и для Китая с его партийно-государственными капиталистами. Они придушили рост зарплат и активность профсоюзов, захва-

тили государство, вывезли прибыль и вложили ее за рубежом, снизив тем самым потенциал собственной экономики. Смычка западных предпринимателей и китайских партийно-государственных капиталистов создает глобальные дисбалансы, наносящие ущерб всему человечеству. По-видимому, мир не усвоил того урока, что оптимальным в прагматичном смысле решением противоречий капитализма и социализма является рыночный капитализм, координируемый и регулируемый национальными государствами в интересах народа. Это не сулит ничего хорошего тому более радикальному и глобальному регулированию, которое становится насущной необходимостью ввиду климатических изменений, надвигающихся на нашу планету.

Являются ли Великая депрессия и Великая неолиберальная рецессия достаточно схожими явлениями, чтобы считать их фазами одного циклического процесса? Обе они были вызваны финансовыми кризисами, обусловленными поведением транснационального финансового капитала, который пользовался как отсутствием эффективного международного регулирования, так и слабостью внутреннего регулирования силами национальных государств. Обеим предшествовало возникновение кредитных пузырей, а со временем они были усугублены долговыми кризисами. Вероятно, финансовый сектор останется источником периодического ущерба, гораздо большего, чем ущерб, наносимый обычными деловыми циклами. Обе экономические катастрофы наступили вслед за периодами усиления материального неравенства и снижения доходов населения. Вместе с тем им обеим предшествовали периоды технического прогресса, которые не смогли вызвать значительного экономического подъема. В обоих случаях «паровозом» на пути в глобальную рецессию выступили Соединенные Штаты, а за выходом из Великой депрессии последовала мировая война.

Однако нынешняя рецессия не столь глубока. Пока не было обвала рынка, сопоставимого с крахом 1929 г., хотя Греция, возможно, играет роль, аналогичную роли австрийского банка «Кредитанштальт», банкротство которого в 1931 г. стало предвестником депрессии. Не происходит и того пагубного сжатия денежной массы, которое было спровоцировано действиями тогдашних финансовых властей, хотя правительство Великобритании, по-видимому, приступило к мерам сопоставимого сжатия. Однако тогда фискальные ошибки правительств были вызваны желанием сохранить курсы валют по отношению к золоту. Сегодня золотого стандарта не существует, как нет и массового банкротства банков, вызванного попытками цепляться за золотой стандарт. До Великой депрессии почти никакого регули-

рования не было, тогда как нынешней рецессии предшествовал длительный период регулирования, плоды которого отчасти сохранились особенно в государствах, проникнутых идеями корпоративизма и девелопментализма. В нашу эпоху, считающуюся все более транснациональной, многообразии взаимосвязей между национальными государствами и макрорегионами сделало влияние Великой неолиберальной рецессии на страны мира гораздо более неравномерным. Сегодня безработица составляет 10% (а не 25%, как тогда), кроме того, пособия по безработице (в Европе особенно щедрые) не допускают резкого спада в потреблении. В 1930-х гг. реакцией со стороны членов мирового сообщества была политика девальвации и протекционизма, разорительная для соседних стран. Сегодня между внутренним и международным регулированием существует относительный баланс, зато современные глобальные дисбалансы куда больше.

История не повторяется. Капитализм не имеет регулярных циклов, поскольку со временем меняется его характер. Я вычленила в его развитии восходящую технологически-инновационную фазу высокой производительности/низкого спроса, которая пришла на начало XX в. и за которой последовала фаза высокой производительности/высокого спроса, часто именуемая фордизмом, продлившаяся со Второй мировой войны до 1960-х гг., после чего наступила неолиберальная фаза [относительно] низкой производительности/низкого спроса. Каждая такая фаза капитализма обладает своей собственной логикой развития, своими институтами и противоречиями, убеждают нас французские сторонники теории регулирования (Буег 1990). Собственные ритмы развития присущи и нациям-государствам, которые на третьей из перечисленных фаз были более разнообразными вдобавок к неповторимости каждого периода. Значительную роль в нынешнем кризисе сыграли отношения политической власти, которые на более ранних исторических стадиях такой роли не играли. Новыми оказались как политические кризисы в Европейском союзе и Соединенных Штатах, так и идеологическая верность принципам демократии собственников.

Таким образом, к циклам я отношусь скептически. Капитализм постоянно генерирует новые инструменты, новые институты и новые проблемы — например, акционерные общества (фаза 1), национальные счета (фаза 2), евродоллары, суверенные фонды и СДО (облигации, обеспеченные пулом долговых инструментов) (фаза 3). Возможно, кризис, связанный с выбросами углекислого газа в атмосферу, станет в развитии современного капитализма фазой 4. Такие иновации возникают неожиданно, просачиваясь «сквозь поры» существующих институтов

снизу вверх, путем интерстициального возникновения, а не институционализации. Сначала каждый избегает лишнего регулирования, адаптируясь к существующим институтам либо выхолащивая и деформируя их. Затем возникают требования дополнительного регулирования, которые, сталкиваясь с идеологическим и политическим сопротивлением, реализуются с переменным успехом. Здесь может возникнуть регулирование, объектами которого становятся инноваторы, хотя это и не обязательно. В фазе 3 неолибералы еще не встречают серьезных ограничений. В одних странах они укрепляются, в других — теряют позиции. В отличие от Поланьи и Штрека я не вижу внутренней логики циклов, непременно двигающих капитализм вперед. Банкиры полагают, что свою проблему они решили без каких-либо циклических изменений. Если на рынке случится кризис и банки попадут в затруднение, то в дело вмешается государство, но не для того, чтобы их регулировать, а чтобы предоставить банкам своего рода социальную помощь. Хотя для капитализма это плохо, в данном случае может доминировать дистрибутивная власть банков. Для англосаксонских стран пессимистический сценарий заключается прежде всего в том, что неолиберализм и государственная помощь банкирам, вместе взятые, способны ускорить экономический спад в этих странах. Однако наш мир развивается неравномерно, и Великая рецессия усилила ощущение, что центр экономической мощи переходит с глобального Севера к некоторым странам бывшего глобального Юга. Сегодняшний оптимизм вдохновлен ситуацией в Азии, особенно в той гигантской стране, где плановое хозяйство неким полукапиталистическим способом сочетается с рынком. А что если Китай или Индия, так стремительно накапливающие финансовые резервы, действительно захотят использовать их внутри страны? Это выбьет почву из-под ног у Соединенных Штатов. В какой-то момент рост экономик такого масштаба, вероятно, приведет к резкому развороту денежных потоков, особенно если эти страны предпримут либерализацию движения капитала. В результате в этих экономиках могут возникнуть спекулятивные пузыри, избыточные инвестиции и кризисы доверия в гораздо большем масштабе, чем в период азиатского кризиса 1990-х гг. В этой глобальной экономике лишь немногие страны будут в состоянии защититься от превратностей изменчивой судьбы. Нужны новые правила, но появятся ли они? Экономическая глобализация действительно объединит мир, но не обязательно гармоничным образом. Она может снова расколоть его на части. Кроме того, на горизонте замаячила другая глобальная угроза, потенциально еще более серьезная, как станет очевидно из следующей главы.

## ГЛАВА 12

# Глобальный кризис: изменение климата

### ВСТУПЛЕНИЕ. ТРИ ГЛАВНЫХ ВИНОВНИКА: КАПИТАЛИЗМ, ГОСУДАРСТВО И НАСЕЛЕНИЕ

**В** ТОМАХ 3 и 4 я проследил развитие процессов глобализации. Том 3 был посвящен рассмотрению «расколотой глобализации» соперничающих империй, а также второй промышленной революции, распространившей новые промышленные технологии на еще более обширные регионы мира. Я проанализировал характер кризисов, возникших в большинстве государств в результате двух мировых войн и Великой депрессии, а также рассмотрел причины распространения либеральной, социалистической и фашистской идеологий. В данном томе я показываю дальнейшее глобальное распространение капитализма и национальных государств, а также связь между уменьшением числа международных войн и увеличением числа гражданских войн на планете. Впрочем, с социологической точки зрения глобальность всех этих процессов особого интереса не вызывала. В основном я просто описывал глобальное расширение тех социальных структур, которые нам давно знакомы на более локальном уровне. Меняется ли сущность капитализма от того, что он из регионального превращается в глобальный? Меняется ли суть геополитики из-за того, что в ней принимают участие не 30, а 190 национальных государств? Да, меняется, но не существенно.

Есть, однако, важное исключение, которое было отмечено в главе 2. Тот факт, что на большей части планеты воцарился мир между народами, явился всемирно-исторической переменой, для всех нас весьма неожиданной. Это произошло в силу нескольких причин, главная из которых состоит в том, что угроза ядерного оружия стала глобальной. Это делает войну между самыми могущественными державами мира полностью бессмысленной. Применение ядерного оружия, вероятно, оказалось бы самой экстремальной формой глобализации. Ядерная война способна привести к многомиллионным жертвам, кон-



цу цивилизации (какой мы ее знаем) и сделать мир непригодным для жизни людей. В таком случае Землю, вероятно, унаследуют насекомые. Отношения военной власти были полностью глобализированы, поскольку их поражающая способность достигла пределов всей планеты, и это незамедлительно сказалось на нас. Невольно напрашивается сравнение со смертоносным бумерангом: изобретенное нами оружие возвращается обратно, чтобы нас убить. Однако люди искали способы избежать ядерной войны, что привело к трансформации общества. Никогда еще на свете не было структуры, подобной Европейскому союзу, который, будучи экономическим гигантом, являлся бы в военном отношении карликом. Аналогичный беспрецедентный в истории дисбаланс существует также на уровне отдельных государств, где развитие гражданских функций намного опережает развитие военных функций. Военный хребет большинства государств превратился в студень, из-за чего их жесткая геополитическая позиция сменилась на более мягкую.

Но возвращаться начинает второй некогда запущенный бумеранг, не столь быстрый, но столь же смертоносный. Речь идет об изменении климата, возникшем из-за того, что люди возомнили себя хозяевами природы — крайнее проявление коллективной власти. Климатическая проблема была порождена капитализмом при содействии как национальных государств, так и индивидуальных потребителей. К сожалению, именно они являются тремя важнейшими социальными акторами нашего времени. Чтобы избежать планетарной катастрофы, их власть придется обуздать, что само по себе является крайне трудной задачей. Изменение климата, как и ядерное оружие, является глобальной угрозой, поскольку углеродная эмиссия, где бы она ни происходила, затрагивает всех. Климат не знает национальных границ, поскольку он глобален.

В этой книге для оценки состояния экономики я использовал, как это принято в научной сфере, показатель ВВП. Ростом ВВП измеряется успех национальных экономик. В томе 3 прослеживается экономический успех колоний белых поселенцев, японской империи, нацистской Германии раннего периода и Советского Союза. В этом томе все внимание сосредоточено на золотом веке западного капитализма (после 1945 г.), а также на экономическом росте Китая и стран БРИК. Рост ВВП этих стран и служит причиной того, почему о капитализме говорят как об истории великого успеха. И наоборот, отсутствие экономического роста (либо его минимальной величины) рассматривается в качестве провала, как это было в большинстве колоний, в большинстве стран мира в 1920–30-х гг., в Советском Союзе (начиная с 1960-х гг.) и в большинстве стран ОЭСР в последнее

время. Ирония истории, пронизывающая все четыре тома «Источников...», состоит в том, что всякий успех или провал почти всегда имеет оборотную сторону, в чистом виде провал и успех не встречаются. Войны порой оборачивались благом, тогда как режимы, добивавшиеся экономического роста, иногда были просто чудовищными. Так, колонии белых поселенцев достигли экономического роста ценой геноцида туземцев; Гитлер и японцы обеспечили экономический рост ценой милитаризма, а Сталин добился экономического роста ценой массовых репрессий. Сегодняшний рост мировой экономики также имеет оборотную сторону — ухудшение экологии, угрожающее существованию человечества. Вот уж воистину было бы чем гордиться: наш величайший успех может обернуться гибелью всего живого на Земле!

Нависшая над нами экологическая угроза многолика: изменение климата и разрушение озонового слоя, выпадение ядовитых и кислотных дождей, истощение морей и эрозия почв, вырождение лесов и нехватка воды, а также многое другое. В данной главе я фокусируюсь на изменении климата, общеизвестном как глобальное потепление, причиной которого является выброс парниковых газов (GHG) в атмосферу. Более двух третей всего объема парниковых газов составляет двуокись углерода (CO<sub>2</sub>). Попав в земную атмосферу, большая часть парниковых газов остается в ее нижних слоях. Под воздействием солнечных лучей эти газы постепенно нагревают нашу планету, ее атмосферу, океаны и материки. За последние 20 лет мировое научное сообщество признало, что глобальное потепление идет ускоренными темпами и является антропогенным процессом, то есть вызвано в основном деятельностью человека. В 2005 г. руководители 11 национальных академий наук обратились к главам правительств стран G8 с письмом, в котором предупредили, что глобальное изменение климата является явной и растущей угрозой, требующей принятия срочных политических мер. Это были академии наук таких крупнейших развитых стран и четырех стран БРИК, как Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и США. Убедительных оснований для отрицания этого научного факта больше нет (Oreskes 2004). Главный научный консультант австралийского правительства профессор Росс Чабб (Ross Chubb) недавно заявил: «Вероятно, есть люди, считающие меня фанатиком из-за того, что я призываю ученое сообщество заняться проблемой изменения климата. Так вот, никакого фанатизма в этом нет, просто я умею читать» (*The Sydney Morning Herald*, June 22, 2011).

Такие ученые консультируют сегодня правительственные агентства, занимающиеся проблемами окружающей среды, и благодаря их усилиям политические лидеры находятся в курсе

экологических проблем, вызывающих всеобщую озабоченность. Это тот единственный случай, когда я сомневаюсь в правильности моего взгляда на науку, которая, как я полагаю, не является особым источником социальной власти [отдельным от идеологической власти]. В целом я рассматриваю ученых и инженерно-технических работников как подчиненных другим власть имущим акторам. Ральф Шрейдер утверждает, что на современном этапе громадное развитие научно-технических учреждений превращает их в еще один источник социальной власти. До сих пор я не был с ним согласен. К примеру, в главе 3 тома 3 я утверждал: хотя движущей силой второй промышленной революции были изобретения, сами они во многом зависели от предпринимательского сообщества. Некоторые из них сами превращались в предпринимателей, если им удавалось найти инвесторов; другие работали на корпорации или продавали им свои патенты. В середине XX в. ученые-ядерщики создали самое разрушительное оружие, которое когда-либо существовало, однако их работодателями были высокие военные власти. В основном эти ученые были патриотами, стремившимися поддержать военные усилия своих стран. Однако сегодня научная автономия и коллективная солидарность ученых (в частности, инвайронментализм) резко возросли и взяли на себя ответственность довести экологическую проблему до сознания всего человечества. Они не создают идеологии в том смысле, что не строят систему предельных смыслов, поскольку их бесстрастные знания основаны на наблюдаемых фактах и допускают (в отличие от религиозных и социалистических идеологов), что их теории могут быть опровергнуты. Ученые восполняют пробелы в достоверных знаниях не посредством веры, а с помощью теории вероятностей, путем построения альтернативных сценариев и расчета возможных вариантов событий. Лишь немногие из этих людей являются убежденными адептами какого-то вероучения. К таковым, пожалуй, можно отнести Джеймса Лавлока с его гипотезой Геи, предполагающей, что наша планета функционирует как живой суперорганизм. В то же время многие ученые-экологи придерживаются философии эгоцентризма, согласно которой окружающая среда — это субъект, обладающий моральными правами, а человечество (как и другие виды живых существ) — это лишь его малая часть. По сути, перед инвайронменталистами весьма остро встает вопрос выбора между наукой и моралью, но большинство ученых все же выбирают науку. Как ученый-социолог я следую их примеру. Однако ученые естественных и социально-гуманитарных наук не могут определять повестку дня без поддержки со стороны правительств и массовых движений, поскольку как отдельная каста ученые действительно несколь-

ко закрыты. Я надеюсь, что их воззрения все же одержат победу и ученые окажутся счастливым исключением из моей модели власти. Впрочем, сомнения меня не оставляют.

Проблема климатических изменений включает два основных аспекта: глобальное потепление и растущую изменчивость. Основным каналом, через который климатологи доносят результаты своих исследований, служит их публикация в отчетах международных научных агентств. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC), основанная в 1988 г. по инициативе ООН, опубликовала свой 4-й доклад в 2007 г. В таких документах, как Доклад Программы ООН по окружающей среде (UNEP 2007), Доклад Программы развития ООН 2007–2008 гг., «Экологическая перспектива ОЭСР до 2030 года» (2008), Доклад Стерна для правительства Великобритании (2007), содержится вывод о том, что глобальное потепление ускоряется. Кроме того, с 90%-й вероятностью потепление является антропогенным. Оно обусловлено такой деятельностью человека, как индустриализация (в основном сжигание ископаемых видов топлива, прежде всего угля и нефти). В совокупности ископаемые виды топлива производят две трети парниковых газов, еще 20% возникают в результате исчезновения лесов, остальная часть — из-за сельскохозяйственной деятельности и других способов землепользования. Джеймс Хансен (Hansen 2009), который уже не раз удивительно точно предсказывал тенденции глобального потепления, описывает главную стратегию любой политики снижения нагрузки на климат. Ее задачей должно стать быстрое поэтапное прекращение выброса газов, вызванных сжиганием угля, с тем чтобы они полностью прекратились к 2020 г. в развитом мире и к 2030 г. — во всем мире (если только к тому времени CO<sub>2</sub> не удастся упрятать в надежные резервуары-хранилища). Кроме того, должны быть внедрены агро- и лесотехнические методы, позволяющие резко сократить выделение CO<sub>2</sub>. Если мы хотим оставить нашим внукам пригодную для жизни планету, то большая часть запасов ископаемых видов топлива — уголь, нефть, газ, нефтеносные пески и сланцевая нефть — должна покоиться в недрах. По этой причине я сосредоточусь на ископаемом топливе.

Новизна современных антропологических шоков заключается лишь в их масштабах. Радкау (Radkau 2008) выделяет пять исторических периодов взаимодействия человека и природы: общества охотников и собирателей; древние цивилизации, зависевшие от лесов и источников воды; колониализм эпохи модерна; промышленная революция; новейший исторический период (его ученый называет глобализацией). На протяжении всех периодов люди воздействовали на природу так, что это

зачастую вызывало катастрофические последствия для окружающей среды, а иногда — для их собственного существования. Даймонд (Diamond 2005) приводит примеры социальных коллапсов, причиной которых были разнообразные антропогенные процессы. Среди них разрушение естественной среды обитания, деградация растительного мира, утрата биологического разнообразия, эрозия почв, загрязнение источников питьевой воды, истощение источников природного фотосинтеза, использование человеком ядовитых веществ и внедрение чужеродных биологических видов, искусственное изменение климата и перенаселенность. Вот один из сравнительно недавних примеров, связанных с Китаем. После кризиса XVII в. династия Цин восстановила имперскую систему хозяйства, основу которой составляла сеть крупных зернохранилищ, активная торговля продовольствием и более эффективное использование природных ресурсов. Однако сам успех этих мер вызвал значительный прирост населения, вновь обернувшийся чрезмерным давлением на доступные природные ресурсы. К началу XX в. природа уже выбивалась из сил. В период индустриализации, который выделяет Радкау, существовали только локальные инвайронментальные угрозы. Однако с началом эпохи глобализации, в 1950-е гг., «в инвайронментальной истории произошел самый большой перелом» (Radkau 2008: 250).

Главным виновником перелома является промышленный капитализм с его неустанной погоней за сиюминутной частной наживой в сочетании с социальной безответственностью и нежеланием возмещать обществу нанесенный ущерб. «Конвейер прибылей» привел к научно-техническому прогрессу, росту населения и потребительскому изобилию. Экспоненциальный экономический рост основывался на сжигании ископаемых видов топлива — капиталистическое «созидательное разрушение» подводило мир к смертельной черте, которая и не снилась Шумпетеру. Однако капитализм действует не сам по себе. Он движим отношениями политической власти, то есть государствами и политическими фигурами, главная цель которых — достижение экономического роста. В этом у них есть собственный экономический и политический интерес, поскольку рост промышленного капитализма приносит государству больше доходов, а политикам — больше популярности. Критерием успеха политиков являются данные экономического роста, а мотивацией в демократических странах — электоральные циклы, в деспотических режимах — прочие методы оценки популярности (доклады тайной полиции, уличные протесты и т. д.). Однако этот «политический конвейер» государство навязывает гражданам вовсе не насильно, поскольку они оценивают свой успех

уровнем материального потребления и поддерживают тех политиков, которые, на их взгляд, могут обеспечить им этот уровень здесь и сейчас. Кроме того, политика также по преимуществу ограничивается «клетками» национальных государств, что делает решение глобальной проблемы изменения климата особенно трудной. Рациональная, национальная и краткосрочная калькуляция выгод одинаково важна как для капиталистов, политиков, так и для простых граждан. «Мы хотим всего прямо сейчас», — скандируют они: именно так они измеряют свой успех! Таким образом, задача снижения нагрузки на климат поистине велика — избавить человечество от этих «конвейеров», главных виновников изменения климата, и самого злостного из них — корыстного капиталистического интереса, которому потворствуют по мере сил политические элиты и частные потребители с их растущими аппетитами.

Это касается и военной власти, поскольку ее доля ответственности за изменение климата лишь немногим меньше доли трех вышеперечисленных виновников. Дело в том, что индустриализация способствовала росту военного потенциала, поддержание которого оставалось на протяжении XX в. главной функцией государства. Для ведения войн жизненно важным ресурсом был вначале уголь, затем — нефть. Поскольку нефтяные месторождения расположены на планете в сравнительно немногих местах, а боевые корабли, самолеты, танки и грузовики нуждаются в топливе, нефть стала важнейшим стратегическим ресурсом, вызывающим все новые и новые войны. Они являются источником самых разрушительных антропогенных воздействий на окружающую среду и поглощают максимум ископаемых видов топлива. К счастью, во многих регионах мира эта угроза ослабла. Впрочем, крупнейшим потребителем нефтепродуктов и источником загрязнения окружающей среды в мире остается Министерство обороны США. В ходе компаративистского исследования, проводившегося в 1970–2000 гг., Йоргенсен (Jorgensen et al. 2010) сделал ряд важных открытий. Он обнаружил, что масштаб и интенсивность эмиссии двуокиси углерода, а также «экологический след» каждого государства в пересчете на душу населения напрямую зависят от коэффициента военного участия (число солдат на 1000 человек населения) и военных расходов на каждого солдата (с учетом других переменных, таких как объем ВВП и уровень урбанизации). Чем выше милитаризация страны, тем больший ущерб экологии она наносит. Хукс и Смит (Hooks and Smith 2005) метко назвали это конвейером военного разрушения. Они также подчеркивают особо ужасающий аспект современной войны: ядерное, биологическое и химическое оружие привносит в нее новые задачи — не про-

сто отнять человеческие жизни, но и сделать непригодной для жизни всю экологическую среду, как в случае с использованием напалма во Вьетнаме и Камбодже. Применение химического и биологического оружия является кошмарным сценарием экологической катастрофы и возможной гибели всего человечества. Однако если исключить этот сценарий, то наихудшим сценарием с точки зрения климатических изменений было бы сохранение мощных армий даже без их активного применения, поскольку последнее причиняет громадный ущерб экономике и приведет к сокращению ВВП.

Наконец, все эти практики резонируют в рамках влиятельной идеологии модернизации, где природа явным образом подчинена культуре. Человечеству, дескать, суждено покорять и эксплуатировать природу. Эта идеология вышла за рамки только капитализма, поскольку государственный социализм был привержен ей в той же степени. Хотя по поводу покорения природы Энгельс испытывал сомнения, а большевики поначалу разделяли идеалы, близкие нынешним «зеленым». Сталин привнес в пятилетние планы рвение, близкое к религиозному, и промышленную гигантоманию. Теперь продвижение к социализму измерялось валовым приростом производства (Goldman 1972: 18–19, 64–70). Как отмечает Макнил (McNeil, 2000: 336), «фетиш экономического успеха» стал «государственной религией» повсюду: «Важнейшей идеей 20-го века, несомненно, был всеобщий приоритет экономического роста». Таким образом, нашу планету разрушают все четыре источника социальной власти, и борьба с этими процессами невероятно трудна.

Пока не ясно, что наносит экологии больший ущерб — капитализм или государственный социализм. Наиболее страшные примеры разрушения экологии дала реализация великих строек коммунизма. Таким «достижением», как уничтожение Аральского моря, капитализм похвастаться не может. В этой связи ряд специалистов утверждают, что государственный социализм (иногда сюда же относят все авторитарные режимы) нанес экологии больший ущерб, чем капитализм и либеральная демократия (например, Shapiro 2001; Josephson 2005). При этом сопоставимых статистических данных они не приводят. Голдман (Goldman 1972: 2–5) отмечает, что в экологическом смысле «послужной список» Советов был не более ужасен, чем «перечень грехов» Запада, хотя исследования Китая говорят о том, что по мере перехода к рынку экологический ущерб возрастает, поскольку местные хозяйствующие субъекты обретают большую свободу извлечения прибыли любой ценой и грамотнее обходят государственные нормы экологического контроля (Muldavin 2000; Ma and Ortolano 2000). Сравнение послемаоистского Китая с капиталистическим

Тайванем показывает, что уровни наносимого ими экологического ущерба сопоставимы (Weller 2006). Нацистская Германия заботилась о природе, уделяя особое внимание осушению болот, прокладке автодорог и насаждению лесов, которые были основой нацистско-тевтонских мифов. Однако в смысле загрязнения воздуха нацисты были ничем не лучше демократических стран, поскольку экология приносилась в жертву индустриализации, особенно производству вооружений (Uekoetter 2006; Bruggemeier et al. 2005). Все современные государства продолжают приносить экологию в жертву ВВП независимо от типа их режимов. Экологическая проблема ассоциируется с капитализмом потому, что сегодня это преобладающий в мире способ производства. Если бы все мы жили при государственном социализме, проблемы с экологией были теми же.

### ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Ученые признают ограничение своих способностей к измерению и прогнозированию и формулируют свои заявления в терминах статистической вероятности и академического консенсуса. Все приводимые ими цифры являются медианными значениями в возможных диапазонах. Кроме того, ученые представляют собой всего лишь разновидность научных работников, обладающих разными уровнями квалификации и научной добросовестности, иногда чрезмерно привязанных к излюбленным научным парадигмам, слишком жаждущих популярности либо слишком зависящих от спонсоров, финансирующих их исследования. По всем этим причинам достоверность приводимых ими данных не абсолютна: данные оспариваются, и периодически вспыхивают небольшие скандалы. Однако ни один скандал не был столь серьезным, чтобы бросить тень на те научные истины, которые уже общеприняты.

Для измерения эмиссии парниковых газов ученые используют два основных метода. Один из них фокусируется только на измерении концентрации углекислого газа ( $\text{CO}_2$ ), второй основан на преобразовании всех шести групп парниковых газов в эквиваленты содержания  $\text{CO}_2$  обозначаемые  $\text{CO}_{2e}$ . В доиндустриальную эпоху концентрация  $\text{CO}_2$  в атмосфере составляла примерно 280 миллионных долей (ppm), а концентрация  $\text{CO}_{2e}$  — примерно 290 ppm. К 1990 г. эти показатели выросли до 353 ppm  $\text{CO}_2$  и 395 ppm  $\text{CO}_{2e}$ . Именно на таком уровне подписавшие Киотский протокол страны надеялись стабилизировать эмиссию, поэтому при расчете темпов ее прироста за базовые величины



нередко принимают показатели 1990 г. К декабрю 2011 г. уровень концентрации  $\text{CO}_2$  достиг 393 ppm и продолжает расти.

В этом и состоит причина глобального потепления. На протяжении как минимум тысячи лет до наступления XX в. на Земле происходили небольшие перепады температур в океанах и поверхностных слоях атмосферы под воздействием природных сил, таких как солнечная радиация и вулканическая деятельность. Однако первые пять десятилетий XX в. стали свидетелями гораздо большего повышения температуры, которая росла со скоростью  $0,07^\circ\text{C}$  за десятилетие, а с 1980 г. —  $0,2^\circ\text{C}$  за десятилетие. Всемирная метеорологическая ассоциация публикует цифры глобальных среднегодовых температур, говорящие о том, что все самые теплые десятилетия пришлись на период после 1998 г. Правда, в 2000-е гг. повышение температуры немного замедлилось, что, как ни странно, может объясняться резким промышленным ростом в Китае, увеличившим потребление энергии, вырабатываемой на угольных электростанциях. Помимо углекислого газа они выбрасывают огромные облака серы, отражающие солнечные лучи и этим временно охлаждающие атмосферу. Если выбросы  $\text{CO}_2$  воздействуют на атмосферу в течение сотен лет, то выбросы  $\text{SO}_2$  действуют в течение нескольких недель либо месяцев. Когда китайцы оснастят дымовые трубы электростанций фильтрами для улавливания двуокиси серы (как они должны), атмосферные температуры вновь повысятся.

Факт глобального потепления подтверждается также многочисленными природными явлениями. Среди них повышение уровня морей из-за термального расширения и таяния ледников, ледовых шапок и полярных льдов; сокращение глобального биоразнообразия; изменение видового состава птиц, насекомых и растений; раннее появление насекомых, ранняя кладка птичьих яиц и раннее цветение деревьев каждый год; исчезновение лесов; увеличение периода культивирования зерновых в средних и высоких широтах; изменение графика сезона дождей и направления океанических течений (UNEP 2007: 59; Speth 2008: xxi-xxii). Кроме того, потепление вызовет с вероятностью более 50% еще более экстремальные значения скорости ветров и температуры воздушных масс. В самом деле, если само потепление пока еще мало ощутимо, частая изменчивость погоды стала уже заметной. Чрезвычайно холодная погода на восточном побережье США в 2010 г. была воспринята многими скептиками как опровержение идеи глобального потепления. Однако в ее пользу свидетельствует более теплая, чем обычно, погода в других регионах планеты. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)

(IPCC 2007: 38) говорится, что индустриальная эпоха вызовет с более чем 90%-й вероятностью потепление, подобного которому не было предшествующие 10 тыс. лет.

Эта проблема усугубляется ростом населения в сочетании с успешной индустриализацией в развивающихся странах. На протяжении почти всего XX в. на долю стран ОЭСР приходилось 85% всей эмиссии парниковых газов, однако к 2004 г. их относительная доля снизилась до 46%. Громадная численность населения Китая означает, что по уровню выбросов он обогнал США и сейчас занимает первое место в мире. При этом по эмиссии парниковых газов на душу населения первое место в мире по-прежнему занимают Австралия и Соединенные Штаты. Благодаря росту эффективности чистых технологий выбросы парниковых газов на единицу ВВП начали снижаться, однако этот эффект был полностью нейтрализован абсолютным ростом мирового ВВП, в чем особую роль сыграл Китай (ОЕСД 2008).

В докладе IPCC представлены альтернативные сценарии потепления в диапазоне повышения температур 1,8–4,0°C в течение XXI в. при среднем уровне температуры 3°C. Причем этот уровень почти наверняка будет выше, чем тот, который когда-либо испытывало человечество. Последние исследования прогнозируют еще больший рост температур в будущем. В докладе Стерна (Stern 2007: глава 1) сказано, что вероятность повышения температуры на 5°C составляет более 50% (аналогичный прогноз содержится в Совместной программе МТИ по науке и политике глобальных перемен, 2008 г.), тогда как Глобальный проект по эмиссиям углекислого газа Университета Восточной Англии (2009) прогнозирует рост температуры на 5–6°C. Учитывая, что нынешний уровень температур превышает температурную планку последнего ледникового периода лишь на 5°C, подобное ожидаемое потепление чревато громадными изменениями условий жизни на планете.

Как именно они изменятся, точно не может предсказать никто. Данные вышеназванных отчетов указывают на вероятность ужасных последствий, таких как наводнения, дефицит питьевой воды для сотен миллионов людей, исчезновение многих видов животных и растений, нехватка зерновых хлебов, рост случаев голода, заболеваний, связанных с расстройством пищеварения, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Вероятность этих последствий станет еще выше, если потепление будет сопровождаться большими отклонениями. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) указаны диапазоны повышения температур, при которых может возникнуть каждое из таких бедствий. Это говорит о том, что мы лишены возможности связывать конкрет-

ные последствия с какой-то определенной температурой. Кроме того, ее воздействие [на климат] в разных регионах мира будет разным. Повышение температуры будет больше ощущаться в северных широтах, чем в южных, и нанесет меньший ущерб в зонах умеренного климата. От наводнений больше всего пострадает население, проживающее в широких и густонаселенных речных дельтах Азии и Африки, а хуже всего придется небольшим островам (IPCC Report 2007; Stern Review 2007: глава 3). Кроме того, ожидаемые последствия могут внезапно усугубиться под влиянием петель обратной связи или переломных моментов (UNEP 2007: 62–65). Способность планеты удерживать растущие эмиссии углекислого газа внутри природных поглотителей углерода [например, лесов] снижается. Если эти поглотители переполнятся, скорость нагрева атмосферы резко увеличится. Таяние Гренландского ледника может вызвать изменение курса морских течений и ослабить влияние Гольфстрима, который обогревает Западную Европу. Без Гольфстрима ее климат, возможно, будет похож на климат полуострова Лабрадор, поскольку они расположены на одной широте. Таяние мерзлых торфяников в Сибири и Канаде может вызвать выброс в атмосферу огромных объемов метана. К увеличению концентрации метана в атмосфере приводит и глобальный сдвиг в гастрономических предпочтениях человечества. Мы стали есть больше мяса, а ведь коровы испускают громадные объемы газов, что также не идет на пользу планете.

Эти официальные доклады могут быть излишне оптимистичными, поскольку их авторы исходят из предположения, что экономический рост обеспечит гораздо большую энергоэффективность. Стратегия Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая сводится к формуле «пусть все идет своим чередом», стратегия «ничего неделания» предполагает, что сокращение эмиссии CO<sub>2</sub> (как минимум на 60%) должно произойти за счет повышения энергоэффективности без каких-либо дополнительных мер по снижению экологической нагрузки. Они ожидают, что существенную роль здесь сыграют такие инновации, как технологии улавливания выбросов CO<sub>2</sub>, водородное топливо для автомобилей, солнечные батареи, биотопливо на основе целлюлозы и более широкое использование атомной энергии. Однако существует вероятность, что рост численности населения планеты и увеличение мирового ВВП продолжатся, и тогда вся экономия, достигнутая за счет повышения энергоэффективности, будет сведена на нет. На всем протяжении капиталистической индустриализации рост энергоэффективности нивелировался за счет увеличения численности населения и связанного с ним роста объе-

мов производства. Темпы роста экономики опережали темпы роста энергоэффективности (Raskin et al. 2002: 22). Почему же теперь что-то должно измениться? Верно, что сейчас ведется целенаправленная научно-исследовательская работа по созданию альтернативных топливных технологий. Возможно, ученым, работающим над международным проектом по созданию топлива на основе водородного синтеза в центре ITER (близь города Экс-ан-Прованс во Франции), удастся построить энергетическую установку (своего рода мини-солнце), которая будет вырабатывать в десятки раз больше электричества, чем потребляет сама. Специалисты ITER прогнозируют, что эра синтеза наступит в последней четверти XXI в. Физика процессов, лежащих в основе создания мини-солнца, уже известна. Остается решить инженерную проблему — выстроить безопасное хранилище для аккумуляции электроэнергии, вырабатываемой этим мини-солнцем. По словам инженеров центра, признаков прорыва в решении этой технической задачи пока нет<sup>1</sup>.

Впрочем, даже стабилизация выбросов на нынешних уровнях не предотвратит процесс потепления, поскольку уже начавшиеся изменения полностью «отработают свое» не ранее чем через несколько десятилетий. Процесс термального расширения морей будет длиться столетиями, поскольку для прогрева глубин океана требуется длительное время. Стабилизация эмиссии парниковых газов на нынешнем уровне позволила бы к 2050 г. снизить их выбросы до 550 ppm CO<sub>2e</sub>, а повышение температуры на планете ограничить 2–5%, но и эти значения были бы крайне опасны. Таким образом, нам почти наверняка придется принять радикальные меры по снижению экологической нагрузки. В докладе Стерна (Stren 2007: 13) говорится, что во избежание катастрофы мы должны к 2050 г. снизить глобальные выбросы на 80% относительно уровня 1990 г. Хансен с соавторами (Hansen et al. 2009) полагает, что необходимо вернуться к эмиссии углекислого газа на уровне 350 ppm. По этой причине меры экологического смягчения должны носить глобальный характер и включать сотрудничество как минимум между странами ОЭСР, имеющими наибольшие эмиссии, и странами БРИК — новыми источниками загрязнения. Хотя инициаторами таких программ выступают мировое академическое сообщество и экологические движения, основной комплекс мер должен быть реализован путем беспрецедентного расширения мягкой геополитики.

Будущее не предрешено. Возможно, человечество, движимое жадной прибылью, создаст новые революционные техноло-

---

1. Личная переписка. Ле Мишель, Франция, 10 июля 2010 г.

гии, способные решить проблему выбросов. Некоторые в это верят. Если вдруг такое произойдет, то все мы низко поклонимся ученым государственных и частных лабораторий — авторам этого прорыва, а также компаниям и правительствам, финансирующим и реализующим такие инновации. Это стало бы третьим великим достижением капитализма за исследуемый период, третьим великим актом «созидательного разрушения» (вслед за двумя предыдущими — второй промышленной революцией и большим послевоенным потребительским бумом). Если же этот прорыв случится в Китае, то станет вторым великим достижением этого однопартийного капиталистического государства. В отсутствие такого прорыва альтернативным вариантом снижения глобальной эмиссии может быть разрушительная война либо пандемия, несущая гибель большинству населения Земли. Специалисты по моделированию климатических изменений доказали реалистичность своих прогнозов еще 20 с лишним лет назад. Уже тогда обозначилась высокая вероятность экологической угрозы и ее возможные катастрофические последствия. В этой связи безотлагательное принятие серьезных мер по снижению нагрузки на климат стало бы сегодня благоразумным и рациональным решением.

#### ПЕРВЫЕ ШАГИ К СМЯГЧЕНИЮ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, 1970–2010 ГОДЫ

Некоторые меры уже были приняты. С 1970-х гг. многие страны утвердили законодательство, направленное против источников видимых загрязнений. Затем возник фреоновый кризис. Ученые установили, что озоновый слой Земли, защищающий ее от солнечной радиации, постепенно истончается и что причиной этого являются фреоны, широко использовавшиеся тогда в кондиционерах, холодильниках, аэрозолях и в других устройствах и процессах. К счастью, как только в ряде стран запретили использование фреонов, аэрозольная отрасль начала искать им технологическую альтернативу. В 1987 г. в рамках Монреальского протокола 191 страна подписала соглашение, предусматривавшее постепенный отказ от производства фреонов. Теперь в производстве аэрозолей используются менее вредные газы, и есть надежда, что лет через пятьдесят озоновый слой восстановится. Этот успех, хотя и достигнутый с помощью технологических инноваций, стал результатом мягкой геополитики.

Осознание обществом проблемы глобального потепления заметно двинулось вперед после выхода в свет в 1962 г. бестселлера Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» (*Silent Spring*), который

был выпадом против загрязнения окружающей среды химической промышленностью. По результатам опросов, к 1970 г. в защиту окружающей среды выступало большинство респондентов, хотя степень осознания проблемы была, как правило, неглубокой. Темпы популяризации экологических знаний ускорились после того, как в 1972 г. Римский клуб опубликовал свой первый доклад («Пределы роста»), ценность идей которого была в 2005 г. решительно подтверждена академиями наук 11 стран. С достижением научного консенсуса эти идеи стали проникать в правительственные кабинеты, по мере того как там появлялись консультанты по вопросам экологии. И здесь от позиции экспертов действительно зависело многое. Как отмечает Франк, с выдвижением идеи природы как единой экосистемы энвайронментализм совершил большой шаг вперед. Это позволило выдвинуть концепцию «глобальной опасности», что стало возможным лишь после того, как носители экологического сознания вышли за рамки одного только эстетического восхищения природой. В совокупности эти две концепции начали приобретать черты настоящей идеологии.

Бек (Beck 1992) полагает, что традиционный классовый раскол, характерный для индустриального общества, уступает место новому «обществу риска», где, по его мнению, будет существовать консенсус в отношении общих экологических и прочих опасностей. На борьбу с такими опасностями мотивированы государства, корпорации, социальные движения и рядовые граждане. Допустим, что в отношении упадка классов он прав, но где же общественный консенсус? Верно, что озабоченность научного сообщества нашла отклик в виде нараставших зеленых движений. Их подъем пришелся на 1970-е гг., когда началась популяризация проблем экологии, а традиционные левые партии окончательно выдохлись. Зеленые движения зародились среди новых левых, групп феминисток и деятелей контркультуры 1960-х гг., то есть в поколении, разочарованном политикой истеблишмента. Соблюдая высокие этические принципы заботы о человеке и природе, они боролись не только за лучшую экологию, но и за расширение местной демократии (Doherty 2002; Taylor 1995). И вновь эта комбинация перерастает в социальное движение, выходящее за рамки чистой науки, обретающее идеологический характер. Однако это движение аморфно. Зеленых неправительственных организаций много, и они довольно разные. Одни — крупные и глобальные, как Гринпис, у которого более 5 млн активистов, отделения в 20 странах и годовой бюджет свыше 300 млн долл. Другие — мелкие, локальные группы-однодневки. В них немало сторонников радикальных действий. Общее руководство либо координация между ними практически отсутствует.

Вначале более массовыми зеленые НПО были в странах глобального Севера, а не глобального Юга, в настоящее время их присутствие поистине глобально. На Севере они привлекают группы высокообразованных граждан, связанных в большей мере с искусствами и гуманитарными науками, чем с точными и техническими науками (за исключением инваронментальных дисциплин). Это в основном представители среднего класса с преобладанием людей, связанных со средствами массовой информации, искусствами и ремеслами, а также профессионалов, занятых в госсекторе и социальной сфере, — учителей, врачей, социальных работников и т. д. В своей трудовой жизни они менее подчинены иерархии, а значит, более свободны в выражении, больше связаны с духовными ценностями и сферой политики и меньше — с корпоративным капитализмом. Другими словами, эти обитатели капиталистических «джунглей» нынешней демократии «травоядные», а не «хищники». Многие из этих профессионалов высоко транснациональны. Такие социальные группы в целом составляют ядро активистов новых общественных движений, особенно тех, что связаны с защитой постматериальных идентичностей, мира и прав человека. Все группы также порождают крупные квазитранснациональные НПО, которые, впрочем, в лице крупнейших экологических движений практически являются международными федерациями, филиалы которых организованы по национальному принципу. В этих федерациях женщины по численности не уступают мужчинам, но преобладает молодежь, особенно в группах прямого действия. Очагами воспитания экологических кадров становятся даже начальные школы, где непрерывно готовится пополнение рядов защитников природы (Doherty 2002: 57–66, 217). Это настроение, как правило, подпитывают опросы общественного мнения, согласно которым наибольшую озабоченность состоянием экологии проявляют высокообразованные люди и те, кто разделяет постматериальные и левые ценности. Из опросов следует, что экологическими проблемами больше озабочены верующие (особенно нехристианских конфессий), нежели атеисты, и люди среднего возраста, нежели молодежь (Kvaloy et al. 2012).

Теория глобального управления помещает этот «микрокосм» высокообразованных молодых «вегетарианцев» и экологических НПО в широкий мировой институциональный, правовой и культурологический контекст. Она утверждает, что в середине XIX в. возник «рациональный — культурный и институциональный — мировой порядок», воплощающий в себе универсальные модели, определяющие характер государств, организаций и индивидуумов (Boli and Thomas 1997; Meyer et al. 1997; Meyer 1999). Приверженцы этой теории утверждают, что универсальные кон-

цепции личности, прогресса, суверенитета и прав человека складываются, развиваются и формируют образ действия государств, социальных групп и индивидуумов, обеспечивая общую основу для разрешения глобальных проблем. Хотя такой подход признает за национальным государством роль главного политического актора, однако отстаивает в сущности транснациональную модель, в рамках которой общая идеология проникает сквозь национальные границы и убеждает все государства в целесообразности проведения той или иной политики. Хотя эти представления носят характер формирующейся всеобщей идеологии, в них есть здравый смысл. Это некая смесь полезных практик и институтов, достойная всемирного применения в широком контексте нравственных ценностей либерализма, которые выходят из идей эпохи Просвещения, хотя такой взгляд, пожалуй, слишком евроцентричен. Излишняя прагматичность и рассудочность этой смеси делает ее лишь наполовину идеологией, не слишком трансцендентной или имманентной. К тому же такой сценарий представляется слишком оптимистичным. Он предполагает, что мы справимся в конце концов с изменениями климата, как справимся и с другими политическими проблемами.

До сих пор, анализируя события большей части XX в., особых поводов для такого оптимизма я не находил. Вероятно, главными идеологиями этого периода были либерализм, социализм и фашизм, но тот факт, что все они в той или иной степени вышли из общей традиции эпохи Просвещения, никак не удержал их от взаимного уничтожения всеми возможными средствами. С 1950-х гг., по мере того как войны между народами становились более редкими, а классовые конфликты — менее острыми, теория мирового управления стала чуть более реалистичной. В самом деле, на фоне тиражирования международных организаций — от научных ассоциаций до ведомств ООН, от глобальных агентств по стандартизации до феминистских и экологических НПО — многие страны мира сформировали ряд общих институтов. Как утверждают теоретики мирового управления, к началу XXI в. сформировалась как базовый элемент нарождающегося планетарного сообщества единая глобальная культура в виде некоего набора сценариев поведения, которому должны следовать все страны мира. Предполагается, что глобальное политическое, культурное и социальное устройство, не привязанное более к Западу, является наследием всего человечества и закреплено на мировом уровне институционально. Однако, как мы уже видели, одним из подобных сценариев поведения стала политика неолиберализма, не способствующая ни социальной гармонии, ни усилиям по борьбе с климатическими изменениями.



Разумеется, такие агентства и движения существуют и действительно пользуются известным влиянием. Так, глобального успеха достигла гендерная политика. Международным НПО удалось найти формы взаимодействия, позволяющие им умело отстаивать свои взгляды. Феминистские НПО сместили фокус критики с дискриминации женщин (что в разных культурах трактуется по-разному) на физическое насилие в отношении женщин, которое осуждается практически во всех культурах, и это принесло им огромный международный успех. При этом их кредо — постоянная борьба, а не просто узаконивание глобальных сценариев поведения. Оказывая давление на такие международные организации, как ООН, международные НПО также рассчитывают на эффект бумеранга, то есть ответное давление ООН на государства, упорствующие в нежелании ослабить действующие ограничения (Keck and Sikkink 1998). В сфере борьбы с сексуальными преступлениями страны мира, очевидно, следуют единому глобальному сценарию поведения. Так, по взаимному согласованию большинство стран внесло поправки в свои кодексы, ужесточающие наказания за изнасилование и сексуальное насилие над детьми (особенно в 1980–2000 гг.), оставив при этом наказания за адюльтер и содомию без изменения (особенно в 1960–1990 гг.), хотя бывали и исключения (например, Иран, в этой связи попавший в заголовки газет и журналов). По мнению исследователей (Frank et al. 2010), это свидетельствует о росте всемирной культуры, которая создается индивидуализированными и сформировавшимися личностями, которые утверждают за счет традиционных семейных и национальных ценностей. Однако мнение Джона Майера о едином сценарии поведения государств в сфере социального обеспечения не представляется мне обоснованным, как мы убедились в главах 6 и 11).

Из перспективы мирового управления рассматривается и экологический активизм. Бромли с соавторами (Bromley et al. 2010) проанализировал содержание примерно 500 учебников (по таким предметам, как история, обществоведение и гражданские права), в 1970–2008 гг. изданных в 69 странах для детей в возрасте 11–18 лет. Ученые пишут, что за этот период инвайронментальная тематика в учебниках существенно расширилась, большинство вопросов касалось уже глобальных, а не национальных проблем экологии, растущее внимание стали уделять обсуждению универсальных прав человека. При этом наибольшую озабоченность указанными проблемами демонстрировали учебники в развитых странах, а наименьшую — в советских и постсоветских странах. Особенный интерес у социологов вызвала глобальная тенденция к преодолению национальной огра-

ниченности. Однако приводимые ими факты доказывают, что изменения в учебные тексты были внесены по настоянию ученых, преподавателей и администраторов, причастных к работе образовательных институтов. Как мы уже убедились, именно этот сегмент и эти профессии составляют ядро экологического движения. Хотя авторы исследования настаивают на том, что учебники отражают факт развития глобальной культуры, а не давление со стороны активистов, конкретные данные показывают обратное: изменения были продиктованы научной и этической убежденностью энтузиастов. Представлять инвайронментализм лишь как один из элементов целостной общемировой культуры и мировых институтов было бы неверно. Это течение находится на подъеме, обладает мощным этическим зарядом и может стать одной из наиболее значимых идеологий нашего времени. При этом инвайронментализм оказался бы лишь второй действительно значимой идеологией, созданной в XX в. (после фашизма), однако пока что особого успеха эта идеология не достигла (и вспомните, что произошло с фашизмом).

Налицо серьезные слабости инвайронментальных движений. В них почти не представлены ни капиталистические «хищники», ни рабочий класс. В странах глобального Севера экологический активизм не смешивается с классовой борьбой. Профсоюзы по-прежнему озабочены сохранением рабочих мест и опасаются, что политика зеленых приведет к их сокращению. В обозримом будущем экологическому движению придется выработать совершенно иные пути, нежели те, по которым двигались предыдущие радикальные и социалистические идеологии. В странах глобального Юга зеленое движение порой имеет иную направленность. Там, в глубинных районах, часто наблюдается подъем крестьянских движений, спровоцированных действиями правительств и крупных корпораций — строительством дамб и вырубкой лесов, — разрушающих среду обитания, уклад земледелия и основу жизни местного населения. Встречи в рамках Всемирного социального форума понемногу придают этим движениям черты глобальной организации. Однако их политическое влияние ограничено, за исключением андских стран, где в последнее время представительство коренных народов во властных структурах резко выросло. И все же общий вывод пессимистичен, поскольку правительства всех стран отдают предпочтение целям экономического роста.

В большинстве стран мира активисты экологических движений представлены скорее левыми, нежели правыми; исключением является Восточная Азия. Там инвайронментализм созвучен канонам традиционных религий этого региона — конфуцианству, буддизму и даосизму, отличающихся большим по-

чением к природе, чем христианство, иудаизм и ислам. Поэтому экологические движения на Востоке сильнее, чем на Западе, и в них в равной степени участвуют как левые, так и правые (Kern 2010). Тем не менее и на Западе численность защитников экологии, которые представляют весь политический спектр, постоянно растет. Этому во многом способствует правильный образ действий, который сочетает популяризацию итогов научных исследований, эмоциональное описание вреда, наносимого окружающей среде, угроз выживанию популярных видов животных (прежде всего белых медведей), а также идеализация природы. Кроме того, НПО подметили, что прежняя формулировка темы («Пределы роста») содержит негативную коннотацию (кто захочет ограничивать свой уровень жизни?), и перешли к словосочетанию «Устойчивое развитие», обладающему вдвойне положительной коннотацией.

Ведущий мировой тренд гласит: чтобы обеспечить устойчивое будущее, нам необходимо новое отношение к природе. В докладе Программы развития ООН (ПРООН) (UNDP 2007: 61) провозглашен моральный императив, в основе которого лежат универсальные идеи социальной справедливости, этической ответственности и рационального управления природными ресурсами. В мире, где людей нередко разделяют их верования, зеленые идеи способствуют преодолению религиозных и культурных различий. В докладе приводится известная поговорка американских индейцев «Мы не наследуем Землю от предков, мы берем ее в долг у наших потомков», а также подборка поучительных цитат из величайших религий мира. К неудовольствию сторонников ничегонеделания зеленые демонстрируют свое моральное превосходство над ними. Чтобы этому противостоять, предпринимаются попытки сместить акценты на обсуждение цены экологических программ и критику идеи «большого правительства». Это значит, идеологическая битва уже началась, пусть и не очень явно.

Зеленые пытаются сделать абстрактные идеи и научные проблемы частью повседневного морального действия путем призывов к сохранению лесов, переработке отходов, индивидуальной энергоэффективности и другим формам личного участия в сокращении негативных экологических последствий жизнедеятельности. Таким образом, индивидуальное действие становится действительно важным фактором. Если вместо автомобиля вы воспользуетесь велосипедом (или электромобилем), то не только повысите моральную самооценку, но и сведете к минимуму личное воздействие на климат. В отличие от отраслей, работающих на ископаемых видах топлива, и крупных промышленных потребителей простые граждане слабо влияют

на концентрацию парниковых газов, зато их давление на правительство в качестве избирателей трудно переоценить. По итогам международных опросов, одобрение экологических мероприятий составляет в среднем 75%, однако степень осознанной поддержки не столь высока (Scruggs 2003: глава 4). В ответ на электоральный запрос основные политические партии в Европе и Японии (но, увы, не в США) вступили в борьбу за право называться экологическими партиями. Впрочем, они больше говорят, чем делают, особенно в период экономической рецессии. Однако есть и исключения. В Австралии лейбористское правительство Гиллард, пойдя вразрез общественному мнению, впервые в мире установило налог на эмиссию углекислого газа. Данный налог, касающийся 500 крупнейших компаний, будет применяться наряду с системой квотирования эмиссий, которая по масштабам уступает лишь аналогичной системе, принятой в ЕС. Но смогут ли лейбористы удержаться у власти на следующих выборах?

В снижении нагрузки на природу одни страны преуспели больше, другие — меньше. Согласно рейтингу Центра экологической политики и права при Йельском университете (YCELP), рассчитанному по индексу экологической эффективности за 2010 г., передовыми в этом смысле являются Исландия, Швейцария, Коста-Рика и Швеция, за ними следуют большинство стран Западной Европы, Япония и Новая Зеландия плюс несколько бедных стран, таких как Маврикий, Куба и Колумбия. От них отстают Соединенные Штаты, занимающие 61-е место по соседству с Парагваем и Бразилией, но опережая Китай и Индию. Согласно данным об эмиссиях CO<sub>2</sub> за 2007 г., верхние позиции в рейтинге YCELP занимают бедные страны, где почти нет отраслей, загрязняющих экологию, а также Швейцария, Скандинавские страны и Франция, использующая энергию атомных электростанций. Далее по этому показателю выстраиваются Бразилия, оставшиеся западноевропейские страны и Япония. Соединенные Штаты занимают среди развитых стран, не считая Австралии, самую нижнюю позицию, но опережают Китай и Индию (данные доступны на веб-сайте <http://eri.yale.edu>). Контраст между двумя крупнейшими западными экономиками — Германии и США — колоссальный. Если в Германии партия зеленых возобладала в ряде региональных правительств и смогла обуздать энергетические компании, то в США движение зеленых не добилось ни того, ни другого, и в настоящее время его влияние ослабевает. Как мы увидим далее, все больше усиливаются идейные расхождения на национальном и региональном уровнях. Единого глобального сценария в поведении зеленых не просматривается.

В этом многообразии, однако, выделяется один сюжет. В своем исследовании Скраггс (Scraggs 2003: глава 5) отмечает, что в 1970–2000 гг. из членов ОЭСР наилучшие показатели имели демократии с высоким уровнем корпоративных отношений, сумевшие примирить интересы профсоюзных и предпринимательских организаций. Их представители были включены в структуру правительственных учреждений для выработки компромиссов по классовым вопросам. Для решения экологических проблем в ту же структуру были включены ученые и инвайронменталисты. Одновременное представительство крупнейших бизнес-организаций и профсоюзов исключает одностороннее лоббирование в интересах отраслей, больше всего теряющих от инвайронментальной политики, что является главным препятствием для зеленого движения в США. При развитом корпоративизме компромиссы между отраслями, в разной степени загрязняющими природу своими выбросами, достигаются еще до того, как их общая программа поступит на рассмотрение правительству и профсоюзам. В этом смысле самыми эффективными государствами были Германия, Швеция, Нидерланды, Дания, Австрия и Финляндия, тогда как наихудшие показатели имели три (фигурирующие в этом исследовании) либеральные страны: Великобритания, США и Канада (наряду с Италией и Испанией). Аналогично Озлер и Обах (Ozler and Ohbach 2008) обнаружили, что страны, высоко стоящие в рейтинге экономических свобод по индексу Freedom House, который может считаться критерием развитости неолиберализма, имели даже с учетом климатической зоны, степени урбанизации, подушного ВВП и объема экспорта плохие экологические показатели. Исследователи пришли к выводу, что чем свободнее рынок, тем хуже «экологическое поведение» его участников. Рост экономики и постоянное реинвестирующее, подстегиваемое рыночной конкуренцией, увеличивают степень эксплуатации ресурсов и объемы выбросов. Чем больше масштаб государственного регулирования экономики, тем меньше оставляемый ею экологический след. Чем больше стран проникаются идеями свободного рынка, тем труднее достичь устойчивости глобального развития.

Эти выводы внушают тревогу, поскольку в неолиберальную эпоху государственное регулирование зачастую считается вредным, особенно в Соединенных Штатах, которые хотя и оставляют наибольший «экологический след» (в расчете на душу населения), однако сильно тормозят с договоренностями по экологической ситуации (Speth 2008: 73). США забыли о своей традиции сохранения дикой природы, которая всегда была популярной темой в американской культуре. Демократы

времен «нового курса» выступали за рациональное использование природных ресурсов и охрану национальных парков, и эту традицию продолжали все администрации вплоть до Никсона. В 1970–1972 гг., то есть в президентство Никсона, были приняты закон о чистом воздухе и закон о чистой воде. Однако дальше этого дело не пошло. И хотя большая часть экологического законодательства осталась в силе, последующие администрации ослабили контроль за его исполнением.

Главными оппонентами предложений по ограничению вредных выбросов, особенно в США, остаются некоторые отрасли бизнеса. Среди них лидируют энергетическая, горнодобывающая и нефтегазовая отрасли при поддержке крупных корпоративных потребителей, таких как автомобилестроители и сельхозпроизводители. Эффективные меры по снижению вредных выбросов грозят уменьшить их прибыли, поэтому они готовы всерьез потратиться, лишь бы избежать последствий такой политики. Мало того, умами республиканских политиков начал овладевать (пагубный для экологии) рыночный фундаментализм, проповедуемый консервативными интеллектуалами. Консерваторы выступали против сексуального просвещения, контрацепции и аборттов, то есть являлись, по сути, сторонниками увеличения рождаемости. Со своей стороны в пользу программ государственного контроля над рождаемостью сомневались и многие американские либералы, выступавшие в защиту прав личности. Для глобальной экологической ситуации это не предвещало ничего хорошего (Hulme 2009: 274–275; Kamiński 2006: глава 4, 6). Действительно, к 2012 г. умеренные республиканцы почти полностью утратили свое влияние, после чего кандидаты в президенты США принялись состязаться в дискредитации самого понятия «изменение климата». Мало того, в энергетике ими была намечена новая цель — ресурсная независимость США. Это означало ликвидацию зависимости от импорта нефти, то есть предполагало эксплуатацию национальных природных ресурсов в виде сланцевого газа из недавно открытых месторождений. В этом американские политики усматривают один из способов укрепления национальной безопасности, что ныне считается их священным долгом. Однако в действительности это будет означать гибель нашей планеты.

Противники зеленых из числа политиков и бизнесменов не оспаривают целей инвайроментального движения как такового. Вместо этого они дискредитируют тезис о глобальном потеплении, называя его блефом. Предпочитая не обсуждать экологию, бизнес просто финансирует кандидатов — противников принятия законов о выбросах в рамках широкой политической программы правых. Кроме того, бизнесмены создали собствен-

ные промышленные инвайронментальные группы, однако само их название противоречит их миссии. Основываясь на мнении их собственных «купленных», ручных ученых, эти группы спекулируют на отсутствии научного консенсуса и подчеркивают потерю многих рабочих мест и огромные затраты, которыми чревата реализация предложений по контролю за выбросами (в последнем они правы). До 2007 г. консервативный мозговой центр — Американский институт предпринимательства — предлагал гранты в 10 тыс. долл. любому, кто напишет скептический научный доклад об изменении климата (Newell and Paterson 2010). Псевдозеленые группы отвергают концепцию «большого правительства» и призывают в целях укрепления национальной безопасности увеличить добычу энергоносителей на территории США. Это сопровождается выделением миллиардов долларов на финансирование кампаний по избранию консервативных политиков, дискредитации «зеленых» кандидатов и ведению тяжб с государственными экологическими агентствами. В итоге псевдозэкологическое лобби не только влияет на законодательную повестку Конгресса, но и препятствует государственным ведомствам в реализации принятых законов. Так, Агентство по охране окружающей среды (*Environmental Protection Agency*) выступило «посредником, который распределяет льготы и квоты, подсчитывает затраты и выгоды и принимает гибкие решения в интересах бизнеса» (Miller 2009: 57). В дальнейшем республиканские президенты и конгрессмены не принимали мер по изменению ситуации, а попытки демократов (в лице Клинтона и Гора) были заблокированы республиканским большинством в Конгрессе.

Тем не менее озабоченность состоянием окружающей среды возрастала и подогревалась скандалами вокруг экологических катастроф. Достаточно вспомнить скандалы вокруг таких экологических катастроф, как загрязнение в Таймс-Бич (штат Миссури) в 1982 г., бедствие в Лав-Канал (штат Нью-Йорк) в 1972 г., авария на атомной станции на Трехмильном острове 1979 г. и разлив нефти из танкера «Эксон Валдес» в 1989 г. Переключив внимание на локальный уровень и отдельные штаты, зеленые добились принятия соответствующих нормативов. В 1990-е и 2000-е гг. обязательные нормативы по снижению вредных эмиссий были приняты в каждом третьем американском штате. Вскоре американские корпорации осознали нерентабельность соблюдения разрозненного эмиссионного законодательства, различавшегося от штата к штату. Предчувствуя неизбежность принятия федерального закона, они начали вносить собственные предложения. Как правило, предлагаемые меры были не слишком жесткими и больше ориентировались

на сохранение рентабельности бизнеса. Все это делалось для того, чтобы занять место за столом переговоров, когда начнется обсуждение законопроекта. Бизнес с низким уровнем выбросов был готов принять обязательства, предусмотренные Киотским протоколом. Бизнес в целом был готов поддерживать умеренную программу ограничений и торговли эмиссионными квотами. Некоторые венчурные компании надеялись использовать предложенные квоты на выбросы и другие реформы в качестве инструментов по извлечению прибыли (Miller 2009: главы 3–6; Kamieniecki 2006; Kraft and Kamieniecki 2007). Еще меньше причин опасаться ужесточения экологических законов имеют компании с низким уровнем выбросов — ретейлеры типа *Walmart*, банки и многие другие, расходы которых в связи с этими законами практически не растут. И верно, в первые годы нового тысячелетия руководители крупнейших компаний, по-видимому, приближались к компромиссу по выбросам углекислого газа (Newell and Paterson 2010: глава 4). Сто руководителей крупнейших мировых корпораций — участниц Всемирного экономического форума направили участникам саммита G8 краткий доклад, призывая добиваться большего сокращения эмиссий, чем требовал Киотский протокол. Авторы доклада выразили поддержку общественным и частным инициативам, направленным в основном на применение инновационных технологий. Непредвиденным благом рецессии 2008 г. стала перестройка американских автомобилестроительных компаний. Получив в июле 2011 г. огромные государственные субсидии в рамках программы антикризисных мер, они согласились перейти на более жесткие стандарты топливной эффективности, против которых ранее боролись не жалея сил.

Буш-младший и Республиканская партия заняли в отношении экологии весьма консервативную позицию. Под давлением отраслевых групп и консервативно настроенных республиканцев Буш-младший отказался от прежних обещаний регулировать эмиссии CO<sub>2</sub> и вывел США из-под действия Киотского протокола (Suskind 2004: 127). Специальная комиссия по энергетике во главе с вице-президентом Чейни рекомендовала увеличить добычу ископаемых видов топлива и выделить нефтегазовым компаниям миллиардные субсидии. Эти предложения были ратифицированы Конгрессом. Политические назначенцы администрации, возглавившие такие организации, как Управление по охране окружающей среды (EPA), Лесное управление, Министерство по природопользованию и Министерство сельского хозяйства, подорвали эффективность экологического контроля, отработывая щедрые пожертвования в избирательный фонд Буша-младшего, сделанные энергетической, сельскохо-



зяйственной и лесной отраслями. Тем не менее к 2006 г. Конгресс начал реагировать на научный консенсус. Лидеры сената приступили к разработке предложения, которое могло бы удовлетворить бизнес и большинство в Конгрессе. В 2007 г. Бушу пришлось смириться с постановлением Верховного суда, возложившего на ЕРА ответственность за изменение климата. Президент согласился раскрыть больше информации федеральных агентств, касающейся изменения климата, и в 2008 г. обещал поддержать ограничение суммарного объема выбросов на федеральном уровне, хотя и сделал множество оговорок, выхолостивших это обязательство. Поскольку в экологическом плане демократы были решительнее, а результаты большинства опросов (как и в большинстве других стран) давали устойчивую, хотя и неглубокую поддержку «зеленых» реформ, первоначальные намерения президента Обамы были гораздо ближе к запросу зеленых. Однако Великая неолиберальная рецессия и республиканское доминирование в Конгрессе 2010 г. сделали так, что в краткосрочной перспективе дальнейший прогресс оказался невозможен. Действительно, в 2010 г. несколько крупнейших корпораций, таких как BP, ConocoPhillips и Caterpillar, вышли из «Американского партнерства за сохранение климата», ведущей предпринимательской НПО, отстаивающей идею ограничения вредных выбросов и схему торговли эмиссионными квотами.

Большого прогресса достигли другие страны ОЭСР, где с конца 1990-х гг. действовали такие меры, как регулирование, ограничение и налогообложение выбросов и торговля эмиссионными квотами. Киотский протокол был подписан в 1997 г., но вступил в силу лишь в 2005 г., когда был ратифицирован достаточным числом стран. Мировым лидером в экологических вопросах последовательно выступал Европейский союз, полностью ощутивший транснациональный характер вредных выбросов после того, как радиоактивные осадки после ядерной катастрофы в Чернобыле выпали на территории многих европейских стран. ЕС предложил к 2012 г. снизить уровень эмиссий в среднем на 15% к уровню 1990 г., хотя Киотское соглашение предусматривало снижение лишь на 5,2%. Выход США из Киотского процесса в 2002 г. оказался тяжелым ударом еще и потому, что отныне судьба протокола зависела от участия России, получившей шанс выторговать для себя минимальные требования. Общий объем вредных выбросов, приходящийся на страны — участницы Киотского протокола, сократился с 66 до 32% от уровня 1990 г. В период действия принятых соглашений (2008–2012 гг.) те страны, эмиссионный уровень которых будет ниже предоставленной квоты, смогут продавать

эмиссионные кредиты странам, превысившим свою квоту. Развивающимся странам экологических требований не предъявлено, но рекомендовано представить предложения в рамках механизма чистого развития, реализуемого под началом ООН, что дает им право на получение эмиссионных кредитов, которые они могут затем продавать странам ОЭСР. Поскольку механизмы контроля за исполнением слабы, большинство участников соглашения не торопятся сокращать выбросы. Однако, как ни парадоксально, это компенсируется снижением выбросов в результате распада экономик бывшего советского блока. С точки зрения климатических изменений экономическая рецессия оказалась благом.

ЕС ввел обязательную практику торговли эмиссионными квотами. Введение обязательного налога на эмиссию CO<sub>2</sub> обсуждалось, но было отклонено под давлением Великобритании. В 2005 г. начала действовать Европейская система ограничений и торговли эмиссионными квотами (ETS). На первом этапе она была слишком мягкой для бизнеса и государств, получивших право заключать сделки на собственных условиях. Началась «игра на понижение», когда государства в угоду национальному бизнесу выдавали слишком много эмиссионных кредитов. Однако на втором этапе, начавшемся в 2007 г., условия были ужесточены (Skjaereth and Wettestad 2009). В 2008 г. выбросы в Европе снизились на 3%; 40% от этого снижения было достигнуто за счет торговли эмиссионными квотами (на долю рецессии пришлось 30%). Теперь ЕС заявил, что сможет выполнить свои обязательства по Киотскому протоколу (European Environment Agency 2009). В настоящее время происходит его дальнейшее ужесточение, в частности, за счет расширения надзорных полномочий Европейской комиссии, сокращения целевых показателей и введения квот на сжигание авиационного топлива. Последние действуют в отношении всех авиакомпаний, совершающих полеты в Европу, на протяжении всех таких полетов. Европейская комиссия является «транснациональным квазигосударственным организмом», контролирующим деятельность 27 стран, что с точки зрения климатической политики становится преимуществом, которого нет ни в каком другом регионе мира. «Цель Европейского союза — вести мир по пути скорейшего перехода к экономике с низким уровнем эмиссии CO<sub>2</sub>», — смело заявил Хосе Мануэль Баррозо, являвшийся в 2007 г. председателем Европейской комиссии.

Итоги конференции ООН по изменению климата в Копенгагене (декабрь 2009 г.) заставили ЕС спуститься с неба на землю. Причина в том, что итоговое соглашение, подготовленное ли-

дерами США и Китая, не являлось юридически обязывающим документом. Чтобы рост глобальных температур по сравнению с доиндустриальным уровнем ограничился двумя градусами Цельсия, итоговое соглашение рекомендовало, но не обязывало страны снизить уровень выбросов. Поскольку оно не содержало конкретных обязательств либо сроков их исполнения, большинство стран не стало его подписывать, а просто приняло к сведению. В нем развивающимся странам для адаптации к изменениям климата была обещана (на период 2010–2012 гг.) помощь в размере 30 млрд долл., которую к 2020 г. планировалось довести до 100 млрд. От предложений по дальнейшему снижению выбросов участники отказались. Отдельные страны опубликовали собственные обязательства по снижению эмиссий при условии, что будет достигнуто общее соглашение, но поскольку этого не случилось, осталось не ясно, будут ли выполняться эти обязательства. Итоги Копенгагена можно охарактеризовать как нечто среднее между разочарованием и катастрофой. Как и ожидалось, участники следующей конференции, состоявшейся в 2010 г. в Канкуне, мало чего достигли, причем даже в сфере публичности, поскольку мировые СМИ это событие проигнорировали. Там было принято решение о выделении бедным странам ежегодной помощи в размере 1 млрд долл., однако источники финансирования обозначены не были.

Большого оптимизма история последних лет инвайронменталистам не внушает. По состоянию на 2010 г. мы имеем гору подписанных документов, остающихся юридически необязательными декларациями принципов; договор по климату, не защищающий от климатических изменений; соглашение о недопущении отказа от сертификации, где лишь перечислены масштабы бедствия; морское право, не препятствующее ни загрязнению морей, ни истощению запасов рыбы. Копенгаген стал крахом для амбиционных планов ЕС, который рассчитывал получить соглашение о разделе «углеродных бюджетов» на период до 2020 г. и далее. Однако зайти столь далеко не позволили себе ни США, ни Китай, ни страны БРИК, ни нефтедобывающие страны. До этого США и арабские нефтедобывающие страны дважды срывали попытки установить целевые показатели с конкретными сроками исполнения (Jaggard 2007: глава 6). В 2011 г. стало известно, что крупнейшие развивающиеся страны, теперь сами имеющие высокий уровень выбросов, из прагматических соображений ведут закулисные переговоры с развитыми странами — рекордсменами по эмиссиям — с целью отсрочить принятие международных конвенций. В итоге максимум, что можно сказать о существующих обязательствах и экологических программах, это то, что они представляют со-

бой начальную стадию процесса. Однако сегодня этого явно недостаточно.

Каждый год промедления с принятием количественных обязательств — это дальнейший рост ВВП и уровня выбросов, что в будущем потребует еще более радикальных реформ. Сегодня есть сомнение в том, что выбросы удастся стабилизировать на нынешнем уровне 450 ppm CO<sub>2</sub>. В докладе Стерна (The Stern Review 2007: 475) говорится, что в развитых странах выбросы, чтобы закрепиться на уровне 450 ppm, должны в ближайшие десять лет миновать свои пиковые значения, а затем ежегодно снижаться не менее чем на 5%, с тем чтобы к 2050 г. достигнуть 70–90% от уровня 1990 г. Там же сказано, что эта цель практически уже недостижима. По оценке авторов доклада по Программе развития ООН (UNDP Report 2007: 43–51), затраты на стабилизацию выбросов на уровне 450 ppm CO<sub>2e</sub> должны до 2030 г. составить 1,6% мирового ВВП (менее двух третей от мировых военных расходов). При этом к 2050 г. снижение объемов выбросов парниковых газов составило бы 50% от уровня 1990 г. Стерн считает, что стабилизация эмиссий на уровне 550 ppm CO<sub>2e</sub> возможна лишь при условии, что их пиковые значения придутся на ближайшие 10–20 лет, после чего они начнут снижаться на 3% в год, и тогда к 2050 г. выбросы составят лишь 60% от уровня 1990 г. Весь вопрос в том, как это сделать. Гилдинг (Gilding 2011) убежден, что необходимы более радикальный план и новая многоэтапная процедура. На первом этапе (в течение 5 лет) достигается 50%-е снижение глобальных выбросов. На втором этапе (в течение 15 лет) достигается снижение эмиссий до нулевого уровня. И третий этап представляет собой рассчитанную на восемь лет программу удаления из атмосферы объема выбросов, достаточного для возврата к их доиндустриальному уровню. Все эти прогнозы предусматривают радикальный поворот к сокращению мирового производства и потребления, а также, возможно, прекращение экономического роста и создание некоей модели стационарной экономики.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ: ЭСТАТИСТСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2007 г., представляя сенату США свой доклад о состоянии экологии, экономист Николас Стерн заявил, что «изменение климата стало величайшим провалом рынка в истории человечества», поскольку загрязнение атмосферы рассматривалось рыночными акторами в качестве внешнего. Если завод загрязняет окружающую среду, то сами выбросы и издержки на их устра-

нение являются для фирмы внешними, то есть общественными, издержками, которые им ничего не стоят. Поскольку внешние общественные издержки в балансах компаний не отражаются, они не видят причин отказываться от загрязнения окружающей среды. Более того, всякий раз, когда дефицитный ресурс (каким является воздух, которым мы дышим) будет обходиться им даром, они будут такой возможностью злоупотреблять. Наихудшим источником загрязнений является уголь. По некоторым оценкам, связанные с углем внешние издержки эквивалентны 70% его рыночной цены. Поэтому, если бы угольщики обязаны были компенсировать обществу наносимый ими ущерб, то стоимость угля выросла бы почти вдвое. Для потребителей это стало бы серьезным стимулом в пользу перехода на более экологичные источники энергии, а для энергетической отрасли — в пользу диверсификации деятельности с использованием энергии таких источников. Единственной силой, способной это организовать, является государство.

Государства регулировали капитализм с самого момента его возникновения, и, как подчеркивает Поланьи, регулирование принимает различные формы. Это может быть, например, надзор за соблюдением безопасности на производстве, введение протекционистских тарифов, легитимация и регулирование деятельности профсоюзов, регистрация корпораций как юридических лиц. Экологические вызовы требуют дальнейшего расширения государственного регулирования, но на этот раз в сочетании с его международной координацией, поскольку выбросы в отдельных странах влияют на планетарный климат. Если выбросы не знают государственных границ, а международные НПО — наполовину транснациональные, то регулирование законодательства должно быть интернациональным. Вот почему в развитии человеческих обществ необходим крупный сдвиг. Если до сих пор «окультуривание» капитализма происходило путем его регулирования на уровне отдельных стран, защищавших себя национальными барьерами, то на следующем этапе развития цивилизации эти барьеры должны быть максимально снижены. Дело в том, что для государств изменение климата также является внешним фактором.

Краеугольным камнем политики, сколь бы неэффективной она до сих пор ни была, должны стать постановка и мониторинг плановых заданий по снижению выбросов для некоего минимума стран с максимальными выбросами. Заключение таких юридически обязательных международных соглашений значительно усилило бы роль мягкой геополитики в отношениях между странами. Без этого загрязнение атмосферы усилиями других стран окажется столь масштабным, что страна, са-

мостоятельно вводящая у себя налог на эмиссию CO<sub>2</sub>, в плане международной конкуренции попадет в невыгодное положение. Проблема безбилетника весьма серьезна, так как при снижении эмиссий другими государствами любая страна, поскольку она все равно от этого выигрывает, может предпочесть бездействие. Пусть расходы берут на себя другие, а пользу мы получим наравне со всеми (Nordhaus 2008). Вот почему существующие протоколы не вступают в силу до тех пор, пока их не ратифицирует определенное количество стран. Для этого требуется сузить полномочия отдельного национального государства и расширить полномочия совокупности национальных государств. Необходимо снизить национальные барьеры и повысить уровень международного сотрудничества.

Разумеется, эта задача чрезвычайно трудна. Если разногласия во внутренней политике обычно разрешаются большинством голосов в парламенте либо правящими элитами, то международные соглашения требуют почти полного единогласия по крайней мере в группе стран с максимальными объемами выбросов. Это Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония, Китай, Индия и Россия, а подлинно эффективный протокол потребовал бы присоединения гораздо большего числа стран. Диверсификация интересов, представленных в совокупности присоединившихся стран, гораздо шире интересов отдельного национального государства. Во многих странах процесс ратификации международных договоров предусматривает их утверждение парламентом, который зачастую мало интересуется мировыми проблемами. В США ратификация международного договора возможна лишь после того, как сенат одобрит его двумя третями голосов, что в наше время является значительным препятствием. Организации, занятые экологическими проблемами, в том числе в рамках ООН, — одни из наиболее слабых и плохо финансируемых международных организаций. Из-за этого снижается эффективность регулирования, а ведь оно могло бы покрыть 80% экологических проблем. Из тех, в отношении кого применялось бы это регулирование, 80% попытались бы его реализовать. Вероятность его успешной реализации также составила бы 80%. Это было бы неплохим итогом, если бы не расчеты, показывающие, что регулированием на деле охвачены лишь 50% экологических проблем (Speth 2004: 103–105; 2008: 84).

Принято различать два типа политики — государственническую и рыночно ориентированную, хотя я бы не стал преувеличивать разницу. Первая предполагает прямое регулирование путем установления национальных и международных квот на эмиссию и энергопотребление на основе обязательных энергетических стандартов для компаний, зданий, электроприбо-

ров, автомобилей, самолетов и т.д. Кроме того, эта политика ориентирована на финансирование разработки чистых технологий за счет государственных средств. Преимущество директивного регулирования заключается в том, что оно предусматривает прямое взимание штрафов за наиболее вредные виды выбросов независимо от конъюнктуры рынка. Кроме того, директивное регулирование может стимулировать отрасли с высоким уровнем выбросов, такие как топливная, энергетическая и автомобильная, к диверсификации в пользу чистых топливных технологий или технологий возобновляемой энергии (ветроэнергетики, гидроэнергетики или источников, использующих энергию биомассы). Указанные в директивах конкретные сроки исполнения и размеры штрафов дают инвесторам четкое представление о рентабельности инвестиций в новые технологии и о сроках их разработки. При этом правительства могут планировать деятельность научно-исследовательских организаций, занятых разработкой технологии снижения наиболее вредных эмиссий. Если бы страны ОЭСР и БРИК серьезно отнеслись к выполнению своих обязательств и их примеру последовали некоторые развивающиеся страны, этого бы вполне хватило для нейтрализации большинства выбросов.

Радикальное предложение поступило от климатолога Оксфорда Майлза Аллена. Он предлагает возложить на нефтегазовые и угольные компании все затраты по утилизации объема двуоксида углерода, который выделяется при сжигании поставляемого ими ископаемого топлива. По его словам, «окись углерода поступает в Европу через пару десятков скважин, трубопроводов и морских терминалов, а выходит через сотни миллионов дымоходов и выхлопных труб. При этом климатическая политика Европы нацелена на то, чтобы контролировать этот поток в точке эмиссии. Это как закачивать воздух в губку и пытаться удержать его, затыкая дырки» (*The Independent*, October 7, 2010). Ученый отмечает, что его способ не потребует большого государственного участия, скорее наоборот. Впрочем, ввиду политической власти затрагиваемых отраслей подобный сценарий крайне маловероятен.

Большой отклик необходимость экологического регулирования находит у рядовых граждан. Оно уже заполнило нашу жизнь, и миллионы людей на местах участвуют в рациональной утилизации отходов, ликвидации последствий утечки нефтепродуктов, охране редких видов фауны и флоры, а также заповедников в странах глобального Севера и Юга. Для рядовых граждан природоохранное законодательство, вероятно, более приемлемо, нежели новые экологические налоги, и более понятно, чем хитроумные схемы торговли эмиссионными квота-

ми. В США уже действуют штрафы за превышение нормативов содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, что соответственно стимулирует автомобилестроителей. Введение в странах ЕС обязательной маркировки энергоэффективности холодильников вызвало мгновенный отклик потребителей: теперь они предпочитают более энергоэффективные модели. Домохозяйства производят 35–40% всех выбросов CO<sub>2</sub>, и, возможно, от смягчения экологической нагрузки они понесут наименьшие потери (UNDP 2007: 136–170).

В томе 3 я утверждал и продолжаю утверждать, что государственное руководство экономикой относительно эффективно там, где цель понятна и проста, а средства ее достижения прозрачны. Так было в периоды мировых войн, когда целью экономики было производство орудий убийства. Так происходило и в случаях догоняющего развития, когда согласованной целью было внедрение технологий, уже освоенных более развитыми странами. Догоняющими могли быть как капиталистические (Япония и «тигры» Юго-Восточной Азии), так и социалистические страны (Советский Союз и Китай). Слабость государственного планирования проявляется при переходе к новому типу экономики. Однако главная цель политики по сохранению климата понятна и проста — снизить потребление ископаемых видов топлива и создать альтернативные энергетические технологии. Мерами государственного регулирования можно достичь этой цели без лишних сложностей, присущих рыночным формам управления. При этом частные фирмы, разрабатывающие новые технологии, могут рассчитывать как минимум на финансовую помощь государства.

Однако директивное управление имеет свои недостатки, особенно заметные при международном применении, поскольку в разных странах регулирующие структуры сильно отличаются друг от друга. Европейский союз может осуществлять регулирование в своей обширной зоне, но в глобальном масштабе верховный регулятор отсутствует. ООН слишком слаба, а прочие организации излишне специализированы. Достижение международных соглашений требует от стран больших переговорных усилий, поэтому им легче прибегнуть к альтернативным средствам (таким как налоги или торговля эмиссионными квотами), чем к регулятивному управлению. Особенно трудным является глобальный мониторинг исполнения международных соглашений. Не во всех странах уровни выбросов известны, другие страны, такие как Китай, отказываются от проведения международных инспекций. Репутацию частных агентств, специализирующихся на контроле эмиссий, подрывают коррупционные скандалы.



Так или иначе поскольку господствующей идеологией в настоящее время является неолиберализм, постольку особой популярностью в государственных структурах и среди экономистов, особенно у англоговорящих, пользуются прорыночные решения, делающие окружающую среду товаром (Hulme 2009: 298–304). Прорыночная политика предполагает установить глобальную цену выбросов  $\text{CO}_2$  выше ее текущей рыночной цены, с тем чтобы сами производители оплачивали социальные издержки продукции и имели стимулы инвестировать в новые технологии, снижающие эмиссию. Нордхаус (Nordhaus 2008) считает такую политику более эффективной, чем регулятивное управление, поскольку цена выбросов  $\text{CO}_2$  заставит миллионы людей и тысячи организаций, создающих эту проблему, осознать ее действительную цену. По подсчетам, необходимая сегодня цена эмиссии составляет примерно 25–30 долл. за тонну  $\text{CO}_2$ , но в дальнейшем она будет постоянно расти. Оценки экономистов разнятся в большую или меньшую сторону, однако практически все прогнозы исходят из радикального изменения ценообразования (Nordhaus 2008: 15–20; Stern 2007: 370).

Суть идеи состоит в том, чтобы расчет капиталистических прибылей и убытков стимулировал экологизацию производства. После первого шока высоких цен можно будет настроить конвейер прибылей так, чтобы он работал не на увеличение, а на сокращение выбросов. Этому примеру последует финансовый капитал в лице венчурных компаний, которые также начнут инвестировать в зеленые отрасли и продукты. Сторонники такой политики говорят, что капитализм обладает исключительной способностью к адаптации. Он проявлял ее в прошлом, проявит и в будущем. А поскольку другой экономической системы не существует, придется довольствоваться тем, что есть. Как отмечают Ньюэлл и Патерсон (Newell and Paterson 2010), некоторые венчурные капиталисты уже изобретают способы извлечения прибыли из «декарбонизации». Мне же более правдоподобным кажется, что с началом глубокого климатического кризиса внутри капиталистического лагеря возникнет раскол, и те, у кого уровень выбросов низкий, начнут бороться с теми, у кого он высокий. Эта борьба не обязательно будет носить классовый характер.

Существует два основных способа изменения стоимости выбросов  $\text{CO}_2$ : путем введения налога на выбросы и путем торговли эмиссионными квотами. В целях обеспечения глобального единобразия они дополняются снижением тарифных и нетарифных барьеров для экологически предпочтительной продукции. Поскольку налоги и тарифы суть прерогатива государства, такую политику нельзя назвать неолиберальной, так как она являет-

ся, по сути, разнообразностью смешанной экономики. Рассмотрим вначале налоги на выбросы  $\text{CO}_2$ . Введение налогов не гарантирует снижения эмиссий до конкретного уровня, так как результат зависит от реакции рынка на величину налога. Однако компании с высоким уровнем выбросов, если только им не удастся переложить удорожание своей продукции на плечи потребителей, получают рыночный стимул для постепенного перехода к более низкой эмиссии. Кроме того, обеспечить собираемость такого налога сравнительно нетрудно, однако его регрессивный характер отразится на малообеспеченных слоях населения. Позитивным аспектом является наличие широкой налоговой базы, которая даже при низкой ставке налога позволяет получить солидный доход. Этот доход может быть направлен либо непосредственно на экологические цели, либо на субсидирование населения стран, которые сильнее пострадают от повышения цен на энергоносители. Налоги на выбросы углекислого газа также окажут давление на международном уровне. Любая страна может ввести налог на импорт товаров, производство которых сопряжено с высоким выбросом  $\text{CO}_2$ , и таким образом оказать рыночное давление на иностранные бизнесы и правительства. ВТО подтвердила законность использования такого рода тарифов, хотя это может обнадежить протекционистов, препятствующих свободной торговле. К сожалению, мантрой в речах нынешних политиков является обещание не вводить новых налогов.

Система торговли эмиссионными квотами предполагает, что общий орган власти — национальное или региональное правительство либо международный орган типа ЕС — выдает компаниям разрешения на выброс углекислого газа. Ограничивающим фактором будет суммарный объем эмиссий парниковых газов, подлежащих распределению, распределение путем торговли предполагает возможность купли-продажи квот компаниями. Компания может либо снизить выброс парниковых газов, если квота не покрывает ее нужд, либо купить дополнительную квоту у компаний, располагающих излишками квот на выбросы. В теории фирмы, способные снизить эмиссии при невысоких затратах, так и будут поступать, продавая лишние квоты. В то же время фирмы, для которых снизить эмиссии будет не так легко, приобретут достаточно квот для покрытия своего уровня эмиссий. Затем суммарный объем разрешенных эмиссий будет постепенно сокращаться, так как ограничения будут ежегодно снижаться. Для компаний, поставляющих либо использующих ископаемые виды топлива, это будет стимулом для перехода на возобновляемые виды энергии. Наличие свободного рынка эмиссионных сертификатов позволит эффективно управлять экономическими стимулами при умеренных

затратах и низком уровне коррупции. В отличие от налогов продажа квот обеспечит снижение выброса парниковых газов до заданного объема. Ключевыми элементами системы торговли эмиссионными квотами являются уровень эмиссий, при котором вводится исходное ограничение, и градиент его последующего ежегодного снижения. При этом величина каждого последующего ограничения должна быть весьма ощутимой, иначе существенно снизить уровень эмиссий не удастся никогда.

Третий набор политических мер основан на идее обслуживания экосистем. Экосистемы (такие как болота и леса), обеспечивающие фильтрацию воды и впитывающие углекислый газ из атмосферы, приносят огромную экологическую пользу. Идея состоит в том, чтобы владельцы этих территорий получали субсидии на их охрану, а не пытались заработать, осушая болота под застройку или вырубая леса ради продажи древесины. Это позволит перераспределять средства в пользу владельцев земли, даже если они в большинстве бедные крестьяне. Однако такие схемы предполагают радикальное вмешательство в деятельность рынков. Хотя эти схемы, включая систему торговли эмиссионными квотами, формируют новые рынки, исходные параметры рынков устанавливаются политически. Неолиберальными такие схемы не назовешь.

Главным пороком неолиберализма является то, что он категорически осуждает вмешательство государства в дела бизнеса, тогда как влияние бизнеса на государство при нем возрастает. В итоге размывается суть всех описанных схем сокращения выбросов. Американские корпорации с высоким уровнем выбросов, а также торговые ассоциации финансируют лоббистские организации и политиков, оспаривающих выводы инвентаризационной науки и требующих сократить разросшийся государственный аппарат. Они делают вид, что обеспокоены состоянием окружающей среды. В рекламных роликах топливных компаний не увидишь черных нефтяных пятен — там одна лишь зеленая трава. В редких случаях бизнес открыто выступает против природоохранного законодательства, предпочитая действовать через комитеты и подкомитеты Конгресса. Там через подкупленных политиков и ученых он лишает экологические законы всей их остроты, а в другие законопроекты вписывает пункты о дерегулировании (Repetto 2007; Miller 2009: глава 2, 6). Сегодня главным препятствием для экологического смягчения в Соединенных Штатах является бизнес. Что касается потенциального раскола бизнеса на тех, у кого выбросы высокие, и тех, у кого они низкие, то таковой еще не возник. Джеймс Хансен (Hansen 2009) пишет, что, поскольку «особым группам интересов удалось подорвать нашу демократическую

систему», у нас будет лишь то законодательство, которое «допустят угольные и энергетические компании».

Топливные отрасли на самом деле являются частью государства, которое они критикуют. Отрасли с высоким уровнем выбросов получают огромные налоговые льготы, с учетом которых корпоративные налоги оказываются ниже среднего уровня налогообложения по стране. В США номинальная ставка корпоративного налога составляет 35%, однако в силу того, что большинство компаний получают освобождения от налогов и налоговые скидки, реальный средний уровень налогообложения по стране оказывается в два раза меньше. Наименьший налог, менее 2%, уплачивают оборонная и аэрокосмическая отрасли, которые со своими «прожорливыми» самолетами, кораблями и танками являются крупнейшими источниками загрязнений. Налоги по ставке ниже средней также платят транспортная, нефтяная, нефтепроводная, газовая и энергетическая отрасли (Institute on Taxation and Economic Policy 2004). Горнодобывающие компании США получают налоговые скидки на истощение недр в размере 5–22% от своей валовой прибыли, полученной от добычи и переработки сырья. В 2002–2008 гг. субсидии на ископаемые виды топлива составили 72 млрд долл., а на возобновляемые виды энергии было выделено лишь 29 млрд долл., причем половина суммы была потрачена на технологию производства этанола из кукурузы (климатический эффект от последней минимален). Из общей суммы субсидий, выделенных на ископаемое топливо, 70,2 млрд пошло на его традиционные источники, такие как уголь и нефть. И лишь 2,3 млрд пошло на «отвод углекислого газа в хранилища» — технологию закачки газов, вырабатываемых угольными электростанциями, в большие подземные емкости (Environmental Law Institute 2009). Будет ли эта технология рентабельной, остается только гадать — ни одной такой электростанции в мире еще нет. «Чистого угля», о котором трубили угольные корпорации, пока не существует.

Это не только американская проблема, поскольку все страны выделяют субсидии. По одной из оценок 2000 г., отраслям, работающим на ископаемых видах топлива, во всем мире ежегодно выделялись субсидии в размере 850 млрд долл., или 2,5% глобального ВВП (Speth 2008: 100). Реформа в этом секторе привела бы к потере рабочих мест и росту цен, что удерживает правительства от принятия практических мер. В сентябре 2009 г. лидеры G20 в принципе согласились постепенно отказаться от неэффективных субсидий, связанных с ископаемыми видами топлива. Было заявлено, что если к 2020 г. удастся полностью устранить эти субсидии, то к 2050 г. можно будет снизить общий объем эмиссий парниковых газов на 10%. Однако

этот принцип еще не реализован, хотя такая возможность есть. И пока существующий порядок обеспечивает энергетическим компаниям высокие прибыли, у них не будет стимула инвестировать в новые технологии. Теперь, когда частные инвестиции в проекты по созданию альтернативных источников энергии фактически снизились, мне трудно разделить оптимизм Ньюэлла и Патерсона (Newell and Paterson 2010). Большая часть инвестиций поступает из государственных фондов. Согласно одному исследованию из 14 проектов создания альтернативных источников энергии за последние 30 лет частным сектором был полностью профинансирован лишь один проект, тогда как исключительно государством — девять проектов. Затраты на подготовку ученых и инженеров также несет государство (Stern 2007: 353–355, 362–363). Для значительного снижения выбросов государствам следует существенно ужесточить отношение к отраслям, работающим на ископаемых видах топлива. Такая политика не носит антикапиталистической направленности и подчинена одной цели — наказать те отрасли промышленности, которые допускают наибольшие выбросы углекислого газа.

Бизнес предпочитает модель торговли эмиссионными квотами, которая предполагает меньше вмешательства в работу рынков. Он надеется повлиять на государство, с тем чтобы оно установило низкие эмиссионные ограничения, к которым он легко приспособится. Именно поэтому действовавшие до сих пор схемы были малоэффективны. Одна из проблем состоит в том, что отрасли с высоким уровнем эмиссий в некоторых странах воспринимаются зачастую как национальные чемпионы, побеждающие в международной энергетической конкуренции. Желая сохранить их высокую рентабельность, эти страны легко уступают отраслевому лоббированию. Кроме того, система торговли эмиссионными квотами чревата коррупцией при их распределении, хотя эта проблема разрешима. Следует лишь прибегнуть к продаже квот на аукционах, чтобы не правительства решали, кто именно их получит. Участник такого аукциона, предложивший лучшую цену, получит разрешение, а вырученные средства правительство теоретически сможет инвестировать в возобновляемые технологии. ЕС планирует перейти на систему аукционов в 2012 г.; вскоре его примеру последует Калифорния, взявшая на себя аналогичные обязательства. В северо-восточных штатах США такой аукцион уже действует, но не слишком эффективно. Коммунальные компании перекладывают дополнительные расходы на плечи потребителей, а администрации штатов используют вырученные средства не на возобновляемые источники энергии, а на снижение бюджетных дефицитов.

Поскольку жесткое регулирование, налог на выбросы  $\text{CO}_2$  и система торговли эмиссионными квотами должны по идее давать совокупный эффект, пропорция государственных и рыночных мер большого значения не имеет. Все эти меры требуют от правительства наложения радикальных ограничений на бизнес и потребителей. Вся разница лишь в механизмах. Гораздо важнее, чтобы бизнес, особенно энергетический, пошел на уступки. Однако это потребует смены политиков, что возможно лишь при массовом давлении общественности, что, в свою очередь, потребует изменения самого массового потребителя.

Я представил разные схемы, как если бы они были уже готовыми решениями. Увы, это не так. Все они — налоги на углекислый газ, торговля эмиссионными квотами и установленные государством ограничения — потребуют большого сдвига к возобновляемым источникам энергии. Однако попытка решения проблемы с помощью нынешних зеленых технологий потребует гигантских расходов. Глобальная экономика потребляет примерно 16 ТВт электроэнергии. Чтобы получить такую мощность, не прибегая к ископаемым видам топлива, а лишь за счет альтернативных технологий в их различных сочетаниях, потребуются гигантские индустриальные комплексы, занимающие громадные пространства. Так, площадь для размещения солнечных батарей требуемой мощности составит около 150 тыс. кв. миль, а территория, отводимая под различные виды биотоплива, превысит миллион квадратных миль. Разумеется, есть еще ветродвигатели, геотермальные источники и ядерные электростанции; можно «поиграть» с удельными весами каждого источника. Однако в целом размещение альтернативных источников энергии, созданных с помощью современных технологий, потребовало бы пространства, равного площади США. Теоретически это осуществимо, но практически едва ли возможно (Barnes and Gilman 2011: 48–49). Даже если эти технологии будут со временем усовершенствованы, то в отсутствие принципиально новых технических решений вся достигнутая экономия не сделает проект политически реализуемым.

Затраты на сокращение эмиссий можно сравнить с вероятным снижением ВВП и уровня жизни, к которым в конце концов приведет политика бездействия. В докладе Стерна (Stern 2007: 211; ср. OECD 2007) приводится расчет, показывающий, что затраты на удержание эмиссий  $\text{CO}_{2e}$  на уровне 500–50 ppm составят 1% мирового ВВП, однако делается оговорка, что диапазон затрат может составить от –1 до +3,5% чистой прибыли в год. В 2008 г. из-за ускорения изменений климата Стерн удвоил оценку затрат на реализацию предлагаемых им мер до 2% ВВП (*Guardian*, June 26, 2008). Другие экономисты для удержа-

ния эмиссий на прежнем уровне прогнозируют гораздо более высокие издержки (порядка 5%-го снижения ВВП). В докладе Стерна заявлено, что все затраты будут полностью компенсированы масштабным ростом мировой экономики в текущем столетии. Стерн предупреждает, что бездействие повышает риск рецессии и сокращения глобального ВВП на 20%.

К сожалению, политики и избиратели предпочитают избегать немедленных, сравнительно небольших затрат, не беспокоясь о гораздо больших затратах в отдаленном будущем, когда они не только не будут политиками, но и большинство их избирателей будут мертвы. Ставка дисконтирования — инструмент, позволяющий экономистам сравнивать текущие и будущие воздействия на экономику. Большинство экономистов применяют к будущему высокую ставку дисконтирования, поскольку люди ценят конкретику настоящего гораздо выше неопределенности будущего. Высокая ставка дисконтирования снижает привлекательность инвестиций в экологическое смягчение, поскольку их будущая доходность оценивается как сравнительно более низкая. Нордхаус (Nordhaus 2008: 10) определяет ставку дисконтирования, при которой инвестиции в снижение выбросов существенно возрастают на 4%. В докладе Стерна ставка дисконтирования, при которой эта политика себя оправдывает, составляет 1,4%. Авторы доклада обосновывают столь низкую ставку тем, что наука постоянно выявляет новые серьезные риски. Словно предвидя, что эти расчеты будут восприняты скептически, авторы подкрепляют их этической аргументацией — нашей ответственностью перед будущими поколениями. Они полагают, что ключ к решению проблемы лежит в нашей моральной ответственности и в понимании объективных рисков (Stern Team 2008; ср. UNDP Report 2007: 62–63).

К сожалению, сами по себе расчеты мало что значат. Затраты на создание альтернативного энергетического комплекса величиной с Соединенные Штаты будут непомерными и повлекут за собой сокращение ВВП гораздо большее, чем показывают любые расчеты. Если мы всерьез озаботимся изменением климата, то при нынешнем развитии технологий избежать резкого падения мирового ВВП не удастся. Мало того, главной целью политики климатического контроля должен стать переход на перманентно низкие темпы роста ВВП. Это единственный способ сохранить Землю, если только не появится доступная чудо-технология. Возможно, когда-нибудь это и произойдет, но надеяться на налоговые стимулы в деле создания такой технологии — значит ставить веру выше вероятности, веру в точно такие же технологические решения, которые и завели нас в нынешний тупик, как отмечают Barnes and Gilman (2011).

## ГРЯДУЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Главный вызов бизнеса господству исходит от небольшой группы экологических НПО. Во время киотских переговоров НПО получили официальную аккредитацию, которая хотя и не давала им права присутствовать на ключевых заседаниях наряду с государственными делегатами, но позволяла лоббировать в кулуарах, участвовать в групповых дискуссиях, проводить брифинги с делегатами и издавать ежедневную газету, освещающую актуальные события конференции. Бетсилл (Betsill 2008a) пишет: «Хотя позиции НПО не отражены в тексте Киотского протокола, в целом ряде случаев экологическое сообщество задавало тон переговорному процессу и тем самым действительно оказало на него некоторое воздействие». Однако, как полагают Хамфриз (Humphreys 2008: 169), максимальное влияние НПО на переговоры по вопросам сохранения лесов объясняется тем, что они высказали свои рекомендации в терминах дружественного бизнесу неолиберального дискурса. Бетсилл в своем обзоре различных исследований отмечает, что «влияние НПО было наибольшим, когда политические ставки были наименьшими... [и когда] речь не шла о серьезных обязательствах по смене курса» (Betsill 2008b: 203). Кроме того, относительно большим влиянием НПО пользовались на ранней стадии переговоров. Когда же началось обсуждение конкретных обязательств, их голоса потонули в хоре лоббистов, представлявших интересы бизнеса. Нередко в состав национальных делегаций на переговорах входят представители бизнеса, снимающие с повестки дня неудобные вопросы или иным способом добивающиеся сокращения обязательств, вносимых в проекты соглашений (Betsill 2008b: 193–194). Неравенство сил и преобладание бизнеса над инвайронменталистами объясняют низкую эффективность переговоров и заключаемых соглашений. Влияние зеленых носило более диффузный характер и больше сказывалось на мнениях партий и общественности, чем на формировании итоговой политической кристаллизации. Мировых рычагов управления так и не возникло.

Радикальные инвайронменталисты полностью отвергают техническую полемику о ставках дисконтирования. Они отмечают, что никакие ставки дисконтирования не учитывают необратимый ущерб, который тем временем наносится биологическому разнообразию (когда исчезают целые виды растений и животных) и государствам, территории которых расположены чуть выше уровня моря и могут уйти под воду. Изменение климата нарушает принципы устойчивого развития и управления



природными ресурсами, а также неотъемлемые права будущих поколений (Hulme 2009: 124–132; Hansen 2009). К сожалению, народы мира не готовы подчиниться абсолюту нравственного императива, а не рожденные поколения не голосуют. В период рецессии во всю мощь звучит лозунг борьбы с безработицей, и тут уж не до снижения эмиссий. Этим доводам консервативных политиков трудно что-то противопоставить. С наступлением Великой рецессии ослабло не только внимание СМИ к проблемам экологии, но и заинтересованность политиков и, как видно из опросов, общественная озабоченность состоянием природы. Респонденты нередко заявляют, что ради спасения планеты готовы пожертвовать уровнем жизни, однако, когда последний действительно оказывается под угрозой, они ведут себя иначе. Лишенный возможности потреблять, человек жаждет этого еще сильнее. Конечно, если бы мы были законченными эгоистами или жили одним днем, то вообще не стремились бы снизить климатическую нагрузку, поскольку на наш век столь серьезные ухудшения климата не придутся. Однако пока мы все еще заботимся о наших потомках, в принципе остается надежда, что нагрузка на климат начнет снижаться. Однако эта проблема носит слишком отвлеченный характер. Тяжких страданий в повседневной жизни она не причиняет, разве что беднякам в слаборазвитых странах, которые не в силах этому сопротивляться или привлечь к своим бедам наше чуть более пристальное внимание.

Впереди предстоит долгая политическая борьба, в ходе которой на государства, как хочется надеется, будет оказываться давление как снизу, так и извне (со стороны ученых, зеленых НПО и бизнеса с низким уровнем выбросов) с целью постепенного, год за годом нарастающего ужесточения требований к бизнесу и потребителям. Однако интересы людей заметно варьируются в зависимости от того, в каком уголке планеты они живут. Доля глобальных выбросов, приходящаяся на разные категории потребителей, далеко не одинакова.

Наименьшая вина лежит на глобальных бедных, уровень потребления и выбросов которых минимален, тогда как глобальные богатые загрязняют планету интенсивнее, поскольку гораздо больше потребляют. Лица с ежегодным средним доходом свыше 7 тыс. долл., как правило, превышают справедливые персональные пределы выбросов, составляющие 2 тонны CO<sub>2</sub> в год на человека. В эту группу «чрезмерного потребления» входит практически все население развитых стран, хотя из-за роста численности среднего класса в Индии и Китае количество потребляющих сверх меры в развитых и развивающихся странах теперь примерно сравнялось. Среди них мужчин предпо-

ложительно в два раза больше, чем женщин (Ulvila and Pasanen 2009: 22–26, 37–38). Таким образом, проблема не только в том, чтобы преодолеть оппозицию бизнеса. Необходимо преодолеть краткосрочные интересы как жителей стран глобального Севера, так и богачей других стран. В развитых странах снижение эмиссий, как ни парадоксально, сильнее ударит по бедным слоям населения, поскольку реализация большинства мер повлечет за собой рост цен на энергию, вырабатываемую электростанциями на ископаемых видах топлива. Дело в том, что менее обеспеченные слои населения тратят сравнительно большую долю доходов на обогрев жилья и бензин для автомобилей. Если бы США не отказались от внесенного Обамой законопроекта о торговле эмиссионными квотами, который предусматривал снижение выбросов на 15%, то расходы наименее обеспеченной пятой части американских семей выросли бы на 3,3% от их чистого дохода. Это почти вдвое больше тех 1,7%, на которые увеличились бы расходы наиболее богатой пятой части населения страны (*Wall Street Journal*, March 9, 2009). Если по справедливости, то, учитывая неравное бремя расходов на реализацию эмиссионных программ, нужен компенсаторный прогрессивный налог. Есть надежда, что его поддержат левые партии, тогда как консервативные партии скорее всего выступят против.

Изменение климата больше влияет на страны глобального Юга, нежели глобального Севера. Больше всех от климатических изменений страдают бедные страны. Робертс и Паркс (Roberts and Parks 2007: 71–96) собрали данные о более чем 4 тыс. стихийных бедствий, вызванных экстремальными погодными условиями в 1980–2002 гг. Как показывает исследование, максимально от стихий пострадало сельское население бедных стран, а прямые последствия (смерть, лишение крова, вынужденное переселение) для жителей этих стран были в 10–100 раз тяжелее, чем для жителей США (даже с учетом последствий урагана «Катрина»). Как точно подмечают авторы, «за изменение климата богатые страны платят долларами, а бедные — жизнями своих граждан» (Roberts and Parks 2007: 37). В докладе ПРООН сказано, что глобальное потепление угрожает в первую очередь беднякам и тем, кто еще не родился, то есть «двум категориям избирателей, которые либо почти лишены права голоса, либо пока его не имеют» (UNDP 2007: 2).

В бедных странах уже есть тенденция к потеплению климата, что сопровождается усилением неравномерности выпадения осадков. Это наносит ущерб сельскому хозяйству, от которого зависят доходы таких стран. Кроме того, низкий уровень здравоохранения и инфраструктуры существенно снижает возможности этих стран по ликвидации последствий кризисов. Не-

которым богатым странам, таким как Канада, скандинавские страны, Германия, Польша и Россия, глобальное потепление даже пойдет на пользу. Они смогут повысить урожайность, расширить пастбища к северу, сжигать меньше ископаемого топлива и привлечь больше туристов. Больше всех пострадают страны Латинской Америки, Ближнего Востока, за исключением Египта, и особенно Африки и Южной Азии. Кроме того, у богатых стран больше ресурсов, чтобы приспособиться к угрозам. Нидерланды уже давно тратят громадные суммы на строительство дамб против наводнений. То же самое, возможно, сделают Великобритания, прибрежные районы Флориды и Калифорния, по крайней мере я на это надеюсь. Мой дом в Лос-Анджелесе на берегу Тихого океана во время прилива остается лишь на метр выше уровня воды. Еще хуже дела в Бангладеш, где под воду ушла бы пятая часть территории, если бы уровень моря поднялся хотя бы на метр, и у страны нет ресурсов, чтобы с этим бороться. А жители северо-западных штатов Америки должны знать, что через несколько десятилетий они, возможно, окажутся в эпицентре гигантских пыльных бурь.

Узость экспортной базы страны указывает на степень ее зависимости от мировой экономики, и это коррелирует со степенью деградации окружающей среды. Понимая, что структурное неравенство способствует возрастанию климатической зависимости и сдерживает их национальное развитие, беднейшие страны пытаются на переговорах по проблемам изменения климата расширить глобальное понятие несправедливости. Ссылаясь на Дюркгейма, Робертс и Паркс (Roberts and Parks 2007: 48–66), доказывают, что не меньше, чем от материальных интересов, результаты переговоров зависят от нормативной базы, степени доверия и взаимного понимания. Если богатые страны хотят умерить враждебность и укрепить сотрудничество в вопросах сохранения климата, то им следует признать очевидную несправедливость международного разделения труда и наметить пути ее преодоления. Однако это весьма амбициозная цель, которую трудно донести до электората развитых стран, озабоченного перспективой дальнейшего роста безработицы и повышения налогов.

Ряд развитых стран могут выйти из глобального переговорного процесса на том основании, что они способны противостоять надвигающемуся бедствию. В докладе ПРООН приведено несколько альтернативных сценариев будущего. Если правительства и бизнес озабочены исключительно собственными интересами и безопасностью, то готовы улучшать и поддерживать благосостояние только богатых и влиятельных слоев населения (UNDP 2007: 40iff; ср. с «глобальной стратегией крепости»

в описании Raskin et al. 2002: 25–27). Богатые страны не смогут полностью изолировать себя от внешнего мира, поскольку бедствия, угрожающие слаборазвитым странам, будут иметь эффект домино, приводя к снижению их собственных ВВП, а потоки беженцев, прорывающих границы, будет трудно остановить без огромных финансовых затрат. Не исключены войны между странами за скудеющие продовольственные ресурсы, источники питьевой воды и т.д. Уже сегодня есть сведения о том, что все более нерегулярное выпадение осадков в Африке является причиной учащения конфликтов с применением насилия (например, Hendrix and Salehyan 2012). Если в попытке расширить площади обрабатываемых земель, чтобы прокормить свое население, бедные страны в отчаянии вырубят тропические леса, то глобальное потепление ускорится для всех. Более вероятным представляется продолжение международных переговоров, однако одни страны будут проявлять больше энтузиазма, чем другие.

Долю ответственности за деградацию окружающей среды в развивающихся странах несет и глобальный Север, вынесший туда немало экологически грязных технологий. Сегодня большая часть производимой в бедных странах продукции идет на экспорт, в связи с чем они вынуждены мириться с загрязнением своей территории промышленными отходами. При этом богатые страны, потребляющие эту продукцию, переходят к экологически чистому производству и претендуют на высокую нравственность (Jorgenson and Burns 2007, Roberts and Parks 2007). Снижение глобальным Севером углеродной зависимости — иллюзия, поскольку наш стиль жизни сильно зависит от импорта товаров, произведенных с большим выбросом углекислого газа. Когда в процессе переговоров глобальный Север предлагает в качестве критерия использовать интенсивность выбросов на единицу ВВП каждой страны, иначе как эмиссионным колониализмом это не назовешь. Дело в том, что данные объема эмиссий в процессе производства не учитывают объемы выбросов CO<sub>2</sub>, приходящиеся на торговые потоки. Кто виноват в том, что Китай становится крупнейшим источником загрязнений, — сами китайцы или иностранные капиталисты? Это вопрос риторический. Конечно, эти социально-экологические аргументы морально правомерны. Однако миром правит не мораль.

Разумеется, страны Юга хотят экономического роста, такой же уровень жизни, как в Европе и США, причем уже сейчас. Однако если бы человечество жило так, как сегодня живет Запад, то наша общая нагрузка на природу потребовала бы ресурсов пяти таких планет, как Земля (Hulme 2009: 260)! Эта трагическая истина особенно горька для бедняков, которые проходят

по жизни, не оставляя заметного экологического следа. Чем бы ни кончился спор между странами ОЭСР и БРИК о том, кто наносит наибольший вред экологии, остается этический вопрос: почему за чужие грехи должны расплачиваться страны Африки южнее Сахары, либо Бангладеш, либо острова Тихого океана? Развивающиеся и бедные страны продолжают добиваться для себя более справедливых условий. И они обязаны это делать, а мы, живущие в развитых странах, обязаны пойти им навстречу в большей мере, чем делали это до сих пор. Однако миром правит не мораль.

Для надежды еще есть место, поскольку это не игра с нулевой суммой. От снижения выбросов на любой территории выигрывают все жители Земли. Если имеется общий глобальный интерес, то бедные страны получают больше рычагов давления, чем обычно. Особенно целесообразно сосредоточить усилия на малоэффективных отраслях, затраты на модернизацию которых сравнительно невелики. Такие отрасли могут находиться где угодно, но все больше в бедных странах. Многие электростанции в развивающихся странах и странах бывшего СССР используют устаревшие и «грязные» технологии. Если бы страны ОЭСР передали им более современные технологии, то эти электростанции можно было бы переоснастить без больших финансовых затрат. При этом пользу от сокращения выбросов ощутили бы и сами страны ОЭСР. Но этого недостаточно.

Чтобы получить ощутимый эффект, достаточно выделить субсидии на охрану тропических лесов двум странам — Бразилии и Индонезии. Борьба с вырубкой лесов является, пожалуй, простейшим способом снизить общий уровень выбросов. Из-за исчезновения лесов глобальный уровень выбросов парниковых газов увеличился в пять раз. Это особо вопиющий случай провала рынка. Индонезийские фермеры уничтожают лес ради производства пальмового масла, которое приносит им краткосрочную прибыль, но резко повышает уровень выброса  $\text{CO}_2$ . Их норма прибыли не превышает 2% того, что они могли бы получить на рынке квот, если бы налог на выброс тонны  $\text{CO}_2$  составлял 25 долл., что было бы эффективной мерой защиты глобального климата. Даже крупные предприятия по заготовке древесины в Индонезии зарабатывают менее 10% от того, во что оценивается уничтожаемый ими лес на рынке эмиссионных квот. Вполне понятно, что мир заинтересован в выделении субсидий индонезийцам на то, чтобы они занимались насаждением, а не уничтожением лесов. Кроме того, субсидии были бы большим подспорьем для беднейших крестьян и коренных народов Индонезии, землю которых экспроприируют корпорации, крупные землевладельцы и правительство, которые в пер-

вую очередь ответственны за исчезновение лесов (UNDP 2007: 157–159). В Копенгагене (и год спустя в Дубае) развитые страны в принципе согласились на то, чтобы субсидировать экологические программы для развивающихся стран, хотя выделенные ими суммы были небольшими, а механизмы контроля над исполнением не были разработаны. Этого, конечно, недостаточно.

## ДВЕ СТРАНЫ, БЕЗ УЧАСТИЯ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ

Противостоять глобальному потеплению не удастся без участия двух стран, которым я посвятил большую часть настоящего тома и которые являются основными источниками загрязнения, — Соединенных Штатов и Китая.

Сегодня главным препятствием на пути к снижению выбросов являются Соединенные Штаты, сильно отстающие от Европейского союза и Восточной Азии в восприятии климатических проблем. В этом отношении Америка явно не лидер. Хотя неолиберализм США весьма избирателен (как подчеркивают предыдущие главы), против решения климатических проблем он мобилизовал все свои ресурсы. В этой сфере политики роль «большого правительства» якобы контрпродуктивна. Неоднородность этой страны, занимающей почти весь континент, производится в ее федеральной политической системе. Объемы выбросов парниковых газов существенно различаются от региона к региону. В 2005 г. на долю жителя штата Вайоминг приходилось в среднем 154 тонны CO<sub>2</sub>, то есть в десять раз больше, чем на долю жителя Нью-Йорка или Калифорнии (12 и 13 тонн соответственно). Десять штатов с наименьшими выбросами расположены на восточном либо западном побережье, тогда как десять штатов с наибольшими выбросами находятся в западных, северо-западных и южных регионах США, что в основном обусловлено региональным распределением залежей угля и нефти, хотя население аграрных штатов в качестве топлива предпочитает бензин. Это региональное распределение примерно соответствует делению штатов на республиканские и демократические. Именно этим объясняется то, что республиканские политики выступают против климатического законодательства, а большинство демократов его поддерживают. Кроме того, республиканцы в основном меньше доверяют науке, более провинциальны и оторваны от глобальных проблем. Да и сам Конгресс рассматривает в первую очередь местные, а уже потом федеральные и глобальные проблемы. Демократическое меньшинство в Конгрессе — консервативные демократы (blue dogs

и black dogs, то есть представители угольных и нефтяных регионов) — также полагают, что им будет легче удержаться в своих креслах, если они будут поддерживать консервативные взгляды на экологию. Возможно, они правы, поскольку в случае принятия мер по снижению выбросов избирателям в их штатах пришлось бы незамедлительно платить за топливо более высокую цену. Нередко сенаторы, особенно конгрессмены, вносят в экологические законопроекты поправки, отвечающие интересам местных компаний с высоким уровнем эмиссий (Mille, 2009: глава 2). Силы, тормозящие прогресс, обладают большим влиянием и поддержкой и способны привести достаточно аргументов, которые будут иметь идеологический и электоральный резонанс.

Региональное неравенство трудно компенсировать, поскольку механизм налогообложения на это не рассчитан. Проблему неравенства затрат можно было бы решить за счет федеральных грантов, выплачиваемых наиболее затронутым ею штатам из прибыли, полученной от налогов на выбросы CO<sub>2</sub> и торговли эмиссионными квотами. Однако сегодня электорат и политики этих штатов выступают против вышеуказанных мер. Проблема не носит непосредственно классовый характер, поскольку желание профсоюзов снизить безработицу превалирует над их окказиональной экологической риторикой. Хотя сторонники демократов занимают более зеленые позиции, чем сторонники республиканцев, это больше относится к представителям среднего, нежели рабочего класса. В стране не существует массового движения, требующего смягчения нагрузки на климат. С последними политическими изменениями на Капитолийском холме добиться большинства голосов палаты представителей и сената в пользу экологических законов стало крайне трудно. Конгрессмены тормозят принятие законопроектов и продолжают это делать, если не лишит их материальной заинтересованности.

Печальным примером тому служит прохождение через сенат законопроекта «О чистой энергии и экологической безопасности США» в 2009–2010 гг. (Goodell 2009). Этот законопроект устанавливал целевой показатель снижения углеродных эмиссий до 2020 г. на уровне 20%, ограничивая объем разрешенных эмиссий 2 млрд тонн в год. Билль включал довольно слабую систему торговли эмиссионными квотами, зато усиленные меры по повышению энергоэффективности. В целом законопроект был более жестким, чем изначальный (ориентированный на интересы бизнеса), внесенный «Американским партнерством по предотвращению климатических изменений». Эта организация — коалиция умеренных инвайронментальных групп с круп-

ными корпорациями, такими как General Electric и ConocoPhillips, предлагала к 2020 г. снизить объем углеродных эмиссий лишь на 14%. Однако и такой проект обеспокоил Республиканскую партию и консервативных демократов, заклеивших его как «тотальный энергетический налог», грозящий вызвать скачок энергетических тарифов и сокращение рабочих мест. Раскритиковав «систему торговли эмиссионными квотами» (cap-and-trade), они в насмешку называли ее системой повышения налогов (cap-and-tax). Демократ Уэксмен, сменивший на посту председателя комитета по энергетике республиканца от штата Техас Джо Бартона, обещал начать против этого законопроекта партизанскую войну. Вот что он сказал: «С самого начала я предложил Бартону совместно искать решение этой проблемы, но тот ответил, что не верит в глобальное потепление, не считает это проблемой и не намерен ее решать».

Крупнейшие угольные компании потратили 10 млн долл. на лоббирование против этого законопроекта и еще свыше 15 млн на избирательные кампании федеральных политиков, призывавших к его отмене. В 2003–2009 гг. количество лоббистов, занятых проблематикой климатических изменений, возросло пятикратно — до 2810 человек, то есть до пяти лоббистов на законодателя. И лишь 138 из них поддерживали идею использования альтернативных источников энергии. Лоббисты сосредоточили внимание на консервативных демократах — ставленниках угольной отрасли. Демократ Рик Буше от штата Южная Виргиния, где находятся угольные месторождения, в 2009 г. получил от угольных компаний крупнейший взнос наличными в размере свыше 144 тыс. долл. Рик Буше, бывший председатель подкомиссии по энергетике палаты представителей, призвал коллег проголосовать в поддержку угольной отрасли, в чем так нуждался Уэксмен. Закулисные переговоры между друзьями Буше — руководителями угольных компаний и членами комитета по энергетике палаты представителей длились шесть месяцев.

В итоге законопроект получил поправку, предусматривавшую увеличение числа бесплатных разрешений на выбросы плюс ежегодную субсидию на разработку чистых угольных технологий в размере 1 млрд долл. помимо тех 3,4 млрд долл., которые планировалось выделить в исследовательский фонд в соответствии с президентской программой стимулирования. Теперь общая сумма ассигнований на поддержку угольной отрасли составила 60 млрд долл. — больше, чем субсидии в поддержку всех видов возобновляемой энергии, вместе взятых. Кроме того, Буше добился, чтобы новые нормы не распространялись примерно на 40 строящихся угольных электростанций. Важнейший



целевой показатель сокращения выбросов до 2020 г. уменьшился с 20 до 17%. Целевые показатели использования возобновляемых источников энергии были урезаны в два раза. Регулятивные полномочия Управления по защите окружающей среды (ЕРА), касающиеся снижения эмиссий CO<sub>2</sub>, были выхолощены. Вместо обещанных Обамой аукционов, где должны были продаваться все эмиссионные квоты, 83% всех квот будут раздаваться бесплатно. В итоге крупнейшие виновники загрязнений получили в виде льгот и субсидий 134 млрд долл. Самые экологически грязные корпорации получили от правительства еще одну подачку.

В таком виде климатический законопроект со скрипом прошел через палату представителей. За законопроект проголосовало 219 человек, против — 212. Против законопроекта голосовали почти все республиканцы плюс 44 демократа. Когда администрация поняла, что голосов не хватает, прохождение законопроекта через сенат было остановлено. Вероятно, его оставят в подвешенном состоянии, если только баланс сил после выборов не сместится влево. Как мы видим, прогрессу в сокращении выбросов препятствуют политические силы, действующие в рамках электорального цикла. Тем не менее любой глобальной программе необходимо участие Америки, поскольку на нее приходится четверть мировых выбросов, к тому же ее геополитическое влияние по-прежнему не знает себе равных. Размышляя о вероятной по крайней мере в среднесрочной перспективе реакции США на разрастающийся кризис, невольно приходишь в состояние глубокого уныния.

В другой ключевой стране, Китае, также есть свои проблемы, хотя его авторитарное однопартийное государство обладает своими преимуществами. Ему нет необходимости прислушиваться к мнению бизнеса, а достаточно в приказном порядке предписать любые радикальные программы, в том числе по защите экологии. Кроме того, эта система способна мыслить долгосрочными периодами и строить планы на десятилетия вперед, как демонстрирует ее военная политика и политика в сфере безопасности. Беспрецедентная программа по ограничению рождаемости «Одна семья — один ребенок» насаждалась насильно и предотвратила появление на свет 300 млн человек, что эквивалентно снижению выбросов CO<sub>2</sub> на 5%, то есть больше, чем предусмотрено Киотским протоколом (Hulme 2009: 270). Однако перманентной целью китайского режима остается экономический рост, который считается главным фактором сохранения власти партии и поддержания порядка в стране, тем более что таково желание народа. Как мы видели в главе 8, сегодня этот режим сталкивается с серьезным недовольством крестьян

и промышленных рабочих. Поэтому в краткосрочной перспективе Китай, подобно другим странам, не пожертвует увеличением ВВП и ростом занятости даже ради более выгодного долгосрочного результата.

Комсомольские стройки эпохи Мао были направлены на покорение природы. Так, стратегия «большого скачка» привела к ужасающим экологическим последствиям. Эту традицию продолжают и нынешние проекты, такие как дамба «Три ущелья» и газопровод Восток—Запад. Однако бурный рост экономики, приватизация и передача власти по наследству — появление капиталистического однопартийного государства — еще больше осложнили ситуацию. В условиях хозяйственного роста, основанного на примате капиталистической прибыли, ослабла защитная инфраструктура (Muldavin 2000). К концу 1990-х гг. на долю уездных предприятий — основы экономического развития сельских районов — приходилось 50% всех загрязнений в стране. Правительство признало экологические проблемы и приняло большое количество природоохранных законов. Однако местные чиновники, отвечающие за исполнение принятых законов, редко выполняют свою задачу, поскольку это угрожает прибылям локальных предприятий, поступлениям в бюджет, занятости населения и их собственным коррупционным доходам (Ma and Ortolano 2000). Энергетические потребности Китая на две трети покрываются за счет угля и на 20% — за счет нефти. Хищническая вырубка лесов, сокращение пастбищ, дефицит питьевой воды, загрязнение атмосферы выхлопными газами, утрата плодородного слоя земли приводят к снижению биоразнообразия, потеплению климата, расширению пустынь и загрязнению воздушного пространства городов. Шесть из десяти самых грязных городов мира находятся в Китае; вода пяти крупнейших рек Китая «непригодна для использования человеком». Между тем экологические показатели Китая, возможно, не хуже показателей других азиатских стран, таких как Южная Корея, Малайзия, Индонезия и Филиппины. Там главная проблема — в доверительных отношениях между бизнесом и чиновниками, отвечающими за охрану окружающей среды, поскольку и те и другие являются элементами коррупционных сетей политического покровительства (*Economy*, 2004).

Китайское правительство пытается перейти на более чистые источники энергии. В 2009 г. Китай объявил о планах на ближайшие десять лет потратить на НИОКР в сфере чистой энергии 440 млрд долл. На сегодня по объему инвестиций в экологичные виды топлива Китай опережает Германию. По оценкам банка «Эйч-эс-би-си» (HSBC 2009), на экологические программы Китаем было выделено 38% пакета экономического сти-

мулирования. Большая процентная доля зеленых программ только у Южной Кореи и ЕС, а в долларовом выражении экологические программы Китая намного опережают программы других стран. К 2010 г. Китай выделил самые крупные в мире субсидии пользователям источников возобновляемой энергии и создал Национальную комиссию по энергетике, состоящую из членов правительства и возглавляемую премьер-министром Вэнь Цзябао. Китай уже выпускает свыше половины солнечных батарей в мире и является крупнейшим производителем ветродвигателей. В отличие от США правительство Китая понимает, что в основе технологий нового поколения будет лежать использование альтернативных видов энергии, и направляет в эту сферу крупные инвестиции, чтобы занять там лидирующие позиции. Китай может стать первой среди стран, экономика которой с доминирующей ролью государства опередит в технологической гонке капиталистические рыночные экономики, вместо того чтобы их только догонять. Главным препятствием, как ни парадоксально это прозвучит, является экономический успех Китая, темпы его роста. Хотя в повышении энергоэффективности Китай достиг многого и даже обогнал США, все это повышение было нейтрализовано его экономическим ростом. Китайский план по выбросам на 2006–2010 гг. предусматривает снижение энергопотребления на 20% на единицу ВВП. Однако этот показатель составляет менее половины роста ВВП за указанный период. Легитимность Коммунистической партии Китая зависит от ее способности обеспечить экономический рост, поэтому крайне маловероятно, что она пойдет на снижение его темпов.

Тем не менее Китай активно участвует в переговорах по глобальным изменениям климата, так как *de facto* является лидером развивающихся стран G77. Поскольку большинство этих стран не располагает достаточным количеством экспертов, способных принять участие в переговорах, они полагаются на страны БРИК, особенно на Китай. Китай настаивает на том, чтобы развитые страны сделали первый шаг и предоставили развивающимся странам дополнительные средства и технологии. Китайцы считают некорректным приравнивание «эмиссий ради выживания» развивающихся стран к «эмиссиям ради роскоши» развитых стран. Без последних можно обойтись, тогда как от первых зависит наличие еды на столе. Эта точка зрения популярна в странах G77, однако для Соединенных Штатов она неприемлема.

В Копенгагене делегация Китая отказалась допустить международных инспекторов на китайские объекты. По степени чувствительности в этом вопросе Китай не уступает Соединен-

ным Штатам. Американский Конгресс отказался ратифицировать международные договоры, способные ограничить его полномочия. Принятию решений, в том числе экологических, препятствует национальный суверенитет и система капитализма. Американские политики не раз отказывались принимать какие-либо меры до тех пор, пока развивающиеся страны не представят свои предложения по снижению эмиссий. Именно так заявили сенаторы, единодушно проголосовавшие за выход США из Киотского процесса. Президент Буш-младший прокомментировал это решение фразой: «Американский образ жизни не является предметом переговоров». Тем не менее он должен стать таковым. Китай не устает повторять, что первый шаг должны сделать США. Наконец, в Копенгагене Соединенные Штаты и Китай пришли к какому-то соглашению, но конкретных договорных предложений за этим не последовало. Установление глобального контроля над изменением климата невозможно без участия двух стран, выступающих крупнейшими источниками загрязнения. При этом главным препятствием здесь являются эти же страны: США — в силу своего неолиберального капитализма, усиленного федерализмом, Китай — в силу фантастического этатистского успеха в деле экономического роста. Обе державы не являются благодатной почвой для транснациональных НПО, к тому же они слишком ревниво охраняют свой национальный суверенитет. Выходит, что глобальную экологическую катастрофу ускоряют две страны, без которых решение климатической проблемы невозможно.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наша коллективная власть над природой казалась тотальной, а оказалась самоубийственной. В воздухе, воде и почве нашей планеты концентрируются парниковые газы. Если мы не предпримем радикальных мер по смягчению нагрузки на климат, то уже в XXI столетии глобальное потепление станет серьезной угрозой жизни для всего человечества. Его воздействие будет неравномерным, больше всех пострадают бедные страны, но снижение жизненного уровня произойдет и в других странах. Сегодня практически невозможно представить, чтобы в своих прогнозах академическое сообщество заблуждалось. И все же, может быть, в погоне за прибылью технический гений человека создаст недорогое чистое топливо без вредных выбросов. Для капитализма это было бы величайшим примером «созидательного разрушения», который затмил бы вторую промышленную революцию и послевоенный потребительский бум.

Но это маловероятно. Необходимость не всегда мать всех изобретений. Как ни странно, из-за снижения экологической нагрузки мог бы реализоваться гораздо более мрачный сценарий: ядерная война, или глобальная пандемия, или падение метеорита могли бы уничтожить половину человечества и тем самым существенно сократить эмиссию. Однако эти события не представляются столь же вероятными, сколь усиливающееся изменение климата, ведущее нас к постепенной гибели.

Этот кризис, в отличие от рассмотренных в томе 3, является вполне ожидаемым. Мы давно знаем, какие перспективы ждут нас в случае бездействия. Если бы у человечества владел разум, то путем принятия срочных мер мы, вероятно, могли бы избежать катастрофы. Однако этого не происходит. Разум большинства акторов ограничивается анализом краткосрочных альтернатив. Именно поэтому ограниченные национальными рамками политические деятели, попавшие в ловушку электорального цикла и вынужденные потакать интересам помешанных на потреблении избирателей, уводят нас все дальше от принятия серьезных решений по смягчению климатической нагрузки.

На пути к любой счастливой развязке лежат три основных препятствия. Во-первых, права граждан развитых стран переросли в потребительскую культуру, сформировавшуюся ценной высокого уровня вредных эмиссий. Носители этой культуры предпочитают наслаждаться сегодняшними материальными благами и не думать о завтрашнем дне, который представляется не только слишком аскетичным, но и слишком абстрактным. Жители развивающихся стран также привыкают к сиюминутным радостям, которые сулит экономический рост, и, естественно, жаждут потреблять больше. Все эти народы будут категорически против введения жесткого нормирования либо налогообложения против введения ископаемых видов топлива. Глобальное потепление — это всего лишь абстрактная угроза, которая в повседневной жизни пока болезненно не ощущается. К тому времени, когда это произойдет (через десятки лет в отдаленном будущем), может быть уже слишком поздно. Тем более маловероятно, что люди станут поддерживать масштабные программы облегчения экологической нагрузки в период рецессии.

Во-вторых, для успеха экологической политики потребовалось бы урезать автономную власть капитализма, мотивированного на уничтожение окружающей среды ради сиюминутной прибыли. В будущем может произойти раскол между отраслями с высокими и низкими уровнями эмиссий, однако пока этого не наблюдается. Капитализм укрепил свои позиции как за счет того, что профсоюзы никак не решат, выгодно ли им поддер-

живать инвайронменталистов, так и за счет недавнего всплеска неолиберализма, отвергающего государственное регулирование. В данном случае классовая борьба асимметрична — большинство капиталистов выступают против регулирования выбросов, при том что большинство представителей рабочего класса его тоже не поддерживают. В-третьих, успешная политика потребовала бы ограничения автономной и запирающей в «клетку» власти национальных государств и их политических лидеров, деятельность которых определяется показателями роста ВВП и электро-ральным циклом либо его эквивалентом в авторитарных режимах. Какой политик станет поддерживать строгое нормирование или введение налогов на ископаемые виды топлива?

К позитивным аспектам относится то, что влияние мягкой геополитики в отношениях между странами усилилось в ходе урегулирования после Второй мировой войны, что в сочетании с бурным ростом сектора НПО действительно способствует некоторым интернациональным и транснациональным действиям. Однако для эффективного снижения экологической нагрузки этого недостаточно. Активные меры предполагают заключение обязывающих соглашений между всеми крупными странами, и эта задача осложняется враждебностью между глобальным Севером и Югом, а также ревнивой защитой суверенитета государствами, которые выступают основными источниками загрязнения. Таким образом, для предотвращения климатических изменений требуется ограничить автономию трех самых успешных акторов современности — капитализма, национального государства и всей совокупности граждан с их персональными гражданскими правами. Это гигантская и, вероятно, невыполнимая задача.

Поэтому маловероятно, чтобы мы могли снизить выбросы еще до того, как наступят серьезные последствия. Возможно, человечеству, прежде чем оно начнет как-то реагировать, придется пройти через ряд природных катаклизмов, например затопление территорий нескольких стран. По мере приближения подобных кризисов опасность может побудить политиков, население и компании с низким уровнем выбросов принять решительные меры по смягчению экологической нагрузки. Это стало бы, по выражению Гидинга (Gilding 2011), «Великим пробуждением», сопровождаемым готовностью пойти на большие жертвы по крайней мере в течение жизни одного — двух поколений. Народам пришлось бы существовать в стесненных условиях, но они бы выжили. В противном случае по мере углубления кризиса наименее затронутые им страны и регионы, обладающие большей властью, могут последовать сценарию возведения крепостей. Такой сценарий — превратить свою национальную

«клетку» в крепость — мог бы стать популярным. Это способно породить новые идеологии, уже не «мягкие и пушистые» зеленые, а более жесткие, даже жестокие идеи, чреватые опасными последствиями. Среди них — появление экофашистских режимов или популистских лидеров в странах, страдающих от наплыва беженцев, режимов разъяренных террористов, локальных войн и массовой гибели людей. Результатом этого может стать не интеграция, а дезинтеграция глобального пространства, рискующая перерасти в ядерную войну. До сих пор я рассматривал идеологическую реакцию на изменение климата как реакцию благонамеренных «вегетарианских» кругов — носителей академических и этических ценностей. Однако экологические идеологии будущего могут быть такими же разными, как идеологии XX в., разделявшие сторонников укрепления корпоративного капитализма и защитников интересов рабочего класса. Также могут возникнуть идейные построения, сопоставимые с революционным социализмом, агрессивным национализмом и даже фашизмом. Возможно, первое указание на это — развернутая в США националистическая кампания за энергетическую самодостаточность, напоминающая попытку изолировать страну от остального мира.

Эти две крайности не единственно возможные пути дальнейшего развития. Возможно, в смягчении экологической нагрузки будет достигнут некоторый прогресс, но его окажется недостаточно, чтобы нейтрализовать выбросы, порождаемые экономическим ростом. Скорее всего мир пойдет именно по этому пути. Мы не знаем, с какой задержкой наступят катастрофические последствия, но по мере осознания того, что мы движемся в пагубном направлении, меры по смягчению климатической нагрузки, возможно, постепенно ужесточатся. Это неизбежно приведет к снижению уровня жизни, но, как показали две мировые войны, население готово идти на жертвы, если они справедливы, то есть обязательны для всех. Угроза климатической катастрофы сопоставима с угрозой мировой войны и, на мой взгляд, оставляет нам шанс задуматься о спасении жизни человечества на Земле. Наилучшим путем было бы ужесточение экологических мер прямо сейчас либо в ближайшем будущем с учетом предложений, изложенных в последних официальных докладах, но с более жестким регулированием, налогами на выбросы и схемами торговли эмиссионными квотами — то, что Ньюэлл и Патерсон (Newell and Paterson 2010) называют климатическим кейнсианством. Такие меры должны опираться на новые, более экологичные технологии. В совокупности это помогло бы к середине XXI в. существенно снизить темпы глобального потепления. Условием реализации альтернативных мер по смяг-

чению экологической нагрузки должна стать обязательная для всех стран политика регулирования, налогообложения выбросов и торговли эмиссионными квотами как на национальном, так и (особенно) на международном уровне. Спасение может прийти лишь в результате осознания человечеством своего глобального единства, под влиянием прогнозов академического сообщества и призывов квазитранснациональных НПО. Однако пока что я не вижу, чтобы это происходило.

Пора также приструнить капитализм. Являясь главным виновником загрязнений, он отказывается компенсировать обществу наносимый им вред. Сегодня, когда марксизм практически мертв, а социал-демократия ушла в глубокую оборону, выдающиеся инвайронменталисты из истеблишмента, такие как Джеймс Густав Шпет (Speth 2008: главы 8, 9), предлагают план «изменения фундаментальной динамики» капитализма. Они призывают власти исключить нежелательные корпорации, аннулировать уставы корпораций, попирающих общественные интересы, отменить принцип ограниченной ответственности, развести статусы физического и юридического лица, то есть отменить положение, при котором корпорации имеют те же права, что и отдельный индивидуум, запретить корпорациям участие в политике, ограничить корпоративное лоббирование и демократизировать корпорации. Джеймс Шпет полагает, что капитализм «является серьезной угрозой для планеты» и должен быть заменен. Ученый призывает человечество отказаться от консьюмеризма и фетишизации экономического роста. Он ратует за обновление политики и идеологии, в том числе за воспитание постматериальных ценностей, отвечающих идеалам нового общества, не связанного с ценностями экономического роста. По его мнению, человечеству нужна этика глобальной справедливости и устойчивого развития. При этом социолог признает, что все это — равнозначное пересмотру четырех источников социальной власти — может показаться утопией в Соединенных Штатах, как, впрочем, и в любой другой стране. Однако он надеется, что это станет реальностью, если приближение экологического кризиса вызовет у граждан потребность в радикальных действиях.

Более умеренные сценарии предусматривают постепенную реализацию политики смягчения экологической нагрузки, на что уйдет в общей сложности два-три десятилетия. Это будет сравнительно демократический, интегрирующий, мирный, мягкий геополитический процесс, возможно облегченный крупными технологическими прорывами, совершаемыми в частных и государственных лабораториях. Менее радужные сценарии предвещают нарастание социальных противоречий, возведение



вокруг процветающей части мира все более высоких крепостных стен, защищать которые на фоне войн, авторитаризма и жесткой геополитики будет труднее. С наступлением кризиса резко упадут показатели ВВП на душу населения даже в самых богатых странах (по причине коллапса других стран). Из-за этого богатые страны, вероятно, прибегнут к дорогостоящим видам вооруженной самообороны, в результате чего выбросы могут сократиться. Однако не исключено, что на всем пути этого сокращения человечество ожидают климатические войны.

Никто не может предсказать, какой путь будет выбран, поскольку речь идет о людях, которые в XX в. сообща смогли без особой причины развязать две страшные мировые войны, хотя затем сумели избавить планету от войн между народами. Кто знает, что они станут делать. Как в 1918 г. заявила Роза Люксембург, «выбор один: социализм либо варварство», однако «климатический социализм», вероятно, будет намного дальше от социализма, которым она грезила, и ближе к реформизму, который она отвергала. Виновниками кризисной ситуации являются свободный рынок и коррумпированный бизнесом правительством, хотя в ряде стран немалую вину несет и государственный социализм с его иллюзиями. В этой ситуации нас продолжает удерживать стремление людей к потреблению, отражающееся на результатах их голосования. Однако в условиях всеобщей угрозы выживанию человечества требуется, чтобы мы создали эффективный механизм принятия коллективных решений, а также сменили образ жизни на социально ответственный. XX в. стал свидетелем отхода от идеи всемогущего рынка, а затем возвращения к ней. Сегодня вновь необходимо отойти — на этот раз не только от нее, но и от запирающего в национальную «клетку» — беспрецедентный шаг, объединяющий оба шага, которые предлагал Поланьи. Между тем этот кризис и эта угроза все еще остаются абстрактными. Подобно неолиберальной угрозе, о которой говорилось в главе 11, они еще не укоренились в обыденном повседневном опыте. Я опасюсь, что до появления весьма творческого общественного движения, способного преодолеть разрыв между проблемой климатических изменений и повседневным опытом, эта глава останется гласом вопиющего в пустыне.

## ГЛАВА 13

### Заключение

#### ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

**В** ЭТОМ томе я описываю процессы сужения идеологического спектра, последовавшие за его расширением; взлеты и падения капитализма; сокращение межгосударственных войн, сменившихся миром или гражданскими войнами; расширение прав граждан в национальных государствах, заменивших собой мировые империи, за исключением одной. Все события происходили во все более глобальном масштабе — это была серия глобализаций, которые порой усиливали, а порой ослабляли, но всегда отличались друг от друга. В итоге наш мир, далеко еще не представляющий единую глобальную систему, стал более взаимосвязанным, хотя и не гармоничным. Это процесс универсальной, но полиморфной глобализации.

Во втором томе капитализм и нации-государства определяются как две основные организации власти в развитых странах «долгого» XIX в. В третьем и четвертом томах я расширил рамки повествования до масштабов всей планеты и добавил описание империй. В первой половине XX в. переплетение сетей капитализма, государств-наций и империй привело к мировым войнам и революциям, имевшим катастрофические последствия. После 1945 г. произошел довольно резкий перелом, когда в отношениях власти настал короткий золотой век демократического капитализма. В тот период распались все империи, за исключением двух, в рамках капитализма был достигнут определенной степени классовый компромисс, возникло массовое гражданское общество, произошла институционализация капитализма и государственного социализма, развивалась глобальная экономика и росла численность населения планеты. Извечная военная конфронтация сменилась холодной войной, в дальнейшем по мере упадка Советского Союза переросшей в разрядку напряженности. Все это плюс появление ядерно-

го оружия привело к сокращению реально используемой военной власти держав и быстрому затуханию межгосударственных войн. Теперь на большей части планеты возобладали реформированный капитализм и геополитика во главе с Соединенными Штатами как архитектором мирового порядка. В странах глобального Севера был достигнут высочайший уровень цивилизации с процветающей экономикой, развитой системой социальной защиты, всеобщей грамотностью и большей продолжительностью жизни населения, хотя путь к этому оказался тернистым и опасным. В то же время появились опасения, что страны глобального Юга, не имевшие доступа к большей части описанных благ, обречены на ограниченное и зависимое существование.

Затем, в 1970-е гг., наступил второй перелом, оказавший различное влияние на страны глобального Севера и Юга. На Севере разновидности социального государства, которые я называю англосаксонскими, скандинавскими и континентально-европейскими, стали давать сбой. Хотя наиболее острым оказался сбой у англосаксов, ослабление левоцентристских реформистских партий ощущалось уже повсюду. Их основной целью стало не наступление, а лишь защита уже достигнутого. Социал-демократия и либерализм превратились в забюрократизированные, чрезмерно институционализированные идеологии, которые с трудом справлялись с новыми структурными изменениями. Впоследствии защита достигнутого оказалась гораздо успешнее в Скандинавии, Центральной Европе и Японии, нежели в англосаксонских и средиземноморских странах. Там демократия и гражданское общество были подчинены тем, кто обладал властью на рынках, особенно финансового капитала. В тот же период рухнул (вполне заслуженно) коммунизм советского типа, поскольку он даже отдаленно не был демократическим. Возник альянс неолибералов, консерваторов и финансового капитала, который был относительно могущественным в странах бывшего советского блока и в англосаксонских странах, а наиболее могущественным — в США. Наконец, долгое непреднамеренное смещение (drift) вправо после Второй мировой войны создало «американскую исключительность» — выражение, уместность которого применительно к предыдущим этапам американского развития я отвергал. Хотя в том же направлении двигалась и Великобритания, не заходя, впрочем, так далеко, как США. Теперь капитализм, особенно американский, имеет асимметричную классовую структуру, при которой буржуазия почти не встречает социального сопротивления снизу.

Впрочем, своих обещаний неолиберализм не выполнил. Он принес не рост экономики, а стагнацию, неравенство, бед-

ность и посягательства на политическую демократию со стороны крупнейших корпораций, затем Великую неолиберальную рецессию 2008 г., однако для эффективного решения этого кризиса не хватало низового вызова. Неолиберализм сохраняет позиции в силу его дистрибутивной власти одних над другими, преимущественно воплощенной в транснациональных корпорациях. При этом роста коллективной власти всех не происходит. В настоящее время перспектива англоговорящих стран (и даже их капиталистических классов) выглядит не блестяще, поскольку на данном этапе они отказались от политики расширения совокупного потребительского спроса, на которой ожидалось процветание их экономики в золотой век капитализма. Сомнительно, что долгосрочная перспектива капитализма окажется радужной, коль скоро он пренебрегает судьбой едва ли не четверти населения (его малообеспеченной части), отправляя ее «на свалку истории».

Однако это не вся история глобализации. Мир по-прежнему велик и многообразен. Особую турбулентность переживает Ближний Восток, региональные проблемы которого усугубляются агрессивными шагами американского империализма, отзываются в развитых странах «бумерангом терроризма» и посягательствами на свободу граждан. Однако в эти застойные для глобального Севера десятилетия большинство стран глобального Юга испытало существенный экономический рост, причем в относительно мирных условиях. Этого не предполагала ни «теория зависимости», ни ее производная — теория мир-систем. Ортодоксальная теория мир-систем приписывает странам скорее фиксированный статус, относя их к ядру, периферии или периферии мир-системы, причем динамизм такой системы по большому счету сводится в основном к борьбе между элементами ее ядра. Эта теория не объясняет мобильности наций или макрорегионов, благодаря которой те или иные страны переходят из периферии в ядро. В ответ некоторые теоретики мир-системного анализа заявляют, что капиталисты борются со снижением нормы прибыли на Севере, используя «пространственное решение» (*spatial fix*) — перенос производства в «дешевые» страны Юга. Этот сдвиг в конечном счете заставит мировую гегемонию эволюционировать в сторону большей полицентричности.

Восходящую мобильность демонстрирует не только Китай. Во главе этого процесса находятся все страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), но сегодня он распространяется почти на всю Юго-Восточную Азию, большинство стран Латинской Америки, Турцию и даже отдельные страны Африки, такие как Алжир, Уганда, Гана, Ботсвана и ЮАР. Восстановление от Ве-

ликой неолиберальной рецессии 2008 г. возглавили не США, Япония или Европейский союз, а именно страны БРИК, отчасти потому, что их экономики были не столь неолиберальными. Напротив, они практиковали субсидирование экспорта, протекционизм и государственное координирование. Для наиболее эффективных экономик, особенно для китайской, характерна большая доля государственного регулирования, чем это допускают неолиберальные модели. Вопрос, смогут ли страны глобального Юга продолжить экономический рост, если в странах Севера продлится стагнация, уменьшающая глобальный спрос, остается без ответа. Кроме того, страны Юга существенно различаются между собой почти так же, как четыре страны БРИК. Таким образом, мир, даже будучи глобальным, остается весьма разнообразным. Сталкиваясь с активизацией процессов транснациональной власти, национальные государства и макрорегионы сохраняют свои характерные особенности.

Таким образом, любое абстрактное разграничение между глобальным Севером и Югом требует конкретизации. Во-первых, несколько северных стран, например Швейцария, Швеция и Германия, допустили у себя гораздо меньшую долю неолиберализма и благодаря этому быстрее восстановились после Великой рецессии. Во-вторых, многие страны Юга, особенно Африки и Центральной Азии, остаются катастрофически бедными и слаборазвитыми. В-третьих, многие корпорации, возникшие на Севере, перенесли производство на Юг, образуя двусмысленные для самих себя и своих владельцев национальные/транснациональные идентичности. Они извлекают все большую долю прибыли из операций на расширяющихся рынках Юга и таким образом становятся менее зависимыми от своей исходной базы на Севере. Тем не менее они еще репатрируют большую часть своих прибылей и продолжают считать себя американскими, европейскими или японскими корпорациями. Их противоречивый характер виден на примере типично американской корпорации General Electric, которая сегодня осуществляет больше операций в сфере финансов, чем в промышленности, генерируя больше прибыли за рубежом, чем в своей стране. Тем не менее в январе 2011 г. директору General Electric предложили возглавить инициированный президентом Обамой Консультативный совет по восстановлению американской экономики. У капиталистического класса двойственная идентичность: это не просто глобальный класс капиталистов, как утверждают некоторые, на фоне того, что большинство других классов остаются преимущественно разделенными по национальному признаку. Под воздействием трех вышеперечисленных уточнений контуры глобального Севера утрачивают привычную чет-

кость. Однако это не меняет того факта, что колесо истории поворачивается: баланс экономической власти смещается с Запада к многополюсному порядку, который включает могущественные страны глобального Юга, особенно в Восточной и Южной Азии. Это смещение усиливают военные авантюры американского империализма, после 2000 г. утратившего чувство реальности в смысле пределов своих возможностей, а также все менее эффективное политическое руководство Соединенных Штатов и Европейского союза.

Хотя по-прежнему остается неясным, что XXI в. способен предложить нам в плане трансформации отношений власти, сравнимой с изменениями, описываемыми в настоящем томе, мы уже знаем, что капиталистическая экономика, национальные государства и общество массового потребления продолжают накапливать опасные климатические изменения. Это неизбежно, если каким-то чудом не появятся и не получат широкого распространения альтернативные источники энергии — дешевые и экологически чистые. Глобальное потепление и растущая изменчивость погоды способны породить одну из двух крайностей: геополитически согласованные реформы глобального масштаба, призванные сократить атмосферные выбросы, либо крах большей части современной цивилизации. Возможно, с горем пополам наихудших катастроф удастся избежать благодаря промежуточному решению, благоприятному для одних классов, макрорегионов и народов за счет других, — обычный результат социального развития человечества. Тем не менее ради выживания нам следует из неолиберализма и рыночного диктата вернуться обратно в общественно-регулируемую демократию, хотя на этот раз в геополитическом масштабе. Разумеется, никакой гарантии, что это произойдет, у нас нет. За это придется бороться. Альтернативы могут создать две формы глобализации: более интегрирующую и более дезинтегрирующую. Эта дилемма может сделать XXI в. даже более драматичным, чем XX в.

## РОЛЬ ЧЕТЫРЕХ ИСТОЧНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Теперь обратимся к теоретическим выводам, начиная с развития каждого из четырех источников социальной власти.

### *Идеологическая власть*

Роль идеологической власти в событиях XX в. была весьма изменчивой — она то усиливалась, как в первой половине сто-

летия, то ослабевала, как во второй. С наступлением XXI в. значимость этого фактора вновь несколько выросла. На излете периода правления империй во всем мире преобладала расистская идеология, которая внесла свой вклад в распад этого порядка. Патриархат повсеместно — как в метрополиях, так и в колониях — сохранил свою власть. При этом в странах Запада возобладала идеология либерализма и социал-демократии, а в России, Китае и ряде других стран революционные преобразования вдохновил марксизм. Схожие события в Германии и Италии произошли под влиянием фашизма, который также оказал заметное влияние и на Японию. Столкновение этих конкурирующих идеологий привело ко Второй мировой войне и вызванным ею масштабным послевоенным преобразованиям. Подчеркнем, что националистическая идеология принимала различные формы. Агрессивный национализм, бывший скорее следствием, чем причиной Первой мировой войны, оказался в целом не столь долговечным и вскоре сменился более прогрессивными настроениями популистского и пацифистского толка. В этот период в большинстве стран мира преобладали более мирные формы национального гражданства. Единственным огромным исключением оказался фашизм, но именно он и разжег Вторую мировую войну. Поразительно, как сходные проблемы модернизации — индустриализация, войны с массовой мобилизацией и включение народных масс в политические процессы — приводят к столь несходным идеологическим реакциям. В XXI в. подобное идеологическое многообразие может возникнуть как следствие экологических кризисов. В главах, посвященных событиям первой половины XX в., я объяснил идеологическое многообразие институциональными различиями между странами, а также различиями их исторического опыта, связанными с переживанием трех непреднамеренных глобальных катастроф — двух мировых войн и Великой депрессии. В тот период глобализация способствовала не столько интеграции, сколько дезинтеграции.

Вторая мировая война покончила с фашизмом, государственный социализм потерпел поражение в холодной войне, в результате чего идеологический диапазон сузился до «центрального спектра» — от социал-демократии через христианскую демократию и либерализм (в американском смысле) до умеренного консерватизма. С упадком колониализма и расовой сегрегации в США значительную долю влияния утратил и расизм, но ярый антикоммунизм и [семейный] патриархат сохранялись несколько дольше. Многие провозгласили «конец идеологии». По убеждению Дэниела Белла (Bell 1960), с конца XVII в. в мире произошла значительная трансформа-

ция, в ходе которой доминирующими стали не религиозные, а светские идеологии. Однако к 1950 г. свой потенциал исчерпали и они, виной чему были жестокости, принесенные ими в мир, а также успехи реформированного капитализма и государства всеобщего благосостояния. Советский Союз и Запад, пишет он, постепенно сближаются в направлении единой модели модернизации, что является победой не идеологической, а более прагматичной концепции реформ. Позднее с развалом Советского Союза эту аргументацию подхватил Фрэнсис Фукуяма. Крах фашизма и государственного социализма он привел в доказательство «торжества Запада» и смело заявил: «То, чему мы, вероятно, стали свидетелями, не просто конец холодной войны или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» (Fukuyama 1989: 4). Хотя Фукуяма был прав, подчеркивая победу Запада, объявлять «конец истории» было с его стороны нелепостью, разъяснимой лишь в терминах охватившего Америку наивного триумфаторства. История институционализирует старые идеологии, однако сквозь них постоянно прорастают новые путем интерстициального возникновения.

В итоге к концу XX в. тенденция к исчезновению идеологии была прервана новыми идеологическими течениями, возникшими снаружи и внутри стран Запада, особенно в США — предполагаемом сердце нового консенсуса. Здесь на первое место вышли три идеологии: неоимпериализм, неолиберализм и христианский фундаментализм как реакции на проблемы американской империи, капитализма и нации как моральной общности. Хотя ни одна из них не выступала против либеральной демократии, первая возрождала милитаризм, вторая сворачивала социальную защиту населения, а третья демонстрировала нетерпимость к альтернативным моральным ценностям и образам жизни. Все это угрожало тем либеральным идеалам, которые якобы, по мнению Белла и Фукуямы, восторжествовали в мире. Кроме того, глобализация привлекла в процветающие страны массу иммигрантов — представителей иных культур, что возбудило внутри этих обществ расовую и религиозную нетерпимость. Наконец, на политической сцене появились инвайронменталисты с их зелеными, трансцендентными и по преимуществу пацифистскими идеологиями.

Объявляя либерализм и социал-демократию незыблемыми основами западной цивилизации, Белл, Фукуяма и их последователи допускают ошибку. Коммунисты и фашисты подобным образом полагали, что их победа знаменует собой конец исто-



рии, и посмотрите, чем все закончилось! В действительности либерализм и социал-демократия вынуждены были с боем продвигаться вперед, причем полной победы так и не добились. Когда же они проявили слабость и перестали сражаться с прежней энергией, последовала в конечном счете контратака со стороны правых. В либеральных и левых партиях накапливалась усталость, их традиционные избиратели отошли от политической борьбы или переключились на защиту новых идентичностей. Средства массовой информации оказались под нарастающим консервативным давлением корпораций. Значительных успехов добились феминистки, защитники прав геев и других идентичностей, однако возродившиеся консервативные идеологии, занявшие политический центр, обратили вспять ряд завоеваний гражданского общества, особенно в англоговорящих странах. Понятно, что конца идеологии быть не может — могут возникнуть лишь новые идеологические повороты. Возможно, следующий поворот совершится в обратном направлении, в сторону новых форм коллективизма, которые я считаю необходимыми для борьбы с изменениями климата. Очевидно лишь то, что история не окончена, как не исчерпана и наша потребность в идеологии.

Ряд современных идеологических угроз, возникших за пределами Запада, то есть порожденных усилиями новых исламских, индуистских и сионистских фундаменталистов, добавили миру идеологической пестроты. Они представляют собой идеологический ответ на вопрос, какие социальные силы составляют нацию, а в случае с исламским фундаментализмом — реакцией на действия западного и советского империализма. На Западе, где Старый Свет сегодня занимает преимущественно пацифистские позиции, а Новый Свет остается империалистическим, Европа с очевидностью стала Венерой, Америка — Марсом, тогда как прежде было наоборот. В отличие от американцев среди коренных европейцев продолжается процесс секуляризации, и в Европе религия в деле поддержания клира и церковных общин все больше зависит от иммиграции. В большинстве бывших коммунистических стран, хотя и не во всех, также преобладает секуляризм. Однако в последние десятилетия усилились претендующие на особую чистоту (и более агрессивные) версии ислама, иудаизма и индуизма, а среди основных христианских конфессий Африки и Латинской Америки все чаще наблюдается массовый переход верующих в протестантские секты. Религиозные конфликты между либерально и консервативно настроенными верующими происходят в протестантизме США, в иудаизме Израиля, в исламе и англиканской церкви по всему миру. Представляется, что мы наблюдаем

не конец идеологии, а переизбыток идеологий, многие из которых отличаются нетерпимостью, приводящей к возрождению идеологических конфликтов. Это неудивительно, поскольку новые идеологии являются ответом на новые социальные проблемы, а развитие общества все время порождает новые кризисы, которые нынешние идеологии и институты, по-видимому, не способны разрешить. Однако большинство новых идеологий не столь насильственные и мобилизующие, как те, что были востребованы в первой половине XX в. Тем не менее некоторые из них я назвал имманентными идеологиями, заметно укрепляющими идентичность отдельных социальных групп, а другие — трансцендентными, то есть направленными на всеобъемлющее преобразование жизни путем мобилизации новых, интерстициальных социальных сил.

Эти идеологии соблазнительны, но потенциально опасны. Они мобилизуют сильные эмоции, приверженность к предельным ценностям и мессианские чувства, нередко порождающие крайнюю нетерпимость к инакомыслию. Мы не можем исключить эти проявления из человеческой жизни, но они обычно приводят к тому, что Макс Вебер назвал ценностной рациональностью, то есть приверженностью высшим ценностям, в отличие от тщательного расчета средств и целей, названного им инструментальной рациональностью. Многие предпочитают называть это иррациональностью — качество, которое не раз проявлялось в событиях, описываемых в настоящей книге. Иррациональность давала о себе знать накануне крупнейших кризисов столетия, особенно двух мировых войн, Великой депрессии и Великой рецессии. Скатываясь к этим кризисам, люди показывали себя не с лучшей стороны. Хотя в конечном счете способность к разрешению кризисов всеяла некоторую надежду, указывая на способность человечества к обучению. Наша способность сдерживать угрозу ядерной войны остается главным источником надежды на возможность избежать потенциально губельных кризисов. Хотя и не столь уж иррациональные, последние действия США на Ближнем Востоке, диктуемые возрождением имперской идеологии, оказались деструктивными и вызвали ответную реакцию — активизацию международного терроризма, распространение ядерного оружия и обострение конфликтов внутри основных мировых религий и между религиями.

У трансцендентной идеологии есть еще один недостаток. Предполагая совершенный способ организации человеческого сообщества, она игнорирует реальное разнообразие людей, их ценностей и интересов. И если революционные ситуации максимально приближают нас к консенсусу по поводу желаемых

изменений жизни в целом, то этот консенсус носит в основном негативный характер. Он выражается в стремлении людей свергнуть существующий режим, признаваемый в указанный момент эксплуататорским и некомпетентным, но отнюдь не в согласии относительно того, какой режим придет ему на смену. Как правило, успешные положительные лозунги революции являются простыми и ясными. «Хлеба, земли и мира!» — требовали большевики. «Землю — тем, кто ее обрабатывает!» — требовали крестьянские революционеры. Но что дальше? Как должно быть организовано постреволюционное общество? На этот счет единого мнения не было — напротив, было столкновение мнений. А поскольку революционеры пытались любой ценой навязать непокорному народу свои утопические проекты, их типичным инструментом становилось насилие. Так действовали большевики, китайские коммунисты, фашисты и исламисты, в отличие от которых неоллибералы стремятся контролировать общество менее насильственными способами.

Таким образом, человечеству важно держать трансцендентную идеологическую власть в соответствующих рамках, в отдельной сфере сакрального. Нам следует отделить церковь от государства, переориентировать внешнюю политику США с глобального мессианства на глобальную прагматику, а также ограничить деятельность экономистов Чикагской школы рамками университетских кафедр. Нам необходимо раз и навсегда уладить наши разногласия, не отвергая (зачастую морально неоднозначные) политические уловки, которыми сопровождаются закулисные компромиссы политиков. Мы должны предоставить другим цивилизациям право следовать своей идеологии, какой бы варварской и отталкивающей она нам ни казалась, а те со своей стороны не должны препятствовать нашему идеологическому выбору. Все это с большой вероятностью не позволит идеологиям возобладать над прагматизмом и компромиссом, которые эффективнее управляют экономическими, военными и политическими аспектами человеческих обществ.

### *Экономическая власть*

В описываемый период капитализм доказал свою силу и эффективность. Он победил отчасти потому, что сумел мобилизовать под свои флаги большие силы, отчасти потому, что мощь капитала превзошла силу рабочего класса и других оппозиционных движений. Вместе с тем капитализм победил и альтернативу — государственный социализм и фашизм, тогда как его собственные, имманентно присущие ему эксплуататорские тенденции,

волатильность и подверженность кризисам ослабили из-за реформистского давления снизу. Государственный социализм эффективен на стадии догоняющего экономического развития, когда будущее вполне предсказуемо. Особенно успешен он был на этапе догоняющей индустриализации, когда его преимуществом (почти всегда за счет крестьян) была способность насильственным образом направлять прибавочный продукт из сельского хозяйства в промышленность. Впрочем, государственный социализм был повинен и в ужасных зверствах, повсеместно подорвавших его привлекательность. В отличие от него капитализм представил всему миру «созидательное разрушение» (по Шумпетеру) — способность устранять отжившие отрасли в ходе подъема на новый технологический и организационный уровень. Конечно, в настоящем томе мое сравнение капитализма и государственного социализма (по степени эффективности) носит довольно сложный характер. Большинство трактует это гораздо проще: капитализм работает, коммунизм нет. Впрочем, китайское экономическое чудо, наполовину коммунистическое, наводит некоторые страны глобального Юга на известные размышления.

В томах 3 и 4 я выделил три этапа развития капитализма в странах глобального Севера. Первый переход к новому этапу произошел в начале XX в., когда вторая промышленная революция создала корпоративную экономику с высокой производительностью труда, но низким потребительским спросом. Эта комбинация вылилась в Великую депрессию, хотя, возможно, стала основой для второго этапа, вызванного Второй мировой войной и наступившего после 1945 г. с возникновением общества массового потребления. Затем, в течение 30 лет золотого века, корпоративная экономика, координируемая немногими государствами, совместила высокую производительность со столь же высоким потребительским спросом. Несмотря на глобализацию, в основе первого и второго этапов лежали экономики, запертые в национальные «клетки». Второй этап вылился в кризис 1970-х гг., который, в свою очередь, привел к третьему — неолиберальному и заметно более транснациональному этапу. Его неолиберальная составляющая была новой, но не прогрессивной в том смысле, что означала возврат к старой ортодоксии, итогом чего стало торможение роста и финансирование потребления все больше за счет увеличения долга. По сравнению с экономиками глобального Севера наиболее успешные из экономик Юга росли медленнее и отставали в развитии, поэтому сегодня они только вступают во второй этап массового потребительского спроса, также ограниченного национальными «клетками», хотя и экспортно ориенти-

рованными. На данном этапе экономики Юга в данной фазе по сравнению с экономиками Севера того же этапа отличаются большим этатизмом, причем для догоняющего развития это является относительным преимуществом. Что здесь наиболее поразительно, так это глобальное сосуществование политики развития национальных экономик и мировой экспансии капитализма. Эти процессы тесно взаимосвязаны. Например, хотя поразительные экономические достижения Китая стали возможны в основном благодаря политике КПК, они также были ускорены бурным притоком огромных иностранных инвестиций из Америки, Европы, Японии, а также от зарубежных китайских корпораций, которые обеспечивают большую часть высокотехнологичного сектора экономики КНР. Не будучи игрой с нулевой суммой, взаимодействие национальных и транснациональных сетей бизнеса стало фактором их взаимного усиления.

Своим экономическим успехом капитализм обязан не только капиталистам. К счастью для широких масс населения, марксистский анализ классовой борьбы в рамках капитализма оказался верным лишь наполовину. Маркс ошибался, ожидая революционного прорыва от пролетариата, если не брать чрезвычайно редких условий, вызванных комбинацией политической и военной власти, особенно войной. Однако Маркс был отчасти прав в том, что при обычных условиях трудящиеся классы способны обеспечить достаточно коллективного действия для реформирования капитализма. Революционеры потерпели неудачу, но реформисты частично преуспели. Это привело к расширению массового потребления и углублению демократии за счет постепенного прогресса в области гражданских прав — персональных, политических и социальных, что в 1940-е гг. теоретически обосновал Маршалл. В 1950-е гг. потребительское гражданство поймало ежедневные потребительские радости в сети капитализма. Свобода слова, собраний и организаций, свободные выборы и прогрессивное налогообложение, политика полной занятости и социальные программы плюс растущие потоки потребительских товаров распространились на все страны глобального Севера, а затем на ряд стран Юга. Этот процесс, несомненно, продолжится на Юге, тогда как Север в последнее время переживает некоторый регресс гражданских прав, связанный с падением активности рабочего движения. В то же время капитализм взял на вооружение более транснациональные формы организации, находящиеся вне сферы контроля отдельных национальных государств.

Экономический прогресс не был заслугой одних лишь рыночных сил. Его ускорили, особенно в послевоенный период,

меры регулирования и координации, проводимые национальными государствами. Последние остаются главными институтами макроэкономического планирования; в национальных границах все еще осуществляется купля-продажа примерно 80% товаров и услуг. В национальных «клетках» сформировалось гражданское общество. Крупные корпорации стали более транснациональными (особенно в сфере финансовых услуг), а их логистические цепочки охватывают многие страны, но в вопросах поддержки и регулирования они все еще зависят от государства. Мировой капитализм остается смесью национальных, межнациональных и транснациональных сетей, причем последние усилились и в какой-то мере ограничили экономическое влияние национальных государств. Однако нам еще далеко до появления транснационального правящего класса, о котором заявляют некоторые социологи (Sklair 2001; Robinson and Harris 2000). Ближе всего к искомому статусу находится организованный, вооруженный спекулятивными инструментами глобальный финансовый капитал.

На Западе можно выделить несколько разновидностей капитализма и проследить значимые различия между относительно либеральной рыночной экономикой, более ориентированной на рынок, и скорее социальной рыночной экономикой, более ориентированной на корпоративизм. Сюда же приходится отнести и экономику Японии с ее отчетливым корпоративизмом. Максимальные отклонения от этих моделей встречаются в экономиках большинства стран глобального Юга, больше зависящих от государства. За последние два столетия лучший хозяйственный рост в большинстве стран догоняющего развития обеспечивала рыночная экономика, координируемая государством. Впрочем, в зависимости от имевшихся ресурсов и сравнительных преимуществ ситуация могла варьироваться (Chang 2003; Kohli 2004). Она зависела от того, насколько сплоченными и сравнительно менее коррумпированными были экономические и политические элиты этих государств. Тем не менее многочисленные истории успеха, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, служат внушающим надежду опровержением теории зависимости, предполагавшей, что развитые государства смогут удерживать развивающиеся страны в состоянии хронической зависимости.

И все же в современном мире наиболее распространенным типом экономики является экономика с большой долей государственного участия. После деколонизации часто появлялись вполне эффективные государства, но редко где возникал предпринимательский класс, поэтому экономическое развитие происходило под сильным государственным патронажем.

В период, когда в странах глобального Юга были особенно привлекательны идеалы социализма, там происходила масштабная национализация промышленности. Это нередко вызывало рост коррупции, и возникшая в 1970–80-х гг. реакция на провалы социализма привела к реприватизации, что также оборачивалось коррупцией. Особый тип подобных событий продемонстрировали страны бывшего советского блока. Их переход к капитализму, как описывает глава 8, начался с захвата экономических ресурсов бывшими аппаратчиками, к которым вскоре присоединились предприниматели, добившиеся привилегированного доступа к государственным лицензиям. Первоначально это породило мафиозный класс капиталистов, в какой-то мере независимый, возглавляемый олигархами, но постепенная консолидация власти Владимиром Путиным заставила их считаться с ним. Олигархи утратили часть мафиозных признаков, но вошли в тесный контакт с государством. Вопрос, кто в этом «браке по расчету» является «главой семьи», остается открытым. Однако здесь мы наблюдаем более политизированную форму капитализма, чем та, которая существует на Западе. Свой вариант переходной экономики демонстрирует Китай. Политизированный капитализм сложился также во многих странах глобального Юга. Здесь приватизированные государственные активы достались друзьям и родственникам политической элиты, а в ряде стран часть добычи даже досталась службе безопасности или тайной полиции. Это была сознательная стратегия режима, позволившая ему покупать лояльных сторонников. Типичными примерами такого развития были режимы шаха Пехлеви в Иране и Мубарака в Египте; в Руанде вопрос, кто будет контролировать госпредприятия, стал поводом для геноцида. Безусловно, политизированный капитализм уязвим, поскольку на нем фокусируется часть экономического недовольства, которое, умноженное на политическое недовольство, обрушивается на правящий режим. Однако падение режима не всегда устраняет политизированный капитализм, поскольку новый режим может выстроить аналогичные старым патрон-клиентские отношения, как это произошло в Иране после революции 1979 г. Таким образом, хотя капитализм господствует во всем мире, он принимает различные формы. Поэтому сегодня капитализм в западном стиле не является его глобально доминирующей разновидностью.

Мерой успеха различных форм капитализма и государств является статистика смертности. В заключении к тому 3 я привожу данные о снижении смертности вплоть до 1970 г. С тех пор улучшение продолжается. В 1970 г. средняя продолжительность жизни в мире составляла 59 лет, в 2010 г. она равнялась

уже 69 годам. Еще больший прогресс демонстрирует статистика детской смертности. В 1970 г. глобальная детская смертность (количество умерших в возрасте до 5 лет на 1000 детей) составляла 141, в 2010 г. она упала более чем вдвое — до 57. Хотя в этих достижениях непропорционально велика была доля Индии и Китая, а в большинстве стран Африки южнее Сахары и в ряде постсоветских государств никакого прогресса не произошло, тенденция к улучшению состояния здоровья населения Земли была почти всеобщей. Во всем мире наблюдается выравнивание ожидаемой продолжительности жизни как итог того, что капитализм обеспечивает людям обильное и здоровое питание, а правительства создают необходимую инфраструктуру — водопровод, канализацию и госпитали. Оба процесса, которые принесли богатство странам глобального Севера, а большинству жителей Юга — адекватные стандарты жизни, стали великими экономическими достижениями нашей эпохи. Этот этап человеческой истории мы должны рассматривать в позитивном свете, хотя над миром нависает угроза ядерной войны и климатических изменений.

Впрочем, в глобальном масштабе различие между самыми богатыми и самыми бедными людьми остается значительным. Несмотря на экономический рост Китая, абсолютный разрыв в уровне благосостояния среднего американца и среднего китайца продолжает увеличиваться, хотя, по всей вероятности, долго это не продлится. Неравенство между странами по-прежнему превосходит неравенство между людьми, живущими в одной стране. Согласно мировым оценкам, место рождения человека определяет 60% его дохода, тогда как унаследованная классовая позиция — лишь 20% (Milanovic 2010). Вашу судьбу по большей части решает удачное происхождение, поэтому так много выходцев из стран глобального Юга рискуют жизнями, пытаясь попасть в страны глобального Севера. Тем не менее мы уже можем разглядеть, как закладывается, наконец, основа перехода к подлинно глобальной экономике, означающей более равномерное распределение богатства во всем мире.

Сегодня вклад экономики в развитие цивилизации в ряде стран и регионов глобального Севера и Юга находится под угрозой из-за подъема неолиберализма. С ним приходят рост долгов, неравенство, алчность и финансовая преступность — факторы, подрывающие уровень жизни простых людей и социальную сплоченность наций. Вновь подчеркнем: необузданность капитализма приводит к эксплуатации. По-видимому, в капитализме вопреки предположениям Поланьи отсутствует необходимый механизм самозащиты и самокоррекции. Вместо этого каждому поколению следует помнить, что непростая задача —



цивилизовать капитализм и спасти его от самого себя — требует вечной борьбы.

Каковы перспективы капитализма? Точный прогноз долгосрочных тенденций невозможен по трем основным причинам. Во-первых, наша планета велика и многообразна. В настоящее время нельзя делать обобщения о макросоциальных структурах, которые относились бы ко всему миру. У нас еще меньше оснований экстраполировать их на будущее. Во-вторых, моя модель источников социальной власти не является системной, то есть четыре ее источника не складываются в единую социальную систему и их взаимоотношения не имеют детерминистического характера. Как я покажу чуть позднее, они взаимно ортогональны, сохраняют некую степень автономии, но взаимодействуют друг с другом. Исход их взаимодействия непредсказуем и создаст не единую глобализацию, а несколько глобализаций одновременно. В-третьих, макроструктуры возникают из человеческих действий, а люди по природе своей изменчивы, эмоциональны, они могут быть и рациональными, и иррациональными. Люди непредсказуемы, а потому я воздержусь от торопливых и однозначных прогнозов. Вместо этого я попытаюсь нарисовать альтернативные сценарии капиталистического будущего, а также рискну сделать грубые предположения относительно вероятностей наступления того или иного сценария.

Обсуждая в главе 11 Великую неолиберальную рецессию 2008 г., я отметил, что большинство стран глобального Севера пострадали от нее больше, чем успешно развивавшиеся страны Юга. В этой же главе я усомнился в том, что экономическая политика развитых стран преодолет свои слабости и в ближайшие годы избежит повторения рецессии. Это один из аспектов смещения экономической власти с Севера на Юг, результатом чего скорее всего станет восстановление полицентричной структуры капитализма. Как уже отмечалось, капитализм может существовать в нескольких вариантах, но сейчас мы отвлекемся от этого и обсудим долгосрочную перспективу глобального капитализма.

Многие марксисты, уверенно прогнозировавшие конечную гибель капитализма, после краха коммунистической идеи мрачно задумались о его вечности. Впрочем, сторонники мир-системного анализа вернули им присутствие духа. Фокусируясь на том, как предприниматели продлевают срок существования капитализма за счет «пространственного решения», то есть переноса производства из развитых стран в страны с более дешевой рабочей силой и меньшими издержками, марксисты предсказали, что капитализм в конечном счете исчерпает свой рыночный потенциал. Когда Китай станет слишком дорогим местом

для производства, фабрики переместятся в более дешевые страны, такие как Вьетнам. Когда слишком дорогим станет Вьетнам, производство перенесут в другое место, возможно в Африку, и так будет продолжаться не одно десятилетие. Исход из Китая уже начался. По оценкам Валлерстайна (Wallerstein 2012), на то, чтобы рабочее движение в развивающихся странах пришло к созданию профсоюзов и добилось повышения заработной платы и улучшения условий труда, уйдет примерно 30 лет, после чего эти страны перестанут быть местом дешевого производства. Но как только последний регион, принимающий к себе подобные производства (вероятно, этим регионом будет Африка), модернизирует свои условия труда, в мире не останется дешевых рынков рабочей силы. Дальнейшие «пространственные решения» будут невозможны, норма прибыли упадет, а трудящиеся в мировом масштабе организуются с целью противостоять попыткам капитала снизить затраты на рабочую силу. Капитализм войдет в фазу окончательного кризиса. Валлерстайн не указывает точных дат, но его модель позволяет предположить, что это случится примерно через 60 лет.

Рассуждения Валлерстайна носят весьма спекулятивный характер, и, разумеется, с точностью предсказать результаты на столь долгую перспективу не сможет никто, что признает и сам Валлерстайн. Тем не менее к некоторым аспектам его модели я отношусь скептически. Во-первых, хотя я согласен с предложенной последовательностью «пространственных решений», но их конечный результат может оказаться иным. Если в мире не останется дешевой рабочей силы, то капиталисты уже не смогут получать сверхприбыль из этого источника. Однако повышение производительности труда и расширение потребительского спроса в новых развитых странах позволит компенсировать эту потерю и создать процветающий и реформированный глобальный капитализм, где гражданские права будут обеспечены каждому человеку, что будет означать не конец капитализма, а его значительное улучшение. Основным возражением против этого довольно оптимистичного сценария является то, что повышение производительности труда, как правило, ведет к сокращению рабочих мест. В таком случае данный сценарий потребует сократить рабочее время и деление одного рабочего места на два и более, с тем чтобы в такого рода капитализме могли поучаствовать все.

Мое второе сомнение по поводу модели «пространственных решений» проблем капитализма связано с тем, что рынки не всегда географически ограничены. Новые рынки могут быть созданы путем развития новых потребностей. Капитализм научился убеждать нас в том, что каждой семье нужны

два автомобиля, более уютное и просторное жилище, бесчисленные электронные устройства, которые ежегодно устаревают и должны обновляться каждый год. И хотя нам неизвестны потребительские предпочтения наших правнуков, мы можем быть уверены, что они будут. Рынки нельзя свести к территориям. И хотя мировое хозяйство может быть переполнено [товарами], это не исключает возможности формирования новых рынков.

Впрочем, вопрос, будет ли найдено чудотворное лекарство от недугов капитализма, остается открытым. Это зависит от его второго, так называемого технологического решения — способности постоянно изобретать новые продукты и отрасли. В этом вся соль «созидательного разрушения» по Шумпетеру: предприниматели вкладываются в технологические инновации, что обеспечивает появление новых и разрушение старых отраслей промышленности, сохранение рентабельности и дальнейшие инвестиции. Подобная стратегия может оказаться «ездой по бездорожью». Великая депрессия в США была отчасти вызвана стагнацией в традиционных отраслях, тогда как развивающиеся отрасли, хотя и динамичные, не были еще достаточно крупными, чтобы поглотить на тот момент излишние капиталы и трудовые ресурсы, что обсуждалось в томе 3. Этого удалось добиться лишь после Второй мировой войны, когда реализовался громадный потребительский спрос, долго сдерживавшийся в суровых условиях военного времени.

Сегодня в мире вновь появляются динамичные отрасли, например микроэлектроника и биотехнология. И хотя инновации не скудеют, эти отрасли, к сожалению, не являются эффективными решениями, поскольку не порождают занятости, компенсирующей безработицу, вызванную переносом промышленности за рубеж. По количеству новых рабочих мест, особенно таких, которые не требуют высокой квалификации, инновации, такие как компьютер, интернет или средства мобильной связи, несравнимы с железными дорогами, электрификацией и автомобильной промышленностью. Кроме того, инновации не настолько прибыльны, чтобы стимулировать необходимый рост экономики. В результате имеет место перенакопление капитала, его избыток инвестируется в финансовые услуги, которые на самом деле добавили негатива к последним бедам капитализма. Более важным, по всей видимости, является расширение сегментов здравоохранения и образования, которые более трудоемки, особенно для интеллектуалов и представителей среднего класса. Эти сегменты, вероятно, будут расширяться по мере увеличения средней продолжительности жизни, особенно старости, и роста требований к дипломам и квалификациям. Однако в этой

связи раздаются и скептические голоса. Так, Рэндалл Коллинз (Collins 2012) обеспокоен последними тенденциями к переводу за рубеж производственных функций, требующих интеллектуального труда и закрепленных за представителями среднего класса. Коллинз не видит способа, при помощи которого глобальный Север мог бы обеспечить достаточно занятости для поддержания всего общества. Однако в перспективе может появиться новый источник рабочих мест — сектор альтернативных видов топлива. В настоящее время он не является значимым работодателем, но будущее этого сектора пока неизвестно. Коллинз отмечает, что нет причины, по которой «созидательное разрушение» вечно должно спасать капитализм. Возможно, в послевоенный золотой век ему просто сказочно повезло.

Впрочем, у нынешних тенденций есть и светлая сторона, поскольку экспансия капитализма в страны глобального Юга вызвала значительное расширение мировой занятости, опережающее даже существенный рост численности населения Земли. Не случись этого, удвоение и утроение числа людей на планете вызвали бы серьезный экономический кризис. В период 1950–2007 гг. темпы роста занятости опережали рост численности населения примерно на 40%. Сегодня в странах ОЭСР трудится больше людей, чем когда-либо раньше, однако в абсолютных цифрах выросла и безработица как из-за роста народонаселения, так и из-за большего числа претендентов на рабочие места, в том числе женщин. Тот факт, что на официальный рынок труда выходит все больше женщин, остается с точки зрения занятости на Севере серьезной проблемой. Однако в других регионах мира ситуация иная. С 1970-х гг. по 2007 г. уровень глобальной безработицы оставался достаточно стабильным, порядка 6%. Даже на протяжении Великой рецессии глобальная занятость, по данным МОТ, продолжает расти, хотя и вдвое медленнее, чем до кризиса. К сожалению, этот процесс происходит неравномерно. В 2009 г. занятость сократилась в развитых странах, включая Европейский союз (на 2,2%), и в соседних странах, а также в странах СНГ (на 0,9%), но выросла во всех других регионах мира. Кроме того, в развитых экономиках и в странах Восточной Азии коэффициент занятости, то есть отношение работающих ко всему населению, снизился, зато в других регионах этот показатель в 2010 г. вернулся к уровню 2007 г. Пока что рост безработицы является не глобальной проблемой, а лишь проблемой глобального Севера. Однако возможно, что грядущей проблемой рынка труда в развитых странах окажется не высокая безработица, а нехватка рабочей силы. Дело в том, что в этих странах продолжительность жизни растет, в то время как рождаемость упала ниже уров-

ня воспроизводства населения. Чтобы восполнить этот пробел, Европа, Япония и Северная Америка, по-видимому, будут нуждаться в большом притоке мигрантов. Поскольку в развивающихся странах (по мере их обогащения) проявятся те же демографические тенденции, общая численность населения Земли во второй половине XXI в., вероятно, начнет сокращаться. Вот почему чрезмерного роста глобальной безработицы может и не произойти, что позволяет нам несколько оптимистичнее судить о будущем капитализма.

Однако допустим, что мы приняли негативный прогноз Валлерстайна относительно судьбы капитализма. Даже в этом случае помимо краха перед капитализмом открыт один из двух альтернативных сценариев его будущего. Согласно первому (пессимистичному) сценарию в мире сохраняется высокая структурная безработица и возникает общество, в котором общая численность занятых относится к общей численности населения как  $\frac{2}{3}$ – $\frac{1}{3}$  (хотя любые цифры здесь являются произвольными). В этом обществе большинство занятых — образованные, высококвалифицированные специалисты, занятые на постоянной основе, тогда как оставшаяся треть населения прозябает на задворках общества, перебиваясь случайными заработками или вовсе не имея работы. Последним государство либо выплачивает пособие и оказывает социальную помощь в объеме, достаточном, чтобы удержать их от мятежа, либо подавляет репрессивными мерами. Во втором случае возникает расширенная версия, контуры которой обрисованы в главе 6, модели *workfare to prisonfare* (от системы пособий, стимулирующей искать любую работу, до системы, принуждающей искать работу под страхом уголовного преследования или тюремного заключения). Исключенные остаются в меньшинстве, поэтому их шансы на успешное сопротивление невелики. Возможно, благополучная часть населения не станет сочувствовать этим людям, считая их тунеядцами, нахлебниками, отбросами общества и т. д. Возможно, в ряде стран чрезмерную долю бедняков составят национальные или конфессиональные меньшинства, что добавит к их «социальному портрету» негативную этническую и религиозную коннотацию. Эксклюзия может стать наследственно передаваемой в низшем классе. Благополучное большинство может проголосовать за сохранение этой пропасти, тогда как многие исключенные могут потерять право голоса. Вероятно, страны будут и дальше различаться по уровню социального обеспечения нуждающихся. Например, Швеция и Германия скорее всего заинтересованы в преодолении эксклюзии бедных из существующего общества, а другие страны (например, США) могут этого и не захотеть. Допустим и другой пессимистичный сценарий, поскольку

ку он уже реализовался в Соединенных Штатах, а социологи наблюдают его развитие и в Европе. Он приведет к окончательному упадку рабочего класса, но не капитализма. Глобальная экономика постепенно приближается к реализации первой части модели, предложенной Марксом и Энгельсом, — к триумфу капитализма. Впрочем, эти два великих радикала были бы разочарованы отсутствием второй части — перспективы революции, которая бы уничтожила этот строй. Дело в том, что капитализм развился в асимметричный способ производства. В его рамках существует организованный и осознающий себя класс капиталистов, пусть и обладающий двойной (национальной/транснациональной) идентичностью. Однако на другом полюсе почти отсутствуют коллективная организация и классовое самосознание, зато в избытке национальное размежевание представителей средних и низших классов. Во второй половине описанного в данном томе периода классовый вызов капитализму утратил былую мощь. Эта асимметрия могла бы продлить жизнь капитализму, хотя серия «пространственных решений» (spatial fixes), возможно, с годами укрепит международный рабочий и средний классы. Кроме того, войны, идеологии и национальные государства всегда останутся факторами, способными перенаправить и даже разрушить капитализм.

Социальные институты сохраняются даже при недостаточном функционировании, если только угнетенные не противопоставят им собственную организацию. В настоящее время это осложнено тем, что на Севере левая идея никогда не была так слаба, как сегодня. При этом в ряде стран глобального Юга наблюдается укрепление левых сил.

Второй сценарий более оптимистичен. Он не исключает, что мир станет единым капиталистическим рынком, а норма прибыли и темпы роста экономики упадут. Однако это предполагает, что капитализм надолго стабилизируется, даже имея низкие темпы роста. Разумеется, в этом не было бы ничего принципиально нового. Как известно, грандиозный капиталистический прорыв произошел в XVIII–XIX вв. в Великобритании. Однако темпы роста британской экономики никогда не превышали 2% в год. Успех Великобритании объясняется скорее тем, что ее экономический рост (в среднем чуть выше 1% в год) продолжался очень долго. Впрочем, в XX в. темпы роста выросли. В межвоенный период наиболее успешно развивавшиеся страны (Япония, ее колонии, а также Советский Союз) достигли беспрецедентных темпов роста — около 4% в год. Затем, в конце XX в., Китай и Индия (а сейчас и другие страны) достигли темпов роста порядка 8%. Хотя такие темпы роста сохраняются по крайней мере два десятилетия, они неизбежно

сократятся. Тогда превосходящие темпы роста, вероятно, покажут страны Африки и Центральной Азии. Однако если капитализм охватит всю планету, то темпы роста могут упасть до 1% в год, то есть до исторического уровня британского экономического успеха. Почему же тогда однопроцентный рост экономики должен грозить кризисом капитализма? Экономика Японии, где однопроцентный рост наблюдается уже десять лет, остается на удивление стабильной. Капитализм способен существовать как глобальная система с низкими темпами роста, как было на протяжении большей части истории. В этом случае 1945–1970 гг. на Западе и конец XX — начало XXI в. на Востоке будут рассматриваться как абсолютно исключительные времена. Кроме того, тенденция к низким темпам роста привела бы к падению роли спекулянтов и влияния финансового капитала. В связи с этим повторение Великой рецессии (весьма вероятное сегодня) в долгосрочной перспективе стало бы менее вероятным. Вместе с улучшением условий труда это была бы замечательная новость. Тогда все человечество могло бы жить в относительно стабильных условиях, а будущее капитализма оказалось бы не драматичным, а довольно-таки скучным.

Если бы пришлось выбирать один наиболее вероятный сценарий примерно до 2050 г. при условии, что за это время не произойдет ничего экстраординарного, я сделал бы ставку на глобальное распространение капитализма с меньшими темпами роста, но с большим экономическим равенством. Это было бы неплохо, за исключением роста случайной занятости или увеличения низшего класса безработных до уровня порядка 10–20% всего населения. Речь о слиянии двух описанных выше сценариев — нечто напоминающее реалии в индустриальных странах XIX в.

Я не предрекаю кризисов и революций. Будущее левых, вероятно, ограничится реформистской социал-демократией или либерализмом в его американском понимании. В странах глобального Севера представленный выше пессимистичный сценарий способен вообще свести левых на нет, но в случае моего оптимистичного сценария это маловероятно. Он предполагает дальнейшее противостояние рабочих и работодателей по вопросам, связанным со спецификой капиталистической эксплуатации: охраны труда, величины заработной платы, выплаты пособий, гарантии занятости и т. д. Вероятным исходом этой борьбы станут реформы и компромиссы. Развивающиеся страны скорее всего будут выступать за реформированный и более эгалитарный капитализм, как это делали страны Запада в первой половине XX в. И по аналогии с Западом одни страны окажутся успешнее других. С серьезными пробле-

мами сталкивается Китай. Его экономические достижения как результат феноменального прогресса распределяются весьма неравномерно, что порождает активный социальный протест. Безусловно, в Китае не исключена революционная турбулентность, но, вероятно, тогда там будет больше капитализма и демократии, пусть и несовершенных, как в России после распада СССР. С серьезными проблемами столкнутся и США, экономика которых отягощена чрезмерными расходами на оборону и здравоохранение, государственное устройство теряет надежность и эффективность, а идеология консервативных кругов оспаривает достижения естественных и общественных наук. Все это происходит в условиях неизбежного (хотя и относительного) упадка Америки и на фоне понимания того, что ее претензии на моральное превосходство над остальным миром безосновательны. Это предполагает возможность дальнейшего упадка Америки.

Разумеется, если изменение климата принесет ожидаемую многими катастрофу, то все эти сценарии пойдут прахом. В этом случае наше положение станет гораздо хуже, чем при кризисе одного лишь капитализма. В XXI в. задача граждан и политических элит — противостоять тенденции к расколу общества (на включенных/исключенных), сдерживать массовый консьюмеризм и наладить международную координацию. Перед капитализмом же стоит задача «творческого скачка», в частности перехода на следующий этап развития высоких технологий на основе альтернативных источников энергии. Впрочем, за такие экономические цели нам еще придется побороться и результат такой колоссальной борьбы не предскажем.

### *Военная власть*

Рождение глобальных империй и две мировые войны оказались апогеем и вместе с тем кульминацией тысячелетней традиции европейского милитаризма, более древнего, чем капитализм. Военная власть обладает собственной логикой развития, отличной как от экономической логики капитализма, так и от политической логики национальных государств. Однако в этот период развитие военной власти в значительной мере опиралось на растущую экономическую власть капитализма, присвоенную государствами. За это время чрезвычайно развилась военная наука и техника. Здесь я не выделяю конкретных этапов, а лишь констатирую непрерывную эскалацию нашей способности убивать. Однако в конечном счете с появлением ядерного оружия горячая война между сверхдержавами стала полным безумием и ее реальная вероятность снизилась почти



до нуля. К сожалению, в ходе так называемой революции в военном деле 1990-х гг. Соединенные Штаты стали первооткрывателями нового поколения «умных» конвенциональных вооружений. Это расширило потенциал перекладывающей риски войны, при которой военные риски собственных солдат перекладываются на вражеских солдат и мирных жителей. Америка получала чрезвычайно эффективные средства подавления живой силы противника, не опасаясь серьезных последствий. Впрочем, не все военные разработки были продуктом высоких технологий. Советский сержант танковых войск Михаил Калашников приобрел всемирную известность, сконструировав модель простого и дешевого в изготовлении полуавтоматического стрелкового оружия, состоящего из нескольких легко заменяемых деталей, для вооруженных и партизанских формирований. Во всем мире автомат Калашникова плюс переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы плюс «оружие слабых» (самодельные взрывные устройства) уравнили шансы при ведении боевых действий малой интенсивности. В наши дни унижительное поражение могущественному государству способны нанести небольшие партизанские отряды и террористические группы.

В XX в. социальное развитие сильно пострадало и было перенаправлено в результате войн с массовой мобилизацией. Не случись двух мировых войн, возможно, не возникло бы коммунистических и фашистских режимов — лишь неудавшиеся революции. Наряду с другими полуавторитарными капиталистическими режимами сохранились бы царская Россия и националистический Китай; не было бы ни глобальной американской империи, ни доллара как мировой резервной валюты, а была бы валютная корзина. Возможно, не настал бы (или не настал бы так быстро) второй этап капитализма — высокого спроса и высокой производительности. США все равно оказались бы ведущей мировой державой, обладающей богатыми природными ресурсами и привлекающей (или создающей у себя дома) квалифицированную рабочую силу, но эта держава не осталась бы в «блестящем одиночестве». С небольшим отрывом за США следовали бы Германия, Великобритания и Франция, которые дольше сохраняли бы свои империи, что могло обернуться благом для последующего развития их бывших колоний. В Европе не возник бы Европейский союз, а в Азии мы, возможно, увидели бы противостояние Японии и Китая, из-за чего баланс сил склонился бы в пользу последнего, как это сегодня и происходит. Возможно, в либеральных странах возникли бы несколько иные модели развития социального гражданства; возможно, в континентальной Европе не был бы заключен

столь широкий компромисс между социал-демократией и христианской демократией; возможно, американский «новый курс» сохранился бы несколько дольше, а США так и не стали бы исключительной страной. Возможно, не появилось бы ядерного оружия и не возникли бы ядерные державы, и кто знает, каких еще технологий не появилось бы! Все это лишь возможности, но не исключено, что часть из них могла бы стать действительностью. В таком случае мир был бы иным.

События, подобные двум мировым войнам, едва ли повторятся. Выбор невелик: либо третья мировая война разрушит планету, либо крупных войн больше не будет. Я надеюсь, что человечеству хватит ума, чтобы выбрать второй вариант, если не вмешается игра с нулевой суммой вокруг доступа к основным природным ресурсам. Впрочем, возможность ведения малых «войн с перекладыванием рисков» означает, что великие державы смогут воевать, без необходимости искать поддержки у широких масс населения. Таким образом, снижается вероятность того, что порожденные войной большие проблемы подорвут легитимность существующих режимов. Поскольку это затрудняет устранение нынешних властных элит, менее вероятными становятся и революции. Гораздо дольше продержится у власти Коммунистическая партия Китая; весьма прочными, несмотря на высокую коррупцию, окажутся существующие демократии, включая США. Патовая ситуация в отношениях демократов и республиканцев может сохраняться там почти бесконечно, усиливая постепенный упадок, но не катастрофу Соединенных Штатов Америки.

По итогам двух мировых войн доминирующее положение на международной арене заняли две империи «воинственных вождей пограничий»: Соединенные Штаты и Советский Союз, возникшие по краям исторического ядра европейской цивилизации. Хотя с годами оба соперники стали «более убежденными империалистами», третьей мировой войны им удалось избежать. Советская власть была деспотией, но носила оборонительный характер; американская империя была не так однозначна — иногда весьма агрессивна, ее основной задачей была мягкая гегемония. Это была империя, собственные интересы которой зачастую переплетались с идеей общего блага. Большая часть глобального Севера, а также ряд стран глобального Юга превратились в зону спокойствия. Если не считать гражданских войн, на планете воцарялся мир.

Большинство социологов гораздо проще трактуют период эволюционного роста капитализма и демократии, в ходе которого национальные государства сменяются глобализацией. Однако, надевая человечеству эти успокаивающие шоры, они за-

нимаются теоретическим шарлатанством. Разумеется, если бы удалось исключить войны между странами (сомнительное допущение), то с помощью таких мирных моделей общественного развития мы могли бы впервые в истории лучше объяснить дальнейшие события. Впрочем, на это остается только надеяться.

В начале нового тысячелетия мирная тенденция была прервана вспышкой империализма США на Ближнем Востоке, ответной реакцией на которую стало глобальное распространение (прежде локального) исламского терроризма. Сегодня обоюдная эскалация кровопролитной схватки США с «воинами джихада» до сих пор не окончена. В более бедных регионах эскалация милитаристической угрозы происходит из-за гражданских войн, половина которых объясняется этническими или религиозными конфликтами. Демократический идеал правления силами народа или нации был извращен и обернулся этническими чистками, о чем повествует моя книга «Темная сторона демократии» (Март 2005). Тем не менее достигшие пика в 1990-х гг., гражданские войны в наступившем столетии несколько поутихли. Хотя существующие гражданские войны затянулись надолго, новые гражданские войны стали возникать меньше — знак надежды, перечеркнуть который, впрочем, способны недавние события в Ливии, Сирии и Йемене.

Некоторые полагают, что самая страшная этническая чистка — холокост — стала переломным моментом в истории XX в. или даже всей современной истории. Хотя я не разделяю эту точку зрения, международное признание холокоста — положительный шаг, позволяющий глубже понять геноцид как явление. Это был не первый геноцид Нового времени — трагическую участь разделили подвергшиеся колонизации аборигены Северной и Южной Америки, затем Австралии, а в начале XX в. — армяне. Этот геноцид также не был последним. Подобно многим случаям геноцида, холокост произошел во время Второй мировой войны, когда случались и массовые бомбардировки гражданского населения (хотя в целом их не признают зверствами). Холокост был лишь частью более широкой темной стороны современного милитаризма. Политическая борьба с милитаризмом продолжается и уже принесла свои плоды в Европе, оплаченные громадными разрушениями и усталостью народов от войны, и в Латинской Америке, где цена оказалась гораздо меньшей. Эту борьбу еще предстоит выиграть в таких странах, как США и Северная Корея, а также во многих регионах Африки и Ближнего Востока. Теперь американский милитаризм — после провала своих недавних авантюр — может на время утихомириться, как было в течение 30 лет после по-

ражения во Вьетнаме. Сегодня велика вероятность того, что в ближайшие десятилетия роль войны и военной власти уменьшится, хотя эту относительно пацифистскую перспективу могут перечеркнуть потенциальные климатические катастрофы. Тем не менее пока на большей части планеты описываемый нами период характеризуется значительным снижением роли военного фактора.

### *Политическая власть*

Сегодня преобладающей на планете формой политических отношений являются национальные государства. В мире остается единственная империя, упадок которой уже начался и будет продолжаться. Национальные государства остаются фактором, структурирующим капиталистическую экономику. Социал-демократические и либеральные концепции демократии продемонстрировали свою устойчивость, хотя их распространение на планете было медленным и сбивчивым. С точки зрения экономической эффективности они не доказали своего абсолютного превосходства над деспотическими режимами, тогда как попытки навязать демократию военными методами не удались, за исключением ряда стран, уже имевших в прошлом демократический опыт. Вместо этого демократия утверждается благодаря политическим достоинствам, поскольку порождает значительно больше свободы, чем государственный социализм и фашизм, крах которых был не столько экономическим, сколько политическим. Эти режимы выродились в репрессивные деспотии, поскольку их революционные элиты, подавив всех противников, не выработали механизма внутрипартийной дискуссии либо передачи власти другим политическим силам. Как мы видели, основные коммунистические и фашистские революции в XX в. были спровоцированы войной и несли на себе печать насилия. Либеральные и социал-демократические правительства, напротив, расширили права граждан, прежде всего трудящихся классов, затем этнических меньшинств и женщин, а в последние годы инвалидов и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Этот процесс, продолжающийся до сих пор, является крупным политическим достижением описываемого периода.

Для существования демократии — либеральной или социальной — требуется, чтобы в гражданском обществе сохранялся плюрализм. Это предполагает как способность общества мобилизовать группы с противоположными интересами на отпор доминирующим, а также и автономию политики от посягательств со стороны акторов военной и экономической власти. К сожа-

лению, так не всегда бывает даже в странах, называющих себя демократическими, включая США. Сегодня американская демократия хромает, причиной чему стала коррумпированность политиков и прессы под влиянием капиталистических корпораций, а также эрозия гражданских свобод под давлением «государства национальной безопасности». Несмотря на это, из всех известных политических систем наименьшим «злом» остаются либерализм и социал-демократия. А поскольку они всегда несовершенны, то наши усилия по их защите и улучшению также никогда не окончатся.

Хотя многие ожидали, что глобализация устраним национальное государство, на самом деле оно было глобализовано. Сегодня весь мир состоит из предположительно национальных государств. Государственные функции изменились, но полностью не исчезли. Любопытно, что социологи, давно пренебрегавшие значением отношений военной власти, не обратили особого внимания на ослабление такой важнейшей государственной функции, как ведение войн. К настоящему времени многие национальные государства утратили традиционный военный «хребет». Как бы не замечая этого, сторонники глобализации сосредоточились на менее важном процессе — снижении роли национальных экономик под влиянием транснационального капитализма, то есть экономического империализма США. Однако большинство государств, особенно рассмотренные в первых главах политические режимы, для которых характерны корпоративизм и догоняющее развитие, в значительной мере сохраняют контроль над своими экономиками, тогда как прочие государства никогда такого контроля не имели. Во всех главах я старался проводить различие между государствами, поскольку все они разные; между собой различаются даже такие «родственные» [в культурном отношении] страны, как Англия и США, Япония и Корея. И то, чем энтузиасты транснационализации пренебрегают как издержками методологического национализма, по-прежнему занимает в социальной науке значительное место. Разумеется, шоры национализма не должны препятствовать социологам видеть значимые местные, макрорегиональные, транснациональные и международные сети взаимодействия. И будто для компенсации значительного сокращения военных (и меньшего сокращения экономических) функций государства развитые страны взяли на себя законодательные функции в сферах общественной жизни, ранее считавшихся частными или табуированными. Речь идет о таких явлениях, как домашнее насилие, образ жизни (курение или нездоровое питание), сексуальная ориентация, право на социальную поддержку, потребительское отношение к при-

роде. Таким образом, интенсивность регуляторных функций государства продолжает расти, для него по-прежнему возникают новые роли, тогда как старые (война или политика протекционизма) уходят в прошлое. Новые социальные движения требуют от политиков создания дополнительных сфер государственного регулирования.

Страны Евросоюза добились уникальных результатов в создании двухуровневой государственной машины, хотя передача ряда политических функций в Брюссель и Страсбург не очень-то ослабила правительства стран-членов. Единственным исключением стало расширение сферы компетенции Европейского суда в Люксембурге. Хотя в целом объем политических функций ЕС расширился, этот процесс распределился между отдельными государствами и Евросоюзом как таковым. В сфере расходов наибольшая власть остается в руках национальных государств. Если Евросоюз распоряжается менее чем 1% ВВП Европы, то правительства стран — членов ЕС расходуют 30–50% своих ВВП. Евросоюз по-прежнему является не столько перераспределяющим, сколько регулирующим государством, хотя и осуществляющим некоторое перераспределение в пользу сельского хозяйства и ряда отсталых регионов. Добавим, что отдельная национальная идентичность остается важнее общеевропейской идентичности для всех, кроме немногочисленных элит, включая социологов, для которых Европейский союз является сегодня основным работодателем.

Социологи — одна из немногих общественных групп, заинтересованных в углублении европейской интеграции. Однако нынешний ЕС не демонстрирует тенденции к такому углублению. Она была отклонена в ходе недавних национальных референдумов, на которых против дальнейшей интеграции высказались особенно молодые избиратели. Учитывая это, Евросоюз чаще всего движется со скоростью самого медленного своего участника, как и было задумано. Особой угрозой существованию ЕС являются его валютные проблемы. Маловероятно, чтобы европейская двухуровневая модель стала примером для подражания во всем мире. Она является уникальным итогом двух великих войн, происходивших на континенте в XX в. Надо надеяться, что третьей мировой войны не будет, поскольку аналогичных (непредсказуемых, но благоприятных) последствий от нее ожидать не приходится.

Между тем многие бедные страны являются нациями-государствами лишь в воображении своих элит, но никак не в реальности, где их суверенитет и национальная идентичность остаются иллюзорными. Создание инфраструктуры, гарантирующей подлинную интеграцию всей территории страны,

и обеспечение ее социальной сплоченности, необходимой для формирования национальной идентичности, остаются проектами на будущее, требующими непрерывной борьбы. В целом неравное соотношение сил между государствами является одной из наиболее значимых особенностей отношений политической власти наряду с их значительным экономическим неравенством. И если развитые страны (и ряд развивающихся стран) способны всерьез проводить на своей территории собственную политику, то большинство стран глобального Юга нет.

Итак, последняя империя продолжает существовать. Выше я подчеркивал огромное разнообразие стратегий американского империализма в послевоенный период. На Западе американский империализм представал в виде гегемонии, причем даже легитимной. В странах Восточной Азии он отличался высокой степенью милитаризации, но затем также превратился в гегемонию. Африка в глазах США не представляла большого стратегического или экономического интереса, зато в Латинской Америке и на Ближнем Востоке американцы периодически в явной или скрытой форме использовали свои вооруженные силы. В новом тысячелетии вмешательство США в дела на Ближнем Востоке обернулось катастрофой. Многие считают это следствием упадка американской империи, но она, как представляется, уже несколько последних десятилетий находится на пути к упадку, вызванному ее собственными действиями. Во внешней политике США оказались втянутыми в ряд бесцельных и безнадежных войн, связав себя навязчивой поддержкой Израиля, причем и то и другое лишь увеличивают число врагов Америки. Во внутренней политике она следует деструктивным идеям неолиберализма, которые ослабляют государство, неспособное восстановить базовую инфраструктуру, и подрывают экономику массового потребления, давшую американцам великое процветание. Многие американские политики объявляют надвигающийся климатический кризис всего лишь мистификацией и по этой причине не предпринимают никаких конструктивных действий. Нарастание идеологических противоречий усугубляет традиционное разделение властей, зафиксированное в конституции США, что блокирует реакцию властей на большинство изменений. Все это сокращает политическое влияние Америки в мире, с возрастающим изумлением взирающем на ее политику.

Что представляют собой эти явления — отдельные нелепости, которых можно было бы легко избежать или, возможно, еще удастся избежать, либо это взаимосвязанные и даже неизбежные проявления имперского упадка? Их можно рассматривать в качестве продолжения традиционной практики, из-

начально обеспечившей величие США, но утратившей смысл в изменившихся условиях среды, что является довольно общей чертой всех империй, переживающих упадок; в этих же терминах я анализировал закат Британской империи (Мартин 1988). Это верно и для традиционной практики расточительной добычи энергоносителей в США, из-за чего страна не способна сегодня сократить вредные атмосферные выбросы. Неоконсерваторы и неоллибералы убеждены, что великой Америке сделали ее военные интервенции и свободные рынки, поэтому их вновь следует «поднять на щит». Однако, как я уже показал, оба эти убеждения ложны. Во-первых, раньше власти США были гораздо осторожнее в применении военной силы, вмешиваясь лишь там, где имелась существенная поддержка местного населения. Во-вторых, сильнейшей экономикой мира Америка стала во многом благодаря энергичным усилиям государства в сферах макроэкономики, инфраструктуры и регулирования. Забвением этих американских традиций отчасти и объясняется наступивший упадок, не ставший, однако, всеобщим процессом, охватывающим все источники власти. Он коренится в сферах идеологической и политической власти, формирующей ложные и вредные мнения, которые нигде в мире не приветствуются. Однако такие мнения позволяют государственным деятелям блокировать любую политику, соответствующую реалиям XXI в. В отличие от идеологической и политической власти экономическая и военная остаются в Америке вне конкуренции. Глобальная гегемония США опирается на доллар как на мировую резервную валюту и на военное превосходство над прочими странами, но не над всеми в мире партизанскими движениями. И хотя идеологические и политические неудачи Америки обратимы, в нынешнем виде они наносят стране ущерб, ускоряя ее относительный упадок, и без того неизбежный в среднесрочной перспективе.

Облик вероятного преемника США как гаранта миропорядка уже проступает. Им станет не другая империя, поскольку в обозримом будущем маловероятно, чтобы какая-то одна держава могла заменить Америку. Вместо этого ее преемником, вероятно, станет «Концерт держав», возможно США, ЕС, Китай, Япония, Индия. В качестве резервной валюты доллар будет вытеснен корзиной валют, но Америка может сохранить роль ведущей военной силы. Впрочем, этот мирный сценарий может быть разрушен либо осложнением китайско-американских отношений, либо тяжелыми конфликтами на экологической почве.



## ДИНАМИКА МОДЕРНА

Сквозь все перипетии современности красной нитью проходит творческий динамизм, изначально европейский, затем западный, затем все более глобальный, по мере того как он охватывает другие цивилизации. Вслед за второй промышленной революцией наступила постиндустриальная революция, вместе с подъемом национальных государств вызвавшая великие перемены: рост продолжительности жизни, массовое экономическое процветание, углубление гражданства, расширение институтов международного сотрудничества, но также и прогресс в военных сферах, облегчающий истребление людей и разрушение планеты. В предыдущем предложении я намеренно столкнул позитив и негатив, подчеркивая двойственный характер динамизма, присущего человеческой природе. Всякий успех имеет обратную сторону, во всяком поражении кроется луч надежды. Процессы глобализации добавляют все больше на обе чаши весов. В странах глобального Севера и во многих странах Юга мы наблюдаем увеличение богатства, здоровья и досуга, но существует риск того, что все это может закончиться в результате ядерного взрыва или таяния ледников. Человечество еще в силах выбрать направление, по которому будет двигаться дальше.

На чем же в конечном счете основан этот динамизм? Макс Вебер утверждал, что основу цивилизации Запада, особенно его религии, составляет «рациональная неугомность», сочетающая разум человека и его неудовлетворенность окружающим миром. Это сочетание порождает желание улучшить мир путем рациональных, посюсторонних действий вместо его безропотного приятия или полного отказа (примеры чего социолог усматривал в конфуцианстве, индуизме и буддизме). Этот принцип Макс Вебер проследил вплоть до кальвинистских сект XVI–XVIII вв. Сегодня его взгляды представляются отчетливо европоцентристскими, но в мировом масштабе «рациональная неугомность» может послужить емкой характеристикой современной цивилизации. Ее нельзя объяснить одной лишь человеческой природой, поскольку одни цивилизации являются более динамичными, чем другие, а западная, пожалуй, самая динамичная из всех. Какие же социальные структуры лежат в основе этого динамизма?

Анализируя на страницах тома 1 истоки динамизма, существовавшие в средневековой Европе, я подчеркивал, что это была цивилизация с множеством акторов. Это означало, что, во-первых, средневековая Европа состояла из многих акторов власти: государств, городов, епископств, монашеских орденов,

купеческих гильдий и феодальных поместий, обладавших определенной автономией и конкурировавших между собой. Во-вторых, эта конкуренция велась тем не менее в рамках единых норм христианской цивилизации. Соперничество не переросло в войну всех против всех, поскольку на каком-то минимальном уровне его участники подчинялись общим правилам игры, действовавшим в пределах христианской ойкумены. Недавно Фукуяма (Fukuyama 2011) заявил, что сущностью средневекового христианства было проникновение сквозь поры общества (в каком бы государстве это ни происходило) представлений о естественном или общем праве. Однако это означало, что до XX в. самые жестокие войны велись по причинам религиозного раскола. Возможно, в томе 1 я переоценил религиозный элемент и недооценил момент классовой солидарности военно-феодальной аристократии, поддерживаемой церковью. Так или иначе результатом оказалась регулируемая конкуренция, являющаяся, как демонстрирует современный капитализм, основным принципом реализации конструктивного динамизма.

В последующие века происходило нечто сопоставимое, хотя и в заметно изменившихся формах. В последнее время основой динамизма стала капиталистическая конкуренция вперемешку с соперничеством национальных государств. В этой связке ни то ни другое не было преобладающим, оставаясь частью общей цивилизационной идеологии, возникшей в нескольких макрорегионах, а также более широкой идеологической ориентацией, традиционно называемой ценностями Просвещения. Это сочетание породило не очень мощные, но весьма многочисленные институты регулирования. Нам хорошо известна роль таких факторов, как дипломатия, международные альянсы, политика военного сдерживания, сотрудничество в сфере использования резервных валют, золотой стандарт и Бреттон-Вудские соглашения, распространение научных открытий и технологических приложений, а также макрорегиональное разнообразие гражданства. После Второй мировой войны эти факторы стали элементами интернациональных и транснациональных институтов, возникших в рамках ООН, ЕС и бесчисленных НПО. Нередко все это происходило при поддержке интернет-организаций, оказывающих свое (пусть и небольшое) влияние как на национальные государства, так и на капитализм. Разумеется, ничто не отменяет периодических катаклизмов, но после них обычно предпринимаются попытки улучшить ситуацию, как в случае с кейнсианством после Великой депрессии, новыми международными институтами после Второй мировой войны (включая гарантии мира в Европе путем создания Евросоюза) и программами сокращения вооружений после окончания

холодной войны. Такими попытками были и первые (в период Великой рецессии) шаги по направлению к менее централизованной системе регулирования глобального капитализма, в частности, в сторону усиления роли G20 (группы, куда входят все страны БРИК). Послевоенные дивиденды от умиротворения всегда оказываются меньшими, чем ожидалось, но они всегда реальны. Мы еще далеки от глобального управления или глобальной культуры, о которых кричали социологи, но у нас есть проект, по которому в конечном счете может быть создана глобальная мультигосударственная цивилизация — пусть не свободная от конфликтов и идеологических распрей, но включающая широкое международное регулирование. Любая форма грядущего мирового порядка будет сочетанием транснациональных и интернациональных сетей взаимодействия. Нам потребуется гораздо больше и того и другого, и лишь после этого можно надеяться на решение нарастающих экологических проблем, возникающих сегодня как реакция природы на наше (якобы) ее подчинение.

## ВОПРОС О ПЕРВОПРИЧИНЕ

Чем в конечном счете определяется наша «рациональная неугодность»? И чем определяются социальные изменения в целом? Я выделил и сконцентрировал четыре источника социальной власти, которые считаю в конечном счете более значимыми, чем все остальное. Это с необходимостью привело к оттеснению всех прочих особенностей человеческой жизни на задний план. В настоящем томе я стремился объяснить социальное развитие за последнюю сотню лет, оперируя сложными комбинациями четырех источников социальной власти. А можно ли пойти дальше и назвать один из них первичным? Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали, что да, Макс Вебер считал, что нет. Здесь нам стоит их процитировать.

В письме от 1890 г., написанном уже после смерти Маркса, Энгельс дает историческому материализму следующее определение:

Согласно материалистическому пониманию истории в историческом процессе определяющим моментом *в конечном счете* является производство и воспроизводство действительной жизни... Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно *форму* ее различные моменты надстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты — государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения, и т. п., право-

вые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников, политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм. Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое движение как необходимое в конечном счете прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей... Экономические условия являются в конечном счете решающими. Но и политические и т. п. условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хотя и нерешающую<sup>1</sup>.

В этом знаменитом определении значительную роль в истории человечества Энгельс отводит политической и идеологической власти (о военной он не упоминает), но затем дважды возвращается к экономическим факторам, оба раза утверждая, что они «являются, в конечном счете, решающими». В этом суть его исторического материализма. Но в каком смысле они являются решающими? Яснее об этом говорит Маркс:

Та специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производителей, определяет отношение господства и порабощения... Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям — ... вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства<sup>2</sup>.

Здесь Маркс говорит о том, что *формы* экономической власти (в частности, форма отношений между теми, кто владеет/управляет средствами производства, и рабочими) определяют формы остальных основополагающих структур власти. Далее Маркс поясняет, что к сказанному мы должны добавить «бесконечно разнообразные эмпирические обстоятельства, естественные условия, расовые отношения, действующие извне исторические влияния и т. д.». Другими словами, Маркс утверждает, что форма экономического источника власти (способ производства) определяет в конечном счете форму трех других источников власти. Он допускает возможность эмпирических и экзогенных влияний, но не признает эквивалентных причинно-следственных отношений между тремя факторами власти (идеологиче-

- 
1. Энгельс, Ф. Энгельс — Йозефу Блоху в Кёнигсберг // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. Т. 37. С. 394–395.
  2. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 11. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. Т. 3. С. 354.

ским, политическим и военным), с одной стороны, и экономическим фактором власти — с другой.

Против такой трактовки категорически возражал Макс Вебер, полагавший, что невозможно отдать приоритет той или иной, как он выражается, «структуре социального действия». Так, он добавляет:

Предвзятым является даже то утверждение, что социальные структуры и экономика «функционально» связаны между собой... поскольку формы социального действия следуют «собственным законам»... и в каждом конкретном случае могут определяться несколькими причинами, причем не обязательно экономическими. Тем не менее в какой-то момент экономические условия становятся важными и зачастую даже определяющими почти для всех социальных групп. ...И наоборот, экономика, как правило, также испытывает влияние автономной структуры социального действия, в рамках которой она существует. Никаких существенных обобщений относительно того, когда и как это будет происходить, сделать нельзя<sup>3</sup>.

Вебер, как представляется, подчеркивает именно экономические причины, но затем отступает и говорит, что нельзя делать даже «существенных обобщений» в отношении между тем, что он называет формами социального действия. Вебер, по-видимому, осудил бы практикуемый мною подход, включающий возможность значительных обобщений относительно структур социального действия. Кроме того, он вполне ясно пишет, что не может быть какой-то одной все объясняющей первопричины.

В целом я придерживался промежуточного курса, равноудаленного как от позиций Маркса, так и Вебера, делая значительные обобщения, но не утверждая конечной первопричины. Для начала позвольте мне повторить ряд обобщений, сделанных мною в томе 1. В древней истории я выявил два постоянных (хотя и неинвариантных) диалектических процесса, связанных с отношениями власти. Во-первых, внутренняя диалектика между государством и обществом, между централизацией и децентрализацией, между государственными элитами и социальными классами гражданского общества, заключавшаяся в том, что технологии и организационные формы, развитые одной из сторон, затем присваивались другой стороной и использовались ею для увеличения своей власти. Во-вторых, диалектика, нашедшая свое геополитическое выражение в широком макрорегиональном масштабе, — диалектика централизованных империй и ци-

---

3. Перевод цит. по: Weber 1978. Ознакомиться с русским переводом этого фрагмента с немецкого первоисточника можно в: Вебер, М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. II. Общность. М: Изд. дом ВШЭ, 2017. С. 23–24.

визаций с множеством акторов власти. Например, в древнем Средиземноморье диалектика между Ассирийской или Римской империей и греческими или финикийскими городами-государствами. Там, в долинах рек и вдоль морских побережий, возникли многочисленные города-государства, которые наряду с прилегающим к ним аграрным окружением оформляли более широкие производственно-торговые сети и культуру. С другой стороны, воинственные вожди пограничий, соседствовавшие с этими цивилизациями и занимавшиеся сельским хозяйством и скотоводством, периодически захватывали города-государства, создавая свои собственные империи. Эти процессы подразумевают то, что теоретики начала XX в. назвали суперстратификацией — превращение завоевателей в господствующий класс по отношению к побежденным. Однако с закатом этих империй на мировую арену вновь выходили цивилизации с множеством акторов власти. Нечто подобное может наступить и с упадком американской империи. Впрочем, в мировой истории бывали и стабильные периоды, когда способы экономического производства, казалось, развивались более автономно. Затем настало то, что Эйзенштадт (Eisenstadt 1982) называет осевым временем, когда мировые религии и духовные идеологии распространились на регионы, значительно превосходившие любую отдельно взятую экономическую, политическую или военную сеть.

Таким образом, ни один источник власти не был постоянно важнее остальных, не наблюдалось и четких повторяющихся правил преемственности, которые бы характеризовали переходы от одного режима к другому. Ибн Хальдун, великий североафриканский социолог XIV в., разработал циклическую теорию ислама, которую недавно расширил Эрнест Геллнер, включивший в нее и современный период. Эта теория говорит о чередовании «города» и «пустыни», когда воины-кочевники нападают на переживающие нравственный упадок городские поселения, завоевывают их и управляют ими, руководствуясь строгой и чистой религиозной верой. Затем они, в свою очередь, переживают упадок, и им на смену из пустыни приходят новые завоеватели. По всей вероятности, эту теорию разделял и Усама бен Ладен, видевший себя в роли нового «халифа пустыни». Сейчас он мертв, и ему в роли халифа едва ли найдется замена. Кроме того, эта модель не очень хорошо подходит к другим мировым религиям или цивилизациям, хотя воинственных вождей пограничий можно считать одной из разновидностей этих циклов. По-видимому, каждая цивилизация имеет собственную логику развития.

Другая трудность состоит в том, что мы, пытаясь объяснить любую крупную цивилизацию, вынуждены обычно ссылаться на все источники социальной власти. Возьмем, к примеру, за-

воевания вождей пограничий. Они были успешными потому, что их отряды, как правило, демонстрировали большую мобильность, а боевой дух отличался большей солидарностью, чем дух их оседлых противников. В этом была непосредственная военная причина их успеха. Однако за этой военной формой, в свою очередь, скрываются экономические и политические причины. Конные лучники как наиболее эффективные войска могли появиться только у кочевников — пастухов и охотников и потому были в некотором смысле продуктом их способа производства. Их характерные племенные формации, как представляется, также отличались большей солидарностью, и в этом заключалась политическая причина их успеха. Экономические и политические силы помогали обрести военное превосходство только в определенных условиях. Тем не менее по сравнению с аграрными обществами кочевничество и трайбализм не были лучшими формами экономической и политической организации. Это были, по существу, экономически и политически отсталые формы. Их превосходство состояло лишь во влиянии экономического и политического уклада кочевников на их военную власть. На самом деле большинство номадов после успешных завоеваний охотно усваивали передовые способы производства и цивилизацию оседлых элит. Эти трансформации осуществлялись исключительно военным способом, но охватывали все источники социальной власти. И наоборот, утверждению великих мировых религий, возможно, способствовали экономические или политические кризисы, заставлявшие обращенных принять новую веру. Однако сам переход к новым общественным формам осуществлялся именно через христианство или ислам. В силу сказанного я не разделял тезиса о первопричине применительно к более ранним периодам. Однако я чувствовал, что вправе сделать обобщения по типу приведенных выше в отношении взаимодействия четырех источников власти, но применительно к более обширным пространствам и более длительным периодам.

В томах 2 и 3, а также в настоящем томе я выявил частично сопоставимые диалектики современного периода. Примером цивилизации с множеством акторов власти была раннесовременная Европа и Европа эпохи модерна, успешно сопротивлявшаяся попыткам империй установить односторонний контроль над континентом. Однако по мере того как число европейских государств уменьшалось, а их силы и пространства увеличивались, Европа подарила миру уникальный синтез двух начал. На самом континенте никогда не доминировала какая-то одна империя, но европейские державы создали по всему свету несколько конкурировавших между собой колониальных импе-

рий. Поланьи выдвигает свою версию циклов централизации/децентрализации, которые происходили в XIX–XX вв. в форме «колебания между капиталистическими рынками и государственным регулированием в развитых странах». Сначала эту модель использовал и я, но позже (в конце главы II) отбросил как излишне функциональную и рационалистическую. В XX в. мы можем противопоставить империи и национальные государства, фашизм/государственный социализм и демократический капитализм, а также сравнительно централизованные и децентрализованные общества. Однако развязка этого противостояния оказалось весьма сложной. Фашизм был побежден превосходящей и более централизованной военной коалицией, объединившей коммунизм и демократический капитализм. Затем коммунизм начал борьбу не только с децентрализованным капитализмом, более способным к инновациям, но и с его превосходящим по силам централизованным ядром — американской империей. Здесь наша модель дает сбой (как отказывают в конечном счете все модели, сталкивающиеся со сложностью человеческих сообществ). Демократический капитализм победил еще и потому, что ограниченное государственное регулирование (плюс отказ от превращения всего и вся в товар) сделали эту систему в целом более приемлемой для человечества. В сущности, это оказалось диалектическим синтезом (по принципу «тезис — антитезис — синтез»), хотя в некоторых частях земного шара сегодня ему угрожает неолиберализм, претендующий на свою якобы полную децентрализацию.

Изучая современный период, я выявил его взаимосвязь с периодом, обсуждавшимся во втором томе: с одной стороны, развитие капитализма и его социальных классов, с другой стороны — возникновение национальных государств из первоначально имперского мирового порядка. В XX в. произошла победа реформированного, социализированного, нередко политизированного капитализма как инструмента, отвадившего трудящихся от классовой борьбы, а также упразднившего крупные международные конфликты (теперь разрешаемые в рамках мирового порядка, диктуемого американской империей). Это происходит не без геополитической напряженности в межгосударственных отношениях, но позволяет избежать новых империалистических войн. Сквозь перипетии и разрывы, обусловленные в XX в. военной и идеологической властью, проступает все более глобальное экономическое преобладание капитализма и двойственное политическое преобладание национальных государств и (американской) империи. Они несут ответственность за все войны и за большинство идеологий, возникавших в описываемый в томе 4 период. Поэтому я и от-



важился, в отличие от Вебера, на значительные обобщения, не утверждая, в отличие Маркса, первопричины «в конечной инстанции».

Кроме того, мои взгляды на глобализацию отличаются от взглядов большинства исследователей. Они видят в ней единичный процесс, при котором национальные государства, по сути, подменяются *транснациональными* взаимоотношениями. Я согласен с ролью транснациональных процессов, особенно в капиталистической экономике, прежде всего в сфере финансового капитала. Однако основным политическим принципом глобализации я считаю *международное* регулирование силами национальных государств при их взаимной конкуренции — речь скорее о геополитических, нежели транснациональных отношениях. Почувствовав необходимость в субсидиях или регулировании, капиталисты, а также их оппоненты по-прежнему обращаются к государству, хотя большинство глобальных вопросов решается на переговорах между государствами, особенно сильнейшими, прежде всего (хотя и во все меньшей степени) Американской империей. Кроме того, в мир вернулись идеологические конфликты и разнообразие, но из-за разрушительности и иррациональности войн приоритет все чаще отдается мягкой, а не жесткой геополитике. Только с помощью мягкой геополитики возможно разрешение потенциально острейшего кризиса XXI в. — проблемы климатических изменений. Это полиморфная глобализация, направляемая несколькими различными логиками развития и носящая более сложный характер, чем просто дуальный диалектический процесс.

Что из этого следует? Поскольку процесс глобализации охватил практически весь мир, следует ждать перемен. С возникновением Американской империи на планете не осталось периферийного пространства, где воинственные вожди пограничий могли бы развиваться независимо. Вся планета в некотором смысле пронизана разными аспектами глобализации. Так, хотя мощь Китая возрастает, эта страна уже опутана сетью геополитики, идеологий и глобального капитализма, не говоря уже об американской задолженности. Не исключено, что привычная историческая диалектика, в рамках которой преемник ранее доминировавшего мирового лидера с ясными властными функциями возникает сначала на периферии последнего, уже может сойти на нет. В реальности наиболее вероятными преемниками Американской империи являются исторические цивилизации, утверждающие себя заново, но в рамках возникающей глобальной структуры. Представляется (как я утверждал в предыдущей главе), что следующий раунд централизации и регулирования состоится не на уровне отдельных государств, а на глобаль-

ном геополитическом уровне, хотя и с подачи транснациональных акторов. История не повторяется. Пора воздать должное агностицизму Вебера и отказаться от теоретических амбиций, снедавших Маркса. Детерминизм, даже относительно первопричин, в социологической теории невозможно обосновать, поскольку наше общество чрезмерно сложно для этого, а люди слишком изобретательны, эмоциональны и иррациональны.

Аргументацию, касающуюся причинно-следственных связей, осложняет дальнейшая характеристика выявленных мной источников власти. Эти четыре источника порождают неравные факторы власти — их отношения, как правило, ортогональны друг другу. Как было отмечено в начале этого тома, каждый фактор власти обладает уникальными свойствами. В своей основе идеологическая власть не является автономной, так как идеологии преимущественно служат ответом на кризисы, вызванные другими источниками власти. Идеологии возникают как потенциальные решения неожиданных результатов, созданных взаимодействием других источников, но затем превращаются в самостоятельные факторы власти. Идеологии уникальны тем, что не знают географических границ, способны проникать в сознание человека при его общении с другими людьми. В XXI в. идеологии регулярно распространялись на большей части земного шара. Они могут развиваться по экспоненте и способны, прежде чем произойдет их формальная институционализация, быстро менять поведение широких масс. К тому же идеологи чаще других властей предержащих выступают перед своими сторонниками в роли харизматических лидеров. Яркими примерами тому являлись основатели новых религий, но в главе 8 тома 3 я также отмечал, что в глазах последователей харизматами были и трое из шести главных фашистских вождей Европы: Гитлер, Муссолини и Кодряну. Религиозные лидеры претендуют на близость к божественному началу, и их приверженцы в это верят; фашисты считают, что необходимым условием социального развития является наличие вождя. В любом случае последователям такой идеологии (учитывая ее содержание) нужна вера в харизматического лидера.

Экономическая власть отличается от власти идеологической, поскольку она, будучи отчетливо стабильной, носит при этом кумулятивный характер. Она укоренена в повседневной жизни и создает массовое поведение в относительно устойчивых и кумулятивных формах. У экономической власти есть границы, но очерченные лишь ее торгово-промышленной логистикой, зачастую весьма обширной, особенно в наше время. В большинстве человеческих сообществ экономические отношения создают глубоко укорененные и широко разветвленные

структуры власти, вызывая постепенные, но значительные перемены, обеспечивающие в современных условиях экономический рост на долгосрочную перспективу.

У военной власти своя специфика. Безусловно, она является самой разрушительной силой, способной мгновенно уничтожать население, его политические институты и среду обитания. Мало того, эта сила способна разрушить целые цивилизации в их высших проявлениях. Однако это возможно лишь в пределах военной логистики и дальности поражения, которые в обществах прошлого (в отличие от современности) зачастую были весьма ограниченными. Кроме того, военная власть еще и самая непредсказуемая, зависящая от обстоятельств, поскольку исход множества сражений, как я уже подчеркивал, мог быть иным. Кроме того, военная мощь значительно зависит от экономики и государства. Чем лучше организовано государство, чем надежнее материальное обеспечение его вооруженных сил, тем чаще оно побеждает в бою. Тем не менее неожиданными могут оказаться результаты войны, поскольку тактика партизан и их высокий боевой дух способны истощить силы великой державы. Впрочем, оружие массового уничтожения позволяет ей «уравнять шансы на победу». Военная власть — единственная из четырех, которую можно в принципе упразднить. Все человеческие сообщества нуждаются в экономике, идеологии, политике и судебном регулировании. Однако людям не нужна война, и если нет угрозы нападения, то нет нужды даже в обороне. В наше время такой отказ кажется весьма вероятным для многих государств (хотя и не для всех), если только неспособность людей реагировать на изменение климата не вызовет кризисов, грозящих возродить милитаризм.

Политическая власть отличается способностью к институционализации остальных отношений власти на данной территории. Политическая власть имеет четкие границы, ее более масштабная организация возможна лишь через геополитические отношения с другими государствами. Она представляет собой национальные «клетки», в которые запираются подданные или граждане; ее характер зависит от природной и социальной конфигурации занимаемых территорий, в результате чего государства бывают чрезвычайно разнообразными.

Учитывая подобную неконгруэнтность источников власти, трудно, если не невозможно, утверждать, что один из них является в конечном счете первичным, хотя в определенные периоды мы можем установить большую значимость одного или нескольких источников власти. Источники власти не столько противоречат друг другу, сколько отличаются друг от друга, причем все они остаются (пока) необходимы цивилизованно-

му человечеству. В любом случае по вопросу о первопричине вполне возможно несовпадение взглядов. Если бы ядерная война уничтожила большую часть планеты как среды обитания человечества, то решающим фактором (первопричиной) стала бы военная власть. Однако внести исправления в теории Маркса и Вебера в таком случае было бы некому. И наоборот, если оружие массового поражения останется мощным сдерживающим фактором, препятствующим развязыванию мировой войны, то глобальная роль военной власти продолжит сокращаться и дальше. Учитывая, насколько разную степень рациональности проявляли разные социальные акторы при угрозе большой войны во время событий, описанных в этом томе, я не стал бы считать ни один из двух предполагаемых исходов более вероятным. Аналогично если капитализм разрушит нашу среду обитания, то решающим фактором в конечном счете окажется экономика, но и обсуждать это будет некому. С другой стороны, религиозные (и прочие) фанатики апеллируют к высшей власти в качестве подтверждения истинности своей идеологии, и переубедить их невозможно. Если Бог существует, то роль религии возрастает несоизмеримо со сценарием, если его нет. Заметим, что все альтернативные сценарии касаются таких крайних вариантов, как гибель человечества или наша личная смерть. В ином контексте трудно представить себе «финальную инстанцию», поскольку в противном случае цепочки социального взаимодействия не прерываются никогда. Все это скорее свидетельствует в пользу идей Вебера и Маркса относительно первопричины. Для всей истории человечества такой первопричины, вероятно, не существует (да и проблема эта, безусловно, остается за гранью нашего понимания). Однако Маркс был прав, пытаясь ее исследовать, а Вебер ошибался, столь категорично отрицая возможность больших исторических обобщений.

Для периода, описанного в настоящем томе, наиболее значимыми были два источника социальной власти — экономический и политический. Процесс распространения капитализма по Земле не является единообразным, но в целом такая тенденция существует. Капитализм лишь один, а идеологий, утверждающих принципиально разные истины, с которыми согласны отдельные группы населения, напротив, множество. В военной власти наблюдается высокая вариативность: здесь имеется сверхдержава, несколько других ядерных держав, группа стран в состоянии гражданской войны, ряд хорошо вооруженных боевых группировок в горячих точках, негосударственные вооруженные формирования и вездесущие террористы. Хотя между государствами и существует иерархия военной мощи, на деле

ядерные державы не могут использовать всю свою боевую мощь, и ни одна из них не справится с партизанами или террористами. Существует также множество государств, крайне разнообразных по величине, могуществу, проводимой политике и конституционному строю. Некоторые из них не имеют власти за пределами столиц, другие контролируют всю свою территорию. Одни из них — довольно развитые представительные демократии, другие — имитационные демократии, третьи — жестокие или благодушные деспотии. Эти сети власти сосуществуют в рамках нескольких разновидностей капитализма, что, как представляется, указывает на усиление глобальной власти капитализма.

Однако все не так просто. Два типа политической власти продолжают сдерживать капитализм. Во-первых, применительно к капитализму остается выбор одного из двух вариантов: более рыночного или более этатистского, различающихся по относительной значимости экономических и политических отношений власти. Выделяемые в этой книге варианты экономики в порядке возрастания этатизма нижеследующие: либерально-рыночная, социально-рыночная, догоняющего развития и политизированная. Сегодня крайним вариантом этатистской экономики остается Китай, однако раньше экстремальным случаем этатизма был государственный социализм. И если первые три экономики выражают общее преобладание капиталистического начала над государственным, то для политизированной модели капитализма, распространившейся по всему миру, это не так. Здесь права собственности приобретаются, в сущности, через доступ к государственному аппарату. Со временем эти права либо становятся относительно прочными и автономными, либо остаются сомнительными и в случае смены политического режима вновь присваиваются государством (как случилось в Иране и в настоящее время происходит в Египте). При государственном социализме способ производства, безусловно, определялся государством; такой этатизм вообще не был капитализмом. В остальных вариантах капитализма государство в редчайших случаях прибегало к его серьезным ограничениям. Разумеется, мы можем вообразить такое будущее, где политизированный капитализм исчезнет и число разновидностей капитализма сократится, но это не та реальность, которую мы имеем сегодня.

Существуют такие своеобразные и менее распространенные варианты капитализма, как исламский капитализм, который запрещает ссудный процент. Исламские банки предоставляют финансирование, не требуя процента, но с заключением контракта, по которому две стороны, традиционно взывая к справедливо-

сти, разделяют как прибыли, так и убытки. Однако с момента, когда крупнейший банк Hong Kong and Shanghai Bank (более известный как HSBC) стал учредителем исламского банка (Islamic Amanah Bank), а за HSBC последовали Citibank и Merrill Lynch с финансовыми продуктами, не противоречащими законам шариата, совместимость исламских финансов с западными банковскими практиками стала очевидной. (Однако в том, что касается прав собственности, эти практики существенно различаются). То же можно сказать о разнице между американским и японским вариантами капитализма, где в части исполнения контрактов первый больше полагается на нормы права, а последний — на доверие сторон. Впрочем, серьезных изменений в соотношении сил между рынком и государством эти варианты не вносят.

Закат государственного социализма и социал-демократии — вот что изменило соотношение мировых сил в пользу рыночного капитализма. Однако, как я уже отмечал, предполагаемые пределы, которые, по словам экономистов, сторонников неоклассической теории и пессимистически настроенных марксистов, ограничивают государства (вынужденные заботиться о доверии бизнеса), не являются фиксированными. Со своей стороны бизнес вынужден считаться с интересами групп давления и соответственно к ним приспосабливаться. Как в свое время поняли Джон Мейнард Кейнс и Франклин Делано Рузвельт, а затем подтвердила Великая рецессия, капитализм порой необходимо спасать от него самого. В таких случаях спасатели, политические акторы, могут взыскать с капитализма некоторую дань и изменить его предполагаемые границы. Будет ли эта политическая власть еще раз применена теперь, после Великой рецессии, нам еще предстоит увидеть.

Второе (более универсальное) ограничение, налагаемое на капитализм отношениями политической власти, заключается в том, что они раскалывают его на национальные экономики. В «Источниках...» я называю это запираем людей в национальные «клетки». Здесь идеи национального интереса наряду с частными капиталистическими интересами превалируют над глобальной экономикой; в Новое время между ними всегда ощущалась некоторая напряженность. Если вариантов капитализма немного, то количество его национальных «клеток», национальных капитализмов весьма велико. Хотя сегодня транснациональная организация капитализма стала сильнее, чем была в недавнем прошлом, большая часть экономической активности происходит в национально-государственных границах. Государство также осуществляет большую часть хозяйственного регулирования и макроэкономического пла-

нирования, а также весь сбор экономической статистики. Как я уже отмечал, многие могущественные корпорации теперь обладают двойной идентичностью — национальной и транснациональной. Кроме того, экономическая деятельность за пределами государственных границ является как международной, так и транснациональной, частично оставаясь предметом переговоров между национальными государствами. Эта тенденция может усилиться, если изменение климата продолжится, сокращая автономию как отдельных государств, так и капитализма в целом. Более пессимистичный сценарий не предполагает активизации международного сотрудничества, из-за чего вновь начнут возводиться решетки национальных «клеток».

Двумя описанными способами отношения политической власти в значительной мере структурируют отношения экономической власти, хотя справедливо и обратное. Тот факт, что капитализм тождествен мировой экономике, превращает его в глобальную, рутинизированную, институциональную силу, а также придает капиталистам определенную долю классового самосознания, соперничать с которым может лишь национальная и этническая идентичности. В томе 2, констатируя глобальное господство капитализма и национальных государств, я не упомянул об империях. Теперь, когда на планете осталась только одна империя, закат которой уже близок, мое обобщение еще более справедливо. Маркс был прав лишь наполовину. В 1848 г. (когда был написан «Манифест Коммунистической партии») Маркс уже понимал, что капитализм станет подлинно глобальным, но не предвидел, что будут развиваться и национальные государства, которые опутают своей сетью весь обитаемый мир.

В странах глобального Севера капитализм продемонстрировал два исторических пика. Одним была вторая промышленная революция (представленная в главе 3 тома 3), в ходе которой корпорации освоили множество новых технологий, обеспечивших быстрый рост производительности. Другим стал период после Второй мировой войны (см. главы 2, 6), когда реформированный капитализм создал для граждан общество массового потребления и изобилия. Ни первый, ни второй золотой век капитализма, открытый этими историческими пиками, не были плодом чисто капиталистического развития. Один из них во многом объясняется развитием науки и техники, другой не наступил бы, не случись Второй мировой войны. Начиная с 1950-х гг. большинство стран глобального Юга вступили, наконец, в первую фазу, а сегодня ряд развивающихся стран вступают в ее вторую фазу. Однако на Севере, особенно в англоговорящих странах, дело дошло до кризисной точки, где

алчность класса капиталистов, тупость консерватизма и неолиберализма, а также слабость рабочего движения, вместе взятые, заставили усомниться в перспективности капитализма. В частности, возник вопрос о его способности далее поддерживать экономику массового спроса в интересах всего населения или провести реформу регулирования рынков, чтобы разрешить нынешние финансовые кризисы. Возможно, на Севере высшая точка развития капитализма уже пройдена. Сегодня капитализм выглядит более здоровым в странах глобального Юга, хотя и в более этактистском обличе. И если в качестве главного процесса, структурировавшего «долгий» XX в., можно указать на развитие капитализма, то этот процесс не был автономным от других источников социальной власти (особенно от политической власти) и едва ли сможет самовоспроизводиться до бесконечности.

Оглядываясь на период, охваченный этой книгой, читатель должен почувствовать некоторое удовлетворение. По большому счету для человечества это было благодатное время. Хотя я нередко критиковал американскую внешнюю политику, сетовал на рост неолиберализма, беспокоился о будущем демократии и сочувствовал страданиям россиян, эти проблемы с лихвой компенсируются действительно хорошей новостью — ослаблением угрозы войны и укреплением здоровья и благосостояния большинства населения Земли. Хотя американцы (и жители Запада в целом) вправе оплакивать наступление своего относительного упадка, они по-прежнему живут благополучно. При этом определенно хорошей новостью является экономический рост остального мира, появление более многополюсной геополитики и более полицентричного глобального капитализма.

Невозможно с точностью предсказать будущее макроструктур власти. Максимум, что можно сделать, это дать альтернативные сценарии того, что может произойти при разных условиях, а в ряде случаев расположить сценарии по степени их вероятности (как я и поступил, трактуя изменения климата и будущее капитализма). На горизонте поднимаются темные тучи. Все хорошее могут перечеркнуть два великих бедствия, надвигающиеся на современное общество: ядерная война и изменение климата. Неизвестно, как человечество отреагирует на кризисы, угрожающие планете. Учитывая некоторую рациональность, которую до сих пор демонстрировали политические лидеры, я надеюсь, что ядерной войны удастся избежать. Куда больше проблем с изменением климата. С одной стороны, новые социальные движения могут надавить на мировое сообщество, с тем чтобы общими усилиями оно удержало государства, капиталистов и потребителей от уничтожения планеты. В про-



тивном случае изменение климата станет невыносимым, наша цивилизация может погрязнуть в войнах, хаосе, массовых переселениях и новых экстремистских идеологиях. Поскольку непредвиденные последствия человеческих действий постоянно порождают все новые проблемы, не существует, на мой взгляд, ни конца истории, ни ее первопричины, ни необходимого непрерывного прогресса. Как мы неоднократно убеждались на страницах этого тома, у человечества до сих пор, на радость или на беду, остается возможность более или менее успешно выбирать сценарий будущего.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Aaronson, S. (2001). *Taking Trade to the Streets: The Lost History of Public Efforts to Shape Globalization*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- . (1996). *Trade and the American Dream: A Social History of Postwar Trade Policy*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Abdelal, R. (2007). *Capital Rules: The Construction of Global Finance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Abdelal, R. and J. G. Ruggie (2009). "The Principles of Embedded Liberalism: Social Legitimacy and Global Capitalism." In David Moss and John Cisternino (eds.), *New Perspectives on Regulation*, p. 151–162. Cambridge, MA: The Tobin Project.
- Abramowitz, A. (2010). *The Disappearing Center: Engaged Citizens, Polarization, and American Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Abramowitz, Moses (1979). "Rapid Growth Potential and Its Realization: The Experience of Capitalist Economies," in Edmund Malinvaud (ed.), *Economic Growth and Resources*, Vol. 1, p. 1–30. New York: St. Martin's Press.
- Acemoglu, D., Johnson, S., and Robinson J. (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development." *American Economic Review*, 91, 1369–1401.
- Ahn, J.-Ch. (2003). "Siming'gun: The Citizens' Army during the Kwangju Uprising." In Gi-Wook Shin and Kyung Moon Hwang (eds.), *Contentious Kwangju: The May 18 Uprising in Korea's Past and Present*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
- Alam, S. (2000). *Poverty from the Wealth of Nations: Integration and Polarization in the Global Economy since 1760*. Basingstoke: Palgrave.
- Albright, M. (with Bill Woodward) (2003). *Madam Secretary*. New York: Miramax Books.
- Albrow, M. (1996). *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Aldcroft, D. (2001). *The European Economy 1914–2000*. 4th ed. London: Routledge.
- . (2002). "Currency Stabilisation in the 1920s: Success or Failure?" *Economic Issues*, 7, Part 2.
- Alesina, A. and Drazen A. (1991). "Why Are Stabilisations Delayed?" *American Economic Review*, 81, 1170–88.
- Alexander, H. (1980). *Financing Politics: Money, Elections and Political Reform*. 2nd ed. Washington, DC: Congressional Quarterly.
- Alic, J. (2007). *Trillions For Military Technology: How The Pentagon Innovates And Why It Costs So Much*. New York: Palgrave Macmillan.
- Allen, J. and L. Scruggs (2004). "Political Partisanship and Welfare State Reform in Advanced Industrial Societies," *American Journal of Political Science*, 48, 496–512.
- Allen, R. (2004). *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Amenta, E. (1998). *Bold Relief: Institutional Politics and the Origins of Modern American Social Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Amenta, E. and T. Skocpol (1988). "Redefining the New Deal: World War II and the Development of Social Provision in the US." In Margaret Weir, Ann Shola Orloff, and Theda Skocpol (eds.), *The Politics of Social Policy in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Amsden, A. (2001). *The Rise of "the Rest": Challenges to the West from Late-industrializing Economies*. New York: Oxford University Press.
- Anderson, P. (2010). "Two Revolutions," *New Left Review*, January–February, 59–96.

- Andreas, J. (2008). "Colours of the PRC," *New Left Review*, No. 54.
- . (2009). *Rise of the Red Engineers: The Cultural Revolution and the Origins of China's New Class*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (2010). "A Shanghai Model? One Capitalism with Chinese Characteristics," *New Left Review*, No. 65.
- Andrew, C. and V. Mitrokhin (1999). *The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB*. New York: Basic Books.
- Andrew, J. III (1998). *Lyndon Johnson and the Great Society*. Chicago: Ivan R. Dee. Los Angeles: University of California Press.
- Angresano, J. (2011). *French Welfare State Reforms: Idealism versus Swedish, New Zealand and Dutch Pragmatism*. London: Anthem.
- Appadurai, A. (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy." *Theory, Culture, and Society*, 7, 295–310.
- Arbatov, G. (2001). "Origin and Consequences of 'Shock Therapy'" In Lawrence Klein & Marshall Pomer (eds.), *The New Russia: Transition Gone Awry*. Stanford, CA: Stanford University.
- Arjomand, S.A. (1988). *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. Oxford: Oxford University Press.
- Armony, A. (1997). *Argentina, the United States and the Anti-Communist Crusade in Central America, 1977–1984*. Athens: Ohio University Center for International Studies.
- Armstrong, C. (2003). *The North Korean Revolution, 1945–1950*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Arnson, C. and W. Z. (eds.) (2005). *Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed, and Greed*. Baltimore: Johns Hopkins Press.
- Aron, L. (2009). "The Merging of Power and Property," *Journal of Democracy*, 20, 66–8.
- Arrighi, G. and B. Silver (1999). *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Arrighi, G. (1994). *The Long Twentieth Century*. London: Verso; Арриги Д. (2006). *Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени*. М.: Издательский дом «Территория будущего».
- . (2007). *Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st Century*. London: Verso; Арриги Дж. (2009). *Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век*. М.: Институт общественного проектирования.
- Aslund (2002). *Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet Bloc*. Cambridge: Cambridge University Press; Ослунд А. (2003). *Строительство капитализма: Рыночная трансформация стран бывшего советского блока*. М.: Логос.
- . (2007). *How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Asselin, P. (2002). *A Bitter Peace: Washington, Hanoi, and the Making of the Paris Agreement*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Atkins, P. and L. Wilson. (1998). *The Dominican Republic and the United States: From Imperialism to Transnationalism*. Athens: University of Georgia Press.
- Atkinson, A. and T. Piketty (2007). *Top Incomes over the Twentieth Century*. Oxford: Oxford University Press.
- Atkinson, A. et al. (2009). "Top Incomes in the Long Run of History," *NBER Working Paper No. 15408*.
- Austin, G. (2004). "Markets with, without, and in Spite of States: West Africa in the Pre-Colonial Nineteenth Century, LSE Working Papers of the Global Economic History Network, No. 03/04.
- Azimi, F. (2008). *The Quest for Democracy in Iran: A Century of Struggle against Authoritarian Rule*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bacevich, A. (2002). *American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bairoch, P. (1982). "International Industrialization Levels from 1750 to 1980," *Journal of European Economic History*, Vol 11.
- Baldwin, P. (1990). *The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Barber, W. (1985). *From New Era to New Deal: Herbert Hoover, the Economists, and American Economic Policy, 1921–1933*. New York: Cambridge University Press.
- Barnes, W. and N. Gilman (2011). "Green Social Democracy or Barbarism: Climate Change and the End of High Modernism." In Craig Calhoun and Georgi Derluguian (eds.), *The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism*. New York: Social Science Research Council.
- Bartels, L. (2008). *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bass, W. (2003). *Support Any Friend: Kennedy's Middle East and the Making of the U.S.-Israel Alliance*. New York: Oxford University Press.
- Baumann, Z. (1998). *Globalization: The Human Consequences*. New York: Columbia University Press; Бауман З. *Глобализация. Последствия для человека и общества*. М.: Издательство «Весь Мир», 2004.
- . (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity; Бауманн З. (2008). *Текучая современность*. СПб.: Питер.
- Bayly, C. and T. Harper (2004). *Forgotten Armies: The Fall of British Asia, 1941–1945*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- . (2007). *Forgotten Wars: Freedom and Revolution in Southeast Asia*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Beck, U. (1992). *Risk Society, Towards a New Modernity*. London: Sage; Бек У. (2000). *Общество риска. На пути к другому модерну*. М.: Прогресс-Традиция.
- . (2001). *What Is Globalization?* Cambridge: Polity Press; Бек У. (2001). *Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию*. М.: Прогресс-Традиция.
- Beissinger, M. (2002). *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Belknap, M. (1995). *Federal Law and Southern Order: Racial Violence and Constitutional Conflict in the Post-Brown South*. Athens: University of Georgia Press, 2nd edition.
- Bell, D. (1960). *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. Glencoe, IL: Free Press.
- Bell, J. (2004). *The Liberal State on Trial: The Cold War and American Politics in the Truman Years*. New York: Columbia University Press.
- Ben-Zvi, A. (1998). *Decade of Transition: Eisenhower, Kennedy, and the Origins of the American-Israeli Alliance*. New York: Columbia University Press.
- Benford, R. and D. Snow (2000). "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment." *Annual Review of Sociology* 26, 611–39.
- Bergen, P. (2011). *The Longest War: The Enduring Conflict between America and Al-Qaeda*. New York: Free Press.
- Berman, L. (2001). *No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger, and Betrayal in Vietnam*. New York: Free Press.
- Berman, W. (1998). *America's Right Turn: From Nixon to Bush*. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bernhard, M. et al. (2004). "The Legacy of Western Overseas Colonialism on Democratic Survival," *International Studies Quarterly*, 48, 225–50.
- Beschloss, M. (2002). *The Conqueror: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany, 1941–1945*. New York: Simon & Schuster.
- Bethell, L. (1991). "From the Second World War to the Cold War: 1944–1954." In Lowenthal, Abraham F. (ed.), *Exporting Democracy: The United States and Latin America: Themes and Issues*, pp. 41–70. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bethell, L. and I. Roxborough (1988). "Latin America between the Second World War and the Cold War," *Journal of Latin American Studies*, 20, 167–89.
- Betsill, M. (2008a). "Environmental NGOs and the Kyoto Protocol Negotiations: 1995 to 1997." In Betsill & Elisabeth Corell (eds.), *NGO Diplomacy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Bewley-Taylor, D. et al. (2009). "The Incarceration of Drug Offenders: an Overview," *The Beckley Foundation, Report 16*. Kings College, University of London.
- Biersteker, T. (1992). "The 'Triumph' of Neoclassical Economics in the Developing World: Policy Convergence and the Bases of Government in the International Economic Order." In

- James Rosenau & E.-O. Czempiel, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bill, J. (1988). *The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Block, F. and M. Keller (eds.) (2011). *State of Innovation: The U.S. Government's Role in Technology Development*. Boulder, CO: Paradigm.
- Block, F. (1977). *The Origins of International Economic Disorder*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- . (1987). *Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism*. Philadelphia: Temple University Press.
- . (2008). "Swimming against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States," *Politics & Society*, 36, 169–206.
- Bloom, J. (1987). *Class, Race and the Civil Rights Movement*. Bloomington: Indiana University Press.
- Blustein, P. (2001). *The Chastening: Inside the Crisis That Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF*. New York: Public Affairs.
- Bobbitt, P. (2001). *The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History*. New York: Knopf.
- Boli, J. and G. Thomas (1997). "World Culture in the World Polity," *American Sociological Review* 62 (2): 171–90.
- Bombach, G. (1985). *Postwar Economic Growth Revisited*. Amsterdam: North-Holland.
- Bonds, J. B. (2002). *Bipartisan Strategy: Selling the Marshall Plan*. Westport, CT: Praeger.
- Boot, M. (2002). *The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power*. New York: Basic Books.
- Boswell, T. (2004). "American World Empire or Declining Hegemony," *Journal of World Systems Research*, Vol. 10.
- Boyer, R. (1990). *The Regulation School: A Critical Introduction*. New York: Columbia University Press.
- Brady, D. (2009). *Rich Democracies, Poor People: How Politics Explain Poverty*. Oxford: Oxford University Press.
- Bradley, D. and J. Stephens (2007). "Employment Performance in OECD Countries: A Test of Neo-Liberal and Institutionalist Hypotheses," *Comparative Political Studies*, Vol. 40.
- Bradley, D. et al. (2003). "Distribution and Redistribution in Postindustrial Democracies," *World Politics*, 55, 193–228.
- Bradley, M. (2000). *Imagining Vietnam and America: The Making of Postcolonial Vietnam, 1919–1950*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Bramall, C. (2000). *Sources of Chinese Economic Growth, 1978–1996*. Oxford: Oxford University Press.
- Brandolini, A. (2010). "Political Economy and the Mechanics of Politics," *Politics and Society*, 38, 212–26.
- Brands, H. (2010). *Latin America's Cold War*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brauer, C. (1982). "Kennedy, Johnson, and the War on Poverty," *The Journal of American History*, 69, 98–119.
- Bremer, A. L. Paul III (2006). *My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope*. New York: Simon & Schuster.
- Brenner, R. (1998). "The Economics of Global Turbulence," *New Left Review*, No. 229.
- . (2002). *The Boom and the Bubble: The U.S. in the World Economy*. London: Verso.
- . (2006). "What Is, and What Is Not, Imperialism," *Historical Materialism*, 14, 79–105.
- Brinkley, A. (1996). *New Deal Liberalism in Recession and War*. New York, Vintage.
- Bromley, P. et al. (2010). "The Worldwide Spread of Environmental Discourse in Social Science Textbooks, 1970–2008: Cross-National Patterns and Hierarchical Linear Models," unpublished paper School of Education/ Department of Sociology, Stanford University.
- Bromley, S. (1997). "Middle East Exceptionalism – Myth or Reality." In David Potter et al. (eds.), *Democratization*. Cambridge: Polity Press.
- Brooks, C. and J. Manza (1997). "The Sociological and Ideological Bases of Middle-Class Political Realignment in the United States, 1972–1992," *American Sociological Review*, 62, 191–208.

- . (2006). "Social Policy Responsiveness in Developed Democracies," *American Sociological Review*, 71, 474–94.
- Brown, A. (2007). *Seven Years That Changed the World: Perestroika in Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2009). *The Rise and Fall of Communism (2009)*. New York: HarperCollins.
- Brown, M. (1999). *Race, Money and the American Welfare State*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Brügge-meier, F.-J., M. Cioc, and T. Zeller (eds.) (2005). *How Green Were the Nazis? Nature, Environment and Nation in the Third Reich*. Athens: Ohio University Press.
- Brzezinski, Z. (2012). *Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power*. New York: Basic Books; Бжезинский З. (2013). Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. М.: АСТ.
- Bucheli, M. (2005). *Bananas and Business: The United Fruit Company in Colombia, 1899–2000*. New York: New York University Press.
- Bulmer-Thomas, V. (1994). *The Economic History of Latin America Since Independence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bunce, V. (1999). *Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burn, G. (2006). *The Re-Emergence of Global Finance*. London: Palgrave Macmillan.
- Burnham, G. et al. (2006). "Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey" *The Lancet*, October 11.
- Burnham, P. (2001). "New Labour and the Politics of Depoliticisation," *British Journal of Politics and International Relations*, 3, 127–49.
- Burns, J. M. (2009). *Packing the Court: The Rise of Judicial Power and the Coming Crisis of the Supreme Court*. New York: Penguin Press.
- Busch, A. (2005). *Reagan's Victory: The Presidential Election of 1980 and the Rise of the Right*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Bush, G. W. (2010). *Decision Points*. New York: Crown.
- Calder, L. (1999). *Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cameron, D. R. (2007). "Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union," *Post-Soviet Affairs*, 23, 185–217.
- Campbell, B. (1995). *The Growth of American Government: Governance from the Cleveland Era to the Present*. Bloomington: Indiana University Press.
- Cardenas, E. et al. (eds.) (2000). *An Economic History of Twentieth-Century Latin America*. Vol. III, Industrialization and the State in Latin America: The Postwar Years. New York: Palgrave.
- Carrothers, T. (1991). "The Reagan Years: The 1980s." In Abraham Lowenthal (ed.), *Exporting Democracy: The United States and Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Vol. 2, *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Oxford: Blackwell; Кастельс М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ.
- Castles, F. G. and I. F. Shirley (1996). "Labour and Social Policy: Gravediggers or Refurbishers of the Welfare State." In F. G. Castles et al. (eds), *The Great Experiment*, Allen and Unwin, Sydney, pp. 88–106.
- Castles, F. (1985). *The Working Class and Welfare in Australia and New Zealand*. Sydney: Allen & Unwin.
- . (1998). *Comparative Public Policy: Patterns of Post-War Transformation*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Castles, F. and D. Mitchell (1993). "Worlds of Welfare and Families of Nations." In Castles, (ed.), *Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies*. Hanover, NH: Dartmouth University Press.
- Castles, F. and H. Obinger (2008). "Worlds, Families, Regimes: Country Clusters in European and OECD Area Public Policy," *West European Politics*, 31, 321–44.
- Centeno, M. (2002). *Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America*. College Park: Pennsylvania State University Press.

- Cerami, A. and P. Vanhuysse (2009). *Post-Communist Welfare Pathways*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cesarano, F. (2006). *Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chai, J. and K. Roy (2006). *Economic Reform in China and India*. Northampton, MA: Edward Elgar.
- Chan, A. (2001). *China's Workers under Assault: The Exploitation of Labor in a Globalizing Economy*. Armonk, NJ: M. E. Sharpe.
- Chang, H.-J. (2003). *Globalisation, Economic Development and the Role of the State*. London: Zed Books.
- . (2009). *23 Things They Don't Tell You about Capitalism*. London: Allen Lane.
- Chase-Dunn, C. et al. (2000). "Trade Globalization since 1795: Waves of Integration in the World System," *American Sociological Review*, Vol. 65.
- Chase-Dunn, C. and A. Jorgenson (2003). "Interaction Networks and Structural Globalization: A Comparative World-Systems Perspective," *Society in Transition* 34, 206–20.
- Chen J. (2001). *Mao's China and the Cold War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Chen, Chih-jou (2003). *Transforming Rural China: How Local Institutions Shape Property Rights in China*. London: Routledge.
- Chen, J. and Y. Kuisong (1998). "Chinese politics and the collapse of the Sino-Soviet alliance." In Odd Westad (ed.), *Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Chernyav, A. (2000). *My Six Years with Gorbachev*. University Park: Pennsylvania State University Press; Черняев, А.С. (1993). *Шесть лет с Горбачёвым. По дневниковым записям*. М.: Прогресс-Культура.
- Chirot, D. (1986). *Social Change in the Modern Era*. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich.
- Chollet, D. and J. Goldgeier (2008). *America between the Wars: From 11/9 to 9/11: The Misunderstood Years between the Fall of the Berlin Wall and the Start of the War on Terror*. New York: Public Affairs.
- Clark, D. (1997). *Like Night and Day: Unionization in a Southern Mill Town*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Clark, G. W. (2007). *A Time to Lead: For Duty, Honor and Country*. New York: Palgrave MacMillan.
- Clarke, P. (2008). *The Last Thousand Days of the British Empire: Churchill, Roosevelt, and the Birth of the Pax Americana*. London: Bloomsbury Press.
- Clarke, R. (2004). *Against All Enemies*. New York: Simon & Schuster.
- Cline, William (2004). *Trade Policy and Global Poverty*. Washington, DC: Institute for International Economics.
- Coates, D. (2010). "Separating Sense from Nonsense in the U. S. Debate on the Financial Melt-down," *Political Studies Review*, 8, 15–26.
- Coatsworth, J. (1994). *Central America and the United States: The Clients and the Colossus*. New York: Twayne.
- Cohen, L. (1990). *Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago 1919–1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2003). *A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*. New York: Alfred A. Knopf.
- Cohen, S. (2001). *Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia*. New York: Norton.
- Cohen, W. (2005). *America's Failing Empire: U. S. Foreign Relations since the Cold War*. Oxford: Blackwell.
- Collier, P. (2000). "Doing Well out of War." In M. Berdahl & D. Malone (eds.), *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- . (2003). "Breaking the Conflict Trap: Civil War and Developmental Policy," *World Bank Policy Research Report*, Washington, DC: World Bank.
- Collins, R. (2012). "Technological Displacement of Middle-Class Work and the Long-Term Crisis of Capitalism: No More Escapes." In Georgi Derleugian (ed.) *Does Capitalism Have a Future? A Sociological Polemic*. New Haven, CT.: Yale university Press;

- Коллинз, Р. (2015). *Средний класс без работы: выходы закрываются // Есть ли будущее у капитализма?* М.: Изд-во Института Гайдара. С. 61–112.
- Connor, W. (1991). *The Accidental Proletariat: Workers, Politics, and Crisis in Gorbachev's Russia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Cooper, F. (1996). "Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa," *African Studies Series*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (2002). *Africa since 1940: The Past of the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cowie, J. (2010). *Stayin' Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class*. New York: New Press.
- Cox, R. (1994). *Power and Profits: U.S. Policy in Central America*. Lexington: University of Kentucky Press.
- Coyne, C. (2007). *After War: The Political Economy of Exporting Democracy*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Creveland, M. van (2008). *The Changing Face of War*. New York: Ballantine Books.
- Cronin, J. (1996). *The World the Cold War Made*. New York: Routledge.
- . (2001). "The Marshall Plan and Cold War Political Discourse." In Martin Schain (ed.), *The Marshall Plan: Fifty Years After*. New York: Palgrave.
- Crouch, C. (2005). *Capitalist Diversity and Change: Recombinant Governance and Institutional Entrepreneurs*. Oxford, Oxford University Press.
- . (2009). "Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime," *British Journal of Politics and International Relations*, 11, 382–99.
- . (2011). *The Strange Non-Death of Neoliberalism*. Cambridge, UK: Polity; Крауч К. (2012). *Странная не-смерть неолиберализма*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.
- Cullather, N. (1999). *Secret History: The CIA's Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952–1954*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Cummings, B. (1981 and 1990). *The Origins of the Korean War*. Vol. 1, *Liberation and the Emergence of Separate Regimes, 1945–1947*. Vol. 2, *The Roaring of the Cataract, 1947–1950*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- . (2004). *North Korea: Another Country*. New Press.
- Cusack, T. and S. Fuchs (2002). "Ideology, Institutions and Public Spending," Discussion Paper of the Research Area Markets and Political Economy, Wissenschaftszentrum Berlin.
- Daalder, I. and J. Lindsay (2003). *America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Dallek, R. (1998). *Flawed Giant: Lyndon Johnson and His Times, 1961–1963*, New York: Oxford University Press.
- . (2003). *John F. Kennedy. An Unfinished Life, 1917–1963*. London: Penguin.
- Davis, C. (2001). "The Health Sector: Illness, Medical Care, and Mortality." In Brigitte Granville & Peter Oppenheimer (eds.), *Russia's Post-Communist Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Davis, G. (2009). *Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America*. Oxford: Oxford University Press.
- Deng, X. (1984). *Selected Works (1975–1982)*. Beijing: Foreign Language Press. Development. Oxford: Blackwell; Дэн Сяопин (1984). *Основные вопросы современного Китая*. М.: Политиздат.
- Dew-Becker and R. Gordon (2005). "Where Did the Productivity Growth Go? Inflation Dynamics and the Distribution of Income," National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 11842.
- Diamond, L. (2005). *Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq*. New York: Times Books/ Henry Holt.
- Dickson, B. (2003). *Red Capitalists in China: The Party, Private Entrepreneurs, and Prospects for Political Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dittmer, J. (1994). *Local People: The Struggle for Civil Rights in Mississippi*. Urbana: University of Illinois Press.
- Dodge, T. (2003). *Inventing Iraq: The Failure of Nation-Building and a History Denied*. New York: Columbia University Press.



- Doherty, B. (2002). *Ideas and Action in the Green Movement*. London: Routledge.
- Domhoff, W. (1996). *State Autonomy or Class Dominance? Case Studies in Policy Making in America*. New York: Aldine de Gruyter.
- . 1990. *The Power Elite and the State. How Policy Is Made in America*. New York: A. de Gruyter. Forthcoming. The Committee for Economic Development. unpublished ms.
- Dominguez, J. (1999). "U.S.-Latin American Relations during the Cold War and Its Aftermath." In Victor Bulmer-Thomas & James Dunkerley (eds.), *The United States and Latin America: The New Agenda*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dooley, M. et al. (2003). "An Essay on the Revived Bretton Woods System," NBER Working Paper No. 9971.
- Dorenspleet, R. (2000). "Reassessing the Three Waves of Democratization," *World Politics* 52, 384-406.
- Douglas, R. (2002). *Liquidation of Empire: The Decline of the British Empire*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Dower, J. (1999). *Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II*. New York: Norton.
- Drahos, P. and J. Braithwaite (2002). *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* New York: New Press.
- Dreyfus, M. et al. (2006). *Se protéger, être protégé. Une histoire des Assurances sociales en France*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Drukker, J. W. (2006). *The Revolution that Bit Its Own Tail: How Economic History Changed our Ideas on Economic Growth*. Amsterdam: Aksant.
- Dudziak, M. (2000). *Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Dunlop J. (2003). "The August Coup and Its Impact on Soviet Politics," *Journal of Cold War Studies*, Vol 5.
- Ebbinghaus, B. and J. Visser (1999). "When Institutions Matter. Union Growth and Decline in Western Europe, 1950-1995," *European Sociological Review*, 15, 135-58.
- Ebbinghaus, B. and M. Gronwald (2009). "The Changing Public-Private Pension Mix in Europe: from Path-Dependence to Path Departure," draft paper, MZED, University of Mannheim.
- Eckes, A. (1995). *Opening America's Market: U. S. Foreign Trade Policy since 1776*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Edsall, T. (1984). *The New Politics of Inequality*. New York: Norton.
- Eichengreen, B. (ed.) (1995). *Europe's Postwar Recovery*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1996). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2009). "The Dollar Dilemma: The World's Top Currency Faces Competition," *Foreign Affairs*, September/October.
- Eisenstadt, S. (1982). "The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics," *European Journal of Sociology*, 23, 294-314.
- Elliott, D. (2003). *The Vietnamese War: Revolution and Social Change in the Mekong Delta, 1930-1975*, 2 vols. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Ellman, M. and Kontorovich, V. (1998). *The Destruction of the Soviet Economic System: An Insiders' History*. London: M. E. Sharpe.
- Ensalaco, M. (2008). *Middle Eastern Terrorism: From Black September to September 11*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Environmental Law Institute (2009). "Estimating U.S. Government Subsidies to Energy Sources: 2002-2008."
- Epstein, P. et al. (2000). "Distribution Dynamics: Stratification, Polarization and Convergence Among OECD Economies, 1870-1992," London School of Economics, Department of Economic History Working Papers, No. 58/00.
- Eriksson et al. (2003). "Armed Conflict 1989-2002," *Journal of Peace Research*, 40, 593-607.
- Eskew, G. T. (1997). *But for Birmingham: The Local and National Movements in the Civil Rights Struggle*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

- . (1999). *Social Foundations of Postindustrial Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2011). "Families and the Revolution in Women's Role," three unpublished lectures available at the author's web-site.
- Estévez-Abe, M., Torben, I. and D. Soskice (2001). "Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State." In Peter Hall & David Soskice (eds.), *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, pp. 145–83. New York: Oxford University Press.
- European Bank for Reconstruction and Development (2009). *Transition Report*.
- European Environment Agency (2009). *Greenhouse Gas Emission Trends and Projections in Europe: Tracking Progress Towards Kyoto Targets*, EEA Report No. 9/2009.
- Evans, P. and W. Sewell, Jr. (2011). "The Neoliberal Era: Ideology, Policy, and Social Effects," unpublished paper.
- Ewell J. (1996). *Venezuela and the United States: From Monroe's Hemisphere to Petroleum's Empire*. Athens and London: University of Georgia Press.
- Eyal, G., I. Szelenyi, and E. Townsley (1998). *Making Capitalism without Capitalists*. London: Verso.
- Fairclough, A. (1995). *Race and Democracy: The Civil Rights Struggle in Louisiana, 1915–1972*. Athens: University of Georgia Press.
- Fan, J. et al. (2011). "Capitalizing China," NBER Working Paper no. 17687, December.
- Federico, G. (2005). *Feeding the World: An Economic History of Agriculture, 1800–2000*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Ferguson, C. (2008). *No End in Sight: Iraq's Descent into Chaos*. New York: Public Affairs.
- Ferrarini, G. et al. (2003). "Executive Remuneration in the EU: Comparative Law and Practice," EGGI Working Paper Series in Law, No. 32, European Corporate Governance Institute.
- Filene, P. (2001). "Cold War Culture Doesn't Say It All." In Peter J. Kuznick and James Gilbert (eds.), *Rethinking Cold War Culture*. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
- Fineman, D. (1997). *A Special Relationship: The United States and Military Government in Thailand 1947–1958*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Fiorina, M. and S. Abrams (2009). *Disconnect: The Breakdown of Representation in American Politics*. Norman: Oklahoma University Press.
- Fischer, B. (1997). *The Reagan Reversal: Foreign Policy and the End of the Cold War*. Columbia: University of Missouri Press.
- Fischer, C. and M. Hout (2006). *Century of Difference: How America Changed in the Last One Hundred Years*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fischer, F. (1998). *Making Them like U.S.: Peace Corps Volunteers in the 1960s*. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
- Fitch, R. (2006). *Solidarity for Sale: How Corruption Destroyed the Labor Movement and Undermined America's Promise*. New York: Public Affairs.
- Fligstein, N. and T. Shin (2007). "Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1984–2000," *Sociological Forum*, 22, 399–424.
- . (2010). "Politics, the Reorganization of the Economy and Income Inequality, 1980–2009," *Politics and Society*, 38, 233–42.
- Flora, P. (1983). *State, Economy, and Society in Western Europe 1815–1975: A Data Handbook*. Vol. I, *The Growth of Mass Democracies and Welfare States*. London: Macmillan.
- Flora, P. and Heidenheimer, A. (1981). *The Development of Welfare States in Europe and America*. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
- Foran, J. (2005). *Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Forsberg, A. (2000). *America and the Japanese Miracle: The Cold War Context of Japan's Postwar Economic Revival, 1950–1960*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Fourcade-Gourinchas, M. and Babb, S. "The Rebirth of the Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries," *American Journal of Sociology*, 108, 533–79.
- Fousek, J. (2000). *American Nationalism and the Cultural Roots of the Cold War*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Frank, D.J. (1999). "The Social Bases of Environmental Treaty Ratification, 1900–1990." *Sociological Inquiry*, 69, 523–50.

- Frank, D. J., Bayliss, J. C. and S. A. Boutcher (2010). "Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945 to 2005." *American Sociological Review* 75, 867–93.
- Frank, T. (2004). *What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America*. New York: Metropolitan Books.
- Fraser, S. (1989). "The 'Labor Question.'" In Fraser & Gary Gerstle (eds.), *The Rise and Fall of the New Deal Order*, pp. 55–84. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Friedman, E. et al. (1991). *Chinese Village, Socialist State*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press; Фридман М. (2006). *Капитализм и свобода*. М.: Новое издательство.
- Frum, D. and Perle, R. (2003). *An End to Evil: How To Win the War on Terror*. New York: Random House.
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press; Фукуяма, Ф. (1995). *Конец истории? // Философия истории*. Антология. М. С. 290.
- . (2011). *The Origins of Political Order*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Gaddis, J. (1972). *United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947*. New York: Columbia University Press.
- . (1982). *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar American National Security Policy*. New York: Oxford University Press.
- . (1997). *We Now Know: Rethinking the Cold War*. New York: Oxford University Press.
- Gaiduk, I. (1996). *The Soviet Union and the Vietnam War*. Chicago: Ivan Dee.
- Gamble, A. (2010). "The Political Consequences of the Crash," *Political Studies Review*, 8, 3–14.
- Gambone, M. (1997). *Eisenhower, Somoza, and the Cold War in Nicaragua, 1953–1961*. Westport, CT: Praeger Publishers.
- . (2001). *Capturing the Revolution: The United States, Central America, and Nicaragua, 1961–1972*. Westport, CT: Praeger.
- Garrett, G. (1998). *Partisan Politics in the Global Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Gasiorowski, M. and M. Byrne (eds.) (2004). *Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Gelb, L. (2009). *Power Rules: How Common Sense Can Rescue American Foreign Policy*. New York: Harper.
- Gemici, K. (2008). "Hot Money. Cold Money: Managing Global Capital in Emerging Economies." Ph. D. Dissertation, UCLA.
- Gerges, F. (2005). *The Far Enemy: Why Jihad Went Global*. New York: Cambridge University Press.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity; Гидденс Э. (2011). *Последствия современности*. М.: Практис.
- Gilding, P. (2011). *The Great Disruption: How the Climate Crisis Will Transform the Global Economy*. London: Bloomsbury.
- Gilens, M. (1999). *Why Americans Hate Welfare*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gill, G. (1994). *The Collapse of a Single-Party System: The Disintegration of the CPSU*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gill, L. (2004). *The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas*. Durham, NC: Duke University Press.
- Gilligan, A. (2009). "Iraq Report: Secret Papers Reveal Blunders and Concealment," *The Telegraph*, London, November 21.
- Gimpel, J. and K. Karnes (2006). "The Rural Side of the Urban-Rural Gap," *Political Science & Politics*, 9(3), 467–72.
- Gittings, J. (2005). *The Changing Face of China: From Mao to the Market*. New York: Oxford University Press.
- Gleditsch, K. (2004). "A Revised List of Wars between and within Independent States, 1816–2002," *International Interactions*, 30, 231–62.
- Gleijeses, P. (1991). *Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Glenn, E. N. (2002). *Unequal Freedom: How Race and Gender Shaped American Citizenship and Labor*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Goldfield, M. (1987). *The Decline of Organized Labor in the United States*. Chicago: University of Chicago Press.
- . (1997). *The Color of Politics: Race and the Mainsprings of American Politics*. New York: New Press.
- Goldin, C. and R. Margo (1992). "The Great Compression: Wage Structure in the United States at Mid-Century," *Quarterly Journal of Economics* 107, 1–34.
- Goldman, M. (1972). *The Spoils of Progress: Environmental Pollution in the Soviet Union*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Goldstone, J. (2001). "Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory," *Annual Review of Political Science* 4, 139–87.
- . (2004). "Its All about State Structure: New Findings on Revolutionary Origins from Global Data," *Homo Oeconomicus*, 21, 429–55.
- . (2009). "Revolutions." In Todd Landman & Neil Robinson (eds.), *The Sage Handbook of Comparative Politics*, pp. 319–47. Los Angeles: Sage.
- Goodell, J. (2010). "As the World Burns. How Big Oil and Big Coal Mounted One of the Most Aggressive Lobbying Campaigns in History to Block Progress on Global Warming," *Rolling Stone Online*, posted January 6.
- Goodwin, J. (2001). *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. New York: Cambridge University Press.
- Gorbachev, M. (1995). *Memoirs*. New York: Doubleday; Горбачев, М.С. (2012). *Наедине с собой*. М.: Грин Стрит.
- Gordon, C. (2003). *Dead on Arrival: The Politics of Health Care in Twentieth-Century America*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gordon, M. and Trainor, G. V. (2006). *Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq*. New York: Random House.
- Gorlizki, Y. and O. Khlevniuk (2004). *Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945–1953*. Oxford: Oxford University Press; Горлицкий, Й., Хлевнюк, О. В. (2011). *Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры*. М.: РОССПЭН.
- Goto, K. (2003). *Tensions of Empire: Japan and Southeast Asia in the Colonial and Postcolonial World*. Athens: Ohio University Press.
- Gourinchas, P. O., and O. Jeanne (2007). "Capital Flows to Developing Countries: The Allocation Puzzle," NBER Working Papers No. 13602, National Bureau of Economic Research.
- Gowan, P. (1999). *The Global Gamble: Washington's Faustian Bid for World Domination*. London: Verso.
- . (2004). "Contemporary Intra-Core Relations and World Systems Theory," *Journal of World-Systems Research*, Vol. 10.
- Grandin, G. (2004). *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War*. Chicago: University of Chicago Press.
- Grant-Friedman, A. (2008). "Soviet Sociology, Perestroika, and the Politics of Social Inequality," Ph.D. Dissertation, UCLA.
- Griffin, K. (1991). "Foreign Aid after the Cold War," *Development and Change*, 22, 645–85.
- Griffith, B. (1988). *The Crisis of American Labor: Operation Dixie and the Defeat of the CIO*. Philadelphia: Temple University Press.
- Gross, J. A. (1995). *Broken Promise: The Subversion of U.S. Labor Relations Policy, 1947–1994*. Philadelphia: Temple University Press.
- Habermas, J. (1990). "What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolution and the Need for New Thinking on the Left," *New Left Review*, 183: 3–21.
- Hacker, J. and P. Pierson *Winner-Take-All Politics*. New York: Simon & Schuster.
- Haggard, S. and R. Kaufman (2008). *Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hahn, P. (2004). *Caught in the Middle East: U.S. Policy towards the Arab-Israeli Conflict, 1945–1961*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Haldane, A. (2012). "The Doom Loop," *London Review of Books*, 34, 21–2.
- Hall, J. A. (1995). "After the Vacuum: Post-Communism in the Light of Tocqueville." In Beverly Crawford (ed.), *Markets, States and Democracy: The Political Economy of Post-Communist Transformation*. Boulder, CO: Westview Press.
- Hall, M. (2000). *Sugar and Power in the Dominican Republic: Eisenhower, Kennedy, and the Trujillos*. Westport CT: Greenwood.

- Hall, P. and D.W. Gingerich (2003). Discussion Paper 04/5, Cologne, Germany, Max Planck Institute for the Study of Societies. Available at [www.mpi-fg-koeln.mpg.de](http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de).
- Hall, P. and D. Soskice (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford: Oxford University Press.
- Halliday, F. (1999). *Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth Great Power*. London: MacMillan.
- . (2010). "Third World Socialism: 1989 and After." In Lawson et al. (eds.), *The Global 1989: Continuity and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamm, P., L. King, and D. Stucker (2012). "Mass Privatization, State Capacity, and Economic Growth in Post-Communist Countries, *American Sociological Review*, 77, 295–324.
- Handler, J. (2004). *Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe: The Paradox of Inclusion*. New York: Cambridge University Press.
- Hansen, J. (2009). *Storms of My Grandchildren: The Truth about the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity*. New York: Bloomsbury.
- Hanson, P. (2003a). *The Rise and Fall of the Soviet Economy: An Economic History of the U.S.S.R. From 1945*. London: Pearson.
- . (2003b). "The Russian Economic Recovery: Do Four Years of Growth Tell Us That the Fundamentals Have Changed?" *Europe-Asia Studies*, 55, 365–82.
- Harding, L. (2011). *Mafia State: How One Reporter Became An Enemy of the Brutal New Russia*. London: Guardian Books.
- Hardt, M. and A. Negri (2000). *Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press; Хардт М., Негри, А. (2004). *Империя*. М.: Праксис.
- Harrington, M. (1962). *The Other America: Poverty in the United States*. New York: Macmillan.
- Harrison, G. (2005). "Economic Faith, Social Project and a Misreading of African Society: The Travails of Neoliberalism." *Third World Quarterly*, 26, 1303–20.
- Harrison, R. (1997). *State and Society in Twentieth Century America*. London: Longman.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity*. London: Basil Blackwell
- . (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press; Харви, Д. (2007). *Краткая история неолиберализма*. М.: Поколение.
- Hayek, F. A. von (1944). *The Road to Serfdom*. The University of Chicago Press; Хайек, Ф.А. фон. (1992). *Дорога к рабству*. М.: Экономика.
- Hearden, P. (2002). *Architects of Globalism: Building a New World Order during World War II*. Fayetteville: University of Arkansas Press.
- Heinlein, F. (2002). *British Government Policy and Decolonisation 1945–1963*. London: Frank Cass.
- Hendrix, C. and I. Salehyan (2012). "Climate Change, Rainfall, and Social Conflict in Africa," *Journal of Peace Research*, 49, 35–50.
- Hicks, A. et al. (1995). "The Programmatic Emergence of the Social Security State," *American Sociological Review*, 60, 329–49.
- . (1999). *Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Higgs, R. (1989). *Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Hinrichs, K. (2010). "A Social Insurance State Withers Away." In Bruno Palier (ed.), *A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hirsch, S. (2003). *After the Strike: A Century of Labor Struggle at Pullman*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hirst, P. and G. Thompson (1999). *Globalisation in Question*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Hobsbawm, E. (1994). *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991*. London: Michael Joseph; Хобсбаум, Э. (2004). *Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1994)*. М.: Издательство «Независимая газета».
- Hoffman, D. (2003). *The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia*. New York: Public Affairs.
- Hofman, B. and J. Wu (2009). "Explaining China's Development and Reforms." Commission on Growth and Development, Working Paper No. 50.

- Hogan, M. (1987). *The Marshall Plan, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947–1952*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1999). *The Ambiguous Legacy: U. S. Foreign Relations in the “American Century.”* New York: Cambridge University Press.
- Holden, R. (2004). *Armies Without Nations: Public Violence and State Formation in Central America 1821–1960*. Oxford: Oxford University Press.
- Hollander, P. (1999). *Political Will and Personal Belief: The Decline and Fall of Soviet Communism*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Holloway, D. (1994). *Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939–1956*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Holton, R. (1998). *Globalization and the Nation-State*. New York: St. Martin’s Press.
- Honey, M. (1993). *Southern Labor and Black Civil Rights’ Organizing Memphis Workers*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hooks, G. (1991). *Forging the Military-Industrial Complex: World War II’s Battle of the Potomac*. Urbana: University of Illinois Press.
- Hooks, G., and C. Smith (2005). “Treadmills of Production and Destruction: Threats to the Environment Posed by Militarism.” *Organization & Environment* 18(1): 19–37.
- Hoopes, T. and Brinkley, D. (1997). *FDR and the Creation of the U. N.* New Haven, CT: Yale University Press.
- Horne, J. and A. Kramer (2001). *The German Atrocities of 1914: A History of Denial*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Hough, J. (1997). *Democratization and Revolution in the USSR, 1985–1991*. Washington, DC: Brookings Institute.
- Hout, M. et al. (1995). “The Democratic Class Struggle in the United States, 1948–1992,” *American Sociological Review*, 60, 805–28.
- Houtman, D. et al. (2008). *Farewell to the Leftist Working Class*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Howard, C. (1997). *The Hidden Welfare State: Tax Expenditures and Social Policy in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- HSBC Global (2009). *A Climate for Recovery: the Colour of Stimulus Goes Green*. London: HSBC Bank.
- Huang, J. (2000). *Factionalism in Chinese Communist Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huang, Y. (2008). *Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huber, E. and Stephens, J. (2001). *Development and Crisis of the Welfare State*. Chicago: University of Chicago Press.
- Huggins, M. (1998). *Political Policing: The United States and Latin America*. Durham, NC: Duke University Press.
- Hulme, M. (2009). *Why We Disagree about Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Humphreys, D. (2008). “NGO Influence on International Policy on Forest Conservation and the Trade in Forest Products.” In Betsill & Corell (eds.), *NGO Diplomacy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Hunt, M. (1987). *Ideology and U.S. Foreign Policy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- . (1996). *Lyndon Johnson’s War: America’s Cold War Crusade in Vietnam, 1945–1968*. New York: Hill & Wang.
- Huntington, S. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press; Хантингтон, С. (2003). *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М.: РОССПЭН.
- . (1996). *The Clash of Civilizations*. New York: Simon & Schuster; Хантингтон, С. (2003). *Столкновение цивилизаций*. М.: АСТ.
- Hurd, M. and S. Rohwedder (2010). “Effects of the Financial Crisis and Great Recession on American Households,” *NBER Working Paper No. 16407*.
- Hutchinson, M. (2001). “A Cure Worse than the Disease? Currency Crises and the Output Costs of Supported Stabilization Programs.” In M. Dooley & J. Frankel (eds.), *Managing Currency Crises in Emerging Markets*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hyam, R. (2006). *Britain’s Declining Empire: The Road to Decolonisation, 1918–1968*. New York: Cambridge University Press.

- Hyland, W. (1999). *Clinton's World: Remaking American Foreign Policy*. Westport, CT, Praeger Publishers.
- Ikenberry, J. (2001). *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2006). *Liberal Order and Imperial Ambition*. Cambridge: Polity.
- Immergluck, D. (2009). *Foreclosed: High-Risk Lending, Deregulation, and the Undermining of America's Mortgage Market*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Indyk, M. (2008). *Innocent Abroad*. New York: Simon & Schuster.
- Ingham, G. (1984). *Capitalism Divided?* London: Macmillan.
- . (2009). *Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Institute on Taxation and Economic Policy (2004). "Corporate Income Taxes in the Bush Years," Report No. 9/2004.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (2007). *Climate Change 2007, the IPCC Fourth Assessment Report*. Synthesis Report. Geneva: IPCC.
- International Government Office (2008). *World of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization*. Geneva: ILO.
- International Monetary Fund (2010). "World Economic Outlook." Iversen, Torben & David Soskice 2009 "Distribution and Redistribution: The Shadow of the Nineteenth Century," *World Politics*, 61, 438–86.
- Iverson, T. and J. Stephens (2008). "Partisan politics, the welfare state, and three worlds of human capital formation." *Comparative Political Studies*, Vol. 41.
- . (2005). *Capitalism, Democracy, and Welfare*. New York: Cambridge University Press.
- Jacoby, S. (2004). "Economic Ideas and the Labor Market: Origins of the Anglo-American Model and Prospects for Global Diffusion," Unpublished paper, UCLA, November.
- Jacoby, T. (2010). "The 'Muslim Menace,' Violence and the De-Politicising Elements of the New Culturalism." *Journal of Muslim Minority Affairs*, 30, 167–81.
- Jacoway, E. (1982). "Introduction," and "Little Rock Business Leaders and Desegregation." In *Jacoway & David Colburn (eds.), Southern Businessmen and Desegregation*, pp. 1–14, 15–41. Baton Rouge: Louisiana University Press.
- Jaggard, L. (2007). *Climate Change Politics in Europe: Germany and the International Relations of the Environment*. London: I. B. Tauris.
- James, H. (2001). *The End of Globalization: Lessons from the Great Depression*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2006). *The Roman Predicament: How the Rules of International Order Create the Politics of Empire*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Jian, C. (1994). *China's Road to the Korean War*. New York: Columbia University Press.
- Johnson, C. (2000). *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire*. New York: Henry Holt.
- . (2005). *The Sorrows of Empire. Militarism, Secrecy, and the End of the Republic*. New York: Henry Holt.
- Johnson, S. (2009). "The Quiet Coup," *Atlantic Online*, May.
- Jorda, O. et al. (2010). "Financial Crises, Credit Booms, and External Imbalances: 140 Years of Lessons," *NBER Working Paper No. 16567*.
- Jorgenson, A. K., Brett C., and J. Kentor (2010). "Militarization and the Environment: A Panel Study of Carbon Dioxide Emissions and the Ecological Footprints of Nations, 1970–2000." *Global Environmental Politics* 10, 7–29.
- Jorgenson, A. and T. Burn (2007). "The Political-Economic Causes of Change and the Ecological Footprints of Nations, 1991–2001: A Quantitative Investigation." *Social Science Research*, 36, 834–53.
- Josephson, P. (2005). *Resources under Regimes: Technology, Environment, and the State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Juhazs, A. (2006). *The Bush Agenda: Invading the World, One Economy at a Time*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Kagan, R. (2012). *The World America Made*. New York: Knopf.
- Kagan, R. and W. Kristol (2000). *Present Dangers: Crisis and Opportunity in American Foreign and Defense Policy*. San Francisco: Encounter Books.
- Kamieniecki, S. (2006). *Corporate America and Environmental Policy*. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Kandil, H. (2011). "Revolt in Egypt," *New Left Review*, No. 68, March–April.
- . (2012). "Power Triangle: Military, Security and Politics in the Shaping of the Regime in Egypt, Turkey and Iran," Ph. D. Dissertation, UCLA.
- Kangas, O. (2010). "One Hundred Years of Money, Welfare and Death: Mortality, Economic Growth and the Development of the Welfare State in 17 OECD Countries 1900–2000," *International Journal of Social Welfare*, 19, S42–S59.
- Karabell, Z. (1999). *Architects of Intervention: The United States, the Third World, and the Cold War 1946–1962*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Kato, J. (2003). *Regressive Taxation and the Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Katz, M. B. (2001). *The Price of Citizenship: Redefining the American Welfare State*. New York: Metropolitan Books.
- . et al. (2005). "The New African American Inequality." *The Journal of American History* 92, 75–108.
- Katzenstein, P. (1985). *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- . (2005). *A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- . (2010). *Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives*. New York: Routledge.
- Katznelson, I. (2005). *When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America*. New York: Norton.
- Katznelson, I., K. Geige, and D. Kryder (1993). "Limiting Liberalism: The Southern Veto in Congress, 1933–1950," *Political Science Quarterly*, 108, 283–306.
- Keck, M. and K. Sikkink (1998). *Activists beyond Borders*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Keddie, N. (2003). *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Keene, J. D. (2001). *Doughboys, the Great War and the Remaking of America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Keesbergen, K. van (1995). *Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State*. London: Routledge.
- Kelly, M. forthcoming "U.S. imperialism in the Middle East: an abbreviated survey," unpublished paper, UCLA Department of History.
- Kenez, P. (2006). *The History of the Soviet Union from the Beginning to the End*. New York: Cambridge University Press.
- Kenworthy, L. (2004). *Egalitarian Capitalism: Jobs, Income and Growth in Affluent Countries*. New York: Russell Sage Foundation.
- . (2010). "Business Political Capacity and the Top-Heavy Rise of Income Inequality: How Large an Impact?" *Politics and Society*, 38, 255–65.
- Kern, T. (2010). "Translating Global Values into National Contexts: The Rise of Environmentalism in South Korea," *International Sociology*, 25, 869–96.
- Keynes, J. M. (1937). "The General Theory of Employment," *Quarterly Journal of Economics*, 51, 209–23.
- Khalidi, R. (2009). *Sowing Crisis: The Cold War and American Dominance in the Middle East*. Boston: Beacon.
- Kian-Thiébaud, A. (1998). *Secularization of Iran. A Doomed Failure?* Paris: Diffusion Peeters.
- King, D. and Wood, S. (1999). "The Political Economy of Neoliberalism: Britain and the United States in the 1980s." In H. Kitschelt et al. (eds), *Continuity and Change in Contemporary Capitalism*. New York: Cambridge University Press.
- Kinzer, S. (2004). *All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror*. New York: Wiley.
- Kirk, J. (2002). *Redefining the Color Line: Black Activism in Little Rock, Arkansas, 1940–1970*. Gainesville: University Press of Florida.
- Kirk-Greene, A. (2000). *Britain's Imperial Administrators, 1858–1966*. Basingstoke, UK: Macmillan and New York: St. Martin's Press.
- Kissinger, H. (2003). *Ending the Vietnam War: A History of America's Involvement in and Ex-  
trication from the Vietnam War*. New York: Simon & Schuster.



- Klare, M. (2004). *Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Dependency on Imported Petroleum*. New York: Henry Holt.
- Klarman, M. (2004). *From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*. New York: Oxford University Press.
- Klausen, J. (1999). *War and Welfare: Europe and the United States, 1945 to the Present*. London: Palgrave Macmillan.
- Klein, J. (2003). *For All These Rights*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2001). "Foreword." In Lawrence Klein & Marshall Pomer (eds.), *The New Russia: Transition Gone Awry*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Knight, A. (2008). "U.S. Imperialism/Hegemony and Latin American Resistance." In Fred Rosen (ed), *Empire and Dissent: The United States and Latin America*. Durham, NC: Duke University Press.
- Knight, A. (2003). "The KGB, Perestroika, and the Collapse of the Soviet Union," *Journal of Cold War Studies*, Vol 5.
- Kohl, J. (1981). "Trends and Problems in Postwar Public Expenditures." In Flora and Heidenheimer, *The Development of Welfare States in Europe and America*. New Brunswick, NJ: Transaction Books.
- Kohli, A. (2004). *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koistinen, P. (2004). *Arsenal of World War II: The Political Economy of American Warfare, 1940–1945*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Kolodko, G. (2000). *From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation*. New York: Oxford University Press.
- Kopstein, J. (2006). "The Transatlantic Divide over Democracy Promotion," *The Washington Quarterly*, 29, 85–98.
- Kornhauser, A. (1952). *Detroit As the People See It: A Survey of Attitudes in An Industrial City*. Detroit: Wayne University Press.
- Korpi, W. (1978). *The Working-Class and Welfare Capitalism: Work, Unions and Politics in Sweden*. London: Routledge.
- Korstad, R. (2003). *Civil Rights Unionism: Tobacco Workers and the Struggle for Democracy in the Mid-Twentieth-Century South*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Kose, M. A., E. Prasad, K. Rogof, and Shang-Jin Wei (2006). "Financial Globalization: A Reappraisal," unpublished paper, Harvard University.
- Kotkin, S. (2001). *Armageddon Averted: The Soviet Collapse 1970–2000*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2009). *Uncivil Societies: 1989 and the Implosion of the Communist Establishment*. New York: Random House
- Kotz, D. with F. Weir (1997). *Revolution from Above: The Demise of the Soviet System*. London: Routledge.
- Kozlov, V. (2002). *Mass Uprisings in the U.S.S.R.: Protest and Rebellion in the Post-Stalin Years*. Armonk, NY: M. E. Sharpe; Козлов, В. А. (2009). *Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев (1953—начало 1980-х гг.)*. 3-е изд. М.: РОССПЭН.
- Kraft, M. and S. Kamienicki (eds.) (2007). *Business and Environmental Policy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Kramer, M. (2003a). "The Collapse of the Soviet Union (Part 2): Introduction," *Journal of Cold War Studies*, 5, 3–42.
- . (2003b). "The Collapse of Eastern European Communism and the Repercussions within the Soviet Union (Part 1)," *Journal of Cold War Studies*, 5, 178–256.
- Kriekhaus, J. (2006). *Dictating Development: How Europe Shaped the Global Periphery*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Krippner, G. (2005). "The Financialization of the American Economy," *Socio-Economic Review*, 3, 173–208.
- . (2007). "The Making of U. S. Monetary Policy: Central Bank Transparency and the Neoliberal Dilemma," *Theory and Society*, 36, 477–513.
- . (2011). *Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Krugman, P. (2008). *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York:

- Norton; Кругман, П. (2009). Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М.: Эксмо.
- Kruse, K. M. (2005). *White Flight: Atlanta and the Making of Modern Conservatism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kunz, D. (1997). *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*. New York: Free Press.
- Kurzman, C. (2004). *The Unthinkable Revolution in Iran*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kvaloy, B. et al. (2012). "The Publics' Concern for Global Warming: a Cross-National Study of 47 Countries," *Journal of Peace Research*, 49, 11–22.
- Lacy, N. (2010). "Differentiating among Penal Rates," *British Journal of Sociology*, 61, 778–94.
- LaFeber, W. (1984). *Inevitable Revolutions: The United States in Central America*. 2nd ed. New York: Norton.
- . (1994a). *The American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750*. 2nd ed. New York: Norton.
- Lane, D. (2009). "Post-Socialist States and the World Economy: The Impact of Global Economic Crisis," unpublished paper, University of Cambridge.
- Lothamatas, A. (ed.) (1997). *Democratization in Southeast and East Asia*. New York: St. Martin's Press, Institute of Southeast Asian Studies.
- Lardy, N. (2002). *Integrating China into the Global Economy*. Washington, DC: Brookings Institute.
- Lash, S. and J. Urry (1994). *Economies of Signs and Space*. London: Sage; Лэш, С., Урри, Дж. (2008). *Хозяйства знаков и пространства (ведение) / пер. с англ. М.С. Добрякова // Экономическая социология*. Т. 9. № 4. С. 49–55.
- Latham, M. (2000). *Modernization as Ideology: American Social Science and "Nation Building" in the Kennedy Era*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Lau, S. (2001). *Dix ans dans les camps chinois 1981–1991*. Paris, Dagorno.
- Lawson, G. et al. (2010). *The Global 1989: Continuity and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledeneva, A. (1998). *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lee, C. K. (2002). "From the Specter of Mao to the Spirit of the Law: Labor Insurgency in China," *Theory and Society*, 31, 189–228.
- . (2007). *Against the Law: Labor Protests in China's Rustbelt and Sunbelt*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Lee, C. K. and M. Selden (2007). "China's Durable Inequality: Legacies of Revolution and Pitfalls of Reform," *The Asia-Pacific Journal*, January 21, 2007.
- Leffler, M. (1999). "The Cold War: What Do 'We Now Know?'" *American Historical Review*, Vol. CIV.
- . (2007). *For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union, and the Cold War*. New York: Hill & Wang.
- Lemke, D. (2002). *Regions of War and Peace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leonard, T. (1991). *Central America and the United States: The Search for Stability*. Athens: University of Georgia Press.
- Leonhardt, D. (2010). "The Fed Missed This Bubble. Will It See a New One?" *New York Times*, January 6.
- Levada, I. (1992). "Social and Moral Aspects of the Crisis." In Ellman & Kontorovich (eds.), *The Destruction of the Soviet Economic System: An Insiders' History*. London: M. E. Sharpe; Левада, Ю. (2011). *Сочинения: социологические очерки 1993–2000 гг.* М.: Издатель Карпов Е. В.
- Levinson, J. and J. de Onis (1970). *The Alliance That Lost Its Way*. Chicago: Quadrangle Books.
- Levy, J. (2005). "Redeploying the State: Liberalization and Social Policy in France." In Streeck and Thelen, eds., *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*. New York: Oxford University Press.
- Lewis, G. (2006). *Massive Resistance: The White Response to the Civil Rights Movement*. New York and London: Oxford University Press.
- Lewis, J. (1992). "Gender and the Development of Welfare Regimes," *Journal of European Social Policy*, 2, 159–73.

- Lewis, J. (2000). *Empire State-Building. War and Welfare in Kenya, 1925–52*. Athens: Ohio University Press.
- Lichtenstein, N. (2002). *State of the Union: A Century of American Labor*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . (2003). *Labor's War at Home: The CIO in World War II*. Philadelphia: Temple University Press, 2nd edition.
- Lieberman, R. C. (1998). *Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lieuwen, E. (1961). *Arms and Politics in Latin America*. New York: Praeger.
- Lim, T. (2010). "The Neoliberalisation of the Korean State: Double-Faced Neoliberal Reforms in the Post-1997 Economic Crisis Era," unpublished paper, UCLA Dept. of Sociology.
- Lin, J. Y. and P. Liu (2008). "Development Strategies and Regional Income Disparities in China." In Guanghua Wan (ed.), *Inequality and Growth in Modern China*. Oxford: Oxford University Press.
- Lin, Y. and L. Peilin (2003). "Chinese Development Strategy and Economic Convergence," *Economic Research Journal*, 2003–03.
- Lin, Yi-Min (2001). *Between Politics and Market Firms, Competition and Institutional Change in Post-Mao China*. New York: Cambridge University Press.
- Lindbom, A. (2008). "The Swedish Conservative Party and the Welfare State: Institutional Change and Adapting Preferences," *Government and Opposition*, 43, 539–60.
- Lindert, P. (1998). "Three Centuries of Inequality in Britain and America," Department of Economics, University of California at Davis, Working Paper Series No. 97–09, revised version.
- . (2004). *Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipset, S. and S. Rokkan (1967). "Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction." In Seymour Lipset & Stein Rokkan (eds.), *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*. Glencoe, IL: Free Press.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man*. New York: Doubleday; Липсет, С. М. (2016). *Политический человек: социальные основания политики*. М.: Мысль.
- Little, D. (2002). *American Orientalism: The United States and the Middle East since 1945*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Logevall, F. (1999). *Choosing War: The Lost Chance for Peace and the Escalation of War in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Long, N. V. (1998). "South Vietnam." In P. Lowe (ed.), *The Korean War*. Basingstoke, UK: Macmillan.
- López-Calva, L. and N. Lustig, eds. (2010). *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?* Washington, DC: Brookings Institution Press and United Nations Development Programme.
- López de S., Florencio and A. Chong (2004). "Privatization in Latin America: What Does the Evidence Say?" *Economía*, 4, 37–111.
- Lowe, P. (2000). *The Korean War*. Basingstoke, UK: Macmillan.
- Lowenthal, A. (1995). *The Dominican Intervention*. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lundestad, G. (1998). "Empire" by Invitation: The United States and European Integration, 1945–1997. New York: Oxford University Press.
- Lynd, M. (1999). *Vietnam: The Necessary War: A Reinterpretation of America's Most Disastrous Military Conflict*. New York: Free Press.
- Ma, X. and L. Ortolano (2000). *Environmental Regulation in China: Institutions, Enforcement, and Compliance*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- MacFarquhar, R. (1983). *The Origins of the Cultural Revolution*. Vol. II, *The Great Leap, Forward, 1958–60*. New York: Columbia University Press.
- Maddison, A. (1982). *Phases of Capitalist Development*. Oxford: Oxford University Press.
- . (1998). *Chinese Economic Performance in the Long Run*. Paris: OECD Development Centre.
- . (2004). *The World Economy: A Millennial Perspective*. Paris: OECD.
- . (2007). *Contours of the World Economy, 1–2030AD*. Oxford: Oxford University Press; Мэддисон, Э. (2012). *Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории*. М.: Издательство Института Гайдара.

- Mahler, V. and D. Jesuit (2006). "Fiscal Redistribution in the Developed Countries: New Insights from the Luxembourg Income Study," *Socio-Economic Review*, 4, 483–511.
- . (1987a). "The Politics of Productivity: Foundations of American Economic Policy after World War II." In *In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Mahoney, J. (2001). *The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central America*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Maier, C. (1987a). "The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in Twentieth-Century Western Europe." In *In Search of Stability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1987b). *In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Mamdani, M. (1996). *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mann, J. (2004). *The Rise of the Vulcans: The History of Bush's War Cabinet*. New York: Viking Press.
- Mann, M. (1970). "The Social Cohesion of Liberal Democracy," *American Sociological Review*, Vol. 35.
- . (1986 and 1993). *The Sources of Social Power*. Vols. I & II. Cambridge: Cambridge University Press.
- . (1988a). "The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results." In M. Mann (ed.), *States, War and Capitalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- . (1988b). "The Roots and Contradictions of Contemporary Militarism." In M. Mann (ed.), *States, War and Capitalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- . (1988c). "The Decline of Great Britain." In M. Mann (ed.), *States, War and Capitalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- . (1997). "Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?" *Review of International Political Economy*, 4, 472–96.
- . (2003). *Incoherent Empire*. London: Verso.
- . (2005). *The Darkside of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. Cambridge: Cambridge University Press; Mann, M. (2016). *Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток*. М.: Пятый Рим.
- . (2006). "The Sources of Social Power Revisited: a Response to Criticism." In John Hall & Ralph Schroeder (eds.), *An Anatomy of Power: The Social Theory of Michael Mann*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. and Riley, D. (2007). "Explaining Macro-Regional Trends in Global Income Inequalities, 1950–2000," *Socio-Economic Review*, 5, 81–115.
- Mann, R. (2001). *A Grand Delusion: America's Descent into Vietnam*. New York: Basic Books.
- Manza, J. et al. (1995). "Class Voting in Capitalist Democracies since World War II: Dealignment, Realignment, or Trendless Fluctuation?" *Annual Review of Sociology*, 21, 137–62.
- . (1998). "The Gender Gap in U.S. Presidential Elections. When? Why? Implications?" *American Journal of Sociology*, 103, 1235–66.
- Manza, J. and Brooks, C. (1997). "The Religious Factor in U.S. Presidential Elections, 1960–1992," *American Journal of Sociology*, 103, 38–81.
- Mares, D. (2001). *Violent Peace: Militarized Interstate Bargaining in Latin America*. New York: Columbia University Press.
- . (2003). *The Politics of Social Risk: Business and Welfare State Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marsh, S. (2005). "Continuity and Change: Reinterpreting the Policies of the Truman and Eisenhower Administrations toward Iran, 1950–1954," *Journal of Cold War Studies*, 7, 79–123.
- Marshall, T. H. [1949] (1963) "Citizenship and Social Class." In *Sociology at the Crossroads*. London: Heinemann.
- Mart, M. (2006). *Eye on Israel: How Americans Came to See Israel as an Ally*. Albany: State University of New York Press.
- Martin, N. and D. Brady (2007). "Workers of the Less Developed World Unite? A Multilevel Analysis of Unionization in Less Developed Countries," *American Sociological Review*, 72, 562–84.
- Marx, K. [1894] (1959). *Capital*. Vol. III. New York: International Publishers.

- Massey, D. and N. Denton (1993). *American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2007). *Categorically Unequal: The American Stratification System*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mastny, V. (1996). *The Cold War and Soviet Insecurity: The Stalin Years*. New York: Oxford.
- Matray, J. (1998). "Korea's Partition: Soviet-American Pursuit of Reunification, 1945–1948" *Parameters*, U. S. War College Quarterly, 28, 50–62.
- Mayhew, D. (1986). *Placing Parties in American Politics*. Princeton, NJ: Princeton University.
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- . et al. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . et al. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCarthy, J. and Zald, M. (1977). "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory," *American Journal of Sociology*, 82, 1212–41.
- McCarty, N. et al. (2006). *America: The Dance of Ideology and Unequal Polarized Riches*. Boston, MA: MIT Press.
- McCauley, M. (1998). *Russia, America and the Cold War, 1949–1991*. London: Longman.
- McGirr, L. (2002). *Suburban Warriors*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- McGregor, R. (2010). *The Party: The Secret World of China's Communist Rulers*. New York: Harper; МакГрегор, Р. (2011). *Партия. Тайный мир коммунистических властителей Китая*. М.: Эксмо.
- McIntyre, D. (1998). *British Decolonisation 1946–97*. Basingstoke: McMillan.
- McKibbin, R. (1998). *Classes and Cultures: England, 1918–1951*. New York: Oxford University Press.
- McMahon, R. (1999). *The Limits of Empire: The United States and Southeast Asia since World War II*. New York: Columbia University Press.
- McNeill, J. (2000). *Something New under the Sun: An Environmental History of the 20th Century*. New York: W. W. Norton.
- Mead, W. R. (2001). *Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World*. New York: Century Foundation/Knopf.
- Mettler, S. (1999). *Dividing Citizens: Gender and Federalism in New Deal Public Policy*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- . (2010). "Reconstituting the Submerged State: The Challenge of Social Policy Reform in the Obama Era," *Perspectives on Politics*, 8, 861–76.
- Meyer, D. (2004). "Protest and Political Opportunities." *Annual Review of Sociology* 30, 125–45.
- Meyer, J. et al. (1997). "World Society and the Nation-State," *American Journal of Sociology*, 103, 144–81.
- . (1999). "The Changing Cultural Content of the Nation-State: A World Society Perspective." In G. Steinmetz (ed.), *State/Culture*. Cornell, NY: Cornell University Press.
- Migdal, J. (1974). *Peasants Politics, and Revolution*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Milanovic, B. (1998). *Income, Inequality, and Poverty during the Transformation from Planned to Market Economy*. Washington DC: The World Bank.
- . (2010). *The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality*. New York: Basic Books.
- Milanovic, B. and Ersado, L. (2008). "Reform and Inequality during the Transition: An Analysis Using Panel Household Survey Data, 1990–2005." *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Miller, N. (1989). *Soviet Relations with Latin America, 1959–1987*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miller, N. (2009). *Environmental Politics: Stakeholders, Interests, and Policymaking*. 2nd ed. London: Routledge.
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. New York: Oxford University Press; Миллс, Ч. П. (1959). *Властвующая элита*. М.: Иностранная литература.
- Minchin, T. (1999). *Hiring the Black Worker: The Racial Integration of the Southern Textile Industry 1960–1980*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- . (2001). *The Color of Work: The Struggle for Civil Rights in the Southern Paper Industry, 1945–1980*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

- Minsky, H. (1982). *Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance*, Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Mittelstadt, J. (2005). *From Welfare to Workfare: The Unintended Consequences of Liberal Reform, 1945–1965*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Moore, B. (1967). *Origins of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press; Мур, Б. (2016). Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Kimberley, M. and Prasad M., (2009). "The Origins of Tax Systems: A French-American Comparison," *American Journal of Sociology*, Vol 115.
- Morgan, K. (2000). *Slavery, Atlantic Trade and the British Economy, 1660–1800*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Morley, S. (2001). *The Income Distribution Problem in Latin America and the Caribbean*. Santiago, Chile: CEPAL/ECLAC.
- Morris, A. (1986). *The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change*. New York: Free Press.
- Moshiri, F. (1991). "Iran: Islamic Revolution Against Westernization." In Jack Goldstone et al. (eds.), *Revolutions of the Late Twentieth Century*. Boulder, CO: Westview Press.
- Moye, T. (2004). *Let the People Decide: Black Freedom and White Resistance Movements in Sunflower County, Mississippi, 1945–1986*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Moynihn, D. (1969). *Maximum Feasible Misunderstanding: Community Action in the War on Poverty*. New York: Free Press.
- Mudge, S. (2008). "What Is Neo-Liberalism?" *Socio-Economic Review*, 6, 703–31.
- . (2011). "What's Left of Leftism? Neoliberal Politics in Western Political Systems, 1945–2004," *Social Science History*, 35, 338–68.
- Muldavin, J. (2000). "The Paradoxes of Environmental Policy and Resource Management in Reform-Era China," *Economic Geography*, 76, 244–71.
- Muravchik, J. (1986). *The Uncertain Crusade: Jimmy Carter and the Dilemmas of Human Rights Policy*. New York: Hamilton Press.
- Nabli, M. (ed.) (2010). *The Great Recession and Developing Countries: Economic Impact and Growth Prospects*. Washington, DC: World Bank.
- Nagl, J. (2002). *Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam*. Westport, CT: Praeger.
- National Security Council 1950 "United States Objectives and Programs for National Security," NSC-68. Declassified in 1975 and published in *Naval War College Review*, 27, 51–108.
- Naughton, B. (1995). *Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform 1978–1993*. New York: Cambridge University Press.
- . (2007). *The Chinese Economy: Transitions and Growth*. Boston: MIT Press.
- Nelson, Bruce 2003 *Divided We Stand: American Workers and the Struggle for Black Equity*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Nelson, M. and J. Stephens (2009). "Human Capital Policies and the Social Investment Perspective: Explaining the Past and Anticipating the Future." In Nathalie Morel et al. (eds.), *What Future for Social Investment?* Institute for Futures Studies Research Report, 2009/2.
- Newell, P. and M. Paterson (2010). *Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nicolaides, B. (2002). *My Blue Heaven: Life and Politics in the Working Class Suburbs of Los Angeles, 1920–1965*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nordhaus, W. (2008). *A Question of Balance: Weighing the Options on Global Warming Policies*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Nugent, P. (2004). *Africa since Independence*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
- Nye, Joseph 2004 *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- O'Connor, A. (2001). *Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy and the Poor in Twentieth-Century U. S. History*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- O'Connor, J., A. Orloff, and S. Shaver (1999). *States, Markets, Families: Gender, Liberalism and Social Policy in Australia, Canada, Great Britain, and the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Reilly, M. (2008). *Unexceptional: America's Empire in the Persian Gulf, 1941–2007*. Lanham, MD: Lexington Books.

- O'Rourke K. and J. Williamson (1999). *Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Oatley, T. and J. Yackee. (2004). "American Interests and IMF Lending," *International Politics*, 41, 415–29.
- William, O. (1998). *The Collapse of the Soviet Military*. New Haven, CT: Yale University Press.
- OECD (2008). *Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries*. Paris: OECD; Доклад ОЭСР (2008). Неравный рост? Распределение доходов и бедность в странах ОЭСР (резюме на русском языке). <http://www.oecd.org/els/soc/41612886.pdf>.
- . (2010). *Economic Policy Reforms: Going for Growth 2011*. Paris: OECD.
- Offe, C. and V. Ronge (1974). "Theses on the Theory of the State." In Anthony Giddens & David Held (eds.), *Classes, Power and Conflict*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Oh, John Kie-Chiang (1999). *Korean Politics: The Quest for Democratization and Economic Development*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Oi, J. and Andrew G. W. (eds.) (1999). "Introduction." In *Property Rights and Economic Reform in China*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Olson, L. (2006). "The Religion Gap," *Political Science & Politics*, 39, 455–9.
- Omi, M. and Winant, H. (1994). "The Art of Reframing Political Debates." In *Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1980s*. 2nd ed., Vol. 5: pp. 13–18. New York: Routledge, 1994.
- Opinion Research Business (2008)/ "More than 1,000,000 Iraqis Murdered." Author. Updated version.
- Orenstein, M. (2008). "Postcommunist Welfare States," *Journal of Democracy*, 19, 80–94.
- Oreskes, N. (2004). "Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change," *Science*, 306 (5702), 1686.
- Orloff, A. (1988). "The Political Origins of America's Belated Welfare State." In Margaret Weir, Ann Shola Orloff, and Theda Skocpol (eds.), *The Politics of Social Policy in the United States*. Princeton: Princeton University Press.
- Osberg, L. and T. Smeeding (2006). "Fair" Inequality? An International Comparison of Attitudes to Pay Differentials," *American Sociological Review*, 70, 949–67.
- Osterhammel J. and Peterson N. (2005). *Globalization: A Short History*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
- Ozler, I. and B. Obach (2009). "Capitalism, State Economic Policy and Ecological Footprint: An International Comparative Analysis," *Global Environmental Politics*, 9, 79–108.
- Packer, G. (2005). *The Assassin's Gate: America in Iraq*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Page, B. and L. Jacobs (2009). *Class War? What Americans Really Think about Economic Inequality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Paige, J. (1975). *Agrarian Revolution*. New York: Free Press.
- . (1997). *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Palier, B. (2005). "Ambiguous Agreement, Cumulative Change: French Social Policy in the 1990s." In Streeck & Thelen, *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Palier, B. (ed.) (2010). *A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental Europe*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Panic, M. (2007). "Does Europe Need Neoliberal Reforms?" *Cambridge Journal of Economics*, 31, 145–69.
- Pape, R. (2005). *Dying to Win*. New York: Random House.
- . (2010). "It's the Occupation, Stupid," *Foreign Policy Magazine*, November 14.
- Park, J. (1995). *Latin American Underdevelopment: A History of Perspectives in the United States, 1870–1965*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Parsa, M. (1989). *Social Origins of the Iranian Revolution*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Patterson, J. (2001). *Brown v. Board of Education: A Civil Rights Milestone and its Troubled Legacy*. New York: Oxford University Press.
- Payne, C. (1995). *I've Got the Light of Freedom: The Organizing Tradition and the Mississippi Freedom Struggle*. Berkeley: University of California Press.

- Pearson, R. (1998). *The Rise and Fall of the Soviet Empire*. New York: St. Martin's Press.
- Peceny, M. (1999). *Democracy at the Point of Bayonets*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Peck, J. and A. Tickell (2002). "Neoliberalizing Space," *Antipode*, 34, 380–404. 2001 Workfare States. New York: Guilford Press.
- Pedersen, S. (1993). *Family, Dependence and the Origins of the Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pei, M. (1994). *From Reform to Revolution: The Demise of Communism in China and the Soviet Union*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- . (2006). *China's Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pierson, P. (1998). "Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare States Confront Permanent Austerity," *Journal of European Public Policy*, 5(4), 539–60.
- . (Ed.) (2001). *The New Politics of the Welfare State*. Oxford University Press.
- Pietersee, J. N. (1995). "Globalization as Hybridization." In Mike Featherstone, Scott Lash, & Roland Robertson (eds.), *Global Modernities*, pp. 45–68. London: Sage.
- Piketty, T. and E. Saez (2003). "Income Inequality in the United States, 1913–1998," *Quarterly Journal of Economics*, 118, 1–39.
- Piven, F. and Cloward, R. (1977). *Poor People's Movements*. New York: Vintage.
- Pleshakov, C. (2009). *No Freedom Without Bread: 1989 and the Civil War That Brought Down Communism*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Plotke, D. (1996). *Building a Democratic Political Order: Reshaping American Liberalism in the 1930s and 1940s*. New York: Cambridge University Press.
- Polanyi, K. [1944] (1957). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press; Поляны, К. (2002). *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. СПб.: Алетейя.
- Pomer, M. (2001). "Introduction." In Lawrence Klein & Marshall Pomer (eds.), *The New Russia: Transition Gone Awry*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Pontusson, J. (2005). *Inequality and Prosperity: Social Europe vs. Liberal America*. Ithica, NY: Cornell University Press.
- Porter, B. (2006). *Empire and Superempire: Britain, America and the World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Prasad, E. et al. (2007). "Foreign Capital and Economic Growth," *Brookings Papers on Economic Activity* 1, 153–230.
- Prasad, M. (2006). *The Politics of Free Markets*. Chicago: University of Chicago Press.
- . (2009). "Bryan's revenge: the credit/welfare state tradeoff and the crisis of 2008–2009," unpublished paper.
- Prechel, H. and T. Morris (2010). "The Effects of Organizational and Political Embeddedness on Financial Malfeasance in the Largest U. S. Corporations," *American Sociological Review*, 75, 331–54.
- Precht, H. (interview with) (2004). "The Iranian Revolution: An Oral History with Henry Precht, then State Department Desk Officer," *Middle East Journal*, 58, 9–31.
- Putzel, J. (2000). "Land Reforms in Asia: Lessons from the Past for the 21st Century," London School of Economics, Destan Working Paper No. 00–04.
- Quadagno, J. (1994). *The Color of Welfare*. New York: Oxford University Press.
- Rabe, S. (1988). *Eisenhower and Latin America. The Foreign Policy of Anti-Communism*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- . (1999). *The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist Revolution in Latin America*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
- Rabinovitch, E. (2004). "The Making of the Global Public." Ph.D. dissertation, Department of Sociology, UCLA.
- Race, J. (1972). *War Comes to Long An: Revolutionary Conflict in a Vietnamese Province*. Berkeley: University of California Press.
- Radkau, J. (2008). *Nature and Power: A Global History of the Environment*. New York: Cambridge University Press.
- Raskin, P. et al. (2002). *Great Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead*. Boston: Stockholm Environment Institute, <http://www.gsg.org>.



- Reinhart, C. and K. Rogoff (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Repetto, R. (2007). "Best Practice in Internal Oversight of Lobbying Practice," <http://envirocenter.research.yale.edu>.
- Reynolds, L. (1985). *Economic Growth in the Third World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Roberts, J. T. and B. C. Parks (2007). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robinson, W. and J. Harris (2000). "Towards a Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class," *Science & Society*, 64, 11-54.
- Robnett, B. (1997). *How Long? How Long? African-American Women in the Struggle for Civil Rights*. New York: Oxford University Press.
- Rockoff, H. (1998). "The United States: From Ploughshares to Swords." In Mark Harrison (ed.), *The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodrik, D. (2011). "Growth after the Crisis." In Craig Calhoun & Georgi Derluguian (eds.), *Aftermath: A New Global Economic Order?* New York: Social Science Research Council and New York University Press.
- Rodrik, D. and A. Subramanian (2008). "Why Did Financial Globalization Disappoint," unpublished paper available on Rodrik's web-site.
- Romano, R. (2003). *Race Mixing: Black-White Marriage in Postwar America*. Cambridge: Harvard University Press.
- Roorda, E. (1998). *The Dictator Next Door: The Good Neighbor Policy and the Trujillo Regime in the Dominican Republic, 1930-1945*. Durham, NC: Duke University Press.
- Rosen, N. (2010). *Aftermath: Following the Bloodshed of America's Wars in the Muslim World*. New York: Avalon.
- Rosenberg, S. (2003). *American Economic Development since 1945: Growth, Decline and Rejuvenation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rotter, A. (1987). *The Path to Vietnam: Origins of the American Commitment to Southeast Asia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Rouquié, A. (1987). *The Military and the State in Latin America*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Rueschemeyer, D. et al. (1992). *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ruggie, J. (1982). "International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order," *International Organization*, Vol. 36.
- Runciman, W. G. (1966). *Relative Deprivation and Social Justice*. London: Routledge.
- Ryan, C. and Gamson, W. (2006). "The Art of Reframing Political Debates," *Contexts*, 5, 13-18.
- Saez, E. (2009). "Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (update with 2007 estimates)." <http://elsa.berkeley.edu/~saez/Sainsbury>, Diane 1996 Gender, Equality and Welfare States. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sarotte, M. (2009). *The Struggle to Create Post-Cold War Europe*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sassen, S. (2010). "The Return of Primitive Accumulation." In Lawson, *The Global 1989: Continuity and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sato, H. (2003). *The Growth of Market Relations in Post-Reform Rural China*. London: Routledge.
- Schaller, M. (1985). *The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in Asia*. New York, Oxford University Press.
- Schild, G. (1995). *Bretton Woods and Dumbarton Oaks*. New York: St. Martin's Press.
- Schmitter, P. (1974). "Still the Century of Corporatism?" *Review of Politics*, 36, 85-131.
- Scholte, J. A. (2000). *Globalization: A Critical Introduction*. New York: St. Martins Press.
- Schrecker, E. (1998). *Many Are the Crimes: McCarthyism in America*. Boston: Little, Brown.
- Schulzinger, R. (1997). *A Time for War: The United States and Vietnam, 1941-1975*. New York: Oxford University Press.
- Schumpeter, J. [1942] (1957). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper; Шумпетер, Й. (1996). *Капитализм, Социализм и Демократия*. М.: Экономика.

- . [1911] (1961). *The Theory of Economic Development*. New York: Oxford University Press; Шумпетер, Й.А. (1982). *Теория экономического развития*. М.: Прогресс.
- . [1939] (1982). *Business Cycles*, 2 vols. Philadelphia: Porcupine Press.
- Schwartz, H. (2009). *Subprime Nation: American Power, Global Capital, and the Housing Bubble*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Schwartzberg, S. (2003). *Democracy and U. S. Policy in Latin America during the Truman Years*. Gainesville: University Press of Florida.
- Scott, J. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South East Asia*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Scruggs, L. and P. Lange (2002). "Where Have All the Members Gone? Globalization, Institutions and Union Density," *Journal of Politics*, 64, 126–53.
- . (2003). *Sustaining Abundance: Environmental Performance in Industrial Democracies*. New York: Cambridge University Press.
- Service, R. (1997). *A History of Twentieth-Century Russia*. London: Allen Lane, Penguin.
- Shadid, A. (2005). *Night Draws Near: Iraq's People in the Shadow of America's War*. New York: Henry Holt.
- Shafer, J. (1995). "Experience with Controls on International Capital Movements in OECD Countries: Solution or Problem for Monetary Policy?" In S. Edwards (ed.), *Capital Controls, Exchange Rates, and Monetary Policy in the World Economy*, pp. 119–56. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shanin, T. (ed.) (1971). *Peasants and Peasant Societies*. Harmondsworth, UK: Penguin.
- Shapiro, J. (2001). *Mao's War against Nature: Politics and the Environment in Revolutionary China*. New York: Cambridge University Press.
- Sharkey, H. (2003). *Living with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Shaw, M. (2006). *The New Western Way of War*. Cambridge: Polity.
- Sherry, M. (1995). *In the Shadow of War: The United States since the 1930s*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Sheshinski, E. and L. López-Calva (2003). "Privatization and Its Benefits: Theory and Evidence," *CESifo Economic Studies*, 49, 429–59.
- Shirk, S. (1993). *The Political Logic of Economic Reform in China*. Berkeley: University of California Press.
- Shoichi, K. (1998). *The Birth of Japan's Postwar Constitution*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sides, J. (2004). *L. A. City Limits: African American Los Angeles from the Great Depression to the Present*. Berkeley: University of California Press.
- Silver, B. (2003). *Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization since 1870*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skjerseth, J. and J. Wettestad (2009). "The Origin, Evolution and Consequences of the EU Emissions Trading System," *Global Environmental Politics*, 9, 101–22.
- Skidelsky, R. (1983). *John Maynard Keynes: Hopes Betrayed*. London: Macmillan.
- . (2000). *John Maynard Keynes. Vol 111, Fighting for Britain*. London: Macmillan.
- Skidmore, D. (1996). *Reversing Course: Carter's Foreign Policy and the Failure of Reform*. Nashville, Tenn: Vanderbilt University Press.
- Sklair, L. (2000). *The Transnational Capitalist Class*. Oxford: Blackwell.
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press; Скоцпол, Т. (2017). *Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая*. М.: Изд-во Института Гайдара.
- . (1994). *Social Revolution in the Modern World*. New York: Cambridge University Press.
- Skocpol, T. and J. Ikenberry (1983). "The Political Formation of the American Welfare State in Historical and Comparative Perspective." *Comparative Social Research*, 6, 84–147.
- Skrede, K. and M. D. Ward (1999). "A Revised List of Independent States since 1816," *International Interactions*, 25, 393–413.
- Smeeding, T. (2002). "Globalisation, Inequality, and the Rich Countries of the G-20: Evidence from the Luxembourg Income Study (LIS)." In D. Gruen, T. O'Brien, and J. Lawson (eds.), *Globalisation, Living Standards, and Inequality, Recent Progress and Continuing Challenges*. Australia: J. S. McMillan.
- Smith, G. (1986). *Morality, Reason and Power: American Diplomacy in the Carter Years*. New York: Hill & Wang.

- Smith, N. (2003). *American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization*. Berkeley: University of California Press.
- Smith, P. (2000). *Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.—Latin American Relations*. New York: Oxford University Press.
- Smith, T. (1991). "The Alliance for Progress: The 1960s." In Abraham F. Lowenthal, (Ed.), *Exporting Democracy: The United States and Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Soederberg, S. (2004). *The Politics of the New International Financial Architecture*. London: Zed.
- Solnick, S. (1996). "The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Union and China: A Neoinstitutional Perspective," *World Politics*, 48, 209–38.
- Sparrow, B. (1996). *From the Outside In: World War II and the American State*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Speth, J. G. (2004). *Red Sky at Morning: America and the Crisis of the Global Environment*. New Haven, CT: Yale University Press.
- . (2008). *The Bridge at the Edge of the World*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Starke, P. (2008). *Radical Welfare State Retrenchment: A Comparative Analysis*. Houndsmill: Palgrave Macmillan.
- Sven, S. (1993). *Taxation and Democracy: Swedish, British and American Approaches to Financing the Modern State*. New Haven, CT: Yale University Press.
- . (2010). *The Evolution of Modern States: Sweden, Japan and the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stepan-Norris, J. and M. Zeitlin (2003). *Left Out: Reds and America's Industrial Unions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stephens, J. (1980). *The Transition from Capitalism to Socialism*. London: Macmillan.
- Stern, T. (2008). "Additional Papers and Presentations by Lord Stern." UK Office of Climate Change. [http://www.occ.gov.uk/activities/stern\\_additional.htm](http://www.occ.gov.uk/activities/stern_additional.htm).
- Stern, N. (2007). *The Stern Review on the Economics of Climate Change*. London: UK Office of Climate Change; Стерн, Н. (2009). *Экономика изменения климата*. 2-е изд. М.: WWF России.
- Stern, S. M. (2003). *Averting "The Final Failure": John F. Kennedy and the Secret Cuban Missile Crisis Meetings*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Stiglitz, J. (1998). "More Instruments and Broader Goals: Moving toward the Post-Washington Consensus," *World Institute for Development Economics Research (WIDER) annual lecture*; Стиглиц, Дж. (1998). Многообразные инструменты, шире цели: движение к поствашингтонскому консенсусу // *Вопросы экономики*. Вып. 8. С. 4–34.
- . (1999). *Whither Reform? Ten Years of Transition*, Washington, DC World Bank.
- Stone, G. (2004). *Perilous Times: Free Speech in Wartime, from the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism*. New York: Norton.
- Stone, R. (2004). "The Political Economy of IMF Lending in Africa," *American Political Science Review*, Vol. 98.
- Strayer, R. (2001). "Decolonization, Democratization, and Democratic Reform: The Soviet Collapse in Comparative Perspective," *Journal of World History*, 12, 375–406.
- Streeck, W. (2009). *Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- . (2011). "The Crises of Democratic Capitalism," *New Left Review*, 71, 5–29.
- Streeck, W. and K. Thelen (2005). *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Streeter, S. (2000). *Managing the Counterrevolution: The United States and Guatemala, 1954–1961*. Athens: Ohio University Press.
- Stuckler, D. et al. (2009). "Mass Privatisation and the Post-Communist Mortality Crisis: A Cross-National Analysis," *The Lancet*, Jan 15.
- Stueck, W. (1995). *The Korean War: An International History*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . ed. (2004). *The Korean War in World History*. Lexington: University of Kentucky.
- Sugihara, K. (2000). "The East Asian Path of Economic Development: A Long-Term Perspective," *Discussion Papers in Economics and Business*, 00–17, Graduate School of Economics, Osaka University.

- Sugrue, T. (1996). *The Origins of the Urban Race Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Suny, R. (1993). *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (1998). *The Soviet Experiment*. Oxford: Oxford University Press.
- Suskind, R. (2004). *The Price of Loyalty. George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill*. New York: Simon & Schuster.
- . (2006). *The One Percent Doctrine: Deep inside America's Pursuit of Its Enemies since 9/11*. New York, Simon & Schuster.
- Swank, D. (1992). "Politics and the Structural Dependence of the State in Democratic Capitalist Nations." *American Political Science Review*, 86, 38–54.
- . (2002). *Global Capital, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States*. New York: Cambridge University Press.
- Swyngedouw, E. (1997). "Neither Global nor Local: 'Glocalization' and the Politics of Scale." In Kevin R. Cox (ed.), *Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local*, pp. 137–66. New York: Guilford Press.
- Syklos, P. (2002). *The Changing Face of Central Banking: Evolutionary Trends since World War II*. New York: Cambridge University Press.
- Talbot, S. (2002). *The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy*. New York: Random House.
- Tanzi, V. (1969). *The Individual Income Tax and Economic Growth*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Taylor, B. et al. (2003). *Industrial Relations in China*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Taylor, B. (1995). "Popular Ecological Resistance and Radical Environmentalism." In Taylor (ed.), *Ecological Resistance Movements*. Albany: State University of New York Press, pp. 334–54.
- Temin, P. (2010). "The Great Recession and the Great Depression," NBER Working Paper No. 15645.
- Tenet, G. (2007). *At the Center of the Storm: My Years at the C.I.A.* New York: Harper-Collins.
- Thornton, Mills III (2002) *Dividing Lines: Municipal Politics and the Struggle for Civil Rights in Montgomery, Birmingham, and Selma*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Tikhomirov, V. (2000). *The Political Economy of Post-Soviet Russia*. London: MacMillan.
- Tilly, C. (1993). *European Revolutions 1492–1992*. Oxford: Blackwell.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tridico, P. (2009). "Trajectories of Socio-Economic Models and Development in Transition Economies in the 20 Years since the Fall of the Berlin Wall," unpublished paper, Department of Economics, University of Rome 3.
- Trubowitz, P. (1998). *Defining the National Interest: Conflict and Change in American Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tucker, A. (2010). "Restoration and Convergence: Russia and China since 1989." In Lawson et al., *The Global 1989: Continuity and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tucker, R. (ed.) (1978). *The Marx-Engels Reader*. 1978 ed. New York: Norton.
- Tuminez, A. (2003). "Nationalism, Ethnic Pressures, and the Breakup of the Soviet Union," *Journal of Cold War Studies*, 5, 81–136.
- Tyler, P. (2009). *A World of Trouble: The White House and the Middle East—from the Cold War to the War on Terror*. New York: Farrar, Straus, & Giroux.
- Ulvila, M. and J. Pasanen (2009). *Sustainable Futures*. Helsinki: Ministry of Foreign Affairs.
- UNEP (2007) *Global Environmental Outlook: GEO4; МГЭИК, 2007: Изменение климата, 2007 г.: Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачури, Р. К. Райзингер, А. и основная группа авторов (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария. [https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4\\_syr\\_ru.pdf](https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf)*.
- United Nations Development Program (2009). *World Development Report*.
- United Nations Environmental Program (UNEP) (2007). "GEO4 Report," *Global Environmental Outlook*.

- United Nations Human Development Report (2007/2008). *Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World*. Geneva: United Nations; Доклад ПРООН (2007). Борьба с изменениями климата: человеческая солидарность в разделенном мире. М.: Весь мир, 2007.
- U. S. Department of State (2003). *Foreign Relations of the United States, 1952–1954: Guatemala*. Washington, DC: U. S. Government Printing Office.
- Van Zanden et al. (2011). “The Changing Shape of Global Inequality 1820–2000: Exploring a New Data-Set,” *Universiteit Utrecht, CGEH Working Paper Series, No. 1*.
- Vandervort, B. (1998). *Wars of Imperial Conquest in Africa, 1830–1914*. Bloomington: Indiana University Press.
- Visser, J. (2006). “Union Membership Statistics in 24 Countries,” *Monthly Labor Review*, Vol. 129.
- Voigt, P. and H. Hockmann (2008)/ “Russia’s Transition Process in the Light of a Rising Economy,” *European Journal of Comparative Economics*, 5, 251–67.
- Vreeland, J. (2003). *The IMF and Economic Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wacquant, L. (2002). *Prisons of Poverty*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- . (2009). *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*. Durham, NC: Duke University Press.
- Waddell, B. (2001). *The War against the New Deal: World War II and American Democracy*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Wade, R. (1990). *Governing the Market*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Walker, T. (1997). *Nicaragua without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1990s*. Wilmington, DE: SR Books.
- Wallace, M. et al. (1988). “American Labor Law: Its Impact on Working-Class Militancy, 1901–1980,” *Social Science History*, 12, 1–29.
- Wallander, C. (2003). “Western Policy and the Demise of the Soviet Union,” *Journal of Cold War Studies*, 5, 137–177.
- Wallerstein, I. (1974a). *The Modern World-System. Vol. I, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York/London: Academic Press; Валлерстайн, И. (2015). *Мир-система Модерна. Том. I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке*. М.: Русский фонд содействия образованию и науке.
- . (1974b). “The Rise and Future Demise of the of the World-Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis.” *Comparative Studies in Society and History*, 16, 387–415.
- . (2003). *The Decline of American Power: The U. S. in a Chaotic World*. New York: New Press.
- . (2012). “Structural Crisis, or Why Capitalists No Longer Find Capitalism Rewarding.” In Georgi Derleugian (ed.), *Does Capitalism Have a Future? A Sociological Polemic*. New Haven, CT: Yale University Press; Валлерстайн, И. (2015). *Структурный кризис, или Почему капиталисты могут считать капитализм невыгодным // Есть ли будущее у капитализма? М.: Изд-во Института Гайдара. С. 23–60*.
- Walter, C. and F. Howie (2003). *Privatizing China: The Stock Markets and Their Role in Corporate Reform*. Singapore: John Wiley.
- Warner, R. (1996). *Shooting at the Moon: The Story of America’s Clandestine War in Laos*. South Royalton, VT: Steerforth Press.
- Waters, M. (1995). *Globalization*. New York: Routledge.
- Weathersby, K. (1998). “Stalin, Mao, and the End of the Korean War.” in Westad (ed.), *Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Weaver, R. K. (1986). “The Politics of Blame Avoidance,” *Journal of Public Policy*, 6, 371–98.
- Weber, M. (1978) (ed.). *Economy and Society*. 2 vols. Edited by Gunther Roth & Claus Wittich. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Wedeman, A. (2003). *From Mao to the Market: Rent Seeking, Local Protectionism and Marketization in China*. New York: Cambridge University Press.
- Weintraub, S. (1999). *MacArthur’s War: Korea and the Undoing of an American Hero*. New York: Free Press.

- Weiss, L. (1999). "Globalization and National Governance: Antinomy or Interdependence?" *Review of International Studies*, 25, 59–88.
- . (2008). "Crossing the Divide: From the Military-Industrial to the Development-Procurement Complex," unpublished paper, Department of Government and International Relations, University of Sydney.
- . (2009). "The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist? In Glenn Morgan et al. (eds.), *Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Weller, R. (2006). *Discovering Nature: Globalization and Environmental Culture in China and Taiwan*. New York: Cambridge University Press.
- Welch, R. (1985). *Response to Revolution: The United States and the Cuban Revolution, 1959–1961*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Westad, O. (1998). "The Sino-Soviet Alliance and the United States." in Odd Westad (ed.), *Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance, 1945–1963*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- . (2006). *The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Western, B. (1993). "Postwar Unionization in 18 Advanced Capitalist Countries." *American Sociological Review*, 58, 266–82.
- . (2006). *Punishment and Inequality in America*. New York, Russell Sage.
- White, J. K. (1997). *Still Seeing Red: How the Cold War Shapes the New American Politics*. Boulder, CO: Westview Press.
- White, N. (1999). *Decolonization: The British Experience since 1945*. London and New York: Longman.
- White, S. (1996). *Russia Goes Dry: Alcohol, State and Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Whitfield, S. (1996). *The Culture of the Cold War*. 2nd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Whiting, S. (2001). *Power and Wealth in Rural China: The Political Economy of Institutional Change*. New York: Cambridge University Press.
- Wiarda, H. (1995). *Democracy and Its Discontents. Development, Interdependence and U.S. Policy in Latin America*. Lanham, MA: Rowman & Littlefield.
- Wickham-Crowley, T. (2001). "Winners, Losers and Also-Rans: Toward a Comparative Sociology of Latin American Guerilla Movements." In Susan Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Wilensky, H. (2002). *Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and Performance*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Wilentz, S. (2009). *The Age of Reagan: A History, 1974–2008*. New York: HarperCollins.
- Willbanks, J. (2004). *Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost Its War*. Lawrence: University of Kansas Press.
- Wilson, H. S. (1994). *African Decolonization*. London: Edward Arnold.
- Wimmer, A. and B. Min (2006). "From Empire to Nation-State: Explaining Wars in the Modern World, 1816–2001," *American Sociological Review*, 71, 867–97.
- Wimmer, A. and Y. Feinstein (2010). "The Rise of the Nation-State across the World, 1816 to 2001," *American Sociological Review*, 75, 764–90.
- Wittkopf, E. and J. McCormick (1990). "The Cold War Consensus: Did It Exist?" *Polity*, XXII, 627–53.
- Wong, J. (2004). *Healthy Democracies: Welfare Politics in Taiwan and South Korea*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Woodward, B. (2004). *Plan of Attack*. New York: Simon & Schuster.
- World Bank (1997). *World Development Report: The State in a Changing World*. New York: Oxford University Press; Доклад о мировом развитии: государство в меняющемся мире (1997). Всемирный банк: Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС». <http://documents.worldbank.org/curated/ru/886571468156582917/pdf/173000RUS-SIAN018213137761901PUBLIC1.pdf>.
- . (2007). *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank.

- Wright, D. and C. T. Reese (2008). *On Point II: Transition to the New Campaign: The United States Army in Operation Freedom, May 2003 to January, 2005*. Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press.
- Wu, Yanrui (2004). *China's Economic Growth: A Miracle with Chinese Characteristics*. London: Routledge.
- Yang, Dali (1996). *Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional Change since the Great Leap Famine*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- . (2004). *Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and the Politics of Governance in China*, Stanford, CA: Stanford University Press.
- Yaqub, S. (2003). *Containing Arab Nationalism: The Eisenhower Doctrine and the Middle East*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Young, C. (1994). *The African Colonial State in Comparative Perspective*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Zakaria, F. (2003). *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. New York: Norton.
- Zeitlin, M. (1980). "On Classes, Class Conflict and the State: an Introductory Note." In Zeitlin (ed.), *Classes, Class Conflict and the State*. Cambridge, MA: Winthrop.
- Zelizer, J. (2009). "The Winds of Congressional Change," *The Forum*, 7, 1–8.
- Zhang, Shu Guang (1995). *Mao's Military Romanticism: China and the Korean War, 1950–1953*. Lawrence: University Press of Kansas.
- Zieger, R. (1995). *The CIO, 1935–1955*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Zubkova, E. (1998). *Russia after the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957*. Armonk, NY: M. E. Sharpe; Зубкова, Е.Ю. (1999). *Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945–1953*. М.: РОССПЭН.
- Zubov, V. and C. Pleshakov. (1996). *Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Zweig, D. (2002) *Internationalizing China: Domestic Interests and Global Linkages*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

*Научное издание*

**МАЙКЛ МАНН**  
**ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ**  
**ТОМ 4. ГЛОБАЛИЗАЦИИ, 1945–2011 ГОДЫ**

Главный редактор В. В. Анашвили  
Заведующая редакцией Ю. В. Бандурина  
Выпускающий редактор Е. В. Попова  
Редактор Л. Ф. Королева  
Корректор М. А. Карнович  
Дизайн обложки С. Д. Зиновьев  
при участии Д. Ю. Карасева  
Оригинал-макет, верстка С. Д. Зиновьев

Подписано в печать 26.02.2019. Формат 70×100/16  
Усл. печ. л. 54,6. Тираж 1000 экз. Изд. № 215. Заказ № 2428

Издательский дом «Дело» РАНХиГС  
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82  
Коммерческий центр  
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02  
delo@ganepa.ru  
www.ganepa.ru  
Интернет-магазин  
www.delo.ganepa.ru

Отпечатано в филиале «Чеховский Печатный Двор»  
АО «Первая Образцовая типография»  
www.chpd.ru. Тел. 8 (499) 270-73-59  
142300, Московская обл., г. Чехов,  
ул. Полиграфистов, 1

ISBN: 978-5-7749-1464-7



9 785774 914647



